М. ГОРЬКИЙ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА

1925–1936

МОСКВА · 1974

Г 00731-0851 Подписное
042 (02)-74

© Издательство «Наука»
1974 г.

А. М. ГОРЬКИЙ
Сорренто, 1925-1926 гг.

ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА

(СОРОК ЛЕТ)

ПОВЕСТЬ

Часть первая

ПОСВЯЩАЕТСЯ
МАРИИ ИГНАТЬЕВНЕ
ВАКРЕВСКОЙ

ГЛАВА 1

Иван Акимович Самгин любил оригинальное; поэтому, когда жена родила второго сына, Самгин, сидя у постели роженицы, стал убеждать ее:

— Знаешь что, Вера, дадим ему какое-нибудь редкое имя? Надоели эти бесчисленные Иваны, Василии... А?

Утомленная муками родов, Вера Петровна не ответила. Муж на минуту задумался, устремив голубиные глаза свои в окно, в небеса, где облака, изорванные ветром, напоминали и ледоход на реке и мохнатые кочки болота. Затем Самгин начал озабоченно перечислять, пронзая воздух коротеньким и пухлым пальцем:

— Христофор? Кирик? Вукол? Никодим?

Каждое имя он уничтожал вычеркивающим жестом, а перебрав десятка полтора необычных имен, воскликнул удовлетворенно:

— Самсон! Самсон Самгин,— вот! Это не плохо! Имя библейского героя, а фамилия,— фамилия у меня своеобразная!

— Не тряси кровать,— тихо попросила жена.

Он извинился, поцеловал ее руку, обессиленную и странно тяжелую, улыбаясь, послушал злой свист осеннего ветра, жалобный писк ребенка.

— Да, Самсон! Народ нуждается в героях. Но... я еще подумаю. Может быть — Леонид.

— Вы утомляете Веру пустяками,— строго заметила, пеленая новорожденного, Мария Романовна, акушерка.

Самгин взглянул на бескровное лицо жены, поправил ее разбросанные по подушке волосы необыкновенного золотисто-лунного цвета и бесшумно вышел из спальни.

Роженица выздоравливала медленно, ребенок был слаб; опасаясь, что он не выживет, толстая, но всегда больная мать Веры Петровны торопила окрестить его; окрестили, и Самгин, виновато улыбаясь, сказал:

— Верочка, в последнюю минуту я решил назвать его Климом. Клим! Простонародное имя, ни к чему не обязывает... Ты — как, а?

Заметив смущение мужа и общее недовольство домашних, Вера Петровна одобрила:

— Мне нравится.

Ее слова были законом в семье, а к неожиданным поступкам Самгина все привыкли; он часто удивлял своеобразием своих действий, но и в семье и среди знакомых пользовался репутацией счастливого человека, которому всё легко удается.

Однако не совсем обычное имя ребенка с первых же дней жизни заметно подчеркнуло его.

— Клим? — переспрашивали знакомые, рассматривая мальчика особенно внимательно и как бы догадываясь: почему же Клим?

Самгин объяснял:

— Я хотел назвать его Нестор или Антипа, но, знаете, эта глупейшая церемония, попы, «отрицаешься ли сатаны», «дунь», «плюнь»...

У домашних тоже были причины — у каждого своя — относиться к новорожденному более внимательно, чем к его двухлетнему брату Дмитрию. Клим был слаб здоровьем, и это усиливало любовь матери; отец чувствовал себя виноватым в том, что дал сыну неудачное имя, бабушка, находя имя «мужицким», считала, что ребенка обидели, а чадолюбивый дед Клима, организатор и почетный попечитель ремесленного училища для сирот, увлекался педагогикой, гигиеной и, явно предпочитая слабенького Клима здоровому Дмитрию, тоже отягчал внука усиленными заботами о нем.

Первые годы жизни Клима совпали с годами отчаянной борьбы за свободу и культуру тех немногих людей, которые мужественно и беззащитно поставили себя «между молотом и наковальней», между правительством бездарного потомка талантливой немецкой принцессы и безграмотным народом, отупевшим в рабстве кре-

постного права. Заслуженно ненавидя власть царя, честные люди заочно, с великой искренностью полюбили «народ» и пошли воскрешать, спасать его. Чтоб легче было любить мужика, его вообразили существом исключительной духовной красоты, украсили венцом невинного страдальца, нимбом святого и оценили его физические муки выше тех моральных мук, которыми жуткая русская действительность щедро награждала лучших людей страны.

Печальным гимном той поры были гневные стоны самого чуткого поэта эпохи, и особенно подчеркнуто тревожно звучал вопрос, обращенный поэтом к народу:

Ты проснешься ль, исполненный сил?
Иль, судеб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил,
Создал песню, подобную стону,
И навеки духовно почил?

Неисчислимо количество страданий, испытанных борцами за свободу творчества культуры. Но аресты, тюрьмы, ссылки в Сибирь сотен молодежи всё более разжигали и обостряли ее борьбу против огромного, бездушного механизма власти.

В этой борьбе пострадала и семья Самгиных: старший брат Ивана — Яков, просидев почти два года в тюрьме, был сослан в Сибирь, пытался бежать из ссылки и, пойманный, переведен куда-то в Туркестан; Иван Самгин тоже не избежал ареста и тюрьмы, а затем его исключили из университета; двоюродный брат Веры Петровны и муж Марии Романовны умер на этапе по пути в Ялуторовск, в ссылку.

Весной 79 года щелкнул отчаянный выстрел Соловьева, правительство ответило на него азиатскими репрессиями.

Тогда несколько десятков решительных людей, мужчин и женщин, вступили в единоборство с самодержавцем, два года охотились за ним, как за диким зверем, наконец убили его и тотчас же были преданы одним из своих товарищей; он сам пробовал убить Александра Второго, но, кажется, сам же и порвал провода мины, назначенной взорвать поезд царя. Сын убитого,

Александр Третий, наградил покушавшегося на жизнь его отца званием почетного гражданина.

Когда герои были уничтожены, они — как это всегда бывает — оказались виновными в том, что, возбудив надежды, не могли осуществить их. Люди, которые издали благосклонно следили за неравной борьбой, были угнетены поражением более тяжко, чем друзья борцов, оставшиеся в живых. Многие немедля и благоразумно закрыли двери домов своих пред осколками группы героев, которые еще вчера вызывали восхищение, но сегодня могли только скомпрометировать.

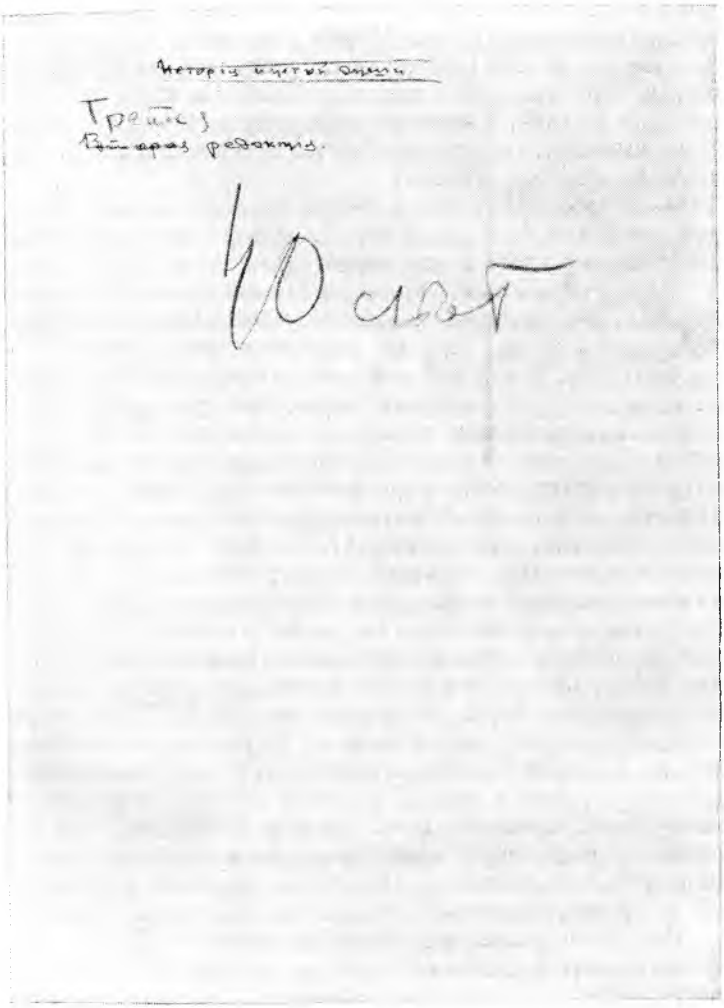
Постепенно начиналась скептическая критика «значения личности в процессе творчества истории»,— критика, которая через десяток лет уступила место неумеренному восторгу пред новым героем, «белокурой бестией» Фридриха Ницше. Люди быстро умнели и, соглашаясь со Спенсером, что «из свинцовых инстинктов не выработаешь золотого поведения», сосредоточивали силы и таланты свои на «самопознании», на вопросах индивидуального бытия. Быстро подвигались к приятию лозунга «Наше время — не время широких задач».

Гениальнейший художник, который так изумительно тонко чувствовал силу зла, что казался творцом его, дьяволом, разоблачающим самого себя,— художник этот, в стране, где большинство господ было такими же рабами, как их слуги, истерически кричал:

«Смирись, гордый человек! Терпи, гордый человек!»

А вслед за ним не менее мощно звучал голос другого гения, властно и настойчиво утверждая, что к свободе ведет только один путь — путь «непротивления злу насилием».

Дом Самгиных был одним из тех уже редких в те годы домов, где хозяева не торопились погасить все огни. Дом посещали, хотя и не часто, какие-то невеселые неуживчивые люди; они садились в углах комнат, в тень, говорили мало, неприятно усмехаясь. Разного роста, различно одетые, они все были странно похожи друг на друга, как солдаты одной и той же роты. Они были «нездешние», куда-то ехали, являлись к Самгину на перепутье, иногда оставались ночевать. Они и



«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
Заглавная страница третьей редакции.

тем еще похожи были друг на друга, что все покорно слушали сердитые слова Марии Романовны и, видимо, боялись ее. А отец Самгин боялся их, маленький Клим видел, что отец почти перед каждым из них виновато потирал мягкие, ласковые руки свои и дрыгал ногою. Один из таких, черный, бородатый и, должно быть, очень скупой, сердито сказал:

— У тебя в доме, Иван, глупо, как в армянском анекдоте: всё в десять раз больше. Мне на ночь зачем-то дали две подушки и две свечи.

Круг городских знакомых Самгина значительно сузился, но все-таки вечерами у него, по привычке, собирались люди, еще не изжившие настроение вчерашнего дня. И каждый вечер из флигеля в глубине двора величественно являлась Мария Романовна, высокая, костистая, в черных очках, с обиженным лицом без губ и в кружевной черной шапочке на полуседых волосах, из-под шапочки строго торчали большие серые уши. Со второго этажа спускался квартирант Варавка, широкоплечий, рыжебородый. Он был похож на ломового извозчика, который вдруг разбогател и, купив чужую одежду, стеснительно натянул ее на себя. Двигался тяжело, осторожно, но все-таки очень шумно шаркал подошвами; ступни у него были овальные, как блюда для рыбы. Садясь к чайному столу, он сначала заботливо пробовал стул, достаточно ли крепок? На нем и вокруг него всё потрескивало, скрипело, тряслось, мебель и посуда боялись его, а когда он проходил мимо рояля — гудели струны. Являлся доктор Сомов, чернобородый, мрачный; остановясь в двери, на пороге, он осматривал всех выпуклыми, каменными глазами из-под бровей, похожих на усы, и спрашивал хрипло:

— Живы, здоровы?

Потом он шагал в комнату, и за его широкой сутулой спиною всегда оказывалась докторша, худенькая, желтолицая, с огромными глазами. Молча поцеловав Веру Петровну, она кланялась всем людям в комнате, точно иконам в церкви, садилась подальше от них и сидела, как на приеме у дантиста, прикрывая рот платком. Смотрела она в тот угол, где потемнее, и как будто ждала, что вот сейчас из темноты кто-то позовет ее:

«Иди!»

Клим знал, что она ждет смерть, доктор Сомов при нем и при ней сказал:

— Никогда не встречал человека, который так глупо боится смерти, как моя супруга.

Незаметно и неожиданно, где-нибудь в углу, в сумраке, возникал рыжий человек, учитель Клима и Дмитрия, Степан Томилин; вбегала всегда взволнованная барышня Таня Куликова, сухонькая, со смешным носом, изъеденным оспой; она приносила книжки или тетрадки, исписанные лиловыми словами, наскакивала на всех и подавленно, вполголоса торопила:

— Ну, давайте читать, читать!

Вера Петровна успокаивала ее:

— Напьемся чаю, отпустим прислугу и тогда...

— С прислугой — осторожно! — предупреждал доктор Сомов, покачивая головой, а на темени ее, в клочковатых волосах, светилась серая круглая пустота. Взрослые пили чай среди комнаты, за круглым столом, под лампой с белым абажуром, придуманным Самгиным: абажур отражал свет не вниз, на стол, а в потолок; от этого по комнате разливался скучный полумрак, а в трех углах ее было темно, почти как ночью. В четвертом, освещенном стенной лампой, у кадки с огромным рододендроном, помещался детский стол. Черные лапчатые листья растения расползались по стенам, на стеблях, привязанных бечевками ко гвоздям, воздушные корни висели в воздухе, как длинные серые черви.

Солидный, толстенький Дмитрий всегда сидел спиной к большому столу, а Клим, стройный, сухонький, остриженный в кружок, «под мужика», усаживался лицом ко взрослым и, внимательно слушая их говор, ждал, когда отец начнет показывать его.

Почти каждый вечер отец, подозвав Клима к себе, сжимал его бедра мягкими коленями и спрашивал:

— Ну, так как же, мужичок: что всего лучше?

Клим отвечал:

— Когда генерала хоронят.

— А — почему?

— Музыка играет.

— А что всего хуже?

— Если у мамы голова болит.

— Каково? — победоносно осведомлялся Самгин у гостей, и его смешное, круглое лицо ласково сияло. Гости, усмехаясь, хвалили Клима, но ему уже не нравились такие демонстрации ума его, он сам находил ответы свои глупенькими. Первый раз он дал их года два тому назад. Теперь он покорно и даже благосклонно подчинялся забаве, видя, что она приятна отцу, но уже чувствовал в ней что-то обидное, как будто он — игрушка: пожмут ее — пищит.

Из рассказов отца, матери, бабушки гостям Клим узнал о себе немало удивительного и важного: оказалось, что он, будучи еще совсем маленьким, заметно отличался от своих сверстников.

— Простые, грубые игрушки нравились ему больше затейливых и дорогих,— быстро-быстро и захлебываясь словами, говорил отец; бабушка, важно качая седою, пышно причесанной головой, подтверждала, вздыхая:

— Да, да, он любит простое.

И, в свою очередь, интересно рассказывала, что еще пятилетним ребенком Клим трогательно ухаживал за хилым цветком, который случайно вырос в теневом углу сада, среди сорных трав; он поливал его, не обращая внимания на цветы в клумбах, а когда цветок все-таки погиб, Клим долго и горько плакал.

Не слушая тещу, отец говорил сквозь ее слова:

— Гораздо охотнее играет с внуком няньки, чем с детями своего круга...

Отец рассказывал лучше бабушки и всегда что-то такое, чего мальчик не замечал за собой, не чувствовал в себе. Иногда Климу даже казалось, что отец сам выдумал слова и поступки, о которых говорит, выдумал для того, чтоб похвастаться сыном, как он хвастался изумительной точностью хода своих часов, своим уменьем играть в карты и многим другим.

Но чаще Клим, слушая отца, удивлялся: как он забыл о том, что помнит отец? Нет, отец не выдумал, ведь и мама тоже говорит, что в нем, Климе, много необыкновенного, она даже объясняет, отчего это явилось.

— Он родился в тревожный год — тут и пожар, и арест Якова, и еще многое. Носила я его тяжело, роды были несколько преждевременны, вот откуда его странности, я думаю.

Клим слышал, что она говорит, как бы извиняясь или спрашивая: так ли это? Гости соглашались с нею:

— Да, это понятно!

Однажды, взволнованный неудачной демонстрацией его ума перед гостями, Клим спросил отца:

— Почему я — необыкновенный, а Митя — обыкновенный? Он ведь тоже родился, когда всех вешали?

Отец объяснял очень многословно и долго, но в памяти Клима осталось только одно: есть желтые цветы и есть красные, он, Клим, красный цветок; желтые цветы — скучные.

Бабушка, неласково косясь на зятя, упрямо говорила, что на характер внука нехорошо влияет его смешное, мужицкое имя: дети называют Клима — клин, это обижает мальчика, потому он и тянется ко взрослым.

— Это очень вредно,— говорила она.

Со всем этим никогда не соглашался Настоящий Старик — дедушка Аким, враг своего внука и всех людей, высокий, сутулый и скучный, как засохшее дерево. У него длинное лицо в двойной бороде от ушей до плеч, а подбородок голый, бритый, так же, как верхняя губа. Нос тяжелый, синеватый, глаза деда заросли серыми бровями. Его длинные ноги не сгибаются, длинные руки с кривыми пальцами шевелятся нехотя, неприятно, он одет всегда в длинный коричневый сюртук, обут в бархатные сапоги на меху и на мягких подошвах. Он ходит с палкой, как ночной сторож, на конце палки кожаный мяч, чтоб она не стучала по полу, а шлепала и шаркала в тон подошвам его сапог. Он именно «настоящий старик» и даже сидит опираясь обеими руками на палку, как сидят старики на скамьях городского сада.

— Всё это — вреднейшая ерунда,— ворчит он.— Вы все портите ребенка, выдумываете его.

Между дедом и отцом тотчас разгорался спор. Отец доказывал, что всё хорошее на земле — выдумано, что выдумывать начали еще обезьяны, от которых родился

человек,— дед сердито шаркал палкой, вычерчивая на полу нули, и кричал скрипучим голосом:

— И-и ерунда...

Но никто не мог переспорить отца, из его вкусных губ слова сыпались так быстро и обильно, что Клим уже знал: сейчас дед отмахнется палкой, выпрямится, большой, как лошадь в цирке, вставшая на задние ноги, и пойдет к себе, а отец крикнет вслед ему:

«Ты, пап, мизантроп!»

Так всегда было.

Клим очень хорошо чувствовал, что дед всячески старается унизить его, тогда как все другие взрослые заботливо возвышают. Настоящий Старик утверждал, что Клим просто слабенький, вялый мальчик и что ничего необыкновенного в нем нет. Он играл плохими игрушками только потому, что хорошие у него отнимали бойкие дети, он дружился с внуком няньки, потому что Иван Дронов глупее детей Варавки, а Клим, избалованный всеми, самолюбив, требует особого внимания к себе и находит его только у Ивана.

Это было очень обидно слышать, возбуждало неприязнь к дедушке и робость пред ним. Клим верил отцу: всё хорошее выдумано — игрушки, конфеты, книги с картинками, стихи — всё. Заказывая обед, бабушка часто говорит кухарке:

— Отстань! Выдумай сама что-нибудь.

И всегда нужно что-нибудь выдумывать, иначе никто из взрослых не будет замечать тебя и будешь жить так, как будто тебя нет или как будто ты не Клим, а Дмитрий.

Клим не помнил, когда именно он, заметив, что его выдумывают, сам начал выдумывать себя, но он хорошо помнил свои наиболее удачные выдумки. Когда-то давно он спросил Варавку:

— Почему у тебя такая насекомая фамилия? Ты — не русский?

— Я — турок,— ответил Варавка.— Моя настоящая фамилия Бей Непалкой Акопейкой бей. Бей — это по-турецки, а по-русски значит — господин.

— Это вовсе не фамилия, а нянькина пословица,— сказал Клим.

Варавка схватил его и стал подкидывать к потолку, легко, точно мяч. Вскоре после этого привязался неприятный доктор Сомов, дышавший запахом водки и соленой рыбы; пришлось выдумать, что его фамилия круглая, как бочонок. Выдумалось, что дедушка говорит лиловыми словами. Но, когда он сказал, что люди сердятся по-летнему и по-зимнему, бойкая дочь Варавки, Лида, сердито крикнула:

— Это я сказала, я первая, а не он!

Клим сконфузился, покраснел.

Выдумывать было не легко, но он понимал, что именно за это все в доме, исключая Настоящего Старика, любят его больше, чем брата Дмитрия. Даже доктор Сомов, когда шли кататься в лодках и Клим с братом обогнали его,— даже угрюмый доктор, лениво шагавший под руку с мамой, сказал ей:

— Вот, Вера, идут двое, а их — десять, потому что один из них — нуль, а другой — единица.

Клим тотчас догадался, что нуль — это кругленький, скучный братишка, смешно похожий на отца. С того дня он стал называть брата Желтый Ноль, хотя Дмитрий был розовощекий, голубоглазый.

Заметив, что взрослые всегда ждут от него чего-то, чего нет у других детей, Клим старался, после вечернего чая, возможно больше посидеть со взрослыми у потока слов, из которого он черпал мудрость. Внимательно слушая бесконечные споры, он хорошо научился выхватывать слова, которые особенно царапали его слух, а потом спрашивал отца о значении этих слов. Иван Самгин с радостью объяснял, что такое мизантроп, радикал, атеист, культуртрегер, а объяснив и лаская сына, хвалил его:

— Ты — умник. Любопытствуй, любопытствуй, это полезно.

Отец был очень приятный, но менее интересный, чем Варавка. Трудно было понять, что говорит отец, он говорил так много и быстро, что слова его подавляли друг друга, а вся речь напоминала о том, как пузырится пена пива или кваса, вздымаясь из горлышка бутылки. Варавка говорил немного и словами крупными,

точно на вывесках. На его красном лице весело сверкали маленькие зеленоватые глазки, его рыжеватая борода пышностью своей была похожа на хвост лисы, в бороде шевелилась большая, красная улыбка; улыбнувшись, Варавка вкусно облизывал губы свои длинным, маслено блестевшим языком.

Несомненно, это был самый умный человек, он никогда ни с кем не соглашался и всех учил, даже Настоящего Старика, который жил тоже несогласно со всеми, требуя, чтоб все шли одним путем.

— У России один путь,— говорил он, пристукивая палкой.

А Варавка кричал ему:

— Европа мы или нет?

Он всегда говорил, что на мужике далеко не уедешь, что есть только одна лошадь, способная сдвинуть воз,— интеллигенция. Клим знал, что интеллигенция — это отец, дед, мама, все знакомые и, конечно, сам Варавка, который может сдвинуть какой угодно тяжелый воз. Но было странно, что доктор, тоже очень сильный человек, не соглашался с Варавкой; сердито выкатывая черные глаза, он кричал:

— Это уж, знаете, чёрт знает что!

Мария Романовна, выпрямляясь, как солдат, строго говорила:

— Стыдитесь, Варавка!

А иногда она торжественно уходила в самый горячий момент спора, но, остановясь в дверях, красная от гнева, кричала:

— Одумайтесь, Варавка! Вы стоите на границе предательства!

Варавка, сидя на самом крепком стуле, хохотал, стул под ним скрипел.

Потирая пухлые, теплые ладони, начинал говорить отец:

— Позволь, Тимофей! С одной стороны, конечно, интеллигенты-практики, влагая свою энергию в дело промышленности и проникая в аппарат власти... с другой стороны, заветы недавнего прошлого...

— Со всех сторон плохо говоришь,— кричал Варавка, и Клим соглашался: да, отец плохо говорит и

всегда оправдываясь, точно нашаливший. Мать тоже соглашалась с Варавкой.

— Тимофей Степанович — прав! — решительно заявляла она.— Жизнь оказалась сложнее, чем думали. Многое, принятое нами на веру, необходимо пересмотреть.

Она говорила немного, спокойно и без необыкновенных слов, очень редко сердилась, но всегда — не «полетнему», шумно и грозно, как мать Лидии, а «по-зимнему». Красивое лицо ее бледнело, брови опускались; вскинув тяжелую, пышно причесанную голову, она спокойно смотрела выше человека, который рассердил ее, и говорила что-нибудь коротенькое, простое. Когда она так смотрела на отца, Климу казалось, что расстояние между ею и отцом увеличивается, хотя оба не двигаются с мест. Однажды она очень «по-зимнему» рассердилась на учителя Томилина, который долго и скучно говорил о двух правдах: правде-истине и правде-справедливости.

— Довольно! — тихо, но так, что все замолчали, сказала она.— Довольно бесплодных жертв. Великодушие наивно... Время поумнеть.

— Да ты с ума сошла, Вера! — ужаснулась Мария Романовна и быстро исчезла, громко топая широкими, точно копыта лошади, каблуками башмаков. Клим не помнил, чтобы мать когда-либо конфузилась, как это часто бывало с отцом. Только однажды она сконфузилась совершенно непонятно; она подрубала носовые платки, а Клим спросил ее:

— Мама, что значит: «Не пожелай жены ближнего твоего»?

— Спроси учителя,— сказала она и, тотчас же покраснев, торопливо прибавила:

— Нет, спроси отца...

Когда говорили интересное и понятное, Климу было выгодно, что взрослые забывали о нем, но, если споры утомляли его, он тотчас напоминал о себе, и мать или отец изумлялись:

— Как — ты еще здесь?

О двух правдах спорили скучно. Клим спросил:

— А почему узнают, когда правда, когда неправда?

— А? — вопросительно и подмигивая воскликнул отец: — Смотрите-ка!

Варавка, обняв Клима, ответил ему:

— Правду, брат, узнают по запаху, она едко пахнет.

— Чем?

— Луком, хреном...

Все засмеялись, а Таня Куликова печально сказала:

— Ах, как это верно! Правда тоже вызывает слезы,— да, Томилин?

Учитель молча, осторожно отодвинулся от нее, а у Тани порозовели уши, и, наклонив голову, она долго, неподвижно смотрела в пол, под ноги себе.

Клим довольно рано начал замечать, что в правде взрослых есть что-то неверное, выдуманное. В своих беседах они особенно часто говорили о царе и народе. Коротенькое, царапающее словечко — царь — не вызывало у него никаких представлений до той поры, пока Мария Романовна не сказала другое слово:

— Вампир.

Она сказала это, так сильно встряхнув головой, что очки ее подскочили выше бровей. Вскоре Клим узнал и незаметно для себя привык думать, что царь — это военный человек, очень злой и хитрый, недавно он «обманул весь народ».

Слово «народ» было удивительно емким, оно вмещало самые разнообразные чувства. О народе говорили жалобно и почтительно, радостно и озабоченно: Таня Куликова в чем-то явно завидовала народу, отец называл его страдальцем, а Варавка — губошлепом. Клим знал, что народ — это мужики и бабы, живущие в деревнях, они по средам приезжают в город продавать дрова, грибы, картофель и капусту. Но этот народ он не считал тем, настоящим, о котором так много и заботливо говорят, сочиняют стихи, которого все любят, жалеют и единодушно желают ему счастья.

Настоящий народ Клим воображал неисчислимой толпою людей огромного роста, несчастных и страшных, как чудовищный нищий Вавилов. Это был высокий старик в шапке волос, курчавых, точно овчина, грязно-серая борода обросла его лицо от глаз до шеи, сизая шишка носа едва заметна на лице, рта совсем не видно,

а на месте глаз тускло светятся осколки мутных стекол. Но когда Вавилов рычал под окном: «Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй нас!» — в дремучей бороде его разверзалась темная яма, в ней грозно торчали три черных зуба и тяжко шевелился язык, толстый и круглый, как пест.

Взрослые говорили о нем с сожалением, милостыню давали ему почтительно, Климу казалось, что они в чем-то виноваты пред этим нищим и, пожалуй, даже немножко боятся его, так же, как боялся Клим. Отец восхищался:

— Это обиженный Илья Муромец, гордая сила народная! — говорил он.

А нянька Евгения, круглая и толстая, точно бочка, кричала, когда дети слишком шалили:

— Вот я Вавилова позову!

По ее рассказам, нищий этот был великий грешник и злодей, в голодный год он продавал людям муку с песком, с известкой, судился за это, истратил все деньги свои на подкупы судей и хотя мог бы жить в скромной бедности, но вот нищенствует.

— Это он со зла, напоказ людям делает,— говорила она, и Клим верил ей больше, чем рассказам отца.

Было очень трудно понять, что такое народ. Однажды летом Клим, Дмитрий и дед ездили в село на ярмарку. Клима очень удивила огромная толпа празднично одетых баб и мужиков, удивило обилие полупьяных, очень веселых и добродушных людей. Стихами, которые отец заставил его выучить и заставлял читать при гостях, Клим спросил дедушку:

— А где же настоящий народ, который стонет по полям, по дорогам, по тюрьмам, по острогам, под телегой ночуя в степи?

Старик засмеялся и сказал, махнув палкой на людей:

— Вот это он и есть, дурачок!

Клим не поверил. Но когда горели дома на окраине города и Томилин привел Клима смотреть на пожар, мальчик повторил свой вопрос. В густой толпе зрителей никто не хотел качать воду, полицейские выхватывали из толпы за шиворот людей, бедно одетых, и кулаками гнали их к машинам.

— Экий народ,— проворчал учитель, сморщив лицо.

— Разве это народ? — спросил Клим.

— Ну, а кто же, по-твоему?

— И пожарные — народ?

— Конечно. Не ангелы.

— Почему же только пожарные гасят огонь, а народ не гасит?

Томилин долго и скучно говорил о зрителях и деятелях, но Клим, ничего не поняв, спросил:

— А когда же народ стонет?

— Я тебе после расскажу об этом,— обещал учитель и забыл рассказать.

Самое значительное и очень неприятное рассказал Климу о народе отец. В сумерках осеннего вечера он, полураздетый и мягонький, как цыпленок, уютно лежал на диване,— он умел лежать удивительно уютно. Клим, положив голову на шерстяную грудь его, гладил ладонью лайковые щеки отца, тугие, как новый резиновый мяч. Отец спросил: что сегодня говорила бабушка на уроке закона божия?

— Жертвоприношение Авраама.

— Ага. Как же ты это понял?

Клим рассказал, что бог велел Аврааму зарезать Исаака, а когда Авраам хотел резать, бог сказал: не надо, лучше зарежь барана. Отец немного посмеялся, а потом, обняв сына, разъяснил, что эту историю надобно понимать:

— Ино-ска-за-тель-но. Бог — это народ, Авраам — вождь народа; сына своего он отдает в жертву не богу, а — народу. Видишь, как просто?

Да, это было очень просто, но не понравилось мальчику. Подумав, он спросил:

— А ты говоришь, что народ — страдалец?

— Ну да! Потому он и требует жертв. Все страдальцы требуют жертв, все и всегда.

— Зачем?

— Дурачок! Чтоб не страдать. То есть — чтоб его, народ, научили жить не страдая. Христос тоже Исаак, бог отец отдал его в жертву народу. Понимаешь: тут та же сказка о жертвоприношении Авраамовом.

Клим снова задумался, а потом осторожно спросил:

— Ты — вождь народа?

На этот раз задумался отец, прищурив глаз. Но думал он недолго.

— Видишь ли, мы все — Исааки. Да. Например: дядя Яков, который сослан, Мария Романовна и вообще — наши знакомые. Ну, не совсем все, но большинство интеллигентов обязано приносить силы свои в жертву народу...

Отец говорил долго, но сын уже не слушал его, и с этого вечера народ встал перед ним в новом освещении, не менее туманном, чем раньше, но еще более страноватом.

И вообще, чем дальше, тем всё труднее становилось понимать взрослых,— труднее верить им. Настоящий Старик очень гордился своим училищем для сирот, интересно рассказывал о нем. Но вот он привез внуков на рождественскую елку в это хваленое училище, и Клим увидал несколько десятков худеньких мальчиков, одетых в полосатое, синее с белым, как одевают женщин-арестанток. Все мальчики были бритоголовые, у многих на лицах золотушные язвы, и все они были похожи на оживших солдатиков из олова. Стоя около некрасивой елки в три ряда, в форме буквы «п», они смотрели на нее жадно, испуганно и скучно. Явился толстенький человечек с голым черепом, с желтым лицом без усов и бровей, тоже как будто уродливо распухший мальчик; он взмахнул руками, и все полосатые отчаянно запели:

Ах ты, воля, моя воля,
Золотая ты моя!

Открыв рты, точно рыбы на суше, мальчики хвалили царя.

Знать, проведал наш родимый
Про житье-бытье, нужду,
Знать, увидел наш кормилец
Горемычную слезу.

Это было очень оглушительно, а когда мальчики кончили петь, стало очень душно. Настоящий Старик отирал платком вспотевшее лицо свое. Климу показа-

лось, что, кроме пота, по щекам деда текут и слезы. Раздачи подарков не стали дожидаться — у Клима разболелась голова. Дорогой он спросил дедушку:

— Они любят царя?

— Разумеется,— ответил дедушка, но тотчас сердито прибавил: — Они мятные пряники любят.

А помолчав, прибавил еще:

— Они есть любят.

Неловко было подумать, что дед — хвастун, но Клим подумал это.

Бабушка, толстая и важная, в рыжем кашемировом капоте, смотрела на всё сквозь золотой лорнет и говорила тягучим, укоряющим голосом:

— Бывало, у меня в доме...

Всё бывшее у нее в доме было замечательно, сказочно хорошо, по ее словам, но дед не верил ей и насмешливо ворчал, раскидывая сухими пальцами седые баки свои:

— У вас, Софья Кирилловна, была, очевидно, райская жизнь.

Тяжелый нос бабушки обиженно краснел, и она уплывала медленно, как облако на закате солнца. Всегда в руке ее французская книжка с зеленой шёлковой закладкой, на закладке вышиты черные слова:

«Бог — знает, человек только догадывается».

Бабушку никто не любил. Клим, видя это, догадался, что он неплохо сделает, показывая, что только он любит одинокую старуху. Он охотно слушал ее рассказы о таинственном доме. Но в день своего рождения бабушка повела Клима гулять и в одной из улиц города, в глубине большого двора, указала ему неуклюжее, серое, ветхое здание в пять окон, разделенных тремя колоннами, с развалившимся крыльцом, с мезонином в два окна.

— Вот мой дом.

Окна были забиты досками, двор завален множеством полуразбитых бочек и корзин для пивных бутылок, засыпан осколками бутылочного стекла. Среди двора сидела собака, выкусывая из хвоста репейник. И старичок с рисунка из надоевшей Климу «Сказки о рыбаке и рыбке» — такой же лохматый старичок, как собака,— сидя на ступенях крыльца, жевал хлеб с зеленым луком.

Клим хотел напомнить бабушке, что она рассказывала ему не о таком доме, но, взглянув на нее, спросил:

— Ты о чем плачешь?

Бабушка не ответила, выжимая слезы из глаз маленьким платочком, обшитым кружевами.

Да, всё было не такое, как рассказывали взрослые. Климу казалось, что различие это понимают только двое — он и Томилин, «личность неизвестного назначения», как прозвал учителя Варавка.

В учителе Клим видел нечто таинственное. Небольшого роста, угловатый, с рыжей, расколотой надвое бородкой и медного цвета волосами до плеч, учитель смотрел на всё очень пристально и как бы издалека. Глаза у него были необыкновенны: на белках мутно-молочного цвета выпуклые золотистые зрачки казались наклеенными. Ходил Томилин в синем пузыре рубахи из какой-то очень жесткой материи, в тяжелых, мужицких сапогах, в черных брюках. Лицо его напоминало икону святого. Всего любопытнее были неприятно красные, боязливые руки учителя. Первые дни знакомства Клим думал, что Томилин полуслеп, он видит все вещи не такими, каковы они есть, а крупнее или меньше, оттого он и прикасается к ним так осторожно, что было даже смешно видеть это. Но учитель не носил очков, и всегда именно он читал вслух лиловые тетрадки, перелистывая страницы нерешительно, как будто ожидая, что бумага вспыхнет под его раскаленными пальцами. Он жил в мезонине Самгиных уже второй год, ни в чем не изменяясь, так же, как не изменился за это время самовар.

После чая, когда горничная Малаша убирала посуду, отец ставил пред Томилиным две стеариновые свечи, все усаживались вокруг стола, Варавка морщился, точно ему надо было принять рыбий жир,— морщился и ворчливо спрашивал:

— Что — опять чтение премудростей сиятельного графа?

Затем он прятался за рояль, усаживаясь там в кожаное кресло, закуривал сигару, и в дыму ее глухо звучали его слова:

— Ребячество. Шалит барин.

— М-мыслитель,— тоже неодобрительно мычал доктор, прихлебывая пиво.

Доктор неприятен, он как будто долго лежал в погребе, отсырел там, оброс черной плесенью и разозлился на всех людей. Он, должно быть, неумный, даже хорошую жену не мог выбрать, жена у него маленькая, некрасивая и злая. Говорила она редко, скупо; скажет два-три слова и надолго замолчит, глядя в угол. С нею не спорили и вообще о ней забывали, как будто ее и не было; иногда Климу казалось: забывают о ней нарочно, потому что боятся ее. Но ее надорванный голос всегда тревожил Клима, заставляя ждать, что эта остроносая женщина скажет какие-то необыкновенные слова, как она это уже делала.

Однажды Варавка вдруг рассердился, хлопнул тяжелой ладонью по крышке рояля и проговорил, точно дьякон:

— Чепуха! Всякое разумное действие человека неизбежно будет насилием над ближними или над самим собой.

Клим ожидал, что Варавка скажет еще:

«Аминь!» — но он ничего не успел сказать, потому что заворчал доктор:

— Наивничает граф, Дарвина не читал.

— Дарвин — дьявол,— громко сказала его жена; доктор кивнул головой так, как будто его ударили по затылку, и тихонько буркнул:

— Валаамова ослица...

На Варавку кричала Мария Романовна, но сквозь ее сердитый крик Клим слышал упрямый голос докторши:

— Он внушил, что закон жизни — зло.

— Довольно, Анна,— ворчал доктор, а отец начал спорить с учителем о какой-то гипотезе, о Мальтусе; Варавка встал и ушел, увлекая за собой ленту дыма сигары.

Варавка был самый интересный и понятный для Клима. Он не скрывал, что ему гораздо больше нравится играть в преферанс, чем слушать чтение. Клим чувствовал, что и отец играет в карты охотнее, чем слушает чтение, но отец никогда не сознавался в этом.

Варавка умел говорить так хорошо, что слова его ложились в память, как серебряные пятачки в копилку. Когда Клим спросил его: что такое гипотеза? — он тотчас ответил:

— Это — собачка, с которой охотятся за истиной.

Он был веселее всех взрослых и всем давал смешные прозвища.

Клима посылали спать раньше, чем начиналось чтение или преферанс, но мальчик всегда упрямился, просил:

— Я посижу еще немножко, немножечко!

— Нет,— как он любит общество взрослых!— удивлялся отец. После этих слов Клим спокойно шел в свою комнату, зная, что он сделал то, чего хотел,— заставил взрослых еще раз обратить внимание на него.

Но иногда отец просил:

— А ну-ко, почитай «Размышление» от строки:

Ты, считающий жизнью завидною.

Клим протягивал правую руку в воздухе, левой держался за пояс штанов и читал, нахмурясь:

Упоение лестью бесстыдною,
Волокитство, обжорство, игру,—
Пробудись!

Варавка хохотал до слез, мать неохотно улыбалась, а Мария Романовна пророчески, вполголоса говорила ей:

— Он будет честным человеком.

Клим видел, что взрослые всё выше поднимают его над другими детьми; это было приятно. Но изредка он уже чувствовал, что внимание взрослых несколько мешает ему. Бывали часы, когда он и хотел и мог играть так же самозабвенно, как вихрастый горбоносый Борис Варавка, его сестра, как брат Дмитрий и белобрысые дочери доктора Сомова. Так же, как все они, Клим пьянел от возбуждения и терял себя в играх. Но лишь только он замечал, что кто-то из больших видит его, он тотчас трезвел от боязни, что увлечение игрою низводит его в ряд обыкновенных детей. Ему всегда казалось, что взрослые наблюдают за ним, ждут от него особенных слов и поступков.

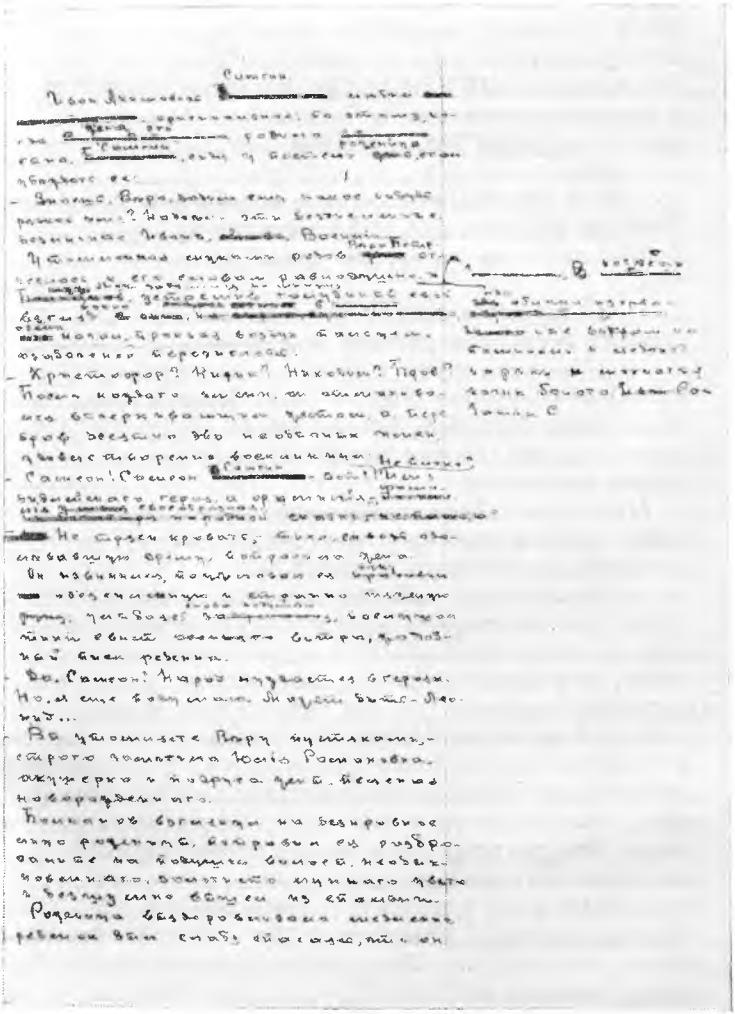
Вместе с тем он замечал, что дети всё откровеннее не любят его. Они смотрели на него с любопытством, как на чужого, и тоже, как взрослые, ожидали от него каких-то фокусов. Но его мудреные словечки и фразы возбуждали у них насмешливый холодок, недоверие к нему, а порою и враждебность. Клим догадывался, что они завидуют его славе — славе мальчика исключительных способностей, но все-таки это обижало его, вызывая в нем то грусть, то раздражение. Ему хотелось преодолеть недружелюбие товарищей, но он пытался делать это лишь продолжая более усердно играть роль, навязанную взрослыми. Он пробовал командовать, учить, и — вызывал сердитый отпор Бориса Варавки. Этот ловкий, азартный мальчик пугал и даже отталкивал Клима своим властным характером. В его затеях всегда было что-то опасное, трудное, но он заставлял подчиняться ему и во всех играх сам назначал себе первые роли. Прятался в недоступных местах, кошкой лазил по крышам, по деревьям; увертливый, он никогда не давал поймать себя и, доведя противную партию игроков до изнеможения, до отказа от игры, издевался над побежденными:

— Что — проиграли, сдаетесь? Эх вы...

Климу казалось, что Борис никогда ни о чем не думает, заранее зная, как и что надобно делать. Только однажды, раздосадованный вялостью товарищей, он возмечтал:

— Летом заведу себе хороших врагов из приютских мальчиков или из иконописной мастерской и стану сражаться с ними, а от вас — уйду...

Клим чувствовал, что маленький Варавка не любит его настойчивее и более открыто, чем другие дети. Ему очень нравилась Лида Варавка, тоненькая девочка, смуглая, большеглазая, в растрепанной шапке черных курчавых волос. Она изумительно бегала, легко отскакивая от земли, точно и не касаясь ее; кроме брата, никто не мог ни поймать, ни перегнать ее. И так же, как брат, она всегда выбирала себе первые роли. Ударившись обо что-нибудь, расцарапав ногу, руку, разбив себе нос, она никогда не плакала, не ныла, как это делали девочки Сомовы. Но она была почти болезненно



«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА», ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Страница чернового автографа.

чутка к холоду, не любила тени, темноты и в дурную погоду нестерпимо капризничала. Зимою она засыпала, как муха, сидела в комнатах, почти не выходя гулять, и сердито жаловалась на бога, который совершенно напрасно огорчает ее, посылая на землю дождь, ветер, снег.

О боге она говорила, точно о добром и хорошо знакомом ей старике, который живет где-то близко и может делать всё, что хочет, но часто делает не так, как надо.

— Бога вовсе и нет,— заявил Клим.— Это только старики и старухи думают, что он есть.

— Я — не старуха, и Павля — тоже молодая еще,— спокойно возразила Лида.— Мы с Павлей очень любим его, а мама сердится, потому что он несправедливо наказал ее, и она говорит, что бог играет в люди, как Борис в свои солдатики.

Мать свою Лида изображала мученицей, ей жгут спину раскаленным железом, впрыскивают под кожу лекарства и всячески терзают ее.

— Папа хочет, чтоб она уехала за границу, а она не хочет, она боится, что без нее папа пропадет. Конечно, папа не может пропасть. Но он не спорит с ней, он говорит, что больные всегда выдумывают какие-нибудь страшные глупости, потому что боятся умереть.

С этой девочкой Климу было легко и приятно, так же приятно, как слушать сказки няньки Евгении. Клим понимал, что Лидия не видит в нем замечательного мальчика, в ее глазах он не растет, а остается всё таким же, каким был два года тому назад, когда Варавки сняли квартиру. Он смущался и досадовал, видя, что девочка возвращает его к детскому, глупенькому, но он не мог, не умел убедить ее в своей значительности; это было уже потому трудно, что Лида могла говорить непрерывно целый час, но не слушала его и не отвечала на вопросы.

Нередко вечерами, устав от игры, она становилась тихонькой и, широко раскрыв ласковые глаза, ходила по двору, по саду, осторожно щупая землю пружинными ногами и как бы ища нечто потерянное.

— Пойдем, посидим,— предлагала она Климу.

В углу двора, между конюшней и каменной стеной недавно выстроенного дома соседей, стоял, умирая без солнца, большой вяз, у ствола его были сложены старые доски и бревна, а на них, в уровень с крышей конюшни, лежал плетеный из прутьев возок дедушки. Клим и Лида влезали в этот возок и сидели в нем, беседуя. Зябкая девочка прижималась к Самгину, и ему было особенно томно приятно чувствовать ее крепкое, очень горячее тело, слушать задумчивый и ломкий голосок.

Голос у нее бедный, двухтоновой, Климу казалось, что он качается только между нот фа и соль. И вместе с матерью своей Клим находил, что девочка знает много лишнего для своих лет.

— Про аиста и капусту выдумано,— говорила она.— Это потому говорят, что детей родить стыдятся, а все-таки родят их мамы, так же как кошки, я это видела, и мне рассказывала Павля. Когда у меня вырастут груди, как у мамы и Павли, я тоже буду родить — мальчика и девочку, таких, как я и ты. Родить — нужно, а то будут всё одни и те же люди, а потом они умрут и уж никого не будет. Тогда помрут и кошки и курицы,— кто же накормит их? Павля говорит, что бог запрещает родить только монашенкам и гимназисткам.

Особенно часто, много и всегда что-то новое Лидия рассказывала о матери и о горничной Павле, румяной, веселой толстухе.

— Павля всё знает, даже больше, чем папа. Бывает, если папа уехал в Москву, Павля с мамой поют тихонькие песни и плачут обе две, и Павля целует мамины руки. Мама очень много плачет, когда выпьет мадеры, больная потому что и злая тоже. Она говорит: «Бог сделал меня злой». И ей не нравится, что папа знаком с другими дамами и с твоей мамой; она не любит никаких дам, только Павлю, которая ведь не дама, а солдатова жена.

Рассказывая, она крепко сжимала пальцы рук в кулачок и, покачиваясь, размеренно пристукивала кулачком по коленям своим. Голос ее звучал всё тише, всё менее оживленно, наконец она говорила как бы сквозь дрему и вызывала этим у Клима грустное чувство.

— До того, как захворать, мама была цыганкой, и даже есть картина с нее в красном платье, с гитарой. Я немножко поучусь в гимназии и тоже стану петь с гитарой, только в черном платье.

Иногда Клим испытывал желание возразить девочке, поспорить с нею, но не решался на это, боясь, что Лида рассердится. Находя ее самой интересной из всех знакомых девочек, он гордился тем, что Лидия относится к нему лучше, чем другие дети. И, когда Лида вдруг капризно изменяла ему, приглашая в тарантас Любовь Сомову, Клим чувствовал себя обиженным, покинутым и ревновал до злых слез.

Девочки Сомовы казались ему такими же неприятными и глупыми, как их отец. Погодки, они обе коротенькие, толстые, с лицами круглыми, точно блюдечки чайных чашек. Старшая, Варя, отличалась от сестры своей только тем, что постоянно хворала и не так часто, как Любовь, вертелась на глазах Клима. Младшую Варавка прозвал Белой Мышью, а дети называли ее Люба Клоун. Белое лицо ее казалось осыпанным мукой, голубовато-серые, жидкие глаза прятались в розовых подушечках опухших век, бесцветные брови почти невидимы на коже очень выпуклого лба, льняные волосы лежали на черепе, как приклеенные, она заплетала их в смешную косичку, с желтой лентой в конце. Она была веселая, но Клим подозревал, что веселость эта придумана некрасивой и неумной девочкой. Выдумывала она очень много и всегда неудачно. Придумала скучную игру «Что с кем будет?»: нарезав бумагу маленькими квадратиками, она писала на них разные слова, свертывала квадратики в тугие трубки и заставляла детей вынимать из подола ее по три трубки.

— Кольцо, звон, волк,— читала Лидия свои жребии, а Люба говорила ей старческим, гнусавым голосом гадалки:

— Ты, милая барышня, выйдешь замуж за попа и будешь жить в деревне.

Лидия сердилась:

— Ты не умеешь гадать! Я тоже не умею, но ты — больше.

На билетиках Клима оказались слова:

— Луна, сон, лук.

Люба Клоун зажала бумажки в кулак, подумала минуту, кусая пухлые губы, и закричала:

— Ты увидишь во сне, что поцеловал луну, ожегся и заплакал; это — во сне!

— Чепуха, но — ловко! — одобрил Борис.

Из всех сказок Андерсена Сомовой особенно нравилась «Пастушка и трубочист». В тихие часы она просила Лидию читать эту сказку вслух и, слушая, тихо, бесстыдно плакала. Борис Варавка ворчал, хмурясь:

— Перестань. Еще хорошо, что они не разбились.

И смешная печаль о фарфоровом трубочисте и всё в этой девочке казалось Климу фальшивым. Он смутно подозревал, что она пытается показать себя такой же особенной, каков он, Клим Самгин.

Как-то поздним вечером Люба, взволнованно вбежав с улицы на двор, где шумно играли дети, остановилась и, высоко подняв руку, крикнула в небо:

— Слушайте, слушайте...

Все примолкли, внимательно глядя в синеватые небеса, но никто ничего не услышал. Клим, обрадованный, что какой-то фокус не удался Любе, начал дразнить ее, притопывая ногой:

— Не умела обмануть, никого не обманула!

Но девочка, оттолкнув его, напряженно сморщила мучнистое лицо свое и торопливо проговорила:

Вчера надел мой папа шляпу
И стал похож на белый гриб,
Я просто не узнала папу...

Замолчала, прикрыв глаза, а потом с досадой упрекнула Клима:

— Это ты спутал всё...

— Он всегда суется вперед всех, как слепой,— сурово сказал Борис и начал подсказывать рифмы:

— Сшиб? Рыб? Погиб?

Клим, видя, что все недовольны, еще более невзлюбил Сомову и еще раз почувствовал, что с детьми ему труднее, чем со взрослыми.

Варя была скучнее сестры и так же некрасива. На висках у нее синенькие жилки, совиные глаза унылы,

движения вялого тела неловки. Говорила она вполголоса, осторожно и тягуче, какими-то мятыми словами; трудно было понять, о чем она говорит. Клима очень удивляло, почему Борис так внимательно ухаживает за Сомовыми, а не за красивой Алиной Телепневой, подругой его сестры.

В ненастные дни дети собирались в квартире Варавок, в большой неряшливой комнате, которая могла быть залою. В ней стоял огромный буфет, фисгармония, широчайший диван, обитый кожею, посреди ее — овальный стол и тяжелые стулья с высокими спинками. Варавки жили в этой квартире уже третий год, но казалось, что они поселились только вчера, все вещи стояли не на своих местах, вещей было недостаточно, комната казалась пустынной, неуютной.

Чаще всего дети играли в цирк; ареной цирка служил стол, а конюшни помещались под столом. Цирк — любимая игра Бориса, он был директором и дрессировщиком лошадей, новый товарищ Игорь Туробоев изображал акробата и льва, Дмитрий Самгин — клоуна, сестры Сомовы и Алина — пантера, гиена и львица, а Лидия Варавка играла роль укротительницы зверей. Звери исполняли свои обязанности честно и серьезно, хватали Лидию за юбку, за ноги, пытались повалить ее и загрызть; Борис отчаянно кричал:

— Не визжать поросятами! Лидка, бей их больнее!

Климу чаще всего навязывали унизительные обязанности конюха, он вытаскивал из-под стола лошадей, зверей и подозревал, что эту службу возлагают на него нарочно, чтоб унизить. И вообще игра в цирк не нравилась ему, как и другие игры, крикливые, быстро надоедавшие. Отказываясь от участия в игре, он уходил в «публику», на диван, где сидели Павля и сестра милосердия, а Борис ворчал:

— Эх, капризуля! Павла, позови Дронова, чёрт его...

Сидя на диване, Клим следил за игрою, но больше, чем дети, его занимала Варавка-мать. В комнате, ярко освещенной большой висячей лампой, полулежала в широкой постели, среди множества подушек, точно в сугробе снега, черноволосая женщина с большим носом

и огромными глазами на темном лице. Издали лохматая голова женщины была похожа на узловатый, обугленный, но еще тлеющий корень дерева. Глафира Исаевна непрерывно курила толстые желтые папиросы, дым густо шел изо рта, из ноздрей ее, казалось, что и глаза тоже дымятся.

— Клим! — звала она голосом мужчины. Клим боялся ее; он подходил осторожно и, шаркнув ногой, склонив голову, останавливался в двух шагах от кровати, чтоб темная рука женщины не достала его.

— Ну, что у вас там? — спрашивала она, тыкая кулаком в подушку.— Что — мать? В театре? Варавка — с ними? Ага!

«Ага» она произносила с угрозой и отталкивала мальчика сверлящим взором черных глаз.

— Ты — хитрый,— говорила она.— Тебя недаром хвалят, ты — хитрый. Нет, я не отдам Лидию замуж за тебя.

В большой комнате Борис кричал, топая ногами:

— Оркестр! Мама же — оркестр!

Глафира Исаевна брала гитару или другой инструмент, похожий на утку с длинной, уродливо прямо вытянутой шеей; отчаянно звенели струны, Клим находил эту музыку злой, как всё, что делала Глафира Варавка. Иногда она вдруг начинала петь густым голосом, в нос и тоже злобно. Слова ее песен были странно изломаны, связь их непонятна, и от этого воющего пения в комнате становилось еще сумрачней, неуютней. Дети, забившись на диван, слушали молча и покорно, но Лидия шептала виновато:

— Она может лучше, но сегодня не в голосе.

И спрашивала, очень ласково:

— Ты сегодня не в голосе, мам?

Ответ матери был невнятен, ворчлив.

— Вот видите,— говорила Лидия,— она не в голосе.

Клим думал, что, если эта женщина выздоровеет, она сделает что-нибудь страшное, но доктор Сомов успокоил его. Он спросил доктора:

— Глафира Исаевна скоро встанет?

— Вместе со всеми, в день страшного суда,— лениво ответил Сомов.

Когда доктор говорил что-нибудь плохое, мрачное,— Клим верил ему.

Если дети слишком шумели и топали, снизу, от Самгиных, поднимался Варавка-отец и кричал, стоя в двери:

— Тише, волки! Жить нельзя. Вера Петровна боится, что вы проломите потолок.

— На абордаж! — командовал Борис, и все бросались на его отца, влезали на спину, на плечи, на шею его.

— Приросли? — спрашивал он.

— Готово.

Варавка требовал с детей честное слово, что они не станут щекотать его, и затем начинал бегать рысью вокруг стола, топая так, что звенела посуда в буфете и жалобно звякали хрустальные подвески лампы.

— Уничтожай его! — кричал Борис, и начинался любимейший момент игры: Варавку щекотали, он выл, взвизгивал, хохотал, его маленькие, острые глазки испуганно выкатывались, отрывая от себя детей одного за другим, он бросал их на диван, а они, снова наскакивая на него, тыкали пальцами ему в ребра, под колени. Клим никогда не участвовал в этой грубой и опасной игре, он стоял в стороне, смеялся и слышал густые крики Глафиры:

— Так его, так!

— Сдаюсь,— выл Варавка и валился на диван, давя своих врагов. С него брали выкуп пирожными, конфектами, Лида причесывала его растрепанные волосы, бороду; помуслив палец свой, приглаживала мохнатые брови отца, а он, исхохотавшийся до изнеможения, смешно отдувался, отирал платком потное лицо и жалобно упрекал:

— Нет, вы нечестные люди...

Затем он шел в комнату жены. Она, искривив губы, шипела встречу ему, ее черные глаза, сердито расширяясь, становились глубже, страшней; Варавка говорил нехотя и негромко:

— Что? Ну, это выдумки. Перестань. Ладно. Я не старик.

Словечко «выдумки» было очень понятно Климу и обостряло его неприязнь к больной женщине. Да, она,

конечно, выдумывает что-то злое. Клим видел, что Глафира Исаевна небрежна, неласкова с детями и часто груба. Можно было думать, что Борис и Лидия только тогда интересны ей, когда они делают какие-нибудь опасные упражнения, рискуя переломать себе руки и ноги. В эти минуты она прицеливалась к детям, нахмурив густые брови, плотно сжав лиловые губы, скрестив руки и вцепившись пальцами в костлявые плечи свои. Клим был уверен, что если бы дети упали, ушиблись,— мать начала бы радостно смеяться.

Борис бегал в рваных рубашках, всклокоченный, неумытый. Лида одевалась хуже Сомовых, хотя отец ее был богаче доктора. Клим всё более ценил дружбу девочки, ему нравилось молчать, слушая ее милую болтовню,— молчать, забывая о своей обязанности говорить умное, не детское.

Но когда явился красиво, похоже на картинку, одетый щеголь Игорь Туробоев, неприятно вежливый, но такой же ловкий, бойкий, как Борис,— Лида отошла от Клима и стала ходить за новым товарищем покорно, как собачка. Это нельзя было понять, тем более нельзя, что в первый же день знакомства Борис поссорился с Туробоевым, а через несколько дней они жестоко, до слез и крови, подрались. Клим впервые видел, как яростно дерутся мальчики, наблюдал их искаженные злобой лица, оголенное стремление ударить друг друга как можно больнее, слышал их визги, хрип,— всё это так поразило его, что несколько дней после драки он боязливо сторонился от них, а себя, не умевшего драться, почувствовал еще раз мальчиком особенным. Игорь и Борис скоро стали друзьями, хотя постоянно спорили, ссорились и каждый из них упрямо, не щадя себя, старался показать, что он смелее, сильнее товарища. Борис вел себя, точно обожженный, что-то судорожное явилось в нем, как будто он, торопясь переиграть все игры, боится, что не успеет сделать это.

Когда явился Туробоев, Клим почувствовал себя отодвинутым еще дальше, его поставили рядом с братом, Дмитрием. Но добродушного, неуклюжего Дмитрия любили за то, что он позволял командовать собой, никогда не спорил, не обижался, терпеливо и неумело

играл самые незаметные, невыгодные роли. Любили и за то, что Дмитрий умел, как-то неожиданно и на зависть Клима, овладевать вниманием детей, рассказывая им о гнездах птиц, о норах и логовищах зверей, о жизни пчел и ос. Рассказывал он вполголоса, таинственно, и на широком лице его, в добрых серых глазах, светилась радостная улыбка.

— Этот Вуд — лучше Майн-Рида,— говорил он и вздыхал: — А еще есть Брем...

Туробоев и Борис требовали, чтоб Клим подчинялся их воле так же покорно, как его брат; Клим уступал им, но в середине игры заявлял:

— Я больше не играю.

И отходил прочь. Он хотел показать, что его покорность была только снисхождением умного, что он хочет и умеет быть независимым и выше всех милых глупостей. Но этого никто не понимал, а Борис буйно кричал:

— Иди к чёрту, ты надоел!

Его рябое остроносое лицо пестрело, покрываясь красными пятнами, глаза гневно сверкали; Клим боялся, что Варавка ударит его.

Лидия смотрела на него искоса и хмурилась, Сомовы и Алина, видя измену Лидии, перемигивались, перешептывались, и всё это наполняло душу Клима едкой грустью. Но мальчик утешал себя догадкой: его не любят, потому что он умнее всех, а за этим утешением, как тень его, возникала гордость, являлось желание поучать, критиковать; он находил игры скучными и спрашивал:

— Разве нельзя выдумать что-нибудь забавнее?

— Выдумывай, но не мешай,— сердито сказала Лида и отвернулась от него.

«Какая грубая стала»,— с горечью подумал Клим.

Он выработал себе походку, которая, воображал он, должна была придать важность ему, шагал не сгибая ног и спрятав руки за спину, как это делал учитель Томилин. На товарищей он посматривал немного прищурясь.

— Что-ты так пыжишься? — спросил его Дмитрий.

Клим презрительно усмехнулся и не ответил: он не любил брата и считал его дурачком.

Туробоев, холодненький, чистенький и вежливый, тоже смотрел на Клима, прищуривая темные, неласковые глаза,— смотрел вызывающе. Его слишком красивое лицо особенно сердито морщилось, когда Клим подходил к Лидии, но девочка разговаривала с Климом небрежно, торопливо, притопывая ногами и глядя в ту сторону, где Игорь. Она всё более плотно срасталась с Туробоевым, ходили они взявшись за руки; Климу казалось, что, даже увлекаясь игрою, они играют друг для друга, не видя, не чувствуя никого больше.

Когда играли в жмурки и Лида ловила детей, Игорь нарочно попадался в ее слепые руки.

— Неправильно! — кричал Клим, и все соглашались,— да, неправильно! А Туробоев, высоко подняв красивые брови свои, убедительно говорил:

— Но, господа, она слабенькая.

— Нет! — возмущалась Лида.— Все-таки — нет!

— Я тоже слабенькая,— обиженно заявила Люба Клоун, но Туробоев, завязав себе глаза, уже бросался ловить.

Случилось, что Дмитрий Самгин, спасаясь от рук Лиды, опрокинул стул под ноги ей, девочка ударилась коленом о ножку стула, охнула,— Игорь, побледнев, схватил Дмитрия за горло:

— Дурак! Нечестно играешь.

А когда было замечено, что Иван Дронов внимательно заглядывает под юбки девочек, Туробоев решительно потребовал, чтоб Дронова не приглашали играть.

Иван Дронов не только сам назывался по фамилии, но и бабушку свою заставил звать его — Дронов. Кривоногий, с выпученным животом, с приплюснутым, плоским черепом, широким лбом и большими ушами, он был как-то подчеркнуто, но притягательно некрасив. На его широком лице, среди которого красненькая шишечка носа была чуть заметна, блестели узенькие глазки, мутно-голубые, очень быстрые и жадные. Жадность была самым заметным свойством Дронова; с необыкновенной жадностью он втягивал мокреньким носом воздух, точно задыхаясь от недостатка его. Жадно и с поразительной быстротою ел, громко чавкая, прищлепывая толстыми яркими губами. Он говорил Климу:

— Я — человек бедный, мне надобно много есть.

По настоянию деда Акима Дронов вместе с Климом готовился в гимназию и на уроках Томилина обнаруживал тоже судорожную торопливость, Климу и она казалась жадностью. Спрашивая учителя или отвечая ему, Дронов говорил очень быстро и как-то так всасывая слова, точно они, горячие, жгли губы его и язык. Клим несколько раз допытывался у товарища, навязанного ему Настоящим Стариком:

— Отчего ты такой жадный?

Дронов шмыгал носом, скашивал в сторону беспокойные глазки свои и не отвечал.

Но в добрую минуту, таинственно понизив высокий, резкий голос свой, он сказал:

— В меня голодный червяк посажен.

— Червяк,— поправил Клим.

— То — червяк, а это — чревяк.

И быстреньким шёпотом он поведал, что тетка его, ведьма, околдовала его, вогнав в живот ему червя чревака, для того чтоб он, Дронов, всю жизнь мучился неутолимым голодом. Он рассказал также, что родился в год, когда отец его воевал с турками, попал в плен, принял турецкую веру и теперь живет богато; что ведьма тетка, узнав об этом, выгнала из дома мать и бабушку и что мать очень хотела уйти в Турцию, но бабушка не пустила ее.

Заметив, что Дронов называет голодного червя — червяком, чреваком, чревоедом, Клим не поверил ему. Но, слушая таинственный шёпот, он с удивлением видел пред собою другого мальчика, плоское лицо нянькина внука становилось красивее, глаза его не бегали, в зрачках разгорался голубоватый огонек радости, непонятной Климу. За ужином Клим передал рассказ Дронова отцу,— отец тоже непонятно обрадовался.

— Слышишь, Вера? Какая фантазия, а? Я всегда говорил, что это способнейший мальчишка...

Но мать, не слушая отца,— как она часто делала,— кратко и сухо сказала Климу, что Дронов всё это выдумал: тетки-ведьмы не было у него; отец помер, его засыпало землей, когда он рыл колодезь, мать работала на фабрике спичек и умерла, когда Дронову было четыре

года, после ее смерти бабушка нанялась нянькой к брату Мите; вот и всё.

— Да, Вера,— сказал отец,— но все-таки обрати внимание...

Дмитрий Самгин широко улыбнулся и проговорил:

— Клим тоже любит врать.

Отец повернулся к нему:

— Ты сказал грубо, Митя. Надо различать ложь от фантазии...

Тут пришел Варавка, за ним явился Настоящий Старик, начали спорить, и Клим еще раз услышал немало такого, что укрепило его в праве и необходимости выдумывать себя, а вместе с этим вызвало в нем интерес к Дронову,— интерес, похожий на ревность. На другой же день он спросил Ивана:

— Ты зачем наврал про тетку? Тетки-то не было.

Дронов сердито взглянул на него и, скосив глаза, ответил:

— А ты — не болтай, чего не понимаешь. Из-за тебя мне бабка ухи надрала... Бубенчик!

Каждое утро, в девять часов, Клим и Дронов поднимались в мезонин к Томилину и до полудня сидели в маленькой комнате, похожей на чулан, куда в беспорядке брошены три стула, стол, железный умывальник, скрипучая деревянная койка и множество книг. В комнате этой всегда было жарко, стоял душный запах кошек и голубиного помета. Из полукруглого окна были видны вершины деревьев сада, украшенные инеем или снегом, похожим на куски ваты; за деревьями возвышалась серая пожарная каланча, на ней медленно и скучно кружился человек в сером тулупе, за каланчою — пустота небес.

Учитель встречал детей молчаливой, неясной улыбкой; во всякое время дня он казался человеком только что проснувшимся. Он тотчас ложился вверх лицом на койку, койка уныло скрипела. Запустив пальцы рук в рыжие нечесанные космы жестких и прямых волос, подняв к потолку расколотую медную бородку, не глядя на учеников, он спрашивал и рассказывал тихим голосом, внятными словами, но Дронов находил, что учитель говорит «не-под печки».

Иногда, чаще всего в час урока истории, Томилин вставал и ходил по комнате, семь шагов от стола к двери и обратно,— ходил наклоня голову, глядя в пол, шаркал растоптанными туфлями и прятал руки за спиной, сжав пальцы так крепко, что они багровели.

Клим Самгин видел, что Томилин учит Дронова более охотно и усердно, чем его.

— Итак, Ваня, что же сделал Александр Невский?— спрашивал он, остановясь у двери и одергивая рубаху. Дронов быстро и четко отвечал:

— Святой, благоверный князь Александр Невский призвал татар и с их помощью начал бить русских...

— Подожди,— что такое? Откуда это? — удивился учитель, шевеля мохнатыми бровями и смешно открыв рот.

— Вы сказали.

— Я? Когда?

— В четверг...

Учитель помолчал, приглаживая волосы ладонями, затем, шагая к столу, сказал строго:

— Это не нужно помнить.

У него была привычка беседовать с самим собою вслух. Нередко, рассказывая историю, он задумывался на минуту, на две, а помолчав, начинал говорить очень тихо и непонятно. В такие минуты Дронов толкал Клима ногою и, подмигивая на учителя левым глазом, более беспокойным, чем правый, усмехался кривенькой усмешкой; губы Дронова были рыбьи, тупые, жесткие, как хрящи. После урока Клим спрашивал:

— Ты зачем толкался?

— Хи, хи,— захлебывался Дронов.— Наврал он на Невского,— святой с татарами дружиться не станет, шалишь! Оттого и помнить не велел, что наврал. Хорош учитель: учит, а помнить не велит.

Говоря о Томилине, Иван Дронов всегда понижал голос, осторожно оглядывался и хихикал, а Клим, слушая его, чувствовал, что Иван не любит учителя с радостью и что ему нравится не любить.

— Ты думаешь — он с кем говорит? Он с чёртом говорит.

— Чертей нет,— строго заявил Клим.

Дронов пренебрежительно заглянул в глаза его, плюнул через левое плечо свое, но спорить не стал.

Ревниво наблюдая за ним, Самгин видел, что Дронов стремится обогнать его в успехах и легко достигает этого. Видел, что бойкий мальчик не любит всех взрослых вообще, не любит их с таким же удовольствием, как не любил учителя. Толстую, добрейшую бабушку свою, которая как-то даже яростно нянчилась с ним, он доводил до слез, подсыпая в табакерку ей золу или перец, распускал петли чулков, сгибал вязальные спицы, бросал клубок шерсти котятам или смазывал шерсть маслом, клеем. Старуха била его, а побив, крестилась в угол на иконы и упрашивала со слезами:

— Матерь божия, прости, Христа ради, за обиду сироте!

Потом, сунув внуку кусок пирога или конфекту, говорила, вздыхая:

— На, Дронов, ешь, темная башка. Мучитель мой.

— Отец у тебя смешной,— говорил Дронов Климу.— Настоящий отец, он — страшный, у-ух!

Около Веры Петровны Дронов извивался ласковой собачкой, Клим подметил, что нянькин внук боится ее так же, как дедушку Акима, и что особенно страшен ему Варавка.

— Чертище,— называл он инженера и рассказывал о нем: Варавка сначала был ямщиком, а потом — конокрадом, оттого и разбогател. Этот рассказ изумил Клима до немоты: он знал, что Варавка сын помещика, родился в Кишиневе, учился в Петербурге и Вене, затем приехал сюда в город и живет здесь уже седьмой год. Когда он возмущенно рассказал это Дронову, тот, тряхнув головой, пробормотал:

— Вена — есть, оттуда — стулья, а Кишинев, может, только в географии.

Клим нередко ощущал, что он тупеет от странных выходок Дронова, от его явной грубой лжи. Иногда ему казалось, что Дронов лжет только для того, чтоб издеваться над ним. Сверстников своих Дронов не любил едва ли не больше, чем взрослых, особенно после того, как дети отказались играть с ним. В играх он обнаруживал много хитроумных выдумок, но был трус-

лив и груб с девочками, с Лидией — больше других. Презрительно называл ее цыганкой, щипал, старался свалить с ног так, чтоб ей было стыдно.

Когда дети играли на дворе, Иван Дронов отверженно сидел на ступенях крыльца кухни, упираясь локтями в колена, а скулами о ладони, и затуманенными глазами наблюдал игры барчат. Он радостно взвизгивал, когда кто-нибудь падал или, ударившись, морщился от боли.

— Дави его!— поощрял он, видя, как Варавка борется с Туробоевым.— Подножку дай!

Если играли в саду, Дронов стоял у решетки, опираясь о нее животом, всунув лицо между перекладин, стоял, покрикивая:

— Хватай ее! Вон она спряталась за вишенью. Забегай слева...

Он всячески старался мешать играющим, нарочито медленно ходил по двору, глядя в землю.

— Копейку потерял,— жаловался он, покачиваясь на кривых ногах, заботясь столкнуться с играющими. Они налетали на него, сбивали с ног, тогда Дронов, сидя на земле, хныкал и угрожал:

— Я пожалуюсь...

Недели две-три с Дроновым очень дружилась Люба Сомова, они вместе гуляли, прятались по углам, таинственно и оживленно разговаривая о чем-то, но вскоре Люба, вечером, прибежав к Лидии в слезах, гневно закричала:

— Дронов — дурак!

И, бросившись в угол дивана, закрыв лицо руками, повторила:

— Ах, какой дурак!

Никому не сказав, что случилось, Лидия, густо покраснев, сбегала в кухню и, воротясь оттуда, объявила победоносно и свирепо:

— Он получил!

Дня три после этого Дронов ходил с шишкой на лбу, над левым глазом.

Да, Иван Дронов был неприятный, даже противный мальчик, но Клим, видя, что отец, дед, учитель восхищаются его способностями, чувствовал в нем соперника,

ревновал, завидовал, огорчался. А все-таки Дронов притягивал его, и часто недобрые чувства к этому мальчику исчезали пред вспышками интереса и симпатии к нему.

Были минуты, когда Дронов внезапно расцветал и становился непохож сам на себя. Им овладевала задумчивость, он весь вытягивался, выпрямлялся и мягким голосом тихо рассказывал Климу удивительные полусны-полусказки. Рассказывал, что из колодца в углу двора вылез огромный, но легкий и прозрачный, как тень, человек, перешагнул через ворота, пошел по улице, и, когда проходил мимо колокольни, она, потемнев, покачнулась вправо и влево, как тонкое дерево под ударом ветра.

— А недавно, перед тем, как взойти луне, по небу летала большущая черная птица, подлетит ко звезде и склюнет ее, подлетит к другой и ее склюет. Я не спал, на подоконнике сидел, потом страшно стало, лег на постелю, окутался с головой, и так, знаешь, было жалко звезд, вот, думаю, завтра уж небо-то пустое будет...

— Выдумываешь ты,— сказал Клим не без зависти.

Дронов не возразил ему. Клим понимал, что Дронов выдумывает, но он так убедительно спокойно рассказывал о своих видениях, что Клим чувствовал желание принять ложь как правду. В конце концов Клим не мог понять, как именно относится он к этому мальчику, который всё сильнее и привлекал и отталкивал его.

Вступительный экзамен в гимназию Дронов сдал блестяще, Клим — не выдержал. Это настолько сильно задело его, что, придя домой, он ткнулся головой в колена матери и зарыдал. Мать, ласково успокаивая его, сказала много милых слов и даже похвалила:

— Ты — честолюбив, это хорошо.

Вечером она поссорилась с отцом, Клим слышал ее сердитые слова:

— Тебе пора понять, что ребенок — не игрушка...

А через несколько дней мальчик почувствовал, что мать стала внимательнее, ласковей, она даже спросила его:

— Ты меня любишь?

— Да,— сказал Клим.

— Очень?

— Да,— уверенно повторил он. Крепко прижав голову его к мягкой и душистой груди, мать строго сказала:

— Надо, чтоб ты очень любил меня.

Клим не помнил, спрашивала ли его мама об этом раньше. И самому себе он не мог бы ответить так уверенно, как отвечал ей. Из всех взрослых мама самая трудная, о ней почти нечего думать, как о странице тетради, на которой еще ничего не написано. Все в доме покорно подчинялись ей, даже Настоящий Старик и упрямая Мария Романовна — Тираномашка, как за глаза называет ее Варавка. Мать редко смеется и мало говорит, у нее строгое лицо, задумчивые голубоватые глаза, густые темные брови, длинный острый нос и маленькие розовые уши. Она заплетает свои лунные волосы в длинную косу и укладывает ее на голове в три круга, это делает ее очень высокой, гораздо выше отца. Руки у нее всегда горячие. Совершенно ясно, что больше всех мужчин ей нравится Варавка, она охотнее говорит с ним и улыбается ему гораздо чаще, чем другим. Все знакомые говорят, что она удивительно хорошеет.

Отец тоже незаметно, но значительно изменился, стал еще более суетлив, щиплет темненькие усы свои, чего раньше не делал; голубиные глаза его ослепленно мигают и смотрят так задумчиво, как будто отец забыл что-то и не может вспомнить. Говорить он стал еще больше и крикливее, оглушительней. Он говорит о книгах, пароходах, лесах и пожарах, о глупом губернаторе и душе народа, о революционерах, которые горько ошиблись, об удивительном человеке Глебе Успенском, который «всё видит насквозь». Он всегда говорит о чем-нибудь новом и так, как будто боится, что завтра кто-то запретит ему говорить.

— Удивительно! — кричит он.— Замечательно!

Варавка прозвал его: Ваня с Праздником.

— Мастер ты удивляться, Иван! — говорил Варавка, играя пышной своей бородищей.

Он отвез жену за границу, Бориса отправил в Москву, в замечательное училище, где учился Туробоев,

а за Лидией откуда-то приехала большеглазая старуха с седыми усами и увезла девочку в Крым, лечить виноградом. Из-за границы Варавка вернулся помолодевшим, еще более насмешливо веселым; он стал как будто легче, но на ходу топал ногами сильнее и часто останавливался перед зеркалом, любуясь своей бородою, подстриженной так, что ее сходство с лисьим хвостом стало заметней. Он даже начал говорить стихами, Клим слышал, как он говорил матери:

Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья
Я душу падшую извлек,

— конечно, я был в то время идиотом...

— Это едва ли верно и очень грубо, Тимофей Степанович,— сказала мать. Варавка свистнул, точно мальчишка, потом проговорил четко:

— Нежной правды нет.

Почти каждый вечер он ссорился с Марией Романовной, затем с нею начала спорить и Вера Петровна; акушерка, встав на ноги, выпрямлялась, вытягивалась и, сурово хмурясь, говорила ей:

— Вера, опомнись!

Отец беспокойно подбегал к ней и кричал:

— Разве Англия не доказывает, что компромисс необходимое условие цивилизации...

Акушерка сурово говорила:

— Перестаньте, Иван!

Тогда отец подкатывался к Варавке:

— Согласись, Тимофей, что в известный момент эволюция требует решительного удара...

Варавка отстранял его короткой, сильной рукою и кричал, усмехаясь:

— Нет, Марья Романовна, нет!

Отец шел к столу пить пиво с доктором Сомовым, а полупьяный доктор ворчал:

— Надсон прав: догорели огни и у... как там?

— Облетели цветы,— добавил отец, сочувственно кивнув лысоватым черепом, задумчиво пил пиво, молчал и становился незаметен.

Мария Романовна тоже как-то вдруг поседела, отощала и согнулась; голос у нее осел, звучал глухо, разбито и уже не так властно, как раньше. Всегда одетая в черное, ее фигура вызывала уныние; в солнечные дни, когда она шла по двору или гуляла в саду с книгой в руках, тень ее казалась тяжелей и гуще, чем тени всех других людей, тень влеклась за нею, как продолжение ее юбки, и обесцвечивала цветы, травы.

Споры с Марьей Романовной кончились тем, что однажды утром она ушла со двора вслед за возом своих вещей, ушла, не простясь ни с кем, шагая величественно, как всегда, держа в одной руке саквояж с инструментами, а другой прижимая к плоской груди черного зеленоглазого кота.

Привыкнув наблюдать за взрослыми, Клим видел, что среди них началось что-то непонятное, тревожное, как будто все они садятся не на те стулья, на которых привыкли сидеть. Учитель тоже стал непохож на себя. Как раньше, он смотрел на всех теми же смешными глазами человека, которого только что разбудили, но теперь он смотрел обиженно, угрюмо и так шевелил губами, точно хотел закричать, но не решался. А на мать Клима он смотрел совершенно так же, как дедушка Аким на фальшивый билет в десять рублей, который кто-то подсунул ему. И говорить с нею он стал непочтительно. Вечером, войдя в гостиную, когда мама собиралась играть на рояле, Клим услыхал грубые слова Томилина:

— Неправда, я видел, как он...

— Ты что, Клим? — быстро спросила мать, учитель спрятал руки за спину и ушел, не взглянув на ученика.

А через несколько дней, ночью, встав с постели, чтоб закрыть окно, Клим увидал, что учитель и мать идут по дорожке сада; мама отмахивается от комаров концом голубого шарфа, учитель, встряхивая медными волосами, курит. Свет луны был так маслениста густ, что даже дым папиросы окрашивался в золотистый тон. Клим хотел крикнуть:

«Мама, а я еще не сплю»,— но вдруг Томилин, запнувшись за что-то, упал на колени, поднял руки, по-

тряс ими, как бы угрожая, зарычал и охватил ноги матери. Она покачнулась, оттолкнула мохнатую голову и быстро пошла прочь, разрывая шарф. Учитель, тяжело перевалясь с колен на корточки, встал, вцепился в свои жесткие волосы, приглаживая их, и шагнул вслед за мамой, размахивая рукою. Тут Клим испуганно позвал:

— Мама!

Остановясь, она подняла голову и пошла к дому, обойдя учителя, как столб фонаря. У постели Клима она встала с лицом необычно строгим, почти незнакомым, и сердито начала упрекать:

— Вот, не спишь, хотя уже двенадцатый час, а утром тебя не добудишься. Теперь тебе придется вставать раньше, Степан Андреевич не будет жить у нас.

— Потому что обнимал тебе ноги? — спросил Клим.

Вытирая шарфом лицо свое, мать заговорила уже не сердито, а тем уверенным голосом, каким она объясняла непонятную путаницу в нотах, давая Климу уроки музыки. Она сказала, что учитель снял с юбки ее гусеницу и только, а ног не обнимал, это было бы неприлично.

— Ах, мальчик, мальчик мой! Ты всё выдумываешь,— сказала она, вздыхая.

Не желая, чтоб она увидала по глазам его, что он ей не верит, Клим закрыл глаза. Из книг, из разговоров взрослых он уже знал, что мужчина становится на колени перед женщиной только тогда, когда влюблен в нее. Вовсе не нужно вставать на колени для того, чтоб снять с юбки гусеницу.

Мать нежно гладила горячей рукою его лицо. Он не стал больше говорить об учителе, он только заметил: Варавка тоже не любит учителя. И почувствовал, что рука матери, вздрогнув, тяжело втиснула голову его в подушку. А когда она ушла, он, засыпая, подумал: как это странно! Взрослые находят, что он выдумывает именно тогда, когда он говорит правду.

Томилин перебрался жить в тупик, в маленький, узкий переулок, заткнутый синим домиком; над крыльцом дома была вывеска:

ПОВАР И КОНДИТЕР

принимает заказы на свадьбы, балы и поминки.

У повара Томилин поселился тоже в мезонине, только более светлом и чистом. Но он в несколько дней загрязнил комнату кучами книг; казалось, что он переместился со всем своим прежним жилищем, с его пылью, духотой и тихим скрипом половиц, высушенных летней жарою. Под глазами учителя набухли синеватые опухоли, золотистые искры в зрачках погасли, и весь он как-то жалобно растрепался. Теперь, всё время уроков, он не вставал со своей неопрятной постели.

— У меня болят ноги,— сказал он.

«Ушиб коленки тогда, в саду»,— догадался Клим.

Заниматься Томилин стал нетерпеливо, в тихом голосе его звучало раздражение; иногда, закрыв скучные глаза, он долго молчал и вдруг спрашивал издалека:

— Ну, понял?

— Нет.

— Подумай.

Клим думал, но не о том, что такое деепричастие и куда течет река Аму-Дарья, а о том, почему, за что не любят этого человека. Почему умный Варавка говорит о нем всегда насмешливо и обидно? Отец, дедушка Аким, все знакомые, кроме Тани, обходили Томилина, как трубочиста. Только одна Таня изредка спрашивала:

— А вы, Томилин, как думаете?

Он отвечал ей кратко и небрежно. Он обо всем думал несогласно с людями, и особенно упряменько звучала медь его слов, когда он спорил с Варавкой.

— В сущности...— говорил он.

— В сущности, в сущности,— передразнивал Варавка.— Чёрт ее побери, эту вашу сущность! Гораздо важнее тот факт, что Карл Великий издавал законы о куроводстве и торговле яйцами.

Учитель возразил читающим голосом:

— Для дела свободы пороки деспота гораздо менее опасны, чем его добродетели.

— Фанатизм,— закричал Варавка, а Таня обрадовалась:

— Ах, нет, это удивительно верно! Я запишу...

Она записала эти слова на обложке тетради Клима, но забыла списать их с нее, и, не попав в яму ее памяти, они сгорели в печи. Это Варавка говорил:

— Нуте-ка, Таня, пошарьте в мусорной яме вашей памяти.

О многом нужно было думать Климу, и эта обязанность становилась всё более трудной. Всё вокруг расширялось, разрасталось, теснилось в его душу так же упрямо и грубо, как богомольцы в церковь Успения, где была чудотворная икона божией матери. Еще недавно вещи, привычные глазу, стояли на своих местах, не возбуждая интереса к ним, но теперь они чем-то притягивали к себе, тогда как другие, интересные и любимые, теряли свое обаяние. Даже дом разрастался. Клим был уверен, что в доме нет ничего незнакомого ему, но вдруг являлось что-то новое, не замеченное раньше. В полутемном коридоре, над шкафом для платья, с картины, которая раньше была просто темным квадратом, стали смотреть задумчивые глаза седой старухи, зарытой во тьму. На чердаке, в старинном, окованном железом сундуке, он открыл множество интересных, хотя и поломанных вещей: рамки для портретов, фарфоровые фигурки, флейту, огромную книгу на французском языке с картинами, изображающими китайцев, толстый альбом с портретами смешно и плохо причесанных людей, лицо одного из них было сплошь зачерчено синим карандашом.

— Это герои Великой Французской революции, а этот господин — граф Мирабо,— объяснил учитель и, усмехаясь, осведомился: — В ненужных вещах нашел, говоришь?

И, перелистывая страницы альбома, он повторил задумчиво:

— Да, да — прошлое... Ненужное...

Клим открыл в доме даже целую комнату, почти до потолка набитую поломанной мебелью и множеством вещей, былое назначение которых уже являлось непонятным, даже таинственным. Как будто все эти пыльные вещи вдруг, толпою, вбежали в комнату, испуганные, может быть, пожаром; в ужасе они нагромоздились одна на другую, ломаясь, разбиваясь, переломали

друг друга и умерли. Было грустно смотреть на этот хаос, было жалко изломанных вещей.

В конце августа, рано утром, явилась неумытая, непричесанная Люба Клоун; топая ногами, рыдая, задыхаясь, она сказала:

— Скорее идите к нам, скорее — мама сошла с ума.

И, упав на колени пред диваном, она спрятала голову под подушку.

Мать Клима тотчас же ушла, а девочка, сбросив подушку с головы, сидя на полу, стала рассказывать Климу, жалобно глядя на него мокрыми глазами.

— Я еще вчера, когда они ругались, видела, что она сошла с ума. Почему не папа? Он всегда пьяный...

Вскочив на ноги, она схватила Клима за рукав.

— Идем туда...

Клим не помнил, как он добежал до квартиры Сомовых, увлекаемый Любой. В полутемной спальне,— окна ее были закрыты ставнями,— на растрепанной, развороченной постели судорожно извивалась Софья Николаевна, ноги и руки ее были связаны полотенцами, она лежала вверх лицом, дергая плечами, сгибая колени, била головой о подушку и рычала:

— Нет!

Глаза ее, страшно выкатившись, расширились до размеров пятикопеечных монет, они смотрели на огонь лампы, были красны, как раскаленные угли, под одним глазом горела царапина, кровь текла из нее.

— Нет! — глухо кричала докторша.

И немного выше:

— Нет, нет!

Ее судороги становились сильнее, голос звучал злей и резче, доктор стоял в изголовье кровати, прислонясь к степе, и кусал, жевал свою черную щетинистую бороду. Он был неприлично расстегнут, растрепан, брюки его держались на одной подтяжке, другую он накрутил на кисть левой руки и дергал ее вверх, брюки подпрыгивали, ноги доктора дрожали, точно у пьяного, а мутные глаза так мигали, что, казалось, веки тоже щелкают, как зубы его жены. Он молчал, как будто рот его навсегда зарос бородой.

Другой доктор, старик Вильямсон, сидел у стола, щурясь на огонь свечи, и осторожно писал что-то, Вера Петровна размешивала в стакане мутную воду, бегала горничная с куском льда на тарелке и молотком в руке.

Вдруг больная изогнулась дугою и, взмахнув руками, упала на пол, ударилась головою и поползла, двигая телом, точно ящерица, и победно вскрикивая:

— Ага? Н-нет...

— Держите ее, что вы? — закричала мать Клима; доктор тяжело отклеился от стены, поднял жену, положил на постель, а сам сел на ноги ее, сказав кому-то:

— Дайте еще полотенцев.

Жена, подпрыгнув, ударила его головою в скулу, он соскочил с постели, а она снова свалилась на пол и начала развязывать ноги свои, всхрапывая:

— Ага, ага...

Клим прятался в углу между дверью и шкафом, Варя Сомова, стоя сзади, положив подбородок на плечо его, шептала:

— Ведь это пройдет? Пройдет, да?

Мимо их бегала Люба с полотенцами, взвизгивая:

— Господи, господи...

И вдруг, топнув ногою, спросила сестру:

— Варька, а что же чай?

Мать Клима оглянулась на шум и строго крикнула:

— Дети — вон!

Она приказала им сбегать за Таней Куликовой,— все знакомые этой девицы возлагали на нее обязанность активного участия в их драмах.

Дети быстро пошли на окраину города, Клим подавленно молчал, шагая сзади сестер, и сквозь тяжелый испуг свой слышал, как старшая Сомова упрекала сестру:

— Мать сошла с ума, а ты кричишь — чаю.

— Молчи, индюшка.

— Ты жадная и бесстыдная...

— А ты — праведница?

Приостановясь, она сказала Климу:

— Не хочу идти с ней — пойдем гулять.

Клим безвольно пошел рядом с нею и через несколько шагов спросил:

— Ты любишь твою маму?

Люба наклонилась, подняла желтый лист тополя и, вздохнув, сказала:

— А я — не знаю. Может быть, я еще никого не люблю.

Отирая пыльным листом опухшие веки, слепо спотыкаясь, она продолжала:

— Отец жалуется, что любить трудно. Он даже кричал на маму: пойми, дура, ведь я тебя люблю. Видишь?

— Что? — спросил Клим, но Люба, должно быть, не слышала его вопроса.

— А они женатые четырнадцать лет...

Находя, что Люба говорит глупости, Клим перестал слушать ее, а она всё говорила о чем-то скучно, как взрослая, и размахивала веткой березы, поднятой ею с панели. Неожиданно для себя они вышли на берег реки, сели на бревна, но бревна были сырые и грязные. Люба выпачкала юбку, рассердилась и прошла по бревнам на лодку, привязанную к ним, села на корму; Клим последовал за нею. Долго сидели молча. Разглядывая искаженное отражение своего лица, Люба ударила по нему веткой, подождала, пока оно снова возникло в зеленоватой воде, ударила еще и отвернулась.

— Какая некрасивая... Я ведь некрасивая?

Не получив ответа, она спросила:

— Почему ты молчишь?

— Не хочется говорить.

— Что я некрасивая?

— Нет, обо всем не хочется говорить.

— Просто — тебе стыдно сказать правду,— заявила Люба.— А я знаю, что урод, и у меня еще скверный характер, это и папа и мама говорят. Мне нужно уйти в монахини... Не хочу больше сидеть здесь.

Вскочила и, быстро пробежав по бревнам, исчезла, а Клим еще долго сидел на корме лодки, глядя в ленивую воду, подавленный скукой, еще не испытанной им, ничего не желая, но догадываясь, сквозь скуку, что нехорошо быть похожим на людей, которых он знал.

Когда он пришел домой, мать встретила его тревожным восклицанием:

— Господи, как ты меня пугаешь!

Климу показалось, что эти слова относятся не к нему, а к господу.

— Ты испугался? — допрашивала мать.— Ты напрасно пошел туда. Зачем?

— Что с ней сделали? — спросил Клим.

Мать сказала, что Сомовы поссорились, что у жены доктора сильный нервный припадок и ее пришлось отправить в больницу.

— Это — не опасно. Они оба — люди нездоровые, им пришлось много страдать, они преждевременно постарели...

По ее рассказу выходило так, что доктор с женою — люди изломанные, и Клим вспомнил комнату, набитую ненужными вещами.

— Это — не опасно,— повторила мать.

Но Клим почему-то не поверил ей и оказался прав: через двенадцать дней жена доктора умерла, а Дронов по секрету сказал ему, что она выпрыгнула из окна и убилась. В день похорон, утром, приехал отец, он говорил речь над могилой докторши и плакал. Плакали все знакомые, кроме Варавки, он, стоя в стороне, курил сигару и ругался с нищими.

Доктор Сомов с кладбища пришел к Самгиным, быстро напился и, пьяный, кричал:

— Я ее любил, а она меня ненавидела и жила для того, чтобы мне было плохо.

Отец Клима словообильно утешал доктора, а он, подняв черный и мохнатый кулак на уровень уха, потрясал им и говорил, обливаясь пьяными слезами:

— Пятнадцать лет жил с человеком, не имея с ним ни одной общей мысли, и любил, любил его, а? И — люблю. А она ненавидела всё, что я читал, думал, говорил.

Клим слышал, как Варавка вполголоса сказал матери:

— Смотрите, что выдумал.

— В этом есть доля истины,— так же тихо ответила мать.

Доктора повели спать в мезонин, где жил Томилин. Варавка, держа его под мышки, толкал в спину головою, а отец шел впереди с зажженной свечой. Но через

минуту он вбежал в столовую, размахивая подсвечником, потеряв свечу, говоря почему-то вполголоса:

— Вера — иди, бабушке плохо!

Оказалось, что бабушка померла. Сидя на крыльце кухни, она кормила цыплят и вдруг, не охнув, упала мертвая. Было очень страшно, но не страшно видеть ее большое, широкобедрое тело, поклонившееся земле, голову, свернутую набок, ухо, прижатое и точно слушающее землю. Клим смотрел на ее синюю щеку, в открытый серьезный глаз и, не чувствуя испуга, удивлялся. Ему казалось, что бабушка так хорошо привыкла жить с книжкой в руках, с пренебрежительной улыбкой на толстом, важном лице, с неизменной любовью к бульону из курицы, что этой жизнью она может жить бесконечно долго, никому не мешая.

Когда бесформенное тело, похожее на огромный узел поношенного платья, унесли в дом, Иван Дронов сказал:

— Ловко померла.

И тотчас добавил, обращаясь к своей бабушке:

— Вот,— учись, нянька!

Нянька была единственным человеком, который пролил тихие слезы над гробом усопшей. После похорон, за обедом, Иван Акимович Самгин сказал краткую и благодарную речь о людях, которые умеют жить, не мешая ближним своим. Аким Васильевич Самгин, подумав, произнес:

— Кажется, и мне пора к праотцам.

— Не очень он уверен в этом,— шепнул Варавка в розовое ухо Веры Петровны. Лицо матери было не грустно, но как-то необыкновенно ласково, строгие глаза ее светили мягко. Клим сидел с другого бока ее, слышал этот шёпот и видел, что смерть бабушки никого не огорчила, а для него даже оказалась полезной: мать отдала ему уютную бабушкину комнату с окном в сад и молочно-белой кафельной печкой в углу. Это было очень хорошо, потому что жить в одной комнате с братом становилось беспокойно и неприятно. Дмитрий долго занимался, мешая спать, а недавно к нему стал ходить бесцеремонный Дронов, и часто они бормотали, шуршали почти до полуночи.

Туго застегнутый в длиненький, ниже колен, мундирчик, Дронов похудел, подобрал живот и, гладко остриженный, стал похож на карлика-солдата. Разговаривая с Климом, он распахивал полы мундира, совал руки в карманы, широко раздвигал ноги и, вздернув розовую пуговку носа, спрашивал:

— Ты что, Самгин, плохо учишься? А я уже третий ученик...

Расправляя плечи, двигая локтями, он уверенно сказал:

— Увидишь — я получше Ломоносова буду.

Дед Аким устроил так, что Клима все-таки приняли в гимназию. Но мальчик считал себя обиженным учителями на экзамене, на переэкзаменовке и был уже предубежден против школы. В первые же дни, после того, как он надел форму гимназиста, Варавка, перелистав учебники, небрежно отшвырнул их прочь:

— Так же глупо, как те книжки, по которым учили нас.

Затем он долго и смешно рассказывал о глупости и злобе учителей, и в память Клима особенно крепко вклеилось его сравнение гимназии с фабрикой спичек.

— Детей, как деревяшки, смазывают веществом, которое легко воспламеняется и быстро сгорает. Получаются прескверные спички, далеко не все вспыхивают и далеко не каждой можно зажечь что-нибудь.

Климу предшествовала репутация мальчика исключительных способностей, она вызывала обостренное и недоверчивое внимание учителей и любопытство учеников, которые ожидали увидеть в новом товарище нечто вроде маленького фокусника. Клим тотчас же почувствовал себя в знакомом, но усиленно тяжком положении человека, обязанного быть таким, каким его хотят видеть. Но он уже почти привык к этой роли, очевидно, неизбежной для него так же, как неизбежны утренние обтирания тела холодной водою, как порция рыбьего жира, суп за обедом и надоедливая чистка зубов на ночь.

Инстинкт самозащиты подсказал ему кое-какие правила поведения. Он вспомнил, как Варавка внушал отцу:

— Не забывай, Иван, что, когда человек говорит мало,— он кажется умнее.

Клим решил говорить возможно меньше и держаться в стороне от бешеного стада маленьких извергов. Их назойливое любопытство было безжалостно, и первые дни Клим видел себя пойманной птицей, у которой выщипывают перья, прежде чем свернуть ей шею. Он чувствовал опасность потерять себя среди однообразных мальчиков; почти неразличимые, они всасывали его, стремились сделать незаметной частицей своей массы.

Тогда, испуганный этим, он спрятался под защиту скуки, окутав ею себя, как облаком. Он ходил солидной походкой, заложив руки за спину, как Томилин, имея вид мальчика, который занят чем-то очень серьезным и далеким от шалостей и буйных игр. Время от времени жизнь помогала ему задумываться искренно: в середине сентября, в дождливую ночь, доктор Сомов застрелился на могиле жены своей.

Искусственная его задумчивость оказалась двояко полезной ему: мальчики скоро оставили в покое скучного человечка, а учителя объясняли ею тот факт, что на уроках Клим Самгин часто оказывался невнимательным. Так объясняли рассеянность его почти все учителя, кроме ехидного старичка с китайскими усами. Он преподавал русский язык и географию, мальчики прозвали его Недоделанный, потому что левое ухо старика было меньше правого, хотя настолько незаметно, что, даже когда Климу указали на это, он не сразу убедился в разномерности ушей учителя. Мальчик с первых же уроков почувствовал, что старик не верит в него, хочет поймать его на чем-то и высмеять. Каждый раз, вызвав Клима, старик расправлял усы, складывал лиловые губы свои так, точно хотел свистнуть, несколько секунд разглядывал Клима через очки и наконец ласково спрашивал:

— Итак, Самгин, чем изобилует Озерный край?

— Рыбой.

— Да? Может быть, там леса есть?

— Есть.

— И что же: рыбы-то на деревьях сидят?

Класс хохотал, учитель улыбался, показывая темные зубы в золоте.

— Что же ты, гениальный мой, так плохо приготовил урок, а?

Возвращаясь на парту, Клим видел ряды шарообразных стриженых голов с оскаленными зубами, разноцветные глаза сверкали смехом. Видеть это было обидно до слез.

Мальчики считали, что Недоделанный учит весело, Клим находил его глупым, злым и убеждался, что в гимназии учиться скучнее и труднее, чем у Томилина.

— Ты что не играешь? — наскакивал на Клима во время перемен Иван Дронов, раскаленный докрасна, сверкающий, счастливый. Он действительно шел в рядах первых учеников класса и первых шалунов всей гимназии, казалось, что он торопится сыграть все игры, от которых его оттолкнули Туробоев и Борис Варавка. Возвращаясь из гимназии с Климом и Дмитрием, он самоуверенно посвистывал, бесцеремонно высмеивал неудачи братьев, но нередко спрашивал Клима:

— Ты сегодня к Томилину пойдешь? Я тоже пойду с тобой.

И, являясь к рыжему учителю, он впивался в него, забрасывая вопросами по закону божию, самому скучному предмету для Клима. Томилин выслушивал вопросы его с улыбкой, отвечал осторожно, а когда Дронов уходил, он, помолчав минуту-две, спрашивал Клима словами Глафиры Варавки:

— Ну, что у вас там, дома?

Спрашивал так, как будто ожидал услышать нечто необыкновенное. Он всё более обрастал книгами, в углу, в ногах койки, куча их возвышалась почти до потолка. Растягиваясь на койке, он поучал Клима:

— Благородными металлами называют те из них, которые почти или совсем не окисляются. Ты заметь это, Клим. Благородные, духовно стойкие люди тоже не окисляются, то есть не поддаются ударам судьбы, несчастиям и вообще...

Такие добавления к науке нравились мальчику больше, чем сама наука, и лучше запоминались им, а Томилин был весьма щедр на добавления. Говорил он,

как бы читая написанное на потолке, оклеенном гляпцевитой, белой, но уже сильно пожелтевшей бумагой, исчерченной сетью трещин.

— Сложное вещество при нагреве теряет часть веса, простое сохраняет или увеличивает его.

Помолчав, он добавлял:

— Вот, например, ты уже недостаточно прост для твоего возраста. Твой брат больше ребенок, хотя и старше тебя.

— Но Митя глупый,— напомнил Клим.

Так же, как всегда, механически спокойно, учитель говорил:

— Да, он глуп, но — в меру возраста. Всякому возрасту соответствует определенная доза глупости и ума. То, что называется сложностью в химии,— вполне законно, а то, что принимается за сложность в характере человека, часто бывает только его выдумкой, его игрой. Например — женщины...

Он снова молчал, как будто заснув с открытыми глазами. Клим видел сбоку фарфоровый, блестящий белок, это напомнило ему мертвый глаз доктора Сомова. Он понимал, что, рассуждая о выдумке, учитель беседует сам с собой, забыв о нем, ученике. И нередко Клим ждал, что вот сейчас учитель скажет что-то о матери, о том, как он в саду обнимал ноги ее. Но учитель говорил:

— Полезная выдумка ставится в форме вопросительной, в форме догадки: может быть, это — так? Заранее честно допускается, что, может быть, это и не так. Выдумки вредные всегда носят форму утверждения: это именно так, а не иначе. Отсюда заблуждения, ошибки и... вообще. Да.

Клим слушал эти речи внимательно и очень старался закрепить их в памяти своей. Он чувствовал благодарность к учителю: человек, ни на кого не похожий, никем не любимый, говорил с ним, как со взрослым и равным себе. Это было очень полезно: запоминая не совсем обычные фразы учителя, Клим пускал их в оборот, как свои, и этим укреплял за собой репутацию умника.

Но иногда рыжий пугал его: забывая о присутствии ученика, он говорил так много, долго и непонятно,

что Климу нужно было кашлянуть, ударить каблуком в пол, уронить книгу и этим напомнить учителю о себе. Однако и шум не всегда будил Томилина, он продолжал говорить, лицо его каменело, глаза напряженно выкатывались, и Клим ждал, что вот сейчас Томилин закричит, как жена доктора:

«Нет. Нет».

Особенно жутко было, когда учитель, говоря, поднимал правую руку на уровень лица своего и ощипывал в воздухе пальцами что-то невидимое,— так повар Влас ощипывал рябчиков или другую дичь.

В такие минуты Клим громко говорил:

— Уже поздно.

Томилин, взглянув в сумрак за окном, соглашался:

— Да, на сегодня довольно.

И протягивал ученику волосатые пальцы с черными ободками ногтей. Мальчик уходил, отягченный не столько знаниями, сколько размышлениями.

Зимними вечерами приятно было шагать по хрупкому снегу, представляя, как дома, за чайным столом, отец и мать будут удивлены новыми мыслями сына. Уже фонарщик с лестницей на плече легко бегал от фонаря к фонарю, развешивая в синем воздухе желтые огни, приятно позванивали в зимней тишине ламповые стекла. Бежали лошади извозчиков, потряхивая шершавыми головами. На скрещении улиц стоял каменный полицейский, провожая седыми глазами маленького, но важного гимназиста, который, не торопясь, переходил с угла на угол.

Теперь, когда Клим бóльшую часть дня проводил вне дома, многое ускользало от его глаз, привыкших наблюдать, но всё же он видел, что в доме становится всё беспокойнее, все люди стали иначе ходить и даже двери хлопают сильнее.

Настоящий Старик, бережно переставляя одеревеневшие ноги свои, слишком крепко тычет палкой в пол, кашляет так, что у него дрожат уши, а лицо и шея окрашиваются в цвет спелой сливы; пристукивая палкой, он говорит матери сквозь сердитый кашель:

— Пользуясь его мягким характером, сударыня... пользуясь детской доверчивостью Ивана, вы, сударыня...

Мать вполголоса предупредила его:

— Говорите не так громко, в столовой кто-то есть...

— Я обязан сказать вам, Вера Петровна...

— Пожалуйста, я слушаю вас.

Мать подошла к двери в столовую и плотно притворила ее.

Отец всё чаще уезжает в лес, на завод или в Москву, он стал рассеянным и уже не привозил Климу подарков. Он сильно облысел, у него прибавилось лба, лоб давил на глаза, они стали более выпуклыми и скучно выцвели, погасла их голубоватая теплота. Ходить начал смешно подскакивая, держа руки в карманах и насвистывая вальсы. Мать всё чаще смотрела на него, как на гостя, который уже надоел, но не догадывается, что ему пора уйти. Она стала одеваться наряднее, праздничней, еще более гордо выпрямилась, окрепла, пополнела, она говорила мягче, хотя улыбалась так же редко и скупо, как раньше. Клим был очень удивлен, а потом и обижен, заметив, что отец отскочил от него в сторону Дмитрия и что у него с Дмитрием есть какие-то секреты. Жарким летним вечером Клим застал отца и брата в саду, в беседке; отец, посмеиваясь необычным, икающим смехом, сидел рядом с Дмитрием, крепко прижав его к себе; лицо Дмитрия было заплакано; он тотчас вскочил и ушел, а отец, смахивая платком капельки слез с брюк своих, сказал Климу:

— Расстроился.

— О чем он плакал?

— Он? Он... о декабристах. Он прочитал «Русских женщин» Некрасова. Да. А я ему тут о декабристах рассказал, он и растрогался.

Неохотно и немного поговорив о декабристах, отец вскочил и ушел, насвистывая и вызвав у Клима ревнивое желание проверить его слова. Клим тотчас пошел в комнату брата и застал Дмитрия сидящим на подоконнике.

Обняв ноги, он положил подбородок на колени, двигал челюстями и не слышал, как вошел брат. Когда Клим спросил у него книгу Некрасова, оказалось, что ее нет у Дмитрия, но отец обещал подарить ее.

— Ты плакал о русских женщинах? — допрашивал Клим,— Дмитрий очень удивился.

— Что-о?

— О чем ты плакал?

— Ах, иди к чёрту,— жалобно сказал Дмитрий и спрыгнул с подоконника в сад.

Дмитрий сильно вырос, похудел, на круглом, толстом лице его обнаружились угловатые скулы, задумываясь, он неприятно, как дед Аким, двигал челюстью. Задумывался он часто, на взрослых смотрел недоверчиво, исподлобья. Оставаясь таким же некрасивым, каким был, он стал ловчее, легче, но в нем явилось что-то грубоватое. Он очень подружился с Любой Сомовой, выучил ее бегать на коньках, охотно подчинялся ее капризам, а когда Дронов обидел чем-то Любу, Дмитрий жестоко, но спокойно и беззлобно натрепал Дронову волосы. Клима он перестал замечать, так же, как раньше Клим не замечал его, а на мать смотрел обиженно, как будто наказанный ею без вины.

Сестры Сомовы жили у Варавки, под надзором Тани Куликовой: сам Варавка уехал в Петербург хлопотать о железной дороге, а оттуда должен был поехать за границу хоронить жену. Почти каждый вечер Клим поднимался наверх и всегда заставал там брата, играющего с девочками. Устав играть, девочки усаживались на диван и требовали, чтоб Дмитрий рассказал им что-нибудь.

— Смешное,— просила Люба.

Он садился в угол, к стене, на ручку дивана и, осторожно улыбаясь, смешил девочек рассказами об учителях и гимназистах. Иногда Клим возражал ему:

— Это было не так!

— Ну, пусть не так,— равнодушно соглашался Дмитрий, и Климу казалось, что, когда брат рассказывает даже именно так, как было, он всё равно не верит в то, что говорит. Он знал множество глупых и смешных анекдотов, но рассказывал не смеясь, а как бы даже конфузясь. Вообще в нем явилась непонятная Климу озабоченность, и людей на улицах он рассматривал таким испытующим взглядом, как будто считал необхо-

димым понять каждого из шестидесяти тысяч жителей города.

Была у Дмитрия толстая тетрадь в черной клеенчатой обложке, он записывал в нее или наклеивал вырезанные из газет забавные ненужности, остроты, коротенькие стишки и читал девочкам, тоже как-то недоверчиво, нерешительно:

— «На одоевском городском кладбище обращает на себя внимание следующая эпитафия на памятнике „купчихе Поликарповой“:

Случилась ее кончина без супруга и без сына.
Там, в Крапивне, гремел бал;
Никто этого не знал.
Телеграмму о смерти получили
И со свадьбы укатили.
Здесь лежит супруга-мать
Ольга, что бы ей сказать
Для души полезное?
Царство ей небесное».

— Как это глупо! — возмущалась Лидия.

— Зато — смешно,— кричала Люба.— Ничего нет лучше смешного...

По широкому лицу сестры ее медленно расплывалась ленивая улыбка.

Иногда приходила Вера Петровна, скучновато спрашивала:

— Играете?

Соскочив с дивана, Лидия подчеркнуто вежливо приседала пред нею, Сомовы шумно ласкались, Дмитрий смущенно молчал и неумело пытался спрятать свою тетрадь, но Вера Петровна спрашивала:

— Записал что-нибудь новое? Прочитай.

Дмитрий читал, закрыв лицо тетрадью:

У синего моря урядник стоит,
А синее море шумит и шумит,
И злоба урядника гложет,
Что шума унять он не может.

— Это — зачеркни,— приказывала мать и величественно шла из одной комнаты в другую, что-то под-

считывая, измеряя. Клим видел, что Лида Варавка провожает ее неприязненным взглядом, покусывая губы. Несколько раз ему уже хотелось спросить девочку:

«За что ты не любишь мою маму?»

Но он не решался; после того как уехал Туробоев, Лида снова ласково подошла к нему.

Однажды Клим пришел домой с урока у Томилина, когда уже кончили пить вечерний чай, в столовой было темно и во всем доме так необычно тихо, что мальчик, раздевшись, остановился в прихожей, скудно освещенной маленькой стенной лампой, и стал пугливо прислушиваться к этой подозрительной тишине.

— Оставь, кажется, кто-то пришел,— услышал он сухой шёпот матери; чьи-то ноги тяжело шаркнули по полу, брякнула знакомым звуком медная дверца кафельной печки, и снова установилась тишина, подстрекая вслушаться в нее. Шёпот матери удивил Клима: она никому не говорила ты, кроме отца, а отец вчера уехал на лесопильный завод. Мальчик осторожно подвинулся к дверям столовой, навстречу ему вздохнули тихие, усталые слова:

— Боже, какой ты ненасытный... нетерпеливый...

Клим заглянул в дверь: пред квадратной пастью печки, полной алых углей, в низеньком, любимом кресле матери, развалился Варавка, обняв мать за талию, а она сидела на коленях у него, покачиваясь взад и вперед, точно маленькая. В бородатом лице Варавки, освещенном отблеском углей, было что-то страшное, маленькие глазки его тоже сверкали, точно угли, а с головы матери на спину ее красиво стекали золотыми ручьями лунные волосы.

— О, ты,— тихо вздохнула она.

В этих позах было что-то смутившее Клима, он отшатнулся, наступил на свою галошу, галоша подпрыгнула и шлепнулась.

— Кто там? — сердито крикнула мать и невероятно быстро очутилась в дверях.— Ты? Ты прошел через кухню? Почему так поздно? Замерз? Хочешь чаю...

Она говорила быстро, ласково, зачем-то шаркала ногами и скрипела створкой двери, открывая и закры-

вая ее; затем, взяв Клима за плечо, с излишней силою втолкнула его в столовую, зажгла свечу. Клим оглянулся, в столовой никого не было, в дверях соседней комнаты плотно сгустилась тьма.

— Что ты смотришь? — спросила мать, заглянув в лицо его.

Клим нерешительно ответил:

— Мне показалось, тут кто-то был...

Мать, удивленно подняв брови, тоже осмотрела комнату.

— Ну, кто ж мог быть? Отца — нет. Лидия с Митей и Сомовыми на катке, Тимофей Степанович у себя — слышишь?

Да, наверху тяжело топали. Мать села к столу пред самоваром, пощупала пальцами бока его, налила чаю в чашку и, поправляя пышные волосы свои, продолжала:

— Я тут сидела перед печкой, задумалась. Ты только сию минуту пришел?

— Да,— солгал Клим, поняв, что нужно солгать.

Играя щипцами для сахара, мать замолчала, с легкой улыбкой глядя на пугливый огонь свечи, отраженный медью самовара. Потом, отбросив щипцы, она оправила кружевной воротник капота и ненужно громко рассказала, что Варавка покупает у нее бабушкину усадьбу, хочет строить большой дом.

— Он, очевидно, только что пришел, но я все-таки пойду, поговорю с ним об этом.

И, поцеловав Клима в лоб, она ушла. Мальчик встал, подошел к печке, сел в кресло, смахнул пепел с ручки его.

«Мама хочет переменить мужа, только ей еще стыдно»,— догадался он, глядя, как на красных углях вспыхивают и гаснут голубые, прозрачные огоньки. Он слышал, что жены мужей и мужья жен меняют довольно часто, Варавка издавна нравился ему больше, чем отец, но было неловко и грустно узнать, что мама, такая серьезная, важная мама, которую все уважали и боялись, говорит неправду и так неумело говорит. Ощутив потребность утешить себя, он повторил:

«Ей стыдно еще».

Это было единственное объяснение, которое он мог найти, но тут память подсказала ему сцену с Томилиным, он безмысленно задумался, рассматривая эту сцену, и уснул.

События в доме, отвлекая Клима от усвоения школьной науки, не так сильно волновали его, как тревожила гимназия, где он не находил себе достойного места. Он различал в классе три группы: десяток мальчиков, которые и учились и вели себя образцово; затем злых и неугомонных шалунов, среди них некоторые, как Дронов, учились тоже отлично; третья группа слагалась из бедненьких, худосочных мальчиков, запуганных и робких, из неудачников, осмеянных всем классом. Дронов говорил Климу:

— Ты с этими не дружись, это всё трусы, плаксы, ябедники. Вон этот, рыженький,— жиденок, а этого, косого, скоро исключат, он — бедный и не может платить. У этого старший братишка галоши воровал и теперь сидит в колонии преступников, а вон тот, хорек,— незаконно рожден.

Клим Самгин учился усердно, но не очень успешно, шалости он считал ниже своего достоинства, да и не умел шалить. Он скоро заметил, что какие-то неощутимые толчки приближают его именно к этой группе забракованных. Но среди них он чувствовал себя еще более не на месте, чем в дерзкой компании товарищей Дронова. Он видел себя умнее всех в классе, он уже прочитал не мало таких книг, о которых его сверстники не имели понятия, он чувствовал, что даже мальчики старше его более дети, чем он. Когда он рассказывал о прочитанных книгах, его слушали недоверчиво, без интереса и многого не понимали. Иногда он и сам не понимал: почему это интересная книга, прочитанная им, теряет в его передаче всё, что ему понравилось?

Однажды незаконнорожденный, скуластый и угрюмый мальчуган, фамилия которого была Иноков, спросил Клима:

— Ты читал Ивангоэ?

— Айвенго,— поправил Клим.— Это написал Вальтер-Скотт.

— Дурак,— презрительно сказал Иноков.— Что ты всех поправляешь?

И, криво усмехнувшись, предупредил:

— Смотри, вырастешь — учителем будешь.

Мальчики засмеялись. Они уважали Инокова, он был на два класса старше их, но дружился с ними и носил индейское имя Огненный Глаз. А может быть, он пугал их своей угрюмостью, острым и пристальным взглядом.

Избалованный ласковым вниманием дома, Клим тяжко ощущал пренебрежительное недоброжелательство учителей. Некоторые были физически неприятны ему: математик страдал хроническим насморком, оглушительно и грозно чихал, брызгая на учеников, затем со свистом выдувал воздух носом, прищуривая левый глаз; историк входил в класс осторожно, как полуслепой, и подкрадывался к партам всегда с таким лицом, как будто хотел дать пощечину всем ученикам двух первых парт, подходил и тянул тоненьким голосом:

— Н-ну-ус...

Его прозвали — Гнус.

Почти в каждом учителе Клим открывал несимпатичное и враждебное ему, все эти неряшливые люди в потертых мундирах смотрели на него так, как будто он был виноват в чем-то пред ними. И хотя он скоро убедился, что учителя относятся так странно не только к нему, а почти ко всем мальчикам, все-таки их гримасы напоминали ему брезгливую мину матери, с которой она смотрела в кухне на раков, когда пьяный продавец опрокинул корзину и раки, грязненькие, суховато шурша, расползлись по полу.

Но уже весною Клим заметил, что Ксаверий Ржига, инспектор и преподаватель древних языков, а за ним и некоторые учителя стали смотреть на него более мягко. Это случилось после того, как во время большой перемены кто-то бросил дважды камнями в окно кабинета инспектора, разбил стекла и сломал некий редкий цветок на подоконнике. Виновного усердно искали и не могли найти.

На четвертый день Клим спросил всезнающего Дронова: кто разбил стекло?

— А тебе зачем? — недоверчиво осведомился Дронов.

Они стояли на повороте коридора, за углом его, и Клим вдруг увидал медленно ползущую по белой стене тень рогатой головы инспектора. Дронов стоял спиною к тени.

— Не знаешь? — стал дразнить Клим товарища.— А хвастаешься: я всё знаю.— Тень прекратила свое движение.

— Конечно — знаю: Иноков,— вполголоса сказал Дронов, когда Клим достаточно раздразнил его.

— Ему надо честно сознаться в этом, а то из-за него терпят другие,— поучительно сказал Клим.

Дронов посмотрел на него, мигнул и, плюнув на пол, сказал:

— Сознается — исключат.

Нетерпеливо задребезжал звонок, приглашая в классы.

А на другой день, идя домой, Дронов сообщил Климу:

— Знаешь, кто-то выдал его.

— Кого? — спросил Клим.

— Кого, кого,— что ты гогочешь? Инокова.

— Ах, я забыл.

— Сейчас же после перемены вчера его и схопали. Выгонят. Узнать бы, кто донес, сволочь.

Клим действительно забыл свою беседу с Дроновым, а теперь, поняв, что это он выдал Инокова, испуганно задумался: почему он сделал это? И, подумав, решил, что карикатурная тень головы инспектора возбудила в нем, Климе, внезапное желание сделать неприятность хвастливому Дронову.

— Это ты виноват, ты болтал,— сердито сказал он.

— Когда это я болтал? — огрызнулся Дронов.

— А в перемену, мне?

— Так ведь не ты выдал? У тебя и времени не было для этого. Инокова-то сейчас же из класса позвали.

Они остановились друг против друга, как петухи, готовые подраться. Но Клим почувствовал, что ссориться с Дроновым не следует.

— Может быть, подслушали нас,— миролюбиво сказал он, и так же миролюбиво ответил Дронов:

— Никого не было. Это какой-нибудь одноклассник Инокова донес...

Пошли молча. Чувствуя вину свою, Клим подумал, как исправить ее, но, ничего не придумав, укрепился в желании сделать Дронову неприятное.

Весною мать перестала мучить Клима уроками музыки и усердно начала играть сама. По вечерам к ней приходил со скрипкой краснолицый, лысый адвокат Маков, невеселый человек в темных очках; затем приехал на трескучей пролетке Ксаверий Ржига с виолончелью, тощий, кривоногий, с глазами совы на костлявом бритом лице, над его желтыми висками возвышались, как рога, два серых вихра. Когда он играл, язык его почему-то высовывался и лежал на дряблой бритой губе, открывая в верхней челюсти два золотых зуба. А говорил он высоким голосом дьячка, всегда что-то особенно памятное и так, что нельзя было понять, серьезно говорит он или шутит.

— Скажу, что ученики были бы весьма лучше, если б не имели они живых родителей. Говорю так затем, что сироты — покорны,— изрекал он, подняв указательный палец на уровень синеватого носа. О Климе он сказал, положив сухую руку на голову его и обращаясь к Вере Петровне:

— В сыне вашем рыцарско, честно сердце, это — так!

А самого Клима поучал:

— Дабы познать науки, следует наблюдать, сопоставлять, и тогда мы обнажаем сердцевину сущего.

Наблюдать Клим умел. Он считал необходимым искать в товарищах недостатки; он даже беспокоился, не находя их, но беспокоиться приходилось редко, у него выработалась точная мера: всё, что ему не нравилось или возбуждало чувство зависти, — всё это было плохо. Он уже научился не только зорко подмечать в людях смешное и глупое, но искусно умел подчеркнуть недостатки одного в глазах другого. Когда приехали на каникулы Борис Варавка и Туробоев, Клим прежде всех заметил, что Борис, должно быть, сделал что-то очень дурное и боится, как бы об этом не узнали. Он похудел, под глазами его легли синеватые тени, взгляд стал рассеянным, беспокойным. Так же как раньше,

неутомимый в играх, изобретательный в шалостях, он слишком легко раздражался, на рябом лице его вспыхивали мелкие красные пятна, глаза сверкали задорно и злобно, а улыбаясь, он так обнажал зубы, точно хотел укусить. В азартной, неугомонной беготне его Клим почувствовал что-то опасное и стал уклоняться от игр с ним. Он заметил также, что Игорь и Лидия знают тайну Бориса, они трое часто прячутся по углам, озабоченно перешептываясь.

И вот вечером, тотчас после того, как почтальон принес письма, окно в кабинете Варавки-отца с треском распахнулось, и раздался сердитый крик:

— Борис, иди сюда!

Борис и Лидия, сидя на крыльце кухни, плели из веревок сеть, Игорь вырезал из деревянной лопаты трезубец,— предполагалось устроить бой гладиаторов. Борис встал, одернул подол блузы, туго подтянул ремень и быстро перекрестился.

— Я — с тобой,— сказал Туробоев.

— И я? — вопросительно произнесла Лидия, но брат, легонько оттолкнув ее, сказал:

— Не смей.

Мальчики ушли. Лидия осталась, отшвырнула веревки и подняла голову, прислушиваясь к чему-то. Незадолго пред этим сад был обильно вспрыснут дождем, на освеженной листве весело сверкали в лучах заката разноцветные капли. Лидия заплакала, стирая пальцем со щек слезинки, губы у нее дрожали, и всё лицо болезненно морщилось. Клим видел это, сидя на подоконнике в своей комнате. Он испуганно вздрогнул, когда над головою его раздался свирепый крик отца Бориса:

— Ты лжешь!

Сын ответил тоже пронзительным криком:

— Нет. Он — негодяй...

Потом раздался спокойный, как всегда, голос Игоря:

— Позвольте, я расскажу.

Окно наверху закрыли. Лидия встала и пошла по саду, нарочно задевая ветви кустарника так, чтоб капли дождя падали ей на голову и лицо.

— Что сделал Борис? — спросил ее Клим. Он уже не впервые спрашивал ее об этом, но Лидия и на этот раз не ответила ему, а только взглянула, как на чужого. У него явилось желание спрыгнуть в сад и натрепать ей уши. Теперь, когда возвратился Игорь, она снова перестала замечать Клима.

После этой сцены и Варавка и мать начали ухаживать за Борисом так, как будто он только что перенес опасную болезнь или совершил какой-то героический и таинственный подвиг. Это раздражало Клима, интриговало Дронова и создало в доме неприятное настроение какой-то скрытности.

— Чёрт,— бормотал Дронов, почесывая пальцем нос,— гривенник дал бы, чтоб узнать, чего он набедокурил? Ух, не люблю этого парнишку...

Когда Клим, приласкавшись к матери, спросил ее, что случилось с Борисом, она ответила:

— Его очень обидели.

— Чем?

— Это тебе не нужно знать.

Клим взглянул на строгое лицо ее и безнадежно замолчал, ощущая, что его давняя неприязнь к Борису становится острей.

Однажды ему удалось подсмотреть, как Борис, стоя в углу, за сараем, безмолвно плакал, закрыв лицо руками, плакал так, что его шатало из стороны в сторону, а плечи его дрожали, точно у слезоточивой Вари Сомовой, которая жила безмолвно и как тень своей бойкой сестры. Клим хотел подойти к Варавке, но не решился, да и приятно было видеть, что Борис плачет, полезно узнать, что роль обиженного не так уж завидна, как это казалось.

Вдруг дом опустел; Варавка отправил детей, Туробоева, Сомовых под надзором Тани Куликовой кататься на пароходе по Волге. Климу, конечно, тоже предложили ехать, но он солидно спросил:

— А как же я буду готовиться к переэкзаменовке?

Этим вопросом он хотел только напомнить о своем серьезном отношении к школе, но мать и Варавка почему-то поспешили согласиться, что ехать ему нельзя. Варавка даже, взяв его за подбородок, хвалебно сказал:

— Молодец! Но все-таки ты не очень смущайся тем, что науки вязнут в зубах у тебя,— все талантливые люди учились плохо.

Дети уехали, а Клим почти всю ночь проплакал от обиды. С месяц он прожил сам с собой, как перед зеркалом. Дронов с утра исчезал из дома на улицу, где он властно командовал группой ребятишек, ходил с ними купаться, водил их в лес за грибами, посылал в набеги на сады и огороды. Какие-то крикливые люди приходили жаловаться на него няньке, но она уже совершенно оглохла и, не торопясь, умирала в маленькой, полутемной комнатке за кухней. Слушая жалобщиков, она перекатывала голову по засаленной подушке и бормотала, благожелательно обещая:

— Ну, ну, господь всё видит, господь всех накажет.

Жалобщики требовали барыню; строгая, прямая, она выходила на крыльцо и, молча послушав робкие, путаные речи, тоже обещала:

— Хорошо, я его накажу.

Но — не наказывала. И только один раз Клим слышал, как она крикнула в окно, на двор:

— Иван, если ты будешь воровать огурцы, тебя выгонят из гимназии.

Она и Варавка становились всё менее видимы Климу, казалось, что они и друг с другом играют в прятки; несколько раз в день Клим слышал вопросы, обращенные к нему или к Малаше, горничной:

— Ты не знаешь, где мать,— в саду?

— Тимофей Степанович пришел?

Встречаясь, они улыбались друг другу, и улыбка матери была незнакома Климу, даже неприятна, хотя глаза ее, потемнев, стали еще красивее. А у Варавки как-то жадно и уродливо вываливалась из бороды его тяжелая, мясистая губа. Ново и неприятно было и то, что мать начала душиться слишком обильно и такими крепкими духами, что, когда Клим, уходя спать, целовал ей руку, духи эти щипали ноздри его, почти вызывая слезы, точно злой запах хрена. Иногда, вечерами, если не было музыки, Варавка ходил под руку с матерью по столовой или гостиной и урчал в бороду:

— О-о-о! О-о-о!

Мать усмехалась.

А когда играли, Варавка садился на свое место в кресло за роялем, закуривал сигару и узенькими щелочками прикрытых глаз рассматривал сквозь дым Веру Петровну. Сидел неподвижно, казалось, что он дремлет, дымился и молчал.

— Хорошо? — спрашивала его Вера Петровна, улыбаясь.

— Да,— отвечал он тихо, точно боясь разбудить кого-то.— Да.

А однажды сказал:

— Это — самое прекрасное, потому что это всегда — любовь.

— Но — нет же! — возразил Ржига.— Не всегда.

И, высоко подняв руку со смычком, он говорил о музыке до поры, пока адвокат Маков не прервал его:

— А моя жена, покойница, не любила музыку.

Вздохнув, он добавил, негромко, ворчливо:

— Совершенно неспособен понять женщину, которая не любит музыку, тогда как даже курицы, перепелки... гм.

Мать спросила его:

— Вы давно овдовели?

— Девять лет. Я был женат семнадцать месяцев. Да. Потом снова начал играть на скрипке.

Вслушиваясь в беседы взрослых о мужьях, женах о семейной жизни, Клим подмечал в тоне этих бесед что-то неясное, иногда — виноватое, часто — насмешливое, как будто говорилось о печальных ошибках, о том, чего не следовало делать. И, глядя на мать, он спрашивал себя: будет ли и она говорить так же?

«Не будет»,— уверенно отвечал он и улыбался.

В ласковую минуту Клим спросил ее:

— Это у тебя роман с ним?

— О, господи, тебе рано думать о таких вещах! — взволнованно и сердито сказала мать. Потом вытерла алые губы свои платком и прибавила мягче:

— Ты видишь: он — один, и я тоже. Нам скучно. Тебе тоже скучно?

— Нет,— сказал Клим.

Но ему было скучно до отупения. Мать так мало обращала внимания на него, что Клим перед завтраком, обедом, чаем тоже стал прятаться, как прятались она и Варавка. Он испытывал маленькое удовольствие, слыша, что горничная, бегая по двору, по саду, зовет его.

— Куда ты исчезаешь? — удивленно, а иногда с тревогой спрашивала мать. Клим отвечал:

— Я задумался.

— О чем?

— Обо всем. Об уроках тоже.

Уроки Томилина становились всё более скучны, менее понятны, а сам учитель как-то неестественно разросся в ширину и осел к земле. Он переоделся в белую рубаху с вышитым воротом, на его голых, медного цвета ногах блестели туфли зеленого сафьяна. Когда Клим, не понимая чего-нибудь, заявлял об этом ему, Томилин, не сердясь, но с явным удивлением, останавливался среди комнаты и говорил почти всегда одно и то же:

— Ты пойми прежде всего вот что: основная цель всякой науки — твердо установить ряд простейших, удобопонятных и утешительных истин. Вот.

И, барабаня пальцами по подбородку, разглядывая потолок белками глаз, он продолжал однотонно:

— Одной из таких истин служит Дарвинова теория борьбы за жизнь,— помнишь, я тебе и Дронову рассказывал о Дарвине? Теория эта устанавливает неизбежность зла и вражды на земле. Это, брат, самая удачная попытка человека совершенно оправдать себя. Да... Помнишь жену доктора Сомова? Она ненавидела Дарвина до безумия. Допустимо, что именно ненависть, возвышенная до безумия, и создает всеобъемлющую истину...

Стоя, он говорил наиболее непонятно, многословно, вызывая досаду. Теперь Клим слушал учителя не очень внимательно, у него была своя забота: он хотел встретить детей так, чтоб они сразу увидели — он уже не такой, каким они оставили его. Он долго думал — что нужно сделать для этого, и решил, что он всего сильнее поразит их, если начнет носить очки. Сказав матери, что у него устают глаза и что в гимназии ему посове-

товали купить консервы, он на другой же день обременил свой острый нос тяжестью двух стекол дымчатого цвета. Сквозь эти стекла всё на земле казалось осыпанным легким слоем сероватой пыли, и даже воздух, не теряя прозрачности своей, стал серебьким. Зеркало убедило Клима, что очки сделали тонкое лицо его и внушительным и еще более умным.

Но, как только дети возвратились, Борис, пожав руку Клима и не выпуская ее из своих крепких пальцев, насмешливо сказал:

— Смотрите: вот — мартышка в старости.

Люба Сомова жалостливо крикнула:

— Ой, каким ты стал совеночком!

Туробоев вежливо улыбался, но его улыбка тоже была обидна, а еще более обидно было равнодушие Лидии; положив руку на плечо Игоря, она смотрела на Клима, точно не желая узнать его. Затем она, устало вздохнув, спросила:

— Заболели глаза? Почему у тебя всегда что-нибудь болит?

— У меня никогда ничего не болит,— возмущенно сказал Клим, боясь, что сейчас заплачет.

Но с этого дня он заболел острой враждою к Борису, а тот, быстро уловив это чувство, стал настойчиво разжигать его, высмеивая почти каждый шаг, каждое слово Клима. Прогулка на пароходе, очевидно, не успокоила Бориса, он остался таким же нервным, каким приехал из Москвы, так же подозрительно и сердито сверкали его темные глаза, а иногда вдруг им овладевала странная растерянность, усталость, он прекращал игру и уходил куда-то.

«Плакать»,— догадывался Клим с приятной злостью.

Всё так же бережно и внимательно ухаживали за Борисом сестра и Туробоев, ласкала Вера Петровна, смешил отец, все терпеливо переносили его капризы и внезапные вспышки гнева. Клим измучился, пытаясь разгадать тайну, выспрашивая всех, но Люба Сомова сказала очень докторально:

— Это — от нервов, понимаешь? Такие белые ниточки в теле, и дрожат.

Туробоев объяснил не лучше:

— У него была неприятность, но я не хочу говорить об этом.

Лидия, наконец, предложила ему, нахмурясь и кривя губы:

— Побожись, что Борис никогда не узнает, что я сказала тебе!

Клим искренно поклялся хранить тайну и с жадностью выслушал трепетный, бессвязный рассказ:

— Бориса исключили из военной школы за то, что он отказался выдать товарищей, сделавших какую-то шалость. Нет, не за то,— торопливо поправила она, оглядываясь.— За это его посадили в карцер, а один учитель все-таки сказал, что Боря ябедник и донес; тогда, когда его выпустили из карцера, мальчики ночью высекли его, а он, на уроке, воткнул учителю циркуль в живот, и его исключили.

Всхлипнув, она добавила:

— Он и себя хотел убить. Его даже лечил сумасшедший доктор.

Черные глаза ее необыкновенно обильно вспотели слезами, и эти слезы показались Климу тоже черными. Он смутился,— Лидия так редко плакала, а теперь, в слезах, она стала похожа на других девочек и, потеряв свою несравненность, вызвала у Клима чувство, близкое жалости. Ее рассказ о брате не тронул и не удивил его, он всегда ожидал от Бориса необыкновенных поступков. Сняв очки, играя ими, он исподлобья смотрел на Лидию, не находя слов утешения для нее. А утешить хотелось,— Туробоев уже уехал в школу.

Она стояла, прислонясь спиною к тонкому стволу березы, и толкала его плечом, с полуголых ветвей медленно падали желтые листья, Лидия втаптывала их в землю, смахивая пальцами непривычные слезы со щек, и было что-то брезгливое в быстрых движениях ее загоревшей руки. Лицо ее тоже загорело до цвета бронзы, тоненькую, стройную фигурку красиво облегало синее платье, обшитое красной тесьмою, в ней было что-то необычное и удивительное, как в девочках цирка.

— Ему — стыдно? — спросил наконец Клим,— тряхнув головою, Лидия сказала вполголоса:

— Ну да! Ты подумай: вот он влюбится в какую-нибудь девочку, и ему нужно будет рассказать ей всё о себе, а — как же расскажешь, что высекли?

Клим тихо согласился:

— Да, об этом нельзя...

— Он даже перестал дружиться с Любой, и теперь всё с Варей, потому что Варя молчит, как дыня,— задумчиво говорила Лидия.— А мы с папой так боимся за Бориса. Папа даже ночью встает и смотрит — спит ли он? А вчера твоя мама приходила, когда уже было поздно, все спали.

Задумчиво склонив голову, она пошла прочь, втискивая каблуками в землю желтые листья. И, как только она скрылась, Клим почувствовал себя хорошо вооруженным против Бориса, способным щедро заплатить ему за все его насмешки; чувствовать это было радостно. Уже на следующий день он не мог удержаться, чтоб не показать Варавке эту радость. Он поздоровался с ним небрежно, сунув ему руку и тотчас же спрятав ее в карман; он снисходительно улыбнулся в лицо врага и, не сказав ему ни слова, пошел прочь. Но в дверях столовой, оглянувшись, увидал, что Борис, опираясь руками о край стола, вздернув голову и прикусив губу, смотрит на него испуганно. Тогда Клим улыбнулся еще раз, а Варавка в два прыжка подскочил к нему, схватил за плечи и, встряхнув, спросил негромко, сипло:

— Почему смеешься?

Его изрытое оспой лицо стало пестрым, он обнажил зубы, а руки его дрожали на плечах Клима.

— Пусти,— сказал Клим, уже боясь, что Борис ударит его, но тот, тихонько и как бы упрашивая, повторил:

— Над чем смеешься? Говори!

— Не над тобой.

И, вывернувшись из-под рук Бориса, Клим ушел не оглядываясь, спрятав голову в плечи.

Эта сцена, испугав, внушила ему более осторожное отношение к Варавке, но все-таки он не мог отказывать себе изредка посмотреть в глаза Бориса взглядом человека, знающего его постыдную тайну. Он хорошо видел,

что его усмешливые взгляды волнуют мальчика, и это было приятно видеть, хотя Борис всё так же дерзко насмешничал, следил за ним всё более подозрительно и кружился около него ястребом. И опасная эта игра быстро довела Клима до того, что он забыл осторожность.

В один из тех теплых, но грустных дней, когда осеннее солнце, прощаясь с обедневшей землею, как бы хочет напомнить о летней, животворящей силе своей, дети играли в саду. Клим был более оживлен, чем всегда, а Борис настроен добродушней. Весело бесились Лидия и Люба, старшая Сомова собирала букет из ярких листьев клена и рябины. Поймав какого-то запоздалого жука и подавая его двумя пальцами Борису, Клим сказал:

— На, секомое.

Каламбур явился сам собою, внезапно, и заставил Клима рассмеяться, а Борис неестественно всхрапнул, широко размахнувшись, ударил его по щеке, раз, два, а затем пинком сбил его с ног и стремглав убежал, дико воя на бегу.

Клим тоже кричал, плакал, грозил кулаками, сестры Сомовы уговаривали его, а Лидия прыгала перед ним и, задыхаясь, говорила:

— Как ты смел? Ты — подлый, ты божился. Ах, я тоже подлая...

Она убежала. Сомовы отвели Клима в кухню, чтобы смыть кровь с его разбитого лица; сердито сдвинув брови, вошла Вера Петровна, но тотчас же испуганно крикнула:

— Боже мой, что такое у тебя? Глаз — цел?

Быстро вымыв лицо сына, она отвела его в комнату, раздела, уложила в постель и, закрыв опухший глаз его компрессом, села на стул, внушительно говоря:

— Дразнить обиженного — это не похоже на тебя. Нужно быть великодушным.

Чувствуя, что все враждебны ему, все на стороне Бориса, Клим пробормотал:

— А ты говорила — не надо, что это — глупость.

— Что — глупость?

— Великодушие. Говорила. Я ведь помню.

Наклонясь к нему, строго глядя в его правый, открытый глаз, мать сказала:

— Ты не должен думать, что понимаешь всё, что говорят взрослые...

Клим заплакал, жалуясь:

— Меня никто не любит.

— Это — глупо, миляый. Это глупо,— повторила она и задумалась, гладя его щеку легкой, душистой рукою. Клим замолчал, ожидая, что она скажет: «Я люблю тебя»,— но она не успела сделать этого, пришел Варавка, держа себя за бороду, сел на постель, шутливо говоря:

— Зачем же вы деретесь, свиреные испанцы?

Но, хотя он говорил шутя, глаза его были грустны, беспокойно мигали, холеная борода измята. Он очень старался развеселить Клима, читал тоненьким голосом стишки:

Драмы, дамы, храмы, рамы,
Муравьи, гиппопотамы,
Соловьи и сундуки —
Пустяки всё, пустяки.

Мать улыбалась, глядя на него, но и ее глаза были печальны. Наконец, засунув руку под одеяло, Варавка стал щекотать пятки и подошвы Клима, заставил его рассмеяться и тотчас ушел вместе с матерью.

А на другой день вечером они устроили пышный праздник примирения — чай с пирожными, с конфектами, музыкой и танцами. Перед началом торжества они заставили Клима и Бориса поцеловаться, но Борис, целуя, крепко сжал зубы и закрыл глаза, а Клим почувствовал желание укусить его. Потом Климу предложили прочитать стихи Некрасова «Рубка леса», а хорошенькая подруга Лидии Алина Телеснева сама вызвалась читать, отошла к роялю и, восторженно закатив глаза, стала рассказывать вполголоса:

Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад,
Люди спят; одни лишь звезды к нам глядят,
Да и те не видят нас среди ветвей
И не слышат — слышит только соловей.

Лукаво улыбаясь, она проговорила следующие стихи еще тише:

Да и тот не слышит — песнь его громка;
Разве слышат только сердце и рука:
Слышит сердце, сколько радостей земли,
Сколько счастия сюда мы принесли...

Она была миленькая, точно картинка с коробки конфект. Ее круглое личико, осыпанное локонами волос шоколадного цвета, ярко разгорелось, синеватые глаза сияли не по-детски лукаво, и когда она, кончив читать, изящно сделала реверанс и плавно подошла к столу,— все встретили ее удивленным молчанием, потом Варавка сказал:

— Бесподобно, а? Вера Петровна,— каково?

Приподнял ладонью бороду, закрыл ею лицо и, сквозь волосы, добавил:

— Вот как рано начинается женщина, а?

Вера Петровна, грозя ему пальцем, зашипела:

— Шш...

И, прошептав ему несколько слов, заставивших Варавку виновато развести руками, она стала спрашивать:

— Где ты выучилась так читать?

Девочка, покраснев от гордости, сказала, что в доме ее родителей живет старая актриса и учит ее.

Лидия тотчас заявила:

— Пап, я тоже хочу учиться у актрисы.

Клим сидел опечаленный, его забыли похвалить за чтение, Алину он считал глупенькой и, несмотря на красоту ее, такой же ненужной, неинтересной, как Варя Сомова.

Всё шло очень хорошо. Вера Петровна играла на рояле любимые пьесы Бориса и Лидии — «Музыкальную табакерку» Лядова, «Тройку» Чайковского и еще несколько таких же простеньких и милых вещей, затем к роялю села Таня Куликова и, вдохновенно подпрыгивая на табурете, начала барабанить вальс. Варавка с Верой Петровной танцевали вокруг стола; Клим впервые видел, как легко танцует этот широкий, тяжелый человек, как ловко он заставляет мать кружиться в воз-

духе, отрывая ее от пола. Все дети дружно и восторженно аплодировали танцорам, а Борис закричал:

— Папа, ты — удивительный!

Клим подметил, что враг его смягчен музыкой, танцами, стихами, он и сам чувствовал себя необычно легко, растроганный общим настроением шумной и светлой радости.

— Дети,— кадриль! — скомандовала мать, отирая виски кружевным платком.

Лидия, всё еще сердясь на Клима, не глядя на него, послала брата за чем-то наверх,— Клим через минуту пошел за ним, подчиняясь внезапному толчку желания сказать Борису что-то хорошее, дружеское, может быть, извиниться пред ним за свою выходку.

Когда он взбежал до половины лестницы, Борис показался в начале ее, с туфлями в руке; остановясь, он так согнулся, точно хотел прыгнуть на Клима, но затем начал шагать со ступени на ступень медленно, и Клим услышал его всхрапывающий шёпот:

— Не смей подходить ко мне, ты!

Клим испугался, увидев наклонившееся и точно падающее на него лицо с обостренными скулами и высунутым вперед, как у собаки, подбородком; схватясь рукою за перила, он тоже медленно стал спускаться вниз, ожидая, что Варавка бросится на него, но Борис прошел мимо, повторив громче, сквозь зубы:

— Не смей.

Похолодев от испуга, Клим стоял на лестнице, у него щекотало в горле, слезы выкатывались из глаз, ему захотелось убежать в сад, на двор, спрятаться; он подошел к двери крыльца,— ветер кропил дверь осенним дождем. Он постучал в дверь кулаком, поцарапал ее ногтем, ощущая, что в груди что-то сломилось, исчезло, опустошив его. Когда, пересилив себя, он вошел в столовую, там уже танцевали кадриль, он отказался танцевать, подставил к роялю стул и стал играть кадриль в четыре руки с Таней.

Трудные, тяжелые дни наступили для него; он жил в страхе пред Борисом и в ненависти к нему. Уклоняясь от игр, он угрюмо торчал в углах и, с жадным напряжением следя за Борисом, ждал, как великой радости —

не упадет ли Борис, не ушибется ли? А Варавка, играя собою, бросал гибкое тело свое из стороны в сторону судорожно, как пьяный, но всегда так, точно каждое движение его, каждый прыжок были заранее безошибочно рассчитаны. Все восхищались его ловкостью, неутомимостью, его уменьем вносить в игру восторг и оживление. Клим слышал,как мать сказала вполголоса отцу Бориса:

— Какое талантливое тело!

В тот год зима запоздала, лишь во второй половине ноября сухой, свирепый ветер сковал реку сизым льдом и расцарапал не одетую снегом землю глубокими трещинами. В побледневшем, вымороженном небе белое солнце торопливо описывало короткую кривую, и казалось, что именно от этого обесцвеченного солнца на землю льется безжалостный холод.

В одно из воскресений Борис, Лидия, Клим и сестры Сомовы пошли на каток, только что расчищенный у городского берега реки. Большой овал сизоватого льда был обставлен елками, веревка, свитая из мочала, связывала их стволы. Зимнее солнце, краснея, опускалось за рекою в черный лес, лиловые отблески ложились на лед. Катающихся было много.

— Это мешок картофеля, а не каток,— капризно заявил Борис.— Кто со мной на реку? Варя?

— Да,— сказала тучная, бесцветная Сомова.

Они подлезли под веревку, схватились за руки и быстро помчались поперек реки, к лугам. Вслед им медные трубы солдатского оркестра громогласно и нестройно выдували бравурный марш. Любу Сомову схватил и увлек ее знакомый, исключенный из гимназии Иноков, кавалер, неказисто и легко одетый в суконную рубаху, заправленную за пояс штанов, слишком широких для него, в лохматой, овчинной шапке набекрень. Посмотрев на реку, где Сомова и Борис стремительно и, как по воздуху, катились, покачиваясь, к разбухшему, красному солнцу, Лидия предложила Климу бежать за ними, но, когда они подлезли под веревку и не торопясь покатились, она крикнула:

— Ой, смотри...

Но Клим уже видел, что Борис и Сомова исчезли.

— Упали,— сказал он.

— Нет,— прошептала Лидия, толкнув Клима плечом так, что он припал на колено.— Смотри,— провалились...

И она быстро побежала вперед, где, почти у берега, на красном фоне заката судорожно подпрыгивали два чёрных шара.

— Скорей,— кричала Лидия, удаляясь.— Ремень! Брось им ремень! Кричи...

Клим быстро обогнал ее, катясь с такою быстротой, что глазам его, широко открытым, было больно.

Встречу непонятно, неестественно ползла, расширяясь, темная яма, наполненная взволнованной водою, он слышал холодный плеск воды и видел две очень красные руки; растопыривая пальцы, эти руки хватались за лед на краю, лед обламывался и хрустел. Руки мелькали, точно ощипанные крылья странной птицы, между ними подпрыгивала гладкая и блестящая голова с огромными глазами на окровавленном лице; подпрыгивала, исчезала, и снова над водою трепетали маленькие красные руки. Клим слышал хриплый вой:

— Пусти! Пусти, дура... Пусти же!

Не более пяти-шести шагов отделяло Клима от края полыньи, он круто повернулся и упал, сильно ударив локтем о лед. Лежа на животе, он смотрел, как вода, необыкновенного цвета, густая и, должно быть, очень тяжелая, похлопывала Бориса по плечам, по голове. Она отрывала руки его ото льда, играючи переплескивалась через голову его, хлестала по лицу, по глазам, всё лицо Бориса дико выло, казалось даже, что и глаза его кричат: «Руку... дай руку...»

— Сейчас, сейчас,— бормотал Клим, пытаясь расстегнуть жгуче холодную пряжку ремня.— Держись, сейчас...

Был момент, когда Клим подумал — как хорошо было бы увидеть Бориса с таким искаженным, испуганным лицом, таким беспомощным и несчастным не здесь, а дома. И чтобы все видели его, каков он в эту минуту.

Но он подумал об этом сквозь испуг, стиснувший его обессиливающим холодом. С трудом отстегнув ремень

ноющей рукою, он бросил его в воду,— Борис поймал конец ремня, потянул его и легко подвинул Клима по льду ближе к воде,— Клим, взвизгнув, закрыл глаза и выпустил из руки ремень. А открыв глаза, он увидел, что темно-лиловая тяжелая вода всё чаще, сильнее хлопает по плечам Бориса, по его обнаженной голове и что маленькие, мокрые руки, красно́ поблескивая, подвигаются ближе, обламывая лед. Судорожным движением всего тела Клим отполз подальше от этих опасных рук, но, как только он отполз, руки и голова Бориса исчезли, на взволнованной воде качалась только черная каракулевая шапка, плавали свинцовые кусочки льда и вставали горбики воды, красноватые в лучах заката.

Клим глубоко, облегченно вздохнул, всё это страшное продолжалось мучительно долго. Но хотя он и отупел от страха, все-таки его удивило, что Лидия только сейчас подкатилась к нему, схватила его за плечи, ударила коленями в спину и пронзительно закричала:

— Где... где они?

Клим смотрел, как вода, успокаиваясь, текла в одну сторону, играя шапкой Бориса, смотрел и бормотал:

— Она его утопила... Он кричал — пусти, ругал ее. Ремень он вырвал...

Лидия, взвизгнув, упала на лед.

Лед скрипел под коньками, черные фигуры людей мчались к полынье, человек в полушубке совал в воду длинный шест и орал:

— Разойдись! Провалитесь. Тут глыбко, господа, тут машина работала, али не знаете!

Клим встал на ноги, хотел поднять Лиду, но его подшибли, он снова упал на спину, ударился затылком, усатый солдат схватил его за руку и повез по льду, крича:

— Разгоняй всех!

А мужик, размешивая шестом воду, кричал другое:

— Образованные господа, распоряжаитись, а закону не знаити...

И особенно поразил Клима чей-то серьезный, недоверчивый вопрос:

— Да — был ли мальчик-то, может, мальчика-то и не было?

«Был!» — хотел крикнуть Клим и не мог.

Очнулся он дома, в постели, в жестоком жару. Над ним, расплываясь, склонялось лицо матери, с чужими глазами, маленькими и красными.

— Вытащили их? — спросил Клим, помолчав, посмотрев на седого человека в очках, стоявшего среди комнаты. Мать положила на лоб его приятно холодную ладонь и не ответила.

— Вытащили? — повторил он.

Мать сказала:

— Он что-то шепчет.

— Бред,— оглушительно произнес седой человек.

Клим пролежал в постели семь недель, болея воспалением легких. За это время он узнал, что Варвару Сомову похоронили, а Бориса не нашли.

ГЛАВА 2

На семнадцатом году своей жизни Клим Самгин был стройным юношей среднего роста, он передвигался по земле неспешной, солидной походкой, говорил немного, стараясь выражать свои мысли точно и просто, подчеркивая слова умеренными жестами очень белых рук с длинными кистями и тонкими пальцами музыканта. Его суховатое, остроносое лицо украшали дымчатого цвета очки, прикрывая недоверчивый блеск голубоватых холодных глаз, а негустые, но жесткие волосы, остриженные, по форме, коротко, и аккуратный мундир подчеркивали его солидность. Не отличаясь успехами в науках, он подкупал учителей благовоспитанностью и благонравием. Сидел в шестом классе, но со своими одноклассниками держался отчужденно; приятели у него были в седьмом и восьмом.

Известно было, что отец Тихон, законоучитель, славившийся проницательностью ума, сказал на заседании педагогического совета о Климе:

— Струна разума его настроена благозвучно и высоко. Особенно же ценю в нем осторожное и скептическое даже отношение к тем пустякам, коими наше юношество столь склонно увлекаться во вред себе.

Нестареющий, только еще более ссохшийся Ксаверий Ржига внушал Климу:

— Не сомневаясь в благоразумии твоем, скажу однако, что ты имеешь товарищей, которые способны компрометировать тебя. Таков, назову, Иван Дронов, и таков есть Макаров. Сказал.

Клим корректно и молча поклонился инспектору. Он знал своих товарищей, конечно, лучше, чем Ржига, и хотя не питал к ним особенной симпатии, но оба они удивляли его. Дронов всё так же неутомимо и жадно всасывал в себя всё, что можно всосать. Учился он отлично, его считали украшением гимназии, но Клим знал, что учителя ненавидят Дронова так же, как Дронов тайно ненавидел их. Явно Дронов держался не только с учителями, но даже с некоторыми из учеников, сыновьями влиятельных лиц, заискивающе, но сквозь его льстивые речи, заигрывающие улыбки постоянно прорывались то ядовитые, то небрежные словечки человека, твердо знающего истинную цену себе.

Отец Тихон так характеризовал его:

— Оный Дронов, Иван, ведет себя подобно соглядатаю в земле Ханаанской.

Приплюснутый череп, должно быть, мешал Дронову расти вверх, он рос в ширину. Оставаясь низеньким человечком, он становился широкоплечим, его кости неуклюже торчали вправо, влево, кривизна ног стала заметней, он двигал локтями так, точно всегда протискивался сквозь тесную толпу. Клим Самгин находил, что горб не только не испортил бы странную фигуру Дронова, но даже придал бы ей законченность.

Дронов жил в мезонине, где когда-то обитал Томилин, и комната была завалена картонами, листами гербария, образцами минералов и книгами, которые Иван таскал от рыжего учителя. Он не утратил влечения к фантазиям, но теперь это уже не шло к нему. Климу даже казалось, что, фантазируя, Дронов насилует себя. Не забыв свое намерение быть «получше Ломоносова», он, изредка, хвастливо напоминал об этом. Клим находил, что голова Дронова стала такой же всепоглощающей мусорной ямой, как голова Тани Куликовой, и удивлялся способности Дронова ненасытно погло-

щать «умственную пищу», как говорил квартировавший во флигеле писатель Нестор Катин. Но к удивлению Клима иногда примешивалось странное чувство: как будто Дронов обкрадывал его. Дронов перестал шмыгать носом и начал как-то озабоченно, растерянно похрюкивать:

— Хрумм... Ты думаешь, как образовался глаз? — спрашивал он.— Первый глаз? Ползало какое-то слепое существо, червь, что ли,— как же оно прозрело, а?

— Не знаю,— отвечал Клим, живя в других мыслях, а Дронов судорожно догадывался:

— Наверное — от боли. Тыкалось передним концом, башкой, в разные препятствия, испытывало боль ударов, и на месте их образовалось зрительное чувствилище, а?

— Может быть, — полусоглашался Клим.

— Это я открою,— обещал Дронов.

Он читал Бокля, Дарвина, Сеченова, апокрифы и творения отцов церкви, читал «Родословную историю татар» Абдул-гази Багодур-хана и, читая, покачивал головою вверх и вниз, как бы выклевывая со страниц книги странные факты и мысли. Самгину казалось, что от этого нос его становился заметней, а лицо еще более плоским. В книгах нет тех странных вопросов, которые волнуют Ивана, Дронов сам выдумывает их, чтоб подчеркнуть оригинальность своего ума.

— Лошадь,— называл его Макаров, не произнося звук «л».

Макаров тоже был украшением гимназии и героем ее: в течение двух лет он вел с преподавателями упорную борьбу из-за пуговицы. У него была привычка крутить пуговицы мундира; отвечая урок, он держал руку под подбородком и крутил пуговицу, она всегда болталась у него, и нередко, отрывая ее на глазах учителя, он прятал пуговицу в карман. Его наказывали за это, ему говорили, что, если ворот мундира давит шею, нужно расширить ворот. Это не помогало. У него вообще было много пороков; он не соглашался стричь волосы, как следовало по закону, и на шишковатом черепе его торчали во все стороны двухцветные вихры, темно-русые и светлые; казалось, что он, несмотря на свои восемнадцать лет, уже седеет. Известно было, что

он пьет, курит, а также играет на биллиарде в грязных трактирах.

Он перевелся из другого города в пятый класс; уже третий год, восхищая учителей успехами в науках, смущал и раздражал их своим поведением. Среднего роста, стройный, сильный, он ходил легкой, скользящей походкой, точно артист цирка. Лицо у него было не русское, горбоносое, резко очерченное, но его смягчали карие, женски ласковые глаза и невеселая улыбка красивых, ярких губ; верхняя уже поросла темным пухом.

Клим не понимал дружбы этих слишком различных людей. Дронов рядом с Макаровым казался еще более уродливым и, видимо, чувствовал это. Он говорил с Макаровым задорно взвизгивая и тоном человека, который, чего-то опасаясь, готов к защите, надменно выпячивая грудь, откидывал голову, бегающие глазки его останавливались настороженно, недоверчиво и как бы ожидая необыкновенного. А в отношении Макарова к Дронову Клим наблюдал острое любопытство, соединенное с обидной небрежностью более опытного и зрячего к полуслепому; такого отношения к себе Клим не допустил бы.

Подсовывая Макарову книжку Дрэпера «Католицизм и наука», Дронов требовательно взвизгивал:

— Тут доказывается, что монахи были врагами науки, а между тем Джордано Бруно, Кампанелла, Морус...

— Пошли-ка ты всё это к чёрту,— советовал Макаров, раскуривая папиросу.

— Я хочу знать правду,— заявлял Дронов, глядя на Макарова подозрительно и недружелюбно.

— О ней справься у Томилина или у Катина, они тебе скажут,— равнодушно, с дымом, сказал Макаров.

Однажды Клим спросил:

— Тебе нравится Дронов?

— Нравится? Нет,— решительно ответил Макаров.— Но в нем есть нечто раздражающе непонятное мне, и я хочу понять.

Затем, подумав, он сказал небрежно:

— С такой рожей, как его, трудно жить.

— Почему?

— Н-ну... Ему нужно хорошо одеваться, носить особенную шляпу. С тросточкой ходить. А то — как же девицы? Главное, брат, девицы. А они любят, чтобы с тросточкой, с саблей, со стихами.

Сказав, Макаров стал тихонько насвистывать сквозь зубы.

Клим Самгин легко усваивал чужие мысли, когда они упрощали человека. Упрощающие мысли очень облегчали необходимость иметь обо всем свое мнение. Он выучился искусно ставить свое мнение между да и нет, и это укрепляло за ним репутацию человека, который умеет думать независимо, жить на средства своего ума. После отзыва Макарова о Дронове он окончательно решил, что поиски Дроновым правды — стремление вороны украсить себя павлиньими перьями. Сам живя в тревожной струе этого стремления, он хорошо знал силу и обязательность его.

Он считал товарищей глупее себя, но в то же время видел, что оба они талантливее, интереснее его. Он знал, что мудрый поп Тихон говорил о Макарове:

— Юноша — блестящий. Но, однако ж, не следует забывать тонкое изречение знаменитого Ганса Христиана Андерсена:

Позолота-то сотрется,
Свиная кожа остается.

Климу очень хотелось стереть позолоту с Макарова, она ослепляла его, хотя он и замечал, что товарищ часто поддается непонятной тревоге, подавлявшей его. А Иван Дронов казался ему азартным игроком, который торопится всех обыграть, действуя фальшивыми картами. Иногда Клим искренно недоумевал, видя, что товарищи относятся к нему лучше, доверчивее, чем он к ним, очевидно, они признавали его умнее, опытнее их. Но это честное недоумение являлось ненадолго и только в те редкие минуты, когда, устав от постоянного наблюдения над собою, он чувствовал, что идет путем трудным и опасным.

Макаров сам стер позолоту с себя; это случилось, когда они сидели в ограде церкви Успения на Горе, любуясь закатом солнца.

Был один из тех сказочных вечеров, когда русская зима с покоряющей, вельможной щедростью развертывает все свои холодные красоты. Иней на деревьях сверкал розоватым хрусталем, снег искрился радужной пылью самоцветов, за лиловыми лысинами реки, оголенной ветром, на лугах лежал пышный парчовый покров, а над ним — синяя тишина, которую, казалось, ничто и никогда не поколеблет. Эта чуткая тишина обнимала всё видимое, как бы ожидая, даже требуя, чтоб сказано было нечто особенно значительное.

Выпустив в морозный воздух голубую струю дыма папиросы, Макаров внезапно спросил:

— Стихов не пишешь?

— Я? — удивился Клим.— Нет. А ты?

— Начал. Выходят скверно.

И как-то сразу, обиженно, грубо и бесстыдно он стал рассказывать:

— Вот уже почти два года ни о чем не могу думать, только о девицах. К проституткам идти не могу, до этой степени еще не дошел. Тянет к онанизму, хоть руки отрубить. Есть, брат, в этом влечении что-то обидное до слез, до отвращения к себе. С девицами чувствую себя идиотом. Она мне о книжках, о разных поэзиях, а я думаю о том, какие у нее груди и что вот поцеловать бы ее да и умереть.

Он бросил недокуренную папиросу, она воткнулась в снег свечой, огнем вверх, украшая холодную прозрачность воздуха кудрявой струйкой голубого дыма. Макаров смотрел на нее и говорил вполголоса:

— Глупо, как два учителя. А главное, обидно, потому что — неодолимо. Ты еще не испытал этого? Скоро испытаешь.

Он встал, раздавил подошвой папиросу и продолжал стоя, разглядывая прищуренными глазами красно́ сверкавший крест на церкви:

— Дронов где-то вычитал, что тут действует «дух породы», что «так хочет Венера». Чёрт их возьми, породу и Венеру, какое мне дело до них? Я не желаю чувствовать себя кобелем, у меня от этого тоска и мысли о самоубийстве, вот в чем дело!

Клим слушал с напряженным интересом, ему было приятно видеть, что Макаров рисует себя бессильным и бесстыдным. Тревога Макарова была еще не знакома Климу, хотя он, изредка, ночами, чувствуя смущающие запросы тела, задумывался о том, как разыграется его первый роман, и уже знал, что героиня романа — Лидия.

Макаров посвистел, сунул руки в карманы пальто, зябко поежился.

— Люба Сомова — курносая дурочка, я ее не люблю, то есть она мне не нравится, а все-таки я себя чувствую зависимым от нее. Ты знаешь, девицы весьма благосклонны ко мне, но...

«Не все»,— мысленно закончил Клим, вспомнив, как неприязненно относилась к Макарову Лидия Варавка.

— Идем, холодно,— сказал Макаров и угрюмо спросил: — Ты что молчишь?

— Что я могу сказать? — Клим пожал плечами.— Банальность: неизбежное — неизбежно.

Несколько минут шли молча, поскрипывая снегом.

— Зачем так рано это начинается? Тут, брат, есть какое-то издевательство...— тихо и раздумчиво сказал Макаров. Клим откликнулся не сразу:

— Шопенгауэр, вероятно, прав.

— А может быть, прав Толстой: отвернись от всего и гляди в угол. Но если отвернешься от лучшего в себе, а?

Клим Самгин промолчал, ему всё приятнее было слушать печальные речи товарища. Он даже пожалел, когда Макаров вдруг простился с ним и, оглянувшись, шагнул на двор трактира.

— Поиграю на биллиарде,— сказал он, сердито хлопнув калиткой.

Истекшие годы не внесли в жизнь Клима событий, особенно глубоко волновавших его. Всё совершалось очень просто. Постепенно и вполне естественно исчезали, один за другим, люди. Отец всё чаще уезжал куда-то, он как-то умалялся, таял и наконец совсем исчез. Перед этим он стал говорить меньше, менее уверенно, даже как будто затрудняясь в выборе слов; на-

чал отращивать бороду, усы, но рыжеватые волосы на лице его росли горизонтально, и, когда верхняя губа стала похожа на зубную щетку, отец сконфузился, сбрил волосы, и Клим увидал, что лицо отцово жалостно обмякло, постарело. Варавка говорил с ним словами понукающими.

— Н-ну-с, Иван Акимыч, так как же, а? Продали лесопилку?

Уши отца багровели, слушая Варавку, а отвечая ему, Самгин смотрел в плечо его и притопывал ногой, как точильщик ножей, ножниц. Нередко он возвращался домой пьяным, проходил в спальню матери, и там долго был слышен его завывающий голосок. В утро последнего своего отъезда он вошел в комнату Клима, тоже выпивши, сопровождаемый негромким напутствием матери:

— Прошу тебя,— пожалуйста, без драматических монологов.

— Ну, милый Клим,— сказал он громко и храбро, хотя губы у него дрожали, а опухшие, красные глаза мигали ослепленно.— Дела заставляют меня уехать надолго. Я буду жить в Финляндии, в Выборге. Вот как. Митя тоже со мной. Ну, прощай.

Обняв Клима, он поцеловал его в лоб, в щеки, похлопал по спине и добавил:

— Дедушка тоже с нами. Да. Прощай. У... уважай мать, она достойна...

Не сказав, чего именно достойна мать, он взмахнул рукою и почесал подбородок. Климу показалось, что он хотел ладонью прикрыть пухлый рот свой.

Когда дедушка, отец и брат, простившийся с Климом грубо и враждебно, уехали, дом не опустел от этого, но через несколько дней Клим вдруг вспомнил неверующие слова, сказанные на реке, когда тонул Борис Варавка:

«Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

Ужас, испытанный Климом в те минуты, когда красные, цепкие руки, высовываясь из воды, подвигались к нему, Клим прочно забыл; сцена гибели Бориса вспоминалась ему всё более редко и лишь как неприятное

сновидение. Но в словах скептического человека было что-то назойливое, как будто они хотели утвердиться забавной, подмигивающей поговоркой:

«Может, мальчика-то и не было?»

Клим любил такие поговорки, смутно чувствуя их скользкую двусмысленность и замечая, что именно они охотно принимаются за мудрость. Ночами, в постели, перед тем как заснуть, вспоминая всё, что слышал за день, он отсевал непонятное и неяркое, как шелуху, бережно сохраняя в памяти наиболее крупные зерна разных мудростей, чтоб, при случае, воспользоваться ими и еще раз подкрепить репутацию юноши вдумчивого. Он умел сказать чужое так осторожно, мимоходом и в то же время небрежно, как будто сказанное им являлось лишь ничтожной частицей сокровищ его ума. И были удачные минуты успеха, вспоминая которые, он сам любовался собою с таким же удивлением, с каким люди любовались им.

Но почти всегда, вслед за этим, Клим недоуменно, с досадой, близкой злому унынию, вспоминал о Лидии, которая не умеет или не хочет видеть его таким, как видят другие. Она днями и неделями как будто даже и совсем не видела его, точно он для нее бесплотен, бесцветен, не существует. Вырастая, она становилась всё более странной и трудной девочкой. Варавка, улыбаясь в лисью бороду большой, красной улыбкой, говорил:

— В мать пошла. Та тоже мастерица была выдумывать. Выдумает и — верит.

Глагол — выдумывать, слово — выдумка отец Лидии произносил чаще, чем все другие знакомые, и это слово всегда успокаивало, укрепляло Клима. Всегда, но не в случае с Лидией,— случае, возбудившем у него очень сложное чувство к этой девочке.

Летом, на другой год после смерти Бориса, когда Лидии минуло двенадцать лет, Игорь Туробоев отказался учиться в военной школе и должен был ехать в какую-то другую, в Петербург. И вот, за несколько дней до его отъезда, во время завтрака, Лидия решительно заявила отцу, что она любит Игоря, не может без него жить и не хочет, чтоб он учился в другом городе.

— Он должен жить и учиться здесь,— сказала она, пристукнув по столу маленьким, но крепким кулачком.— А когда мне будет пятнадцать лет и шесть месяцев, мы обвенчаемся.

— Это — чепуха, Лидка,— строго сказал отец.— Я запрещаю...

Не пожелав узнать, что́ он запрещает, Лидия встала из-за стола и ушла, раньше чем Варавка успел остановить ее. В дверях, схватясь за косяк, она сказала:

— Это дело божие...

— Какая экзальтированная девочка,— заметила мать, одобрительно глядя на Клима.

Он смеялся. Засмеялся и Варавка.

Но раньше чем они успели кончить завтрак, явился Игорь Туробоев, бледный, с синевой под глазами, корректно расшаркался пред матерью Клима, поцеловал ей руку и, остановясь пред Варавкой, очень звонко объявил, что он любит Лиду, не может ехать в Петербург и просит Варавку...

Не дослушав его речь, Варавка захохотал, раскачивая свое огромное тело, скрипя стулом, Вера Петровна снисходительно улыбалась, Клим смотрел на Игоря с неприятным удивлением, а Игорь стоял неподвижно, но казалось, что он всё вытягивается, растет. Подождав, когда Варавка прохохотался, он всё так же звонко сказал:

— И прошу вас сказать моему папа́, что, если этого не будет, я убью себя. Прошу вас верить. Папа́ не верит.

Несколько секунд мужчина и женщина молчали, переглядываясь, потом мать указала Климу глазами на дверь; Клим ушел к себе смущенный, не понимая, как отнестись к этой сцене. Из окна своей комнаты он видел: Варавка, ожесточенно встряхивая бородою, увел Игоря за руку на улицу, затем вернулся вместе с маленьким, сухоньким отцом Игоря, лысым, в серой тужурке и серых брюках с красными лампасами. Они долго ходили по дорожке сада, седые усы Туробоева непрерывно дрожали, он говорил что-то хриплым, сорванным голосом, Варавка глухо мычал, часто отирая платком красное лицо, и кивал головою. Пришла мать и строго приказала Климу:

— Тебе пора на урок, к Томилину. Ты, конечно, не станешь рассказывать ему об этих глупостях.

Когда Клим возвратился с урока и хотел пройти к Лидии, ему сказали, что это нельзя, Лидия заперта в своей комнате. Было необыкновенно скучно и напряженно тихо в доме, но Климу казалось, что сейчас что-то упадет со страшным грохотом. Ничего не упало. Мать и Варавка куда-то ушли, а Клим вышел в сад и стал смотреть в окно комнаты Лидии. Девочка не появлялась в окне, мелькала только растрепанная голова Тани Куликовой. Клим сел на скамью и долго сидел, ни о чем не думая, видя пред собою только лица Игоря и Варавки, желая, чтоб Игоря хорошенько высекли, а Лидию... Он долго соображал, как нужно наказать ее, и не нашел для девочки наказания, которое не было бы обидно и ему.

Мать и Варавка возвратились поздно, когда он уже спал. Его разбудил смех и шум, поднятый ими в столовой, смеялись они, точно пьяные. Варавка всё пробовал петь, а мать кричала:

— Да не так! Не так же!..

Потом они перешли в гостиную, мать заиграла что-то веселое, но вдруг музыка оборвалась. Клим задремал и был разбужен тяжелой беготнею наверху, а затем раздались крики:

— Что за дьявольская комедия! Лидии — нет. Татьяна дрыхнет, а Лидии — нет! Вера, ты понимаешь?

Клим вскочил с постели, быстро оделся и выбежал в столовую, но в ней было темно, лампа горела только в спальне матери. Варавка стоял в двери, держась за косяки, точно распятый, он был в халате и в туфлях на голые ноги, мать торопливо куталась в капот.

Климу велели разбудить Дронова и искать Лидию в саду, на дворе, где уже виновато и негромко покрикивала Таня Куликова:

— Лида? Ну, что за глупости! Лидуша?

Клим чувствовал себя невыразимо странно, на этот раз ему казалось, что он участвует в выдумке, которая несравненно интереснее всего, что он знал, интереснее и страшней. И ночь была странная, рыскал жаркий ветер, встряхивая деревья, душил все запахи сухой,

теплой пылью, по небу ползли облака, каждую минуту угашая луну, всё колебалось, обнаруживая жуткую неустойчивость, внушая тревогу. Сонный и сердитый, ходил на кривых ногах Дронов, спотыкался, позевывал, плевал; был он в полосатых тиковых подштанниках и темной рубахе, фигура его исчезала на фоне кустов, а голова плавала в воздухе, точно пузырь.

— Наверное, она к Туробоевым в сад убежала,— предположил Дронов.

Да, она была там, сидела на спинке чугунной садовой скамьи, под навесом кустов. Измятая темнотою тонкая фигурка девочки бесформенно сжалась, и было в ней нечто, отдаленно напоминавшее большую белую птицу.

— Лида! — вскрикнул Клим.

— Что ты орешь, как полицейский,— сказал Дронов вполголоса и, грубо оттолкнув Клима плечом, предложил Лиде:

— Что ж тут сидеть, идемте домой.

Клима возмутила грубость Дронова, удивил его ласковый голос и обращение к Лидии на «вы», точно ко взрослой.

— Его побили, да? — спросила девочка, не шевелясь, не принимая протянутой руки Дронова. Слова ее звучали разбито, так говорят девочки после того, как наплачутся.

— Я упала, как слепая, когда лезла через забор,— сказала она, всхлипнув.— Как дура. Я не могу идти...

Клим и Дронов сняли ее, поставили на землю, но она, охнув, повалилась, точно кукла, мальчики едва успели поддержать ее. Когда они повели ее домой, Лидия рассказала, что упала она, не перелезая через забор, а пытаясь влезть по водосточной трубе в окно комнаты Игоря.

— Я хотела знать, что он делает...

— Спит,— сказал Дронов.

Лидия подняла руку ко рту и, высасывая кровь из-под сломанных ногтей, замолчала.

На дворе Варавка в халате и татарской тюбетейке зарычал на дочь:

— Ты что же это делаешь?

Но вдруг испуганно схватил ее на руки, поднял:

— Что с тобой?

Тогда девочка голосом, звук которого Клим долго не мог забыть, сказала:

— Ах, папа, ты ничего не понимаешь! Ты не можешь... ты не любил маму!

— Шш! С ума сошла,— зашипел Варавка и убежал с нею в дом, потеряв сафьяновую туфлю.

— Разыгралась коза,— тихонько сказал Дронов, усмехаясь.— Ну, что же, пойду спать...

Но не ушел, а, присев на ступень кухонного крыльца, почесывая плечо, пробормотал:

— Придумала игру...

Клим шагал по двору, углубленно размышляя: неужели всё это только игра и выдумка? Из открытого окна во втором этаже долетали ворчливые голоса Варавки, матери; с лестницы быстро скатилась Таня Куликова.

— Не запирайте ворот, я за доктором,— сказала она, выбегая на улицу.

Дронов бормотал сердито и насмешливо:

— Меня Ржига заставил «Илиаду» и «Одиссею» прочитать. Вот — чепуха! Ахиллесы, Патроклы — болваны. Скука! «Одиссея» лучше, там Одиссей без драки всех надул. Жулик, хоть для сего дня.

— Клим — спать! — строго крикнула Вера Петровна из окна.— Дронов, разбуди дворника и тоже — спать.

Через несколько дней этот роман стал известен в городе, гимназисты спрашивали Клима:

— Какая она?

Клим отвечал сдержанно, ему не хотелось рассказывать, но Дронов оживленно болтал:

— Некрасивая, потому и влюбилась, красивая — не влюбится, шалишь!

Клим слушал его болтовню с досадой, но ожидая, что Дронов, может быть, скажет что-то, что разрешит недоумение, очень смущавшее Клима.

— Я говорю ей: ты еще девчонка,— рассказывал Дронов мальчикам.— И ему то же говорю... Ну, ему, конечно, интересно; всякому интересно, когда в него влюбляются.

Досадно было слышать, как Дронов лжет, но, видя, что эта ложь делает Лидию героиней гимназистов, Самгин не мешал Ивану. Мальчики слушали серьезно, и глаза некоторых смотрели с тою странной печалью, которая была уже знакома Климу по фарфоровым глазам Томилина.

Лидия вывихнула ногу и одиннадцать дней лежала в постели. Левая рука ее тоже была забинтована. Перед отъездом Игоря толстая, задыхающаяся Туробоева, страшно выкатив глаза, привела его проститься с Лидией; влюбленные, обнявшись, плакали, заплакала и мать Игоря.

— Это смешно, а — хорошо,— говорила она, осторожно вытирая платком выпученные глаза.— Хорошо, потому что несовременно.

Варавка угрюмо промычал какое-то тяжелое и незнакомое слово.

Детей успокоили, сказав им: да, они жених и невеста, это решено; они обвенчаются, когда вырастут, а до той поры им разрешают писать письма друг другу. Клим скоро убедился, что их обманули. Лидия писала Игорю каждый день и, отдавая письма матери Игоря, нетерпеливо ждала ответов. Но Клим подметил, что письма Лидии попадают в руки Варавки, он читает их его матери, и они оба смеются. Лидия стала бесноваться, тогда ей сказали, что Игорь отдан в такое строгое училище, где начальство не позволяет мальчикам переписываться даже с их родственниками.

— Это — как монастырь,— лгал он, а Климу хотелось крикнуть Лидии:

«Твои письма в кармане у него».

Но Клим видел, что Лида, слушая рассказы отца поджав губы, не верит им. Она треплет платок или конец своего гимназического передника, смотрит в пол или в сторону, как бы стыдясь взглянуть в широкое, туго налитое кровью бородатое лицо. Клим все-таки сказал:

— Ты знаешь, что они тебя обманывают?

— Молчи! — крикнула Лидия, топнув ногою.— Это не твое дело, не тебя обманывают. И папа не обманывает, а... потому что боится...

Покраснев, сердитая, она убежала.

В гимназии она считалась одной из первых озорниц, а училась небрежно. Как брат ее, она вносила в игры много оживления и, как это знал Клим по жалобам на нее, много чего-то капризного, испытующего и даже злого. Стала еще более богомольна, усердно посещала церковные службы, а в минуты задумчивости ее черные глаза смотрели на всё таким пронзающим взглядом, что Клим робел пред нею.

К нему она относилась почти так же пренебрежительно и насмешливо, как ко всем другим мальчикам, и уже не она Климу, а он ей предлагал:

— Хочешь — пойдем, поговорим?

Она редко и не очень охотно соглашалась на это и уже не рассказывала Климу о боге, кошках, о подругах, а задумчиво слушала его рассказы о гимназии, суждения об учителях и мальчиках, о прочитанных им книгах. Когда Клим объявил ей новость, что он не верит в бога, она сказала небрежно:

— Это — глупость. У нас в классе тоже есть девочка, которая говорит, что не верит, но это потому, что она горбатая.

За три года Игорь Туробоев ни разу не приезжал на каникулы. Лидия молчала о нем. А когда Клим попробовал заговорить с нею о неверном возлюбленном, она холодно заметила:

— О любви можно говорить только с одним человеком...

К пятнадцати годам Лидия вытянулась, оставаясь всё такой же тоненькой и легкой, пружинно подскакивающей на ходу. Она стала угловатой, на плечах и бедрах ее высунулись кости, и хотя уже резко обозначились груди, но они были острые, как локти, и неприятно кололи глаза Клима; заострился нос, потемнели густые и строгие брови, а вспухшие губы стали волнующе яркими. Лицо ее было хорошо знакомо Климу, тем более тревожно удивлялся он, когда видел, что сквозь заученные им черты этого лица таинственно проступает другое, чужое ему. Порою оно было так ясно видимо, что Клим готов был спросить девушку:

«Что вы?»

Иногда он спрашивал:

— Что с тобою?

— Ничего,— отвечала она с легким удивлением.— А что?

— У вас изменилось лицо.

— Да? Как же?

На этот вопрос он не умел ответить. Иногда он говорил ей «вы», не замечая этого, она тоже не замечала.

Его особенно смущал взгляд глаз ее скрытого лица, именно он превращал ее в чужую. Взгляд этот, острый и зоркий, чего-то ожидал, искал, даже требовал и вдруг, становясь пренебрежительным, холодно отталкивал. Было странно, что она разогнала всех своих кошек и что вообще в ее отношении к животным явилась какая-то болезненная брезгливость. Слыша ржанье лошади, она вздрагивала и морщилась, туго кутая грудь шалью; собаки вызывали у нее отвращение; даже петухи, голуби были явно неприятны ей.

И мысли у нее стали так же резко очерчены, угловаты, как ее тело.

— Учиться — скучно,— говорила она.— И зачем знать то, чего я сама не могу сделать или чего никогда не увижу?

Однажды она сказала Климу:

— Ты много знаешь. Должно быть, это очень неудобно.

Таня Куликова, домоправительница Варавки, благожелательно и покорно улыбаясь всему на свете, говорила о Лидии, как мать Клима о своих пышных волосах:

— Мучение мое.

Но говорила без досады, а ласково и любовно. На висках у нее появились седые волосы, на измятом лице — улыбка человека, который понимает, что он родился неудачно, не вовремя, никому не интересен и очень виноват во всем этом.

Во флигеле поселился веселый писатель Нестор Николаевич Катин с женою, сестрой и лопоухой собакой, которую он назвал Мечта. Настоящая фамилия писателя была Пимов, но он избрал псевдоним, шутливо объясняя это так:

— Ведь у нас не произносят: Нестор, а — Нестер, и мне пришлось бы подписывать рассказы Нестерпимов.

Убийственно. К тому же теперь в моде производить псевдонимы по именам жен: Верин, Валин, Сашин, Машин...

Был он мохнатенький, носил курчавую бородку, шея его была расшита колечками темных волос, и даже на кистях рук, на сгибах пальцев росли кустики темной шерсти. Живой, очень подвижный, даже несколько суетливый человек и неустанный говорун, он напоминал Климу отца. На его волосатом лице маленькие глазки блестели оживленно, а Клим все-таки почему-то подозревал, что человек этот хочет казаться веселее, чем он есть. Говоря, он склонял голову свою к левому плечу, как бы прислушиваясь к словам своим, и раковина уха его тихонько вздрагивала.

Он употреблял церковнославянские слова: аще, ибо, паче, дондеже, поелику, паки и паки; этим он явно, но не очень успешно старался рассмешить людей. Он восторженно рассказывал о красоте лесов и полей, о патриархальности деревенской жизни, о выносливости баб и уме мужиков, о душе народа, простой и мудрой, и о том, как эту душу отравляет город. Ему часто приходилось объяснять слушателям незнакомые им слова: пáморха, мурцовка, мóроки, сугрев, и он не без гордости заявлял:

— Я народную речь знаю лучше Глеба Успенского, он путает деревенское с мещанским, а меня на этом не поймаешь, нет!

Нестор Катин носил косоворотку, подпоясанную узеньким ремнем, брюки заправлял за сапоги, волосы стриг в кружок «à la мужик»; он был похож на мастерового, который хорошо зарабатывает и любит жить весело. Почти каждый вечер к нему приходили серьезные, задумчивые люди. Климу казалось, что все они очень горды и чем-то обижены. Пили чай, водку, закусывая огурцами, колбасой и маринованными грибами, писатель как-то странно скручивался, развертывался, бегал по комнате и говорил:

— Да, да, Степа, литература откололась от жизни, изменяет народу; теперь пишут красивенькие пустячки для забавы сытых; чутье на правду потеряно...

Степа, человек широкоплечий, серобородый, голубоглазый, всегда сидел в стороне от людей, меланхо-

лически размешивал ложкой чай в стакане и, согласно помавая головой, молчал час, два. А затем вдруг, размеренно, тусклым голосом он говорил о запросах народной души, обязанностях интеллигенции и особенно много об измене детей священным заветам отцов. Клим заметил, что знаток обязанностей интеллигенции никогда не ест хлебного мякиша, а только корки, не любит табачного дыма, а водку пьет, не скрывая отвращения к ней и как бы только по обязанности.

— Ты прав, Нестор, забывают, что народ есть субстанция, то есть первопричина, а теперь выдвигают учение о классах, немецкое учение, гм...

Макаров находил, что в этом человеке есть что-то напоминающее кормилицу, он так часто говорил это, что и Климу стало казаться — да, Степа, несмотря на его бороду, имеет какое-то сходство с грудастой бабой, обязанной молоком своим кормить чужих детей.

По воскресеньям у Катина собиралась молодежь, и тогда серьезные разговоры о народе заменялись пением, танцами. Рябой семинарист Сабуров, медленно разводя руками в прокуренном воздухе, как будто стоя плыл и приятным баритоном убедительно советовал:

— «Выдь на Во-о-лгу...»

— «Чей стон»,— не очень стройно подхватывал хор. Взрослые пели торжественно, покаянно, резкий тенорок писателя звучал едко, в медленной песне было нечто церковное, панихидное. Почти всегда после пения шумно танцевали кадриль, и больше всех шумел писатель, одновременно изображая и оркестр и дирижера. Притопывая коротенькими, толстыми ногами, он искусно играл на небольшой, дешевой гармонии и ухарски командовал:

— Кавалеры наскрозь дам! Бросай свою, хватай чужую!

Это всех смешило, а писатель, распаляясь еще более, пел под гармонику и в ритм кадрили:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца!»

Варавка сердито назвал это веселье:

— Рыбьи пляски.

Климу казалось, что писатель веселится с великим напряжением и даже отчаянно; он подпрыгивал, содрогался и потел. Изображая удалого человека, выкрикивая не свои слова, он честно старался рассмешить танцующих и, когда достигал этого, облегченно ухал:

— Ух!

Затем снова начинал смешить нелепыми словами, комическими прыжками и подмигивал жене своей, которая самозабвенно, с полусонной улыбкой на кукольном лице, выполняла фигуры кадрили.

— Эх ты, мягкая! — кричал ей муж.

Жена, кругленькая, розовая и беременная, была неистощимо ласкова со всеми. Маленьким, но милым голоском она, вместе с сестрою своей, пела украинские песни. Сестра, молчаливая, с длинным носом, жила прикрыв глаза, как будто боясь увидеть нечто пугающее; она молча, аккуратно разливала чай, угощала закусками, и лишь изредка Клим слышал густой голос ее:

— Это — да! — Или: — В это трудно поверить.

Она редко произносила что-нибудь иное, кроме этих двух фраз.

Клим чувствовал себя неплохо у забавных и новых для него людей, в комнате, оклеенной веселенькими, светлыми обоями. Всё вокруг было неряшливо, как у Варавки, но простодушно. Изредка являлся Томилин, он проходил по двору медленно, торжественным шагом, не глядя в окна Самгиных; войдя к писателю, молча жал руки людей и садился в угол у печки, наклонив голову, прислушиваясь к спорам, песням. Торопливо вбегала Таня Куликова, ее незначительное, с трудом запоминаемое лицо при виде Томилина темнело, как темнеют от старости фаянсовые тарелки.

— Как живете? — спрашивала она.

— Ничего,— отвечал Томилин тихо и будто с досадой.

Раза два-три приходил сам Варавка, посмотрел, послушал, а дома сказал Климу и дочери, отмахнувшись рукой:

— Обычная русская квасоварня. Балаган, в котором показывают фокусы, вышедшие из моды.

Клим подумал, что это сказано метко, и с той поры ему показалось, что во флигель выметено из дома всё то, о чем шумели в доме лет десять тому назад. Но все-таки он понимал, что бывать у писателя ему полезно, хотя иногда и скучно. Было несколько похоже на гимназию, с той однако разницей, что учителя не раздражались, не кричали на учеников, но преподавали истину с несомненной и горячей верой в ее силу. Вера эта звучала почти в каждом слове, и, хотя Клим не увлекался ею, всё же он выносил из флигеля не только кое-какие мысли и меткие словечки, но и еще нечто, не совсем ясное, но в чем он нуждался; он оценивал это как знание людей.

Макаров сосредоточенно пил водку, закусывал хрустящими солеными огурцами и порою шептал в ухо Клима нечто сердитое:

— Заветы отцов! Мой отец завещал мне: учись хорошенько, негодяй, а то выгоню, босяком будешь. Ну вот, я — учусь. Только не думаю, что здесь чему-то научишься.

За молодежью ухаживали, но это ее стесняло; Макаров, Люба Сомова, даже Клим сидели молча, подавленно, а Люба однажды заметила, вздохнув:

— Они так говорят, как будто сильный дождь, я иду под зонтиком и не слышу, о чем думаю.

Только Иван Дронов требовательно и как-то излишне визгливо ставил вопросы об интеллигенции, о значении личности в процессе истории. Знатоком этих вопросов был человек, похожий на кормилицу; из всех друзей писателя он казался Климу наиболее глубоко обиженным.

Прежде чем ответить на вопрос, человек этот осматривал всех в комнате светлыми глазами, осторожно крякал, затем, наклонясь вперед, вытягивал шею, показывая за левым ухом своим лысую, костяную шишку размером в небольшую картофелину.

— Это вопрос глубочайшего, общечеловеческого значения,— начинал он высоким, но несколько усталым и тусклым голосом; писатель Катин, предупреж-

дающе подняв руку и брови, тоже осматривал присутствующих взглядом, который красноречиво командовал:

«Смирно! Внимание!»

— Но нигде в мире вопрос этот не ставится с такою остротой, как у нас, в России, потому что у нас есть категория людей, которых не мог создать даже высококультурный Запад,— я говорю именно о русской интеллигенции, о людях, чья участь — тюрьма, ссылка, каторга, пытки, виселица,— не спеша говорил этот человек, и в тоне его речи Клим всегда чувствовал нечто странное, как будто оратор не пытался убедить, а безнадежно уговаривал. Слова каторга, пытки, виселицы он употреблял так часто и просто, точно это были обыкновенные, ходовые словечки; Клим привык слышать их, не чувствуя страшного содержания этих слов. Макаров, всё более скептически поглядывая на всех, шептал:

— Говорит так, как будто всё это было за триста лет до нас. Скисло молоко у Кормилицы.

Из угла пристально, белыми глазами на Кормилицу смотрел Томилин и негромко, изредка спрашивал:

— Вы обвиняете Маркса в том, что он вычеркнул личность из истории, но разве не то же самое сделал в «Войне и мире» Лев Толстой, которого считают анархистом?

Томилина не любили и здесь. Ему отвечали скупо, небрежно. Клим находил, что рыжему учителю нравится это и что он нарочно раздражает всех. Однажды писатель Катин, разругав статью в каком-то журнале, бросил журнал на подоконник, но книга упала на пол; Томилин сказал:

— А вот икону вы, неверующий, все-таки не швырнули бы так, а ведь в книге больше души, чем в иконе.

— Души? — смущенно и сердито переспросил писатель и неловко, но сердитее прибавил: — При чем здесь душа? Это — статья публицистическая, основанная на данных статистики. Душа!

Писатель был страстным охотником и любил восхищаться природой. Жмурясь, улыбаясь, подчеркивая

слова множеством мелких жестов, он рассказывал о целомудренных березках, о задумчивой тишине лесных оврагов, о скромных цветах полей и звонком пении птиц, рассказывал так, как будто он первый увидал и услышал всё это. Двигая в воздухе ладонями, как рыба плавниками, он умилялся:

— И всюду непобедимая жизнь, всё стремится вверх, в небо, нарушая закон тяготения к земле.

Томилин спросил, потирая руки:

— Как же это вы, заявляя столь красноречиво о своей любви к живому, убиваете зайцев и птиц только ради удовольствия убивать? Как это совмещается?

Писатель повернулся боком к нему и сказал ворчливо:

— Тургенев и Некрасов тоже охотились. И Лев Толстой в молодости и вообще — многие. Вы толстовец, что ли?

Томилин усмехнулся и вызвал сочувственную усмешку Клима; для него становился всё более поучительным независимый человек, который тихо и упрямо, ни с кем не соглашаясь, умел говорить четкие слова, хорошо ложившиеся в память. Судорожно размахивая руками, краснея до плеч, писатель рассказывал русскую историю, изображая ее как тяжелую и бесконечную цепь смешных, подлых и глупых анекдотов. Над смешным и глупым он сам же первый и смеялся, а говоря о подлых жестокостях власти, прижимал ко груди своей кулак и вертел им против сердца. Всегда было неловко видеть, что после пламенной речи своей он выпивал рюмку водки, закусывая корочкой хлеба, густо намазанной горчицей.

— Читайте «Историю города Глупова» — вот подлинная и честная история России,— внушал он.

Макаров слушал речи писателя, не глядя на него, крепко сжав губы, а потом говорил товарищам:

— Что он хвастается тем, что живет под надзором полиции? Точно это его пятерка за поведение.

В другой раз, наблюдая, как извивается и корчится писатель, он сказал Лидии:

— Видите, с каким трудом родится истина?

Нахмурясь, Лидия отодвинулась от него.

Она редко бывала во флигеле, после первого же визита она, просидев весь вечер рядом с ласковой и безгласной женою писателя, недоуменно заявила:

— Почему они так кричат? Кажется, что вот сейчас начнут бить друг друга, а потом садятся к столу, пьют чай, водку, глотают грибы... Писательша всё время гладила меня по спине, точно я — кошка.

Лидия вздрогнула и, наморщив лоб, почти с отвращением добавила:

— И потом этот ее живот... не выношу беременных!

— Все вы — злые! — воскликнула Люба Сомова.— А мне эти люди нравятся; они — точно повара на кухне перед большим праздником — Пасхой или Рождеством.

Клим взглянул на некрасивую девочку неодобрительно, он стал замечать, что Люба умнеет, и это было почему-то неприятно. Но ему очень нравилось наблюдать, что Дронов становится менее самонадеян и уныние выступает на его исхудавшем, озабоченном лице. К его взвизгивающим вопросам примешивалась теперь нота раздражения, и он слишком долго и громко хохотал, когда Макаров, объясняя ему что-то, пошутил:

— Ну, что, Иване, чувствуешь ли, как науки юношей пытают?

— А все-таки, братцы, что же такое интеллигенция? — допытывался он.

Докторально, словами Томилина, Клим ответил:

— Интеллигенция — это лучшие люди страны,— люди, которым приходится отвечать за всё плохое в ней...

Макаров тотчас же подхватил:

— Значит, это те праведники, ради которых бог соглашался пощадить Содом, Гоморру или что-то другое, беспутное? Роль — не для меня... Нет.

«Хорошо сказал»,— подумал Клим и, чтоб оставить последнее слово за собой, вспомнил слова Варавки:

— Есть и другой взгляд: интеллигент — высококвалифицированный рабочий — и только.

Но и тут Макаров догадался:

— Похоже на стиль Варавки.

Чувство скрытой неприязни к Макарову возрастало у Клима. Макаров, посвистывая громко и дерзко, смотрел на всё глазами человека, который только что явился из большого города в маленький, где ему не нравится. Он часто и легко говорил фразы и слова, не менее интересные, чем Варавка и Томилин. Клим усердно старался развить в себе способность создания своих слов, но почти всегда чувствовал, что его слова звучат отдаленным эхом чужих. Повторялось то же, что было с книгами: рассказы Клима о прочитанном были подробны, точны, но яркое исчезало. А Макаров даже и чужое умел сказать вовремя и ловко.

Однажды он шел с Макаровым и Лидией на концерт пианиста,— из дверей дворца губернатора два щеголя торжественно вывели под руки безобразно толстую старуху губернаторшу и не очень умело, с трудом, стали поднимать ее в коляску.

Вздохнув, Макаров сказал Лидии:

— Пушкин — прав: «Сладостное внимание женщин — почти единственная цель наших усилий».

Лидия осторожно или неохотно усмехнулась, а Клим еще раз почувствовал укол зависти.

Его раздражали непонятные отношения Лидии и Макарова, тут было что-то подозрительное: Макаров, избалованный вниманием гимназисток, присматривался к Лидии не свойственно ему серьезно, хотя говорил с нею так же насмешливо, как с поклонницами его, Лидия же явно и, порою в форме очень резкой, подчеркивала, что Макаров неприятен ей. А вместе с этим Клим Самгин замечал, что случайные встречи их всё учащаются, думалось даже: они и флигель писателя посещают только затем, чтоб увидеть друг друга.

Особенно укрепила его в этом странная сцена в городском саду. Он сидел с Лидией на скамье в аллее старых лип; косматое солнце спускалось в хаос синеватых туч, разжигая их тяжелую пышность багровым огнем. На реке колебались красновато-медные отсветы, краснел дым фабрики за рекой, ярко разгорались алым золотом стекла киоска, в котором продавали мороженое. Осенний, грустный холодок ласкал щеки Самгина.

Клим чувствовал себя нехорошо, смятенно; раскрашенная река напоминала ему гибель Бориса, в памяти назойливо звучало:

«Был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

Ему очень хотелось сказать Лидии что-нибудь значительное и приятное, он уже несколько раз пробовал сделать это, но все-таки не удалось вывести девушку из глубокой задумчивости. Черные глаза ее неотрывно смотрели на реку, на багровые тучи. Клим почему-то вспомнил легенду, рассказанную ему Макаровым.

— Ты знаешь,— спросил он,— Климент Александрийский утверждал, что ангелы, нисходя с небес, имели романы с дочерями человеческими.

Не отводя взгляда из дали, Лидия сказала равнодушно и тихо:

— Комплимент святого недорого стоит, я думаю...

Ее равнодушие смутило Клима, он замолчал, размышляя: почему эта некрасивая, капризная девушка так часто смущает его? Только она и смущала.

Внезапно явился Макаров, в отрепанной шинели, в фуражке, сдвинутой на затылок, в стоптанных сапогах. Он имел вид человека, который только что убежал откуда-то, очень устал и теперь ему всё равно.

«Надеется на свою дерзкую рожу»,— подумал Клим.

Молча сунув руку товарищу, он помотал ею в воздухе и неожиданно, но не смешно отдал Лидии честь, по-солдатски приложив пальцы к фуражке. Закурил папиросу, потом спросил Лидию, мотнув головою на пожар заката:

— Красиво?

— Обычно,— ответила она, встала и пошла прочь, сказав:

— Я иду к Алине...

Пружинной походкой своей она отошла шагов двадцать. Макаров негромко проговорил:

— Какая тоненькая. Игла. Странная фамилия — Варавка...

Вдруг Лидия круто повернулась и снова села на скамью, рядом с Климом.

— Раздумала.

Макаров поправил фуражку, усмехнулся, согнул спину.

И тотчас началось нечто, очень тягостно изумившее Клима: Макаров и Лидия заговорили так, как будто они сильно поссорились друг с другом и рады случаю поссориться еще раз. Смотрели они друг на друга сердито, говорили, не скрывая намерения задеть, обидеть.

— Красивое — это то, что мне нравится,— заносчиво говорила Лида, а Макаров насмешливо возражал:

— Да — что вы? Не мало ли этого?

— Вполне достаточно для того, чтоб быть красивым.

Сидя между ними, Клим сказал:

— Спенсер определяет красоту...

Но его не услышали. Перебивая друг друга, они толкали его. Макаров, сняв фуражку, дважды больно ударил козырьком ее по колену Клима. Двухцветные, вихрастые волосы его вздыбились и придали горбоносому лицу незнакомое Климу, почти хищное выражение. Лида, дергая рукав гимназиста Клима, оскаливала зубы нехорошей усмешкой. У нее на щеках вспыхнули красные пятна, уши тоже стали ярко-красными, руки дрожали. Клим еще никогда не видел ее такой злой.

Он чувствовал себя в унизительном положении человека, с которым не считаются. Несколько раз хотел встать и уйти, но сидел, удивленно слушая Лидию. Она не любила читать книги,— откуда она знает то, о чем говорит? Она вообще была малоречива, избегала споров и только с пышной красавицей Алиной Телепневой да с Любой Сомовой беседовала часами, рассказывая им — вполголоса и брезгливо морщась — о чем-то, должно быть, таинственном. К гимназистам она относилась тоже брезгливо и не скрывала этого. Климу казалось, что она считает себя старше сверстников своих лет на десять. А вот с Макаровым, который, по мнению Клима, держался с нею нагло, она спорит с раздражением, близким ярости, как спорят с человеком, которого необходимо одолеть и унизить.

— Пора домой, Лида,— сказал он, сердито напоминая о себе.

Лидия тотчас встала, воинственно выпрямилась.

— Вы неудачно оригинальничаете, Макаров,— проговорила она торопливо, но как будто мягче.

Макаров тоже встал, поклонился и отвел руку с фуражкой в сторону, как это делают плохие актеры, играя французских маркизов.

В ответ ему девушка пошевелила бровями и быстро пошла прочь, взяв Клима под руку.

— Отчего ты так рассердилась? — спросил он; поправляя волосы, закрывшие ухо ее, она сказала возмущенно:

— Терпеть не могу таких... как это? Нигилистов. Рисуется, курит... Волосы — пестрые, а нос кривой... Говорят, он очень грязный мальчишка?

Но, не ожидая ответа, она тотчас же отметила достоинства осужденного ею:

— На коньках он катается великолепно.

После этой сцены Клим почувствовал нечто близкое уважению к девушке, к ее уму, неожиданно открытому им. Чувство это усиливали толчки недоверия Лидии, небрежности, с которой она слушала его. Иногда он опасливо думал, что Лидия может на чем-то поймать, как-то разоблачить его. Он давно уже замечал, что сверстники опаснее взрослых, они хитрее, недоверчивей, тогда как самомнение взрослых необъяснимо связано с простодушием.

Но, побаиваясь Лидии, он не испытывал неприязни к ней, наоборот, девушка вызывала в нем желание понравиться ей, преодолеть ее недоверие. Он знал, что не влюблен в нее, и ничего не выдумывал в этом направлении. Он был еще свободен от желания ухаживать за девицами, и сексуальные эмоции не очень волновали его. Обычные, многочисленные романы гимназистов с гимназистками вызывали у него только снисходительную усмешку; для себя он считал такой роман невозможным, будучи уверен, что юноша, который носит очки и читает серьезные книги, должен быть смешон в роли влюбленного. Он даже перестал танцевать, находя, что танцы ниже его достоинства. Со знакомыми девицами держался сухо, с холодной вежливостью, усвоенной от Игоря Туробоева, и когда Алина Телеп-

нева с восторгом рассказывала, как Люба Сомова целовалась на катке с телеграфистом Иноковым, Клим напыщенно молчал, боясь, что его заподозрят в любопытстве к романическим пустякам. Тем более жестоко он был поражен, почувствовав себя влюбленным.

Началось это с того, что однажды, опоздав на урок, Клим Самгин быстро шагал сквозь густую муть февральской метели и вдруг, недалеко от желтого здания гимназии, наскочил на Дронова,— Иван стоял на панели, держа в одной руке ремень ранца, закинутого за спину, другую руку, с фуражкой в ней, он опустил вдоль тела.

— Исключили,— пробормотал он. На голове, на лице его таял снег, и казалось, что вся кожа лица, со лба до подбородка, сочится слезами.

— За что? — спросил Клим.

— Сволочи.

Клим посоветовал:

— Надень фуражку.

Иван поднял руку медленно, как будто фуражка была чугунной; в нее насыпался снег, он так, со снегом, и надел ее на голову, но через минуту снова снял, встряхнул и пошел, отрывисто говоря:

— Это — Ржига. И — поп. Вредное влияние будто бы. И вообще — говорит — ты, Дронов, в гимназии явление случайное и нежелательное. Шесть лет учили, и — вот... Томилин доказывает, что все люди на земле — случайное явление.

Клим шагал к дому, плечо в плечо с Дроновым, внимательно слушая, но не удивляясь, не сочувствуя, а Дронов всё бормотал, с трудом находя слова, выцарапывая их.

— Голову сняли, сволочи! Вредное влияние! Просто — Ржига поймал меня, когда я целовался с Маргаритой.

— С ней? — переспросил Клим, замедлив шаг.

— Ну да... А он сам, Ржига...

Но Клим уже не слушал, теперь он был удивлен и неприятно и неприязненно. Он вспомнил Маргариту, швейку, с круглым бледным лицом, с густыми тенями в впадинах глубоко посаженных глаз. Глаза у нее

неопределенного, желтоватого цвета, взгляд полусонный, усталый, ей, вероятно, уже под тридцать лет. Она шьет и чинит белье матери, Варавки, его; она работает «по домам».

Было обидно узнать, что Дронов и в отношении к женщине успел забежать вперед его.

— Что же она? — спросил Клим и остановился, не зная, как сказать далее.

— Только бы не снабдили волчьим билетом,— ворчал Дронов.

— Она позволяет тебе?

— Кто?

— Маргарита.

Дронов встряхнул плечом, точно отталкивая кого-то, и сказал:

— Ну, какая же баба не позволит?

— И давно ты с ней? — допрашивал Клим.

— Эх, отстань,— сказал Дронов, круто свернул за угол и тотчас исчез в белой каше снега.

Клим пошел домой. Ему не верилось, что эта скромная швейка могла охотно целовать Дронова, вероятнее, он целовал ее насильно. И — с жадностью, конечно. Клим даже вздрогнул, представив, как Дронов, целуя, чавкает, чмокает.

Дома, раздеваясь, он услыхал, что мать, в гостиной, разучивает какую-то незнакомую ему пьесу.

— Почему так рано? — спросила она. Клим рассказал о Дронове и добавил: — Я не пошел на урок, там, наверное, волнуются. Иван учился отлично, многим помогал, у него немало друзей.

— Это разумно, что не пошел,— сказала мать; сегодня она, в новом голубом капоте, была особенно молода и внушительно красива. Покусав губы, взглянув в зеркало, она предложила сыну: — Посиди со мной.

И, расхаживая по комнате легкой, плавной походкой, она заговорила очень мягко:

— Ржига предупредил меня, что с Иваном придется поступить строго. Он приносил в класс какие-то запрещенные книжки и неприличные фотографии. Я сказала Ржиге, что в книжках, наверное, нет ничего серьезного, это просто хвастовство Дронова.

Клим солидно вставил свои слова:

— Да, хвастовство или обычное у детей и подростков влечение к пистолетам...

— Очень метко,— похвалила мать, улыбаясь.— Но соединение вредных книг с неприличными картинками — это уже обнаруживает натуру испорченную. Ржига очень хорошо говорит, что школа — учреждение, где производится отбор людей, способных так или иначе украсить жизнь, обогатить ее. И — вот: чем бы мог украсить жизнь Дронов?

Клим усмехнулся.

— Несколько странно, что Дронов и этот растрепанный, полуумный Макаров — твои приятели. Ты так не похож на них. Ты должен знать, что я верю в твою разумность и не боюсь за тебя. Я думаю, что тебя влечет к ним их кажущаяся талантливость. Но я убеждена, что эта талантливость — только бойкость и ловкость.

Клим согласно кивнул головою, ему очень понравились слова матери. Он признавал, что Макаров, Дронов и еще некоторые гимназисты умнее его на словах, но сам был уверен, что он умнее их не на словах, а как-то иначе, солиднее, глубже.

— Конечно, и ловкость — достоинство, но — сомнительное, она часто превращается в недобросовестность, мягко говоря,— продолжала мать, и слова ее всё более нравились Климу. Он встал, крепко обнял ее за талию, но тотчас же отвел свою руку, вдруг и впервые чувствуя в матери женщину. Это так смутило его, что он забыл ласковые слова, которые хотел сказать ей, он даже сделал движение в сторону от нее, но мать сама положила руку на плечи его и привлекла к себе, говоря что-то об отце, Варавке, о мотивах разрыва с отцом.

— Я должна была сказать тебе всё это давно,— слышал он.— Но, повторяю, зная, как ты наблюдателен и вдумчив, я сочла это излишним.

Клим поцеловал ей руку.

— Да, мама,— об этом излишне говорить. Ты знаешь, я очень уважаю Тимофея Степановича.

Он переживал волнение, новое для него. За окном бесшумно кипела густая белая муть, в мягком, бес-

цветном сумраке комнаты все вещи как будто задумались, поблекли; Варавка любил картины, фарфор, после ухода отца всё в доме неузнаваемо изменилось, стало уютнее, красивее, теплей. Стройная женщина с гордым, суховатым лицом явилась пред юношей неиспытанно близкой. Она говорила с ним, как с равным, подкупающе дружески, а голос ее звучал необычно мягко и внятно.

— Меня беспокоит Лидия,— говорила она, шагая нога в ногу с сыном.— Это девочка ненормальная, с тяжелой наследственностью со стороны матери. Вспомни ее историю с Туробоевым. Конечно, это детское, но... И у меня с нею не те отношения, каких я желала бы.

Заглянув в глаза сына, она, улыбаясь, спросила:

— Ты — не влюблен в нее? Немножко, а?

— Нет,— решительно ответил Клим.

Поговорив еще немного о Лидии в тоне неодобрительном, мать спросила его, остановясь против зеркала:

— Тебе, наверное, не хватает карманных денег?

— Вполне достаточно...

— Милый мой,— сказала мать, обняв его, поцеловав лоб.— В твоем возрасте можно уже не стыдиться некоторых желаний.

Тут Клим понял смысл ее вопроса о деньгах, густо покраснел и не нашел, что сказать ей.

Пообедав, он пошел в мезонин к Дронову, там уже стоял, прислонясь к печке, Макаров, пуская в потолок струи дыма, разглаживая пальцем темные тени на верхней губе, а Дронов, поджав ноги под себя, уселся на койке в позе портного и визгливо угрожал кому-то:

— Врете! В университет я все-таки пролезу.

Тотчас же вслед за Климом дверь снова отворилась, на пороге встала Лидия, прищурилась и спросила:

— Здесь коптят рыбу?

Дронов грубо крикнул:

— Затворите дверь, не лето!

А Макаров, молча поклонясь девушке, закурил от окурка папиросы другую.

— Какой скверный табак,— сказала Лидия, проходя к окну, залепленному снегом, остановилась там

боком ко всем и стала расспрашивать Дронова, за что его исключили; Дронов отвечал ей нехотя, сердито. Макаров двигал бровями, мигал и пристально, сквозь пелену дыма, присматривался к темно-коричневой фигурке девушки.

— Зачем ты, Иван, даешь читать глупые книги? — заговорила Лидия.— Ты дал Любе Сомовой «Что делать?», но ведь это же глупый роман! Я пробовала читать его и — не могла. Он весь не стоит двух страниц «Первой любви» Тургенева.

— Девицы любят кисло-сладкое,— сказал Макаров и сам, должно быть, сконфузясь неудачной выходки, стал усиленно сдувать пепел с папиросы. Лидия не ответила ему. В том, что она говорила, Клим слышал ее желание задеть кого-то и неожиданно почувствовал задетым себя, когда она задорно сказала:

— Мужчина, который уступает женщину другому, конечно, — тряпка.

Клим поправил очки и поучительно напомнил:

— Однако, если взять историю отношений Герцена...

— Краснобая «С того берега»? — спросила Лидия. Макаров засмеялся и, ткнув папиросой в кафлю печки, размашисто бросил окурок к двери.

— Что, это веселит вас? — вызывающе спросила девушка, и через несколько минут пред Климом повторилась та сцена, которую он уже наблюдал в городском саду, но теперь Макаров и Лидия разыгрывали ее в более резком тоне.

Напряженно вслушиваясь в их спор, Клим слышал, что хотя они кричат слова обычные, знакомые ему, но связь этих слов неуловима, а смысл их извращается каждым из спорящих по-своему. Казалось, что, по существу, спорить им не о чем, но они спорили раздраженно, покраснев, размахивая руками; Клим ждал, что в следующую минуту они оскорбят друг друга. Быстрые, резкие жесты Макарова неприятно напомнили Климу судорожное мелькание рук утопающего Бориса Варавки. Большеглазое лицо Лидии сделалось тем новым, незнакомым лицом, которое возбуждало смутную тревогу.

«Нет, они не влюблены,— соображал Самгин.— Не влюблены, это ясно!»

Дронов, сидя на койке, посматривал на спорящих бегающими глазами и тихонько покачивался, плоскую физиономию его изредка кривила снисходительная усмешка.

Лидия как-то вдруг сорвалась с места и ушла, сильно хлопнув дверью, Макаров вытер ладонью потный лоб и скучно сказал:

— Сердитая.

Закурив папиросу, он прибавил:

— Умная. Ну, до свиданья...

Дронов усмехнулся вслед ему и свалился боком на койку.

— Ломаются, притворяются,— заговорил он тихо и закрыв глаза. Потом грубовато спросил Клима, сидевшего за столом:

— Лидия-то — слышал? Задорно сказала: в любви — нет милосердия. А? Ух, многим она шеи свернет.

Грубый тон Дронова не возмущал Клима после того, как Макаров однажды сказал:

— Ванька, в сущности, добрая душа, а грубит только потому, что не смеет говорить иначе, боится, что глупо будет. Грубость у него — признак ремесла, как дурацкий шлем пожарного.

Прислушиваясь к вою вьюги в печной трубе, Дронов продолжал всё тем же скучным голосом:

— Есть у меня знакомый телеграфист, учит меня в шахматы играть. Знаменито играет. Не старый еще, лет сорок, что ли, а лыс, как вот печка. Он мне сказал о бабах: «Из вежливости говорится — баба, а ежели честно сказать — раба. По закону естества полагается ей родить, а она предпочитает блудить».

И вдруг, вскочив, точно уколотый, он сказал, стукая кулаком в стену:

— Врете, черти! В университет я попаду, Томилин обещал помочь...

Терпеливо послушав, как Дронов ругал Ржигу, учителей, Клим небрежно спросил:

— Как же у тебя вышло с Маргаритой?

— Что — вышло? — не сразу отозвался Дронов.

— Ну, это — любовь?

— Любовь,— повторил Дронов задумчиво и опустив голову.— Так и вышло: сначала — целовались, а потом всё прочее. Это, брат, пустяковина...

Он снова заговорил о гимназии. Клим послушал его и ушел, не узнав того, что хотелось знать.

Он чувствовал себя как бы приклеенным, привязанным к мыслям о Лидии и Макарове, о Варавке и матери, о Дронове и швейке, но ему казалось, что эти назойливые мысли живут не в нем, а вне его, что они возбуждаются только любопытством, а не чем-нибудь иным. Было нечто непримиримо обидное в том, что существуют отношения и настроения, непонятные ему. Размышления о женщинах стали самым существенным для него, в них сосредоточилось всё действительное и самое важное, всё же остальное отступило куда-то в сторону и приобрело странный характер полусна, полуяви.

Полусном казалось и всё, чем шумно жили во флигеле. Там явился длинноволосый человек с тонким, бледным и неподвижным лицом, он был никак, ничем не похож на мужика, но одет по-мужицки в серый, домотканного сукна кафтан, в тяжелые валяные сапоги по колено, в посконную синюю рубаху и такие же штаны. Размахивая тонкими руками, прижимая их ко впалой груди, он держал голову так странно, точно его когда-то сильно ударили в подбородок,— с той поры он, невольно взмахнув головой, уже не может опустить ее и навсегда принужден смотреть вверх. Он убеждал людей отказаться от порочной городской жизни, идти в деревню и пахать землю.

— Старо! — говорил человек, похожий на кормилицу, отмахиваясь; писатель вторил ему:

— Пробовали. Ожглись.

Человек, переодетый мужиком, говорил тоном священника с амвона:

— Слепцы! Вы шли туда корыстно, с проповедью зла и насилия, я зову вас на дело добра и любви. Я говорю священными словами учителя моего: опроститесь, будьте детями земли, отбросьте всю мишурную ложь, придуманную вами, ослепляющую вас.

Из угла, от печки, раздавался голос Томилина:

— Вы хотите, чтоб ювелиры ковали лемеха плугов? Но — не будет ли такое опрощение — одичанием?

Клим слышал, что голос учителя стал громче, слова его звучали уверенней и резче. Он всё больше обрастал волосами и, видимо, всё более беднел, пиджак его был протерт на локтях почти до дыр, на брюках, сзади, был вшит темно-серый треугольник, нос заострился, лицо стало голодным. Криво улыбаясь, он часто встряхивал головой, рыжие волосы, осыпая щеки, путались с волосами бороды, обеими руками он терпеливо отбрасывал их за уши. Он спокойнее всех спорил с переодетым в мужика человеком и с другим, лысым, краснолицым, который утверждал, что настоящее, спасительное для народа дело — сыроварение и пчеловодство.

Клима подавляло обилие противоречий и упорство, с которым каждый из людей защищал свою истину. Человек, одетый мужиком, строго и апостольски уверенно говорил о Толстом и двух ликах Христа — церковном и народном, о Европе, которая погибает от избытка чувственности и нищеты духа, о заблуждениях науки,— науку он особенно презирал.

— В ней сокрыты все основы наших заблуждений, в ней — яд, разрушающий душу.

С дивана, из разорванной обивки которого бородато высовывалось мочало, подскакивал маленький вихрастый человек в пенсне и басом, заглушая все голоса, кричал:

— Варварство!

— Именно,— подтверждал писатель. Томилин с любопытством осведомлялся:

— Неужели вы считаете возможным и спасительным для нас возврат к мировоззрению халдейских пастухов?

— Кустарь! Швейцария,— вот! — сиповатым голосом убеждал лысый человек жену писателя.— Скотоводство. Сыр, масло, кожа, мед, лес и — долой фабрики!

Хаос криков и речей всегда заглушался мощным басом человека в пенсне; он был тоже писатель, составлял популярно-научные брошюры. Он был очень маленький, поэтому огромная голова его в вихрах тем-

ных волос казалась чужой на узких плечах, лицо, стиснутое волосами, едва намеченным, и вообще в нем, во всей его фигуре, было что-то незаконченное. Но его густейший бас обладал невероятной силой и, как вода угли, легко заливал все крики. Выскакивая на середину комнаты, раскачиваясь, точно пьяный, он описывал в воздухе руками круги и эллипсы и говорил об обезьяне, доисторическом человеке, о механизме Вселенной так уверенно, как будто он сам создал Вселенную, посеял в ней Млечный Путь, разместил созвездия, зажег солнца и привел в движение планеты. Его все слушали внимательно, а Дронов — жадно приоткрыв рот и не мигая — смотрел в неясное лицо оратора с таким напряжением, как будто ждал, что вот сейчас будет сказано нечто, навсегда решающее все вопросы.

Лицо человека, одетого мужиком, оставалось неподвижным, даже еще более каменело, а выслушав речь, он тотчас же начинал с высокой поты и с амвона:

— Хотя астрономы издревле славятся домыслами своими о тайнах небес, но они внушают только ужас, не говоря о том, что ими отрицается бытие духа, сотворившего всё сущее...

— Не всеми,— вставил Томилин.— Возьмите Фламмариона.

Но, не слушая или не слыша возражений, толстовец искусно — как находил Клим — изображал жуткую картину: безграничная, безмолвная тьма, в ней, золотыми червячками, дрожат, извиваются Млечные Пути, возникают и исчезают миры.

— И среди бесчисленного скопления звезд, вкрапленных в непобедимую тьму, затеряна ничтожная земля наша, обитель печалей и страданий; путе-ко, представьте ее и ужас одиночества вашего на ней, ужас вашего ничтожества в черной пустоте, среди яростно пылающих солнц, обреченных на угасание.

Клим выслушивал эти ужасы довольно спокойно, лишь изредка неприятный холодок пробегал по коже его спины. То, как говорили, интересовало его больше, чем то, о чем говорили. Он видел, что большеголовый, недоконченный писатель говорит о механизме Вселен-

ной с восторгом, но и человек, нарядившийся мужиком, изображает ужас одиночества земли во Вселенной тоже с наслаждением.

На Дронова эти речи действовали очень сильно. Он поеживался, сокращался и, оглядываясь, шепотком спрашивал Клима или Макарова:

— Который, по-твоему, прав, а?

Судорожно чесал ногтем левую бровь и ворчал:

— Н-да, чёрт... Надо учиться. На гроши гимназии не проживешь.

Макарова тоже не удовлетворяли жаркие споры у Катина.

— И знают много, и сказать умеют, и всё это значительно, но хотя и светит, а — не греет. И — не главное...

Дронов быстро спросил:

— А что же главное?

— Глупо спрашиваешь, Иван! — ответил Макаров с досадой.— Если б я это знал — я был бы мудрейшим из мудрецов...

Поздно ночью, после длительного боя на словах, они, втроем, пошли провожать Томилина и Дронов поставил пред ним свой вопрос:

— Кто прав?

Шагая медленно, посматривая фарфоровыми глазами на звезды, Томилин нехотя заговорил:

— Этому вопросу нет места, Иван. Это — неизбежное столкновение двух привычек мыслить о мире. Привычки эти издревле с нами и совершенно непримиримы, они всегда будут разделять людей на идеалистов и материалистов. Кто прав? Материализм — проще, практичнее и оптимистичней, идеализм — красив, но бесплоден. Он — аристократичен, требовательней к человеку. Во всех системах мышления о мире скрыты, более или менее искусно, элементы пессимизма; в идеализме их больше, чем в системе, противостоящей ему.

Помолчав, он еще замедлил ленивый свой шаг, затем — сказал:

— Я — не материалист. Но и не идеалист. А все эти люди...

Он махнул рукою за плечо свое:

— Они — малограмотны. Поэтому они — верующие. Они грубо, неумело повторяют древние мысли. Конечно, всякая мысль имеет безусловную ценность. При серьезном отношении к ней она, даже и неверно формулированная, может явиться возбудителем бесконечного ряда других, как звезда, она разбрасывает лучи свои во все стороны. Но абсолютная, чистая ценность мысли немедленно исчезает, когда начинается процесс практической эксплуатации ее. Шляпы, зонтики, ночные колпаки, очки и клизмы — вот что изготовляется из чистой мысли силою нашего тяготения к покою, порядку и равновесию.

Приостановясь, он снова указал рукою за плечо свое.

— Хотя Байрон писал стихи, но у него нередко встречаешь глубокие мысли. Одна из них: «Думающий менее реален, чем его мысль». Они, там, не знают этого.

Кончил он ворчливо, сердито:

— Человек — это мыслящий орган природы, другого значения он не имеет. Посредством человека материя стремится познать саму себя. В этом — всё.

Когда довели Томилина до его квартиры и простились с ним, Дронов сказал:

— Важничать начал, точно его в архиереи посвятили. А на штанах — заплата.

Все эти мысли, слова, впечатления доходили до сознания Клима сквозь другое. Память, точно стремясь освободиться от излишнего груза однообразных картин, назойливо воскрешала их. Как будто память с таинственной силою разрасталась кустом, цветущим цветами, смотреть на которые немного стыдно, очень любопытно и приятно. Его удивляло, как много он видел такого, что считается неприличным, бесстыдным. Стоило на минуту закрыть глаза, и он видел стройные ноги Алины Телепневой, неловко упавшей на катке, видел голые, похожие на дыни, груди сонной горничной, мать на коленях Варавки, писателя Катина, который целовал толстенькие колени полуодетой жены его, сидевшей на столе.

Немая и мягонькая, точно кошка, жена писателя вечерами непрерывно разливала чай. Каждый год она

была беременна, и раньше это отталкивало Клима от нее, возбуждая в нем чувство брезгливости; он был согласен с Лидией, которая резко сказала, что в беременных женщинах есть что-то грязное. Но теперь, после того как он увидел ее голые колени и лицо, пьяное от радости, эта женщина, однообразно ласково улыбавшаяся всем, будила любопытство, в котором уже не было места брезгливости.

Даже носатая ее сестра, озабоченно ухаживавшая за гостями, точно провинившаяся горничная, которой необходимо угодить хозяевам,— даже эта девушка, незаметная, как Таня Куликова, привлекала внимание Клима своим бюстом, туго натянувшим ее ситцевую пеструю кофточку. Клим слышал, как писатель Катин кричал на нее:

— Я не виноват в том, что природа создает девиц, которые ничего не умеют делать, даже грибы мариновать...

Тогда этот петушиный крик показался Климу смешным, а теперь носатая девица с угрями на лице казалась ему несправедливо обиженной и симпатичной не только потому, что тихие, незаметные люди вообще были приятны: они не спрашивали ни о чем, ничего не требовали.

Как-то вечером Клим понес писателю новую книгу журнала. Катин встретил его, размахивая измятым письмом, радостно крича:

— Знаете ли вы, юноша, что через две-три недели сюда приедет ваш дядя из ссылки? Наконец понемногу слетаются старые орлы!

В стене с треском лопнули обои, в щель приоткрытой двери высунулось испуганное лицо свояченицы писателя.

— Началось,— сказала она и тотчас исчезла.

— Жена родит, подождите, она у меня скоро! — торопливо пробормотал Катин и исчез в узкой, оклеенной обоями двери, схватив со стола дешевенькую бронзовую лампу. Клим остался в компании полудюжины венских стульев, у стола, заваленного книгами и газетами; другой стол занимал средину комнаты, на нем возвышался угасший самовар, стояла немытая посуда, ле-

жало разобранное ружье-двухстволка. У стены прислонился черный диван с высунувшимися клочьями мочала, а над ним портреты Чернышевского, Некрасова, в золотом багете сидел тучный Герцен, положив одну ногу на колено свое, рядом с ним — суровое, бородатое лицо Салтыкова. От всего этого веяло на Клима унылой бедностью, не той, которая мешала писателю вовремя платить за квартиру, а какой-то другой, неизлечимой, пугающей, но в то же время и трогательной.

Минут через десять писатель выскочил из стены, сел на угол стола и похвастался:

— Замечательно легко родит, а дети — не живут!

И, наклонясь, упираясь рукою в стол, он вполголоса, торопливо заговорил:

— Яков Самгин один из тех матросов корабля русской истории, которые наполняют паруса его своей энергией, дабы ускорить ход корабля к берегам свободы и правды.

Последовательно он назвал Якова Самгина рулевым, кузнецом, апостолом и, возбужденно повторив: «Слетаются, слетаются орлы!» — вскочил и скрылся за дверью, откуда доносились всё более громкие стоны. Клим поспешно ушел, опасаясь, что писатель спросит его о напечатанном в журнале рассказе своем; рассказ был не лучше других сочинений Катина, в нем изображались детски простодушные мужики, они, как всегда, ожидали пришествия божьей правды, это обещал им сельский учитель, честно мыслящий человек, которого враждебно преследовали двое: безжалостный мироед и хитрый поп.

Дома Клим сообщил матери о том, что возвращается дядя, она молча и вопросительно взглянула на Варавку, а тот, наклонив голову над тарелкой, равнодушно сказал:

— Да, да, эти люди, которым история приказала подать в отставку, возвращаются понемногу «из дальних странствий». У меня в конторе служат трое таких. Должен признать, что они хорошие работники...

— Но? — спросила мать, Варавка ответил:

— Это — после.

Клим понял, что Варавка не хочет говорить при нем, нашел это неделикатным, вопросительно взглянул на мать, но не встретил ее глаз, она смотрела, как Варавка, усталый, встрепанный, сердито поглощает ветчину. Пришел Ржига, за ним — адвокат, почти до полуночи они и мать прекрасно играли, музыка опьянила Клима умилением, еще не испытанным, настроила его так лирически, что когда, прощаясь с матерью, он поцеловал руку ее, то, повинуясь силе какого-то нового чувства к ней, прошептал:

— Родная моя, милая.

Мать крепко обняла его, молча погладила щеку, поцеловала в лоб горячими губами.

Когда он лег в постель, им тотчас овладело то непобедимое, чем он жил. Вспомнилась его недавняя беседа с Макаровым; когда Клим сообщил ему о романе Дронова с белошвейкой, Макаров пробормотал:

— Вот как? Скотина...

Он произнес эти три слова без досады и зависти, не брезгуя, не удивляясь и так, что последнее слово прозвучало лишним. Потом усмехнулся и рассказал:

— Квартирохозяин мой, почтальон, учится играть на скрипке, потому что любит свою мамашу и не хочет огорчать ее женитьбой. «Жена все-таки чужой человек,— говорит он.— Разумеется — я женюсь, но уже после того, как мамаша скончается». Каждую субботу он посещает публичный дом и затем баню. Играет уже пятый год, но только одни упражнения и уверен, что, не переиграв всех упражнений, пьесы играть «вредно для слуха и руки».

Макаров замолчал, нахмурился.

— Это к чему? — спросил Клим.

— Не знаю,— ответил Макаров, внимательно рассматривая дым папиросы.— Есть тут какая-то связь с Ванькой Дроновым. Хотя — врет Ванька, наверное, нет у него никакого романа. А вот похабными фотографиями он торговал, это верно.

Тряхнув головою, он продолжал негромко и озлобленно:

— Ослиное настроение. Всё — не важно, кроме одного. Чувствуешь себя не человеком, а только одним

из органов человека. Обидно и противно. Как будто некий инспектор внушает: ты петух и ступай к назначенным тебе курам. А я — хочу и не хочу курицу. Не хочу упражнения играть. Ты, умник, чувствуешь что-нибудь эдакое?

— Нет,— решительно солгал Клим.

Помолчали. Макаров сидел согнувшись, положив ногу на ногу. Клим пристально посмотрел на него и спросил:

— Как же ты относишься к женщине?

— Со страхом божиим,— угрюмо сказал Макаров, встал, схватил фуражку.

— Пойду куда-нибудь.

Вспомнив эту сцену, Клим с раздражением задумался о Томилине. Этот человек должен знать и должен был сказать что-то успокоительное, разрешающее, что устранило бы стыд и страх. Несколько раз Клим — осторожно, а Макаров — напористо и резко пытались затеять с учителем беседу о женщине, но Томилин был так странно глух к этой теме, что вызвал у Макарова сердитое замечание:

— Притворяется, рыжий чёрт!

— Должно быть, ожегся,— сказал Дронов, усмехаясь, и эта усмешка, заставив Клима вспомнить сцену в саду, вынудила у него подозрение:

«Неужели — видел, знает?»

Только однажды, уступив упрямому натиску Макарова, учитель сказал на ходу и не глядя на юношей:

— О женщине нужно говорить стихами; без приправы эта пища неприемлема. Я — не люблю стихов.

Возведя глаза в потолок, он посоветовал:

— Читайте «Метафизику любви» Шопенгауэра, в ней найдете всё, что вам нужно знать. Неглупой иллюстрацией к ней служит «Крейцерова соната» Толстого.

Они, трое, всё реже посещали Томилина. Его обыкновенно заставали за книгой, читал он — опираясь локтями о стол, зажав ладонями уши. Иногда — лежал на койке, согнув ноги, держа книгу на коленях, в зубах его торчал карандаш. На стук в дверь он никогда не отвечал, хотя бы стучали три, четыре раза.

— Я — не женщина,— объяснил он, потом добавил: — Не нагой.

И, подумав, добавил еще:

— Не женат.

Шагая по комнате, он поучал:

— В мире идей необходимо различать тех субъектов, которые ищут, и тех, которые прячутся. Для первых необходимо найти верный путь к истине, куда бы он ни вел, хоть в пропасть, к уничтожению искателя. Вторые желают только скрыть себя, свой страх пред жизнью, свое непонимание ее тайн, спрятаться в удобной идее. Толстовец — комический тип, но он весьма законченно дает представление о людях, которые прячутся.

Клим видел, что Макаров, согнувшись, следит за ногами учителя так, как будто ждет, когда Томилин споткнется. Ждет нетерпеливо. Требовательно и громко ставит вопросы, точно желая разбудить уснувшего, но ответов не получает.

Слушая спокойный, задумчивый голос наставника, разглядывая его, Клим догадывался: какова та женщина, которая могла бы полюбить Томилина? Вероятно, некрасивая, незначительная, как Таня Куликова или сестра жены Катина, потерявшая надежды на любовь. Но эти размышления не мешали Климу ловить медные парадоксы и афоризмы.

— Путь к истинной вере лежит через пустыню неверия,— слышал он.— Вера, как удобная привычка, несравнимо вреднее сомнения. Допустимо, что вера, в наиболее ярких ее выражениях, чувство непормальное, может быть, даже психическая болезнь: мы видим верующих истериками, фанатиками, как Савонарола или протопоп Аввакум, в лучшем случае — это слабоумные, как, например, Франциск Ассизский.

Изредка Дронов ставил вопросы социального характера, но учитель или не отвечал ему, или говорил нехотя и непонятно. Из всех его речей Клим хорошо запомнил лишь одно суждение:

— Ошибочно думать, что энергия людей, соединенных в организации, в партии,— увеличивается в своей силе. Наоборот: возлагая свои желания, надежды,

ответственность на вождей, люди тем самым понижают и температуру и рост своей личной энергии. Идеальное воплощение энергии — Робинзон Крузо.

Раньше всех от этих откровений уставал Макаров.

— Ну, нам пора,— говорил он грубовато. Томилин пожимал руки теплой и влажной рукою, вяло улыбался и никогда не приглашал их к себе.

Макаров вел себя с Томилиным всё менее почтительно, а однажды, спускаясь по лестнице от него, сказал как будто нарочно громко:

— Рыжий напоминает мне тарантула. Я не видал это насекомое, но в старинной «Естественной истории» Горизонтова сказано: «Тарантулы тем полезны, что, будучи настояны в масле, служат лучшим лекарством от укусов, причиняемых ими же».

Его сердитая шутка заставила Дронова смеяться неприятно икающим смехом.

Вспоминая всё это, Клим вдруг услышал в гостиной непонятный, торопливый шорох и тихий гул струн, как будто виолончель Ржиги, отдохнув, вспомнила свое пение вечером и теперь пыталась повторить его для самой себя. Эта мысль, необычная для Клима, мелькнув, уступила место испугу пред непонятным. Он прислушался: было ясно, что звуки родились в гостиной, а не наверху, где иногда, даже поздно ночью, Лидия тревожила струны рояля.

Клим зажег свечу, взял в правую руку гимнастическую гирю и пошел в гостиную, чувствуя, что ноги его дрожат. Виолончель звучала громче, шорох был слышней. Он тотчас догадался, что в инструменте — мышь, осторожно положил его верхней декой на пол и увидал, как из-под нее выкатился мышонок, маленький, как черный таракан.

Во тьме кабинета матери вертикально и туго натянулась светлая полоса огня, свет из спальни.

«Не спит. Расскажу ей о мышонке».

Но, подойдя к двери спальной, он отшатнулся: огонь ночной лампы освещал лицо матери и голую руку, рука обнимала волосатую шею Варавки, его растрепанная голова прижималась к плечу матери. Мать лежала вверх лицом, приоткрыв рот, и, должно

быть, крепко спала; Варавка влажно всхрапывал и почему-то казался меньше, чем он был днем. Во всем этом было нечто стыдное, смущающее, но и трогательное.

Возвратясь к себе, Клим лег в постель, глубоко взволнованный. Пред ним, одна за другою, поплыли во тьме фигуры толстенькой Любы Сомовой, красавицы Алины с ее капризно вздернутой губою, смелым взглядом синеватых глаз, ленивыми движениями и густым, властным голосом. Лучше всех знакомая фигура Лидии затемняла подруг ее; думая о ней, Клим терялся в чувстве очень сложном и непонятном ему. Он понимал, что Лидия некрасива, даже часто неприятна, но он чувствовал к ней непобедимое влечение. Его ночные думы о девицах принимали осязаемый характер, возбуждая в теле тревожное, почти болезненное напряжение, оно заставило Клима вспомнить устрашающую книгу профессора Тарновского о пагубном влиянии онанизма,— книгу, которую мать давно уже предусмотрительно и незаметно подсунула ему. Вскочив с постели, он зажег лампу, взял желтенькую книжку Меньшикова «О любви». Книжка оказалась скучной и не о той любви, которая волновала Самгина. За окном ветер встряхивал деревья, шелест их вызывал представление о полете бесчисленной стаи птиц, о шорохе юбок во время танцев на гимназических вечерах, которые устраивал Ржига.

Заснул Клим на рассвете, проснулся поздно, утомленным и нездоровым. Воскресенье, уже кончается поздняя обедня, звонят колокола, за окном хлещет апрельский дождь, однообразно звучит железо водосточной трубы. Клим обиженно подумал:

«Неужели я должен испытать то же, что испытывает Макаров?»

О Макарове уже нельзя было думать, не думая о Лидии. При Лидии Макаров становится возбужденным, говорит громче, более дерзко и насмешливо, чем всегда. Но резкое лицо его становится мягче, глаза играют веселее.

— Верно, что Макарова хотят исключить из гимназии за пьянство? — равнодушно спрашивала Лидия, и Клим понимал, что равнодушие ее фальшиво.

Дверь осторожно открылась, вошла новая горничная, толстая, глупая, со вздернутым носом и бесцветными глазами.

— Мамаша спрашивает: кофей пить будете? Потому что скоро завтракать.

Белый передник туго обтягивал ее грудь. Клим подумал, что груди у нее, должно быть, такие же твердые и жесткие, как икры ног.

— Не буду,— сердито сказал он.

Он внезапно нашел, что роман Лидии с Макаровым глупее всех романов гимназисток с гимназистами, и спросил себя:

«Может быть, я вовсе и не влюблен, а незаметно для себя поддался атмосфере влюбленности и выдумал всё, что чувствую?»

Но это соображение, не успокоив его, только почему-то напомнило полуумную болтовню хмельного Макарова; покачиваясь на стуле, пытаясь причесать пальцами непослушные, двухцветные вихры, он говорил тяжелым, пьяным языком:

— Физиология учит, что только девять из наших органов находятся в состоянии прогрессивного развития и что у нас есть органы отмирающие, рудиментарные,— понимаешь? Может быть, физиология — врет, а может быть, у нас есть и отмирающие чувства. Представь, что влечение к женщине — чувство агонизирующее, оттого оно так болезненно, настойчиво, а? Представь, что человек хочет жить по теории Томилина, а? Мозг, вместилище исследующего, творческого духа, чёрт бы его взял, уже начинает понимать любовь как предрассудок, а? И, может быть, онанизм, мужеложство — по сути их есть стремление к свободе от женщины? Ну? Ты как думаешь?

Он спрашивал тогда, когда Клима еще не тревожили эти вопросы, и пьяные слова товарища возбуждали у него лишь чувство отвращения. Но теперь слова «свобода от женщины» показались ему неглупыми. И почти приятно было напомнить себе, что Макаров пьет всё больше, хотя становится как будто спокойней, а иногда так углубленно задумчив, как будто его внезапно поражала слепота и глухота. Клим подметил, что Мака-

ров, закурив папиросу, не гасит спичку, а заботливо дает ей догореть в пепельнице до конца или дожидается, когда она догорит в его пальцах, осторожно держа ее за обгоревший конец. Многократно обожженная кожа на двух пальцах его потемнела и затвердела, точно у слесаря.

Клим не спрашивал, зачем он делает это, он вообще предпочитал наблюдать, а не выспрашивать, помня неудачные попытки Дронова и меткие слова Варавки: «Дураки ставят вопросы чаще, чем пытливые люди».

Теперь Макаров носился с книгой какого-то анонимного автора, озаглавленной «Триумфы женщин». Он так пламенно и красноречиво расхваливал ее, что Клим взял у него эту толстенькую книжку, внимательно прочитал, но не нашел в ней ничего достойного восхищения. Автор скучно рассказывал о любви Овидия и Коринны, Петрарки и Лауры, Данте и Беатриче, Боккаччио и Фиаметты; книга была наполнена прозаическими переводами элегий и сонетов. Клим долго и подозрительно размышлял: что же во всем этом увлекало товарища? И, не открыв ничего, он спросил Макарова.

— Ты не понял? — удивился тот и, открыв книгу, прочитал одну из первых фраз предисловия автора:

— «Победа над идеализмом была в то же время победой над женщиной». Вот — правда! Высота культуры определяется отношением к женщине,— понимаешь?

Клим утвердительно кивнул головой, а потом, взглянув в резкое лицо Макарова, в его красивые, дерзкие глаза, тотчас сообразил, что «Триумфы женщин» нужны Макарову ради цинических вольностей Овидия и Боккаччио, а не ради Данте и Петрарки. Несомненно, что эта книжка нужна лишь для того, чтоб настроить Лидию на определенный лад.

«Как всё просто, в сущности»,— подумал он, глядя исподлобья на Макарова, который жарко говорил о трубадурах, турнирах, дуэлях.

Когда Клим вошел в столовую, он увидал мать, она безуспешно пыталась открыть окно, а среди комнаты стоял бедно одетый человек, в грязных и длинных, до колен, сапогах,— стоял он, закинув голову, от-

крыв рот, и сыпал на язык, высунутый, выгнутый лодочкой, белый порошок из бумажки.

— Это — дядя Яков,— торопливо сказала мать.— Пожалуйста, открой окно!

Клим подошел к дяде, поклонился, протянул руку и опустил ее: Яков Самгин, держа в одной руке стакан с водой, пальцами другой скатывал из бумажки шарик и, облизывая губы, смотрел в лицо племянника неестественно блестящим взглядом серых глаз с опухшими веками. Глотнув воды, он поставил стакан на стол, бросил бумажный шарик на пол и, пожав руку племянника темной, костлявой рукою, спросил глухо:

— Это — второй? Клим? А Дмитрий? Ага. Студент? Естественник, конечно?

— Говори громче, я глохну от хины,— предупредил Яков Самгин Клима, сел к столу, отодвинул локтем прибор, начертил пальцем на скатерти круг.

— Значит — явочной квартиры — нет? И кружков — нет? Странно. Что же теперь делают?

Мать пожала плечами, свела брови в одну линию. Не дождавшись ее ответа, Самгин сказал Климу:

— Удивляешься? Не видал таких? Я, брат, прожил двадцать лет в Ташкенте и в Семипалатинской области, среди людей, которых, пожалуй, можно назвать дикарями. Да. Меня, в твои года, называли «l'homme qui rit»[1].

Клим заметил, что дядя произнес: «Льём».

— Канавы копал. Арыки. Там, брат, лихорадка.

Осмотрев столовую, дядя крепко потер щеку.

— Гм, разбогател Иван. Как это он? Торгует?

И, еще раз обведя комнату щупающим взглядом, он обесцветил ее в глазах Клима:

— Точно буфет на вокзале.

Он внес в столовую запах прелой кожи и еще какой-то другой, столь же тяжелый. На костях его плеч висел широкий пиджак железного цвета, расстегнутый на груди, он показывал сероватую рубаху грубого холста; на сморщенной шее, под острым кадыком, красный шёлковый платок свернулся в жгут, платок

[1] «человек, который смеется» *(франц.)*.

был старенький и посекся на складках. Землистого цвета лицо, седые редкие иглы подстриженных усов, голый, закоптевший череп с остатками кудрявых волос на затылке, за темными, кожаными ушами,— всё это делало его похожим на старого солдата и на расстриженного монаха. Но зубы его блестели бело и молодо и взгляд серых глаз был ясен. Этот несколько рассеянный, но вдумчиво вспоминающий взгляд из-под густых бровей и глубоких морщин лба показался Климу взглядом человека полубезумного. Вообще дядя был как-то пугающе случайным и чужим в столовой, мебель потеряла при нем свой солидный вид, поблекли картины, многое, отяжелев, сделалось лишним и стесняющим. Вопросы дяди звучали, как вопросы экзаменатора, мать была взволнована, отвечала кратко, сухо и как бы виновато.

— Ну, что же, какие же у вас в гимназии кружки?— слышал Клим и, будучи плохо осведомленным, неуверенно, однако почтительно, как Ржиге, отвечал:

— Толстовцы. Затем — экономисты... немного.

— Расскажи! — приказал дядя. — Толстовцы — секта? Я — слышал: устраивают колонии в деревнях.

Он качнул головою.

— Это — было. Мы это делали. Я ведь сектантов знаю, был пропагандистом среди молокан в Саратовской губернии. Обо мне, говорят, Степняк писал — Кравчинский — знаешь? Гусев — это я и есть.

Хорошо, что он, спрашивая, не ждал ответов. Но всё же о толстовцах он стал допытываться настойчиво:

— Ну, что ж они делают? Ну — колонии, а — потом?

Клим искоса взглянул на мать, сидевшую у окна; хотелось спросить: почему не подают завтрак? Но мать смотрела в окно. Тогда, опасаясь сконфузиться, он сообщил дяде, что во флигеле живет писатель, который может рассказать о толстовцах и обо всем лучше, чем он, он же так занят науками, что...

— Нам науки не мешали,— укоризненно заметил дядя, вздернув седую губу, и начал расспрашивать о писателе.

— Катин? Не знаю.

Ему очень понравилось, что писатель живет под надзором полиции, он улыбнулся:

— Ага, значит — из честных. В мое время честно писали Омулевский, Нефедов, Бажин, Станюкович, Засодимский, Левитов был, это — болтун. Слепцов — со всячинкой... Успенский тоже. Их было двое, Успенских, один — побойчее, другой — так себе. С усмешечкой.

Он задумался и вдруг спросил мать:

— Забыл я: Иван писал мне, что он с тобой разошелся. С кем же ты живешь, Вера, а? С богатым, видно? Адвокат, что ли? Ага, инженер. Либерал? Гм... А Иван — в Германии, говоришь? Почему же не в Швейцарии? Лечится? Только лечится? Здоровый был. Но — в принципах не крепок. Это все знали.

Говорил он громко, точно глухой, его сиповатый голос звучал властно. Краткие ответы матери тоже становились всё громче, казалось, что еще несколько минут — и она начнет кричать.

— Тебе сколько — тридцать пять, семь? Моложава,— говорил Яков Самгин и, вдруг замолчав, вынул из кармана пиджака порошок, принял его, запил водою и, твердо поставив стакан на стол, приказал Климу:

— Ну-ко, проводи меня к писателю. В мое время писатели кое-что значили...

По двору дядя Яков шел медленно, оглядываясь, как человек заплутавшийся, вспоминающий что-то давно забытое.

— Дом — Ивана, собственный?

— Дедушки. Но его купил Варавка...

— Кто?

Клим не знал, как ответить, тогда дядя, взглянув в лицо ему, ответил сам:

— Понимаю — материн сожитель. Что же ты сконфузился? Это — дело обычное. Женщины любят это — пышность и всё такое. Какой ты, брат, щеголь,— внезапно закончил он.

Катин встретил Самгина почтительно, как отца, и восторженно, точно юноша. Улыбаясь, кланяясь, он тряс обеими руками темную руку и торопливо говорил:

— Я вас из окна увидал и сразу почувствовал: это — он! Мне Сараханов писал из Саратова...

Дядя Яков, усмехаясь, осмотрел бедное жилище, и Клим тотчас заметил, что темное, сморщенное лицо его стало как будто светлее, моложе.

— Ну, ну,— говорил он, усаживаясь на ветхий диван.— Вот как. Да. В Саратове кое-кто есть. В Самаре какие-то... не понимаю. Симбирск — как нежилая изба.

Он перечислил еще несколько приволжских городов и наконец спросил:

— Ну, а у вас как? Говорите громче и не быстро, я плохо слышу, хина оглушает,— предупредил он и, словно не надеясь, что его поймут, поднял руки и потрепал пальцами мочки своих ушей; Клим подумал, что эти опаленные солнцем темные уши должны трещать от прикосновения к ним.

Писатель начал рассказывать о жизни интеллигенции тоном человека, который опасается, что его могут в чем-то обвинить. Он смущенно улыбался, разводил руками, называл полузнакомые Климу фамилии друзей своих и сокрушенно добавлял:

— Тоже служит в земстве, статистик.

— В земстве — это хорошо! — одобрил дядя Яков, но прибавил: — Но этого мало.

Потом, выгнув кадык, сказал, вздохнув:

— Одичали вы.

— Это теперь называется поумнением,— виновато объяснил Катин.— Есть даже рассказ на тему измены прошлому, так и называется: «Поумнел». Боборыкин написал.

— Боборыкин — болтун! — решительно заявил дядя, подняв руку.— Вы ему не подражайте, вы — молодой. Нельзя подражать Боборыкину.

Тихо открылась дверь, робко вошла жена писателя, он вскочил, схватил ее за руку:

— Вот — жена, Екатерина, Катя.

Яков Самгин дружелюбно осмотрел женщину, улыбнулся:

— Поповна, а?

— Да!

— Облик! Не ошибешься. И дети есть?

— Всё умирают.

— Гм... А что теперь читает молодежь?

Катин заговорил тише, менее оживленно. Климу показалось, что, несмотря на радость, с которой писатель встретил дядю, он боится его, как ученик наставника. А сиповатый голос дяди Якова стал сильнее, в словах его явилось обилие рокочущих звуков.

Климу хотелось уйти, но он находил, что было бы неловко оставить дядю. Он сидел в углу у печки, наблюдая, как жена писателя ходит вокруг стола, бесшумно расставляя чайную посуду и посматривая на гостя испуганными глазами. Она даже вздрогнула, когда дядя Яков сказал:

— Революцию не делают с антрактами.

Клим обрадовался, когда пришла горничная и позвала его завтракать. Дядя Яков отмахнулся от приглашения:

— Я питаюсь только вареным рисом, чаем, хлебом. И — кто же это завтракает во втором часу? — спросил он, взглянув на стенные часы.

Дома, в столовой, ходил Варавка, нахмурясь, расчесывая бороду черной гребенкой; он встретил Клима вопросом:

— А дядя?

— Он питается только вареным рисом.

Молча сели за стол. Мать, вздохнув, спросила:

— Как он тебе нравится?

Угадав настроение, Клим ответил:

— Странный...

Мать, откачнувшись на спинку стула, прищурила глаза, говоря:

— Точно привидение.

— Голодающий индус,— поддержал ее сын.

— Ему не более пятидесяти,— вслух размышляла мать.— Он был веселый, танцор, балагур. И вдруг ушел в народ, к сектантам. Кажется, у него был неудачный роман.

Варавка вытер бороду, щедро налил всем вина в стаканы.

— У них у всех неудачный роман с историей. История — это Мессалина, Клим, она любит связи с моло-

дыми людьми, но — краткие. Не успеет молодое поколение вволю поиграть, помечтать с нею, как уже на его место встают новые любовники.

Он крепко вытер бороду салфеткой и напористо начал поучать, что историю делают не Герцены, не Чернышевские, а Стефенсоны и Аркрайты и что в стране, где народ верит в домовых, колдунов, а землю ковыряет деревянной сохою, стишками ничего не сделаешь.

— Прежде всего необходим хороший плуг, а затем уже — парламент. Дерзкие словечки дешево стоят. Надо говорить словами, которые, укрощая инстинкты, будили бы разум,— покрикивал он, всё более почему-то раздражаясь и багровея. Мать озабоченно молчала, а Клим невольно сравнил ее молчание с испугом жены писателя. Во внезапном раздражении Варавки тоже было что-то общее с возбужденным тоном Катина.

— Я думаю поместить его в мезонине,— тихо сказала мать.

— А — Дронов? — спросил Варавка.

— Да... Не знаю как...

Варавка пожал плечами.

— Как хочешь.

Но дядя Яков отказался жить в мезонине.

— Мне вредно лазить по лестницам, у меня ноги болят,— сказал он и поселился у писателя в маленькой комнатке, где жила сестра жены его. Сестру устроили в чулане. Мать нашла, что со стороны дяди Якова бестактно жить не у нее, Варавка согласился:

— Демонстрация...

Дядя Яков действительно вел себя не совсем обычно. Он не заходил в дом, здоровался с Климом рассеянно и как с незнакомым; он шагал по двору, как по улице, и, высоко подняв голову, выпятив кадык, украшенный седою щетиной, смотрел в окна глазами чужого. Выходил он из флигеля почти всегда в полдень, в жаркие часы, возвращался к вечеру, задумчиво склонив голову, сунув руки в карманы толстых брюк цвета верблюжьей шерсти.

— Старый топор,— сказал о нем Варавка. Он не скрывал, что недоволен присутствием Якова Самгина

во флигеле. Ежедневно он грубовато говорил о нем что-нибудь насмешливое, что явно угнетало мать и даже действовало на горничную Феню: она смотрела на квартирантов флигеля и гостей их так боязливо и враждебно, как будто люди эти способны были поджечь дом.

Волнуемый томлением о женщине, Клим чувствовал, что он тупеет, линяет, становится одержимым, как Макаров, и до ненависти завидовал Дронову, который хотя и получил волчий билет, но на чем-то успокоился и, поступив служить в контору Варавки, продолжал упрямо готовиться к экзамену зрелости у Томилина.

Не зная, что делать с собою, Клим иногда шел во флигель, к писателю. Там явились какие-то новые люди: носатая фельдшерица Изаксон; маленький старичок, с глазами, спрятанными за темные очки, то и дело потирал пухлые руки, восклицая:

— Подписываюсь!

Являлся мастеровой, судя по рукам — слесарь; он тоже чаще всего говорил одни и те же слова:

— Это нам нужно, как собаке пятая нога.

Ставни окон были прикрыты, стекла — занавешены, но жена писателя все-таки изредка подходила к окнам и, приподняв занавеску, смотрела в черный квадрат. А сестра ее выбегала на двор, выглядывала за ворота, на улицу, и Клим слышал, как она, вполголоса, успокоительно сказала сестре:

— Никого, ни души.

Клим почти не вслушивался в речи и споры, уже знакомые ему, они его не задевали, не интересовали. Дядя тоже не говорил ничего нового, он был, пожалуй, менее других речист, мысли его были просты, сводились к одному:

— Надо поднимать народ.

Клим шел во флигель тогда, когда он узнавал или видел, что туда пошла Лидия. Это значило, что там будет и Макаров. Но, наблюдая за девушкой, он убеждался, что ее притягивает еще что-то, кроме Макарова. Сидя где-нибудь в углу, она куталась, несмотря на дымную духоту, в оранжевый платок и смотрела

на людей, крепко сжав губы, строгим взглядом темных глаз. Климу казалось, что в этом взгляде да и вообще во всем поведении Лидии явилось нечто новое, почти смешное, какая-то деланная вдовья серьезность и печаль.

— Что ты скажешь о дяде? — спросил он и очень удивился, услышав странный ответ:

— Похож на Иоанна Предтечу.

Как-то весенней ночью, выйдя из флигеля, гуляя с Климом в саду, она сказала:

— Странно, что существуют люди, которые могут думать не только о себе. Мне кажется, что в этом есть что-то безумное. Или — искусственное.

Клим взглянул на нее почти с досадой; она сказала как раз то, что он чувствовал, но для чего не нашел еще слов.

— И потом,— продолжала девушка,— у них всё как-то перевернуто. Мне кажется, что они говорят о любви к народу с ненавистью, а о ненависти к властям — с любовью. По крайней мере я так слышу.

— Но, разумеется, это не так,— сказал Клим, надеясь, что она спросит: «Как же?» — и тогда он сумел бы блеснуть пред нею, он уже знал, чем и как блеснет. Но девушка молчала, задумчиво шагая, крепко кутая грудь платком; Клим не решился сказать ей то, что хотел.

Он находил, что Лидия говорит слишком серьезно и умно для ее возраста, это было неприятно, а она всё чаще удивляла его этим.

Через несколько дней он снова почувствовал, что Лидия обокрала его. В столовой после ужина мать, почему-то очень настойчиво, стала расспрашивать Лидию о том, что говорят во флигеле. Сидя у открытого окна в сад, боком к Вере Петровне, девушка отвечала неохотно и не очень вежливо, но вдруг, круто повернувшись на стуле, она заговорила уже несколько раздраженно:

— Отец тоже боится, что меня эти люди чем-то заразят. Нет. Я думаю, что все их речи и споры — только игра в прятки. Люди прячутся от своих страстей, от скуки; может быть — от пороков...

— Браво, дочь моя! — воскликнул Варавка, развалясь в кресле, воткнув в бороду сигару. Лидия продолжала тише и спокойней:

— Нужно забыть о себе. Этого хотят многие, я думаю. Не такие, конечно, как Яков Акимович. Он... я не знаю, как это сказать... он бросил себя в жертву идее сразу и навсегда...

— Как слепой в яму упал,— вставил Варавка, а Клим, чувствуя, что он побледнел от досады, размышлял: почему это случается так, что все забегают вперед его? Слова Томилина, что люди прячутся друг от друга в идеях, особенно нравились ему, он считал их верными.

— Это говорит Томилин,— с досадой сказал он.

— Я не сказала, что это мной придумано,— отозвалась Лидия.

— Ты слышала это от Макарова,— настаивал Клим.

— И — что же?

— Дядя Яков — жертва истории,— торопливо сказал Клим.— Он — не Иаков, а — Исаак.

— Не понимаю,— сказала Лидия, подняв брови, а Клим, рассердясь на себя за слова, на которые никто не обратил внимания, сердито пробормотал:

— Когда Макаров пьян, он говорит отчаянную чепуху. Он даже любовь называет рудиментарным чувством...

Варавка неистово захохотал, размахивая сигарой. Вера Петровна, снисходительно усмехаясь, заметила:

— Ему не знакомо понятие рудиментарный.

Лидия посмотрела на них и тихо пошла к двери. Климу показалось, что она обижена смехом отца, а Варавка охал, отирая слезы:

— Хо-хо... ах, дети, дети!

Климу хотелось пойти за Лидией, поспорить с ней, но Варавка, устав хохотать, обратился к нему и, сытым голосом, заговорил о школе:

— Не тому вас учат, что вы должны знать. Отечествоведение — вот наука, которую следует преподавать с первых же классов, если мы хотим быть нацией. Русь всё еще не нация, и боюсь, что ей придется взбол-

тать себя еще раз так, как она была взболтана в начале семнадцатого столетия. Тогда мы будем нацией — вероятно.

Оживляясь, он говорил о том, что сословия относятся друг к другу иронически и враждебно, как племена различных культур, каждое из них убеждено, что все другие не могут понять его, и спокойно мирятся с этим, а все вместе полагают, что население трех смежных губерний по всем навыкам, обычаям, даже по говору — другие люди и хуже, чем они, жители вот этого города.

Климу было скучно. Он не умел думать о России, народе, человечестве, интеллигенции, всё это было далеко от него. Из шестидесяти тысяч жителей города он знал шестьдесят или сто единиц и был уверен, что хорошо знает весь город, тихий, пыльный, деревянный на три четверти. Перед городом лениво текла мутноватая река, над ним всходило солнце со стороны монастырского кладбища и, не торопясь, свершив свой путь, опускалось за бойнями, на огородах. Не спеша никуда, смиренно жили дворяне, купцы, мещане, ремесленники, пасомые духовенством и чиновниками.

И чем более наблюдал он любителей споров и разногласий, тем более подозрительно относился к ним. У него возникало смутное сомнение в праве и попытках этих людей решать задачи жизни и навязывать эти решения ему. Для этого должны существовать другие люди, более солидные, менее азартные и уже во всяком случае не полубезумные, каков измученный дядя Яков.

Томилин стал для Клима единственным человеком вне сомнений и наиболее человеком. Он осудил себя думать обо всем и ничего не мог или не хотел делать. Он не пытался взнуздать слушателя своими мыслями, а только рассказывал о том, что думает, и, видимо, мало интересовался, слушают ли его. Жил он, никому не мешая, не требуя, чтоб его посещали, как этого требуют фамильярные любезности и улыбочки писателя Катина. К нему можно было ходить и не ходить; он не возбуждал ни симпатии, ни антипатии, тогда как люди из флигеля вызывали тревожный интерес вместе

со смутной неприязнью к ним. В конце концов нужно было признать, что Макаров был прав, когда сказал об этих людях:

— Тут каждый стремится выдрессировать меня, как собаку для охоты за дичью.

Клим тоже чувствовал это стремление, и, находя его своекорыстным, угрожающим его личной свободе, он выучился вежливо отмалчиваться или полусоглашаться каждый раз, когда подвергался натиску того или другого вероучителя.

Его сексуальные эмоции, разжигаемые счастливыми улыбочками Дронова, принимали всё более тягостный характер; это уже замечено было Варавкой; как-то раз, идя по коридору, он услыхал, что Варавка говорит матери:

— В его возрасте я был влюблен в родную тетку. Не беспокойся, он — не романтик и не глуп. Жаль, что у нас горничная — уродище...

Цинизм упоминания о горничной покоробил Клима, неприятно было и то, что его томление замечено, однако в общем спокойно сказанные слова Варавки что-то разрешали. Дня через два мать и Варавка ушли в театр, Лидия и Люба Сомова — к Алине; Клим лежал в своей комнате, у него болела голова. В доме было тихо, потом, как-то вдруг, в столовой послышался негромкий смех, что-то звучно, как пощечина, шлепнулось, передвинули стул, и два женских голоса негромко запели. Клим бесшумно встал, осторожно приоткрыл дверь: горничная и белошвейка Рита танцевали вальс вокруг стола, на котором сиял, точно медный идол, самовар.

— Раз, два, три,— вполголоса учила Рита.— Не толкай коленками. Раз, два...— Горничная, склонив голову, озабоченно смотрела на свои ноги, а Рита, увидав через ее плечо Клима в двери, оттолкнула ее и, кланяясь ему, поправляя растрепавшиеся волосы обеими руками, сказала бойко и оглушительно:

— Ой, извините...

— Пожалуйста, пожалуйста,— торопливо заговорил Клим, спрятав руки в карманы.— Я даже могу поиграть вам — хотите?

Сконфуженная горничная, схватив самовар, убежала, швейка начала собирать со стола посуду на поднос, сказав:

— Нет, зачем же...

Клим неясно помнил всё то, что произошло. Он действовал в состоянии страха и внезапного опьянения; схватив Риту за руку, он тащил ее в свою комнату, умоляя шёпотом:

— Пожалуйста... пожалуйста...

Она, тихонько посмеиваясь, вырывала горячую руку свою из его рук и шла рядом с ним, говоря тоже шёпотом:

— Что это вы? Разве можно?

А потом, соскочив с постели, наклонилась над ним и, сжимая щеки его ладонями, трижды поцеловала его в губы, задыхаясь и нашептывая:

— Ах вы, вы, вы!

Придя в себя, Клим изумлялся: как всё это просто. Он лежал на постели, и его покачивало; казалось, что тело его сделалось более легким и сильным, хотя было насыщено приятной усталостью. Ему показалось, что в горячем шёпоте Риты, в трех последних поцелуях ее были и похвала и благодарность.

«А ведь я ничего не обещал»,— подумал он и тотчас же спросил себя:

«Чем платит ей Дронов?»

Воспоминание о Дронове несколько охладило его, тут было нечто темненькое, двусмысленное и дважды смешное. Точно оправдываясь пред кем-то, Клим Самгин почти вслух сказал себе:

«Конечно, я больше не позволю себе этого с ней».— Но через минуту решил иначе: «Скажу, чтоб она уже не смела с Дроновым...»

Он хотел зажечь лампу, встать, посмотреть на себя в зеркало, но думы о Дронове связывали, угрожая какими-то неприятностями. Однако Клим без особенных усилий подавил эти думы, напомнив себе о Макарове, его угрюмых тревогах, о ничтожных «Триумфах женщин». «рудиментарном чувстве» и прочей смешной ерунде, которой жил этот человек. Нет сомнения — Макаров всё это выдумал для самоукрашения, и, на-

вернее, он втайне развратничает больше других. Уж если он пьет, так должен и развратничать, это ясно.

Эти размышления позволяли Климу думать о Макарове с презрительной усмешкой, он скоро уснул, а проснулся, чувствуя себя другим человеком, как будто вырос за ночь и выросло в нем ощущение своей значительности, уважения и доверия к себе. Что-то веселое бродило в нем, даже хотелось петь, а весеннее солнце смотрело в окно его комнаты как будто благосклонней, чем вчера. Он все-таки предпочел скрыть от всех новое свое настроение, вел себя сдержанно, как всегда, и думал о белошвейке уже ласково, благодарно.

Дней через пять, прожитых в приятном сознании сделанного им так просто серьезного шага, горничная Феня осторожно сунула в руку его маленький измятый конверт с голубой незабудкой, вытисненной в углу его, на атласной бумаге, тоже с незабудкой. Клим, не без гордости, прочитал:

«Ежели не забыли, приходите завтра, когда отблаговестят ко всенощной.

Тупой угол, дом Веселого, спросите Мар. Ваганову».

Маргарита встретила его так, как будто он пришел не в первый, а в десятый раз. Когда он положил на стол коробку конфект, корзину пирожных и поставил бутылку портвейна, она спросила, лукаво улыбаясь:

— Значит — хотите чай пить?

Обняв ее, Клим сказал:

— Я хочу, чтоб ты любила меня.

— Да я — не умею! — ответила женщина, смеясь очень добрым смехом.

Удивительно просто было с нею и вокруг нее в маленькой, чистой комнате, полной странно опьяняющим запахом. В углу у стены, изголовьем к окну, выходившему на низенькую крышу, стояла кровать, покрытая белым пикейным одеялом, белая занавесь закрывала стекла окна; из-за крыши поднимались бледно-розовые ветви цветущих яблонь и вишен. Оса билась о

стекло. На комоде, покрытом вязаной скатертью, стояло зеркало без рамы, аккуратно расставлены коробочки, баночки, в углу светилась серебряная риза иконы, а угол у двери был закрыт светло-серым куском коленкора. Всё было необыкновенно спокойно, тихо, жужжание осы — необходимо, всё казалось удаленным от действительного и привычного Климу на неизмеримые версты.

Маргарита говорила вполголоса, ленивенько растягивая пустые слова, ни о чем не спрашивая. Клим тоже не находил, о чем можно говорить с нею. Чувствуя себя глупым и немного смущаясь этим, он улыбался. Сидя на стуле плечо в плечо с гостем, Маргарита заглядывала в лицо его поглощающим взглядом, точно вспоминая о чем-то, это очень волновало Клима, он осторожно гладил плечо ее, грудь и не находил в себе решимости на большее. Выпили по две рюмки портвейна, затем Маргарита спросила:

— Ну, в постельку?

Тотчас же встав и раздеваясь, заботливо посоветовала:

— Ты тоже весь разденься, так лучше будет...

А через час, сидя на постели, спустив ноги на пол, голая, она, рассматривая носок Клима, сказала, утомленно зевнув:

— Надо заштопать.

Клим дремал.

После пяти-шести свиданий он чувствовал себя у Маргариты более дома, чем в своей комнате. У нее не нужно было следить за собою, она не требовала от него ни ума, ни сдержанности, вообще — ничего не требовала и незаметно обогащала его многим, что он воспринимал как ценное для него.

Он стал смотреть на знакомых девушек другими глазами; заметил, что у Любы Сомовой стесанные бедра, юбка на них висит плоско, а сзади слишком вздулась, походка Любы воробьиная, прыгающая. Толстенькая и нескладная, она часто говорила о любви, рассказывала о романах, ее похорошевшее личико возбужденно румянилось, в добрых, серых глазах светилось тихое умиление старушки, которая повествует

о чудесах, о житии святых, великомучеников. Это выходило у нее наивно, даже иногда так трогательно, что Клим находил нужным поощрять ее, на всякий случай, ласковыми улыбками, но думал:

«Блаженненькая. Дурочка».

Ее рассказы почти всегда раздражали Лидию, но изредка смешили и ее. Смеялась Лидия осторожно, неуверенно и резкими звуками, а посмеявшись немного, оглядывалась, нахмурясь, точно виноватая в неуместном поступке. Сомова приносила романы, давала их читать Лидии, но, прочитав «Мадам Бовари», Лидия сказала сердито:

— Всё, что тут верно,— гадость, а что хорошо — ложь.

К «Анне Карениной» она отнеслась еще более резко:

— Тут все — лошади: и эта Анна, и Вронский, и все другие.

Сомова возмутилась:

— Бог мой, какая ты невежда, какой урод! Ты какая-то ненормальная!

Клим тоже находил в Лидии непормальное; он даже стал несколько бояться ее слишком пристального, выпытывающего взгляда, хотя она смотрела так не только на него, но и на Макарова. Однако Клим видел, что ее отношение к Макарову становится более дружелюбным, а Макаров говорит с нею уже не так насмешливо и задорно.

Очень удивляла Клима дружба Лидии с Алиной Телепневой, которая, становясь ослепительно красивой, явно и всё более глупела, как это находил Клим после слов матери, сказавшей:

— Эта девчурка была бы лучше и умнее, не будь она такой красавицей.

Клим тотчас же признал, что это сказано верно. Красота являлась источником непрерывной тревоги для девушки, Алина относилась к себе, точно к сокровищу, данному ей кем-то на краткий срок и под угрозой отнять тотчас же, как только она чем-нибудь испортит чарующее лицо свое. Насморк был для нее серьезной болезнью, она испуганно спрашивала:

— Нос у меня очень красный? Глаза тусклые, да?

Ничтожный прыщик на лице повергал ее в уныние, так же как заусеницы или укус комара. Она боялась потолстеть, похудеть, боялась грома.

— Пускай будут молнии,— говорила она.— Это даже красиво, но я совершенно не выношу, когда надо мной трещит небо.

Она выработала себе осторожную, скользящую походку и держалась так прямо, точно на голове ее стоял сосуд с водою. На катке, боясь упасть, она каталась одна в стороне и тихо или же с наиболее опытными конькобежцами, в ловкости и силе которых была уверена. Единственной чертой, которая нравилась Климу в этой девушке, было ее уменье устраиваться спокойно и удобно, она всегда выбирала себе наиболее выгодное место, особенно ласковый к ней луч солнца. Несколько смешна была ее преувеличенная чистоплотность, почти болезненное отвращение к пыли, сору, уличной грязи; прежде чем сесть, она пытливо осматривала стул, кресло, незаметно обмахивая платочком сидение; подержав в руке какую-либо вещь, она тотчас вытирала пальцы. Ела она так аккуратно и углубленно, что Макаров сказал ей:

— Религиозно кушаете, Алиночка! Даже и не кушаете, подобно нам, смертным, а — причащаетесь.

Не взглянув на него, Алина спокойно ответила:

— Доктор посоветовал мне пережевывать тщательно.

Иногда страхи Алины за красоту свою вызывали у нее припадки раздражения, почти злобы, как у горничной на хозяйку, слишком требовательную. И, вероятно, от этих страхов неотразимо ласковые, синеватые глаза Алины смотрели вопросительно, а длинные ресницы, вздрагивая, придавали взгляду ее выражение умоляющее.

Она была скучна, говорила только о нарядах, танцах, о поклонниках, но и об этом она говорила без воодушевления, как о скучноватой обязанности. За нею уже ухаживал седой артиллерист, генерал, вдовец, стройный и красивый, с умными глазами, ухаживал товарищ прокурора Ипполитов, маленький человечек с черными усами на смуглом лице, веселый и ловкий.

— Нет, я не хочу замуж,— низким, грудным голосом говорила она,— я буду актрисой.

Она не плохо, певуче, но как-то чрезмерно сладостно читала стихи Фета, Фофанова, мечтательно пела цыганские романсы, но романсы у нее звучали обездушенно, слова стихов — безжизненно, нечетко, смятые ее бархатным голосом. Клим был уверен, что она не понимает значения слов, медленно выпеваемых ею.

— Кукла, которой жалко играть,— сказал о ней Макаров небрежно, как всегда говорил о девицах.

Клим покосился на него, он всё острей испытывал уколы зависти, когда слышал, как метко люди определяют друг друга, а Макаров досадно часто говорил меткие словечки.

Как во всех людях, Клим и в Алине хотел бы найти что-либо искусственное, выдуманное. Иногда она спрашивала его:

— Я сегодня бледная, да?

Он понимал, что Алина спрашивает лишь для того, чтоб лишний раз обратить внимание на себя, но это казалось ему естественным, оправданным и даже возбуждало в нем сочувствие девушке. Оно усилилось после слов матери, подсказавших ему, что красоту Алины можно понимать как наказание, которое мешает ей жить, гонит почти каждые пять минут к зеркалу и заставляет девушку смотреть на всех людей как на зеркала. Иногда он смутно догадывался, что между ним и ею есть что-то общее, но, считая эту догадку унижающей его, не пытался подумать о ней серьезно.

Он видел, что Макаров и Лидия резко расходятся в оценке Алины. Лидия относилась к ней заботливо, даже с нежностью, чувством, которого Клим раньше не замечал у Лидии. Макаров не очень зло, но упрямо высмеивал Алину. Лидия ссорилась с ним. Сомова, бегавшая по урокам, мирила их, читая длинные, интересные письма своего друга Инокова, который, оставив службу на телеграфе, уехал с артелью сергачских рыболовов на Каспий.

В общем дома жилось тягостно, скучно, но в то же время и беспокойно. Мать с Варавкой, по вечерам,

озабоченно и сердито что-то считали, сухо шумя бумагами. Варавка, хлопая ладонью по столу, жаловался:

— Идиоты, даже украсть не умеют!

Климу больше нравилась та скука, которую он испытывал у Маргариты. Эта скука не тяготила его, а успокаивала, притупляя мысли, делая ненужными всякие выдумки. Он отдыхал у швейки от необходимости держаться, как солдат на параде. Маргарита вызывала в нем своеобразный интерес простотою ее чувств и мыслей. Иногда, должно быть, подозревая, что ему скучно, она пела маленьким, мяукающим голосом неслыханные песни:

Мне не спится, не лежится,
И сон меня не берет,
Я пошел бы к Рите в гости,
Да не знаю, где она живет.

Попросил бы товарища —
Пусть товарищ отведет,
Мой товарищ лучше, краше,
Боюсь, Риту отобьет.

— Какая глупая песня,— сказал Клим, зевнув, а певица поучительно ответила:

— Тем и хороша, дружок. Все песни — глупые, все — про любовь, тем и хороши.

Она вообще охотно поучала Клима, и это забавляло его. Он видел, что девушка относится к нему матерински заботливо, это тоже было забавно, но и трогало немножко. Клим удивлялся бескорыстию Маргариты, у него незаметно сложилось мнение, что все девицы этого ремесла — жадные. Но когда он приносил сласти и подарки Рите, она, принимая их, упрекала его:

— Чудачок! Ведь за деньги, которые ты тратишь на меня, ты мог бы найти девушку красивее и моложе, чем я!

Она сказала это так просто и убедительно, что Клим не решился заподозрить ее во лжи.

Но, говоря о девушке красивее ее, она хвастала, поглаживая ладонями грудь и бедра:

— Видишь, какая у меня кожа? Не у всякой барышни бывает такая.

На стене, над комодом, была прибита двумя гвоздями маленькая фотография без рамы, переломленная поперек, она изображала молодого человека, гладко причесанного, с густыми бровями, очень усатого, в галстухе, завязанном пышным бантом. Глаза у него были выколоты.

— Это кто? — спросил Клим.

Несколько секунд Маргарита внимательно, прищурясь и как бы вспоминая, смотрела на фотографию, потом сказала:

— Иконописец.

— А зачем у него глаза выколоты?

— Ослеп, дурак,— ответила Рита и, вздохнув, не пожелала больше отвечать на дальнейшие расспросы Клима, а предложила:

— Ну, в постельку?

В нежную минуту он решился наконец спросить ее о Дронове; он понимал, что обязан спросить об этом, хотя и чувствовал, что чем дальше, тем более вопрос этот теряет свою обязательность и значение. В этом скрывалось нечто смущавшее его, нечистоплотное. Когда он спросил, Рита удивленно подняла брови:

— Кто это?

— Не притворяйся,— Клим хотел сказать это слово строго, но не сумел и даже улыбнулся.

Приподнявшись с подушки, Рита села и, надевая рубашку, прикрыв ею лицо, заговорила сочувственно:

— Ах, это Ваня, который живет у вас в мезонине! Ты думаешь — я с ним путалась, с эдаким: ни кожи, ни рожи? Плохо ты выдумал.

Натягивая чулки на белые с голубыми жилками ноги свои, она продолжала торопливо, неясно и почему-то часто вздыхая:

— Жалко его. Это ведь при мне поп его выгнал, я в тот день работала у попа. Ваня учил дочь его и что-то наделал, горничную ущипнул, что ли. Он и меня пробовал хватать. Я пригрозила, что пожалуюсь попадье, отстал. Он все-таки забавный, хоть и злой.

Другим тоном и тише она досказала:

— Выгнали из гимназии. Надрали бы уши, и — довольно!

Климу хотелось верить ей, он поверил, и тень Дронова, все-таки несколько мешавшая ему,— исчезла.

Юноша давно уже понял, что чистенькая постелька у стены была для этой девушки жертвенником, на котором Рита священнодействовала, неутомимо и почти благоговейно. После успокоившей его беседы о Дронове у Клима явилось желание делать для Риты, возможно чаще, приятное ей, но ей были приятны только солодовые, на меду, пряники и поцелуи, иногда утомлявшие его. И уже был день, когда ее понукающее приглашение: «Ну, в постельку» — вдруг вызвало у него темное раздражение, какую-то непонятную обиду. Он почти сердито стал спрашивать ее, почему она не читает книг, не ходит в театр, не знает ничего лучше постельки, но Рита, видимо, не уловив его тона, спросила спокойно, расплетая волосы:

— А куда иначе жизнь девать? Подумай-ка. И — некуда.

Затем рассказала, что в театры она ходит:

— Если там играют веселые комедии, водевили. Драмов я не люблю. В церковь хожу, к Успенью, там хор — лучше соборного.

Порою Клим, усталый и чувствуя недовольство собою, осторожно размышлял:

«Вот это и есть — любовь?»

Почему-то невозможно было согласиться, что Лидия Варавка создана для такой любви. И трудно было представить, что только эта любовь лежит в основе прочитанных им романов, стихов, в корне мучений Макарова, который становился всё печальнее, меньше пил и говорить стал меньше да и свистел тише.

Потом для Клима наступили дни, когда он, после свиданий с Маргаритой, чувствовал себя настолько опустошенным, отупевшим, что это пугало его; тогда он принуждал себя идти к источникам мудрости, к Томилину или во флигель.

С Томилиным что-то случилось; он переоделся в цветные рубашки «фантазия», носил вместо галстуха шнур с кистями, серый пиджак и какие-то, сиреневого

цвета, очень широкие брюки. Всё это казалось на теле его чужим и еще более оттеняло огненную рыжеватость подстриженных волос, которые над ушами торчали горизонтально и дыбились над его белым лбом. Особенно заметны были запонки на обшлагах — большие, тяжелые, лунные серпики. Говорил Томилин громче, но как будто менее уверенно, часто делал паузы и, поглядывая в рукав пиджака, вертел запонки. И как будто у Томилина вместе с костюмом явились новые мысли. Клим ощущал, что мысли эти даже пугают его своей грубой обнаженностью, которую можно было понять как бесстрашие и как бесстыдство. Иногда эти голые мысли Клим представлял себе в форме клочьев едкого дыма, обрывков облаков; они расползаются в теплом воздухе тесной комнаты и серой, грязноватой пылью покрывают книги, стены, стекла окна и самого мыслителя.

Взвешивая на ладони один из пяти огромных томов Мориса Каррьера «Искусство в связи с общим развитием культуры», он говорил:

— Некий итальянец утверждает, что гениальность — одна из форм безумия. Возможно. Вообще людей с преувеличенными способностями трудно признать нормальными людьми. Возьмем обжор, сладострастников и... мыслителей. Да, и мыслителей. Вполне допустимо, что чрезмерно развитый мозг есть такое же уродство, как расширенный желудок или непомерно большой фаллос. Тогда мы увидим нечто общее между Гаргантюа, Дон-Жуаном и философом Иммануилом Кантом.

Это сопоставление понравилось Климу, как всегда / нравились ему упрощающие мысли. Он заметил, что и сам Томилин удивлен своим открытием, видимо — случайным. Швырнув тяжелую книгу на койку, он шевелил бровями, глядя в окно, закинув руки за шею, под свой плоский затылок.

— Да,— сказал он, мигнув.— Я должен идти вниз, чай пить. Гм...

Всё чаще и как-то угрюмо Томилин стал говорить о женщинах, о женском, и порою это у него выходило скандально. Так, когда во флигеле писатель Катин го-

рячо утверждал, что красота — это правда, рыжий сказал своим обычным тоном человека, который точно знает подлинное лицо истины:

— Нет, красота именно — неправда, она вся, насквозь, выдумана человеком для самоутешения, так же как милосердие и еще многое...

— А природа? А красота форм в природе? Возьмите Геккеля,— победоносно кричал писатель,— в ответ ему поползли равнодушные слова:

— Природа — хаотическое собрание различных безобразий и уродств.

— Цветы! — не сдавался писатель.

— В природе нет таких роз и тюльпанов, какие созданы людями Англии, Франции, Голландии.

Спор становился всё раздраженней, сердитее, и чем более возвышались голоса несогласных, тем более упрямо, угрюмо говорил Томилин. Наконец он сказал:

— Красота более всего необходима нам, когда мы приближаемся к женщине, как животное к животному. В этой области отношений красота возникла из чувства стыда, из нежелания человека быть похожим на козла, на кролика.

Он сказал несколько слов, еще более грубых, и заглушил ими спор, вызвав общее смущение, ехидные усмешки, иронический шёпот. Дядя Яков, больной, полулежавший на диване в груде подушек, спросил вполголоса, изумленно:

— Он сумасшедший?

Писатель, усмехаясь, что-то пошептал ему, но дядя, тряхнув лысой головою, проговорил:

— Опоздал. Нигилисты рассуждали умнее.

Дядя, видимо, был чем-то доволен. Его сожженное лицо посветлело, стало костлявее, но глаза смотрели добродушней, он часто улыбался. Клим знал, что он собирается уехать в Саратов и жить там.

Во флигеле Клим чувствовал себя всё более не на месте. Всё, что говорилось там о народе, о любви к народу, было с детства знакомо ему, все слова звучали пусто, ничего не задевая в нем. Они отягощали скукой, и Клим приучил себя не слышать их.

Его очень заинтересовали откровенно злые взгляды Дронова, направленные на учителя. Дронов тоже изменился, как-то вдруг. Несмотря на свое уменье следить за людями, Климу всегда казалось, что люди изменяются внезапно, прыжками, как минутная стрелка затейливых часов, которые недавно купил Варавка: постепенности в движении их минутной стрелки не было, она перепрыгивала с черты на черту. Так же и человек: еще вчера он был таким же, как полгода тому назад, но сегодня вдруг в нем являлась некая новая черта.

В темно-синем пиджаке, в черных брюках и тупоносых ботинках фигура Дронова приобрела комическую солидность. Но лицо его осунулось, глаза стали неподвижней, зрачки помутнели, а в белках явились красненькие жилки, точно у человека, который страдает бессонницей. Спрашивал он не так жадно и много, как прежде, говорил меньше, слушал рассеянно и, прижав локти к бокам, сцепив пальцы, крутил большие, как старик. Смотрел на всё как-то сбоку, часто и устало отдувался, и казалось, что говорит он не о том, что думает.

Каждый раз после свидания с Ритой Климу хотелось уличить Дронова во лжи, но сделать это значило бы открыть связь со швейкой, а Клим понимал, что он не может гордиться своим первым романом. К тому же случилось нечто, глубоко поразившее его. Однажды вечером Дронов бесцеремонно вошел в его комнату, устало сел и заговорил угрюмо:

— Слушай-ка, Варавка хочет перевести меня на службу в Рязань, а это, брат, не годится мне. Кто там, в Рязани, будет готовить меня в университет? Да еще — бесплатно, как Томилин?

Он взял со стола пресс-папье, стеклянный ромб, и, подставляя его под косой луч солнца, следил за радужными пятнами на стене, на потолке, продолжая:

— Потом — Маргарита. Невыгодно мне уезжать от нее, я ею, как говорится, и обшит и обмыт. Да и привязан к ней. И понимаю, что я для нее — не мармелад.

Он сморщился и навел радужное пятно на фотографию матери Клима, на лицо ее; в этом Клим почувствовал нечто оскорбительное. Он сидел у стола, но,

услыхав имя Риты, быстро и неосторожно вскочил на ноги.

— Не шали,— сухо сказал он, жмурясь, как будто луч солнца попал в глаза его; Дронов небрежно бросил пресс на стол, а Клим, стараясь говорить равнодушно, спросил:

— Ты всё еще живешь с нею?

— Почему же не жить?

Клим присел на край стола, разглядывая Дронова; в спокойном тоне, которым он говорил о Рите, Клим слышал нечто подозрительное. Тогда, очень дружески и притворяясь наивным, он стал подробно расспрашивать о девице, а к Дронову возвратилась его хвастливость, и через минуту Клим почувствовал желание крикнуть ему:

«Ступай вон!»

— Она — хорошая,— говорил Дронов.

Клим повернулся к нему спиною, а Дронов, вдруг, нахмурясь, перескочил на другую тему:

— Томилина я скоро начну ненавидеть, мне уже и теперь, иной раз, хочется ударить его по уху. Мне нужно знать, а он учит не верить, убеждает, что алгебра — произвольна, и чёрт его не поймет, чего ему надо! Долбит, что человек должен разорвать паутину понятий, сотканных разумом, выскочить куда-то, в беспредельность свободы. Выходит как-то так: гуляй голым! Какой дьявол вертит ручку этой кофейной мельницы?

Клим сказал сквозь зубы:

— Очень умный человек.

— Умный? — явно усомнился Дронов, сердито взглянул на часы и встал:

— Так ты поговори с Варавкой.

Без него в комнате стало лучше. Клим, стоя у окна, ощипывал листья бегонии и морщился, подавленный гневом, унижением. Услыхав в прихожей голос Варавки, он тотчас вышел к нему; стоя перед зеркалом, Варавка расчесывал гребенкой лисью бороду и делал гримасы:

— В Рязань, в Рязань! — сердито ответил он на вопрос Клима.— Или — на все четыре стороны. Не проси!

— Я и не предполагал просить за него,— сказал Клим с достоинством.

Варавка обнял его за талию и повел к себе в кабинет, говоря:

— Этот парень надоел мне. Работает скверно, рассеян, дерзок. И слишком любит поболтать с моими подпадзорными.

— Да,— сказал Клим солидно,— его тянет к ним, он так часто бывает во флигеле.

Усадив его в кресло у огромного рабочего стола, Варавка продолжал:

— Не понимаю, что тебя влечет к таким типам, как Дронов или Макаров. Изучаешь, да?

Всегда насмешливый, часто — резкий, Варавка умел говорить и вкрадчиво, с дружеской убедительностью. Клим уже не однажды чувствовал, как легко этот человек заставляет его высказывать кое-что лишнее, и пытался говорить с вотчимом уклончиво, осторожно. Но, как всегда, и в этот раз Варавка незаметно привел его к необходимости сказать, что Лидия слишком часто встречается с Макаровым и что отношения их очень похожи на роман. Это сказалось само собою, очень просто: два серьезных человека, умственно равные, заботливо беседовали о людях юных и неуравновешенных, беспокоясь о их будущем. Было бы даже неловко умолчать о странных отношениях Лидии и Макарова.

Варавка закрыл на несколько секунд медвежьи глазки, сунул руку под бороду и быстрым жестом распушил ее, как веер. Потом, мясисто улыбаясь, сказал:

— Романтизм. Болезнь возраста. Тебя она минует, я уверен. Лидия — в Крыму, осенью она уедет в Москву, в театральную школу.

— Но ведь Макаров тоже будет в московском университете,— напомнил Клим.

Варавка не ответил, остригая ногти, кусочки их прыгали на стол, загруженный бумагами. Потом, вынув записную книжку, он поставил в ней какие-то знаки карандашом, попробовал засвистать что-то — не вышло.

— Ты бываешь во флигеле? — спросил он и тотчас же, хлопнув дружески по колену Клима, заговорил:—

Мой совет: не ходи туда! Конечно, там — люди невинные, безвредные, и вся их словесность сводится к тому, чтоб переменить кожу. Но — о них есть и другое мнение. Если в государстве существует политическая полиция — должны быть и политические преступники. Хотя теперь политика не в моде, так же как турнюры, но все-таки существует инерция и существуют староверы. Революция в России возможна лишь как мужицкий бунт, то есть как явление культурно бесплодное, разрушительное...

Затем он долго говорил о восстании декабристов, назвав его «своеобразной трагической буффонадой», дело петрашевцев — «заговором болтунов по ремеслу», но раньше чем он успел перейти к народникам, величественно вошла мать, в сиреневом платье, в кружевах, с длинной нитью жемчуга на груди.

— Пора! — строго сказала она.— А ты еще не переоделся.

— Извини! — виновато воскликнул Варавка, вскакивая и торопливо убегая. — Мы так интересно беседовали.

Климу всегда было приятно видеть, что мать правит этим человеком как существом ниже ее, как лошадью. Посмотрев вслед Варавке, она вздохнула, затем, разгладив душистым пальцем брови сына, осведомилась:

— О чем говорили?

— Кажется, я поступил бестактно,— сознался Клим, думая о Дронове, но рассказав о Лидии и Макарове.

— Как же иначе? — слегка удивилась мать.— Ты был обязан предупредить ее отца.

— Готов,— сказал Варавка, являясь в двери; одетый в сюртук, он казался особенно матерым.

Они ушли. Клим остался в настроении человека, который не понимает: нужно или не нужно решать задачу, вдруг возникшую пред ним? Открыл окно; в комнату хлынул жирный воздух летнего вечера. Маленькое сизое облако окутывало серп луны. Клим решил:

«Пойду к ней».

Решил, но — задумался; внезапному желанию идти к Маргарите мешало чувство какой-то неловкости, опасение, что он, не стерпев, спросит ее о Дронове и вдруг

окажется, что Дронов говорил правду. Этой правды не хотелось.

Из флигеля выходили, один за другим, темные люди с узлами, чемоданами в руках, писатель вел под руку дядю Якова. Клим хотел выбежать на двор, проститься, но остался у окна, вспомнив, что дядя давно уже не замечает его среди людей. Писатель подсадил дядю в экипаж черного извозчика, дядя крикнул:

— А где пакет?

— У меня,— громко ответил писатель.

Экипаж тяжело покатился в сумрак улицы.

Дядя натягивал шляпу на голову, не оглядываясь назад, к воротам, где жена писателя, сестра ее и еще двое каких-то людей, размахивая платками и шляпами, радостно кричали:

— Прощайте!

Всё это — и сумрак — напомнило Климу сцену из какого-то неинтересного романа — проводы девушки, решившей служить гувернанткой, для того чтоб поддержать обедневшую семью свою.

Клим вздохнул, послушал, как тишина поглощает грохот экипажа, хотел подумать о дяде, заключить его в рамку каких-то очень значительных слов, но в голове его ныл, точно комар, обидный вопрос:

«А если Дронов сказал правду?»

Вопрос этот, не пуская к Маргарите, не позволял думать ни о чем, кроме нее. Посидев скучный час в темноте, он пошел к себе, зажег лампу, взглянул в зеркало, оно показало ему лицо, почти незнакомое — обиженное, измятое миной недоумения. Он тотчас погасил огонь, разделся в темноте и лег в постель, закутав голову простынею. Но через несколько минут он убедил себя, что необходимо сегодня же, сейчас уличить Маргариту во лжи. Не зажигая огня, он оделся и пошел к ней, настроясь воинственно, шагая твердо. Как всегда, Маргарита встретила его знакомым восклицанием:

— Ага, пришел!

Его уже давно удручали эти слова, он никогда не слышал в них ни радости, ни удовольствия. И всё стыднее были однообразные ласки ее, заученные ею, должно быть, на всю жизнь. Порою необходимость в этих лас-

ках уже несколько тяготила Клима, даже колебала его уважение к себе.

Но на этот раз знакомые слова прозвучали по-новому бесцветно. Маргарита только что пришла из бани, сидела у комода, перед зеркалом, расчесывая влажные, потемневшие волосы. Красное лицо ее казалось гневным.

Размашисто, с усмешечкой на губах, но дрожащей от злости рукою Клим похлопал ее по горячему, распаренному плечу, но она, отклонясь, сказала сердито:

— Больно. Что ты?

И тотчас же заговорила деловитым тоном:

— Вот какая новость: я поступаю на хорошее место, в монастырь, в школу, буду там девочек шитью учить. И квартиру мне там дадут, при школе. Значит — прощай! Мужчинам туда нельзя ходить.

Спустив рубашку до колен, вытирая полотенцем шею, грудь, она не попросила, а приказала:

— Вытри-ка спину мне.

Увидав ее голой, юноша почувствовал, что запас его воинственности исчез. Но приказание девушки вытереть ей спину изумило и возмутило его. Никогда она не обращалась к нему с просьбами о таких услугах, и он не помнил случая, когда бы вежливость заставила его оказать Рите услугу, подобную требуемой ею. Он сидел и молчал. Девушка спросила:

— Лень?

Тогда, подчиняясь вспыхнувшей злобе, он сказал негромко и презрительно:

— Ты лгала мне, Дронов твой любовник...

Он сейчас же понял, что сказал это не так, как следовало, не теми словами. Маргарита, надевая новые ботинки, сидела согнувшись, спиною к нему. Она ответила не сразу и спокойно:

— Вот как просто сошлось.

И спросила:

— Это Фенька сказала тебе?

Клим почувствовал, что вопрос этот толкнул его в грудь. Судорожно барабаня пальцами по медной пряжке ремня своего, он ожидал: что еще скажет она? Но Маргарита, застегивая крючком пуговки ботинок, ничего не говорила.

— Мне Дронов сам сказал,— грубо объявил Клим.

Она встала и, невысоко приподняв юбку, критически посмотрела на свои ноги. И снова села на стул, облегченно вздохнув, повторила:

— Вот как хорошо сошлось. А я тут с неделю думаю: как сказать, что не могу больше с тобой?

Клим чувствовал, что она заставляет его глупеть, почти растерянно он спросил:

— Зачем ты лгала?

Девушка ответила ровным голосом, глядя в окно и как бы думая не то, что говорит:

— Мне твоя мамаша деньги платила не затем, чтобы правду тебе говорить, а чтоб ты с уличными девицами не гулял, не заразился бы.

Испытав впечатление ожога, Клим закричал:

— Врешь! Мать не могла...

— Жмет,— тихонько сказала Рита, высунув ногу из-под подола, и, обругав кого-то «подлецом», продолжала поучительно и равнодушно:

— На мамашу — не сердись, она о тебе заботливая. Во всем городе я знаю всего трех матерей, которые так о сыновьях заботятся.

Клим слышал ее нелепые слова сквозь гул в голове, у него дрожали ноги, и, если бы Рита говорила не так равнодушно, он подумал бы, что она издевается над ним.

«Значит, мать наняла ее,— соображал он. — Платила ей, потому эта дрянь и была бескорыстна».

— Хоть она и гордая и обидела меня, а все-таки скажу: мать она редкая. Теперь, когда она отказала мне, чтоб Ваню не посылать в Рязань,— ты уж ко мне больше не ходи. И я к вам работать не пойду.

Последнюю фразу она произнесла угрожающе, как будто думая, что без ее работы Самгины и Варавки станут несчастнейшими людями.

Климу хотелось отстегнуть ремень и хлестнуть по лицу девушки, всё еще красному и потному. Но он чувствовал себя обессиленным этой глупой сценой и тоже покрасневшим от обиды, от стыда, с плеч до ушей. Он ушел, не взглянув на Маргариту, не сказав ей ни слова, а она проводила его укоризненным восклицанием:

— Фу, как нехорошо, а был вежливый...

Он долго ходил по улицам, затем сидел в городском саду, размышляя: что делать? Хотелось избить Дронова или рассказать ему, что Маргариту панимают как проститутку, хотелось сказать матери что-то очень сильное, что смутило бы ее. Но эти желания скользили поверх упрямой, устойчивой думы о Маргарите. Он привык относиться к ней снисходительно, иронически и впервые думал о девушке со всею серьезностью, на которую был способен. Образ Маргариты непонятно двоился. Вспоминались ее несомненно честные ласки, незатейливые и часто смешные, но искренние слова, те глупые, нежные слова любви, которые принудили одного из героев Мопассана отказаться от своей возлюбленной. Какими же ласками награждала она Дронова, какие слова шептала ему? С тупым недоумением он вспоминал заботы девушки о радостях его тела, потом спрашивал себя: как могла она лгать так незаметно и ловко? А вспомнив ее слова о трех заботливых матерях, подумал, что, может быть, на попечении Маргариты, кроме его, было еще двое таких же, как он. У него мелькнула странная, чужая мысль:

«Проститутка или сестра милосердия?»

Но эта мысль тотчас же исчезла, как только он вспомнил, что Рита, очевидно, любила только четвертого — некрасивого, неприятного Дронова.

Размышления эти, всё более возбуждая чувство брезгливости, обиды, становились тягостно невыносимы, но оттолкнуть их Клим не имел силы. Он сидел на чугунной скамье, лицом к темной пустынной реке, вода ее тускло поблескивала, точно огромный лист кровельного железа, текла она лениво, бесшумно и казалась далекой. Ночь была темная, без луны, на воде желтыми крапинками жира отражались звезды. За спиною своей Клим слышал шаги людей, смех и говор, хитренький тенорок пропел на мотив «La donna e mobile»[1]:

Слышу я голос твой,
Нежный и ласковый,
Значит — для голоса
Деньги вытаскивай...

[1] «Женщина изменчива» *(итал.)*.

Удручающая пошлость победоносно прозвучала в этой песенке. Клим вдруг чего-то испугался, вскочил и быстро пошел домой.

Мать и Варавка уехали на дачу под городом, Алина тоже жила на даче, Лидия и Люба Сомова — в Крыму. Клим остался дома, чтоб наблюдать за ремонтом его и заниматься со Ржигой латынью. Наедине с самим собою не было необходимости играть привычную роль, и Клим очень медленно поправлялся от удара, нанесенного ему. Всё думалось о Маргарите, но эти думы, медленно теряя остроту, хотя и становились менее обидны, но всё более непонятны. Они освещали девушку как-то иначе. Клим уже не думал, что разум Маргариты нем, память воскрешала ее поучающие слова, и ему показалось, что чаще всего они были окрашены озлоблением против женщин. Так, однажды, соскочив с постели и вытирая губкой потное тело свое, Маргарита сказала одобрительно:

— Это очень хорошо тебе, что ты не горяч. Наша сестра горячих любит распалить да и сжечь до золы. Многие через нас погибают.

В другой раз она ласково убеждала:

— Ты в бабью любовь — не верь. Ты помни, что баба не душой, а телом любит. Бабы — хитрые, ух! Злые. Они даже и друг друга не любят, погляди-ко на улице, как они злобно да завистно глядят одна на другую, это — от жадности всё: каждая злится, что, кроме ее, еще другие на земле живут.

Она даже начала было рассказывать ему какой-то роман, но Клим задремал, из всего романа у него осталось в памяти лишь несколько слов:

— А чего надо было ей? Только отбить его у меня. Дескать — видала, как я тебя ловчее?

Теперь, когда ее поучения всплывали пред ним, он удивлялся их обилию, однообразию и готов был думать, что Рита говорила с ним, может быть, по требованию ее совести, для того, чтоб намеками предупредить его о своем обмане.

«Я — хочу оправдать ее?» — спрашивал он себя. Но тотчас же пред ним являлось плоское лицо Дронова, его хвастливые улыбочки, бесстыдные слова его рассказов о Маргарите.

«Если б упасть с нею в реку, она утопила бы меня, как Варя Сомова Бориса»,— озлобленно подумал он.

Но, и со злостью думая о Рите, он ощущал, что в нем растет унизительное желание пойти к ней, а это еще более злило его. Он нашел исход злобе своей, направив ее на рабочих.

Наискось, почти напротив дома Самгиных, каменщики разрушали старое, казарменного вида двухэтажное здание, с маленькими угрюмыми окнами, когда-то окрашенное желтой краской; Варавка приобрел этот дом для купеческого клуба. Работало человек двадцать пыльных людей, но из них особенно выделялись двое: кудрявый, толстогубый парень с круглыми глазами на мохнатом лице, сером от пыли, и маленький старичок в синей рубахе, в длинном переднике. Чугунные руки парня бестолково дробили ломом крепко слежавшийся кирпич старой стены; сила у парня была большая, он играл, хвастался ею, а старичок подзадоривал его, взвизгивая:

— Вали-и, Мотя! Круши, Мотя,— скоро шабаш!

Десятник, рыжебородый крупный мужик, уговаривал:

— А ты не балуй, Николаич! На что дробить кирпич?

Старичок отвечал шуточками:

— Так разве это я? Это же Мотя! Эх, Мотя, сук те в ухо,— сила ты!

И сам старался ударить ломом не между кирпичей, не по извести, связавшей их, а по целому. Десятник снова кричал привычно, но равнодушно, что старый кирпич годен в дело, он крупнее, плотней нового,— старичок согласно взвизгивал:

— Верно-о! Отцы, деды наши работали получше нас! Эх, Мотя-а!

Все рабочие ломали стену с увлечением, но старичок, казалось Климу, перешел какую-то границу и, неистовствуя, был противен. А Мотя работал слепо, машинообразно, и, когда ему удавалось отколоть несколько кирпичей сразу, он оглушительно ухал, рабочие смеялись, свистели, а старичок яростно и жутко визжал:

— Валяй-и!

«Идиоты!» — думал Клим. Ему вспоминались безмолвные слезы бабушки пред развалинами ее дома, вспоминались уличные сцены, драки мастеровых, буйства пьяных мужиков у дверей базарных трактиров на городской площади против гимназии и снова слезы бабушки, сердито-насмешливые словечки Варавки о народе, пьяном, хитром и ленивом. Казалось даже, что после истории с Маргаритой все люди стали хуже: и богомольный благообразный старик дворник Степан, и молчаливая толстая Феня, неутолимо пожиравшая всё сладкое.

«Народ», — думал он, внутренно усмехаясь, слушая, как память подсказывает ему жаркие речи о любви к народу, о необходимости работать для просвещения его.

Клим шел к Томилину побеседовать о народе, шел с тайной надеждой оправдать свою антипатию. Но Томилин сказал, тряхнув медной головою:

— Искренний интерес к народу могут испытывать промышленники, честолюбцы и социалисты. Народ — тема, не интересующая меня.

Томилин, видимо, богател, он не только чище одевался, но стены комнаты его быстро обрастали новыми книгами на трех языках: немецком, французском и английском.

— По-русски читать нечего,— объяснял он.— По-русски интересно чувствуют, но думают неудачно, зависимо, не оригинально. Русское мышление глубоко чувственно и потому грубо. Мысль только тогда плодотворна, когда ее двигает сомнение. Русскому разуму чужд скептицизм, так же как разуму индуса и китайца. У нас все стремятся веровать. Всё равно во что, хотя бы в спасительность неверия. Во Христа. В химию. В народ. А стремление к вере — есть стремление к покою. У нас нет людей, осудивших себя на тревогу независимой работы мышления.

Не все эти изречения нравились Климу, многие из них были органически неприемлемы для него. Но он честно старался помнить всё, что говорил Томилин в такт шарканью своих войлочных туфель, а иногда босых подошв.

— Нет людей, которым истина была бы нужна ради ее самой, ради наслаждения ею. Я повторяю: человек хочет истины, потому что жаждет покоя. Эту жажду вполне удовлетворяют так называемые научные истины, практического значения коих я не отрицаю.

Однажды, придя к учителю, он был остановлен вдовой домохозяина,— повар умер от воспаления легких. Сидя на крыльце, женщина веткой акации отгоняла мух от круглого, маслено блестевшего лица своего. Ей было уже лет под сорок; грузная, с бюстом кормилицы, она встала пред Климом, прикрыв дверь широкой спиною своей, и, улыбаясь глазами овцы, сказала:

— Извините — он пишет и никого не велел пускать. Даже отцу Иннокентию отказала. К нему ведь теперь священники ходят: семинарский и от Успенья.

Говорила она вполголоса, захлебываясь словами, ее овечьи глаза сияли радостью, и Клим видел, что она готова рассказывать о Томилине долго. Из вежливости он послушал ее минуты три и раскланялся с нею, когда она сказала, вздохнув:

— Вначале я его жалела, а теперь уж боюсь.

Часто и всегда как-то не вовремя являлся Макаров, пыльный, в парусиновой блузе, подпоясанной широким ремнем, в опорках на голых ногах. Двухцветные волосы его отросли, висели космами, это делало его похожим на монастырского послушника. Лицо обветрело и загорело, на ушах, на носу шелушилась кожа, точно чешуя рыбы, а в глазах сгустилась печаль. Но порою глаза его разгорались незнакомо Климу и внушали ему смутное опасение. Он вел себя с Макаровым осторожно, скрывая свое возмущение бродяжьей неряшливостью его костюма и снисходительную иронию к его надоевшим речам. Макаров ходил пешком по деревням, монастырям, рассказывал об этом, как о путешествии по чужой стране, но о чем бы он ни рассказывал, Клим слышал, что он думает и говорит о женщинах, о любви.

— Ты — что же, изучаешь народ?

— Себя, конечно. Себя, по завету древних мудрецов,— отвечал Макаров.— Что значит — изучать народ? Песни записывать? Девки поют постыднейшую ерунду.

Старики вспоминают какие-то панихиды. Нет, брат, и без песен невесело,— заключал он и, разглаживая пальцами измятую папиросу, которая казалась набитой пылью, продолжал:

— Мне иногда кажется, что толстовцы, пожалуй, правы: самое умное, что можно сделать, это, как сказал Варавка,— возвратиться в дураки. Может быть, настоящая-то мудрость по-собачьи проста и напрасно мы заносимся куда-то?

Клим знал, что на эти вопросы он мог бы ответить только словами Томилина, знакомыми Макарову. Он молчал, думая, что, если б Макаров решился на связь с какой-либо девицей, подобной Рите, все его тревоги исчезли бы. А еще лучше, если б этот лохматый красавец отнял швейку у Дронова и перестал бы вертеться вокруг Лидии. Макаров никогда не спрашивал о ней, но Клим видел, что, рассказывая, он иногда, склонив голову на плечо, смотрит в угол потолка, прислушиваясь.

«Думает — приехала»,— догадывался Клим насмешливо, но и с досадой.

А Макаров задумчиво бормотал:

— Иногда кажется, что понимать — глупо. Я несколько раз ночевал в поле; лежишь на спине, не спится, смотришь на звезды, вспоминая книжки, и вдруг — ударит,— эдак, знаешь, притиснет: а что, если величие и необъятность вселенной только — глупость и чье-то неумение устроить мир понятнее, проще?

— Кажется, это из Томилина,— напомнил Клим.

Макаров подумал, подымил папиросой.

— Всё равно — откуда. Но выходит так, что человек не доступен своему же разуму.

Макаровское недовольство миром раздражало Клима, казалось ему неумной игрою в философа, грубым подражанием Томилину. Он сказал сердито и не глядя на товарища:

— Года через два-три мы перестанем думать об этих...

Он хотел сказать — глупостях или пустяках, но удержался и сказал:

— Так наивно...

Погасив папиросу о подошву своих сандалий, Макаров спросил:

— В дураки пойдем?

Затем, попросив у Клима три рубля, исчез. Посмотрев в окно, как легко и споро он идет по двору, Клим захотел показать ему кулак.

В субботу он поехал на дачу и, подъезжая к ней, еще издали увидел на террасе мать, сидевшую в кресле, а у колонки террасы Лидию в белом платье, в малиновом шарфе на плечах. Он невольно вздрогнул, подтянулся и, хотя лошадь бежала не торопясь, сказал извозчику:

— Тише.

Он даже несколько оробел, когда Лидия, без улыбки пожав его руку, взглянула в лицо его быстрым, неласковым взглядом. За два месяца она сильно изменилась, смуглое лицо ее потемнело еще больше, высокий, немного резкий голос звучал сочней.

— Море вовсе не такое, как я думала,— говорила она матери.— Это просто большая, жидкая скука. Горы — каменная скука, ограниченная небом. Ночами воображаешь, что горы ползут на дома и хотят столкнуть их в воду, а море уже готово схватить дома...

Вера Петровна, посмотрев на дорогу в сторону леса, напомнила:

— Ночами не думают, а спят.

— Там плохо спится, мешает прибой. Камни скрипят, точно зубы. Море чавкает, как миллион свиней...

— Ты всё такая же... нервная,— сказала Вера Петровна; по паузе Клим догадался, что она хотела сказать что-то другое. Он видел, что Лидия стала совсем взрослой девушкой, взгляд ее был неподвижен, можно было подумать, что она чего-то напряженно ожидает. Говорила она несвойственно ей торопливо, как бы желая скорее выговорить всё, что нужно.

— Не понимаю, почему все согласились говорить, что Крым красив.

Упрямство ее, видимо, раздражало мать. Клим заметил, что она поджала губы, а кончик носа ее, покраснев, дрожит.

— Большинство людей только ищет красоту, лишь немногие создают ее,— заговорил он.— Возможно, что в природе совершенно отсутствует красота, так же как в жизни — истина; истину и красоту создает сам человек...

Не дослушав его, Лидия сказала:

— Ты — постарел. То есть — возмужал.

Вера Петровна встала и пошла в комнаты, сказав по пути излишне громко:

— Ты очень оригинально сказал о красоте, Клим...

Оставшись глаз на глаз с Лидией, он удивленно почувствовал, что не знает, о чем говорить с нею. Девушка прошлась по террасе, потом спросила, глядя в лес:

— Отец ушел на охоту?

— Да.

— Один?

— С мужиком. С одним из семи, которых весною губернатор приказал выпороть.

— Да? — спросила Лидия.— Там тоже где-то бунтовали мужики. В них даже стреляли... Ну, я пойду, устала.

Спускаясь с террасы в маленькую рощу тонкоствольных берез, она сказала, не глядя на Клима:

— А Люба взяла место компаньонки у больной туберкулезом девицы.

Ушла в чащу берез, оставив Клима возмущенным ее равнодушием к нему. Он сел в кресло, где сидела мать, взял желтенькую французскую книжку, роман Мопассана «Сильна, как смерть», хлопнул ею по колену и погрузился в поток беспорядочных дум. Конечно, эта девушка не для такой любви, какова любовь Риты. Невозможно представить хрупкое тонкое тело ее нагим и в бурных судорогах. Затем, вспомнив покрасневший нос матери, он вспомнил ее фразы, которыми она в прошлый его приезд на дачу обменялась с Варавкой, здесь, на террасе.

Клим сидел у себя в комнате и слышал, как мать сказала как будто с радостью:

— Бог мой, у тебя начинается лысина.

Варавка ответил:

— А я вот не замечаю седых волос на висках твоих. Мои глаза — вежливее.

— Ты рассердился? — удивленно спросила мать.

— Нет, конечно. Но есть слова, которые не очень радостно слышать от женщины. Тем более от женщины, очень осведомленной в обычаях французской галантности.

— Почему ты не сказал — любимой?

— И любимой,— прибавил Варавка.

Клим вспомнил слова Маргариты о матери и, швырнув книгу на пол, взглянул в рощу. Белая тонкая фигура Лидии исчезла среди берез.

«Интересно: как она встретится с Макаровым? И — поймет ли, что я уже изведал тайну отношений мужчины и женщины? А если догадается — повысит ли это меня в ее глазах? Дронов говорил, что девушки и женщины безошибочно по каким-то признакам отличают юношу, потерявшего невинность. Мать сказала о Макарове: по глазам видно — это юноша развратный. Мать всё чаще начинает свои сухие фразы именем бога, хотя богомольна только из приличия».

Покачиваясь в кресле, Клим чувствовал себя взболтанным и неспособным придумать ничего, что объяснило бы ему тревогу, вызванную приездом Лидии. Затем он вдруг понял, что боится, как бы Лидия не узнала о его романе с Маргаритой от горничной Фени.

«Если б мать не подкупила эту девку, Маргарита оттолкнула бы меня,— подумал он, сжав пальцы так, что они хрустнули.— Редкая мать...»

Лидия вернулась с прогулки незаметно, а когда сели ужинать, оказалось, что она уже спит. И на другой день с утра до вечера она всё как-то беспокойно мелькала, отвечая на вопросы Веры Петровны не очень вежливо и так, как будто она хотела поспорить.

— Ты читала это? — осведомилась Вера Петровна, показывая ей книгу Мопассана.

— Да. Это скучно.

— Разве? Я не нахожу.

— Странная привычка — читать,— заговорила Лидия.— Всё равно как жить на чужой счет. И все друг друга спрашивают: читал, читала, читали?

— Бог знает, что ты говоришь,— заметила Вера Петровна несколько обиженно, а Лидия, усмехаясь, говорила:

— Такая воробьиная беседа. И ведь это же неверно, что любовь «сильна, как смерть».

Тут уж засмеялась Вера Петровна:

— Вот как? Ты — знаешь?

— Я вижу. Любят по пяти раз и — живут.

Клим озабоченно молчал, ожидая, что они поссорятся, и чувствуя, что он робеет пред Лидией.

Поздно вечером он поехал в город. Старенький, разбитый вагон дачного поезда качался и подпрыгивал, точно крестьянская телега. За окном медленно плыл черный поток леса, в небе полыхали зарницы. Клима тревожило предчувствие каких-то неприятностей. В его размышления о себе вторглась странная девушка и властно заставляла думать о ней, а это было трудно. Она не поддавалась его стремлению понять смысл игры ее чувств и мыслей. А необходимо, чтоб она и все люди были понятны, как цифры. Нужно дойти до каких-то твердых границ и поставить себя в них, разоблачив и отбросив по пути все выдумки, мешающие жить легко и просто,— вот что нужно.

Через день Лидия приехала с отцом. Клим ходил с ними по мусору и стружкам вокруг дома, облепленного лесами, на которых работали штукатуры. Гремело железо крыши под ударами кровельщиков; Варавка, сердито встряхивая бородою, ругался и втискивал в память Клима свои всегда необычные словечки.

— Работают, точно гробовщики, наскоро, кое-как.

Ласкаясь к отцу, что было необычно для нее, идя с ним под руку, Лидия говорила:

— Ты, папа, готов целый город выстроить.

— Готов! — согласился Варавка.— Десяток городов выстроил бы. Город — это, милая, улей, в городе скопляется мед культуры. Нам необходимо всосать в города половину деревенской России, тогда мы и начнем жить.

Поболтав с дочерью, с Климом, он изругал рабочих, потом щедро дал им на чай и уехал куда-то, а Лидия

ушла к себе наверх, притаилась там, а за вечерним чаем стала дразнить Таню Куликову вопросами:

— Почему это интересно?

Таня Куликова седела, сохла, линяла, как бы стремясь стать совершенно невидимой.

— Как вы, молодежь, мало читаете, как мало знаете! — сокрушалась она.— Наше поколение...

— Поколение — от глагола поколевать? — спросила Лидия.

Та грубоватость, которую Клим знал в ней с детства, теперь принимала формы, смущавшие его своей резкостью. Говорить с Лидией было почти невозможно, она и ему ставила тот же вопрос:

— А почему это должно быть интересно мне? А зачем это нужно знать?

За чаем, за обедом она вдруг задумывалась и минутами сидела, точно глухонемая, а потом, вздрогнув, неестественно оживлялась и снова дразнила Таню, утверждая, что, когда Катин пишет рассказы из крестьянского быта, он обувается в лапти.

— Это необходимо для вдохновения.

Зорко наблюдая за нею, видя ее нахмуренные брови, сосредоточенно ищущий взгляд темных глаз, слушая слишком бурное исполнение лирической музыки Шопена и Чайковского, Клим догадывался, что она зацепилась за что-то очень раздражающее ее, именно зацепилась, как за куст шиповника.

«Влюблена? — вопросительно соображал он и не хотел верить в это.— Нет, влюбленной она вела бы себя, наверное, не так».

В августе, хмурым вечером, возвратясь с дачи, Клим застал у себя Макарова; он сидел среди комнаты на стуле, согнувшись, опираясь локтями о колени, запустив пальцы в растрепанные волосы; у ног его лежала измятая, выгоревшая на солнце фуражка. Клим отворил дверь тихо, Макаров не пошевелился.

«Пьян»,— подумал Клим и укоризненно сказал: — Хорош!

Макаров, не вынимая пальцев из волос, тяжело поднял голову; лицо его было истаявшее, скулы как будто распухли, белки красные, но взгляд блестел трезво.

— С похмелья? — спросил Клим.

Макаров поднял фуражку, положил ее на колено и прижал локтем и снова опустил голову, додумывая что-то.

Клим спросил, давно ли он возвратился из Москвы, поступил ли в университет,— Макаров пощупал карман брюк своих и ответил негромко:

— Третьего дня. Поступил.

— На медицинский?

— Отстань.

Посидев еще минуту, он встал и пошел к двери не своей походкой, лениво шаркая ногами.

— К ней? — спросил Самгин, указав глазами в потолок. Макаров тоже посмотрел вверх и, схватясь за косяк двери, ответил:

— Нет. Прощай.

Видя, как медленно и неверно он шагает, Клим подумал со смешанным чувством страха, жалости и злорадства:

«Заразился?»

В комнату вбежала Феня, пугливо говоря:

— Барышня просит посмотреть за ним, не пускать его никуда.

Нелепо вытаращив глаза, она пропела:

— Что было-о!

Клим пошел наверх, но встречу по лестнице бежала Лидия, говоря оглушающим шёпотом:

— Зачем ты отпустил его? Зачем?

При свете стенной лампы, скудно освещавшей голову девушки, Клим видел, что подбородок ее дрожит, руки судорожно кутают грудь платком и, наклоняясь вперед, она готова упасть.

— Догони, приведи! — уже кричала она, топая.

Испуганный и как во сне, Клим побежал, выскочил за ворота, прислушался; было уже темно и очень тихо, но звука шагов не слыхать. Клим побежал в сторону той улицы, где жил Макаров, и скоро в сумраке, под липами у церковной ограды, увидал Макарова,— он стоял, держась одною рукой за деревянную балясину ограды, а другая рука его была поднята в уровень

головы, и, хотя Клим не видел в ней револьвера, но, поняв, что Макаров сейчас выстрелит, крикнул:

— Не смей!

Он был уже в двух шагах от Макарова, когда тот произнес пьяным голосом:

— Аллилуйя! И — всё к чёрту...

Клим успел толкнуть его и отшатнулся, испуганный сухим щелчком выстрела, а Макаров, опустив руку с револьвером, тихонько охнул.

Впоследствии, рисуя себе эту сцену, Клим вспоминал, как Макаров покачивался, точно решая, в какую сторону упасть, как, медленно открывая рот, он испуганно смотрел странно круглыми глазами и бормотал:

— Вот... вот и...

Клим обнял его за талию, удержал на ногах и повел. Это было странно: Макаров мешал идти, толкался, но шагал быстро, он почти бежал, а шли до ворот дома мучительно долго. Он скрипел зубами, шептал, присвистывая:

— Оставь, оставь меня.

А на дворе, у крыльца, на котором стояли три женские фигуры, невнятно пробормотал:

— Я знаю — глупо...

Укоризненно покачивая гладкой головою, Таня Куликова слезливо заныла:

— Не стыдно ли...

— Молчи! — приказала Лидия.— Фекла,— за доктором!

И, подхватив Макарова под руку, спросила вполголоса:

— Куда ты выстрелил... гимназист?..

Клим слышал, что спросила она озлобленно, даже с презрением.

У себя в комнате, при огне, Клим увидал, что левый бок блузы Макарова потемнел, влажно лоснится, а со стула на пол капают черные капли. Лидия молча стояла пред ним, поддерживая его падавшую на грудь голову, Таня, быстро оправляя постель Клима, всхлипывала:

— Раздень,— приказала Лидия. Клим подошел, у него кружилась голова от сладкого, жирного запаха.

— Нет, прежде положим на постель,— командовала Лидия. Клим отрицательно мотнул головою, в полуобмороке вышел в гостиную и там упал в кресло.

Когда он, очнувшись, возвратился в свою комнату, Макаров, голый по пояс, лежал на его постели, над ним наклонился незнакомый седой доктор и, засучив рукава, ковырял грудь его длинной, блестящей иглою, говоря:

— Что же это вы, молодежь, всё шалите, стреляете?

На висках, на выпуклом лбу Макарова блестел пот, нос заострился, точно у мертвого, он закусил губы и крепко закрыл глаза. В ногах кровати стояли Феня с медным тазом в руках и Куликова с бинтами, с марлей.

— Пушкины, Лермонтовы стрелялись иначе,— бормотал доктор.

Клим вышел в столовую, там, у стола, глядя на огонь свечи, сидела Лидия, скрестив руки на груди, вытянув ноги.

— Опасно? — спросила она сквозь зубы и не взглянув на Клима.

— Не знаю.

— Доктор, кажется, груб?

Клим не ответил, наливая воду в стакан, а выпив воды, сказал:

— Вот. Из-за тебя уже стреляются.

Лидия тихо, но строго попросила:

— Перестань.

Замолчали, прислушиваясь. Клим стоял у буфета, крепко вытирая руки платком. Лидия сидела неподвижно, упорно глядя на золотое копьецо свечи. Мелкие мысли одолевали Клима. «Доктор говорил с Лидией почтительно, как с дамой. Это, конечно, потому, что Варавка играет в городе всё более видную роль. Снова в городе начнут говорить о ней, как говорили о детском ее романе с Туробоевым. Неприятно, что Макарова уложили на мою постель. Лучше бы отвести его на чердак. И ему спокойней».

Мысли были неуместные, Клим знал это, но ни о чем другом не думалось.

Пришел доктор и, потирая руки, сообщил:

— Н-ну-с, всё благополучно, как только может быть. Револьвер был плохонький; пуля ударилась о ребро,

кажется, помяла его, прошла сквозь левое легкое и остановилась под кожей на спине. Я ее вырезал и подарил храбрецу.

Говоря, он пристально, с улыбочкой, смотрел на Лидию, но она не замечала этого, сбивая наплывы на свече ручкой чайной ложки. Доктор дал несколько советов, поклонился ей, но она и этого не заметила, а когда он ушел, сказала, глядя в угол:

— Ночью дежурить будем я и Таня. Ты иди, спи, Клим.

Клим был рад уйти; он не понимал, как держать себя, что надо говорить, и чувствовал, что скорбное выражение лица его превращается в гримасу нервной усталости.

Пролежав в комнате Клима четверо суток, на пятые Макаров начал просить, чтоб его отвезли домой. Эти дни, полные тяжелых и тревожных впечатлений, Клим прожил очень трудно. В первый же день утром, войдя к больному, он застал там Лидию,— глаза у нее были красные, нехорошо блестели, разглядывая серое, измученное лицо Макарова с провалившимися глазами; губы его, потемнев, сухо шептали что-то, иногда он вскрикивал и скрипел зубами, оскаливая их.

— Бредит,— шёпотом сказала она, махнув рукою на Клима.— Уйди!

Но Клим на минуту задержался в двери и услыхал задыхающийся, хриплый голос:

— Я — не виноват... Я — не могу.

Лидия снова, тоном приказания, повторила:

— Уйди!

К вечеру Макарову стало лучше, а на третий день он, слабо улыбаясь, говорил Климу:

— Извини, брат! Напачкал я тебе тут...

Он был сконфужен, смотрел на Клима из темных ям под глазами неприятно пристально, точно вспоминая что-то и чему-то не веря. Лидия вела себя явно фальшиво и, кажется, сама понимала это. Она говорила пустяки, неуместно смеялась, удивляла необычной для нее развязностью и вдруг, раздражаясь, начинала высмеивать Клима:

— У тебя вкусы старика; только старики и старухи развешивают так много фотографий.

Макаров молчал, смотрел в потолок и казался каким-то новым, чужим. И рубашка на нем была чужая, Климова.

Когда, приехав с дачи, Вера Петровна и Варавка выслушали подробный рассказ Клима, они тотчас же начали вполголоса спорить. Варавка стоял у окна боком к матери, держал бороду в кулаке и морщился, точно у него болели зубы, мать, сидя перед трюмо, расчесывала свои пышные волосы, встряхивая головою.

— Лидия слишком кокетлива,— говорила она.

— Ну, это ты выдумала! Ни тени кокетства.

— Приемы кокетства — различны.

— Знаю, но...

— Макаров распущенный юноша, Клим это знает.

— Ты несправедлива к Лиде...

Клим слушал, не говоря ни слова. Мать говорила всё более высокомерно, Варавка рассердился, зачавкал, замычал и ушел. Тогда мать сказала Климу:

— Лидия — хитрая. В ней я чувствую что-то хищное. Из таких, холодных, развиваются авантюристки. Будь осторожен с нею.

Клим давно знал, что мать не любит Лидию, но так решительно она впервые говорила о ней.

— Я, разумеется, понимаю твои товарищеские чувства, но было бы разумнее отправить этого в больницу. Скандал, при нашем положении в обществе... ты понимаешь, конечно... О, боже мой!

Наверху топал, как слон, Варавка, и был слышен его глухой крик:

— Запрещаю. Ер-рунда!

Затем по внутренней лестнице сбежала Лидия, из окна Клим видел, что она промчалась в сад. Терпеливо выслушав еще несколько замечаний матери, он тоже пошел в сад, уверенный, что найдет там Лидию оскорбленной, в слезах и ему нужно будет утешать ее.

Но она сидела на скамье, у беседки, заложив ногу на ногу, и встретила Клима вопросом:

— Ты не станешь стреляться из-за любви,— нет?

Спросила она так спокойно и грубовато, что Клим подумал:

«Неужели мать права?»

— Как придется,— ответил он, пожав плечами.

— Нет, не станешь! — уверенно повторила она и, как в детстве, предложила:

— Посидим.

Затем, взглянув на него сбоку, она задумчиво произнесла:

— Ты, вероятно, будешь распутный. Я думаю — уже? Да?

Озадаченный Клим не успел ответить,— лицо Лидии вздрогнуло, исказилось, она встряхнула головою и, схватив ее руками, зашептала с отчаянием:

— Как это ужасно! И — зачем? Ну вот родилась я, родился ты — зачем? Что ты думаешь об этом?

Клим приосанился, собираясь говорить много и умно, но она вскочила и пошла прочь, сказав:

— Не надо. Молчи.

Когда она скрылась, Клима потянуло за нею, уже не с тем, чтоб говорить умное, а просто, чтоб идти с нею рядом. Это был настолько сильный порыв, что Клим вскочил, пошел, но на дворе раздался негромкий, но сочный возглас Алины:

— Неужели? Ага, я говорила...

Клим постоял, затем снова сел, думая: да, вероятно, Лидия, а может быть, и Макаров знают другую любовь, эта любовь вызывает у матери, у Варавки, видимо, очень ревнивые и завистливые чувства. Ни тот, ни другая даже не посетили больного. Варавка вызвал карету «Красного Креста», и, когда санитары, похожие на поваров, несли Макарова по двору, Варавка стоял у окна, держа себя за бороду. Он не позволил Лидии проводить больного, а мать, кажется, нарочно ушла из дома.

На дворе Макаров сразу посветлел, оживился и, глядя в прозрачное, холодноватое небо, тихо сказал:

— Бесподобно.

Лежа в карете, морщась от сильных толчков, он погладил правою рукой колено Клима.

— Ну, брат, спасибо тебе. А кровопускание это, пожалуй, полезно, успокаивает.

И слабо усмехнулся, добавив:

— Только ты — не пробуй: больно да и стыдно немножко.

Он закрыл глаза, и, утопув в темных ямах, они сделали лицо его более жутко слепым, чем оно бывает у слепых от рождения. На заросшем травою маленьком дворике игрушечного дома, кокетливо спрятавшего свои три окна за палисадником, Макарова встретил уродливо высокий, тощий человек с лицом клоуна, с метлой в руках. Он бросил метлу, подбежал к носилкам, переломился над ними и смешным голосом заговорил, толкая санитаров, Клима:

— Эх, Костя, ай-яй-ай! Когда нам Лидия Тимофеевна сказала, мы так и обмерли. Потом она обрадовала нас, неопасно, говорит. Ну, слава богу! Сейчас же всё вымыли, вычистили. Мамаша! — закричал он и, схватив длинными пальцами локоть Клима, представился:

— Злобин, Петр, почтово-телеграфный, очень рад.

Из двери сарайчика вылезла мощная, краснощекая старуха в сером платье, похожем на рясу, с трудом нагнулась, поцеловала лоб Макарова и прослезилась, ворчливо говоря:

— Ну и дурачок!

Клим почувствовал себя умиленным. Забавно было видеть, что такой длинный человек и такая огромная старуха живут в игрушечном домике, в чистеньких комнатах, где много цветов, а у стены на маленьком овальном столике торжественно лежит скрипка в футляре. Макарова уложили на постель в уютной солнечной комнате, Злобин неуклюже сел на стул и говорил:

— А я, знаешь, по этому случаю, даже разрешил себе пьеску разучить «Сувенир де Вильна» — очень милая! Три вечера зудел.

Курносый, голубоглазый, подстриженный ежиком и уже полуседой, он казался Климу всё более похожим на клоуна. А грузная его мамаша, покачиваясь, коровой ходила из комнаты в комнату, снося на стол перед постелью Макарова графины, стаканы,— ходила и ворчала:

— Ну и — что хорошего? Издеваетесь над собою, молодые люди, а потом скучать будете.

Она предложила Климу чаю, Клим вежливо отказался, пожал руку Макарову, который, молча улыбаясь, смотрел на Злобиных.

— Приходи, пожалуйста,— попросил Макаров, Злобины в один голос повторили:

— Пожалуйста.

Клим вышел на улицу, и ему стало грустно. Забавные друзья Макарова, должно быть, крепко любят его, и жить с ними — уютно, просто. Простота их заставила его вспомнить о Маргарите — вот у кого он хорошо отдохнул бы от нелепых тревог этих дней. И, задумавшись о ней, он вдруг почувствовал, что эта девушка незаметно выросла в глазах его, но выросла где-то в стороне от Лидии и не затемняя ее.

Когда в линию его размышлений вторгалась Лидия, он уже не мог думать ни о чем, кроме нее. В сущности, он и не думал, а стоял пред нею и рассматривал девушку безмысленно, так же как иногда смотрел на движение облаков, течение реки. Облака и волны, стирая, смывая всякие мысли, вызывали у него такое же бездумное, немотное настроение полугипноза, как эта девушка. Но, когда он видел ее пред собою не в памяти, а во плоти, в нем возникал почти враждебный интерес к ней; хотелось следить за каждым ее шагом, знать, что она думает, о чем говорит с Алиной, с отцом, хотелось уличить ее в чем-то.

Через несколько дней Лидия мимоходом, но задорно, как показалось Климу, спросила его:

— Почему ты не зайдешь к Макарову?

Он сказал, что очень расстроен отношением к нему педагогического совета, часть членов его, не решаясь выдать ему аттестат зрелости, требует переэкзаменовки.

— Ну, Ржига устроит это,— небрежно сказала Лидия, а затем, прищурив глаза, тихонько посмеялась и прибавила:

— Не заставляй думать, будто ты сожалеешь о том, что помешал товарищу убить себя.

Она ушла, прежде чем он успел ответить ей. Конечно, она шутила, это Клим видел по лицу ее. Но и в форме шутки ее слова взволновали его. Откуда, из каких наблюдений могла родиться у нее такая оскорбительная

мысль? Клим долго, напряженно искал в себе: являлось ли у него сожаление, о котором догадывается Лидия? Не нашел и решил объясниться с нею. Но в течение двух дней он не выбрал времени для объяснения, а на третий пошел к Макарову, отягченный намерением, не совсем ясным ему.

На пороге одной из комнаток игрушечного дома он остановился с невольной улыбкой: у стены, на диване, лежал Макаров, прикрытый до груди одеялом, расстегнутый ворот рубахи обнажал его забинтованное плечо; за маленьким круглым столиком сидела Лидия; на столе стояло блюдо, полное яблок; косой луч солнца, проникая сквозь верхние стекла окон, освещал алые плоды, затылок Лидии и половину горбоносого лица Макарова. В комнате было душисто и очень жарко, как показалось Климу. Больной и девушка ели яблоки.

— Райское занятие,— пробормотал Клим.

— Третьим в раю был дьявол,— тотчас сказала Лидия и немножко отодвинулась от дивана вместе со стулом, а Макаров, пожимая руку Клима, подхватил ее шутку:

— Самгин больше похож на Фауста, чем на Мефистофеля.

Обе шутки не понравились Климу, заставив его насторожиться, а Макаров и Лидия, легко перебрасываясь шуточками, всё чаще задевали его. Он отшучивался неловко, смущенно, ему казалось, что в их словах он слышит досаду и раздражение людей, которым помешали. В нем поднималась обида на них и еще какое-то унылое чувство. Человек, которому он помешал убить себя, был слишком весел и стал даже красивее. Бледность лица выгодно подчеркивала горячий блеск его глаз, тень на верхней губе стала гуще, заметней, и вообще Макаров в эти несколько дней неестественно возмужал. Он даже говорил хотя и слабым, но более низким голосом. Лидия держалась с ним неприятно просто, без высокомерия и заносчивости, обычных для нее. И хотя Клим заметил, что и к нему она сегодня добрее, чем всегда, но это тоже было обидно.

— Как мило здесь, не правда ли? — обратилась она к Самгину, сделав круг рукою.

Клим ответил:

— Обычно, как у мещан.

— Подумайте, какой аристократ,— сказал Макаров, пряча лицо от солнца. Лидия тоже улыбнулась, а Клим быстро представил себе ее будущее: вот она замужем за учителем гимназии Макаровым, он — пьяница, конечно; она, беременная уже третьим ребенком, ходит в ночных туфлях, рукава кофты засучены до локтей, в руках грязная тряпка, которой Лидия стирает пыль, как горничная, по полу ползают красноздые младенцы и пищат. Эта быстро возникшая картина несколько приподняла его угнетенное настроение, но в дверь заглянула старуха Злобина, приглашая:

— Чай кушать прошу! Сегодня ваши любимые лепешки, Лидия Тимофеевна!

Лидия подбежала к ней, заговорила, гладя тоненькими пальцами седую прядь волос, спустившуюся на багровую щеку старухи. Злобина тряслась, басовито посмеиваясь. Клим не слушал, что говорила Лидия, он только пожал плечами на вопрос Макарова:

— Ты чего смотришь сычом?

«Вот как? — думал он.— Значит, она давно и часто ходит сюда, она здесь — свой человек? Но почему же Макаров стрелялся?»

С неотразимой навязчивостью вертелась в голове мысль, что Макаров живет с Лидией так, как сам он жил с Маргаритой, и, посматривая на них исподлобья, он мысленно кричал:

«Лгуны. Фальшивые люди».

Рядом с ним сидел Злобин, толкал его костлявым плечом и говорил,что он любит только музыку и мамашу.

— Из-за этой любви я и не женился, потому что, знаете, третий человек в доме — это уже помеха! И — не всякая жена может вынести упражнения на скрипке. А я каждый день упражняюсь. Мамаша так привыкла, что уж не слышит...

Клим ушел от этих людей в состоянии настолько подавленном, что даже не предложил Лидии проводить ее. Но она сама, выбежав за ворота, остановила его, попросив ласково, с хитренькой улыбкой в глазах:

— Ты не говори дома, что я была здесь,— хорошо?

Он утвердительно кивнул головою. Домой идти не хотелось, он вышел на берег реки и, медленно шагая, подумал:

«Надо курить; говорят, это успокаивает».

За рекою, над гладко обритой землей, опрокинулась получашей розоватая пустота, напоминая почему-то об игрушечном, чистеньком домике, о людях в нем.

«Как глупо всё!»

Дома он застал Варавку и мать в столовой, огромный стол был закидан массой бумаг, Варавка щелкал косточками счет и жужжал в бороду:

— Ж-жулики.

Мать быстро списывала какие-то цифры с однообразных квадратиков бумаг на большой чистый лист, пред нею стояло блюдо с огромным арбузом, пред Варавкой — бутылка хереса.

— Ну, что твой стрелок? — спросил Варавка. Выслушав ответ Клима, он недоверчиво осмотрел его, налил полный фужер вина, благочестиво выпил половину, облизал свою мясную губу и заговорил, откинувшись на спинку стула, пристукивая пальцем по краю стола:

— Мир делится на людей умнее меня — этих я не люблю — и на людей глупее меня — этих презираю.

Мать, испытующе взглянув на него, спросила:

— Почему ты это... вдруг?

— По необходимости,— ответил Варавка, поддев вилкой кубический кусок арбуза и отправив его в рот.— Но есть еще категория людей, которых я боюсь,— продолжал он звонко и напористо.— Это — хорошие русские люди, те, которые веруют, что логикой слов можно влиять на логику истории. Я тебе, Клим, дружески советую: остерегайся верить хорошему русскому человеку. Это — очень милый человек, да! Поболтать с ним о будущем — наслаждение. Но настоящего он совершенно не понимает. И не видит, как печальна его роль ребенка, который, мечтательно шагая посредине улицы, будет раздавлен лошадьми, потому что тяжелый воз истории везут лошади, управляемые опытными, но неделикатными кучерами. Хорошие наши люди в этом деле — ни при чем. В лучшем случае они служат лепкой на фасаде воздвигае-

мого здания, но так как здание еще только воздвигается, то...

Мать строптиво прервала его речь:

— Однако вспомни, что Христос...

— Явление тоже преждевременное, а потому — вредное,— продолжал Варавка, отбивая толстым пальцем такт речи.— Так называемая христианская культура — нечто подобное радужному пятну нефти на широкой мутной реке. Культура — это пока: книжки, картинки, немного музыки и очень мало науки. Культурность небольшой кучки людей, именующих себя «солью земли», «рыцарями духа» и так далее, выражается лишь в том, что они не ругаются вслух матерно и с иронией говорят о ватерклозете. Все живущие «во Христе» глубоко антикультурны в моем смысле понятия культуры. Культура — это, дорогая моя, любовь к труду, но такая же неукротимо жадная, как любовь к женщине...

Варавка, торопливо закурив папиросу, всё говорил, говорил, извергая синий дым. Сафьяновая кожа его лба красновато лоснилась, острые глазки возбужденно сверкали, дымилась лисья борода, и слова его тоже как будто дымились.

Климу давно и хорошо знакомы были припадки красноречия Варавки, они особенно сильно поражали его во дни усталости от деловой жизни. Клим видел, что с Варавкой на улицах люди раскланиваются всё более почтительно, и знал, что в домах говорят о нем всё хуже, злее. Он приметил также странное совпадение: чем больше и хуже говорили о Варавке в городе, тем более неукротимо и обильно он философствовал дома.

Сегодня припадок был невыносимо длителен. Варавка даже расстегнул нижние пуговицы жилета, как иногда он делал за обедом. В бороде его сверкала красная улыбка, стул под ним потрескивал. Мать слушала, наклонясь над столом и так неловко, что девичьи груди ее лежали на краю стола. Климу было неприятно видеть это.

— Позволь, позволь,— кричал ей Варавка,— но ведь эта любовь к людям,— кстати сказать, выдуманная нами, противная природе нашей, которая жаждет

не любви к ближнему, а борьбы с ним,— эта несчастная любовь ничего не значит и не стоит без ненависти, без отвращения к той грязи, в которой живет ближний! И, наконец, не надо забывать, что духовная жизнь успешно развивается только на почве материального благополучия.

Прислушиваясь к себе, Клим ощущал в груди, в голове тихую, ноющую скуку, почти боль; это было новое для него ощущение. Он сидел рядом с матерью, лениво ел арбуз и недоумевал: почему все философствуют? Ему казалось, что за последнее время философствовать стали больше и торопливее. Он был обрадован весною, когда под предлогом ремонта флигеля писателя Катина попросили освободить квартиру. Теперь, проходя по двору, он с удовольствием смотрел на закрытые ставнями окна флигеля.

Нередко ему казалось, что он до того засыпан чужими словами, что уже не видит себя. Каждый человек, как бы чего-то боясь, ища в нем союзника, стремится накричать в уши ему что-то свое; все считают его приемником своих мнений, зарывают его в песок слов. Это — угнетало, раздражало. Сегодня он был именно в таком настроении.

Вошла Феня и доложила, что пришел подрядчик.

— Ага! — сердито вскричал Варавка и, вскочив на ноги, ушел тяжелой, но быстрой походкой медведя. Клим тоже встал, но мать, взяв его под руку, повела к себе, спрашивая:

— Тебя, очевидно, очень взволновала эта история с Лидией?

Вполголоса, скучно повторяя знакомые Климу суждения о Лидии, Макарове и явно опасаясь сказать что-то лишнее, она ходила по ковру гостиной, сын молча слушал ее речь — человека, уверенного, что он говорит всегда самое умное и нужное, и вдруг подумал: а чем отличается любовь ее и Варавки от любви, которую знает, которой учит Маргарита?

Он тотчас понял всю тяжесть, весь цинизм такого сопоставления, почувствовал себя виновным пред матерью, поцеловал ее руку и, не глядя в глаза, попросил ее:

— Не беспокойся, мама! И — прости, я так устал.

Она тоже очень крепко поцеловала его в лоб, сказав:

— Я понимаю, что с твоей исключительной вдумчивостью тебе трудно.

У себя в комнате, сбросив сюртук, он подумал, что хорошо бы сбросить вот так же всю эту вдумчивость, путаницу чувств и мыслей и жить просто, как живут другие, не смущаясь говорить все глупости, которые подвернутся на язык, забывать все премудрости Томилина, Варавки... И забыть бы о Дронове.

Он плохо спал, встал рано, чувствуя себя полубольным, пошел в столовую пить кофе и увидал там Варавку, который, готовясь к битве дня, грыз поджаренный хлеб, запивая его портвейном.

— Слушай,— сказал он, сдвинув брови, тихо, не выпуская руки Клима из своей и этим заставив юношу ожидать неприятности.— Вчера, не желая волновать Веру, я не хотел, да и времени не нашел сообщить тебе о Дронове. Мировой судья Козмин, не зная, что этот индивидуй уже не служит у меня, предупредил, что Дронов присвоил книжку сберегательной кассы какой-то девицы и на него подана жалоба. Тут какая-то хитрая история. Но, хотя судья выразился «присвоил», однако ясно, что дело идет о краже, да еще и не подсудной мировому, потому что — кража свыше трехсот рублей. Значит — окружный суд. Ты в каких отношениях с этим парнем? Ага, разошелся? Я очень рад.

Клим тоже обрадовался и, чтобы скрыть это, опустил голову. Ему послышалось, что в нем тоже прозвучало торжествующее «Ага!», вспыхнула, как спектр, полоса разноцветных мыслишек и среди них мелькнула линия сочувствия Маргарите. Варавка, должно быть, поняв его радость как испуг, сказал несколько утешительных афоризмов:

— Ну, что же,— за порядочность человека никогда нельзя ручаться. Мы выбираем друзей небрежнее, чем ботинки. Заметь, что человек без друзей— более человек.

Он самодовольно закончил:

— Я — не имею друзей.

Тут чувство благодарности за радость толкнуло Клима сказать ему, что Лидия часто бывает у Макарова. К его удивлению, Варавка не рассердился, он только опасливо взглянул в сторону комнат матери и негромко сказал:

— Да, да. Я знаю. Романтизм, чёрт его возьми! Хотя романтизм все-таки, знаешь, лучше...

Сделав правой рукою неопределенный жест, он сунул под мышку толстый портфель и спросил тихонько:

— Ты матери не говорил об этом? Нет? И не говори, прошу. Они и без этого не очень любят друг друга. Я— пошел.

Но как только он исчез — исчезла и радость Клима, ее погасило сознание, что он поступил нехорошо, сказав Варавке о дочери. Тогда он, вообще не способный на быстрые решения, пошел наверх, шагая через две ступени.

Лидия, непричесанная, в оранжевом халатике, в туфлях на босую ногу, сидела в углу дивана с тетрадью нот в руках. Не спеша прикрыв голые ноги полою халата, она, неласково глядя на Клима, спросила:

— Что случилось? Почему у тебя такое лицо?

Он присел на край дивана и сразу, как будто опасаясь, что не скажет того, что хочет, сказал:

— Прости меня, но я нечаянно проговорился...

Лидия, бросив ноты на колени себе, остановила его:

— Знаю. Я так и думала, что скажешь отцу. Я, может быть, для того и просила тебя не говорить, чтоб испытать: скажешь ли? Но я вчера сама сказала ему. Ты — опоздал.

И в голосе ее и в глазах было нечто глубоко обидное. Клим молчал, чувствуя, что его раздувает злость, а девушка недоуменно, печально говорила:

— Не понимаю я тебя. Ты кажешься порядочным, но... как-то всё прыгаешь к плохому. Что это значит?

В словах ее Клим чувствовал брезгливость, он вскочил с дивана, и с невероятной быстротою между ними разыгралась ссора. Клим сказал тоном старшего:

— Это значит, что в твоем поведении я не вижу ничего хорошего...

— Как ты смешон,— ответила девушка, отодвигаясь в угол дивана, подобрав под себя ноги.

— Твой роман с Макаровым...

Лидия изумленно, гневно, широко раскрыв глаза, заговорила вполголоса:

— Мое поведение? Роман? Ты — смеешь, ты, мальчишка? Ты воображаешь...

Она задохнулась, видимо, не в силах выговорить какое-то слово, ее смуглое лицо покраснело и даже вспухло, на глазах показались слезы; перекинув легкое тело свое на колени, она шептала:

— Ты думаешь...

Клим вдруг испугался ее гнева, он плохо понимал, что она говорит, и хотел только одного: остановить поток ее слов, всё более резких и бессвязных. Она уперлась пальцем в лоб его, заставила поднять голову и, глядя в глаза, спросила:

— Неужели ты серьезно думаешь, что я... что мы с Макаровым в таких отношениях? И не понимаешь, что я не хочу этого... что из-за этого он и стрелял в себя? Не понимаешь?

Клим чувствовал на коже лба своего острый толчок пальца девушки, и ему казалось, что впервые за всю жизнь он испытывает такое оскорбление. Говорила Лидия что-то глупенькое и детское, но вела себя, как взрослая, как дама. Он смотрел в ее серьезное лицо, в печальные глаза, ему хотелось сказать ей очень злые слова, но они не сползали с языка. Так, молча, он и ушел к себе, а там, чувствуя горькую сухость во рту и бессвязный шум злых слов в голове, встал у окна, глядя, как ветер обрывает листья с деревьев. В стекле он видел отражение своего лица, и, хотя черты расплылись, оно все-таки напоминало сухое и важное лицо матери.

Со всей решимостью, на какую Клим был способен в этот момент, он спросил себя: что настоящее, невыдуманное в его чувствах к Лидии? Не без труда и не скоро он распутал тугой клубок этих чувств: тоскливое ощущение утраты чего-то очень важного, острое недовольство собою, желание отомстить Лидии за обиду, половое любопытство к ней и рядом со всем этим напряжен-

ное желание убедить девушку в его значительности, а за всем этим явилась уверенность, что в конце концов он любит Лидию настоящей любовью, именно той, о которой пишут стихами и прозой и в которой нет ничего мальчишеского, смешного, выдуманного.

Он облегченно вздохнул, продолжая размышлять: если б Лидия любила Макарова, она, из чувства благодарности, должна бы изменить свое высокомерное отношение к человеку, который спас жизнь ее возлюбленного. Но он не слышал от нее ни слова благодарности. Это — странно. Сегодня она сказала нечто непонятное: Макаров стрелялся из страха пред любовью, так надо понять ее слова. Но вернее, что этот страх живет в самой Лидии. Клим быстро вспомнил ряд признаков, которые убедили его, что это так и есть: Лидия боится любви, она привила свой страх Макарову и поэтому виновна в том, что заставила человека покуситься на жизнь свою. Додуматься до этого было приятно; просмотрев еще раз ход своих мыслей, Клим поднял голову и даже усмехнулся, что он — крепкий человек и умеет преодолевать неприятности быстро.

Он решил держаться с Лидией великодушно, как наиболее редкие и благородные герои романов, те, которые, любя, прощают всё. Уже второй раз приходилось ему становиться в эту позицию. Но на этот раз он скоро понял, что такая роль делает его еще менее заметным в глазах Лидии. Рассматривая себя в зеркале, он видел, что лирическая, грустная мина делает его лицо незначительным. Он вообще был недоволен своим лицом, находя черты его мелкими, не отражающими всю сложность его души. Близорукость заставляла его щуриться, зрачки, сквозь стекла очков, казались неприятно расширенными. Не нравился нос, прямой и сухонький, он был недостаточно велик, губы — тонки, подбородок — излишне остр, усы росли двумя светлыми кустиками только на углах губ. Когда он хмурился, сдвигал негустые брови, лицо становилось интересней и умнее. От лирической мины пришлось отказаться.

Он стал читать Лермонтова, крепкая горечь этих стихов казалась ему полезной, он всё чаще цитировал наиболее едкие строки мрачного поэта.

Он пробовал также говорить с Лидией, как с девочкой, заблуждения которой ему понятны, хотя он и считает их несколько смешными. При матери и Варавке ему удавалось выдержать этот тон, но, оставаясь с нею, он тотчас терял его.

Лидия уезжала в Москву, но собиралась не спеша, неохотно. Слушая беседы Варавки с матерью Клима, она рассматривала их, точно людей незнакомых, испытующим взглядом и, очевидно, не соглашаясь с тем, что слышит, резко встряхивала головою в шапке курчавых волос.

Макаров, выздоровев, уже уехал в университет, он сделал это несколько подозрительно торопливо; прощаясь с Климом, крепко стиснул руку его, но сказал только два слова:

— Спасибо, брат.

После его отъезда Самгину показалось, что Лидия стала еще заметнее избегать встреч с ним глаз на глаз. В глазах ее застыло что-то монашески унылое и сердитое, но казалось, что она теперь более ребенок, чем была несколько недель тому назад. Клим заметил, что с матерью его она стала говорить не так сухо и отчужденно, как раньше, а мать тоже — мягче с нею. Было что-то тревожное в том, что она иногда приходит в комнату матери и они сидят там, тихо разговаривая. Около полуночи, после скучной игры с Варавкой и матерью в преферанс, Клим ушел к себе, а через несколько минут вошла мать уже в лиловом капоте, в ночных туфлях, села на кушетку и озабоченно заговорила, играя кистями пояса:

— За лето ты как-то поблек, стал вялым и вообще не похож на себя.

Он молчал, пощипывая кустики усов, догадываясь, что это — предисловие к серьезной беседе, и — не ошибся. С простотою, почти грубоватой, мать, глядя на него всегда спокойными глазами, сказала, что она видит его увлечение Лидией. Чувствуя, что он густо покраснел, Клим спросил, усмехаясь:

— Ты не ошибаешься?

Как бы не услыхав его вопроса, она учительно продолжала:

— Любовь в твоем возрасте — это еще не та любовь, которая... Это еще не любовь, нет!

Помолчав несколько секунд, она вздохнула.

— Я обвенчалась с отцом, когда мне было восемнадцать лет, и уже через два года поняла, что это — ошибка.

Она снова замолчала, сказав, видимо, не то, что хотелось, а Клим, растерянно ловя отдельные фразы, старался понять: чем возмущают его слова матери?

— Мое отношение к ее отцу...— слышал он, соображая, какими словами напомнить ей, что он уже взрослый человек. И вдруг сказал небрежно, нахмурясь:

— Я отношусь к Лиде дружески, и, естественно, меня несколько пугает ее история с Макаровым, человеком, конечно, не достойным ее. Быть может, я говорил с нею о нем несколько горячо, несдержанно. Я думаю, что это — всё, а остальное — от воображения.

Говоря так, он был уверен, что не лжет, и находил, что говорит хорошо. Ему показалось, что нужно прибавить еще что-нибудь веское, он сказал:

— Ты знаешь: существует только человек, всё же остальное — от его воображения. Это, кажется, Протагор...

Чуть прищурив глаза, мать отозвалась:

— Это не совсем так, но очень умно. Прекрасная память у тебя. И, конечно, ты прав: девушки всегда забегают несколько вперед, воображая неизбежное. Ты успокоил меня. Я и Тимофей так дорожим отношениями, которые создались и всё крепнут между нами...

Клим наклонил голову, смущенный откровенным эгоизмом матери, поняв, что в эту минуту она только женщина, встревоженная опасением за свое счастье.

Он спросил:

— Мне кажется, ты стала добрее с Лидой?

— Мой взгляд ты знаешь, он не может измениться,— ответила мать, вставая и поцеловав его.— Спи!

Ушла, оставив за собой раздражающий запах крепких духов и легкую усмешку на губах сына.

Беседы с нею всегда утверждали Клима в самом себе, утверждали не столько словами, как ее непоколебимо уверенным тоном. Послушав ее, он находил, что

всё, в сущности, очень просто и можно жить легко, уютно. Мать живет только собою и — не плохо живет. Она ничего не выдумывает.

Разумеется, кое-что необходимо выдумывать, чтоб подсолить жизнь, когда она слишком пресна, подсластить, когда горька. Но — следует найти точную меру. И есть чувства, раздувать которые — опасно. Такова, конечно, любовь к женщине, раздутая до неудачных выстрелов из плохого револьвера. Известно, что любовь — инстинкт, так же как голод, жажда, стыд, но — кто же убивает себя от голода или жажды или потому, что у него нет брюк?

В минуты таких размышлений наедине с самим собою Клим чувствовал себя умнее, крепче и своеобразней всех людей, знакомых ему. И в нем постепенно зарождалось снисходительное отношение к ним, не чуждое улыбчивой иронии, которой он скрытно наслаждался. Уже и Варавка порою вызывал у него это новое чувство, хотя он и деловой человек, но все-таки чудаковатый болтун.

Клим получил наконец аттестат зрелости и собирался ехать в Петербург, когда на его пути снова встала Маргарита. Туманным вечером он шел к Томилину прощаться, и вдруг с крыльца неприглядного купеческого дома сошла на панель женщина,— он тотчас признал в ней Маргариту. Встреча не удивила его, он понял, что должен был встретить швейку, он ждал этой случайной встречи, но радость свою он, конечно, скрыл.

Осторожно перекинулись незначительными фразами. Маргарита напомнила ему, что он поступил с нею невежливо. Шли медленно, она смотрела на него искоса, надув губы, хмурясь; он старался говорить с нею добродушно, заглядывал в глаза ее ласково и соображал: как внушить ей, чтоб она пригласила его к себе?

Его тянуло к ней и желание еще раз испытать ее ласки и одна внезапно вспыхнувшая важная идея. Когда он сочувственно спросил ее о Дронове, она возразила:

— Ничего подобного, он вовсе не украл книжку.

И спокойно, кратко поведала:

— Сам он стыдился копить деньги и складывал их в сберегательную кассу по моей книжке. А когда мы поссорились...

— Из-за чего?

— Ну, из-за чего ссорятся мужчины с женщинами? Из-за мужчин, из-за женщин, конечно. Он стал просить у меня свои деньги, а я пошутила, не отдала. Тогда он стащил книжку, и мне пришлось заявить об этом мировому судье. Тут Ванька отдал мне книжку; вот и всё.

На углу темненького, забитого туманом переулка она предложила:

— Зайдешь? Я на новой квартире живу. Чаю выпьем.

В тесной комнатке, ничем не отличавшейся от прежней, знакомой Климу, он провел у нее часа четыре. Целовала она как будто жарче, голоднее, чем раньше, но ласки ее не могли опьянить Клима настолько, чтоб он забыл о том, что хотел узнать. И, пользуясь моментом ее усталости, он, издали подходя к желаемому, спросил ее о том, что никогда не интересовало его:

— Как ты жила?

Вопрос удивил ее.

— Жила, как все.

Но Клим расспрашивал настойчиво, тогда она немножко отодвинулась от него и, зевнув, перекрестя рот, сказала:

— Жила, как все девушки, вначале ничего не понимала, потом поняла, что вашего брата надобно любить, ну и полюбила одного, хотел он жениться на мне, да— раздумал.

Сказав это спокойно и беззлобно, она закрыла глаза, а Клим, гладя ее щеку, шею и плечо, поставил, очень ласково, свой главный вопрос:

— А как ты стала женщиной?..

— Тем же порядком, как все,— ответила женщина, двинув плечом и не открывая глаз.

— Ты — боялась?

— Чего это?

— В первый раз... в первую ночь?

Подумав, как бы вспоминая, Маргарита облизала губы.

— Это было днем, а не ночью; в день Всех святых, на кладбище.

Открыв глаза, она стала сбрасывать волосы, осыпавшие ее уши, щеки. В жестах ее Клим заметил нелепую торопливость. Она злила, не желая или не умея познакомить его с вопросом практики, хотя Клим не стеснялся в словах, ставя эти вопросы.

— Очень обыкновенно,— закружится голова, вот и — прощай девушка.

Кроме этого, она ничего не сказала о технике и доброжелательно начала знакомить его с теорией. Чтоб удобнее было говорить, она даже села на постели.

— Слышала я, что товарищ твой стрелял в себя из пистолета. Из-за девиц, из-за баб многие стреляются. Бабы подлые, капризные. И есть у них эдакое упрямство... не могу сказать какое. И хорош мужчина и нравится, а — не тот. Не потому не тот, что беден или некрасив, а — хорош, да — не тот!

Заплетая волосы в косу, она говорила всё более задумчиво:

— Жениться будешь — выбирай девушку с характером; они, которые характерные,— глупые, они — виднее, сами себя выговаривают. А тихоньких, скромненьких — опасайся, такие обманывают в час — два раз.

Лицо ее вдруг изменилось: зрачки глаз сузились, точно у кошки, на желтоватые белки легла тень ресниц, она присматривалась к чему-то как бы чужими глазами и мстительно вспоминая. Климу показалось, что раньше она говорила о женщинах не так злостно, а как о дальних родственницах, от которых она не ждет ничего, ни хорошего, ни дурного; они не интересны ей, полузабыты ею. И, слушая ее, он еще раз опасливо подумал, что все знакомые ему люди как будто сговорились в стремлении опередить его; все хотят быть умнее его, непонятнее ему, хитрят и прячутся в словах. Пожалуй — именно непонятнее хотят они быть, боясь, что Клим Самгин быстро разгадает их.

А Маргарита говорила:

— Мне даже не верится, что были святые женщины, наверно, это старые девы — святые-то, а может, нетронутые девицы.

Слушая сквозь свои думы болтовню Маргариты, Клим еще ждал, что она скажет ему, чем был побежден страх ее, девушки, пред первым любовником. Как-то странно, вне и мимо его, мелькнула мысль: в словах этой девушки есть нечто общее с бойкими речами Варавки и даже с мудрыми глаголами Томилина.

Устав, наконец, слушать ее, Клим скучно сказал:

— Ты сегодня в философском настроении.

Маргарита, быстро оглянув себя, спросила:

— В чем?

А когда он объяснил свои слова, она сказала:

— Ой, а мне подумалось, что ты кровь увидал; у меня пора кровям быть...

Брезгливо вздрогнув, Клим соскочил с кровати. Простота этой девушки и раньше изредка воспринималась им как бесстыдство и нечистоплотность, но он мирился с этим. А теперь ушел от Маргариты с чувством острой неприязни к ней и осуждая себя за этот бесполезный для него визит. Был рад, что через день уедет в Петербург. Варавка уговорил его поступить в институт инженеров и устроил всё, что было необходимо, чтоб Клима приняли.

Ночь была холодно-влажная, черная; огни фонарей горели лениво и печально, как бы потеряв надежду преодолеть густоту липкой тьмы. Климу было тягостно и ни о чем не думалось. Но вдруг снова мелькнула и оживила его мысль о том, что между Варавкой, Томилиным и Маргаритой чувствуется что-то сродное, все они поучают, предупреждают, пугают, и как будто за храбростью их слов скрывается боязнь. Пред чем, пред кем? Не пред ним ли, человеком, который одиноко и безбоязненно идет в ночной тьме?

ГЛАВА 3

О Петербурге у Клима Самгина незаметно сложилось весьма обычное для провинциала неприязненное и даже несколько враждебное представление: это город, не похожий на русские города, город черствых, недоверчивых и очень проницательных людей; эта голова ог-

ромного тела России наполнена мозгом холодным и злым. Ночью, в вагоне, Клим вспоминал Гоголя, Достоевского.

Он приехал в столицу, решив держаться с людями осторожно, уверенный, что они тотчас же начнут испытывать, изучать его, заражать своими верованиями.

Густой туман окутывал город, и хотя было не более трех часов пополудни, Невский проспект пытались осветить радужные пузыри фонарей, похожих на гигантские одуванчики. Липкая сырость увлажняла кожу лица, ноздри щекотал горьковатый запах дыма. Клим согнул шею, приподнял плечи, посматривая направо и налево в мокрые стекла магазинов, освещенных внутри так ярко, как будто в них торговали солнечными лучами летних дней. Непривычен был подавленный шум города, слишком мягки и тупы удары лошадиных копыт по деревянной мостовой, шорох резиновых и железных шин на колесах экипажей почти не различался по звуку, голоса людей звучали тоже глухо и однообразно. Странно было не слышать цоканья подков по булыжнику, треска и дребезга пролеток, бойких криков разносчиков. И нет колокольного звона.

По панелям, смазанным жидкой грязью, люди шагали чрезмерно торопливо и были неестественно одноцветны. Каменные и тоже одноцветные серые дома, не разъединенные заборами, тесно прижатые один к другому, являлись глазу как единое и бесконечное здание. Его нижний этаж, ярко освещенный, приплюснут к земле и вдавлен в нее, а верхние, темные, вздымались в серую муть, за которой небо не чувствовалось.

Среди этих домов люди, лошади, полицейские были мельче и незначительнее, чем в провинции, были тише и покорнее. Что-то рыбье, ныряющее заметил в них Клим, казалось, что все они судорожно искали, как бы поскорее вынырнуть из глубокого канала, полного водяной пылью и запахом гниющего дерева. Небольшими группами люди останавливались на секунды под фонарями, показывая друг другу из-под черных шляп и зонтиков желтые пятна своих физиономий.

Быстрая походка людей вызвала у Клима унылую мысль: все эти сотни и тысячи маленьких воль, встре-

чаясь и расходясь, бегут к своим целям, наверное — ничтожным, но ясным для каждой из них. Можно было вообразить, что горьковатый туман — горячее дыхание людей и всё в городе запотело именно от их беготни. Возникала боязнь потерять себя в массе маленьких людей, и вспоминался один из бесчисленных афоризмов Варавки,— угрожающий афоризм:

«Большинство людей обязано покорно подчиняться своему назначению — быть сырым материалом истории. Им, как, например, пеньке, не нужно думать о том, какой толщины и прочности совьют из них веревку и для какой цели она необходима».

«Напрасно я уступил настояниям матери и Варавки, напрасно поехал в этот задыхающийся город,— подумал Клим с раздражением на себя.— Может быть, в советах матери скрыто желание не допускать меня жить в одном городе с Лидией? Если так — это глупо; они отдали Лидию в руки Макарова».

Думать мешали напряженно дрожащие и как бы готовые взорваться опаловые пузыри вокруг фонарей. Они создавались из мелких пылинок тумана, которые, непрерывно вторгаясь в их сферу, так же непрерывно выскакивали из нее, не увеличивая и не умаляя объема сферы. Эта странная игра радужной пыли была почти невыносима глазу и возбуждала желание сравнить ее с чем-то, погасить словами и не замечать больше.

Клим снял запотевшие очки, тогда огромные шары жидкого опала несколько обесцветились, уплотнились, но стали еще более неприятны, а огонь, потускнев, ушел глубже в центры их. Избитое сравнение Варавки «город — улей» не годилось. Более удачно гасились эти призрачные огни словами большеголового составителя популярно-научных книжек; однажды во флигеле у Катина он пламенно доказывал, что мысль и воля человека — явления электрохимические и что концентрация воль вокруг идеи может создавать чудеса, именно такой концентрацией следует объяснить наиболее динамические эпохи: Крестовые походы, Возрождение, Великую революцию и подобные взрывы волевой энергии.

На Сенатской площади такие же опаловые пузыри освещали темную, маслено блестевшую фигуру буйного

царя, бронзовой рукою царь указывал путь на Запад, за широкую реку; над рекою туман был еще более густ и холоден. Клим почувствовал себя обязанным вспомнить стихи из «Медного всадника», но вспомнил из «Полтавы»:

И грозным машем руки
На шведов двинул он полки.

Затем память почему-то подсказала балладу Гёте «Лесной царь»:

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой,
Ездок запоздалый...

Подковы лошади застучали по дереву моста над черной, тревожной рекою. Затем извозчик, остановив расскакавшуюся лошадь пред безличным домом в одной из линий Васильевского острова, попросил суровым тоном:

— Прибавить надо, баринок!

«Почему же баринок?» — подумал Клим и не прибавил извозчику.

Старенький швейцар с китайскими усами, с медалями на вогнутой груди, в черной шапочке на голом черепе деловито сказал:

— Квартира Премировой — второй этаж, четыре.

И, пошевелив красными ушами, ткнул пальцем куда-то в угол, а по каменной лестнице, окрашенной в рыжую краску, застланной серой с красными каемками дорожкой, воздушно спорхнула маленькая горничная в белом переднике. Лестница напомнила Климу гимназию, а горничная — фарфоровую пастушку.

Легким голосом она сказала:

— Ваша комната направо по коридору, первая дверь, комната брата вашего — направо угловая.

— Брата? — изумленно спросил Клим.

— Дмитрия Ивановича,— как бы извиняясь, сказала горничная, схватив в руки два чемодана и вытягиваясь между ними.— Ведь вы — господин Самгин?

— Да,— угрюмо ответил Клим, соображая: почему же мать не сказала, что он будет жить в одной квартире с братом?

Не заходя в свою комнату, он сердито и вызывающе постучал в дверь Дмитрия, из-за двери весело крикнули:

— Пожалуйста!

Дмитрий лежал на койке, ступня левой ноги его забинтована; в синих брюках и вышитой рубахе он был похож на актера украинской труппы. Приподняв голову, упираясь рукою в постель, он морщился и бормотал:

— Это... это Клим? Ты?

И, протянув руки брату, весело крикнул:

— Ага, вот он, сюрприз!

Самгин видел незнакомого; только глаза Дмитрия напоминали юношу, каким он был за четыре года до этой встречи, глаза улыбались всё еще той улыбкой, которую Клим привык называть бабьей. Круглое и мягкое лицо Дмитрия обросло светлой бородкой, длинные волосы завивались на концах. Он весело и быстро рассказал, что переехал сюда пять дней тому назад, потому что разбил себе ногу и Марина перевезла его.

— Она давно уже пугала меня: ждите сюрприза! Кто — Марина? Племянница Премировой. Тетка тоже милая, либералка; она в дальнем родстве с Варавкой.

Оживление Дмитрия исчезло, когда он стал расспрашивать о матери, Варавке, Лидии. Клим чувствовал во рту горечь, в голове тяжесть. Было утомительно и скучно отвечать на почтительно-равнодушные вопросы брата. Желтоватый туман за окном, аккуратно разлинованный проволоками телеграфа, напоминал о старой нотной бумаге. Сквозь туман смутно выступала бурая стена трехэтажного дома, густо облепленная заплатами многочисленных вывесок.

— Ну, а — как дядя Яков? Болен? Хм... Недавно на вечеринке один писатель, народник, замечательно рассказывал о нем. Такое, знаешь, житие. Именно — житие, а не жизнь. Ты, конечно, знаешь, что он снова арестован в Саратове?

Клим не знал этого, но утвердительно кивнул головой.

— Народники снова пошевеливаются,— сказал Дмитрий так одобрительно, что Климу захотелось

усмехнуться. Он рассматривал брата равнодушно, как чужого, а брат говорил об отце тоже как о чужом, но забавном человеке.

— Ты бы не узнал его, он теперь солидный и даже пробует говорить баритоном. Дубовой клепкой торгует с французами, с испанцами, катается по Европе и ужасно много ест. Весной он был тут, а сейчас в Дижоне.

Он прыгал по комнате на одной ноге, придерживаясь за спинки стульев, встряхивая волосами, и мягкие, толстые губы его дружелюбно улыбались. Сунув под мышку себе костыль, он сказал:

— Идем чай пить. Переодеваться? Не надо, ты и так хорошо лакирован.

Клим все-таки пошел в свою комнату, брат, пристукивая костылем, сопровождал его и всё говорил, с радостью, непонятной Климу и смущавшей его.

— Ну, довольно, очарователен, пойдем!

В теплом, приятном сумраке небольшой комнаты за столом у самовара сидела маленькая, гладко причесанная старушка в золотых очках на остром розовом носике; протянув Климу серую обезьянью лапку, перевязанную у кисти красной шерстинкой, она сказала, картавя, как девочка:

— Очень г'ада.

И, охнув, когда Клим пожал ей руку, объяснила, что у нее ревматизм. Торопливо, мелкими словами она стала расспрашивать о Варавке, но вошла пышная девица, обмахивая лицо, как веером, концом толстой косы золотистого цвета, и сказала густым альтом:

— Марина Премирова.

Садясь рядом с Дмитрием, она сообщила:

— На улицах самодержавнейшая и великая грязища.

Климу показалось, что в комнате стало тесно. Резким жестом Марина взяла с тарелки, из-под носа его, сухарь, обильно смазала маслом, вареньем и стала грызть, широко открывая рот, чтоб не пачкать тугие губы малинового цвета; во рту ее грозно блестели крупные, плотно составленные зубы. Она была так распаренно красна, как будто явилась не с улицы, а из го-

рячей ванны, и была преувеличенно, почти уродливо крупна. Клим чувствовал себя подавленным этой массой тела, туго обтянутого желтым джерси, напоминавшим ему «Крейцерову сонату» Толстого. В пять минут Клим узнал, что Марина училась целый год на акушерских курсах, а теперь учится петь, что ее отец, ботаник, был командирован на Канарские острова и там помер и что есть очень смешная оперетка «Тайны Канарских островов», но, к сожалению, ее не ставят.

— Там забавные генералы — Патакес, Бомбардос...

Оборвав фразу на половине, она сказала Дмитрию:

— Сегодня придет Кутузов и с ним этот...

Она показала глазами в потолок; глаза у нее большие, выпуклые, янтарного цвета, а взгляд неприятно прямой и толкающий.

— Знакомого увидишь,— подмигнув, предупредил Дмитрий.

— Кого?

— Не скажу.

Над столом мелькали обезьяньи лапки старушки; безошибочно и ловко передвигая посуду, наливая чай, не умолкая шелестели ее картавые словечки,— их никто не слушал. Одетая в сукно мышиного цвета, она тем более напоминала обезьяну. По морщинам темненького лица быстро скользили легкие улыбочки. Клим нашел улыбочки хитрыми, а старуху неестественной. Ее говорок тонул в грубоватом и глупом голосе Дмитрия:

— Расовые качества определяются кровью женщин, это доказано. Так, например, автохтоны Чили, Боливии...

Девица Премирова вдруг рассердилась:

— Что это значит — автохтоны? Зачем вы говорите непонятные слова?

Рядом с могучей Мариной Дмитрий, неуклюже составленный из широких костей и плохо прилаженных к ним мускулов, казался маленьким, неудачным. Он явно блаженствовал, сидя плечо в плечо с Мариной, а она всё разглядывала Клима отталкивающим взглядом, и в глубине ее зрачков вспыхивали рыжие искры.

«Избалованная и капризная»,— решил Клим.

— Тетка права,— сочным голосом, громко и с интонациями деревенской девицы говорила Марина,— город — гнилой, а люди в нем — сухие. И скупы, лимон к чаю режут на двенадцать кусков.

Выбрав удобную минуту, Клим пожаловался на усталость и ушел, брат, сопровождая его, назойливо допрашивал:

— Милые люди, а?

— Да.

— Ну, отдыхай.

Сердито сбросив тужурку и ботинки, Клим повалился на койку и заснул, решив, что не останется тут, проживет из вежливости неделю, две и переедет на другую квартиру.

Часа через три брат разбудил его, заставил умыться и снова повел к Премировым. Клим шел безвольно, заботясь лишь о том, чтоб скрыть свое раздражение. В столовой было тесно, звучали аккорды рояля, Марина кричала, притопывая ногой:

Бедный конь в поле пал...

Студент университета, в длинном, точно кафтан, сюртуке, сероглазый, с мужицкой, окладистой бородою, стоял среди комнаты против щеголевато одетого в черное стройного человека с бледным лицом; держась за спинку стула и раскачивая его, человек этот говорил с подчеркнутой любезностью, за которой Клим тотчас услышал иронию:

— Я не могу представить себе свободного человека без права и без желания власти над ближними.

— Да — на кой чёрт власть, когда личная собственность уничтожена? — красивым баритоном вскричал бородатый студент и, мельком взглянув на Клима, сунул ему широкую ладонь, назвав себя с нескрываемой досадой:

— Кутузов.

А человек в черном, улыбаясь, спросил:

— Не узнаете, Самгин?

Дмитрий нелепо захохотал, возглашая:

— Это ж Туробоев! Удивлен?

Удивиться Клим не успел, Марина завертела его по комнате, толкая, как мальчика.

— Еще Самгин, Клим, ужасно серьезный,— говорила она высокой даме с лицом кошки. — Ее зовут Елизавета Львовна, а вот ее муж.

У рояля, разбирая ноты, сидел маленький, сильно сутулый человечек в чалме курчавых волос, черные волосы отливали синевой, а лицо было серое, с розовыми пятнами на скулах.

— Спивак,— глухо сказал он.— Поете?

Отрицательный ответ удивил его, он снял с унылого носа дымчатое пенсне и, покашливая, мигая, посмотрел в лицо Клима опухшими глазами так, точно спрашивал: «А зачем же вы?»

— Идемте, он ничего не понимает, кроме нот.

На диване полулежала сухонькая девица в темном платье «реформ», похожем на рясу монахини, над нею склонился Дмитрий и гудел:

— Эргилья, друг Сервантеса, автор поэмы «Араукана»...

— Довольно испанцев,— крикнула Марина.— Самгин — Серафима Нехаева. Всё!

И, оставив Клима, она побежала к роялю, а Нехаева, небрежно кивнув головою, подобрала тонкие ноги и прикрыла их подолом платья. Клим принял это как приглашение сесть рядом с нею.

Он злился. Его раздражало шумное оживление Марины, и почему-то была неприятна встреча с Туробоевым. Трудно было признать, что именно вот этот человек с бескровным лицом и какими-то кричащими глазами — мальчик, который стоял перед Варавкой и звонким голосом говорил о любви своей к Лидии. Неприятен был и бородатый студент.

Он и Елизавета Спивак запели незнакомый Климу дуэт, маленький музыкант отлично аккомпанировал. Музыка всегда успокаивала Самгина, точнее — она опустошала его, изгоняя все думы и чувствования; слушая музыку, он ощущал только ласковую грусть. Дама пела вдохновенно, небольшим, но очень выработанным сопрано, ее лицо потеряло сходство с лицом кошки, облагородилось печалью, стройная фигура ста-

ла еще выше и тоньше. Кутузов пел очень красивым баритоном, легко и умело. Особенно трогательно спели они финал:

О ночь! Поскорее укрой
Прозрачным твоим покрывалом,
Целебным забвенья фиалом
Томимую душу тоской,
Как матерь дитя, успокой!

Климу показалось, что тоска, о которой пели, давно уже знакома ему, но лишь сейчас он почувствовал себя полным ею до удушья, почти до слез.

Кончив петь, дама подошла к столу, взяла из вазы яблоко и, задумчиво погладив его маленькой рукою, положила обратно.

— Вы заметили? — шепнула Климу его соседка.

— Что? — спросил он, взглянув на ее гладкую голову галки и в маленькое, точно у подростка, птичье лицо.

— Заметили, как она — яблоко?

— Да, видел.

— Какая грация, не правда ли?

Клим согласно склонил голову, подумав:

«Институтка, должно быть».

В памяти остался странный, как бы умоляющий взгляд узких глаз неопределенной, зеленовато-серой окраски.

Дмитрий тяжело завозился, вооружаясь костылем, и сказал дразнящим тоном:

— А все-таки этот ваш Верлен хуже Фофанова.

У рояля звучал приятный голос Кутузова:

— Уже Гален знал, что седалище души в головном мозге...

— Вы головным мозгом поете так задушевно? — спросил Туробоев.

«Как везде,— подумал Клим.— Нет ничего, о чем бы не спорили».

Марина, схватив Кутузова за рукав, потащила его к роялю, там они запели «Не искушай». Климу показалось, что бородач поет излишне чувствительно, это не гармонирует с его коренастой фигурой, мужиковатым

лицом,— не гармонирует и даже несколько смешно. Сильный и богатый голос Марины оглушал, она плохо владела им, верхние ноты звучали резко, крикливо Клим был очень доволен, когда Кутузов, кончив дуэт, бесцеремонно сказал ей:

— Нет, девушка, это не про вас писано.

Марина и Дмитрий со своим костылем занимали места в комнате больше всех. Дмитрий двигался за девицей, как барка за пароходом, а в беспокойном хождении Марины было что-то тревожное, чувствовался избыток животной энергии, и это смущало Клима, возбуждая в нем нескромные и нелестные для девицы мысли. Еще издали она заставляла его ждать, что толкнет тугой, высокой грудью или заденет бедром. Казалось, что телу ее тесно не только в платье, но и в комнате. Неприязненно следя за нею, Клим думал, что она, вероятно, пахнет потом, кухней, баней. Вот она, напирая грудью на Кутузова, говорит крикливо и, кажется, обиженно:

— Ну да, ношу джерси, потому что терпеть не могу проповедей Льва Толстого.

— Ух, — воскликнул Кутузов и так крепко закрыл глаза, что всё лицо его старчески сморщилось.

Жена пианиста тоже бесприютно блуждала по комнате, точно кошка, впервые и случайно попавшая в чужую квартиру. Ее качающаяся походка, рассеянный взгляд синеватых глаз, ее манера дотрагиваться до вещей — всё это привлекало внимание Клима, улыбка туго натянутых губ красивого рта казалась вынужденной, молчаливость подозрительной.

«Хитрая»,— подумал Клим.

Нехаева была неприятна. Сидела она изломанно скорчившись, от нее исходил одуряющий запах крепких духов. Можно было подумать, что тени в глазницах ее искусственны, так же как румянец на щеках и чрезмерная яркость губ. Начесанные на уши волосы делали ее лицо узким и острым, но Самгин уже не находил эту девушку такой уродливой, какой она показалась с первого взгляда. Ее глаза смотрели на людей грустно, и она как будто чувствовала себя серьезнее всех в этой комнате.

Вдруг Клим вспомнил, как возмутительно простилась с ним Лидия, уезжая в Москву.

— Верю, что ты возвратишься со щитом, а не на щите,— сказала она, усмехаясь недоброй усмешкой.

Подошел брат, привалился к Нехаевой, и через минуту Клим услышал, что она точно святцы читает:

— Маллармэ, Ролина, Ренэ Жиль, Пеладан...

— Отлично разделал их Макс Нордау,— сказал Дмитрий поддразнивающим тоном.

Кутузов зашипел, грозя ему пальцем, потому что Спивак начал играть Моцарта. Осторожно подошел Туробоев и присел на ручку дивана, улыбнувшись Климу. Вблизи он казался старше своего возраста, странно белая кожа его лица как бы припудрена, под глазами синеватые тени, углы рта устало опущены. Когда Спивак кончил играть, Туробоев сказал:

— Вы очень изменились, Самгин. Я помню вас маленьким педантом, который любил всех поучать.

Клим крепко сжал зубы, придумывая, что ответить человеку, под пристальным взглядом которого он чувствовал себя стесненно. Дмитрий неуместно и слишком громко заговорил о консерватизме провинции, Туробоев посмотрел на него, прищурив глаза, и произнес небрежно:

— А мне нравится устойчивость вкусов и мнений.

— Деревня еще устойчивей,— заметил Клим.

— Не нахожу, что это плохо,— сказал Туробоев, закурив папиросу.— А вот здесь все явления и сами люди кажутся более чем где-либо скоропреходящими, я бы даже сказал — более смертными.

— Это очень верно! — согласилась Нехаева.

Туробоев усмехнулся. Губы у него были разные, нижняя значительно толще верхней, темные глаза прорезаны красиво, но взгляд их неприятно разноречив, неуловим. Самгин решил, что это кричащие глаза человека больного и озабоченного желанием скрыть свою боль и что Туробоев — человек преждевременно износившийся. Брат спорил с Нехаевой о символизме, она несколько раздраженно увещевала его:

— Вы путаете, к символизму надо идти от идей Платона.

— Вы помните Лидию Варавку? — спросил Клим. Туробоев ответил не сразу и глядя на дым своей папиросы:

— Конечно. Такая бойкая цыганочка. Что... как она живет? Хочет быть актрисой? Это настоящее женское дело,— закончил он, усмехаясь в лицо Клима, и посмотрел в сторону Спивак; она, согнувшись над клавиатурой через плечо мужа, спрашивала Марину:

— Слышишь? Ми бемоль...

«И это — всё?» — подумал Клим, обращаясь к Лидии,— подумать хотелось злорадно, а подумалось грустно.

Снова начали петь, и снова Самгину не верилось, что бородатый человек с грубым лицом и красными кулаками может петь так умело и красиво. Марина пела с яростью, но детонируя, она широко открывала рот, хмурила золотые брови, бугры ее грудей неприлично напрягались.

Около полуночи Клим незаметно ушел к себе, тотчас разделся и лег, оглушенный, усталый. Но он забыл запереть дверь, и через несколько минут в комнату влез Дмитрий, присел на кровать и заговорил, счастливо улыбаясь:

— Это у них каждую субботу. Ты обрати внимание на Кутузова,— замечательно умный человек! Туробоев тоже оригинал, но в другом роде. Из училища правоведения ушел в университет, а лекций не слушает, форму не носит.

— Пьет?

— И пьет. Вообще тут многие живут в тревожном настроении — перелом души! — продолжал Дмитрий всё с радостью.— А я, кажется, стал похож на Дронова: хочу всё знать и ничего не успеваю. И естественник и филолог...

Клим спросил о Нехаевой, хотя желал бы спросить о Спивак.

— Нехаева? Она — смешная, впрочем — тоже интересная. Помешалась на французских декадентах. А вот Спивак — это, брат, фигура! Ее трудно понять. Туробоев ухаживает за ней и, кажется, не безнадежно. А впрочем — не знаю...

— Я хочу спать,— нелюбезно сказал Клим, а когда брат ушел, он напомнил себе:

«Завтра же начну искать другую квартиру».

Но это не удалось ему, с утра он попал в крепкие руки Марины.

— Ну, идемте смотреть город,— скорее приказала, чем предложила она. Клим счел невежливым отказаться и часа три ходил с нею в тумане, по скользким панелям, смазанным какой-то особенно противной грязью, не похожей на жирную грязь провинции. Марина быстро и твердо, как солдат, отбивала шаг, в походке ее была та же неудержимость, как в словах, но простодушие ее несколько подкупало Клима.

— Петербург — многоликий город. Видите: сегодня у него таинственное и пугающее лицо. В белые ночи он очаровательно воздушен. Это — живой, глубоко чувствующий город.

Клим сказал:

— Вчера я подумал, что вы не любите его.

— Вчера я с ним поссорилась; ссориться — не значит не любить.

Самгин нашел, что ответ неглуп.

Сквозь туман Клим видел свинцовый блеск воды, железные решетки набережных, неуклюжие барки, погруженные в черную воду, как свиньи в грязь. Эти барки были оскорбительно неуместны рядом с великолепными зданиями. Тусклые стекла бесчисленных окон вызывали странное впечатление: как будто дома туго набиты нечистым льдом. Мокрые деревья невиданно уродливы, плачевно голы, воробьи невеселы, почти немы, безгласно возвышались колокольни малочисленных церквей, казалось, что колокольни лишние в этом городе. Над Невою в туман лениво втискивался черный дым пароходов; каменными пальцами пронзали туман трубы фабрик. Печален был подавленный шум странного города и унизительно мелки серые люди в массе огромных домов, а всё вместе пугающе понижало ощутимость собственного бытия. Клим шагал безвольно, в состоянии самозабвения, ни о чем не думая, и слышал густой альт Марины:

— Сумасшедший Павел хотел сделать монумент лучше Фальконетова,— не вышло. Дрянь.

Девушка так быстро шла, как будто ей необходимо было устать, а Клим испытывал желание забиться в сухой, светлый угол и уже там подумать обо всем, что плыло перед глазами, поблескивая свинцом и позолотой, рыжей медью и бронзой.

— Что вы молчите? — строго спросила Марина, и, когда Самгин ответил, что город изумляет его, она, торжествуя, воскликнула:

— Ага!

Несколько дней она водила его по музеям, и Клим видел, что это доставляет ей удовольствие, как хозяйке, которая хвастается хозяйством своим.

Вечером, войдя в комнату брата, Самгин застал там Кутузова и Туробоева, они сидели за столом друг против друга в позах игроков в шашки, и Туробоев, закуривая папиросу, говорил:

— А вдруг окажется, что случай — псевдоним дьявола?

— В чертей не верю,— серьезно сказал Кутузов, пожимая руку Клима.

Туробоев, закурив папиросу о свой же окурок, поставил его в ряд шести других, уже погасших. Туробоев был нетрезв, его волнистые негустые волосы встрепаны, виски потны, бледное лицо побурело, но глаза, наблюдая за дымящимся окурком, светились пронзительно. Кутузов смотрел на него взглядом осуждающим. Дмитрий, полулежа на койке, заговорил докторально:

— Мысль о вредном влиянии науки на нравы — старенькая и дряхлая мысль. В последний раз она весьма умело была изложена Руссо в 1750 году, в его ответе Академии Дижона. Ваш Толстой, наверное, вычитал ее из «Discours» Жан-Жака. Да и какой вы толстовец, Туробоев? Вы просто — капризник.

Не ответив ему, Туробоев усмехнулся, а Кутузов спросил Клима:

— А вы как смотрите на толстовство?

— Это попытка возвратиться в дураки,— храбро ответил Самгин, подметив в лице, в глазах Туробоева

нечто общее с Макаровым, каким тот был до покушения на самоубийство.

Кутузов захохотал, широко открыв зубастый рот, потирая руки. Туробоев бесцветным голосом задумчиво и упрямо проговорил:

— Возвратиться в дураки,— это не плохо сказано. Я думаю, что это неизбежно для нас, отправимся ли мы от Льва Толстого или от Николая Михайловского.

— А если — от Маркса? — весело спросил Кутузов.

— В спасительность фабричного котла для России я не верю.

Клим посмотрел на Кутузова с недоумением: неужели этот мужик, нарядившийся студентом,— марксист? Красивый голос Кутузова не гармонировал с читающим тоном, которым он произносил скучные слова и цифры. Дмитрий помешал Климу слушать:

— Есть лишний билет в оперу — идешь? Я взял для себя, но не могу идти, идут Марина и Кутузов.

Затем он возмущенно рассказал, что цензура окончательно запретила ставить оперу «Купец Калашников».

Туробоев встал, посмотрел в окно, прижавшись к стеклу лбом, и вдруг ушел, не простясь ни с кем.

— Умный парень,— сказал Кутузов как будто с сожалением и, вздохнув, добавил:

— Ядовитый.

Сбивая щелчками ногтя строй окурков со стола на пол, он стал подробно расспрашивать Клима о том, как живут в его городе, но скоро заявил, почесывая подбородок сквозь бороду и морщась:

— То же самое, как у нас, в Вологде.

Самгин заметил, что чем более сдержанно он отвечает, тем ласковее и внимательней смотрит на него Кутузов. Он решил немножко показать себя бородатому марксисту и скромно проговорил:

— В сущности, мы едва ли имеем право делать столь определенные выводы о жизни людей. Из десятков тысяч мы знаем, в лучшем случае, как живет сотня, а говорим так, как будто изучили жизнь всех.

Брат согласился:

— Верная мысль.

Но Кутузов спросил его:

— Разве?

И снова начал говорить о процессе классового расслоения, о решающей роли экономического фактора. Говорил уже не так скучно, как Туробоеву, и с подкупающей деликатностью, чем особенно удивлял Клима. Самгин слушал его речь внимательно, умненько вставлял осторожные замечания, подтверждавшие доводы Кутузова, нравился себе и чувствовал, что в нем как будто зарождается симпатия к марксисту.

Он ушел в свою комнату с уверенностью, что им положен первый камень пьедестала, на котором он, Самгин, со временем, встанет монументально. В комнате стоял тяжелый запах масла,— утром стекольщик замазывал на зиму рамы,— Клим понюхал, открыл вентилятор и снисходительно, вполголоса сказал:

— Пожалуй, можно и здесь жить.

А недели через две он окончательно убедился, что жить у Премировых интересно. Казалось, что его здесь оценили по достоинству, и он был даже несколько смущен тем, как мало усилий стоило это ему. Из всего остренького, что он усвоил в афоризмах Варавки, размышлениях Томилина, он сплетал хорошо закругленные фразы, произнося их с улыбочкой человека, который не очень верит словам. Он уже видел, что грубоватая Марина относится к нему почтительно, Елизавета Спивак смотрит на него с лестным любопытством, а Нехаева беседует с ним более охотно и доверчиво, чем со всеми другими. Было ясно, что и Дмитрий, всегда поглощенный чтением толстых книг, гордится умным братом. Клим тоже готов был гордиться колоссальной начитанностью Дмитрия и гордился бы, если б не видел, что брат затмевает его, служа для всех словарем разнообразнейших знаний. Он учил старуху Премирову готовить яйца «по-бьернборгски», объяснял Спиваку различие подлинно народной песни от слащавых имитаций ее Цыгановым, Вельтманом и другими; даже Кутузов спрашивал его:

— Самгин,— кем это был изобличен в шпионстве граф Яков Толстой?

И Дмитрий подробно рассказывал о никому неведомой книге Ивана Головина, изданной в 1846 г. Он любил

говорить очень подробно и тоном профессора, но всегда так, как будто рассказывал сам себе.

Самым авторитетным человеком у Премировых был Кутузов, но, разумеется, не потому, что много и напористо говорил о политике, а потому, что артистически пел. Он обладал неистощимым запасом грубоватого добродушия, никогда не раздражался в бесконечных спорах с Туробоевым, и часто Клим видел, что этот нескладно скроенный, но крепко сшитый человек рассматривает всех странно задумчивым и как бы сожалеющим взглядом светло-серых глаз. Изумляло Клима небрежное, а порою резкое отношение Кутузова к Марине, как будто эта девица была в его глазах существом низшим. Как-то вечером, за чаем, она сердито сказала:

— Когда вы, Кутузов, поете, кажется, что вы умеете и чувствовать, а...

Кутузов не дал ей кончить фразу.

— Когда я пою — я могу не фальшивить, а когда говорю с барышнями, то боюсь, что это у меня выходит слишком просто, и, со страха, беру неверные ноты. Вы так хотели сказать?

Марина молча отвернулась от него.

С Елизаветой Спивак Кутузов разговаривал редко и мало, но обращался к ней в дружеском тоне, на «ты», а иногда ласково называл ее — тетя Лиза, хотя она была старше его, вероятно, только года на два — на три. Нехаеву он не замечал, но внимательно и всегда издали прислушивался к ее спорам с Дмитрием, неутомимо дразнившим странную девицу.

Грубоватость Кутузова Клим принимал как простодушие человека малокультурного и, не видя в ней ничего «выдуманного», извинял ее. Ему приятно было видеть задумчивость на бородатом лице студента, когда Кутузов слушал музыку, приятна была сожалеющая улыбка, грустный взгляд в одну точку, куда-то сквозь людей, сквозь стену. Дмитрий рассказал, что Кутузов сын небогатого и разорившегося деревенского мельника, был сельским учителем два года, за это время подготовился в казанский университет, откуда его, через год, удалили за участие в студенческих волнениях,

но еще через год, при помощи отца Елизаветы Спивак, уездного предводителя дворянства, ему снова удалось поступить в университет.

К Туробоеву относились неопределенно, то — ухаживая за ним, как за больным, то — с какой-то сердитой боязнью. Клим не понимал — зачем Туробоев бывает у Премировых? Марина смотрела на него с нескрываемой враждебностью, Нехаева кратко, но неохотно соглашалась с его словами, а Спивак беседовала с ним редко и почти всегда вполголоса. В общем всё это было очень интересно, и хотелось понять: что объединяет этих, столь разнообразных людей? Зачем нужна грубой и слишком телесной Марине почти бесплотная Нехаева, почему Марина так искренно и смешно ухаживает за ней?

— Ты — ешь, ешь больше! — внушала она.— И не хочется, а — ешь. Черные мысли у тебя оттого, что ты плохо питаешься. Самгин старший, как это по-латыни? Слышишь? В здоровом теле — дух здоровый...

Заботы Марины, заставляя Нехаеву смущенно улыбаться, трогали ее, это Клим видел по благодарному блеску глаз худенькой и жалкой девицы. Прозрачной рукою Нехаева гладила румяную щеку подруги, и на бледной коже тыла ее ладони жилки, налитые кровью, исчезали.

Клим думал, что Нехаева и Туробоев наиболее случайные и чужие люди здесь, да, наверное, и во всех домах, среди всяких людей, они оба должны вызывать впечатление заплутавшихся. Он чувствовал, что его антипатия к Туробоеву непрерывно растет. В этом человеке есть что-то подозрительное, очень холодное, пристальный взгляд его кричащих глаз — взгляд соглядатая, который стремится обнаружить скрытое. Иногда глаза его смотрят ехидно; Клим часто ловил на себе этот взгляд, раздражающий и даже наглый. Слова Туробоева укрепляли подозрения Клима: несомненно, человек этот обозлен чем-то и, скрывая злость под насмешливой небрежностью тона, говорит лишь для того, чтоб дразнить собеседника. Иногда Туробоев казался Самгину совершенно невыносимым, всего чаще это бывало в его беседах с Кутузовым и Дмитрием.

Клим не понимал, как может Кутузов добродушно смеяться, слушая скептические изъявления этого щеголя:

— Вы, Кутузов, пророчествуете. На мой взгляд, пророки говорят о будущем лишь для того, чтоб порицать настоящее.

Кутузов сочно хохотал, а Дмитрий напоминал Туробоеву случаи, когда социальные предвидения оправдывались.

С Мариной Туробоев говорил, издеваясь над нею.

— Неправда! — вскричала она, рассердясь на него за что-то, он серьезно ответил:

— Возможно. Но я — не суфлер, а ведь только суфлеры обязаны говорить правду.

— Почему — суфлеры? — спросила Марина, широко открыв и без того большие глаза.

— А как же? Если суфлер соляжет, он испортит вам игру.

— Какая ерунда! — с досадой сказала девица, отходя от него.

Да, всё это было интересно, и Клим чувствовал, как возрастает в нем жажда понять людей.

Университет ничем не удивил и не привлек Самгина. На вступительной лекции историка он вспомнил свой первый день в гимназии. Большие сборища людей подавляли его, в толпе он внутренно сжимался и не слышал своих мыслей; среди однообразно одетых и как бы однолицых студентов он почувствовал себя тоже обезличенным.

Внизу, над кафедрой, возвышалась, однообразно размахивая рукою, половинка тощего профессора, покачивалась лысая, бородатая голова, сверкало стекло и золото очков. Громким голосом он жарко говорил внушительные слова.

— Отечество. Народ. Культура, слава,— слышал Клим.— Завоевания науки. Армия работников, создающих в борьбе с природой всё более легкие условия жизни. Торжество гуманизма.

Сосед Клима, худощавый студент с большим носом на изрытом оспой лице, пробормотал, заикаясь:

— Н'не жирно.

Потом он долго и внимательно смотрел на циферблат стенных часов очень выпуклыми и неяркими глазами. Когда профессор исчез, боднув головою воздух, заика поднял длинные руки, трижды мерно хлопнул ладонями, но повторил:

— Н'нет, не жирно. А говорили про него — р'радикал. Вы, коллега, не из Новгорода? Нет? Ну, всё равно, будемте знакомы — Попов, Николай.

И, тряхнув руку Самгина, он торопливо убежал.

Науки не очень интересовали Клима, он хотел знать людей и находил, что роман дает ему больше знания о них, чем научная книга и лекция. Он даже сказал Марине, что о человеке искусство знает больше, чем наука.

— Ну, конечно,— согласилась Марина.— Теперь начали понимать это. Вот послушайте-ка Пехаеву.

Поздно вечером пришел Дмитрий, отсыревший, усталый; потирая горло, он спросил осипшим голосом:

— Ну — как? Каково впечатление?

А когда Клим сознался, что в храме науки он не испытал благоговейного трепета, брат, откашлявшись, сказал:

— Я, на первой лекции, чувствовал себя очень взволнованным.

И, очевидно, думая не о том, что говорит, прибавил непоследовательно:

— А теперь вижу, что Кутузов — прав: студенческие волнения, поистине, бесполезная трата сил.

Клим усмехнулся, но промолчал. Он уже приметил, что все студенты, знакомые брата и Кутузова, говорят о профессорах, об университете почти так же враждебно, как гимназисты говорили об учителях и гимназии. В поисках причин такого отношения он нашел, что тон дают столь различные люди, как Туробоев и Кутузов. С ленивенькой иронией, обычной для него, Туробоев говорил:

— В университете учатся немцы, поляки, евреи, а из русских только дети попов. Все остальные россияне не учатся, а увлекаются поэзией безотчетных поступков. И страдают внезапными припадками испанской гордости. Еще вчера парня тятенька за волосы драл, а се-

годня парень считает небрежный ответ или косой взгляд профессора поводом для дуэли. Конечно, столь задорное поведение можно счесть за необъяснимо быстрый рост личности, но я склонен думать иначе.

— Да,— сказал Кутузов, кивая тяжелой головою,— наблюдается телячье задирание хвостов. Но следует и то сказать,— уж очень неумело надувают юношество, пытаясь выжать из него соки буемыслия...

— Буесловия,— поправил Туробоев.

Клим ревностно старался догадаться: что связывает этих людей? Однажды, в ожидании обычного концерта, сидя рядом с франтом у Премировых на диване, Кутузов упрекнул его:

— Распылите вы себя на иронии, дешевое дело!

— Невыгодное,— согласился Туробоев.— Я понимаю, что выгоднее пристроить себя к жизни с левой ее стороны, но — увы! — не способен на это.

Заразительно смеясь, Кутузов кричал:

— Да ведь вы уже пристроились именно с этого, левого бока!

В тот же вечер Клим спросил его:

— Что вам нравится в Туробоеве?

И бородач ответил ему отеческим тоном:

— В известной дозе кислоты так же необходимы организму, как и соль. Чаадаевское настроение я предпочитаю слащавой премудрости некоторых литературных пономарей.

Это говорилось при Дмитрии, который торопливо пояснил:

— Туробоев интересен как представитель вырождающегося класса.

А Кутузов, взглянув на него с усмешкой, одобрил:

— Верно, Митя!

Самгин нашел его усмешку нелестной для брата. Такие снисходительные и несколько хитренькие усмешечки Клим нередко ловил на бородатом лице Кутузова, но они не будили в нем недоверия к студенту, а только усиливали интерес к нему. Всё более интересной становилась Нехаева, но смущала Клима откровенным и торопливым стремлением найти в нем единомышленника. Перечисляя незнакомые ему имена французских

поэтов, она говорила так, как будто делилась с ним тайнами, знать которые достоин только он, Клим Самгин.

— Вы читали Жана Лагора «Иллюзии»? — спрашивала она; всезнающий Дмитрий объяснял:

— Псевдоним доктора Казалес.

— Он — буддист, Лагор, но такой едкий, горький.

Дмитрий напоминал сам себе, глядя в потолок:

— А еще есть Казот, автор глупого романа «Любовь дьявола».

— Как жалко, что вы так много знаете ненужного вам,— сказала ему Нехаева с досадой и снова обратилась к младшему Самгину, расхваливая «Принцессу Грезу» Ростана.

— Это — шедевр новой романтики. Ростана, в близком будущем, признают гением.

Клим видел, что обилие имен и книг, никому, кроме Дмитрия, не знакомых, смущает всех, что к рассказам Нехаевой о литературе относятся недоверчиво, несерьезно, и это обижает девушку. Было немножко жалко ее. А Туробоев, враг пророков, намеренно безжалостно пытался погасить ее восторги, говоря:

— Это надо понимать как признак пресыщения мещан дешевеньким рационализмом. Это начало конца очень бездарной эпохи.

Клим начал смотреть на Нехаеву как на существо фантастическое. Она заскочила куда-то далеко вперед или отбежала в сторону от действительности и жила в мыслях, которые Дмитрий называл кладбищенскими. В этой девушке было что-то напряженное до отчаяния. минутами казалось, что она способна выпрыгнуть из окна. Особенно удивляло Клима женское безличие. физиологическая неощутимость Нехаевой, она совершенно не возбуждала в нем эмоции мужчины.

Пила и ела она как бы насилуя себя, почти с отвращением, и было ясно, что это не игра, не кокетство. Ее тоненькие пальцы даже нож и вилку держали неумело, она брезгливо отщипывала маленькие кусочки хлеба, птичьи глаза ее смотрели на хлопья мякиша вопросительно, как будто она думала: не горько ли это вещество, не ядовито ли?

Всё чаще Клим думал, что Нехаева образованнее и умнее всех в этой компании, но это, не сближая его с девушкой, возбуждало в нем опасение, что Нехаева поймет в нем то, чего ей не нужно понимать, и станет говорить с ним так же снисходительно, небрежно или досадливо, как она говорит с Дмитрием.

Ночами, лежа в постели, Самгин улыбался, думая о том, как быстро и просто он привлек симпатии к себе, он был уверен, что это ему вполне удалось. Но, отмечая доверчивость ближних, он не терял осторожности человека, который знает, что его игра опасна, и хорошо чувствовал трудность своей роли. Бывали минуты, когда эта роль, утомляя, вызывала в нем смутное сознание зависимости от силы, враждебной ему,— минуты, когда он чувствовал себя слугою неизвестного господина. Вспоминалось одно из бесчисленных изречений Томилина:

«На большинство людей обилие впечатлений действует разрушающе, засоряя их моральное чувство. Но это же богатство впечатлений создает иногда людей исключительно интересных. Смотрите биографии знаменитых преступников, авантюристов, поэтов. И вообще все люди, перегруженные опытом,— аморальны».

В этих словах рыжего учителя Клим находил нечто и устрашающее и соблазнительное. Ему казалось, что он уже перегружен опытом, но иногда он ощущал, что все впечатления, все мысли, накопленные им,— не нужны ему. В них нет ничего, что крепко прирастало бы к нему, что он мог бы назвать своим, личным домыслом, верованием. Всё это жило в нем как будто против его воли и — неглубоко, где-то под кожей, а глубже была пустота, ожидающая наполнения другим содержанием. Это ощущение разлада и враждебности между ним, содержащим, и тем, что он содержал в себе, Клим испытывал всё чаще и тревожнее. Он завидовал Кутузову, который научился веровать и спокойно проповедует верования свои, но завидовал и Туробоеву. Этот, явно ни во что не веруя, обладал смелостью высмеивать верования других. Когда Туробоев беседовал с Кутузовым и Дмитрием, Климу вспоминался старый

каменщик, который так лукаво и злорадно подстрекал глупого силача бессмысленно дробить годный в дело кирпич.

Самгин был убежден, что все люди честолюбивы, каждый хочет оттолкнуться от другого только потому, чтоб стать заметней, отсюда и возникают все разногласия, все споры. Но он начинал подозревать, что, кроме этого, есть в людях еще что-то непонятное ему. И возникало настойчивое желание обнажить людей, понять, какова та пружина, которая заставляет человека говорить и действовать именно так, а не иначе. Для первого опыта Клим избрал Серафиму Нехаеву. Она казалась наиболее удобной, потому что не имела обаяния женщины, и можно было изучать, раскрыть, уличить ее в чем-то, не опасаясь попасть в глупое положение Грелу, героя нашумевшего романа Бурже «Ученик». Марина отталкивала его своей животной энергией, и в ней не было ничего загадочного. Когда Клим случайно оставался с ней в комнате, он чувствовал себя в опасности под взглядом ее выпуклых глаз, взгляд этот Клим находил вызывающим, бесстыдным. Нехаева особенно заострила его любопытство, почти истерически крикнув в лицо Дмитрия:

— Поймите же, я не выношу ваших нормальных людей, не выношу веселых. Веселые до ужаса глупы и пошлы.

В другой раз она сердито сказала:

— Ницше был фат, но напрягался играть трагические роли и на этом обезумел.

Когда она злилась, красные пятна с ее щек исчезали, и лицо, приняв пепельный цвет, мертвело, а в глазах блестели зеленые искры.

Ярким зимним днем Самгин медленно шагал по набережной Невы, укладывая в памяти наиболее громкие фразы лекции. Он еще издали заметил Нехаеву, девушка вышла из дверей Академии художеств, перешла дорогу и остановилась у сфинкса, глядя на реку, покрытую ослепительно блестевшим снегом; местами снег был разорван ветром и обнажались синеватые лысины льда. Нехаева поздоровалась с Климом, ласково улыбаясь, и заговорила своим слабым голосом:

— Я — с выставки. Всё анекдоты в красках. Убийственно бездарно. Вы — в город? Я тоже.

В серой, цвета осеннего неба, шубке, в странной шапочке из меха голубой белки, сунув руки в муфту такого же меха, она была подчеркнуто заметна. Шагала расшатанно, идти в ногу с нею было неудобно. Голубой, сверкающий воздух жгуче щекотал ее ноздри, она прятала нос в муфту.

— Вот, если б вся жизнь остановилась, как эта река, чтоб дать людям время спокойно и глубоко подумать о себе,— невнятно, в муфту, сказала она.

«Подо льдом река все-таки течет»,— хотел сказать Клим, но, заглянув в птичье лицо, сказал:

— Леонтьев, известный консерватор, находил, что Россию следует подморозить.

— Почему — только Россию? Весь мир должен бы застыть, на время,— отдохнуть.

Глаза ее щурились и мигали от колючего блеска снежных искр. Тихо, суховато покашливая, она говорила с жадностью долго молчавшей, как будто ее только что выпустили из одиночного заключения в тюрьме. Клим отвечал ей тоном человека, который уверен, что не услышит ничего оригинального, но слушал очень внимательно. Переходя с одной темы на другую, она спросила:

— Как вам нравится Туробоев?

И сама же ответила:

— Я не понимаю его. Какой-то нигилист, запоздавший родиться, равнодушный ко всему и к себе. Так странно, что холодная, узкая Спивак увлечена им.

— Разве?

— О да!

Помолчав минуту, она снова спросила: что Клим думает о Марине? И снова, не ожидая ответа, рассказала:

— Она будет очень счастлива в известном, женском смысле понятия о счастье. Будет много любить; потом, когда устанет, полюбит собак, котов, той любовью, как любит меня. Такая сытая, русская. А вот я не чувствую себя русской, я — петербургская. Москва меня обезличивает. Я вообще мало знаю и не понимаю Рос-

сию. Мне кажется — это страна людей, которые не нужны никому и сами себе не нужны. А вот француз, англичанин — они нужны всему миру. И — немец, хотя я не люблю немцев.

Говорила она неутомимо, смущая Самгина необычностью суждений, но за неожиданной откровенностью их он не чувствовал простодушия и стал еще более осторожен в словах. На Невском она предложила выпить кофе, а в ресторане вела себя слишком свободно для девушки, как показалось Климу.

— Я угощаю,— сказала она, спросив кофе, ликера, бисквитов, и расстегнула шубку; Клима обдал запах незнакомых духов. Сидели у окна; мимо стекол, покрытых инеем, двигался темный поток людей. Мышиными зубами кусая бисквиты, Нехаева продолжала:

— В России говорят не о том, что важно, читают не те книги, какие нужно, делают не то, что следует, и делают не для себя, а — напоказ.

— Это — правда, — сказал Клим. — Очень много выдуманного. И все экзаменуют друг друга.

— Кутузов — почти готовый оперный певец, а изучает политическую экономию. Брат ваш — он невероятно много знает, но все-таки — вы извините меня? — он невежда.

— И это — верно! — согласился Клим, думая, что пора противоречить. Но Нехаева как-то внезапно устала, на щеках ее, подкрашенных морозом, остались только розоватые пятна, глаза потускнели, она мечтательно заговорила о том, что жить всей душою возможно только в Париже, что зиму эту она должна бы провести в Швейцарии, но ей пришлось приехать в Петербург по скучному делу о небольшом наследстве. Она съела все бисквиты, выпила две рюмки ликера, а допив кофе, быстро, почти незаметным жестом, перекрестила узкую грудь свою.

— Вероятно, через две-три недели я уеду отсюда.

Надевая перчатку, покусав губы, она вздохнула:

— Может быть — навсегда.

А на улице спросила:

— Вы знаете Метерлинка? О, непременно прочитайте «Смерть Тентажиля» и «Слепых». Это — гений! Он еще молод, но изумительно глубок...

Вдруг остановилась на панели, как пред стеною, и протянула руку:

— Прощайте. Заходите ко мне...

Сказав адрес, она села в сани; когда озябшая лошадь резко поскакала, Нехаеву так толкнуло назад, что она едва не перекинулась через спинку саней. Клим тоже взял извозчика и, покачиваясь, задумался об этой девушке, не похожей на всех знакомых ему. На минуту ему показалось, что в ней как будто есть нечто общее с Лидией, но он немедленно отверг это сходство, найдя его нелестным для себя, и вспомнил ворчливое замечание Варавки-отца:

— Когда не понимают — воображают и ошибаются.

Это Варавка сказал дочери.

Встреча с Нехаевой не сделала ее приятнее, однако Клим почувствовал: девушка особенно заинтриговала его тем, что она держалась в ресторане развязно, как привычная посетительница.

В день, когда Клим Самгин пошел к ней, на угрюмый город падал удручающе густой снег; падал быстро, прямо, хлопья его были необыкновенно крупны и шуршали, точно клочки мокрой бумаги.

Нехаева жила в меблированных комнатах, последняя дверь в конце длинного коридора, его слабо освещало окно, полузакрытое каким-то шкафом, окно упиралось в бурую гладкую стену, между стеклами окна и стеною тяжело падал снег, серый, как пепел.

«В какой грязной норе живет»,— отметил Клим. Но, сняв пальто в маленькой, скудно освещенной приемной и войдя в комнату, он почувствовал, что его перебросило сказочно далеко из-под невидимого неба, раскрошившегося снегом, из невидимого в снегу города. Тепло освещенная огнем сильной лампы, прикрытой оранжевым абажуром, комната была украшена кусками восточных материй, подобранных в блеклых тонах угасающей вечерней зари. На столе, на кушетке разбросаны желтенькие томики французских книг, точно листья странного растения. Нехаева, в золотистом ха-

латике, подпоясанном зеленоватым широким кушаком, поздоровалась испуганно:

— Простите, я одета по-домашнему.

— Хорошо у вас,— сказал Клим.

— Вам нравится?

Она торопливо начала зажигать спиртовку, поставила на нее странной формы медный чайник, говоря:

— Не терплю самоваров.

Ногою в зеленой сафьяновой туфле она безжалостно затолкала под стол книги, свалившиеся на пол, сдвинула вещи со стола на один его край, к занавешенному темной тканью окну, делая всё это очень быстро. Клим сел на кушетку, присматриваясь. Углы комнаты были сглажены драпировками, треть ее отделялась китайской ширмой, из-за ширмы был виден кусок кровати, окно в ногах ее занавешено толстым ковром тускло красного цвета, такой же ковер покрывал пол. Теплый воздух комнаты густо напитан духами.

— Не люблю яркие цвета, громкую музыку, прямые линии. Всё это слишком реально, а потому — лживо,— слышал Клим.

Угловатые движения девушки заставляли рукава халата развеваться, точно крылья, в ее блуждающих руках Клим нашел что-то напомнившее слепые руки Томилина, а говорила Нехаева капризным тоном Лидии, когда та была подростком тринадцати-четырнадцати лет. Климу казалось, что девушка чем-то смущена и держится, как человек, захваченный врасплох. Она забыла переодеться, халат сползал с плеч ее, обнажая кости ключиц и кожу груди, окрашенную огнем лампы в неестественный цвет.

За чаем Клим услыхал, что истинное и вечное скрыто в глубине души, а всё внешнее, весь мир — запутанная цепь неудач, ошибок, уродливых неумелостей, жалких попыток выразить идеальную красоту мира, заключенного в душах избранных людей.

— О, я забыла! — вдруг сорвавшись с кушетки, вскричала она и, достав из шкапчика бутылку вина, ликер, коробку шоколада и бисквиты, рассовала всё это по столу, а потом, облокотясь о стол, обнажив тонкие руки, спросила:

— Вы умеете думать о бесполезности существования?

Климу захотелось усмехнуться, но он удержался и солидно ответил:

— Иногда это очень волнует.

А заметив, что глаза Нехаевой вспыхнули, добавил:

— Бывает — проснешься утром и подумаешь, что напрасно проснулся.

Нехаева утвердительно кивнула головой:

— Да, конечно, вы должны чувствовать именно так. Я поняла это по вашей сдержанности, по улыбке вашей, всегда серьезной, по тому, как хорошо вы молчите, когда все кричат. И — о чем?

Она скрестила руки на груди и, положив ладони на острые плечи свои, продолжала с негодованием:

— Народ, рабочий класс, социализм, Бебель,— я читала его «Женщину», боже мой, как это скучно! В Париже и Женеве я встречала социалистов, это люди, сознательно ограничивающие себя. В них есть что-то общее с монахами, они так же не свободны от лицемерия. Они все более или менее похожи на Кутузова, но без его смешного, мужицкого снисхождения к людям, понять которых он не может или не хочет. Сам Кутузов — не глуп и, кажется, искренно верит во всё, что говорит, но кутузовщина, все эти туманности: народ, массы, вожди — как всё это убийственно!

Она даже вздрогнула, руки ее безжизненно сползли с плеч. Подняв к огню лампы маленькую и похожую на цветок с длинным стеблем рюмку, она полюбовалась ядовито зеленым цветом ликера, выпила его и закашлялась, содрогаясь всем телом, приложив платок ко рту.

— Вам вредно это,— сказал Клим, щелкнув ногтем по своему стакану.— Нехаева, кашляя, отрицательно покачала головою, а затем, тяжело дыша, рассказала, с паузами среди фраз, о Верлене, которого погубил абсент, «зеленая фея».

— Любовь и смерть,— слушал Клим через несколько минут,— в этих двух тайнах скрыт весь страшный смысл нашего бытия, всё же остальное — и кутузовщина — только неудачные, трусливые попытки обмануть самих себя пустяками.

Клим спросил:

— Разве гуманизм — пустяки? — и насторожился, ожидая, что она станет говорить о любви, было бы забавно послушать, что скажет о любви эта бесплотная девушка. Но, назвав гуманизм «мещанской мечтою о всеобщей сытости»,— мечтой, «неосуществимость которой доказана Мальтусом»,— Нехаева заговорила о смерти. Сначала в ее тоне Клим слышал нечто церковное, она даже произнесла несколько стихов из песнопений заупокойной литургии, но эти мрачные стихи прозвучали тускло. Клим, тщательно протирая стекла очков своих куском замши, думал, что Нехаева говорит, как старушка. Наклонив голову, он не смотрел на девушку, опасаясь, как бы она не поняла, что ему скучно с нею. Кажется, она уже понимает это или устала, слова ее звучат всё тише. Клим поднял голову, хотел надеть очки и не мог сделать этого, руки его медленно опустились на край стола.

— Нет, вы подумайте,— полушёпотом говорила Нехаева, наклонясь к нему, держа в воздухе дрожащую руку с тоненькими косточками пальцев; глаза ее неестественно расширены, лицо казалось еще более острым, чем всегда было. Он прислонился к спинке стула, слушая вкрадчивый полушёпот.

— Какая-то таинственная сила бросает человека в этот мир беззащитным, без разума и речи, затем, в юности, оторвав душу его от плоти, делает ее бессильной зрительницей мучительных страстей тела. Потом этот дьявол заражает человека болезненными пороками, а истерзав его, долго держит в позоре старости, всё еще не угашая в нем жажду любви, не лишая памяти о прошлом, об искорках счастья, на минуты, обманно сверкавших пред ним, не позволяя забыть о пережитом горе, мучая завистью к радостям юных. Наконец, как бы отмстив человеку за то, что он осмелился жить, безжалостная сила умерщвляет его. Какой смысл в этом? Куда исчезает та странная сущность, которую мы называем душою?

Она уже не шептала, голос ее звучал довольно громко и был насыщен гневным пафосом. Лицо ее жестоко исказилось, напомнив Климу колдунью с картинки из сказок Андерсена. Сухой блеск глаз горячо ще-

котал его лицо, ему показалось, что в ее взгляде горит чувство злое и мстительное. Он опустил голову, ожидая, что это странное существо в следующую минуту закричит отчаянным криком безумной докторши Сомовой:

«Нет, нет, нет!»

Когда Клим Самгин читал книги и стихи на темы о любви и смерти, они не волновали его. Но теперь, когда мысли о смерти и любви облекались гневными словами маленькой, почти уродливой девушки, Клим вдруг почувствовал, что эти мысли жестоко ударили его и в сердце и в голову. В нем всё спуталось и заклубилось, как дым. Он уже не слушал возбужденную речь Нехаевой, а смотрел на нее и думал: почему именно эта неприглядная, с плоской грудью, больная опасной болезнью, осуждена кем-то носить в себе такие жуткие мысли? Тут есть нечто безобразно несправедливое. Ему стало жалко человека, наказанного болезнью и тела и души. Он впервые испытывал чувство жалости с такою остротой, вообще это чувство было плохо знакомо ему.

Он взял со стола рюмку, похожую на цветок, из которого высосаны краски, и, сжимая тонкий стебель ее между пальцами, сказал, вздохнув:

— Тяжело вам жить с такими мыслями...

— Но ведь и вам? И вам?

Она произнесла эти слова так странно, как будто не спрашивала, а просила. Разгоревшееся лицо ее бледнело, таяло, казалось, что она хорошеет.

Климу захотелось сказать ей какое-то ласковое слово, но он сломал ножку рюмки.

— Порезались? — вскричала девушка, вскочив и бросаясь к нему.

— Немножко,— виновато ответил он, завертывая палец платком, а Нехаева, погладив кисть его руки своею, неестественно горячей, благодарно, вполголоса сказала:

— Как глубоко вы чувствуете!

Она забегала по комнате, разорвала носовой платок, залила порез чем-то жгучим, потом, крепко обвязав палец, предложила:

— Выпейте вина.

И, налив себе ликера, снова села к столу.

Минуту, две молчали, не глядя друг на друга. Клим нашел, что дальше молчать уже неловко, и ему хотелось, чтоб Нехаева говорила еще. Он спросил:

— Вы любите Шопенгауэра?

— Я — читала,— не сразу отозвалась девушка.— Но, видите ли: слишком обнаженные слова не доходят до моей души. Помните у Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь». Для меня Метерлинк более философ, чем этот грубый и злой немец. Пропетое слово глубже, значительней сказанного. Согласитесь, что только величайшее искусство — музыка способна коснуться глубин души.

Вздохнув, она убавила огонь лампы. В комнате стало теснее, все вещи и сама Нехаева подвинулись ближе к Самгину. Он согласно кивнул головою:

— Метерлинку тоже не чужда этика сострадания, и, может быть, он почерпнул ее у Шопенгауэра... но — зачем нужно сострадание осужденным на смерть?

Всматриваясь в оранжевый сумрак над головою девушки, Клим спрашивал себя:

«Почему она убавила огонь?»

Нехаева согнулась, вышвыривая погою из-под стола желтенькие книжки, и говорила под стол:

— Мы живем в атмосфере жестокости... это дает нам право быть жестокими во всем... в ненависти, в любви...

Прежде чем Самгин догадался помочь ей, она подняла с пола книжку и, раскрыв ее, строго сказала:

— Вот, послушайте...

Вполголоса, растягивая гласные, она начала читать стихи; читала напряженно, делая неожиданные паузы и дирижируя обнаженной до локтя рукою. Стихи были очень музыкальны, но неуловимого смысла; они говорили о девах с золотыми повязками на глазах, о трех слепых сестрах. Лишь в двух строках:

Пожалей меня за то, что я медлю
На границе моего желания...

Клим услышал нечто полупонятное, как бы некий вызов или намек. Он вопросительно взглянул на девушку,

но она смотрела в книгу. Правая рука ее блуждала в воздухе, этой рукою, синеватой в сумраке и как бы бестелесной, Нехаева касалась лица своего, груди, плеча, точно она незаконченно крестилась или хотела убедиться в том, что существует.

Клим чувствовал, что вино, запах духов и стихи необычно опьяняют его. Он постепенно подчинялся неизведанной скуке, которая, всё обесцвечивая, вызывала желание не двигаться, ничего не слышать, не думать ни о чем. Он и не думал, прислушиваясь, как исчезает в нем тяжелое впечатление речей девушки.

Когда она, кончив читать, бросила книгу на кушетку и дрожащей рукою налила себе еще ликера, Самгин, потирая лоб, оглянулся вокруг, как человек, только что проснувшийся. Он с удивлением почувствовал, что мог бы еще долго слушать звучные, но мало понятные стихи на чужом языке.

— Верлен, Верлен,— дважды вздохнула Нехаева.— Он как падший ангел...

И прилегла на кушетку, с необыкновенной легкостью сбросив тело свое со стула.

— Устали? — спросил Клим.

Встал, посмотрел в лицо девушки, серое, с красными пятнами у висков.

— Благодарю вас,— торопливо сказал он.— Замечательный вечер. Не вставайте, пожалуйста...

— Приходите скорей,— попросила она, стискивая руку его горячими косточками пальцев своих.— Ведь я скоро исчезну.

Другою рукой она подала ему книгу:

— А это вы прочитайте...

На улице снег всё еще падал и падал так густо, что трудно было дышать. Город совершенно онемел, исчез в белом пухе. Фонари, покрытые толстыми чепчиками, стояли в пирамидах света. Подняв воротник пальто, сунув руки в карманы, Клим шагал по беззвучному снегу не спеша, взвешивая впечатления вечера. Белый пепел падал на лицо и быстро таял, освежая кожу. Клим сердито сдувал капельки воды с верхней губы и носа, ощущая, что несет в себе угнетающую тяжесть, жуткое сновидение, которое не забудется никогда. Пред ним,

в снегу, дрожало лицо старенькой колдуньи; когда Клим закрывал глаза, чтоб не видеть его, оно становилось более четким, а темный взгляд настойчиво требующим чего-то. Но снег и отлично развитое чувство самосохранения быстро будили в Климе протестующие мысли. Между внешностью девушки, ее большими словами и красотою стихов, прочитанных ею, было нечто подозрительно несоединимое. Можно думать, что это жалкое тело заключает в себе чужую душу. Затем Самгин подумал, что Нехаева слишком много пьет ликера и ест конфект с ромом.

«Больной человек. Естественно, что она думает и говорит о смерти. Мысли этого порядка — о цели бытия и прочем — не для нее, а для здоровых людей. Для Кутузова, например... Для Томилина».

Вспомнив скучноватые речи Кутузова, Клим улыбнулся:

«Кутузовщина, это — неплохо».

Подходя к дому, Клим Самгин уже успел убедить себя, что опыт с Нехаевой кончен, пружина, действующая в ней,— болезнь. И нет смысла слушать ее истерические речи, вызванные страхом смерти.

«В сущности, всё — очень просто...»

Ночью он прочитал «Слепых» Метерлинка. Монотонный язык этой драмы без действия загипнотизировал его, наполнил смутной печалью, но смысл пьесы Клим не уловил. С досадой бросив книгу на пол, он попытался заснуть и не мог. Мысли возвращались к Нехаевой, но думалось о ней мягче. Вспомнив ее слова о праве людей быть жестокими в любви, он спросил себя:

«Что она хотела сказать этим?»

Потом сочувственно вздохнул:

«Едва ли найдется человек, который полюбит ее».

Усталые глаза его видели во тьме комнаты толпу призрачных, серых теней и среди них маленькую девушку с лицом птицы и гладко причесанной головою без ушей, скрытых под волосами.

«Ослепленная страхом...»

Тени колебались, как едва заметные отражения осенних облаков на темной воде реки. Движение тьмы в комнате, становясь из воображаемого действительным,

углубляло печаль. Воображение, мешая и спать и думать, наполняло тьму однообразными звуками, эхом отдаленного звона или ноющими звуками скрипки, приглушенной сурдинкою. Черные стекла окна медленно линяли, принимая цвет олова.

Клим проснулся после полудня в настроении человека, который, пережив накануне нечто значительное, не может понять: приобрел он или утратил? Привычно легкий ход его дум о себе был затруднен, отяжелел. Он плохо слышал свои мысли, и эта глухота раздражала. Память была засорена хаосом странных слов, стихов, жалобами «слепых», вкрадчивым шёпотом, гневными восклицаниями Нехаевой. Одеваясь, он сердито поднял с пола книгу; стоя, прочитал страницу и, швырнув книгу на постель, пожал плечами. За окном всё еще падал снег, но уже более сухой и мелкий.

Клим Самгин решил не выходить из комнаты, но горничная, подав кофе, сказала, что сейчас придут полотеры. Он взял книгу и перешел в комнату брата. Дмитрия не было, у окна стоял Туробоев в студенческом сюртуке; барабаня пальцами по стеклу, он смотрел, как лениво вползает в небо мохнатая туча дыма.

— Пожар,— сказал он, сжав руку Самгина слабо и небрежно, как всегда.

Среди неровной линии крыш, тепло одетых снегом, одна из них дымилась жидким, серым дымом; по толстому слою снега тяжело ползали медноголовые люди, тоже серые, как дым.

В этой картине Клим увидал что-то поражающе скучное.

— Не хочет гореть,— сказал Туробоев и отошел от окна. За спиною своей Клим услыхал его тихий возглас:

— А, Метерлинк...

Подчиняясь желанию задеть неприятного человека, Клим поискал в памяти острое, обидное словечко, но, не найдя его, пробормотал:

— Чепуха.

Туробоев не обиделся. Он снова встал рядом с Климом и, прислушиваясь к чему-то, заговорил тихо, равнодушно:

— Нет, почему же — чепуха? Весьма искусно сделано,— как аллегория для поучения детей старшего возраста. Слепые — современное человечество, поводыря, в зависимости от желания, можно понять как разум или как веру. А впрочем, я не дочитал эту штуку до конца.

Клим отошел от окна с досадой на себя. Как это он не мог уловить смысла пьесы? Присев на стул, Туробоев закурил папиросу, но тотчас же нервно ткнул ее в пепельницу.

— Это Нехаева просвещает вас? Она и меня пробовала развивать,— говорил он, задумчиво перелистывая книжку.— Любит остренькое. Она, видимо, считает свой мозг чем-то вроде подушечки для булавок,— знаете, такие подушечки, набитые песком?

— Очень начитана,— сказал Клим, чтобы сказать что-нибудь, а Туробоев тихонько добавил к своим словам:

— Осенняя муха...

В потолок сверху трижды ударили чем-то тяжелым, ножкой стула, должно быть. Туробоев встал, взглянул на Клима, как на пустое место, и, прикрепив его этим взглядом к окну, ушел из комнаты.

«Пошел к Спивак, это она стучала»,— сообразил Клим, глядя на крышу, где пожарные, растаптывая снег, заставляли его гуще дымиться серым дымом.

«Он сам — осенняя муха, Туробоев».

Вошла Марина, не постучав, как в свою комнату.

— Хотите чаю?

— Да, спасибо.

Сердито глядя в лицо Клима, она спросила:

— Где ваш брат?

— Не знаю.

Она повернулась к двери, но, притворив ее, снова шагнула к Самгину.

— Он не ночевал дома,— строго сказала она.

Клим усмехнулся:

— Это бывает с молодыми людями.

Густо покраснев, Марина спросила:

— Вы, кажется, говорите пошлости? А вам, известно, что он занимается с рабочими и что за это...

Не договорив, она ушла, прежде чем Самгин, возмущенный ее тоном, успел сказать ей, что он не гувернер Дмитрия.

— Дура,— ругался он, расхаживая по комнате.— Грубая дуреха.

Ему вспомнилось, как однажды, войдя в столовую, он увидал, что Марина, стоя в своей комнате против Кутузова, бьет кулаком своей правой руки по ладони левой, говоря в лицо бородатого студента:

— Я — ба-ба! Ба-ба!

Вначале ее восклицания показались Климу восклицаниями удивления или обиды. Стояла она спиною к нему, он не видел ее лица, но в следующие секунды понял, что она говорит с яростью и хотя не громко, на низких нотах, однако способна оглушительно закричать, затопать ногами.

— Понимаете? — спрашивала она, сопровождая каждое слово шлепающим ударом кулака по мягкой ладони.— У него — своя дорога. Он будет ученым, да! Профессором.

— Не рычите,— сказал Кутузов.

Он был выше Марины на полголовы, и было видно, что серые глаза его разглядывают лицо девушки с любопытством. Одною рукой он поглаживал бороду, в другой, опущенной вдоль тела, дымилась папироса. Ярость Марины становилась всё гуще, заметней.

— Он простодушен, честен, но у него нет воли...

— Ой, кажется, я вам юбку прожег,— воскликнул Кутузов, отодвигаясь от нее. Марина обернулась, увидела Клима и вышла в столовую с таким же багровым лицом, какое было у нее сейчас.

Жизнь брата не интересовала Клима, но после этой сцены он стал более внимательно наблюдать за Дмитрием. Он скоро убедился, что брат, подчиняясь влиянию Кутузова, играет при нем почти унизительную роль служащего его интересам и целям. Однажды Клим сказал это Дмитрию братолюбиво и серьезно, как умел. Но брат, изумленно выкатив овечьи глаза, засмеялся:

— Да — ты с ума сошел!

А затем, хлопнув Клима ладонью по колену, сказал:

— Все-таки — спасибо! Хорошо ты сказал это, чудак!

Клим замолчал, найдя его изумление, смех и жест — глупыми. Он два раза видел на столе брата нелегальные брошюры; одна из них говорила о том, «Что должен знать и помнить рабочий», другая «О штрафах». Обе — грязненькие, измятые, шрифт местами в черных пятнах, которые напоминали дактилоскопические оттиски.

«Ясно, что он возится с рабочими. И, если его арестуют, это может коснуться и меня: братья, живем под одной крышей...»

Взволнованный, он стал шагать по комнате быстрее, так, что окно стало передвигаться в стене справа налево.

Среди всех людей, встреченных Климом, сын мельника вызывал у него впечатление существа совершенно исключительного по своей законченности. Самгин не замечал в нем ничего лишнего, придуманного, ничего, что позволило бы думать: этот человек не таков, каким он кажется. Его грубоватая речь, тяжелые жесты, снисходительные и добродушные улыбочки в бороду, красивый голос — всё было слажено прочно и всё необходимо, как необходимы машине ее части. Клим даже вспомнил строчку стихов молодого, но уже весьма известного поэта:

Есть красота в локомотиве.

Но проповедь Кутузова становилась всё более напористой и грубой. Клим чувствовал, что Кутузов способен духовно подчинить себе не только мягкотелого Дмитрия, но и его. Возражать Кутузову — трудно, он смотрит прямо в глаза, взгляд его холоден, в бороде шевелится обидная улыбочка. Он говорит:

— Вы, Самгин, рассуждаете наивно. У вас в голове каша. Невозможно понять: кто вы? Идеалист? Нет. Скептик? Не похоже. Да и когда бы вам, юноша, нажить скепсис? Вот у Туробоева скептицизм законен: это мироощущение человека, который хорошо чувствует, что его класс сыграл свою роль и быстро сползает по наклонной плоскости в небытие.

Кутузов скучно начинал говорить об аграрной политике, дворянском банке, о росте промышленности.

Клим огорченно чувствовал, что Кутузов слишком легко расшатывает его уверенность в себе, что этот человек насилует его, заставляя соглашаться с выводами, против которых он, Клим Самгин, мог бы возразить только словами:

«Не хочу».

Но у него не хватало смелости сказать эти слова.

Он вдруг остановился среди комнаты, скрестив руки на груди, сосредоточенно прислушиваясь, как в нем зреет утешительная догадка: всё, что говорит Нехаева, могло бы служить для него хорошим оружием самозащиты. Всё это очень твердо противостоит «кутузовщине». Социальные вопросы ничтожны рядом с трагедией индивидуального бытия.

«Именно этим и объясняется мое равнодушие к проповеди Кутузова,— решил Клим, снова шагая по комнате.— Это не подсказано мне, я сам и давно понимал это...»

Он перешел в столовую, выпил чаю, одиноко посидел там, любуясь, как легко растут новые мысли, затем пошел гулять и незаметно для себя очутился у подъезда дома, где жила Нехаева.

«Беседы с нею полезны»,— подумал он, как бы извиняясь перед кем-то.

Девушка встретила его с радостью. Так же неумело и суетливо она бегала из угла в угол, рассказывая жалобно, что ночью не могла уснуть: приходила полиция, кого-то арестовали, кричала пьяная женщина, в коридоре топали, бегали.

— Жандармы? — спросил Клим хмуро.

— Нет, полиция. Арестован вор...

За чаем Клим говорил о Метерлинке сдержанно, как человек, который имеет свое мнение, но не хочет навязывать его собеседнику. Но он все-таки сказал, что аллегория «Слепых» слишком прозрачна, а отношение Метерлинка к разуму сближает его со Львом Толстым. Ему было приятно, что Нехаева согласилась с ним.

— Да,— сказала она,— но Толстой грубее. В нем много взятого от разума же, из мутного источника. И мне кажется, что ему органически враждебно чувство внутренней свободы. Анархизм Толстого — леген-

да, анархизм приписывается к числу его достоинств щедростью поклонников.

В этот вечер ее физическая бедность особенно колола глаза Клима. Тяжелое шерстяное платье неуловимого цвета состарило ее, отягчило движения, они стали медленнее, казались вынужденными. Волосы, вымытые недавно, она небрежно собрала узлом, это некрасиво увеличило голову ее. Клим и сегодня испытывал легонькие уколы жалости к этой девушке, спрятавшейся в темном углу нечистоплотных меблированных комнат, где она все-таки сумела устроить для себя уютное гнездо.

Говорила она то же, что и вчера,— о тайне жизни и смерти, только другими словами, более спокойно, прислушиваясь к чему-то и как бы ожидая возражений. Тихие слова ее укладывались в память Клима легким слоем, как пылинки на лакированную плоскость.

«А о любви не решается говорить,— наверное, и хотела бы, но — не смеет».

Сам он не чувствовал позыва перевести беседу на эту тему. Низко опущенный абажур наполнял комнату оранжевым туманом. Темный потолок, испещренный трещинами, стены, покрытые кусками материи, рыжеватый ковер на полу — всё это вызывало у Клима странное ощущение: он как будто сидел в мешке. Было очень тепло и неестественно тихо. Лишь изредка доносился глухой гул, тогда вся комната вздрагивала и как бы опускалась; должно быть, по улице ехал тяжело нагруженный воз.

Невнимательно слушая тихий голос Нехаевой, Клим думал:

«Жизнь дана мне не для того, чтоб я решал, кто прав: народники или марксисты».

Он не заметил, почему и когда Нехаева начала рассказывать о себе.

— Отец мой — профессор, физиолог, он женился, когда ему было уже за сорок лет, я — первый ребенок его. Мне кажется, что у меня было два отца: до семи лет — один,— у него доброе, бритое лицо с большими усами и веселые, светлые глаза. Он очень хорошо играл на виолончели. Потом он оброс серой бородою, стал

неряшлив и сердит, глаза спрятал дымчатыми очками и часто напивался пьян. Это оттого, что мать, родив мертвого ребенка, умерла. Я помню ее одетой в белое или светло-голубое, с толстой каштановой косой на груди, на спине. Она не была похожа на даму, она, до смерти ее, была как девушка, маленькая, пышная и очень живая. Умерла она летом, когда я жила в деревне, на даче, мне тогда шел седьмой год. Помню, как это было странно: приехала я домой, а мамы — нет, отец — не тот.

Рассказывала Нехаева медленно, вполголоса, но — без печали, и это было странно. Клим посмотрел на нее; она часто прищуривала глаза, подрисованные брови ее дрожали. Облизывая губы, она делала среди фраз неуместные паузы, и еще более неуместна была улыбка, скользившая по ее губам. Клим впервые заметил, что у нее красивый рот, и с любопытством мальчишки подумал:

«А — какова она голая? Смешная, должно быть».

В следующую секунду он сердито осудил себя за это любопытство и, нахмурясь, стал слушать внимательней.

— На мои детские вопросы: из чего сделано небо, зачем живут люди, зачем умирают, отец отвечал: «Это еще никому не известно. Вот, Фима, ты и родилась для того, чтоб узнать это». Он сажал меня на колени себе, дышал в лицо мое запахом пива, жесткая борода его неприятно колола мне шею, уши. Пива он пил ужасно много, распух от него, щеки вздулись, посинели, глаза его заплыли каким-то жидким жиром. Он был весь неприятен мне. Он возбуждал нехорошее чувство тем, что не умел — я тогда думала: не хотел — ответить мне ни на один из моих вопросов. Мне казалось, что он нарочно скрывает от меня сказочные тайны, разгаданные им, заставляя меня разрешать их, так же как заставлял решать задачи из учебника арифметики. Он никогда не помогал мне учить уроки и запрещал другим помогать. Я должна была делать всё сама. Но меня особенно отталкивало от него, когда он повторял: «Это — неизвестно. Ты сама попытайся решить». Он часто повторял эти слова.

— Мой отец отвечал на все вопросы,— вдруг и неожиданно для себя вставил Клим.

— Да, отвечал? — спросила Нехаева.— Но ведь...

Оборвав фразу, она помолчала несколько секунд, и снова зашелестел ее голос. Клим задумчиво слушал, чувствуя, что сегодня он смотрит на девушку не своими глазами; нет, она ничем не похожа на Лидию, но есть в ней отдаленное сходство с ним. Он не мог понять, приятно это ему или неприятно.

— По ночам отец, пьяный, играл на виолончели. Воющие звуки будили меня. Мне казалось, что отец играет только на басовых струнах и уже не так хорошо, как играл раньше. Темно, тихо, и во тьме длинные полосы звуков, еще более черных, чем тьма. Меня не пугал этот черный вой, но было так скучно, что я плакала. Отец умер, прохворав всего четыре дня. Как противны цифры, числа! Четыре дня лежал он, задыхаясь, синий, разбухший, и, глядя в потолок мокрыми щелочками глаз, молчал. В день смерти он — единственный раз!— пытался сказать мне что-то, но сказал только: «Вот, Фима, ты сама и...» Договорить — не мог, но я, конечно, поняла, что он хотел сказать. Я не особенно жалела его, хотя плакала много, это, вероятно, от страха. Он был страшен в гробу, такой огромный и — слепой.

Нехаева замолчала, наклонив голову, разглаживая ладонями юбку на колене своем. Ее рассказ настроил Клима лирически, он вздохнул:

— Да... отцы наши...

— «Отцы ели кислый виноград, а на зубах детей — оскомина» — это сказано кем из пророков? Забыла.

— И я не помню,— сказал Клим, хотя он не читал пророков.

Нехаева медленно, нерешительным жестом подняв руки, стала поправлять небрежную прическу, но волосы вдруг рассыпались по плечам, и Клима удивило, как много их и как они пышны. Девушка улыбнулась.

— Извините.

Клим поклонился, наблюдая, как безуспешно пытается она собрать волосы. Он молчал. Память не подсказывала значительных слов, а простые, обыденные

слова не доходили до этой девушки. Его смущало ощущение какой-то неловкости или опасности.

— Мне пора уходить.

— Почему?

— Поздно.

— Разве?

Она опустила руки, волосы снова упали на плечи, на щеки ее; лицо стало еще меньше.

— Приходите скорей,— сказала она странным тоном, как бы приказывая.

Было около полуночи, когда Клим пришел домой. У двери в комнату брата стояли его ботинки, а сам Дмитрий, должно быть, уже спал; он не откликнулся на стук в дверь, хотя в комнате его горел огонь, скважина замка пропускала в сумрак коридора желтенькую ленту света. Климу хотелось есть. Он осторожно заглянул в столовую, там шагали Марина и Кутузов, плечо в плечо друг с другом; Марина ходила, скрестив руки на груди, опустя голову, Кутузов, размахивая папиросой у своего лица, говорил вполголоса:

— Мы обладаем лишь одною силой, действительно способной преобразить нас, это — сила научного знания...

Густо, но как-то жалобно, Марина проворчала:

— А искусство?

— Утешает, но не воспитывает...

Клим насмешливо поморщился, с досадой ушел к себе и лег спать, думая: насколько Нехаева интереснее этого человека!

Через два дня вечером он снова сидел у нее. Он пришел к Нехаевой рано, позвал ее гулять, но на улице девушка скучно молчала, а через полчаса пожаловалась, что ей холодно.

— Поедемте ко мне.

— На извозчике вам будет еще холоднее.

— Нет. Так — скорее,— решительно сказала она.

Дома она обнаружила и в словах и во всем, что делалось ею, нервную торопливость и раздражение, сгибала шею, как птица, когда она прячет голову под крыло, и, глядя не на Самгина, а куда-то под мышку себе, говорила:

— Я не выношу праздничных улиц и людей, которые в седьмой день недели одевают на себя чистенькие костюмы, маски счастливцев.

Клим насмешливо пересказал ей изречение Кутузова о силе науки, Нехаева, вздернув плечи, заметила почти сердито:

— Едва ли люди, подобные ему, будут лучше оттого, что везде вспыхнет бескровный огонь электричества.

Клим, выпив немного больше, чем всегда, держался развязнее, говорил смелее:

— Я понимаю, что жизнь чрезмерно сложна, но Кутузов намерен не опростить ее, а изуродовать.

Он играл ножом для разрезывания книг, капризно изогнутой пластинкой бронзы с позолоченной головою бородатого сатира на месте ручки. Нож выскользнул из рук его и упал к ногам девушки; наклонясь, чтоб поднять его, Клим неловко покачнулся вместе со стулом и, пытаясь удержаться, схватил руку Нехаевой, девушка вырвала руку, лишенный опоры Клим припал на колено. Он плохо помнил, как разыгралось всё дальнейшее, помнил только горячие ладони на своих щеках, сухой, быстрый поцелуй в губы и торопливый шёпот:

— Да, да... О боже мой...

Потом, испытывая удивления больше, чем удовольствия, он слушал, как Нехаева, лежа рядом с ним, приглушенно рыдала, говоря жарким шёпотом:

— Любить, любить... Жизнь так страшна. Это — ужас, если не любить.

Клим приподнял голову ее, положил себе на грудь и крепко прижал рукою. Ему не хотелось видеть ее глаза, было неловко, стесняло сознание вины пред этим странно горячим телом. Она лежала на боку, маленькие, жидкие груди ее некрасиво свешивались обе в одну сторону.

— Милый,— шептала она, и кожу его груди щекотали тепленькие капли слез.— Такой милый, простой, как день. Такой страшный, близкий.

Он молчал, гладя ее голову ладонью. Сквозь шёлк ширмы, вышитой фигурами серебряных птиц, он смот-

рел на оранжевое пятно лампы, тревожно думая: что же теперь будет? Неужели она останется в Петербурге, не уедет лечиться? Он ведь не хотел, не искал ее ласк. Он только пожалел ее.

Но, думая так, он в то же время ощущал гордость собою: из всех знакомых ей мужчин она выбрала именно его. Эту гордость еще более усиливали ее любопытствующие ласки и горячие, наивные до бесстыдства слова.

— О, я знаю, что некрасива, но я так хочу любить. Я готовилась к этому, как верующая к причастию. И я умею любить, да? Умею?

— Да,— сказал Клим очень искренно.— Ты удивительная. Но все-таки это вредно тебе, и ты должна ехать...

Она не слушала; задыхаясь и кашляя, наклонясь над его лицом и глядя в смущенные глаза его глазами, из которых всё падали слезы, мелкие и теплые, она шептала:

— Милый. Осужденный.

Ее слезы казались неуместными: о чем же плакать? Ведь он ее не обидел, не отказался любить. Непонятное Климу чувство, вызывавшее эти слезы, пугало его. Он целовал Нехаеву в губы, чтоб она молчала, и невольно сравнивал с Маргаритой,— та была красивей и утомляла только физически. А эта шепчет:

— Подумай: половина женщин и мужчин земного шара в эти минуты любят друг друга, как мы с тобой, сотни тысяч рождаются для любви, сотни тысяч умирают, отлюбив. Милый, неожиданный...

И слова ее были излишни, даже как будто неправдивы.

«Неожиданный? Так ли?»

Оранжевое пятно на ширме напоминало о вечернем солнце, которое упрямо не хочет спрятаться в облаках. Время как будто остановилось в недоумении, нерешительном и близком скуке.

— Мы покорно и страстно приносим себя в жертву страшной тайне, создавшей нас.

Клим обнял ее и крепко закрыл горячий рот девушки поцелуем. Потом она вдруг уснула, измученно

приподняв брови, открыв рот, худенькое лицо ее приняло такое выражение, как будто она онемела, хочет крикнуть, но — не может. Клим осторожно встал, оделся.

Он вышел от нее очень поздно. Светила луна с той отчетливой ясностью, которая многое на земле обнажает как ненужное. Стеклянно хрустел сухой снег под ногами. Огромные дома смотрели друг на друга бельмами замороженных окон; у ворот — черные туши дежурных дворников; в пустоте неба заплуталось несколько звезд, не очень ярких. Всё ясно.

Утомленный физически, Клим шел не торопясь, чувствуя, как светлый холод ночи вымораживает из него неясные мысли и ощущения. Он даже мысленно напевал на мотив какой-то оперетки:

«Да — был ли мальчик-то? Быть может — не было мальчика?»

Потер озябшие руки и облегченно вздохнул. Значит, Нехаева только играла роль человека, зараженного пессимизмом, играла для того, чтоб, осветив себя необыкновенным светом, привлечь к себе внимание мужчины. Так поступают самки каких-то насекомых. Клим Самгин чувствовал, что к радости его открытия примешивается злоба на кого-то. Трудно было понять: на Нехаеву или на себя? Или на что-то неуловимое, что не позволяет ему найти точку опоры?

Затем он вспомнил, что в кармане его лежит письмо матери, полученное днем; немногословное письмо это, написанное с алгебраической точностью, сообщает, что культурные люди обязаны работать, что она хочет открыть в городе музыкальную школу, а Варавка намерен издавать газету и пройти в городские головы. Лидия будет дочерью городского головы. Возможно, что, со временем, он расскажет ей роман с Нехаевой; об этом лучше всего рассказать в комическом тоне.

Он заставил себя еще подумать о Нехаевой, но думалось о ней уже благожелательно. В том, что она сделала, не было, в сущности, ничего необычного: каждая девушка хочет быть женщиной. Ногти на ногах у нее плохо острижены, и, кажется, она сильно оцарапала ему кожу щиколотки.

Клим шагал всё более твердо и быстрей. Начинался рассвет, небо, позеленев на востоке, стало еще холоднее. Клим Самгин поморщился: неудобно возвращаться домой утром. Горничная, конечно, расскажет, что он не ночевал дома.

Он проснулся в настроении бодром. Неожиданный роман приподнял его и укрепил подозрение в том, что о чем бы люди ни говорили, за словами каждого из них, наверное, скрыто что-нибудь простенькое, как это оказалось у Нехаевой. Идти к ней вечером — не хотелось, но он сообразил, что, если не пойдет, она явится сама и, возможно, чем-нибудь скомпрометирует его в глазах брата, нахлебников, Марины. Он почему-то особенно не желал, чтоб о его связи с Нехаевой узнала Марина, но ничего не имел против того, чтобы об этом знала Спивак.

Лежа в постели, Клим озабоченно вспоминал голодные, жадные ласки Нехаевой, и ему показалось, что в них было что-то болезненное, доходящее до границ отчаяния. Она так прижималась к нему, точно хотела исчезнуть в нем. Но было в ней и нечто детски нежное, минутами она будила и в нем нежность.

«Надобно идти»,— решил он и вечером пошел, сказав брату, что идет в цирк.

У стола в комнате Нехаевой стояла шерстяная кругленькая старушка, она бесшумно брала в руки вещи, книги и обтирала их тряпкой. Прежде чем взять вещь, она вежливо кивала головою,а затем так осторожно вытирала ее, точно вазочка или книга были живые и хрупкие, как цыплята. Когда Клим вошел в комнату, она зашипела на него:

— Шш — спит!

Старушка была такая же выдуманная, как вся эта комната и сама хозяйка комнаты.

— Скажите, что заходил Самгин.

Из-за ширмы прозвучал слабый голос:

— Это вы? О, пожалуйста...

Клим вошел в желтоватый сумрак за ширму, озабоченный только одним желанием: скрыть от Нехаевой, что она разгадана. Но он тотчас же почувствовал, что у него похолодели виски и лоб. Одеяло было натянуто

на постели так гладко, что казалось: тела под ним нет, а только одна голова лежит на подушке и под серой полоской лба неестественно блестят глаза.

«Игра»,— сказал он себе, но это слово вспомнилось не сразу.

— У меня тридцать восемь и шесть,— слышал он тихий и виноватый голос.— Садитесь. Я так рада. Тетя Тася, сделайте чай,— хорошо?

— Очень хорошо,— пискливым голосом игрушки ответили ей.

Высвободив из-под плюшевого одеяла голую руку, другою рукой Нехаева снова закуталась до подбородка; рука ее была влажно горячая и неприятно легкая — Клим вздрогнул, сжав ее. Но лицо, густо порозовевшее, оттененное распущенными волосами и освещенное улыбкой радости, вдруг показалось Климу незнакомо милым, а горящие глаза вызывали у него и гордость и грусть. За ширмой шелестело и плавало темное облако, скрывая оранжевое пятно огня лампы, лицо девушки изменялось, вспыхивая и угасая.

В этот вечер Нехаева не цитировала стихов, не произносила имен поэтов, не говорила о своем страхе пред жизнью и смертью, она говорила неслыханными, нечитанными Климом словами только о любви. Улыбаясь, играя пальцами руки его, жадно глотая воздух, она шептала эти необычные слова, и Клим, не сомневаясь в их искренности, думал: не всякий может похвастаться тем, что вызвал такую любовь! Вместе с этим она была так по-детски жалка, что и ему захотелось говорить искренно. В словах ее он чувствовал столько пьяного счастья, что они опьяняли и его, возбуждая желание обнять и целовать невидимое ее тело. Мелькнула странная мысль: ее можно щипать, кусать, вообще — мучить, но она и это приняла бы как ласку. Она спрашивала шёпотом:

— Ведь я — нравлюсь тебе? Ты меня немножко любишь?

— Да,— отвечал Клим, веря, что он не лжет.— Да!

Он смотрел в расширенные зрачки ее полубезумных глаз, и они открывали ему в глубине своей нечто, о чем он невольно подумал:

«Так вот это — любовь?»

И тотчас же ему вспомнились глаза Лидии, затем — немой взгляд Спивак. Он смутно понимал, что учится любить у настоящей любви, и понимал, что это важно для него. Незаметно для себя он в этот вечер почувствовал, что девушка полезна для него: наедине с нею он испытывает смену разнообразных, незнакомых ему ощущений и становится интересней сам себе. Он не притворяется пред нею, не украшает себя чужими словами, а Нехаева говорит ему:

— Насколько ты, с твоей сдержанностью, аристократичнее других! Так приятно видеть, что ты не швыряешь своих мыслей, знаний бессмысленно и ненужно, как это делают все, рисуясь друг перед другом! У тебя есть уважение к тайнам твоей души, это — редко. Не выношу людей, которые кричат, как заплутавшиеся в лесу слепые. «Я, я, я»,— кричат они.

Клим соглашался:

— Да, о чем бы ни кричали, они в конце концов кричат только о своих *я*.

— Потому что оно бесцветно у них, они его не видят,— подхватила она его слова.

Особенно ценным в Нехаевой было то, что она умела смотреть на людей издали и сверху. В ее изображении даже те из них, о которых почтительно говорят, хвалебно пишут, становились маленькими и незначительными пред чем-то таинственным, что она чувствовала. Это таинственное не очень волновало Самгина, но ему было приятно, что девушка, упрощая больших людей, внушает ему сознание его равенства с ними.

Он стал ходить к ней каждый вечер и, насыщаясь ее речами, чувствовал, что растет. Его роман, конечно, был замечен, и Клим видел, что это выгодно подчеркивает его. Елизавета Спивак смотрела на него с любопытством и как бы поощрительно, Марина стала говорить еще более дружелюбно, брат, казалось, завидует ему. Дмитрий почему-то стал мрачнее, молчаливей и смотрел на Марину, обиженно мигая.

Клим ощущал в себе игру веселенького снисхождения ко всем, щекочущее желание похлопать по плечу Кутузова, который с одинаковым упрямством доказы-

вал необходимость изучения Маркса и гениальность Мусоргского, наваливаясь на немого, тихого Спивака, всегда сидевшего у рояля, он говорил:

— Самая слабая опера Римского-Корсакова талантливее лучшей оперы Верди...

— Не кричите мне в ухо,— просил Спивак.

Дома было скучновато: пели всё те же романсы, дуэты и трио, всё так же Кутузов сердился на Марину за то, что она детонирует, и так же он и Дмитрий спорили с Туробоевым, возбуждая и у Клима желание задорно крикнуть им что-то насмешливое.

Нехаева встала на ноги, красные пятна на щеках ее горели еще ярче, под глазами легли тени, обострив ее скулы и придавая взгляду почти невыносимый блеск. Марина, встречая ее, сердито кричала:

— С ума ты сходишь! И чего смотрит твой доктор? Ведь это самоубийство!

Нехаева улыбалась ей, облизывала сухие губы, садилась в угол дивана, и вскоре там назойливо звучал ее голосок, докторально убеждавший Дмитрия Самгина:

— Стремление ученого анализировать явления природы равноценно игре ребенка, который ломает игрушки, чтоб посмотреть, что у них внутри...

— А — не банально ли это, барышня? — издали спрашивал Кутузов, теребя бороду, хмуря брови. Она не отвечала ему, это брал на себя Туробоев; он ленивенько говорил:

— А внутри обыкновенно оказывается или непознаваемое или какая-нибудь дрянь, вроде борьбы за существование...

Просидев час—полтора, Нехаева собиралась домой. Клим шел провожать ее, не всегда охотно.

Она любила дарить ему книги, репродукции с модных картин, подарила бювар, на коже которого был вытиснен фавн, и чернильницу невероятно вычурной формы. У нее было много смешных примет, маленьких суеверий, она стыдилась их, стыдилась, видимо, и своей веры в бога. Стоя с Климом в Казанском соборе за пасхальной обедней, она, когда запели «Христос воскресе», вздрогнула, пошатнулась и тихонько зарыдала.

А после, идя с ним по улице, под черным небом и холодным ветром, который, сердито пыля сухим снегом, рвал и разбрасывал по городу жидковатый звон колоколов, она, покапливая, виновато говорила:

— Смешно, что я заплакала? Но меня потрясает гениальное, а церковная музыка в России — гениальна...

Вырываясь из каменных объятий собора, бежали во все стороны темненькие люди; при огнях не очень пышной иллюминации они казались темнее, чем всегда; только из-под верхних одежд женщин выглядывали полосы светлых материй.

Клим, слушая ее, думал о том, что провинция торжественнее и радостней, чем этот холодный город, дважды аккуратно и скучно разрезанный вдоль: рекою, сдавленной гранитом, и бесконечным каналом Невского, тоже как будто прорубленного сквозь камень. И ожившими камнями двигались по проспекту люди, катились кареты, запряженные машиноподобными лошадями. Медный звон среди каменных стен пел не так благозвучно, как в деревянной провинции.

Нехаева, повиснув на руке Клима, говорила о мрачной поэзии заупокойной литургии, заставив спутника своего с досадой вспомнить сказку о глупце, который пел на свадьбе похоронные песни. Шли против ветра, говорить ей было трудно, она задыхалась. Клим строго, тоном старшего, сказал:

— Молчи. Закрой рот и дыши носом.

Но, когда, наняв извозчика, поехали к Премировым, она снова заговорила, прикрывая рот муфтой.

— Ты, конечно, считаешь это всё предрассудком, а я люблю поэзию предрассудков. Кто-то сказал: «Предрассудки — обломки старых истин». Это очень умно. Я верю, что старые истины воскреснут еще более прекрасными.

Клим слушал молча, чувствуя, что в этой девушке нарастает желание вызвать его на спор, противоречить ему. Он уже не впервые замечал это и с трудом скрывал от Нехаевой, что она утомляет его. Истерические ласки ее стали привычны, однообразны, слова повторялись. И всё чаще смущали ее странные припадки вопроси-

тельного молчания. Было неловко с человеком, который молча рассматривает тебя, как бы догадываясь о чем-то. Сухой кашель Нехаевой напоминал о заразительности туберкулеза.

Столовая Премировых ярко освещена, на столе, украшенном цветами, блестело стекло разноцветных бутылок, рюмок и бокалов, сверкала сталь ножей; на синих широких краях фаянсового блюда приятно отражается огонь лампы, ярко освещая горку разноцветно окрашенных яиц. Посреди стола и поперек его, на блюде, в пене сметаны и тертого хрена лежал, весело улыбаясь, поросенок, с трех сторон его окружали золотисто поджаренный гусь, индейка и солидный окорок ветчины.

— П'гошу к столу! — объявила старушка Премирова; вся шёлковая, в кружевной наколке на серых волосах, она села первая и скромно похвасталась:

— У меня всё — по старинке.

Рядом с нею села Марина, в пышном, сиреневого цвета платье, с буфами на плечах, со множеством складок и оборок, которые расширяли ее мощное тело; против сердца ее, точно орден, приколоты маленькие часы с эмалью. По другой бок старухи сел Дмитрий Самгин, одетый в белый китель и причесанный так, что стал похож на приказчика из мучной лавки. Щеголь Туробоев оказался далеко от Клима — на другом конце стола, Кутузов — между Мариной и Спивак. В сюртуке, поношенном и узком, он сидел, подняв сутуло плечи, и это не шло к его широкой фигуре. Он тотчас же сказал Марине:

— Вы похожи на «гуляй-город».

— Это что еще? — сердито спросила она.

Кутузов любезно объяснил:

— Сооружение, которое в старину употребляли для осады городов.

Марина, шевеля густыми бровями, подумала, вспомнила что-то и, покраснев, ответила:

— Очень грубо.

Дмитрий Самгин стукнул ложкой по краю стола и открыл рот, но ничего не сказал, только чмокнул губами, а Кутузов, ухмыляясь, начал что-то шептать в ухо Спивак. Она была в светло-голубом, без глупых

пузырей на плечах, и это гладкое, лишенное украшений платье, гладко причесанные каштановые волосы усиливали серьезность ее лица и неласковый блеск спокойных глаз. Клим заметил, что Туробоев криво усмехнулся, когда она утвердительно кивнула Кутузову.

Нехаева, в белом и каком-то детском платье, каких никто не носил, морщила нос, глядя на обилие пищи, и осторожно покашливала в платок. Она чем-то напоминала бедную родственницу, которую пригласили к столу из милости. Это раздражало Клима, его любовница должна быть цветистее, заметней. И ела она еще более брезгливо, чем всегда, можно было подумать, что она делает это напоказ, назло.

Насыщались прилежно, насытились быстро, и началась одна из тех бессвязных бесед, которые Клим с детства знал. Кто-то пожаловался на холод, и тотчас, к удивлению Клима, молчаливая Спивак начала восторженно хвалить природу Кавказа. Туробоев, послушав ее минуту, две, зевнул и сказал с подчеркнутой ленцой:

— А самое интересное на Кавказе — трагический рев ослов. Очевидно, лишь они понимают, как нелепы эти нагромождения камня, ущелья, ледники и всё прославленное великолепие горной природы.

Он говорил, нервно покуривая, дыша дымом, глядя на конец папиросы. Спивак не ответила ему, а старушка Премирова, вздохнув, сказала:

— На Кавказе отца моего убили...

Ей тоже никто не ответил, тогда она быстро добавила:

— На Лермонтова был похож.

Но и эти слова не были услышаны. Ко всему притерпевшаяся старушка вытерла салфеткой серебряную стопку, из которой пила вино, перекрестилась и молча исчезла.

Клим, зная, что Туробоев влюблен в Спивак и влюблен не без успеха,— если вспомнить три удара в потолок комнаты брата,— удивлялся. В отношении Туробоева к этой женщине явилось что-то насмешливое и раздражительное. Туробоев высмеивал ее суждения

и вообще как будто не хотел, чтоб при нем она говорила с другими.

«Очевидно, поссорились»,— сообразил Самгин и чувствовал, что это приятно ему.

У него немножко шумело в голове и возникало желание заявить о себе; он шагал по комнате, прислушиваясь, присматриваясь к людям, и находил почти во всех забавное: вот Марина, почти прижав к стене светловолосого носатого юношу, говорит ему:

— Вы бы писали прозу, на прозе больше заработаете денег и скорее славу.

— Но если я — поэт? — удивленно спросил юноша, потирая лоб.

— Не трите лоб, от этого у вас глаза краснеют,— сказала Марина.

Туробоев объясняет высокому человеку с еврейским лицом:

— Нет, я не заражен стремлением делать историю, меня совершенно удовлетворяет профессор Ключевский, он делает историю отлично. Мне говорили, что он внешне похож на царя Василия Шуйского: историю написал он, как написал бы ее этот хитрый царь...

Его слова заглушил сердитый голос Дмитрия:

— Не новость. Сходство Диониса и Христа давно замечено.

Как раньше, задорно звучал голосок Нехаевой:

— В России знают только лиризм и пафос разрушения.

— Вы, барышня, плохо знаете Россию.

— Снежная любовь, ледяное милосердие.

— Ого! Ка-акие слова!

— Выдуманные души...

Нехаева кричала слишком громко, Клим подумал, что она, должно быть, выпила больше, чем следовало, и старался держаться в стороне от нее; Спивак, сидя на диване, спросила:

— В вашем городе есть еще Самгины?

— Да, моя мать.

— Очевидно, это она приглашает мужа организовать там музыкальную школу?

Дмитрий, пьяненький и красный, сказал, смеясь:

— Да ведь вы уже спрашивали меня об этом!

— Разве? — удивленно воскликнула Спивак.— У меня плохая память.

Она легко поднялась с дивана и, покачиваясь, пошла в комнату Марины, откуда доносились крики Нехаевой; Клим смотрел вслед ей, улыбаясь, и ему казалось, что плечи, бедра ее хотят сбросить ткань, прикрывающую их. Она душилась очень крепкими духами, и Клим вдруг вспомнил, что ощутил их впервые недели две тому назад, когда Спивак, проходя мимо его и напевая романс «На холмах Грузии», произнесла волнующий стих:

Тобой, одной тобой.

А что, если она пела: «... одним тобой»?

Он быстро пошел в комнату Марины, где Кутузов, развернув полы сюртука, сунув руки в карманы, стоял монументом среди комнаты и, высоко подняв брови, слушал речь Туробоева; Клим впервые видел Туробоева говорящим без обычных гримас и усмешечек, искажавших его красивое лицо.

— Совершенно ясно, что культура погибает, потому что люди привыкли жить за счет чужой силы и эта привычка насквозь проникла все классы, все отношения и действия людей. Я — понимаю: привычка эта возникла из желания человека облегчить труд, но она стала его второй природой и уже не только приняла отвратительные формы, но в корне подрывает глубокий смысл труда, его поэзию.

Кутузов дружелюбно усмехнулся.

— Идеалист вы, Туробоев. И — романтик, а это уж совсем не ко времени.

Марина сердито дергала шнурок вентилятора. Спивак подошла к ней, желая помочь, но Марина, оборвав шнур, бросила его на пол.

— Мужчины — уходите! — скомандовала она.— Серафима, ты будешь спать у меня; все пьяны, провожать тебя некому.

— Я — не пьян! — заявил Клим.

Спивак, стоя на стуле, упрямо старалась открыть вентилятор. Кутузов подошел, снял ее, как ребенка, со стула, поставил на пол и, открыв вентилятор, сказал:

— Идемте к Самгину... старшему. Идем, тетя Лиза?

Пошли. В столовой Туробоев жестом фокусника снял со стола бутылку вина, но Спивак взяла ее из руки Туробоева и поставила на пол. Клима внезапно ожег злой вопрос: почему жизнь швыряет ему под ноги таких женщин, как продажная Маргарита или Нехаева? Он вошел в комнату брата последним и через несколько минут прервал спокойную беседу Кутузова и Туробоева, торопливо говоря то, что ему давно хотелось сказать:

— Я с детства слышу речи о народе, о необходимости революции, обо всем, что говорится людями для того, чтоб показать себя друг перед другом умнее, чем они есть на самом деле. Кто... кто это говорит? Интеллигенция.

Смутно поняв, что начал он слишком задорным тоном и что слова, давно облюбованные им, туго вспоминаются, недостаточно легко идут с языка, Самгин на минуту замолчал, осматривая всех. Спивак, стоя у окна, растекалась по тусклым стеклам голубым пятном. Брат стоял у стола, держа пред глазами лист газеты, и через нее мутно смотрел на Кутузова, который, усмехаясь, говорил ему что-то.

«Они меня не слушают»,— сообразил Клим и рассердился.

Туробоев сидел в углу, наклонясь вперед, он курил, пуская кольца дыма на средину комнаты. Он сказал тихо:

— Ваш дядя, как я слышал...

Клим закричал:

— Что вы хотите сказать? Мой дядя такой же продукт разложения верхних слоев общества, как и вы сами... Как вся интеллигенция. Она не находит себе места в жизни и потому...

Туробоев из своего угла сказал:

— Вы, Самгин, кажется, стали марксистом, но, я думаю, это оттого, что за столом вы неосторожно мешали белое вино с красным...

Дмитрий громко засмеялся, Кутузов сказал ему:

— Не мешай.

Климу хотелось, чтоб с ним спорили, он всё более задорно говорил Варавкиными словами:

— Сам народ никогда не делает революции, его толкают вожди. На время подчиняясь им, он вскоре начинает сопротивляться идеям, навязанным ему извне. Народ знает и чувствует, что единственным законом для него является эволюция. Вожди всячески пытаются нарушить этот закон. Вот чему учит история...

— Любопытная история,— сказал Туробоев.

— Старенькая,— добавил Кутузов и встал.— Н-ну-с, мне пора идти.

Все мысли Клима вдруг оборвались, слова пропали. Ему показалось, что Спивак, Кутузов, Туробоев выросли и распухли, только брат остался таким же, каким был; он стоял среди комнаты, держа себя за уши, и качался.

— У вас, Кутузов, неприятная манера стоять, выдвинув левую ногу вперед. Это значит: вы уже считаете себя вождем и думаете о монументе...

— Чтоб стоять под снегом и дождем,— пробормотал Дмитрий Самгин, обняв брата за талию. Клим оттолкнул его движением плеча, продолжая крикливо:

— Но, по вере вашей, Кутузов, вы не можете претендовать на роль вождя. Маркс не разрешает это, вождей — нет, историю делают массы. Лев Толстой развил эту ошибочную идею понятнее и проще Маркса, прочитайте-ка «Войну и мир».

Клим Самгин снова оттолкнул брата:

— Прочитайте! Кстати — у вас и фамилия та же, что у полководца, которым командовала армия.

Уверенный, что он сказал нечто едкое, остроумное, Клим захохотал, прикрыв глаза, а когда открыл их — в комнате никого не было, кроме брата, наливавшего воду из графина в стакан.

Дальше Клим ничего не помнил.

Проснулся он с тяжестью в голове и смутным воспоминанием о какой-то ошибке, о неосторожности, совершенной вчера. Комнату наполнял неприятно рассеянный, белесоватый свет солнца, спрятанного в бесцветной пустоте за окном. Пришел Дмитрий, его мокрые, гладко причесанные волосы казались жирно смазанными маслом и уродливо обнажали красноватые

глаза, бабье, несколько опухшее лицо. Уже по унылому взгляду его Клим понял, что сейчас он услышит нечто плохонькое.

— Что ж ты как вчера? — заговорил брат, опустив глаза и укорачивая подтяжки брюк.— Молчал, молчал... Тебя считали серьезно думающим человеком, а ты вдруг такое, детское. Не знаешь, как тебя понять. Конечно, выпил, но ведь говорят: «Что у трезвого на уме — у пьяного на языке».

Говорил Дмитрий задумчиво и затрудненно. Справившись с подтяжками, он сел на скрипучий стул.

— Вышло, знаешь, так, будто в оркестр вскочил чужой музыкант и, ради озорства, задудел не то, что все играют.

«Какой тусклый, бездарный человек,— думал Клим.— Совершенно Таня Куликова».

И вдруг заговорил:

— Ну, довольно! Ты — не гувернер мой. Ты бы лучше воздерживался от нелепых попыток каламбурить. Стыдно говорить Наташка вместо — натяжка и очепятка вместо — опечатка. Еще менее остроумно называть Ботнический залив — болтуническим, Адриатическое море — идиотическим...

Разгорячась, он сказал брату и то, о чем не хотел говорить: как-то ночью, возвращаясь из театра, он тихо шагал по лестнице и вдруг услыхал над собою, на площадке, пониженные голоса Кутузова и Марины.

— Когда же ты скажешь Самгину?

— Не хватает храбрости... И — жалко, он — так...

— Я тоже так...

Сочно чмокнул поцелуй; Марина довольно громко сказала:

— Не смей!

Кутузов промычал что-то, а Клим бесшумно спустился вниз и снова зашагал вверх по лестнице, но уже торопливо и твердо. А когда он вошел на площадку — на ней никого не было. Он очень возжелал немедленно рассказать брату этот диалог, но, подумав, решил, что это преждевременно: роман обещает быть интересным, герои его все такие плотные, тельные. Их телесная плотность особенно возбуждала любопытство Клима.

Кутузов и брат, вероятно, поссорятся, и это будет полезно для брата, слишком подчиненного Кутузову.

Рассказав Дмитрию подслушанную беседу, он прибавил, поддразнивая:

— Конечно, она предпочтет его...

Говоря, он смотрел в потолок и не видел, что делает Дмитрий; два тяжелых хлопка заставили его вздрогнуть и привскочить на кровати. Хлопал брат книгой по ладони, стоя среди комнаты в твердой позе Кутузова. Чужим голосом, заикаясь, он сказал:

— Т-такие в-вещи рассказывают горничные. Это извинительно только с похмелья.

Швырнув книгу на стол, он исчез, оставив Клима так обескураженным, что он лишь минуты через две сообразил:

«Этим тоном Дмитрий не смел говорить со мной. Надо объясниться».

Решил пойти к брату и убедить его, что рассказ о Марине был вызван естественным чувством обиды за человека, которого обманывают. Но, пока он мылся, одевался, оказалось, что брат и Кутузов уехали в Кронштадт.

Елизавета Спивак простудилась и лежала в постели. Марина, чрезмерно озабоченная, бегала по лестнице вверх и вниз, часто смотрела в окна и нелепо размахивала руками, как бы ловя моль, невидимую никому, кроме нее. Когда Клим выразил желание посетить больную, Марина сухо сказала:

— Спрошу.

Но Клим был уверен, что она не спросила, наверх его не позвали. Было скучно. После завтрака, как всегда, в столовую спускался маленький Спивак:

— Я не помешаю? — спрашивал он и шел к роялю. Казалось, что, если б в комнате и не было бы никого, он все-таки спросил бы: не помешает ли? И если б ему ответили: «Да, помешаете»,— он все-таки подкрался бы к инструменту.

Клим не мог представить его иначе, как у рояля, прикованным к нему, точно каторжник к тачке, которую он не может сдвинуть с места. Ковыряя пальцами двухцветные кости клавиатуры, он извлекал из чер-

ного сооружения негромкие ноты, необыкновенные аккорды и, склонив набок голову, глубоко спрятанную в плечи, скосив глаза, присматривался к звукам. Говорил он мало и только на две темы: с таинственным видом и тихим восторгом о китайской гамме и жалобно, с огорчением о несовершенстве европейского уха.

— У нас ухо забито шумом каменных городов, извозчиками, да, да! Истинная, чистая музыка может возникнуть только из совершенной тишины. Бетховен был глух, но ухо Вагнера слышало несравнимо хуже Бетховена, поэтому его музыка только хаотически собранный материал для музыки. Мусоргский должен был оглушаться вином, чтоб слышать голос своего гения в глубине души, понимаете?

Клим Самгин считал этого человека юродивым. Но нередко маленькая фигурка музыканта, припавшая к черной массе рояля, вызывала у него жуткое впечатление надмогильного памятника: большой черный камень, а у подножия его тихо горюет человек.

Для Клима наступило тяжелое время. Отношение к нему резко изменилось, и никто не скрывал этого. Кутузов перестал прислушиваться к его скупым, тщательно обдуманным фразам, здоровался равнодушно, без улыбки. Брат с утра исчезал куда-то, являлся поздно, усталый; он худел, становился неразговорчив, при встречах с Климом конфузливо усмехался. Когда Клим попробовал объясниться, Дмитрий тихо, но твердо сказал:

— Оставь это.

Туробоев гримасничал более, чем раньше, не замечал Клима и смотрел в потолок.

— Что это вы всё вверх смотрите? — спросила его старуха Премирова.

Он сквозь зубы ответил:

— Жду, когда оживут мухи.

Нехаева не уезжала. Клим находил, что здоровье ее становится лучше, она меньше кашляет и даже как будто пополнела. Это очень беспокоило его, он слышал, что беременность не только задерживает развитие туберкулеза, но иногда излечивает его. И мысль, что у него может быть ребенок от этой девицы, пугала Клима.

Она стала молчаливее и говорила уже не так жарко, не так цветисто, как раньше. Ее нежность стала приторной, в обожающем взгляде явилось что-то блаженненькое. Взгляд этот будил в Климе желание погасить его полуумный блеск насмешливым словом. Но он не мог поймать минуту, удобную для этого: каждый раз, когда ему хотелось сказать девушке неласковое или острое слово, глаза Нехаевой, тотчас изменяя выражение, смотрели на него вопросительно, пытливо.

— Над чем ты смеешься? — спрашивала она.

— Я не смеюсь,— отрицал Клим, робея.

— Но ведь я вижу,— настаивала она.— У тебя в глазах снежинки.

Он робел еще больше, ожидая, что вот сейчас она спросит его: как он думает о дальнейших отношениях между ними?

Петербург становился еще неприятнее оттого, что в нем жила Нехаева.

Весна подходила медленно. Среди ленивых облаков, которые почти каждый день уныло сеяли дождь, солнце появлялось ненадолго, неохотно и бесстрастно обнажало грязь улиц, копоть на стенах домов. С моря дул холодный ветер, река синевато вспухла, тяжелые волны голодно лижут гранит берегов. Из окна своей комнаты Клим видел за крышами угрожающе поднятые в небо пальцы фабричных труб; они напоминали ему исторические предвидения и пророчества Кутузова, напоминали остролицего рабочего, который по праздникам таинственно, с черной лестницы, приходил к брату Дмитрию, и тоже таинственную барышню, с лицом татарки, изредка посещавшую брата. Барышня была какая-то беззвучная и слепо прищуривала глаза, черные, как смола.

Иногда казалось, что тяжкий дым фабричных труб имеет странное свойство: вздымаясь и растекаясь над городом, он как бы разъедал его. Крыши домов таяли, исчезали, всплывая вверх, затем снова опускались из дыма. Призрачный город качался, приобретая жуткую неустойчивость, это наполняло Самгина странной тяжестью, заставляя вспоминать славянофилов, не лю-

бивших Петербург, «Медного всадника», болезненные рассказы Гоголя.

Не нравилась ему игла Петропавловской крепости и ангел, пронзенный ею; не нравилась потому, что об этой крепости говорили с почтительной ненавистью к ней, но порою в ненависти звучало что-то похожее на зависть: студент Попов с восторгом называл крепость:

— П'антеон.

Звуком «п» он как бы подражал выстрелу из игрушечного пистолета, а остальные звуки произносил вполголоса.

— Б'акунин,— говорил он, загибая пальцы.— Неччаев. К'нязь Кроп-поткин...

Было что-то нелепое в гранитной массе Исаакиевского собора, в прикрепленных к нему серых палочках и дощечках лесов, на которых Клим никогда не видел ни одного рабочего. По улицам машинным шагом ходили необыкновенно крупные солдаты; один из них, шагая впереди, пронзительно свистел на маленькой дудочке, другой жестоко бил в барабан. В насмешливом, злокозненном свисте этой дудочки, в разноголосых гудках фабрик, рано по утрам разрывавших сон, Клим слышал нечто, изгонявшее его из города.

Он замечал, что в нем возникают не свойственные ему думы, образы, уподобления. Идя по Дворцовой площади или мимо нее, он видел, что лишь редкие прохожие спешно шагают по лысинам булыжника, а хотелось, чтоб площадь была заполнена пестрой, радостно шумной толпою людей. Александровская колонна неприятно напоминала фабричную трубу, из которой вылетел бронзовый ангел и нелепо застыл в воздухе, как бы соображая, куда бросить свой крест. Царский дворец, всегда безгласный, с пустыми окнами, вызывал впечатление нежилого дома. Вместе с полукругом скучных зданий цвета железной ржавчины, замыкавших пустынную площадь, дворец возбуждал чувство уныния. Клим находил, что было бы лучше, если б дом хозяина России поддерживали устрашающие кариатиды Эрмитажа.

Видя эту площадь, Клим вспоминал шумный университет и студентов своего факультета — людей, которые

учились обвинять и защищать преступников. Они уже и сейчас обвиняли профессоров, министров, царя. Самодержавие царя защищали люди неяркие, бесталанно и робко; их было немного, и они тонули среди обвинителей.

Климу надоели бесконечные споры народников с марксистами, и его раздражало, что он не мог понять: кто ошибается наиболее грубо? Он был крепко, органически убежден, что ошибаются и те и другие, он не мог думать иначе, но не усваивал, для которой группы наиболее обязателен закон постепенного и мирного развития жизни. Иногда ему казалось, что марксисты более глубоко, чем народники, понимают несокрушимость закона эволюции, но все-таки и на тех и на других он смотрел как на представителей уже почти ненавистной ему «кутузовщины». Было невыносимо видеть болтливых людишек, которым глупость юности внушила дерзкое желание подтолкнуть, подхлестнуть веками узаконенное равномерное движение жизни.

Его особенно занимали споры на тему: вожди владеют волей масс или масса, создав вождя, делает его орудием своим, своей жертвой? Мысль, что он, Самгин, может быть орудием чужой воли, пугала и возмущала его. Вспоминалось толкование отцом библейской легенды о жертвоприношении Авраама и раздраженные слова Нехаевой:

— Народ — враг человека! Об этом говорят вам биографии почти всех великих людей.

Клим находил, что это верно: какая-то чудовищная пасть поглощает, одного за другим, лучших людей земли, извергая из желудка своего врагов культуры, таких, как Болотников, Разин, Пугачев.

Надоедал Климу студент Попов; этот голодный человек неутомимо бегал по коридорам, аудиториям, руки его судорожно, как вывихнутые, дергались в плечевых суставах; наскакивая на коллег, он выхватывал из карманов заношенной тужурки письма, гектографированные листки папиросной бумаги и бормотал, втягивая в себя звук «с»:

— С'амгин, послушайте: из Од'дессы пишут... С'туденчество — авангард... Ун'иверситет — пункт орга-

низации к'ультурных с'ил... Землячества — зародыши всероссийского союза... Из К'азани с'ообщают...

Таких, как Попов, суетливых и вывихнутых, было несколько человек. Клим особенно не любил, даже боялся их и видел, что они пугают не только его, а почти всех студентов, учившихся серьезно.

Они постоянно навязывали билеты на вечеринки в пользу землячеств, на какие-то концерты, организуемые с таинственной целью.

Лекции, споры, шёпоты, весь хаотический шум сотен молодежи, опьяненной жаждой жить, действовать,— всё это так оглушало Самгина, что он не слышал даже мыслей своих. Казалось, что все люди одержимы безумием игры, тем более увлекающей их, чем более опасна она.

Внезапно, но твердо он решил перевестись в один из провинциальных университетов, где живут, наверное, тише и проще. Нужно было развязаться с Нехаевой. С нею он чувствовал себя богачом, который, давая щедрую милостыню нищей, презирает нищую. Предлогом для внезапного отъезда было письмо матери, извещавшей его, что она нездорова.

Идя к Нехаевой прощаться, он угрюмо ожидал слез и жалких слов, но сам почти до слез был тронут, когда девушка, цепко обняв его шею тонкими руками, зашептала:

— Я — знаю, ты не очень... не так уж сильно любил меня, да! Знаю. Но я бесконечно, вся благодарю тебя за эти часы вдвоем...

Она прижималась к нему со всей силою бедного, сухого тела и жарко всхлипывала:

— Не дай бог, чтоб ты испытал безграничие одиночества так, как испытала это я.

Сложив щепотью тоненькие, острые пальцы, тыкала ими в лоб, плечи, грудь Клима и тряслась, едва стоя на ногах, быстро стирая ладонью слезы с лица.

— Я, кажется, плохо верю в бога, но за тебя буду молиться кому-то, буду! Я хочу, чтоб тебе жилось хорошо, легко...

Плакала она так, что видеть это было не тяжело, а почти приятно, хотя и грустно немножко; плакала горячо, но — не больше, чем следовало.

Клим уехал в убеждении, что простился с Нехаевой хорошо, навсегда и что этот роман значительно обогатил его. Ночью, в вагоне, он подумал:

«Вот, Лидия Тимофеевна, я возвращаюсь со щитом».

Решив остановиться дня на два в Москве, чтоб показать себя Лидии, он мысленно пошутил:

«Университетские экзамены можно отложить, а этот сдам теперь же».

Засыпая, он вспомнил, что на письма его, тщательно составленные в юмористическом тоне, Лидия ответила только дважды, очень кратко и неинтересно; в одном из писем было сказано:

«Не нравится мне, что ты свою знакомую называешь Смертяшкиной, и не смешно это».

«Она — не даровита. Ее гимназические работы всегда правила Сомова»,— напомнил он себе и, утешенный этим, крепко заснул.

Над Москвой хвастливо сияло весеннее утро; по неровному булыжнику цокали подковы, грохотали телеги; в теплом светло-голубом воздухе празднично гудела медь колоколов; по истоптанным панелям нешироких, кривых улиц бойко шагали легкие люди; походка их была размашиста, топот ног звучал отчетливо, они не шаркали подошвами, как петербуржцы. Вообще здесь шума было больше, чем в Петербурге, и шум был другого тона, не такой сыроватый и осторожный, как там.

«В московском шуме человек слышней»,— подумал Клим, и ему было приятно, что слова сложились как поговорка. Покачиваясь в трескучем экипаже лохматого извозчика, он оглядывался, точно человек, возвратившийся на родину из чужой страны.

«Не перевестись ли в здешний университет?» — спросил он себя.

В гостинице его встретили с тем артистически налаженным московским угодливым добродушием, которое, будучи в существе своем незнакомо Климу, углубило в нем впечатление простоты и ясности. В полдень он пошел к Лидии.

«Воскресенье. Она должна быть дома».

Шагая по тепленьким, озорниковато запутанным переулкам, он обдумывал, что скажет Лидии, как бу-

дет вести себя, беседуя с нею; разглядывал пестрые, уютные домики с ласковыми окнами, с цветами на подоконниках. Над заборами поднимались к солнцу ветви деревьев, в воздухе чувствовался тонкий, сладковатый запах только что раскрывшихся почек.

Из-за угла вышли под руку два студента, дружно насвистывая марш; один из них уперся ногами в кирпичи панели и вступил в беседу с бабой, мывшей стекла окон, другой, дергая его вперед, уговаривал:

— Перестань, Володька! Идем!

Клим Самгин сошел с панели, обходя студентов, но тотчас был схвачен крепкой рукою за плечо. Он быстро и гневно обернулся, и в лицо его радостно крикнул Макаров:

— Климуша? Откуда? Знакомьтесь: Самгин — Лютов...

— Купеческий сын третьего курса юмористического факультета,— дурашливо, склонив голову набок, рекомендовал себя косоглазый, полупьяный студент.

— Володька! Это он помешал мне застрелиться.

— Золотую медаль вам, коллега! Ибо, сохранив жизнь сего юноша, вы премного способствовали усугублению ерундистики российской...

Они оба вели себя так шумно, как будто кроме них на улице никого не было. Радость Макарова казалась подозрительной: он был трезв, но говорил так возбужденно, как будто желал скрыть, перекричать в себе истинное впечатление встречи. Его товарищ беспокойно вертел шеей, пытаясь установить косые глаза на лице Клима. Шли медленно, плечо в плечо друг другу, не уступая дороги встречным прохожим. Сдержанно отвечая на быстрые вопросы Макарова, Клим спросил о Лидии.

— Но — разве она не писала тебе, что не хочет учиться в театральной школе, а поступает на курсы? Она уехала домой недели две назад...

Говоря, он заглядывал в лицо Клима с удивлением.

— Она решила, что не умеет притворяться.

— Верно: не умеет! — скрепил Лютов и так тряхнул головою, что фуражка сдвинулась на лоб.

— Телеснева тоже уходит из школы, она — замуж, вот — ее жених!

Лютов ткнул в грудь свою, против сердца, указательным пальцем и повертел им, точно штопором. Неуловимого цвета, но очень блестящие глаза его смотрели в лицо Клима неприятно щупающим взглядом; один глаз прятался в переносье, другой забегал под висок. Они оба усмешливо дрогнули, когда Клим сказал:

— Поздравляю. Замечательно красивая девушка.

— Умопомрачительно,— поправил Лютов, передвигая фуражку на затылок.

Макаров предложил позавтракать.

— Разумеется,— сказал Лютов, бесцеремонно подхватив Клима под руку.— Того ради и живет Москва, чтобы есть.

Через несколько минут они сидели в сумрачном, но уютном уголке маленького ресторана; Лютов молитвенно заказывал старику лакею:

— И дашь ты нам, отец, к водке ветчины вестфальской и луку испанского, нарезав оный толсто́...

— Знаю-с.

— Не сомневаюсь, но — напоминаю...

— Приятно видеть тебя! — говорил Макаров, раскурив папиросу, дымно улыбаясь.— Странно, брат, что мы не переписываемся, а? Что же — марксист?

Он торопился ставить вопросы и этим еще больше возбуждал осторожность Самгина.

— Марксист? — воскликнул Лютов.— Таковых уважаю!

И, положив локти на стол, заговорил сиповатым голосом, изредка вывизгивая резкие ноты,— они заставили Клима вспомнить Дронова.

— Уважаю не как представитель класса, коему Карл Маркс исчерпывающе разъяснил динамику капитала, его культурную силу, а — как россиянин, искренно желающий: да погибнет всяческая канитель! Ибо в лице Марксовом имеем наконец вероучителя крепости девяностоградусной. Это — не наша, русская бражка, возбуждающая лирическую чесотку души, не варево князя Кропоткина, графа Толстого, полковника Лав-

рова и семинаристов, окрестившихся в социалисты, с которыми приятно поболтать,— нет! С Марксом — не поболтаешь! У нас ведь так: полижут языками желчную печень его превосходительства Михаила Евграфовича Салтыкова, зальют горечь лампадным маслицем фабрики его сиятельства из Ясной Поляны и — весьма довольны! У нас, главное, было бы о чем поболтать, а жить всячески можно, хоть на кол посади — живут!

Лютов произнес речь легко, без пауз; по словам она должна бы звучать иронически или зло, но иронии и злобы Клим не уловил в ней. Это удивило его. Но еще более удивительно было то, что говорил человек совершенно трезвый. Присматриваясь к нему, Клим подумал:

«Не ошибся же я,— он был пьян за пять минут перед этой».

Он почувствовал в Лютове нечто фальшивое. Цвет его вывихнутых глаз был грязноватый; не мутное, а именно что-то грязненькое было в белках, как бы пропыленных изнутри темненькой пылью. Но в зрачках вспыхивали хитренькие искорки, возбуждавшие опасение.

«Глаза — это мозг, вывороченный наизнанку»,— вспомнил Клим чьи-то слова.

Желтые волосы Лютова были причесаны à la капуль, это так не шло к его длинному лицу, что казалось сделанным нарочно. Лицо требовало окладистой бороды, а Лютов брил щеки, отпуская остренькую бородку. Над нею вспухли негритянски толстые, гуттаперчевые губы, верхняя едва прикрыта редковолосыми усиками. Руки у него красные, жилистые, так же как шея, а на висках уже вздулись синеватые вены. Казалось, что и одет он с небрежностью нарочитой: под затасканным, расстегнутым сюртуком очень дорогого сукна — шёлковая рубаха. Ему, должно быть, лет двадцать семь, даже тридцать, и он ничем не похож на студента. Макаров, вызывающе похорошевший, как будто нарочно, чтоб подчеркнуть себя, выбрал товарищем этого человека. Но — почему красавица Алина выбрала его?

Глотая рюмку за рюмкой водку, холодную до того, что от нее ныли зубы, закусывая толстыми ломтями

лука, положенного на тоненькие листочки ветчины, Лютов спрашивал:

— Отреченную литературу, сиречь — апокрифы, уважаете?

— Это — ересиарх,— сказал Макаров, добродушно усмехаясь и глядя на Лютова ласково.

— «Откровение Адамово» — читали?

Подняв руку с ножом в ней, он прочитал:

— «И рече диавол Адамови: моя есть земля, а божие — небеса; аще ли хочеши мой быти — делай землю! И сказа Адам: чья есть земля, того и аз и чада мои». Вот как-с! Вот он как формулировал, наш мужицкий, нутряной материализм!

В стремлении своем упрощать непонятное Клим Самгин через час убедил себя, что Лютов действительно человек жуликоватый и неудачно притворяется шутом. Всё в нем было искусственно, во всем обнажалась деланность; особенно обличала это вычурная речь, насыщенная славянизмами, латинскими цитатами, злыми стихами Гейне, украшенная тем грубым юмором, которым щеголяют актеры провинциальных театров, рассказывая анекдоты в «дивертисментах».

Он, Лютов, снова казался пьяным. Протягивая Климу бокал шампанского, он, покраснев, кричал:

— Пожелайте мне ни пуха ни пера, и выпьем за здоровье велелепой девицы Алины Марковны!

Голос его звучал восторгом. Чокаясь с Лютовым, Макаров строго сказал:

— Ну, довольно тебе пить.

Лютов, залпом выпив вино, подмигнул Климу:

— Воспитывает. Я этого — достоин, ибо частенько пиан бываю и блудословлю плоти ради укрощения. Ада боюсь и сего,— он очертил в воздухе рукою полукруг,— и потустороннего. Страха ради иудейска с духовенством приятельствую. Эх, коллега! Покажу я вам одного диакона...

Закрыв глаза, Лютов покачал головою, потом вытянул из кармана брюк стальную цепочку для ключей, на конце ее болтались тяжелые золотые часы.

— Ух, мне пора! Костя, скажи, чтоб записали.

Он протянул руку Самгину:

— Рад знакомству. Много слышал хорошего. Не забывайте: Лютов, торговля пухом и пером...

— Не кокетничай,— посоветовал Макаров, а косоглазый крепко мял руку Самгина, говоря с усмешечкой на суздальском лице:

— Знаете, есть эдакие девицы с недостаточками; недостаточек никто бы и не заметил, но девица сама предваряет: смотрите, носик у меня не удался, но зато остальное...

Он тихонько оттолкнул Клима, пошел, задел ногою за ножку стула и, погрозив ему кулаком, исчез.

— Какой... чудак,— сказал Клим. Макаров задумчиво согласился:

— Да, чудаковат.

— Не понимаю Алину,— что ее заставило?..

Макаров дернул плечом и торопливо, как будто оправдываясь, заговорил:

— Нет,— что же? Ее красота требует достойной рамы. Володька — богат. Интересен. Добрый — до смешного. Кончил — юристом, теперь — на историко-филологическом. Впрочем, он — не учится,— влюблен, встревожен и вообще пошел вверх ногами.

Макаров зажег папиросу, дал спичке догореть до конца, а папиросу бросил на тарелку. Видно было, что он опьянел, на висках у него выступил пот. Клим сказал, что хочет посмотреть Москву.

— Едем на Воробьевы горы,— оживленно предложил Макаров.

Вышли из ресторана, взяли извозчика; глядя в его сутулую спину, туго обтянутую синим кафтаном, Макаров говорил:

— Москва несколько путает мозги. Я очарован, околдован ею и чувствую, что поглупел здесь. Ты не находишь этого? Ты — любезен.

Он снял фуражку, к виску его прилипла прядка волос, и только одна была неподвижна, а остальные вихры шевелились и дыбились. Клим вздохнул,— хорошо красив был Макаров. Это ему следовало бы жениться на Телепневой. Как глупо всё! Сквозь оглушительный шум улицы Клим слышал:

— Фантастически талантливы люди здесь. Вероятно, вот такие жили в эпоху Возрождения. Не понимаю: где — святые, где — мошенники? Это смешано почти в каждом. И — множество юродствующих, а — чего ради? Чёрт знает... Ты должен понять это...

Клим подозрительно, сбоку, заглянул в лицо товарища:

— Почему — я?

— Ты — философ, на всё смотришь спокойно...

«Как простодушен он»,— подумал Клим.— Хорошее лицо у тебя,— сказал он, сравнив Макарова с Туробоевым, который смотрел на людей взглядом поручика, презирающего всех штатских.— И парень ты хороший, но, кажется, сопьешься.

— Возможно,— согласился Макаров спокойно, как будто говорилось не о нем. Но после этого замолчал, задумался.

На Воробьевых горах зашли в пустынный трактир; толстый половой проводил их на террасу, где маляр мазал белилами рамы окон, потом подал чай и быстрым говорком приказал стекольщику:

— Не мелетеши, не засти господам красотою любоваться!

— Костромич,— определил Макаров, глядя в мутноватую даль, на парчовый город, богато расшитый золотыми пятнами церковных глав.

— Да, красота,— тихо сказал он; Самгин утвердительно кивнул головою, но тотчас заметил:

— Понятие условное.

Не отвечая, Макаров отодвинул стакан с лучом солнца в его рыжей влаге, прикрытой кружком лимона, облокотился о стол, запустив пальцы в густые, двухцветные вихры свои.

У Клима Самгина Москва не вызывала восхищения; для его глаз город был похож на чудовищный пряник, пестро раскрашенный, припудренный опаловой пылью и рыхлый. Когда говорили о красоте, Клим предпочитал осторожно молчать, хотя давно заметил, что о ней говорят всё больше и тема эта становится такой же обычной, как погода и здоровье. Он был равнодушен к общепризнанным красотам природы, находя, что за-

каты солнца так же однообразны, как рябое небо морозных ночей. Но, чувствуя, что красота для него непостижима, он понимал, что это его недостаток. За последнее время славословия красотам природы стали даже раздражать его и возбудили опасение: не Лидия ли своею враждой к природе внушила ему равнодушие?

Его весьма смутил Туробоев; дразня Елизавету Спивак и Кутузова, он спросил, усмехаясь:

— А вдруг вся эта наша красота только павлиний хвост разума, птицы глуповатой, так же как павлин?

Клима поразила дерзость этих слов, и они еще плотнее легли в память его, когда Туробоев, продолжая спор, сказал:

— Чем ярче, красивее птица — тем она глупее, но чем уродливей собака — тем умней. Это относится и к людям: Пушкин был похож на обезьяну, Толстой и Достоевский не красавцы, как и вообще все умники.

Лирическое молчание Макарова сердило Клима. Он спросил:

— Помнишь Пушкина:

Москва! Сколь русскому твой зрак унылый страшен.

Макаров взглянул на него трезвыми глазами и не ответил. Это не понравилось Климу, показалось ему невежливым. Прихлебывая чай, он заговорил тоном, требующим внимания:

— Когда говорят о красоте, мне кажется, что меня немножко обманывают.

Макаров выдернул пальцы из волос, снял со стола локти и удивленно спросил:

— Как ты сказал?

Повторив свою фразу, Клим продолжал:

— Что красивого в массе воды, бесплодно текущей на расстоянии шести десятков верст из озера в море? Но признается, что Нева — красавица, тогда как я вижу ее скучной. Это дает мне право думать, что ее именуют красивой для прикрытия скуки.

Макаров быстро выпил остывший чай и, прищурив глаза, стал смотреть в лицо Клима.

— То же самое желание скрыть от самих себя скудость природы я вижу в пейзажах Левитана, в лири-

ческих березках Нестерова, в ярко-голубых тенях на снегу. Снег блестит, как обивка гробов, в которых хоронят девушек, он — режет глаза, ослепляет, голубых теней в природе нет. Всё это придумывается для самообмана, для того, чтоб нам уютней жилось.

Видя, что Макаров слушает внимательно, Клим говорил минут десять. Он вспомнил мрачные жалобы Нехаевой и не забыл повторить изречение Туробоева о павлиньем хвосте разума. Он мог бы сказать и еще не мало, но Макаров пробормотал:

— Удивительно, до чего всё это совпадает с мыслями Лидии.

Потирая лоб, он спросил:

— Что же ты?..

И усмехнулся:

— Не знаю, что спросить... Так странно...

Он вдруг вспыхнул, даже уши его налились кровью. Гневно сверкая глазами, он заговорил вполголоса:

— Меня эти вопросы не задевают, я смотрю с иной стороны и вижу: природа — бессмысленная, злая свинья! Недавно я препарировал труп женщины, умершей от родов,— голубчик мой, если б ты видел, как она изорвана, искалечена! Подумай: рыба мечет икру, курица сносит яйцо безболезненно, а женщина родит в дьявольских муках. За что?

Называя органы латинскими терминами, рисуя их очертания пальцем в воздухе, Макаров быстро и гневно изобразил пред Климом нечто до того отвратительное, что Самгин попросил его:

— Перестань.

Но, всё более возмущаясь, Макаров говорил, стуча пальцем по столу:

— Нет, подумай: зачем это, а?

Клим находил возмущение приятеля наивным, утомительным, и ему хотелось возместить Макарову за упоминание о Лидии. Усмехаясь, он сказал:

— Вот и займись гинекологией, будешь дамским врачом. Наружность у тебя счастливая.

Макаров сразу осекся, недоуменно взглянул на него и, помолчав, сказал со вздохом:

— Ты странно шутишь.

— А ты, кажется, всё еще философствуешь о женщинах, вместо того чтоб целоваться с ними?

— Это похоже на фразу из офицерской песни,— неопределенно сказал Макаров, крепко провел ладонями по лицу и тряхнул головою. На лице его явилось недоумевающее, сконфуженное выражение, он как будто задремал на минуту, потом очнулся, разбуженный толчком и очень смущенный тем, что задремал.

«Трезвеет»,— сообразил Клим Самгин, ощущая желание отплатить товарищу и за офицерскую песню.

В этом ему помогли две мухи: опустясь на горбик чайной ложки, они торопливо насладились друг другом, и одна исчезла в воздухе тотчас, другая через две-три секунды после нее.

— Видел? Вот и всё! — сказал Клим.

— Нет! — почти резко ответил Макаров.— Я не верю тебе,— протестующим тоном продолжал он, глядя из-под нахмуренных бровей.— Ты не можешь думать так. По-моему, пессимизм — это тот же цинизм.

Выпив остывший чай, он продолжал тише:

— Я, должно быть, немножко поэт, а может, просто — глуп, но я не могу... У меня — уважение к женщинам, и — знаешь? — порою мне думается, что я боюсь их. Не усмехайся, подожди! Прежде всего — уважение, даже к тем, которые продаются. И не страх заразиться, не брезгливость — нет! Я много думал об этом...

— Но говоришь плохо,— отметил Клим.

— Да?

— Неясно.

— Ты — поймешь!

Макаров, снова встряхнув головою, посмотрел в разноцветное небо, крепко сжал пальцы рук в один кулак и ударил себя по колену.

— Это чувство внушила мне Лидия — знаешь?

— Вот как? — неопределенно произнес Клим и насторожился.

— Мы — друзья,— продолжал Макаров, и глаза его благодарно улыбались.— Не влюблены, но — очень близки. Я ее любил, но — это перегорело. Страшно хорошо, что я полюбил именно ее, и хорошо, что это прошло.

Он засмеялся, лицо его радостно сияло.

— Путаю? — спросил он сквозь смех.— Это только на словах путаю, а в душе всё ясно. Ты пойми: она удержала меня где-то на краю... Но, разумеется, не то важно, что удержала, а то, что она — есть!

Самгин подумал не без гордости:

«Никогда я не позволил бы себе говорить так с чужим человеком. И почему — „она удержала“»?

— Любить ее, как вообще любят,— нельзя,— строго сказал Макаров.

Клим усмехнулся:

— Почему же?

— Не смейся. Я так чувствую: нельзя. Это, брат, удивительный человек!

Он подумал, прикрыв глаза.

— В Библии она прочитала: «И вражду положу между тобою и между женою». Она верит в это и боится вражды, лжи. Это я думаю, что боится. Знаешь — Лютов сказал ей: зачем же вам в театрах лицедействовать, когда, по природе души вашей, путь вам лежит в монастырь? С ним она тоже в дружбе, как со мной.

Клим слушал напряженно, а — не понимал, да и не верил Макарову: Нехаева тоже философствовала, прежде чем взять необходимое ей. Так же должно быть и с Лидией. Не верил он и тому, что говорил Макаров о своем отношении к женщинам, о дружбе с Лидией.

«Это — тоже павлиний хвост. И ясно, что он любит Лидию».

Самгин стал слушать сбивчивую, неясную речь Макарова менее внимательно. Город становился ярче, пышнее; колокольня Ивана Великого поднималась в небо, как палец, украшенный розоватым ногтем. В воздухе плавал мягкий гул, разноголосо пели колокола церквей, благовестя к вечерней службе. Клим вынул часы, посмотрел на них.

— Мне пора на вокзал. Проводишь?

— Конечно.

— Ты в начале беседы очень верно заметил, что люди выдумывают себя. Возможно, что это так и следует, потому что этим подслащивается горькая мысль о бесцельности жизни...

Макаров удивленно взглянул на него и встал:

— Как странно, что ты, ты говоришь это! Я не думал ничего подобного даже тогда, когда решил убить себя...

— Ты в те дни был ненормален,— спокойно напомнил Клим.— Мысль о бесцельности бытия всё настойчивее тревожит людей.

— Тебе трудно живется? — тихо и дружелюбно спросил Макаров. Клим решил, что будет значительнее, если он не скажет ни да, ни нет, и промолчал, крепко сжав губы. Пошли пешком, не быстро. Клим чувствовал, что Макаров смотрит на него сбоку печальными глазами. Забивая пальцами под фуражку непослушные вихры, он тихо рассказывал:

— После экзаменов я тоже приеду, у меня там урок, буду репетитором приемыша Радеева, пароходчика,— знаешь? И Лютов приедет.

— Вот как. А где Сомова?

— Учительствует в сельской школе.

Из облака радужной пыли выехал бородатый извозчик, товарищи сели в экипаж и через несколько минут ехали по улице города, близко к панели. Клим рассматривал людей; толстых здесь больше, чем в Петербурге, и толстые, несмотря на их бороды, были похожи на баб.

«Наверное, никого из них не беспокоит мысль о цели бытия»,— полупрезрительно подумал он и вспомнил Нехаеву.

«Нет, все-таки она — милая. Даже недюжинная девушка. Как отнеслась бы к ней Лидия?»

Макаров молчал. Подъехали к вокзалу; Макаров, вспомнив что-то, заторопился, обнял Клима и ушел:

— Скоро увидимся!

Посмотрев вслед ему, Клим прошел в буфет, сел в угол, к столу. До отхода поезда оставалось более часа. Думать о Макарове не хотелось; в конце концов он оставил впечатление человека полинявшего, а неумным он был всегда. Впечатление линяния, обесцвечивания вызывали у Клима все знакомые, он принимал это как признак своего духовного роста. Это впечатление подсказывала и укрепляла торопливость, с которой все стремились украсить себя павлиньими перьями от

Ницше, от Маркса. Климу было досадно вспоминать, что Туробоев тоже видит эту торопливость и умеет высмеивать ее. Да, этот никуда не торопился и не линял. Он говорил, приподняв вышитые брови, поблескивая глазами:

— Я признаю вполне законным стремление каждого холостого человека поять в супругу себе ту или иную идейку и жить, до конца дней, в добром с нею согласии, но — лично я предпочитаю остаться холостым.

Манере Туробоева говорить Клим завидовал почти до ненависти к нему. Туробоев называл идеи «девицами духовного сословия», утверждал, что «гуманитарные идеи требуют чувства веры значительно больше, чем церковные, потому что гуманизм есть испорченная религия». Самгин огорчался: почему он не умеет так легко толковать прочитанные книги?

Казалось, что Туробоев присматривается к нему слишком внимательно, молча изучает, ловит на противоречиях. Однажды он заметил небрежно и глядя в лицо Клима наглыми глазами:

— На все вопросы, Самгин, есть только два ответа: да и нет. Вы, кажется, хотите придумать третий? Это — желание большинства людей, но до сего дня никому еще не удалось осуществить его.

Оскорбительно было слышать эти слова и неприятно сознавать, что Туробоев — не глуп.

Звон колокольчика и крик швейцара, возвестив время отхода поезда, прервал думы Самгина о человеке, неприятном ему. Он оглянулся, в зале суетились пассажиры, толкая друг друга, стремясь к выходу на перрон.

Клим встал и спросил себя, пожав плечами:

«А на что мне Туробоев, Кутузов?»

ГЛАВА 4

Солнечный свет, просеянный сквозь кисею занавесок на окнах и этим смягченный, наполнял гостиную душистым теплом весеннего полудня. Окна открыты, но кисея не колебалась, листья цветов на подокон-

никах — неподвижны. Клим Самгин чувствовал, что он отвык от такой тишины и что она заставляет его как-то по-новому вслушиваться в слова матери.

— Ты очень, очень возмужал,— говорила Вера Петровна, кажется, уже третий раз.— У тебя даже глаза стали темнее.

Она встретила сына с радостью, неожиданной для него. Клим с детства привык к ее суховатой сдержанности, привык отвечать на сухость матери почтительным равнодушием, а теперь нужно было найти какой-то другой тон.

— Ну, а — Дмитрий? — спрашивала она.— Рабочий вопрос изучает? О, боже! Впрочем, я так и думала, что он займется чем-нибудь в этом роде. Тимофей Степанович убежден, что этот вопрос раздувается искусственно. Есть люди, которым кажется, что это Германия, опасаясь роста нашей промышленности, ввозит к нам рабочий социализм. Что говорит Дмитрий об отце? За эти восемь месяцев — нет, больше! — Иван Акимович не писал мне...

Она была одета парадно, как будто ожидала гостей или сама собралась в гости. Лиловое платье, туго обтягивая бюст и торс, придавало ее фигуре что-то напряженное и вызывающее. Она курила папиросу, это — новость. Когда она сказала: «Бог мой, как быстро летит время!» — в тоне ее слов Клим услышал жалобу, это было тоже не свойственно ей.

— Ты знаешь,— в посте я принуждена была съездить в Саратов, по делу дяди Якова; очень тяжелая поездка! Я там никого не знаю и попала в плен местным... радикалам, они много напортили мне. Мне ничего не удалось сделать, даже свидания не дали с Яковом Акимовичем. Сознаюсь, что я не очень настаивала на этом. Что могла бы я сказать ему?

Клим согласно наклонил голову:

— Да, с ним — трудно.

Словоохотливость матери несколько смущала его, но он воспользовался ею и спросил, где Лидия.

— Уехала в монастырь с Алиной Телепневой, к тетке ее, игуменье. Ты знаешь: она поняла, что у нее нет таланта для сцены. Это — хорошо. Но ей следует

понять, что у нее вообще никаких талантов нет. Тогда она перестанет смотреть на себя как на что-то исключительное и, может быть, выучится... уважать людей.

Вера Петровна вздохнула, взглянув на часы, прислушиваясь к чему-то.

— Ты слышал, что Телепнева нашла богатого жениха?

— Я видел его в Москве.

— Да? Что это?

— Шут какой-то,— сказал Клим, пожимая плечами.

— Кажется — Тимофей Степанович пришел...

Мать встала, пошла к двери, но дверь широко распахнулась, открытая властной рукою Варавки.

— Ага, юрист, приехал, здравствуй; ну-ко, покажись!

Он тотчас наполнил комнату скрипом новых ботинок, треском передвигаемых кресел, а на улице зафыркала лошадь, закричали мальчишки и высоко взвился звонкий тенор:

— Вот лу-кулу-кулу-кулуку-у!

— Вера,— чаю, пожалуйста! В половине восьмого заседание. Субсидию тебе на школу город решил дать, слышишь?

Но ее уже не было в комнате. Варавка посмотрел на дверь и, встряхнув рукою бороду, грузно втиснулся в кресло.

— Ну, что, юрист, как? Судя по лицу — науки не плохо питали тебя. Рассказывай!

Но, заглянув медвежьими глазками в глаза Клима, он хлопнул его по колену и стал рассказывать сам:

— Газету хочу издавать, а? Газету,брат. Попробуем заменить кухонные сплетни организованным общественным мнением.

Через несколько минут, перекатив в столовую круглую тушу свою, он, быстро размешивая ложкой чай в стакане, кричал:

— Что такое для нас, русских, эволюция? Это — процесс замены посконных штанов приличными брюками...

Климу показалось, что мать ухаживает за Варавкой с демонстративной покорностью, с обидой, которую она

не может или не хочет скрыть. Пошумев полчаса, выпив три стакана чая, Варавка исчез, как исчезает со сцены театра, оживив пьесу, эпизодическое лицо.

— Изумительно много работает,— сказала мать вздохнув.— Я почти не вижу его. Как всех культурных работников, его не любят.

Вера Петровна долго рассуждала о невежестве и тупой злобе купечества, о близорукости суждений интеллигенции, слушать ее было скучно, и казалось, что она старается оглушить себя. После того как ушел Варавка, стало снова тихо и в доме и на улице, только сухой голос матери звучал, однообразно повышаясь, понижаясь. Клим был рад, когда она утомленно сказала:

— Я думаю, ты устал?

— Мне бы хотелось пройтись. А ты — не хочешь?

— О, нет,— сказала она, приглаживая пальцами или пытаясь спрятать седые волосы на висках.

Клим вышел на улицу, когда уже стемнело. Деревянные стены и заборы домов еще дышали теплом, но где-то слева всходила луна, и на серый булыжник мостовой ложились прохладные тени деревьев. Стекла окон смазаны желтым жиром огня, редкие звезды — тоже капельки жирного пота. Дома приплюснуты к земле, они, казалось, незаметно тают, растекаясь по улице тенями; от дома к дому темными ручьями текут заборы. В городском саду, по дорожке вокруг пруда, шагали медленно люди, над стеклянным кругом черной воды лениво плыли негромкие голоса. Клим вспомнил книги Роденбаха, Нехаеву; ей следовало бы жить вот здесь, в этой тишине, среди медлительных людей.

Он сел на скамью, под густой навес кустарника; аллея круто загибалась направо, за углом сидели какие-то люди, двое; один из них глуховато ворчал, другой шаркал палкой или подошвой сапога по неутоптанному, хрустящему щебню. Клим вслушался в монотонную воркотню и узнал давно знакомые мысли:

— Он, как Толстой, ищет веры, а не истины. Свободно мыслить об истине можно лишь тогда, когда мир опустошен: убери из него всё — все вещи, явления и

все твои желания, кроме одного: познать мысль в ее сущности. Они оба мыслят о человеке, о боге, добре и зле, а это — лишь точки отправления на поиски вечной, всё решающей истины...

— У вас нет целкового? — спросил кисленький голос Дронова.

Клим Самгин встал, желая незаметно уйти, но заметил, по движению теней, что Дронов и Томилин тоже встали, идут в его сторону. Он сел, согнулся, пряча лицо.

— У меня нет целкового,— сказал Томилин тем же тоном, каким говорил о вечной истине.

Не поднимая головы, Клим посмотрел вслед им. На ногах Дронова старенькие сапоги с кривыми каблуками, на голове — зимняя шапка, а Томилин — в длинном, до пят, черном пальто, в шляпе с широкими полями. Клим усмехнулся, найдя, что костюм этот очень характерно подчеркивает странную фигуру провинциального мудреца. Чувствуя себя достаточно насыщенным его философией, он не ощутил желания посетить Томилина и с неудовольствием подумал о неизбежной встрече с Дроновым.

В саду стало тише, светлей, люди исчезли, растаяли; зеленоватая полоса лунного света отражалась черной водою пруда, наполняя сад дремотной, необременяющей скукой. Быстро подошел человек в желтом костюме, сел рядом с Климом, тяжко вздохнув, снял соломенную шляпу, вытер лоб ладонью, посмотрел на ладонь и сердито спросил:

— На биллиарде не играете, студент?

Выслушав краткое: нет, он встал и так же быстро пошел прочь, размахивая шляпой, а отойдя шагов пятнадцать, громко крикнул:

— Дармоед, зелены уши!

И, захохотав дьявольски, исчез. Клим тоже усмехнулся, бездумно посидел еще несколько минут и пошел домой.

На четвертый день явилась Лидия.

— О, приехал! — сказала она, удивленно подняв брови. Удивление ее, нерешительно протянутая рука и взгляд, быстро скользнувший по лицу Клима,— всё

это заставило его, нахмурясь, отойти от нее. Она пополнела, но глаза ее, обведенные тенями, углубились и лицо казалось болезненным. На ней серое платье, перехваченное поясом, соломенная шляпа, подвязанная белой вуалью; в таком виде английские дамы путешествуют по Египту. С Верой Петровной она поздоровалась тоже небрежно, минут пять капризно жаловалась на скуку монастыря, пыль и грязь дороги и ушла переодеваться, укрепив неприятное впечатление Клима.

— Как ты нашел ее? — спросила мать, глядя в зеркало, поправляя прическу, и сейчас же подсказала ответ:

— Она уже немножко играет, это влияние школы.

К вечернему чаю пришла Алина. Она выслушала комплименты Самгина, как дама, хорошо знакомая со всеми комбинациями льстивых слов, ленивые глаза ее смотрели в лицо Клима с легкой усмешечкой.

— Подумайте,— он говорит со мною на «вы»! — вскричала она.— Это чего-нибудь стоит. Ах,— вот как? Ты видел моего жениха? Уморительный, не правда ли?— И, щелкнув пальцами, вкусно добавила: — Умница! Косой, ревнючий. Забавно с ним — до сотрясения мозгов.

— И богат...

— Это — всего лучше, конечно!

Слизнув с пышных губ своих быструю улыбочку, она спросила:

— Осуждаешь?

Она выработала певучую речь, размашистые, но мягкие и уверенные жесты,— ту свободу движений, которая в купеческом круге именуется вальяжностью. Каждым оборотом тела она ловко и гордо подчеркивала покоряющую силу его красоты. Клим видел, что мать любуется Алиной с грустью в глазах.

— Подруги упрекают меня, дескать — польстилась девушка на деньги,— говорила Телепнева, добывая щипчиками конфеты из коробки.— Особенно язвит Лидия, по ее законам необходимо жить с милым и чтобы — в шалаше. Но — я бытовая и водевильная, для меня

необходим приличный домик и свои лошади. Мне заявлено: «У вас, Телепнева, совершенно отсутствует понимание драматизма». Это сказал не кто-нибудь, а — сам, он, который сочиняет драмы. А с милым без драмы — не прожить, как это доказано в стихах и прозе...

«Эту школа испортила больше, чем Лидию»,— подумал Клим. Мать, выпив чашку чая, незаметно ушла. Лидия слушала сочный голос подруги, улыбаясь едва заметной улыбкой тонких губ, должно быть, очень жгучих. Алина смешно рассказывала драматический роман какой-то гимназистки, которая влюбилась в интеллигентного переплетчика.

— Настоящий интеллигентный, в очках, с бородкой, брюки на коленях — пузырями, кисленькие стишки Надсона славословил, да! Вот, Лидочка, как это страшно, когда интеллигент и шалаш! А мой Лютов — старовер, купчишка, обожает Пушкина; это тоже старовер-ство — Пушкина читать. Теперь ведь в моде этот — как его? — Витебский, Виленский?

Розовыми пальцами, ногти которых блестели, как перламутр, она брала конфекты и, откусывая от них маленькие кусочки, хвасталась белизною зубов. Голос ее звучал добродушно, масленые глаза ласково поблескивали.

— Мы с Лютовым угрожающих стихов не любим:

Верь: воскреснет Ваал
И пожрет идеал...

Ну, и пусть кушает, на здоровье.

Она вдруг вспыхнула, даже немножко подскочила на стуле.

— Ой, Лидуша, какие стишки я сегодня получила из Москвы! Какой-то новый поэт Брусов, Бросов — удивительно! Они несколько... нескромные, но — музыка, музыка!

Она торопливо рылась в складках юбки, отыскивая карман, нашла, взмахнула измятым конвертом.

— Вот...

В столовую шумно вбежала кругленькая Сомова, а за нею, точно идя вброд по скользким камням, осторожно шагал высокий юноша в синих штанах, в рубахе

небеленого холста, в каких-то сандалиях на босых ногах.

— Милые подруги, это — свинство! — кричала Сомова.— Приехали и — молчите, зная, что я без вас жить не могу.

— И без меня,— глухим басом сказал юноша дикого вида.

— И без тебя, наказание божие, и без тебя, да! Знакомьтесь, девушки: Иноков, дитя души моей, бродяга, будет писателем.

Расцеловав подруг, Сомова села рядом с Климом, отирая потное лицо свое концом головного платка, ощупывая Самгина веселым взглядом.

— Какой ты стал игрушечкой!

Она тотчас перекатилась к Лидии, говоря:

— Ну, из учительниц меня высадили,— как это тебе нравится?

На ее место тяжело сел Иноков; немного отодвинув стул в сторону от Клима, он причесал пальцами рыжеватые длинные волосы и молча уставил голубые глаза на Алину.

Клим не видел Сомову больше трех лет; за это время она превратилась из лимфатического, неуклюжего подростка в деревенскую ситцевую девушку. Ее волосы, выгоревшие на висках, были повязаны белым платком, щеки упруго округлились, глаза блестели оживленно. Говорила она громко, щедро пересыпая речь простонародными словечками, румяно улыбаясь. Было в ней нечто вульгарное, от чего Клим внутренно морщился. Иноков похож на придурковатого сельского пастуха. В нем тоже ничего не осталось от гимназиста, каким вспомнил его Клим. На скуластом лице его, обрызганном веснушками, некрасиво торчал тупой нос, нервно раздувались широкие ноздри, на верхней губе туго росли реденькие, татарские усы. Взгляд голубых глаз часто и противоречиво изменялся — то слишком, по-женски, мягкий, то неоправданно суров. Выпуклый лоб уже изрезан морщинами.

— Махорку курить нельзя здесь? — тихонько спросил он Клима; Самгин предложил ему отойти к окну, открытому в сад, и сам отошел с ним. Там, вынув из

кармана кисет, бумагу, Иноков свернул собачью ножку, закурил, помахал в воздухе спичкой, гася ее, и сказал со вздохом:

— Какая дьявольская...

— Кто?

Иноков показал глазами на Алину.

— Эта. Как сон.

Сдержав улыбку, Клим спросил:

— Вы чем занимаетесь?

Иноков пошевелил плечом.

— Так, вообще... работаю. Осенью рыбу ловил на Каспии. Интересно. Корреспонденции пишу. Иногда.

— Печатают?

— Мало. Резко пишу будто бы.

Когда Иноков стоял, в нем обнаруживалось нечто клинообразное: плечи — широкие, а таз — узкий, ноги — тонкие.

— Думаю серьезно заняться рыбным делом... ихтиологией.

Девицы за столом очень шумели, но Сомова все-таки поймала слова Инокова:

— Писать будешь,— крикнула она.

Иноков швырнул в окно недокуренную папиросу, сильно выдул изо рта едкий дым и пошел к столу, говоря:

— Писать надо, как Флобер, или совсем не надо писать. У нас не пишут, а для души лапти плетут.

Он схватился обеими руками за спинку тяжелого стула и с великим жаром заговорил, густо подчеркивая «о»:

— Мы вот первая страна в Европе по обилию рыбы, а рыбоводство у нас — варварское, промышляем рыбу — хищно, грабительски. В Астрахань приезжал профессор Гримм, ихтиолог, я его сопровождал по промыслам, так он — слепой, нарочито слепой...

— Разве селедка нужна народу? — кричала Сомова, отирая упругие щеки свои неприятно желтеньким платочком.

Алина бесцеремонно хохотала, глядя на нее, косясь на Инокова; Лидия смотрела на него прищурясь, как рассматривают очень отдаленное и непонятное, а он,

пристукивая тяжелым стулом по полу, самозабвенно долбил:

— Аральское море, Каспийское море, Азовское, Черное моря, да северные, да реки...

— Высохнуть бы им! — ожесточилась Сомова.— Слышать не могу!

Лидия встала и пригласила всех наверх. Клим задержался на минуту у зеркала, рассматривая прыщик на губе. Из гостиной вышла мать; очень удачно сравнив Инокова и Сомову с любителями драматического искусства, которые разыгрывают неудачный водевиль, она положила руку на плечо Клима, спросила:

— Какова Алина?

— Ослепительна.

— И — не глупа, хотя шалит... грубовато.

Гладя плечо, она тихо сказала:

— Вот бы невеста тебе, а?

— Но, мама, ведь это — идол! — ответил сын, усмехаясь.— Нужно иметь десятки тысяч в год, чтоб достойно украсить его.

— Это — да! — серьезно сказала мать и вздохнула.— Ты — прав.

Клим пошел к Лидии. Там девицы сидели, как в детстве, на диване; он сильно выцвел, его пружины старчески поскрипывали, но он остался таким же широким и мягким, как был. Маленькая Сомова забралась на диван с ногами; когда подошел Клим, она освободила ему место рядом с собою, но Клим сел на стул.

— Он всё такой же — посторонний,— сказала Сомова подругам, толкнув стул ногою в неуклюжем башмаке. Алина предложила Климу рассказать о Петербурге.

— Да,— какие там люди живут? — пробормотал Иноков, сидя на валике дивана с толстой сигарой Баравки в зубах.

Клим начал рассказывать, не торопясь, осторожно выбирая слова, о музеях, театрах, о литературных вечерах и артистах, но скоро и с досадой заметил, что говорит неинтересно, слушают его невнимательно.

— Люди там не лучше, не умнее, чем везде,— продолжал он.— Редко встретишь человека, для кото-

рого основными вопросами бытия являются любовь, смерть...

Лидия поправила прядь волос, опустившуюся на ухо и щеку ее. Иноков вынул сигару изо рта, стряхнул пепел в горсть левой руки и, сжав ее в кулак, укоризненно заметил:

— Это Лев Толстой внушает...

— Меньше других.

— Есть и другие?

— Вы относитесь отрицательно к вопросам этого порядка?

Иноков сунул левую руку в карман, вытер ее там.

— Не знаю.

Клим почувствовал, что этот парень раздражает его, мешая овладеть вниманием девиц.

«Вероятно — пропагандист и, должно быть, глуп».

Он стал говорить более задорными словами, но старался, чтоб слова звучали мягко и убедительно. Рассказав о Метерлинке, о «Слепых», о «Прялке туманов» Роденбаха, он, посматривая на Инокова, строго заговорил о политике:

— Наши отцы слишком усердно занимались решением вопросов материального характера, совершенно игнорируя загадки духовной жизни. Политика — область самоуверенности, притупляющей наиболее глубокие чувства людей. Политик — это ограниченный человек, он считает тревоги духа чем-то вроде накожной болезни. Все эти народники, марксисты — люди ремесла, а жизнь требует художников, творцов...

Иноков, держа сигару, как свечку, пальцем левой руки разрубал синие спирали дыма.

— Вот явились люди иного строя мысли, они открывают пред нами таинственное безграничие нашей внутренней жизни, они обогащают мир чувства, воображения. Возвышая человека над уродливой действительностью, они показывают ее более ничтожной, менее ужасной, чем она кажется, когда стоишь на одном уровне с нею.

— В воздухе — не проживешь,— негромко сказал Иноков и сунул сигару в землю цветочного горшка.

Клим замолчал. Ему показалось, что он выговорил нечто неверное, даже не знакомое ему. Он не доверял случайным мыслям, которые изредка являлись у него откуда-то со стороны, без связи с определенным лицом или книгой. То, что, исходя от других людей, совпадало с его основным настроением и легко усваивалось памятью его, казалось ему более надежным, чем эти бродячие, вдруг вспыхивающие мысли, в них было нечто опасное, они как бы грозили оторвать и увлечь в сторону от запаса уже прочно усвоенных мнений. Клим Самгин смутно догадывался, что боязнь пред неожиданными мыслями противоречит какому-то его чувству, но противоречие это было тоже неясно и поглощалось сознанием необходимости самозащиты против потока мнений, органически враждебных ему.

Несколько взволнованный, он посмотрел на слушателей, их внимание успокоило его, а пристальный взгляд Лидии очень польстил.

Задумчиво расплетая и заплетая конец косы своей, Сомова сказала:

— Дронов тоже философствует, несчастный.

— Да, жалкий,— подтвердил Иноков, утвердительно качнув курчавой головой.— А в гимназии был бойким мальчишкой. Я уговариваю его: иди в деревню учителем.

Сомова возмутилась:

— Какой же он учитель! Он — злой!..

Иноков отошел, покачиваясь, встал у окна и оттуда сказал:

— Я его мало знаю. И не люблю. Когда меня выгнали из гимназии, я думал,что это по милости Дронова, он донес на меня. Даже спросил недавно: «Ты донес?» — «Нет»,— говорит.— «Ну, ладно. Не ты, так — не ты. Я спрашивал из любопытства».

Говоря, Иноков улыбался, хотя слова его не требовали улыбки. От нее вся кожа на скуластом лице мягко и лучисто сморщилась, веснушки сдвинулись ближе одна к другой, лицо стало темнее.

«Конечно — глуп»,— решил Клим.

— Да, Дронов — злой,— задумчиво сказала Лидия.— Но он — скучно злится, как будто злость — ремесло его и надоело ему...

— Умненькая ты, Лидуша,— вздохнула Телепнева.

— Девушка — с перцем,— согласилась Сомова, обняв Лидию.

— Послушайте,— обратился к ней Иноков.— От сигары киргизом пахнет. Можно мне махорки покурить? Я — в окно буду.

Клим вдруг встал, подошел к нему и спросил:

— Вы меня не помните?

— Нет,— ответил Иноков, не взглянув на него, раскуривая папиросу.

— Мы вместе учились,— настаивал Клим.

Выпустив изо рта длинную струю дыма, Иноков потряс головою.

— Не помню вас. В разных классах, что ли?

— Да,— сказал Клим, отходя от него. «Что это я, зачем?» — подумал он.

Лидия исчезла из комнаты, на диване шумно спорили Сомова и Алина.

— Вовсе не каждая женщина для того, чтоб детей родить,— обиженно кричала Алина.— Самые уродливые и самые красивые не должны делать это.

Сомова, сквозь смех, возразила:

— Дурочка! Что же: меня — в монастырь или в каторгу, а на тебя — богу молиться?

Клим шагал по комнате, думая: как быстро и неузнаваемо изменяются все. А он вот «всё такой же — посторонний», заметила Сомова.

«Этим надо гордиться»,— напомнил он себе. Но все-таки ему было грустно.

Вошла Таня Куликова с зажженной лампой в руках, тихая и плоская, как тень.

— Закройте окно, а то налетит серая дрянь,— сказала она. Потом, прислушиваясь к спору девиц на диване, посмотрев прищуренно в широкую спину Инокова, вздохнула:

— Шли бы в сад.

Ей не ответили. Она щелкнула ногтем по молочно-белому абажуру, послушала звон стекла, склонив голову набок, и бесшумно исчезла, углубив чем-то печаль Клима.

Он пошел в сад. Там было уже синевато-темно; гроздья белой сирени казались голубыми. Луна еще не взошла, в небе тускло светилось множество звезд. Смешанный запах цветов поднимался от земли. Атласные листья прохладно касались то шеи, то щеки. Клим ходил по скрипучему песку дорожки, гул речей, выливаясь из окна, мешал ему думать, да и не хотелось думать ни о чем. Густой запах цветов оньянял, и Климу казалось, что, кружась по дорожке сада, он куда-то уходит от себя. Вдруг явилась Лидия и пошла рядом, крепко кутая грудь шалью.

— Ты хорошо говорил. Как будто это — не ты.

— Спасибо,— иронически ответил он.

— Я сегодня получила письмо от Макарова. Он пишет, что ты очень изменился и понравился ему.

— Вот как? Лестно.

— Оставь этот тон. Почему бы тебе не порадоваться, что нравишься? Ведь ты любишь нравиться, я знаю...

— Не замечал этого за собою.

— Ты дурно настроен? Почему ты ушел от них?

— А — ты?

— Они мне надоели. Но все-таки — неловко, пойдем туда.

Лидия взяла его под руку, говоря задумчиво:

— Я была уверена, что знаю тебя, а сегодня ты показался мне незнакомым.

Клим Самгин осторожно и благодарно прижал ее руку, чувствуя, что она вернула его к самому себе.

В комнате раздраженно кричали. Алина, стоя у рояля, отмахивалась от Сомовой, которая наскакивала на нее прыжками курицы, возглашая:

— Бесстыдство! Цинизм!

А Иноков, улыбаясь несколько растерянно, говорил на «о»:

— Собственно, я всегда предпочту цинизм лицемерию, однако же вы защищаете поэзию семейных бань.

— Алина, нельзя же...

— Можно! — крикнула Телепнева, топнув ногой.— Я — докажу. Лида, слушай, я прочитаю стихи. Вы, Клим, тоже... Впрочем, вы... Ну, всё равно...

Ее лицо пылало, ленивые глаза сердито блестели, она раздувала ноздри, но в ее возмущении Клим видел что-то неумелое и смешное. Когда она, выхватив из кармана листок бумаги, воинственно взмахнула им, Самгин невольно улыбнулся,— жест Алины был тоже детски смешной.

— Я и так помню,— успокаиваясь, заявила она и бережливо спрятала листок.— Вот, слушайте!

Закрыв глаза, она несколько секунд стояла молча, выпрямляясь, а когда ее густые ресницы медленно поднялись, Климу показалось, что девушка вдруг выросла на голову выше. Вполголоса, одним дыханием, она сказала:

Сладострастные тени на темной постели окружили,
легли, притаились, манят...

Стояла она, подняв голову и брови, удивленно глядя в синеватую тьму за окном; руки ее были опущены вдоль тела, раскрытые розовые ладони немного отведены от бедер.

Наблюдаю в мерцанье колен изваянья, беломраморность
бедер, оттенки волос...

— слышал Клим.

Нехаева часто нашептывала такие болезненно чувственные стихи, и они всегда будили у Клима вполне определенные эмоции. Алина не будила таких эмоций; она удивленно и просто рассказывала с чужих слов чье-то сновидение. В памяти Клима воскрес образ девочки, которая — давно когда-то — лукаво читала милые ей стихи Фета. Но теперь и лукавство не звучало в сладострастных стихах, а только удивление. Именно это чувство слышал Клим в густых звуках красивого голоса, видел на лице, побледневшем, может быть, от стыда или страха, и в расширенных глазах. Голос всё понижался, отягчаемый бредовыми словами. Читая медленнее и бессильней, точно она с трудом разбирала неясно написанное, Алина вдруг произнесла одну строку громко, облегченно вздохнув:

О далекое утро на вспененном взморье, странно алые
краски стыдливой зари...

Казалось, что она затрудненно повторяет слова поэта, который, невидимо стоя рядом с нею, неслышно для других подсказывает ей пряные слова.

Прислонясь к стене, Клим уже не понимал слов, а слушал только ритмические колебания голоса и прикованно смотрел на Лидию; она, покачиваясь, сидела на стуле, глядя в одном направлении с Алиной.

...хаос,

— сказала Алина последнее слово стихотворения и опустилась на табурет у рояля, закрыв лицо ладонями.

— Возмутительно хорошо,— пробормотал Иноков.

Сомова тихо подошла к подруге, погладила голову ее и сказала, вздыхая:

— Тебе не надо замуж выходить, ты — актриса.

— Нет, Люба, нет...

Иноков угрюмо заторопился:

— Люба, нам — пора.

— И мне тоже,— сказала Алина, вставая.

Подошла к Лидии, молча крепко поцеловалась с нею и спросила Инокова:

— Ну, что?

— Ваша взяла — возмутительно хорошо! — ответил он, сильно встряхнув ее руку.

Ушли. Луна светила в открытое окно. Лидия, подвинув к нему стул, села, положила локти на подоконник. Клим встал рядом. В синеватом сумраке четко вырезался профиль девушки, блестел ее темный глаз.

— О любви она читает неподражаемо,— заговорила Лидия,— но я думаю, что она только мечтает, а не чувствует. Макаров тоже говорит о любви празднично и тоже... мимо. Чувствует — Лютов. Это удивительно интересный человек, но он какой-то обожженный, чего-то боится... Мне иногда жалко его.

Говорила она, не глядя на Клима, тихо и как бы проверяя свои мысли. Выпрямилась, закинув руки за голову; острые груди ее высоко подняли легкую ткань блузы. Клим выжидающе молчал.

— Как всё это странно... Знаешь — в школе за мной ухаживали настойчивее и больше, чем за нею, а ведь я рядом с нею почти урод. И я очень обижалась — не

за себя, а за ее красоту. Один... странный человек, Диомидов, не просто — Демидов, а — Диомидов, говорит, что Алина красива отталкивающе. Да, так и сказал. Но... он человек необыкновенный, его хорошо слушать, а верить ему трудно.

Раньше чем Самгин успел сказать, что не понимает ее слов, Лидия спросила, заглянув под его очки:

— А ты заметил, что, декламируя, она становится похожа на рыбу? Ладони держит, точно плавники.

Клим согласился:

— Да, поза деревянная.

— От этого ее не могли отучить в школе. Ты думаешь — злословлю? Завидую? Нет, Клим, это не то! — продолжала она, вздохнув.— Я думаю, что есть красота, которая не возбуждает... грубых мыслей,— есть?

— Конечно,— сказал Клим.— Ты странно говоришь. Почему красота должна возбуждать именно грубые?..

— Да, да,— прервала его Лидия.— Ты не возражай! Если б я была красива, я бы возбуждала именно грубые чувства...

Сказав это решительно и торопливо, она тотчас спросила:

— Как ты назвал писателя о слепых? Метерлинк? Достань мне эту книгу. Нет — как удивительно, что ты именно сегодня заговорил о самом главном!

Голос ее прозвучал ласково, мягко и напомнил Климу полузабытые дни, когда она, маленькая, устав от игр, предлагала ему:

«Пойдем, посидим».

— Меня эти вопросы волнуют,— говорила она, глядя в небо.— На святках Дронов водил меня к Томилину; он в моде, Томилин. Его приглашают в интеллигентские дома, проповедовать. Но мне кажется, что он всё на свете превращает в слова. Я была у него и еще раз, одна; он бросил меня, точно котенка в реку, в эти холодные слова, вот и всё.

Хотя она сказала это без жалобы, насмешливо, но Клим почувствовал себя тронутым. Захотелось говорить с нею простодушно, погладить ее руку.

— Расскажи что-нибудь,— попросила она.

Он стал рассказывать о Туробоеве, думая:

«А что, если сказать ей о Нехаевой?»

Послушав его ироническую речь не более минуты, Лидия сказала:

— Это неинтересно.

Но почти тотчас спросила небрежно:

— Он сильно болен?

— Не знаю,— удивленно ответил Клим.— Почему ты спрашиваешь? То есть почему ты думаешь?

— Я слышала, что у него — чахотка.

— Не заметно.

Замолчав, Лидия крепко вытерла платком губы, щеку, потом сказала, вздыхая:

— В школе у нас был товарищ Туробоева, совершенно невыносимый нахал, но исключительно талантливый. И — вдруг...

Нервно вздрогнув, она вскочила на ноги, подошла к дивану, окуталась шалью и, стоя там, заговорила возмущенным шёпотом:

— Ты подумай, как это ужасно — в двадцать лет заболеть от женщины. Это — гнусно! Это уж — подлость! Любовь и — это...

Она отодвинулась от Клима и почти упала в угол дивана.

— Ну, какая же любовь? — пробормотал Самгин.

Лидия с гневом прервала его:

— Ах, оставь! Ты не понимаешь. Тут не должно быть болезней, болей, ничего грязного...

Раскачиваясь, согнув спину, она говорила сквозь зубы:

— И всё вообще — такой ужас! Ты не знаешь: отец, зимою, увлекался водевильной актрисой; толстенькая, красная, пошлая, как торговка. Я не очень хороша с Верой Петровной, мы не любим друг друга, но — господи! Как ей было тяжело! У нее глаза обезумели. Видел, как она поседела? До чего всё это грубо и страшно! Люди топчут друг друга. Я хочу жить, Клим, но я не знаю — как?

Последние слова она произнесла настолько резко, что Клим оробел. А она требовала:

— Ну, скажи,— как жить?

— Полюби,— тихо ответил он.— Полюбишь, и всё будет ясно.

— Ты это знаешь? Испытал? Нет. И — не будет ясно. Не будет. Я знаю, что нужно любить, но я уверена — это мне не удастся.

— Почему?

Лидия молчала, прикусив губы, опираясь локтями о колена свои. Смуглое лицо ее потемнело от прилива крови, она ослепленно прикрыла глаза. Климу очень хотелось сказать ей что-то утешительное, но он не успел.

— Вот я была в театральной школе для того, чтоб не жить дома, и потому, что я не люблю никаких акушерских наук, микроскопов и всё это,— заговорила Лидия раздумчиво, негромко.— У меня есть подруга с микроскопом, она верит в него, как старушка в причастие святых тайн. Но в микроскоп не видно ни бога, ни дьявола.

— Ведь их и в телескоп не видно,— несмело пошутил Клим.

Лидия, подобрав ноги, села в угол дивана.

— Мне кажется,— решительно начал Клим,— я даже уверен, что людям, которые дают волю воображению, живется легче. Еще Аристотель сказал, что вымысел правдоподобнее действительности.

— Нет,— твердо возразила Лидия.— Это не так.

— Но разве поэзия — не вымысел?

— Нет,— еще более резко сказала девушка.— Я не умею спорить, но я знаю — это не верно. Я — не вымысел.

И, дотронувшись рукою до локтя Клима, она попросила:

— Не говори, как Томилин, цитатами...

Это настолько смутило Клима, что он, отодвинувшись от нее, пробормотал растерянно:

— Как хочешь...

Минуту-две оба молчали. Потом Лидия тихо напомнила:

— Уже поздно.

Раздеваясь у себя в комнате, Клим испытывал острое недовольство. Почему он оробел? Он уже не вер-

вые замечал, что наедине с Лидией чувствует себя подавленным и что после каждой встречи это чувство возрастает.

«Я — не гимназист, влюбленный в нее, не Макаров,— соображал он.— Я хорошо вижу ее недостатки, а достоинства ее, в сущности, неясны мне,— уговаривал он себя.— О красоте она говорила глупо. И вообще она говорит надуманно... неестественно для девушки ее лет».

Пытаясь понять, что влечет его к этой девушке, он не ощущал в себе не только влюбленности, но даже физиологического любопытства, разбуженного деловитыми ласками Маргариты и жадностью Нехаевой. Но его всё более неодолимо тянуло к Лидии, и в этом тяготении он смутно подозревал опасность для себя. Иногда казалось, что Лидия относится к нему с тем самомнением, которое было у него в детстве, когда все девочки, кроме Лидии, казались ему существами низшими, чем он. Вспоминая, что в тоненькой, гибкой его подруге всегда жило стремление командовать, Клим остановился на догадке, что теперь это стремление уродливо разрослось, отяжелело, именно его силою Лидия и подавляет. Оно — не в том, что говорит Лидия, оно прячется за словами и повелительно требует, чтоб Клим Самгин стал другим человеком, иначе думал, говорил. Она поучает:

«Ты говоришь слишком докторально и держишься с людями, как чиновник для особых поручений. Почему ты улыбаешься так натянуто?»

Всё это возбуждало в Климе чувство протеста, сознание необходимости самообороны, и это сознание, напоминая о Макарове, диктовало:

«Не стану обращать внимания на нее, вот и всё. Я ведь ничего не хочу от нее».

Он пробовал вести себя независимо, старался убедить Лидию, что относится к ней равнодушно, вертелся на глазах ее и очень хотел, чтоб она заметила его независимость. Она, заметив, небрежно спрашивала:

— На кого ты дуешься?

И затем неотразимо выпытывала:

— Почему тебе нравится «Наше сердце»? Это — неестественно; мужчине не должна нравиться такая книга.

Не всегда легко было отвечать на ее вопросы. Клим чувствовал, что за ними скрыто желание поймать его на противоречиях и еще что-то, тоже спрятанное в глубине темных зрачков, в цепком изучающем взгляде.

Однажды он, не стерпев, сердито сказал:

— Ты экзаменуешь меня, как мальчишку.

Лидия удивленно спросила:

— Разве?

И, взглянув в его глаза с непонятной улыбкой, сказала довольно мягко:

— Нет, тебя и юношей не назовешь, ты такой...

Поискав слово, она нашла очень неопределенное:

— Особенный.

И, по обыкновению, начала допрашивать:

— Что ты находишь в Роденбахе? Это — пена плохого мыла, на мой взгляд.

Как-то вечером, когда в окна буйно хлестал весенний ливень, комната Клима вспыхивала голубым огнем и стекла окон, вздрагивая от ударов грома, ныли, звенели, Клим, настроенный лирически, поцеловал руку девушки. Она отнеслась к этому жесту спокойно, как будто и не ощутила его, но, когда Клим попробовал поцеловать еще раз, она тихонько отняла руку свою.

— Ты не веришь мне, а я... — начал Клим, но она прервала его речь.

— Меньше всего ты похож на кавалера де-Гриё. Я тоже не Манон.

Через минуту она, вздрогнув, сказала:

— Я думаю, что наиболее отвратительно любят женщин актеры.

Клим обеспокоенно спросил:

— Почему же именно актеры?

Не ответила.

Такие мысли являлись у нее неожиданно, вне связи с предыдущим, и Клим всегда чувствовал в них нечто подозрительное, намекающее. Не считает ли она актером его? Он уже догадывался, что Лидия, о чем

бы она ни говорила, думает о любви, как Макаров о судьбе женщин, Кутузов о социализме, как Нехаева будто бы думала о смерти, до поры, пока ей не удалось вынудить любовь. Клим Самгин всё более не любил и боялся людей, одержимых одной идеей, они все насильники, все заражены стремлением порабощать.

Нередко ему казалось, что Лидия играет с ним, это углубляло его неприязнь к ней, усиливало и робость его. Но он с удивлением отмечал, что и это не отталкивает его от девушки.

Всего хуже он чувствовал себя, когда она внезапно, среди беседы, погружалась в странное оцепенение. Крепко сжав губы, широко открыв глаза, она смотрела в упор и как бы сквозь него; на смуглом лице являлась тень неведомых дум. В такую минуту она казалась вдруг постаревшей, проницательной и опасно мудрой. Клим опускал голову, не вынося ее взгляда, ожидая, что сейчас она выдумает что-то необыкновенное, ненормальное и потребует, чтоб он исполнил эту ее выдумку. Он боялся, что не сумеет отказать ей. И только один раз нашел в себе достаточно смелости спросить:

— Что с тобой?

— Ничего,— ответила она обычным для всех пустым словом.

Но затем, насильно осветив лицо свое медленной улыбкой, сказала:

— Молчун схватил. Павла,— помнишь? — горничная, которая обокрала нас и бесследно исчезла? Она рассказывала мне, что есть такое существо — Молчун. Я понимаю — я почти вижу его — облаком, туманом. Он обнимет, проникнет в человека и опустошит его. Это — холодок такой. В нем исчезает всё, все мысли, слова, память, разум — всё! Остается в человеке только одно: страх перед собою. Ты понимаешь?

— Да,— ответил Клим, глядя, как угасает ее деланная улыбка, и думая: «Это — игра. Конечно — игра!»

— А я — не понимаю,— продолжала она с новой, острой усмешкой.— Ни о себе, ни о людях — не понимаю. Я не умею думать... мне кажется. Или я думаю только о своих же думах. В Москве меня познако-

мили с одним сектантом, простенький такой, мордочка собаки. Он качался и бормотал:

Нога поет — куда иду?
Рука поет — зачем беру?
А плоть поет — почто живу?

— Не правда ли — странно? Такой простой, худенький. Это не нужно, по-моему.

Клим согласился:

— Не нужно.

Но Лидия вдруг спросила очень строго:

— А если — нужно? Почему ты знаешь: да или нет?

Она постоянно делала так: заставит согласиться с нею и тотчас оспаривает свое же утверждение. Соглашался с нею Клим легко, а спорить не хотел, находя это бесплодным, видя, что она не слушает возражений.

Видел он и то, что его уединенные беседы с Лидией не нравятся матери. Варавка тоже хмурился, жевал бороду красными губами и говорил, что птицы вьют гнезда после того, как выучатся летать. От него веяло пыльной скукой, усталостью, ожесточением. Он являлся домой измятый, точно после драки. Втиснув тяжелое тело свое в кожаное кресло, он пил зельтерскую воду с коньяком, размачивал бороду и жаловался на городскую управу, на земство, на губернатора. Он говорил:

— В России живет два племени: люди одного — могут думать и говорить только о прошлом, люди другого — лишь о будущем и, непременно, очень отдаленном. Настоящее, завтрашний день, почти никого не интересует.

Мать сидела против него, как будто позируя портретисту. Лидия и раньше относилась к отцу не очень ласково, а теперь говорила с ним небрежно, смотрела на него равнодушно, как на человека, не нужного ей. Тягостная скука выталкивала Клима на улицу. Там он видел, как пьяный мещанин покупал у толстой одноглазой бабы куриные яйца, брал их из лукошка и, посмотрев сквозь яйцо на свет, совал в карман, приговаривая по-татарски:

— Якши. Чох якши.

Одно яйцо он положил мимо кармана и топтал его, под подошвой грязного сапога чмокала яичница. Пред гостиницей «Москва с но» на обломанной вывеске сидели голуби, заглядывая в окошко, в нем стоял черноусый человек без пиджака и, посвистывая, озабоченно нахмурясь, рассматривал, растягивал голубые подтяжки. Старушка с ласковым лицом, толкая пред собой колясочку, в которой шевелились, ловя воздух, игрушечные, розовые ручки, задев Клима колесом коляски, сердито крикнула:

— Не видите? А — в очках!

И, остановясь понюхать табаку, она долго и громко говорила что-то о безбожниках студентах. Клим шел и думал о сектанте, который бормочет: «Нога поет — куда иду?», о пьяном мещанине, строгой старушке, о черноусом человеке, заинтересованном своими подтяжками. Какой смысл в жизни этих людей?

В узеньком тупике между гнилых заборов человек двадцать мальчишек шумно играют в городки. В стороне лежит, животом на земле, Иноков, босый, без фуражки; встрепанные волосы его блестят на солнце шёлком, пестрое лицо сморщено счастливой улыбкой, веснушки дрожат. Он кричит умоляющим тоном, возбужденно:

— Петя — не торопись! Спокойно! Бей попа!.. Попа... эх, мимо!

Иноков часто мелькал в глазах Клима. Вот он идет куда-то, широко шагая, глядя в землю, спрятав руки, сжатые в кулак, за согнутой спиною, как бы неся на плечах невидимую тяжесть. Вот — сидит на скамье в городском саду, распустив губы, очарованно наблюдая капризные игры детей. Из подвала дома купцов Синёвых выползли на улицу тысячи каких-то червяков, они копошились, лезли на серый камень фундамента, покрывая его живым черным кружевом, ползли по панели под ноги толпы людей, люди отступали пред ними, одни — боязливо, другие — брезгливо, и ворчали, одни — зловеще, другие — злорадно:

— Не к добру. Не к добру это.

— Ер-рунда,— кричит Иноков, хохочет, обнажая неровные, злые зубы, и объясняет:

— Сгнило что-то...

Люди сторонятся от него, длинного и тощего, так же как от червей.

Однажды Клим встретил его лицом к лицу, хотел поздороваться, но Иноков прошел мимо, выкатив глаза, как слепой, прикусив губу.

Раза два-три Иноков, вместе с Любовью Сомовой, заходил к Лидии, и Самгин видел, что этот клинообразный парень чувствует себя у Лидии незваным гостем. Он бестолково, как засыпающий окунь в ушате воды, совался из угла в угол, встряхивая длинноволосой головой, пестрое лицо его морщилось, глаза смотрели на вещи в комнате спрашивающим взглядом. Было ясно, что Лидия не симпатична ему и что он ее обдумывает. Он внезапно подходил и, подняв брови, широко открыв глаза, спрашивал:

— Тургенева — любите?

— Читаю.

— То есть — как это — читаете? Читали?

— Ну, хорошо, читала,— согласилась Лидия, улыбаясь, а Иноков поучительно напомнил ей:

— Читают Библию, Шекспира, а Тургенева прочитывают, чтоб исполнить долг вежливости пред русской литературой.

Затем он начинал говорить глупости и дерзости:

— Тургенев —кондитер. У него — не искусство, а — пирожное. Настоящее искусство не сладко, оно всегда с горчинкой.

Сказал и отошел прочь. В другой раз, так же неожиданно, он спросил, подойдя сзади, наклонясь над ее плечом:

— «Скучную историю» Чехова — читали? Забавно, а? Профессор всю жизнь чему-то учил, а под конец — догадался: «Нет общей идеи». На какой же цепи он сидел всю-то жизнь? Чему же — без общей-то идеи — людей учил?

— А — общая идея — это не общее место? — спросила Лидия.

Иноков, удивленно посмотрев на нее, пробормотал:

— Вот как? Н-да... не думал я. Не знаю.

И продолжал настойчиво:

— У Чехова — тоже нет общей-то идеи. У него чувство недоверия к человеку, к народу. Лесков вот в человека верил, а в народ — тоже не очень. Говорил: «Дрянь славянская, навоз родной». Но он, Лесков, пронзил всю Русь. Чехов премного обязан ему.

— Не вижу этого,— с любопытством разглядывая Инокова, сказала Лидия.

— А вы почитайте их одного за другим, увидите...

Он дотронулся пальцем до плеча девушки, заставив ее отшатнуться:

— Слушайте-ка: а где эта красавица, подруга ваша?

— Вероятно, у себя дома. Вам ее нужно?

Лидия улыбалась, веснушки на лице Инокова тоже дрожали, губы по-детски расплылись, в глазах блестел мягкий смех.

— Смешно спросил? Ну — ничего! Мне, разумеется, ее не нужно, а — любопытно мне: как она жить будет? С такой красотой — трудно. И, потом, я всё думаю, что у нас какая-нибудь Лола Монтес должна явиться при новом царе.

— Влюбился он в нее, вот что,— сказала Сомова, ласково глядя на своего друга.— Он у меня жадненький на яркое...

— Влюбился — это чепуха. Влюбляться я и не умею. А просто барышня эта в большие думы вгоняет меня. Уж очень — неуместная. Поэтому — печально мне думать о ней.

— Попробуйте не думать,— посоветовала Лидия.

Инокоз удивился, взмахнул бровями:

— Разве это можно: видеть и не думать?

Когда он и Сомова ушли, Клим спросил Лидию:

— Почему ты говоришь с ним тоном старой барыни?

Лидия тихонько посмеялась и объяснила, скрестив руки на груди, пожимая плечами:

— Я тоже чувствую, что это нелепо, но другого тона не могу найти. Мне кажется: если заговоришь с ним как-то иначе, он посадит меня на колени себе, обнимет и начнет допрашивать: вы — что такое?

Клим подумал и сказал:

— Да, от него можно ожидать всяких дерзостей.

Как-то вечером Сомова пришла одна, очень усталая и, видимо, встревоженная.

— Я ночую у тебя, Лидуша! — объявила она.— Мой милейший пошел куда-то в уезд, ему надо видеть, как мужики бунтовать будут. Дай мне попить чего-нибудь, только не молока. Вина бы, а?

Клим сходил вниз, принес бутылку белого вина, уселись втроем на диван, и Лидия стала расспрашивать подругу: что за человек Иноков?

— А я — не знаю, друзья мои! — начала Сомова, разводя руками с недоумением, которое Клим принял как искреннее.

— Знакома я с ним шесть лет, живу второй год, но вижу редко, потому что он всё прыгает во все стороны от меня. Влетит, как шмель, покружится, пожужжит немножко и вдруг: «Люба, завтра я в Херсон еду». Merci, monsieur. Mais — pourquoi? [1] Милые мои,— ужасно нелепо и даже горестно в нашей деревне по-французски говорить, а — хочется! Вероятно, для углубления нелепости хочется, а может, для того, чтоб напомнить себе о другом, о другой жизни.

Начала она говорить шутливо, с комическими интонациями, но продолжала уже задумчиво, хотя и не теряя грустного юмора.

— Надо, говорит, знать Россию. Всё знать — его пунктик. У него даже в стихах это сказано:

Но эти цепи я разрушу,
На то и воля мне дана,
Затем и разбудил мне душу
Фанатик знанья, сатана!

— Да, вот и — нет его. И писем нет, и меня как будто нет. Вдруг — влезает в дверь, ласковый, виноватый. Расскажи — где был, что видел? Расскажет что-нибудь не очень удивительное, но все-таки...

На глазах Сомовой явились слезы, она вынула платок, сконфуженно отерла глаза и усмехнулась:

— Нервы. Так вот: в Мариуполе, говорит, вдова, купчиха, за матроса-негра замуж вышла, негр право-

[1] Благодарю вас. Но — зачем? *(франц.)*.

славие принял и в церкви, на левом клиросе, тенором поет.

Сомова громко всхлипнула, снова закрыв платком глаза.

— В негра я не верю, негра он выдумал. Но выдумывать несообразное — это тоже его конек. Он с жизнью, точно с капризной женой, спорит: «Ах, ты вот как? Ну, а я могу еще замысловатее». Ох, дети мои, пугает он меня этим! В селе у нас был отчаянный озорник Микешка Бобыль, житья никому не давал озорством. Иноков, когда жил там, присмотрелся к нему и стал при каждой встрече вставать пред ним на руки, вверх ногами. Все смеются — что такое? И Микешка смеется. Но девки, парни стали дразнить его: «А ты, Бобыль, эдак-то не можешь!» Тот рассердился, полез драться. Но Иноков — сильнее, повалил его на землю и начал трепать за уши, как мальчишку, а Бобылю под сорок лет. Треплет и приговаривает: «Не дури, не дури! Дурить всякий может, да еще и лучше тебя!»

Сомова поморщилась и, вздохнув, продолжала тише:

— Правду говоря,— нехорошо это было видеть, когда он сидел верхом на спине Бобыля. Когда он злится, лицо у него... жуткое! Потом Микешка плакал. Если б его просто побили, он бы не так обиделся, а тут — за уши! Засмеяли его, ушел в батраки на хутор к Жадовским. Признаться — я рада была, что ушел, он мне в комнату всякую дрянь через окно бросал — дохлых мышей, кротов, ежей живых, а я страшно боюсь ежей!

Сомова вздрогнула, выпила вина и, облизав губы, сказала, как бы вспоминая очень отдаленное:

— Мужики любили Инокова. Он им рассказывал всё, что знает. И в работе всегда готов помочь. Он — хороший плотник. Телеги чинил. Работать он умеет всякую работу.

И, уныло помолчав, она добавила, вздыхая:

— Весело работает.

Выслушав этот рассказ, Клим решил, что Иноков действительно ненормальный и опасный человек. На другой день он сообщил свое умозаключение Лидии, но она сказала очень твердо:

— Такие мне нравятся.

— А ты ему, кажется, не очень по душе.

Лидия промолчала, искоса взглянув на него.

Дня через два Сомова прибежала очень взволнованная.

— Губернатор приказал выслать Инокова из города, обижен корреспонденцией о лотерее, которую жена его устроила в пользу погорельцев. Приходила полиция, требовали, чтоб я сказала, где он. Но — ведь я же не знаю! Не верят.

Она, сидя на стуле, схватилась за голову и, покачиваясь, продолжала:

— Не могу же я сказать: он пошел туда, где мужики бунтуют! Да и этого не знаю я, где там бунтуют.

Лидия начала успокаивать ее, но она говорила, всхлипывая:

— Ты не понимаешь. Он ведь у меня слепенький к себе самому. Он себя не видит. Ему — поводырь нужен, нянька нужна, вот я при нем в этой должности... Лида, попроси отца... впрочем — нет, не надо!

Она сорвалась со стула, быстро поцеловала подругу и пошла к двери, но, остановясь, сказала:

— Я думаю, это Дронов проболтался о корреспонденции, никто, кроме него, не знал о ней. А они узнали слишком быстро. Наверное — Дронов... Прощайте!

Ушла, и вот уж более двух недель ее не видно в городе.

Клим вспомнил всё это, сидя в городском саду над прудом, разглядывая искаженное отражение свое в зеленоватой воде. Макая трость в воду, он брызгал на белое пятно и, разбив его, следил, как снова возникает голова его, плечи, блестят очки.

«Зачем нужны такие люди, как Сомова, Иноков? Удивительно запутана, засорена жизнь»,— думал он, убеждая себя, что жизнь была бы легче, проще и без Лидии, которая, наверное, только потому кажется загадочной, что она труслива, трусливее Нехаевой, но так же напряженно ждет удобного случая, чтоб отдать себя на волю инстинкта. Было бы спокойнее жить без Томилина, Кутузова, даже без Варавки, вообще без всех этих мудрецов и фокусников. Слишком много людей, которые стремятся навязать другим свои вы-

думки, домыслы и в этом полагают цель своей жизни. Туробоев неплохо сказал:

«Каждый из нас ходит по земле с колокольчиком на шее, как швейцарская корова».

Когда мысли этого цвета и порядка являлись у Самгина, он хорошо чувствовал, что вот это — подлинные его мысли, те, которые действительно отличают его от всех других людей. Но он чувствовал также, что в мыслях этих есть что-то нерешительное, перешенное и робкое. Высказывать их вслух не хотелось. Он умел скрывать их даже от Лидии.

На воде пруда, рядом с белым пятном его тужурки, вдруг явилось темное пятно, и в ту же секунду бабий голос обиженно спросил его:

— Ты что ж, Самгин, зазнался?

Клим вздрогнул, взмахнул тростью, встал — рядом с ним стоял Дронов. Тулья измятой фуражки съехала на лоб ему и еще больше оттопырила уши, из-под козырька блестели бегающие глазки.

— Я же просил тебя повидаться со мной. Сомова говорила тебе?

— Не было времени,— сказал Самгин, пожимая шершавую, жесткую руку.

— А — сидеть над тухлой водой есть время?

Сморкаясь и кашляя, Дронов плевал в пруд, Клим заметил, что плевки аккуратно падают в одну точку или слишком близко к ней, точкой этой была его, Клима, белая фуражка, отраженная на воде. Он отодвинулся, внимательно взглянув в лицо Ивана Дронова. На лице, сильно похудевшем, сердито шевелился красный, распухший носик, раздраженно поблескивали глаза, они стали светлее, холодней и уже не так судорожно бегали, как это помнил Клим. Незнакомым, гнусавым голосом Дронов отрывисто и быстро рассказал, что живет он плохо, работы — нет, две недели мыл бутылки в подвале пивного склада и вот простудился.

— Папирос у тебя нет?

— Не курю.

— Да, я забыл. И не будешь курить?

— Не знаю,— ответил Клим, пожимая плечами.

— Конечно — не будешь.

Дронов протяжно, со свистом, вздохнул, закашлялся, потом сказал:

— Значит — учишься? А меня вот раздразнили и — выбросили. Не совали бы в гимназию, писал бы я вывески или иконы, часы чинил бы. Вообще работал бы что-нибудь легкое. А теперь вот живи недоделанным.

Клим, взглянув на его оттопыренное ухо, подумал: «Ты бы не таскал в гимназию запрещенных книг».

Он даже хотел сказать это Дронову, но тот, как бы угадав его мысль, сам заговорил:

— Когда эти идиоты выгнали меня из гимназии, там только трое семиклассников толстовские брошюрки читали, а теперь...

Он махнул рукой.

— Мозги-то всё сильнее чешутся. Тут явился Исаия пророк, вроде твоего дядюшки, уговаривает: милые дети, будьте героями, прогоните царя.

— Ты — что же? Соглашаешься прогнать?

— Я в эту игру не играю. Я, брат, не верю ни дядям, ни тетям.

С легкой усмешкой на кривых губах, поглаживая темный пух на подбородке, Дронов заговорил добродушнее:

— Томилину — верю. Этот ничего от меня не требует, никуда не толкает. Устроил у себя на чердаке какое-то всесветное судилище и — доволен. Шевыряется в книгах, идеях и очень просто доказывает, что всё на свете шито белыми нитками. Он, брат, одному учит — неверию. Тут уж — бескорыстно, а?

И, заглянув в глаза Клима, он повторил:

— Ведь — бескорыстно?

— Да...

Дронов снял фуражку и хлопнул ею по колену, продолжая еще более успокоенно:

— Замечательный человек. Живет — не морщится. На днях тут хоронили кого-то, и один из провожатых забавно сказал: «Тридцать девять лет жил — морщился, больше не стерпел — помер». Томилин — много стерпит.

Крепок татарин — не изломится!
Жиловат, собака,— не изорвется!

Серые облака поднялись из-за деревьев, вода потеряла свой масленый блеск, вздохнул прохладный ветер, покрыл пруд мелкой рябью, мягко пошумел листвой деревьев, исчез.

«Долго он будет говорить?» — подумал Клим, искоса разглядывая Дронова.

— Написал он сочинение «О третьем инстинкте»; не знаю, в чем дело, но эпиграф подсмотрел: «Не ищу утешений, а только истину». Послал рукопись какому-то профессору в Москву; тот ему ответил зелеными чернилами на первом листе рукописи: «Ересь и нецензурно».

С явным удовольствием, но негромко и как-то неумело он засмеялся, растягивая фуражку на пальцах рук.

— Он бы, конечно, зачах с голода — повариха спасла. Она его святым считает. Одела в мужево платье, поит, кормит. И даже спит с ним. Что ж?

Даром ничто не дается. Судьба
Жертв искупительных просит.

Повариха ему, философу,— судьба.

Говорил Дронов порывисто и торопливо, желая сказать между двумя припадками кашля как можно больше. Слушать его было трудно и скучно, Клим задумался о своем, наблюдая, как Дронов истязует фуражку.

— У литератора Писемского судьбою тоже кухарка была; он без нее на улицу не выходил. А вот моя судьба всё еще не видит меня.

Самгину вдруг захотелось спросить о Маргарите, но он подавил это желание, опасаясь еще более затянуть болтовню Дронова и усилить фамильярный тон его. Он вспомнил, как этот неудобный парень, высмеивая мучения Макарова, сказал, снисходительно и цинично:

«Урод. Чего боится? На первый раз закрыл бы глаза, как будто касторку принимает, вот и всё».

— Дядя твой рычит о любви...

— Он арестован.

— Знаю. Но у него любовь — для драки...

«Это, пожалуй, верно»,— подумал Клим.

— А Томилин из операций своих исключает и любовь и всё прочее. Это, брат, не плохо. Без обмана. Ты что не зайдешь к нему? Он знает, что ты здесь. Он тебя хвалит: это, говорит, юноша независимого ума.

— Конечно, зайду,— сказал Клим.— Мне нужно съездить на дачу, сделать одну работу; завтра и поеду...

Работы у него не было, на дачу он не собирался, но ему не хотелось идти к Томилину, и его всё более смущал фамильярный тон Дронова. Клим чувствовал себя независимее, когда Дронов сердито упрекал его, а теперь многоречивость Дронова внушала опасение, что он будет искать частых встреч и вообще мешать жить.

— Тебе, Иван, не надо ли денег?

Он сам тотчас же понял, что об этом следовало спросить раньше или позже.

Дронов встал, оглянулся, медленно натянул фуражку на плоский свой череп и снова сел, сказав:

— Надо.

Получив деньги, он вытянул ногу, резким жестом сунул их в карман измятых брюк, застегнул единственную пуговицу серого пиджака, вытертого на локтях.

— Сапоги починю.

И, плюнув в темную воду пруда, рассказал зачем-то:

— Минувшим летом здесь, на глазах гуляющей публики, разделся допага и стал купаться земский начальник Мусин-Пушкин. А через несколько дней, у себя в деревне, он стал стрелять из окна волчьей картечью в стадо, возвращавшееся с выгона. Мужики связали его, привезли в город, а здесь врачи установили, что земский давно уже, месяца два-три назад тому, сошел с ума. В этом состоянии безумия он занимался очередными делами, судил людей. А Бронский, тоже земский начальник, штрафует мужиков на полтинник, если они не снимают шапок пред его лошадью, когда конюх ведет ее купать.

Посидев еще минуты две, Клим простился и пошел домой. На повороте дорожки он оглянулся: Дронов еще сидел на скамье, согнувшись так, точно он собирался нырнуть в темную воду пруда. Клим Самгин с досадой ткнул землю тростью и пошел быстрее.

Он был очень недоволен этой встречей и самим собою за бесцветность и вялость, которые обнаружил, беседуя с Дроновым. Механически воспринимая речи его, он старался догадаться: о чем вот уже три дня таинственно шепчется Лидия с Алиной и почему они сегодня внезапно уехали на дачу? Телепнева встревожена, она, кажется, плакала, у нее усталые глаза; Лидия, озабоченно ухаживая за нею, сердито покусывает губы.

Он шел встречу ветра по главной улице города, уже раскрашенной огнями фонарей и магазинов; под ноги ему летели клочья бумаги, это напомнило о письме, которое Лидия и Алина читали вчера, в саду, напомнило восклицание Алины:

— Нет, каков? Вот — хам!

«Неужели это она о Лютове? — соображал Клим.— Вероятно, у нее не один роман».

Ветер брызгал в лицо каплями дождя, тепленькими, точно слезы Нехаевой. Клим взял извозчика и, спрятавшись под кожаным верхом экипажа, возмущенно подумал, что Лидия становится для него наваждением, болезнью, мешает жить.

Приехав домой, он только что успел раздеться, как явились Лютов и Макаров. Макаров, измятый, расстегнутый, сиял улыбками и осматривал гостиную, точно любимый трактир, где он давно не был. Лютов, весь фланелевый, в ярко-желтых ботинках, был ни с чем несравнимо нелеп. Он сбрил бородку, оставив реденькие усики кота, это неприятно обнажило его лицо, теперь оно показалось Климу лицом монгола, толстогубый рот Лютова не по лицу велик, сквозь улыбку, судорожную и кривую, поблескивают мелкие, рыбьи зубы.

Клима изумила торопливая небрежность, с которой Лютов поцеловал руку матери и завертел шеей, обнимая ее фигуру вывихнутыми глазами.

«Застенчив или нахал?» — спросил Клим себя, неприязненно наблюдая, как зрачки Лютова быстро бегают по багровому лицу Варавки, и еще более изумился, увидав, что Варавка встретил москвича с удовольствием и даже почтительно.

— Дядя мой, Радеев, сообщил вам...

— Как же, как же,— воскликнул Варавка, подвигая гостю кресло.

— Вы покупаете землю некоего Туробоева...

— Именно.

— Там есть спорный участок, право Туробоева на владение коим оспаривается теткой невесты моей Алины Марковны Телепневой, подруги дочери вашей...

Клим слышал, что Лютов подражает голосу подьячего из «Каширской старины», говорит тоном сутяги, нарочито гнусавя.

«Конечно, это его Алина назвала хамом...»

— ...которая, надеюсь, в добром здоровье?

— Совершенно. Сегодня уехала на дачу вместе с невестой вашей...

— Сегодня-с? — со свистом спросил Лютов и привстал, упираясь руками в ручки кресла. Но тотчас же опустился, сказав: — Невзирая на дурную погоду?

Клим почувствовал в этом движении Лютова нечто странное и стал присматриваться к нему внимательнее, но Лютов уже переменил тон, говоря с Варавкой о земле деловито и спокойно, без фокусов.

Подозрительно было искусно сделанное матерью оживление, с которым она приняла Макарова; так она встречала только людей неприятных, но почему-либо нужных ей. Когда Варавка увел Лютова в кабинет к себе, Клим стал наблюдать за нею. Играя лорнетом, мило улыбаясь, она сидела на кушетке, Макаров на мягком пуфе против нее.

— Клим говорил мне, что профессора любят вас...

Макаров посмеивался:

— Легче преподавать науки, чем усваивать оные...

«Зачем она выдумывает? — догадывался Клим.— Я никогда не говорил ничего подобного».

Вошла горничная и сказала Вере Петровне:

— Барин просят вас...

Когда мать торопливо исчезла, Макаров спросил удивленно:

— Алина сегодня уехала? Странно.

— Почему?

— Да... так!

Клим усмехнулся.

— Тайна?

— Нет, ерунда... Ты нездоров или сердит?

— Устал.

Клим посмотрел в окно. С неба отклеивались серенькие клочья облаков и падали за крыши, за деревья.

«Невежливо, что я встал спиною к нему»,— вяло подумал Клим, но не обернулся, спрашивая:

— Они поссорились?

Вместо ответа Макарова раздался строгий вопрос матери:

— Разве вы не думаете, что упрощение — верный признак ума нормального?

Лютов, закуривая папиросу, криво торчавшую в янтарном мундштуке, чмокал губами, мигал и бормотал:

— Наивного-с... наивного!

Он, мать и Варавка сгрудились в дверях, как бы не решаясь войти в комнату; Макаров подошел, выдернул папиросу из мундштука Лютова, сунул ее в угол своего рта и весело заговорил:

— Если он вам что-нибудь страшное изрек — вы ему не верьте! Это — для эпатажа.

А Лютов, вынув часы, постукивая мундштуком по стеклу, спросил:

— Идем, Константин?

И обратился к Варавке:

— Так вы поторопите Туробоева?

Рядом с массивным Варавкой он казался подростком, стоял опустив плечи, пожимаясь, в нем было даже что-то жалкое, подавленное.

Когда неожиданные гости ушли, Клим заметил:

— Странный визит.

— Деловой визит,— поправил Варавка и тотчас же, играя бородой, прижав Клима животом к стене, начал командовать:

— Завтра утром поезжай на дачи, устрой там этим двум комнату внизу, а наверху — Туробоеву. Чуешь? Ну, вот...

Он ушел к себе наверх, прыгая по лестнице, точно юноша; мать, посмотрев вслед ему, вздохнула и сморщилась, говоря:

— Бог мой! До чего антипатичен этот Лютов! Что нашла в нем Алина?

— Деньги,— нехотя ответил Клим, садясь к столу.

— Как хорошо, что ты не ригорист,— сказала мать, помолчав. Клим тоже молчал, не находя, о чем говорить с нею. Заговорила она негромко и, очевидно, думая о другом:

— Странное лицо у Макарова. Такое раздражающее, если смотреть в профиль. Но анфас — лицо другого человека. Я не говорю, что он двуличен в смысле нелестном для него. Нет, он... несчастливо двуличен...

— Как это понять? — из вежливости спросил Клим; пожав плечами, Вера Петровна ответила:

— Впечатление.

Она говорила еще что-то о Туробоеве. Клим, не слушая, думал:

«Стареет. Болтлива».

Когда она ушла, он почувствовал, что его охватило, точно сквозной ветер, не изведанное им, болезненное чувство насыщенности каким-то горьким дымом, который, выедая мысли и желания, вызывал почти физическую тошноту. Как будто в голове, в груди его вдруг тихо вспыхнули, но не горят, а медленно истлевают человеческие способности думать и говорить, способность помнить. Затем явилось тянущее, как боль, отвращение к окружающему, к этим стенам в пестрых квадратах картин, к черным стеклам окон, прорубленных во тьму, к столу, от которого поднимался отравляющий запах распаренного чая и древесного угля.

Клим упорно смотрел в пустой стакан, слушал тонкий писк угасавшего самовара и механически повторял про себя одно слово:

«Тоска».

Бездействующий разум не требовал и не воскрешал никаких других слов. В этом состоянии внутренней немоты Клим Самгин перешел в свою комнату, открыл окно и сел, глядя в сырую тьму сада, прислушиваясь, как стучит и посвистывает двухсложное словечко. Туманно подумалось, что, вероятно, вот в таком состоянии угнетения бессмыслицей земские начальники

сходят с ума. С какой целью Дронов рассказал о земских начальниках? Почему он, почти всегда, рассказывает какие-то дикие анекдоты? Ответов на эти вопросы он не искал.

Когда ему стало холодно, он как бы выскользнул из пустоты самозабвения. Ему показалось, что прошло несколько часов, но, лениво раздеваясь, чтобы лечь в постель, он услышал отдаленный звон церковного колокола и сосчитал только одиннадцать ударов.

«Только? Странно...»

Спать он лег, чувствуя себя раздавленным, измятым, и проснулся, разбуженный стуком в дверь: горничная будила его к поезду. Он быстро вскочил с постели и несколько секунд стоял, закрыв глаза, ослепленный удивительно ярким блеском утреннего солнца. Влажные листья деревьев за открытым окном тоже ослепительно сияли, отражая в хрустальных каплях дождя разноцветные, короткие и острые лучики. Оздоровляющий запах сырой земли и цветов наполнял комнату; свежесть утра щекотала кожу. Клим Самгин, вздрагивая, подумал:

«Нелепое настроение было у меня вчера».

Но, прислушавшись к себе, он нашел, что от этого настроения в нем осталась легкая тень.

«Болезнь роста души»,— решил он, торопливо одеваясь.

Вечером он сидел на песчаном холме у опушки сосновой рощи, прослоенной березами; в сотне шагов пред глазами его ласково струилась река, разноцветная в лучах солнца, горела парчовая крыша мельницы, спрятанной среди уродливых ветел, поля за рекою зелено ощетинились хлебами. Клим видел нейзаж похожим на раскрашенную картинку из книги для детей, хотя знал, что это место славится своею красотой. На горбе холма, формою своей подобного парадной шляпе мирового судьи, Варавка выстроил большую, в два этажа, дачу, а по скатам сползали к реке еще шесть пестреньких домиков, украшенных резьбою в русском стиле. В крайнем, направо, жил опекун Алины, угрюмый старик, член окружного суда, остальные дачи не сняты.

Было очень тихо, только жуки гудели в мелкой листве берез да вечерний ветер, тепло вздыхая, шелестел хвоей сосен. Уже не один раз Клим слышал в тишине сочный голос, мягкий смех Алины, но упрямо не хотел пойти к девицам. По дыму из труб дачи Варавки, по открытым окнам и возне прислуги, Лидия и Алина должны были понять, что кто-то приехал. Клим несколько раз выходил на балкон дачи и долго стоял там, надеясь, что девицы заметят его и прибегут. Он видел тонкую фигуру Лидии в оранжевой блузе и синей юбке, видел Алину в красном. Трудно было поверить, что они не заметили его.

Хорошо бы внезапно явиться пред ними и сказать или сделать что-нибудь необыкновенное, поражающее, например, вознестись на воздух или перейти, как по земле, через узкую, но глубокую реку на тот берег.

«Как это глупо»,— упрекнул себя Клим и вспомнил, что за последнее время такие детские мысли нередко мелькают пред ним, как ласточки. Почти всегда они связаны с думами о Лидии, и всегда, вслед за ними, являлась тихая тревога, смутное предчувствие опасности.

Быстро темнело. В синеве, над рекою, повисли на тонких ниточках лучей три звезды и отразились в темной воде маслеными каплями. На даче Алины зажгли огни в двух окнах, из реки всплыло уродливо большое, квадратное лицо с желтыми, расплывшимися глазами, накрытое островерхим колпаком. Через несколько минут с крыльца дачи сошли на берег девушки, и Алина жалобно вскрикнула:

— Господи, какая скука! Я не переживу...

— Иди же,— сказала Лидия с явной досадой.

Клим встал и быстро пошел к ним.

— Ты? — удивилась Лидия.— Почему так таинственно? Когда приехал? В пять?

Кроме удивления, Клим услыхал в ее словах радость. Алина тоже обрадовалась.

— Чудесно! Мы едем в лодке. Ты будешь грести. Только, пожалуйста, Клим, не надо умненьких разговорчиков. Я уже знаю всё умненькое, от ихтиозавров до Фламмарионов, нареченный мой всё рассказал мне.

С полчаса Клим греб против течения, девушки молчали, прислушиваясь, как хрупко плещет под ударами весел темная вода. Небо всё богаче украшалось звездами. Берега дышали пьяненьким теплом весны. Алина, вздохнув, сказала:

— Мы с тобой, Лидок, праведницы, и за это Самгин, такой беленький ангел, перевозит нас живыми в рай.

— Харон,— тихо сказал Клим.

— Что? Харон седой и с бородищей, а тебе и до бородки еще долго жить. Ты помешал мне,— капризно продолжала она.— Я придумала и хотела сказать что-то смешное, а ты... Удивительно, до чего все любят поправлять и направлять! Весь мир — какое-то исправительное заведение для Алины Телепневой. Лидия целый день душила унылыми сочинениями какого-то Метелкина, Металкина. Опекун совершенно серьезно уверяет меня, что «Герцогиня Герольдштейнская» женщина не историческая, а выдумана Оффенбахом оперетки ради. Проклятый жених мой считает меня записной книжкой, куда он заносит, для сбережения, свои мысли...

Лидия тихонько засмеялась, улыбнулся и Клим.

— Нет, серьезно,— продолжала девушка, обняв подругу и покачиваясь вместе с нею.— Он меня скоро всю испишет! А впадая в лирический тон, говорит, как дьячок.

Подражая голосу Лютова, она пропела в нос:

— «О, велелепая дщерь! Разреши мя уз молчания, ярюся бо сказати тобе словеса душе умилительные». Он, видите ли, уверен, что это смешно — ярюся... и тобе...

Задумчиво прозвучал голос Лидии:

— Ты относишься к нему легкомысленно. Он — застенчив, его смущают глаза...

— Да? Легкомысленно? — задорно спросила Алина.— А как бы ты отнеслась к жениху, который всё только рассказывает тебе о материализме, идеализме и прочих ужасах жизни? Клим, у тебя есть невеста?

— Нет еще.

— Представь, что уже есть. О чем бы ты говорил с нею?

— Конечно — обо всем,— сказал Самгин, понимая, что пред ним ответственная минута. Делая паузы, вполне естественные и соразмерные со взмахами весел, он осмотрительно заговорил о том, что счастье с женщиной возможно лишь при условии полной искренности духовного общения. Но Алина, махнув рукою, иронически прервала его речь:

— Это я слышала. Вероятно, и лягушки квакают об этом же...

Клим, не смущаясь, сказал:

— Но каждая женщина раз в месяц считает себя обязанной солгать, спрятаться...

— Почему — только раз? — всё так же с иронией спросила Алина, а Лидия сказала глухо:

— Это ужасно верно.

— Что — верно? — спросила Алина нетерпеливо и — возмутилась:

— Вам не стыдно, Самгин?

— Нет, мне грустно,— ответил Клим, не взглянув на нее и на Лидию.— Мне кажется, что есть...— Ему хотелось сказать — девушки, но он удержался — ... женщины, которые из чувства ложного стыда презирают себя за то, что природа, создавая их, грубо наглупила. И есть девушки, которые боятся любить, потому что им кажется: любовь — унижает, низводит их к животным.

Он говорил осторожно, боясь, чтоб Лидия не услышала в его словах эха мыслей Макарова,— мыслей, наверное, хорошо знакомых ей.

— Может быть, некоторые потому и... нечистоплотно ведут себя, что торопятся отлюбить, хотят скорее изжить в себе женское — по их оценке: животное — и остаться человеком, освобожденным от насилий инстинкта...

— Это удивительно верно, Клим,— произнесла Лидия негромко, но внятно.

Клим чувствовал, что в тишине, над беззвучным движением темной воды, слова его звучат внушительно.

— Вы знаете таких женщин? Хоть одну? — тихо и почему-то сердито спросила Алина.

«Да или нет?» — осведомился Клим у себя.— Нет, не знаю. Но уверен, что такие женщины должны быть.

— Конечно,— сказала Лидия.

Клим замолчал. Девицы тоже молчали; окутавшись шалью, они плотно прижались друг ко другу. Через несколько минут Алина предложила:

— Пора домой.

Лодка закачалась и бесшумно поплыла по течению. Клим не греб, только правил веслами. Он был доволен. Как легко он заставил Лидию открыть себя! Теперь совершенно ясно, что она боится любить и этот страх — всё, что казалось ему загадочным в ней. А его робость пред нею объясняется тем, что Лидия несколько заражает его своим страхом. Удивительно просто всё, когда умеешь смотреть. Думая, Клим слышал сердитые жалобы Алины:

— Все-таки не обошлось без умненького разговорчика! Ох, загонят меня эти разговорчики куда-то, «иде же несть ни печали, ни воздыхания, но жизнь»... скоротечная.

Алина захохотала, раскачиваясь, хлопая себя ладонями по колепям, повторяя:

— Ой, господи! Скоротечная...

И смех и жесты ее Клим нашел грубыми.

Опустив руку за борт, Лидия так сильно покачнула лодку, что подруга ее испугалась.

— Да ты с ума сходишь!

Лидия, брызнув водою в лицо ее и гладя мокрой ладонью щеки свои, сказала:

— Трусиха.

С одной стороны черной полосы воды возвышались рыжие бугры песка, с другой неподвижно торчала щетина кустов. Алина указала рукою на берег:

— Смотри, Лида: голова земли наклонилась к воде пить, а волосы встали дыбом.

— Голова свиньи,— сказала Лидия.

Когда прощались, Клим почувствовал, что она сжала руку его очень крепко и спросила необычно ласково:

— Ты приехал на всё лето?

Алина, глядя на звезды, соображала:

— Значит, завтра явится мой нареченный.

Обняв Лидию, она медленно пошла к даче, Клим, хватаясь за лапы молодых сосен, полез по крутому скату холма. Сквозь шорох хвои и скрип песка он слышал смех Телепневой, потом — ее слова:

— ...Туробоев. Как же ты, душка, будешь жить между двух огней?

«Да,— подумал Клим.— Как?»

Он остановился, вслушиваясь, но уже не мог разобрать слов. И долго, до боли в глазах, смотрел на реку, совершенно неподвижную во тьме, на тусклые отражения звезд.

Утром на другой день со станции пришли Лютов и Макаров, за ними ехала телега, солидно нагруженная чемоданами, ящиками, какими-то свертками и кульками. Не успел Клим напоить их чаем, как явился знакомый Варавки доктор Любомудров, человек тощий, длинный, лысый, бритый, с маленькими глазками золотистого цвета, они прятались под черными кустиками нахмуренных бровей. Клим провел с этим доктором почти весь день, показывая ему дачи. Доктор смотрел на всё вокруг унылым взглядом человека, который знакомится с местом, где он должен жить против воли своей. Он покусывал губы, около ушей его шевелились какие-то шарики, а переходя с дачи на дачу, он бормотал:

— Так. Ну, что ж? Оч-чень хорошо.

Наконец он сказал Климу решительно, басом:

— Значит, оставьте за мной эту.

Но, поправив на голове серую измятую шляпу, прибавил:

— Или — эту.

Клим устал от доктора и от любопытства, которое мучило его весь день. Хотелось знать: как встретились Лидия и Макаров, что они делают, о чем говорят? Он тотчас же решил идти туда, к Лидии, но, проходя мимо своей дачи, услышал голос Лютова:

— Нет, подожди, Костя, посидим еще...

Лютов говорил близко, за тесной группой берез, несколько ниже тропы, по которой шел Клим, но его

не было видно, он, должно быть, лежал, видна была фуражка Макарова и синий дымок над нею.

— Хочется мне поругаться, поссориться с кем-нибудь,— отчетливо звучал кларнетный голос Лютова.— С тобой, Костя, невозможно. Как поссоришься с лириком?

— А ты попробуй.

— Нет, не стану.

— Говорят — Фет злой. А — лирик.

Клим остановился. Ему не хотелось видеть ни Лютова, ни Макарова, а тропа спускалась вниз, идя по ней, он неминуемо был бы замечен. И подняться вверх по холму не хотелось, Клим устал, да всё равно они услышали бы шум его шагов. Тогда они могут подумать, что он подслушивал их беседу. Клим Самгин стоял и, нахмурясь, слушал.

— Зачем ты пьешь при ней? — равнодушно спросил Макаров.

— Чтоб она видела. Я — честный парень.

— Истерик ты. И — выдумываешь много. Любишь, ну и — люби

без размышлений,
Без тоски, без думы роковой.

— Для этого надо вытряхнуть мозг из моей головы.

— Тогда — отстань от нее.

— Для этого необходима воля.

Макаров минуты две говорил вполголоса и так быстро, что Клим слышал только оторванные клочья фраз:

— Эгоизм пола... симуляция...

Затем снова начал Лютов, тоже негромко, но как-то пронзительно, печатать на тишине:

— Весьма зрело и очень интересно. Но ты забыл, что аз есмь купеческий сын. Это обязывает измерять и взвешивать со всей возможной точностью. Алина Марковна тоже не лишена житейской мудрости. Она видит, что будущий спутник первых шагов жизни ее подобен Адонису весьма отдаленно и даже — бесподобен. Но она знает и учла, что он — единственный наследник фирмы «Братья Лютовы. Пух и перо».

Воркотня Макарова на несколько секунд прервала речь Лютова.

— Друг мой, ты глуп, как спичка,— продолжал Лютов.— Ведь я не картину покупаю, а простираюсь пред женщиной, с которой не только мое бренное тело, но и голодная душа моя жаждет слиться. И вот, лаская прекраснейшую руку женщины этой, я говорю: «Орудие орудий».— «Это что еще?» — спрашивает она. Отвечаю: «Так мудро поименовал руку человеческую один древний грек».—«А вы бы,— сказала,— своими словами говорили, может быть, забавнее выйдет».— Ты подумай, Костя, забавнее! И — только. Недоумеваю: разве я создан для забавы?

— Ну, довольно, Владимир. Иди спать! — громко и сердито сказал Макаров.— Я уже говорил тебе, что не понимаю этих... вывертов. Я знаю одно: женщина рожает мужчину для женщины.

— Сугубая ересь...

— Матриархат...

Лютов тонко свистнул, и слова друзей стали невнятны.

Клим облегченно вздохнул. За ворот ему вползла какая-то букашка и гуляла по спине, вызывая нестерпимый зуд. Несколько раз он пробовал осторожно потереть спину о ствол березы, но дерево скрипело и покачивалось, шумя листьями. Он вспотел от волнения, представляя, что вот сейчас Макаров встанет, оглянется и увидит его подслушивающим.

Жалобы Лютова он слушал с удовольствием, даже раза два усмехнулся. Ему казалось, что на месте Макарова он говорил бы умнее, а на вопрос Лютова:

«Разве я для забавы?» — ответил бы вопросом:

«А — для чего же?»

На месте, где сидел Макаров, всё еще курился голубой дымок, Клим сошел туда; в песчаной ямке извивались золотые и синенькие червяки огня, пожирая рыжую хвою и мелкие кусочки атласной бересты.

«Какое ребячество»,— подумал Клим Самгин и, засыпав живой огонь песком, тщательно притоптал песок ногою. Когда он поравнялся с дачей Варавки, из окна тихо окрикнул Макаров:

— Ты куда?

С неизбежной папиросой в зубах, с какой-то бумагой в руке, он стоял очень картинно и говорил:

— Девицы в раздражении чувств. Алина боится, что простудилась, и капризничает. Лидия настроена непримиримо, накричала на Лютова за то, что он не одобрил «Дневник Башкирцевой».

Опасаясь, что Макаров тоже пойдет к девушкам, Самгин решил посетить их позднее и вошел в комнату. Макаров сел на стул, расстегнул ворот рубахи, потряс головою и, положив тетрадку тонкой бумаги на подоконник, поставил на нее пепельницу.

— Все, брат, как-то тревожно скучают,— сказал он, хмурясь, взъерошивая волосы рукою.— По литературе не видно, чтобы в прошлом люди испытывали такую странную скуку. Может быть, это — не скука?

— Не знаю,— ответил Клим, испытывая именно скуку. Затем лениво добавил: — Говорят, что замечается оживление...

— Книжное.

Клим промолчал, присматриваясь, как в красноватом луче солнца мелькают странно обесцвеченные мухи; некоторые из них, как будто видя в воздухе неподвижную точку, долго дрожали над нею, не решаясь сесть, затем падали почти до пола и снова взлетали к этой невидимой точке. Клим показал глазами на тетрадку:

— Что это?

— Проект программы «Союза социалистов». Утверждает, что община создала нашего мужика более восприимчивым к социализму, чем крестьянин Запада. Это Лютов интересуется.

— От скуки?

Макаров пожал плечами.

— Н-нет, у него к политике какое-то свое отношение. Тут я его не понимаю.

— А во всем остальном, кроме этого, что такое он?

Подняв брови, Макаров закурил папиросу, хотел бросить горящую спичку в пепельницу, но сунул ее в стакан молока.

— О, чёрт!

Выплеснув молоко за окно, он посмотрел вслед белой струе и сообщил с досадой:

— На цветы. Пианино есть?

Он, очевидно, забыл о вопросе Клима или не хотел ответить.

— Зачем тебе пианино? Разве ты играешь? — сухо спросил Самгин.

— Представь — играю! — потрескивая сжатыми пальцами, сказал Макаров.— Начал по слуху, потом стал брать уроки... Это еще в гимназии. А в Москве учитель мой уговаривал меня поступить в консерваторию. Да. Способности, говорит. Я ему не верю. Никаких способностей нет у меня. Но — без музыки трудно жить, вот что, брат...

— Пианино вон в той комнате, у матери,— сказал Клим.

Макаров встал, небрежно сунул тетрадку в карман и ушел, потирая руки.

Как только зазвучали первые аккорды пианино, Клим вышел на террасу, постоял минуту, глядя в заречье, ограниченное справа черным полукругом леса, слева — горою сизых облаков, за которые уже скатилось солнце. Тихий ветер ласково гнал к реке зеленоседые волны хлебов. Звучала певучая мелодия незнакомой минорной пьесы. Клим пошел к даче Телепневой. Бородатый мужик с деревянной ногою заступил ему дорогу.

— На сома поохотиться не желаете, господин?

Клим, без слов, отмахнулся.

— Сомок — пуда на два,— уныло сказал мужик ему вслед.

Прислуга Алины сказала Климу, что барышня нездорова, а Лидия ушла гулять; Самгин спустился к реке, взглянул вверх по течению, вниз — Лидию не видно. Макаров играл что-то очень бурное. Клим пошел домой и снова наткнулся на мужика, тот стоял на тропе и, держась за лапу сосны, ковырял песок деревянной ногою, пытаясь вычертить круг. Задумчиво взглянув в лицо Клима, он уступил ему дорогу и сказал тихонько, почти в ухо:

— Солдатка тоже имеется... скусная!

Когда Клим взошел на террасу дачи, Макаров перестал играть, и торопливо поплыл сверлящий голосок Лютова:

— Народом обо всем подумано, милая Лидия Тимофеевна: и о рае неведения и об аде познания.

Огня в комнате не было, сумрак исказил фигуру Лютова, лишив ее ясных очертаний, а Лидия, в белом, сидела у окна, и на кисее занавески видно было только ее курчавую черную голову. Клим остановился в дверях за спиною Лютова и слушал:

— Когда изгоняемый из рая Адам оглянулся на древо познания, он увидал, что бог уже погубил древо: оно засохло. «И се диавол приступи Адамови и рече: чадо отринутое, не имаши путя инаго, яко на муку земную. И повлек Адама во ад земный и показа ему вся прелесть и вся скверну, их же сотвориша семя Адамово». На эту тему мадьяр Имре Мадач весьма значительную вещь написал. Так вот как надо понимать, Лидочка, а вы...

— Я — не о том,— сказала Лидия.— Я не верю... Кто это?

— Я,— ответил Клим.

— Почему ты являешься так таинственно?

Клим услышал в ее вопросе досаду, обиделся и, подойдя к столу, зажег лампу. Вошел, жмурясь, растрепанный Макаров, искоса взглянул на Лютова и сказал, упираясь руками в плечи Лютова, вдавливая его в плетеное кресло:

— Самому не спится — других вгоняешь в сон?

Лидия спросила:

— Зачем ты зажег лампу? Так хорошо сияли зарницы.

— Это не зарницы, а гроза,— поправил Клим и хотел погасить лампу, но Лидия сказала:

— Оставь.

Макаров, тихонько посвистывая, шагал по террасе, то появляясь, то исчезая, освещаемый безмолвным блеском молний.

— Проводите меня,— обратилась Лидия к Лютову, вставая со стула.

— С наслаждением.

Когда они вышли на террасу, Макаров заявил:

— И я пойду.

Но Лидия сказала:

— Нет, не надо.

Макаров, закинув руки за шею, минуту-две смотрел, как Лютов помогает Лидии идти, отводя от ее головы ветки молодого сосняка, потом заговорил, улыбаясь Климу:

— Слышал? Не надо. Чаще всех других слов, определяющих ее отношение к миру, к людям, она говорит: не надо.

Закурив папиросу, Макаров дожег спичку до конца и, опираясь плечом о косяк двери, продолжал тоном врача, который рассказывает коллеге историю интересной болезни:

— Беседуя с одним, она всегда заботится, чтоб другой не слышал, не знал, о чем идет речь. Она как будто боится, что люди заговорят неискренно, в унисон друг другу, но, хотя противоречия интересуют ее,— сама она не любит возбуждать их. Может быть, она думает, что каждый человек обладает тайной, которую он способен сообщить только девице Лидии Варавка?

Клим находил, что Макаров говорит верно, и негодовал: почему именно Макаров, а не он говорит это? И, глядя на товарища через очки, он думал, что мать — права: лицо Макарова — двойственно. Если б не его детские, глуповатые глаза,— это было бы лицо порочного человека. Усмехаясь, Клим сказал:

— Все-таки ты влюблен в нее.

— Я уже говорил тебе — нет.

Макаров дунул на папиросу так, что от огня ее полетели искры.

— Однако она не самолюбива. Мне даже кажется, что она недооценивает себя. Она хорошо чувствует, что жизнь— серьезнейшая штука и не для милых забав. Иногда кажется, что в ней бродит вражда к себе самой, какою она была вчера.

Макаров замолчал, потом тихонько засмеялся, говоря:

— Один естественник, знакомый мой, очень даровитый парень, но — скотина и альфонс,— открыто

живет с богатой старой бабой,— хорошо сказал: «Мы все живем на содержании у прошлого». Я как-то упрекнул его, а он и — выразился. Тут, брат, есть что-то...

— Ничего не вижу, кроме цинизма,— сказал Самгин.

Надвигалась гроза. Черная туча покрыла всё вокруг непроницаемой тенью. Река исчезла, и только в одном месте огонь из окна дачи Телепневой освещал густую воду.

Очень мало похож был Макаров на того юношу в парусиновой окровавленной блузе, которого Клим в страхе вел по улице. Эта несхожесть возбуждала и любопытство и досаду.

— Изменился ты, Константин,— неодобрительно заметил Самгин. Макаров, улыбаясь, спросил:

— К лучшему?

— Не знаю.

Макаров кивнул головой и провел ладонью по рассыпавшимся волосам.

— Мне кажется — спокойнее стал я. У меня, знаешь ли, такое впечатление осталось, как будто я на лютого зверя охотился, не в себя стрелял, а — в него. И еще: за угол взглянул.

Помолчав, он стал рассказывать задумчиво и тихо:

— В детстве я ничего не боялся — ни темноты, ни грома, ни драк, ни огня ночных пожаров; мы жили в пьяной улице, там часто горело. А вот углов — даже днем боялся; бывало, идешь по улице, нужно повернуть за угол, и всегда казалось, что там дожидается меня что-то, не мальчишки, которые могут избить, и вообще — не реальное, а какое-то... из сказки. Может быть, это был и не страх, а слишком жадное ожидание не похожего на то, что я видел и знал. Я, брат, к десяти годам уже знал много... почти всё, чего не надо было знать в этом возрасте. Возможно, что ждал я того, что было мне еще не знакомо, всё равно: хуже или лучше, только бы другое.

Глядя на Клима смеющимися глазами, он глубоко вздохнул.

— А теперь за все углы смотрю спокойно, потому что знаю: и за тем углом, который считают самым страшным, тоже ничего нет.

— Я считаю, что самое страшное в жизни — ложь! — сказал Клим Самгин непреклонным тоном.

— Да. И — глупость... На мой взгляд — люди очень глупо живут.

Оба замолчали.

— Пойду поиграю еще,— сказал Макаров.

Над столом вокруг лампы мелькали непужные, серепькие создания, обжигались, падали на скатерть, покрывая ее пеплом. Клим запер дверь на террасу, погасил огонь и пошел спать.

Слушая, как рычит, приближаясь, гром, Клим задумался о чем-то беспредметном, что не укладывалось ни в слова, ни в образы. Он ощущал себя в потоке неуловимого,— в потоке, который медленно проходил сквозь него, но как будто струился и вне мозга, в глухом реве грома, в стуке редких, крупных капель дождя по крыше, в пьесе Грига, которую играл Макаров. Скупо бросив несколько десятков тяжелых капель, туча прошла, гром стал тише, отдаленней, ярко взглянула в окно луна, и свет ее как бы толкнул всё вокруг, пошевелилась мебель, покачнулась стена. На мельнице пугливо залаяла собака, Макаров перестал играть, хлопнула дверь, негромко прозвучал голос Лютова. Затем всё примолкло, и в застывшей тишине Клим еще сильнее почувствовал течение неоформленной мысли.

Это не было похоже на тоску, недавно пережитую им, это было сновидное, тревожное ощущение падения в некую бездонность и мимо своих обычных мыслей, навстречу какой-то новой, враждебной им. Свои мысли были где-то в нем, но тоже бессловесные и бессильные, как тени. Клим Самгин смутно чувствовал, что он должен в чем-то сознаться пред собою, но не мог и боялся понять: в чем именно?

Разыгрался ветер, шумели сосны, на крыше что-то приглушенно посвистывало; лунный свет врывался в комнату, исчезал в ней, и снова ее наполняли шорохи и шёпоты тьмы. Ветер быстро рассеял короткую ночь весны, небо холодно позеленело. Клим закутал одеялом голову, вдруг подумав:

«В сущности — я бездарен».

Но эта догадка, не обидев его, исчезла, и снова он стал прислушиваться, как сквозь него течет опустошающее, бесформенное.

Встал он рано, ощущая в голове какую-то пыль, думая:

«Откуда, отчего у меня являются такие настроения?»

Когда он, один, пил чай, явились Туробоев и Варавка, серые, в пыльниках; Варавка был похож на бочку, а Туробоев и в широком мешке не потерял своей стройности, а сбросив с плеч парусину, он показался Климу еще более выпрямленным и подчеркнуто сухим. Его холодные глаза углубились в синеватые тени, и что-то очень печальное, злое подметил Клим в их неподвижном взгляде.

Вытряхивая пыль из бороды, Варавка сказал Климу, что мать просит его завтра же вечером возвратиться в город.

— К ней приезжают эти музыканты, ты их знаешь, ну, и...

Он неопределенно помахал красной рукою, а Клим подумал почти озлобленно:

«Варавка и мать, кажется, нарочно гоняют меня, хотят, чтоб я как можно меньше оставался с Лидией».

Подумалось также, что люди, знакомые ему, собираются вокруг его с подозрительной быстротою, естественной только на сцене театра или на улице, при виде какого-нибудь несчастия. Ехать в город — не хотелось, волновало любопытство: как встретит Лидия Туробоева?

Варавка вытаскивал из толстого портфеля своего планы, бумаги и говорил о надеждах либеральных земцев на нового царя. Туробоев слушал его с непроницаемым лицом, прихлебывая молоко из стакана. В двери с террасы встал Лютов, мокроволосый, красный, и объявил, мигая косыми глазами:

— А я — выкупался!

— Р-раненько, р-рискованно,— укоризненно сказал Варавка.— Вот, позвольте, поз... представить...

Клим подметил, что Туробоев пожал руку Лютова очень небрежно, свою тотчас же сунул в карман и

наклонился над столом, скатывая шарик из хлеба. Варавка быстро сдвинул посуду, развернул план и, стуча по его зеленым пятнам черенком чайной ложки, заговорил о лесах, болотах, песках, а Клим встал и ушел, чувствуя, что в нем разгорается ненависть к этим людям.

В лесу, на холме, он выбрал место, откуда хорошо видно было все дачи, берег реки, мельницу, дорогу в небольшое село Никоново, расположенное недалеко от Варавкиных дач, сел на песок под березами и развернул книжку Брюнетьера «Символисты и декаденты». Но читать мешало солнце, а еще более — необходимость видеть, что творится там, внизу.

Около мельницы бородатый мужик в красной рубахе, игрушечно маленький, конопатил днище лодки, гулкие удары деревянного молотка четко звучали в тишине. Такая же игрушечная баба, встряхивая подолом, гнала к реке гусей. Двое мальчишек с удочками на плечах идут берегом, один — желтенький, другой — синий. Вот шагает Макаров, размахивая полотенцем, подошел к мосткам купальни, свесил босую ногу в воду, выдернул и потряс ею, точно собака. Затем лег животом на мостки поперек их, вымыл голову, лицо и медленно пошел обратно к даче, вытирая на ходу волосы; казалось, что он, обматывая полотенцем голову, хочет оторвать ее.

Пригретый солнцем, опьяняемый хмельными ароматами леса, Клим задремал. Когда он открыл глаза — на берегу реки стоял Туробоев и, сняв шляпу, поворачивался, как на шарнире, вслед Алине Телепневой, которая шла к мельнице. А влево, вдали, на дороге в село, точно плыла над землею тоненькая, белая фигурка Лидии.

«Видела она его? Говорили они?»

Он встал, хотел сойти к реке, но его остановило чувство тяжелой неприязни к Туробоеву, Лютову, к Алине, которая продает себя, к Макарову и Лидии, которые не желают или не умеют указать ей на бесстыдство ее.

«Если б я был так близок с нею, как они... А впрочем, чёрт с ними...»

Он лениво опустился на песок, уже сильно согретый солнцем, и стал вытирать стекла очков, наблюдая за Туробоевым, который всё еще стоял, зажав бородку свою двумя пальцами и помахивая серой шляпой в лицо свое. К нему подошел Макаров, и вот оба они тихо идут в сторону мельницы.

«В сущности, все эти умники — люди скучные. И — фальшивые,— заставлял себя думать Самгин, чувствуя, что им снова овладевает настроение пережитой ночи. — В душе каждого из них, под словами, наверное, лежит что-нибудь простенькое. Различие между ними и мной только в том, что они умеют казаться верующими или неверующими, а у меня еще нет ни твердой веры, ни устойчивого неверия».

Клим Самгин не впервые представил, как в него извне механически вторгается множество острых, равноценных мыслей. Но, когда он пробовал привести в порядок всё, что слышал и читал, создать круг мнений, который служил бы ему щитом против насилия умников и в то же время с достаточной яркостью подчеркивал бы его личность,— это ему не удавалось. Он чувствовал, что в нем кружится медленный вихрь различных мнений, идей, теорий, но этот вихрь только расслабляет его, ничего не давая, не всасываясь в душу, в разум. Иногда его уже страшило это ощущение самого себя как пустоты, в которой непрерывно кипят слова и мысли,— кипят, но не согревают. Он даже спрашивал себя:

«Ведь не глуп же я?»

В этот жаркий день, когда он, сидя на песке, смотрел, как с мельницы возвращаются Туробоев, Макаров и между ними Алина,— в голове его вспыхнула утешительная догадка:

«Я напрасно волнуюсь. В сущности — всё очень просто: еще не наступил мой час верить. Я еще не встретил идей, „химически сродных“ мне. Кутузов правильно говорит, что для каждой социальной единицы существует круг взглядов и мнений, химически сродных ей».

Воспоминание о Кутузове несколько смутило Клима, он почувствовал себя внутренно споткнувшимся

о какое-то противоречие, но быстро обошел его, сказав себе:

«Тут есть путаница, но она только доказывает, что пользоваться чужими идеями — опасно. Есть корректор, который замечает эти ошибки».

Он осторожно улыбнулся, обрадованный своим открытием, встал на ноги и бодро пошел домой.

Варавка и Лютов сидели за столом, Лютов спиною к двери; входя в комнату, Клим услыхал его слова:

— Первая скрипка в газете не передовик, а — фельетонист...

Варавка встретил Клима ворчливо.

— Где ты был? Тебя искали завтракать и не нашли. А где Туробоев? С девицами? Гм... да! Вот что, Клим, будь добр, перепиши эти две бумажки.

Лютов взглянул на Клима исподлобья, подозрительно, затем, наклонясь над листом бумаги и подчеркивая что-то карандашом, сказал:

— Вероятно, дядя не пойдет на ваши условия.

И, нервно схватив бутылку со стола, налил в стакан свой пива. Три бутылки уже были пусты. Клим ушел к себе и, переписывая бумаги, прислушивался к невнятным голосам Варавки и Лютова. Голоса у обоих были почти одинаково высокие и порою так странно взвизгивали, как будто сердились, тоскуя, две маленькие собачки, запертые в комнате.

Туробоев, Макаров и девицы явились только к вечернему чаю. Клим тотчас отметил, что Лидия настроена невесело, задумчиво, но объяснил это усталостью. Макаров имел вид человека только что проснувшегося, рассеянная улыбка подергивала его красиво очерченные губы, он, по обыкновению, непрерывно курил, папироса дымилась в углу рта, и дым ее заставлял Макарова прищуривать левый глаз. Было странно видеть, как пристально и удивленно Алина смотрит на Туробоева, а в холодных глазах барича заметна озабоченность, но обычной остренькой усмешечки — нет. Все они пришли в минуту, когда Клим Самгин наблюдал картину словесного буйства Варавки и Лютова.

Было что-то голодное, сладострастное и, наконец, даже смешное в той ярости, с которой эти люди спорили.

Казалось, что они давно искали случая встретиться, чтобы швырять в лица друг другу иронические восклицания, исхищряться в насмешливых гримасах и всячески показывать взаимное отсутствие уважения. Варавка сидел, небрежно развалив тело свое в плетеном кресле, вытянув короткие ноги, сунув руки в карманы брюк,— казалось, что он воткнул руки в живот свой. Слушая, он надувал багровые щеки, прищуривал медвежьи глазки, а когда говорил, его бородища волнисто изгибалась на батисте рубашки, точно огромный язык, готовый всё слизать.

— Позвольте, позвольте! —пронзительно вскрикивал он.— Вы признали, что промышленность страны находится в зачаточном состоянии, и, несмотря на это, признаете возможным, даже необходимым, внушать рабочим вражду к промышленникам?

— Хэ-хэ-хэ! — смеялся Лютов гнусавым, дразнящим смехом.— К сему добавьте, что классовая вражда неизбежно задерживает развитие культуры, как сие явствует из примера Европы...

Клима изумлял этот смех, в котором не было ничего смешного, но ясно звучало дразнящее нахальство. Лютов сидел на краешке стула, согнув спину, упираясь ладонями в колени. Клим смотрел, как его косые глаза дрожат в стремлении остановиться на лице Варавки, но не могут этого и прыгают, заставляя Лютова вертеть головою. Клим видел также, что этот человек вызывает неприязнь к нему у всех, кроме Лидии, разливавшей чай. Макаров смотрел в открытую на террасу дверь и явно не слышал ничего, постукивая ложкой по ногтям левой руки.

— Но — мотивы? Ваши мотивы? — вскрикивал Варавка.— Что побуждает вас признать вражду?..

— Фамилия,— взвизгнул Лютов.— Люто ненавижу скуку жизни...

Туробоев поморщился. Алина, заметив это, наклонилась к Лидии, прошептала ей что-то и спрятала покрасневшее лицо свое за ее плечом. Не взглянув на нее, Лидия оттолкнула свою чашку и нахмурилась.

— Владимир Иванович! — взывал Варавка.— Мы говорим серьезно, не так ли?

— Вполне! — возбужденно крикнул Лютов.

— Чего же вы хотите?

— Свободы-с!

— Анархизм?

— Как вам угодно. Если у нас князья и графы упрямо проповедуют анархизм — дозвольте и купеческому сыну добродушно поболтать на эту тему! Разрешите человеку испытать всю сладость и весь ужас — да, ужас! — свободы деяния-с. Безгранично разрешите...

— И — затем? — громко спросил Туробоев.

Лютов покачнулся на стуле в его сторону, протянул к нему руку.

— А затем он сам себя, своею волей ограничит. Он — трус, человек, он — жадный. Он — умный, потому что трус, именно поэтому. Позвольте ему испугаться самого себя. Разрешите это, и вы получите превосходнейших, кротких людей, дельных людей, которые немедленно сократят, свяжут сами себя и друг друга и предадут... и предадутся богу благоденственного и мирного житья...

Варавка возмущенно выдернул руку из кармана и отмахнулся:

— Извините, это... несерьезно!

— Можно сказать несколько слов? — спросил Туробоев. И, не ожидая разрешения, заговорил, не глядя на Лютова:

— Когда я слушаю споры, у меня возникает несколько обидное впечатление: мы, русские люди, не умеем владеть умом. У нас не человек управляет своей мыслью, а она порабощает его. Вы помните, Самгин, Кутузов называл наши споры «парадом парадоксов»?

— Ну-с? И — что же-с? — задорно взвизгнул Лютов.

— У нас удивительно много людей, которые, приняв чужую мысль, не могут, даже как будто боятся проверить ее, внести поправки от себя, а, наоборот, стремятся только выпрямить ее, заострить и вынести за пределы логики, за границы возможного. Вообще мне кажется, что мышление для русского человека — нечто непривычное и даже пугающее, хотя соблазнительное. Это неумение владеть разумом у одних вызывает страх пред ним, вражду к нему, у других — раб-

ское подчинение его игре,— игре, весьма часто развращающей людей.

Лютов, крепко потирая руки, усмехался, а Клим подумал, что чаще всего, да почти и всегда, ему приходится слышать хорошие мысли из уст неприятных людей. Ему понравились крики Лютова о необходимости свободы, ему казалось верным указание Туробоева на русское неуменье владеть мыслью. Задумавшись, он не дослышал чего-то в речи Туробоева и был вспугнут криком Лютова:

— Прегордая вещеваете!

— У нас есть варварская жадность к мысли, особенно — блестящей, это напоминает жадность дикарей к стеклянным бусам,— говорил Туробоев, не взглянув на Лютова, рассматривая пальцы правой руки своей.— Я думаю, что только этим можно объяснить такие курьезы, как вольтерианцев-крепостников, дарвинистов — поповых детей, идеалистов из купечества первой гильдии и марксистов из этого же сословия.

— Это — кирпич в мой огород? — крикливо спросил Лютов.

— Нет, я не хочу задеть кого-либо; я ведь не пытаюсь убедить, а — рассказываю,— ответил Туробоев, посмотрев в окно. Клима очень удивил мягкий тон его ответа. Лютов извивался, подскакивал на стуле, стремясь возражать, осматривал всех в комнате, но, видя, что Туробоева слушают внимательно, усмехался и молчал.

— Не знаю, можно ли объяснить эту жадность на чужое необходимостью для нашей страны организующих идей,— сказал Туробоев, вставая.

Лютов тоже вскочил:

— А — славянофилы? Народники?

— «Одних уж нет, а те далече» от действительности,— ответил Туробоев, впервые за всё время спора усмехнувшись.

Наскакивая на него, Лютов покрикивал:

— Но ведь и вы, и вы несамостоятельны в мыслях. Ой, нет! Чаадаев...

— Посмотрел на Россию глазами умного европейца.

— Нет, подождите, не подсказывайте...

Наскакивая на Туробоева, Лютов вытеснил его на террасу и там закричал:

— Сословное мышление...

— Утверждают, что иное — невозможно...

— Странный тип,— пробормотал Варавка, и по его косому взгляду в сторону Алины Клим понял, что это сказано о Лютове.

Минуты две четверо в комнате молчали, прислушиваясь к спору на террасе, пятый, Макаров, бесстыдно спал в углу, на низенькой тахте. Лидия и Алина сидели рядом, плечо к плечу, Лидия наклонила голову, лица ее не было видно, подруга что-то шептала ей в ухо. Варавка, прикрыв глаза, курил сигару.

— Теперь-с, показав друг другу флаги оригинальности своей... Что такое?

Третий голос, сиповатый и унылый, произнес:

— Может, на сома желаете поохотиться, господа? Тут для вашего удовольствия сом живет, пуда на три... Интересно для развлечения...

Клим вышел на террасу, перед нею стоял мужик с деревянной ногою и, подняв меховое лицо свое, говорил, упрашивая:

— Я бы вам, рубликов за двадцать за пять, отлично устроил охотку. Рыбина — опасная. Похвалились бы после перед родными, знакомыми...

Туробоев отошел в сторону, Лютов, вытянув шею, внимательно разглядывал мужика, широкоплечего, в пышной шапке сивых волос, в красной рубахе без пояса; полторы ноги его были одеты синими штанами. В одной руке он держал нож, в другой — деревянный ковшик и, говоря, застругивал ножом выщербленный край ковша, поглядывая на господ снизу вверх светлыми глазами. Лицо у него было деловитое, даже мрачное, голос звучал безнадежно, а когда он перестал говорить, брови его угрюмо нахмурились.

Лютов торопливо спустился к нему и сказал:

— Идем.

Он пошел к реке, мужик неуклюже ковылял за ним. В комнате засмеялась Алина.

— Как вам нравится Лютов? — спросил Клим Туробоева, присевшего на перила террасы.— Оригинален?

— Не из тех людей, которые возбуждают мое уважение, но — любопытен,— ответил Туробоев, подумав и тихонько.— Он очень зло сказал о Кропоткине, Бакунине, Толстом и о праве купеческого сына добродушно поболтать. Это — самое умное, что он сказал.

Одна за другой вышли из комнаты Лидия и Алина. Лидия села на ступени террасы, Алина, посмотрев из-под ладони на заходящее солнце, бесшумно, скользящей походкой, точно по льду, подошла к Туробоеву.

— Вот уж не думала, что вы тоже любите спорить!

— Это — недостаток?

— Да, конечно. Это — стариковское...

— «Наше поколение юности не знает»,— сказал Туробоев.

— Ой, Надсон! — пренебрежительно, с гримасой, воскликнула Алина.— Мне кажется, что спорить любят только люди неудачные, несчастливые. Счастливые — живут молча.

— Вот как?

— Да. А несчастным трудно сознаться, что они не умеют жить, и вот они говорят, кричат. И всё — мимо, всё не о себе, а о любви к народу, в которую никто и не верит.

— Ого! Вы — храбрая,— сказал Туробоев и тихонько, мягко засмеялся.

И ласковый тон его и смех раздражали Самгина. Он спросил иронически:

— Вы называете это храбростью? А как же вы назовете народовольцев, революционеров?

— Тоже храбрые люди. Особенно те, которые делают революцию бескорыстно, из любопытства.

— Это вы говорите об авантюристах.

— Почему? О людях, которым тесно жить и которые пытаются ускорить события. Кортес и Колумб тоже ведь выразители воли народа, профессор Менделеев не менее революционер, чем Карл Маркс. Любопытство и есть храбрость. А когда любопытство превращается в страсть, оно уже — любовь.

Взглянув на Туробоева через плечо, Лидия спросила:

— Вы искренно говорите?

— Да,— не сразу ответил он.

Клим ощущал, что этот человек всё более раздражает его. Ему хотелось возразить против уравнения любопытства с храбростью, но он не находил возражений. Как всегда, когда при нем говорили парадоксы тоном истины, он завидовал людям, умеющим делать это.

Возвращался Лютов и кричал, размахивая платком:

— На рассвете будем ловить сома! За тринадцать рублей сторговался.

Вбежав на террасу, он спросил Алину:

— Нареченная! Вы никогда не ловили сома?

Она прошла мимо его, сказав:

— Ни рыб, ни журавлей в небе...

— Понимаю! — закричал Лютов.— Предпочитаете синицу в руки! Одобряю!

Клим видел, что Алина круто обернулась, шагнула к жениху, но подошла к Лидии и села рядом с ней, ощипываясь, точно курица пред дождем. Потирая руки, кривя губы, Лютов стоял, осматривая всех возбужденно бегающими глазами, и лицо у него как будто пьянело.

— Живем во исполнение грехов,— пробормотал он.— А вот мужик... да-с!

Кажется, все заметили, что он возвратился в настроении еще более неистовом,— именно этим Самгин объяснил себе невежливое, выжидающее молчание в ответ Лютову. Туробоев прислонился спиною к точеной колонке террасы; скрестив руки на груди, нахмуря вышитые брови, он внимательно ловил бегающий взгляд Лютова, как будто ожидая нападения.

— Я — согласен! — сказал Лютов, подойдя мелкими шагами вплоть к нему.— Верно-с: мы или плутаем в дебрях разума или бежим от него испуганными дураками.

Он взмахнул рукою так быстро, что Туробоев, мигнув, отшатнулся в сторону, уклоняясь от удара, отшатнулся и побледнел. Лютов, видимо, не заметил его движения и не видел гневного лица, он продолжал, потрясая кистью руки, как утопающий Борис Варавка.

— Но — это потому, что мы народ метафизический. У нас в каждом земском статистике Пифагор спрятан, и статистик наш воспринимает Маркса как Сведенборга

или Якова Бёме. И науку мы не можем понимать иначе как метафизику,— для меня, например, математика суть мистика цифр, а проще — колдовство.

— Не ново,— тихо вставил Туробоев.

— Это — пустяки, будто немец — прирожденный философ, это — ерунда-с! — понизив голос и очень быстро говорил Лютов, у него подгибались ноги.— Немец философствует машинально, по ремеслу, по праздникам. А мы — страстно, самоубийственно, день и ночь, и во сне, и на груди возлюбленной, и на смертном одре. Собственно, мы не философствуем, потому что это у нас, ведайте, не от ума, а — от воображения, мы — не умствуем, а — мечтаем во всю силу зверства натуры. Зверство поймите не в порицающем, а в измеряющем смысле.

Размахнув руками, он описал в воздухе широкий круг.

— Вот так поймите. Безграничие и ненасытность. Умов у нас не обретается, у нас — безумные таланты. И все задыхаемся, все — снизу доверху. Летим и падаем. Мужик возвышается в президенты академии наук, аристократы нисходят в мужики. А где еще найдете такое разнообразие и обилие сект, как у нас? И — самых изуверских: скопцы, хлысты, красная смерть. Самосожигатели, в мечте горим, от Ивана Грозного и Аввакума протопопа до Бакунина Михайлы, до Нечаева и Всеволода Гаршина. Нечаева — не отталкивайте, нельзя-с! Потому — отлично русский человек! По духу — братец родной Константину Леонтьеву и Константину же Победоносцеву.

Лютов подпрыгивал, размахивал руками, весь разрываясь, но говорил всё тише, иногда — почти шёпотом. В нем явилось что-то жуткое, пьяное и действительно страстное, насквозь чувственное. Заметно было, что Туробоеву тяжело слушать его шёпот и тихий вой, смотреть в это возбужденное, красное лицо с вывихнутыми глазами.

«Как же будет жить с ним Алина?» — подумал Клим, взглянув на девушку; она сидела, положив голову на колени Лидии, Лидия, играя косой ее, внимательно слушала.

— Вы, кажется, во многом согласны с Достоевским? — спросил Туробоев. Лютов отшатнулся от него.

— Нет! В чем? Неповинен. Не люблю.

В двери показался Макаров и сердито спросил:

— Владимир, хочешь молока? Холодное.

— Достоевский обольщен каторгой. Что такое его каторга? Парад. Он инспектором на параде, на каторге-то был. И всю жизнь ничего не умел писать, кроме каторжников, а праведный человек у него «Идиот». Народа он не знал, о нем не думал.

Вошел Макаров, подал Лидии стакан молока и сел рядом с нею, громко проворчав:

— А скоро конец этому словотечению?

Лютов погрозил ему кулаком.

— Наш народ — самый свободный на земле. Он ничем не связан изнутри. Действительности — не любит. Он — штучки любит, фокусы. Колдунов и чудодеев. Блаженненьких. Он сам такой — блаженненький. Он завтра же может магометанство принять — на пробу. Да, на пробу-с! Может сжечь все свои избы и скопом уйти в пустыни, в пески, искать Опоньское царство.

Туробоев сунул руки в карманы и холодно спросил:

— И — что же, в конце концов?

Лютов оглянулся, очевидно, для того, чтоб привлечь к себе еще больше внимания, и ответил, покачиваясь:

— А — то, что народ хочет свободы, не той, которую ему сулят политики, а такой, какую могли бы дать попы, свободы страшно и всячески согрешить, чтобы испугаться и — присмиреть на триста лет в самом себе. Вот-с! Сделано. Всё сделано! Исполнены все грехи. Чисто!

— Странная... теория,— сказал Туробоев, пожимая плечами, и сошел с террасы в ночной сумрак, а отойдя шагов десять, сказал громко:

— Все-таки это — Достоевский. Если не по мыслям, так по духу...

Лютов, прищурив раскосые глаза, пробормотал:

— ...Живем во исполнение грехов и на погибель соблазнов... Не согреших — не покаешься, не покаявшись — не спасешься...

Все молчали, глядя на реку: по черной дороге бесшумно двигалась лодка, на носу ее горел и кудряво дымился светец, черный человек осторожно шевелил веслами, а другой, с длинным шестом в руках, стоял согнувшись у борта и целился шестом в отражение огня на воде; отражение чудесно меняло формы, становясь похожим то на золотую рыбу с множеством плавников, то на глубокую, до дна реки, красную яму, куда человек с шестом хочет прыгнуть, но не решается.

Лютов посмотрел в небо, щедро засеянное звездами, вынул часы и сказал:

— Еще не поздно. Хотите погулять, Алина Марковна?

— Молча — хочу.

— Совершенно молча?

— Могу разрешить армянские анекдоты.

— Что ж? И на этом — спасибо! — сказал Лютов, помогая невесте встать. Она взяла его под руку.

Когда они отошли шагов на тридцать, Лидия тихо сказала:

— Мне его жалко.

Макаров невнятно проворчал что-то, а Клим спросил:

— Почему — жалко?

Лидия не ответила, но Макаров вполголоса сказал:

— Видел — кричит? Это он перекричать себя хочет.

— Не понимаю.

— Ну, чего тут не понимать?

Лидия встала.

— Проводи меня, Константин...

Ушли и они. Хрустел песок. В комнате Варавки четко и быстро щелкали косточки счет. Красный огонь на лодке горел далеко, у мельничной плотины. Клим, сидя на ступени террасы, смотрел, как в темноте исчезает белая фигура девушки, и убеждал себя:

«Ведь не влюблен же я в нее?»

Чтоб не думать, он пошел к Варавке, спросил — не нужно ли помочь ему? Оказалось — нужно. Часа два он сидел за столом, снимая копию с проекта договора Варавки с городской управой о постройке нового театра, писал и чутко вслушивался в тишину. Но всё

вокруг каменно молчало. Ни голосов, ни шороха шагов.

На восходе солнца Клим стоял под ветлами у мельничной плотины, слушая, как мужик с деревянной ногою вполголоса, вдохновенно рассказывает:

— Сом — кашу любит; просяная али, скажем, гречушная каша — это его самая первая любовь. Сома кашей на что хотите подкупить возможно.

Деревяшка мужика углубилась в песок, он стоял избочась, держался крепкой, корявой рукою за обломок сучка ветлы, дергал плечом, вытаскивая деревяшку из песка, переставлял ее на другое место, она снова уходила в сыпучую почву, и снова мужик изгибался набок.

— Каши ему дали, зверю,— говорил он, еще понижая голос. Меховое лицо его было торжественно, в глазах блестела важность и радость.— Каша у нас как можно горячо сварена и — в горшке, а горшок-то надбит, понимаете эту вещь?

Он подмигнул Лютову и обратился к Варавке, почти величественному в халате вишневого цвета, в зеленой, шитой золотом тюбетейке и пестрых сафьяновых сапогах.

— Он, значит, проглотит горшок, а горшок в брюхе у него, надбитый-то, развалится, и тут начнет каша кишки ему жечь, понимаете, ваше степенство, эту вещь? Ему — боль, он — биться, он — прыгать, а тут мы его...

Лучи солнца упирались в лицо Варавки, он блаженно жмурился и гладил ладонями медную бороду свою.

Лютов, в измятом костюме, усеянном рыжими иглами хвои, имел вид человека, только что очнувшегося после сильного кутежа. Лицо у него пожелтело, белки полуумных глаз налиты кровью; он, ухмыляясь, говорил невесте, тихо и сипло:

— Конечно — врет! Но ни один дьявол, кроме русского мужика, не может выдумать такую чепуху!

Невыспавшиеся девицы стояли рядом, взапуски позевывая и вздрагивая от свежести утра. Розоватый парок поднимался с реки, и сквозь него, на светлой

воде, Клим видел знакомые лица девушек неразличимо похожими; Макаров, в белой рубашке с расстегнутым воротом, с обнаженной шеей и встрепанными волосами, сидел на песке у ног девиц, напоминая надоевшую репродукцию с портрета мальчика-итальянца, премию к «Ниве». Самгин впервые заметил, что широкогрудая фигура Макарова так же клинообразна, как фигура бродяги Инокова.

В стороне, туго натянутый, стоял Туробоев, упорно глядя в шишковатый, выпуклый затылок Лютова, и, медленно передвигая папиросу из угла в угол рта, как бы беззвучно шептал что-то.

— Ну, что же, скоро? — нетерпеливо спросил Лютов.

— Чуть потише говорите, господин,— сказал мужик строгим шёпотом.— Он — зверь хитрая, он — слышит!

И, повернувшись к мельнице, крикнул:

— Микола! Эй?

Ответили неохотно два голоса, мужской и женский:

— Ой? Чего?

— Погляди — сожрал?

— Глядел.

— Ну?

— Сожрал.

Лютов, сердито взглянув на мужика, толкнул его в плечо.

— Ты — что же: мне — говорить нельзя, а сам орешь во всю глотку?

Мужик удивленно взглянул на него и усмехнулся так, что всё лицо его ощетинилось.

— Господи, —так ведь он, сом этот, меня знает, а вы ему — чужой человек. Всякая тварь имеет свою осторожность к жизни.

Эти слова мужик произнес шёпотом. Затем, посмотрев на реку из-под ладони, он сказал, тоже очень тихо:

— Теперь — глядите! Теперь начнет его жечь, а он — прыгать. Сейчас...

Он сказал это так убедительно, с таким вдохновенным лицом, что все бесшумно подвинулись к берегу и, казалось, даже розовато-золотая вода приостановила

медленное свое течение. Глубоко пронзая песок деревяшкой, мужик заковылял к мельнице. Алина, вздрогнув, испуганно прошептала:

— Смотрите, смотрите! Вон у того берега темненькое... под кустом...

Клим не видел темненького. Он не верил в сома, который любит гречневую кашу. Но он видел, что все вокруг — верят, даже Туробоев и, кажется, Лютов. Должно быть, глазам было больно смотреть на сверкающую воду, но все смотрели упорно, как бы стараясь проникнуть до дна реки. Это на минуту смутило Самгина: а — вдруг?

— Вот он... плывет, плывет! — снова зашептала Алина, но Туробоев сказал громко:

— Это тень облака.

— Шш,— зашипел Варавка.

Все посмотрели в небо. Да, там одиноко таяло беленькое облако, размером не более овчины. Из густой заросли кустов и камыша, около плотины, осторожно выдвинулась лодка, посреди ее стоял хромой мужик, опираясь на багор, и махал на публику рукою. Беззвучно погружая весла в воду, лодку гнал широкоплечий светловолосый парень в серой рубахе. Он сидел неподвижно, точно окаменев, шевелились только кисти его рук, казалось, что весла действуют сами, покрывая воду шёлковой рябью. Хромой, перестав размахивать рукою, вытянул ее выше головы, неотрывно глядя в воду, и тоже замер. Лодка описала угол от берега к берегу, потом еще угол, мужик медленно опустил левую руку, так же медленно поднял правую с багром в ней.

— Бей его! — рявкнул он и, с размаха, вонзил багор в реку.

Клим стоял сзади и выше всех, он хорошо видел, что хромой ударил в пустое место. А когда мужик, неуклюже покачнувшись, перекинулся за борт, плашмя грудью, Клим уверенно подумал:

«Это сделано нарочно!»

Но хромой тотчас же пошатнул эту уверенность.

— Не попа-ал! — взвыл он плачевным волчьим воем, барахтаясь в реке. Его красная рубаха вздулась

на спине уродливым пузырем, судорожно мелькала над водою деревяшка с высветленным железным кольцом на конце ее, он фыркал, болтал головою, с волос головы и бороды разлетались стеклянные брызги, он хватался одной рукою за корму лодки, а кулаком другой отчаянно колотил по борту и вопил, стонал:

— Э-эх, не попа-ал! Миколка, дьявол, что ж ты его веслом не ошарашил, а? Веслом-то, дурак! По башке бы, а? Осрамил ты меня, морда-а!

Парень не торопясь поймал багор, положил его вдоль борта, молча помог хромому влезть в лодку и сильными ударами весел быстро пригнал ее к берегу. Вывалившись на песок, мужик, мокрый и скользкий, разводя руки, отчаянно каялся:

— Не попал, господа! Осрамился, простите Христа ради! Ошибся маленько, в головизну метил ему, а — мимо! Понимаете вещь? Ах, отцы святые, а?

У него даже голос от огорчения стал другой, высокий, жалобно звенящий, а оплывшее лицо сузилось и выражало искреннейшее горе. По вискам, по лбу, из-под глаз струились капли воды, как будто всё его лицо вспотело слезами, светлые глаза его блестели сконфуженно и виновато. Он выжимал воду с волос головы и бороды горстью, брызгал на песок, на подолы девиц и тоскливо выкрикивал:

— Агромадный, пуда на четыре с лишком! Бык, а не сом, ей-богу! Усы — вот!

И хромой отмерил руками в воздухе вершков двенадцать.

«Я ошибся,— подумал Клим.— Он видел сома».

— Стоит на дне на самом; вижу — задумался, усищи шевелятся,— огорченно и восторженно рассказывал хромой.

— Каков, а? — тоже с восторгом крикнул Лютов.

— Отлично играет,— подтвердил Туробоев, улыбаясь, и вынул маленький бумажник желтой кожи.

Лютов удержал его руку:

— Извините, это —затея моя!

Лидия смотрела на мужика, брезгливо сжав губы, хмурясь, Варавка — с любопытством, Алина — растерянно спрашивала всех:

— Но ведь был сом? Был или нет?

Клим отошел в сторону, чувствуя себя дважды обманутым.

— Идем,— сказала Лидия подруге, но Лютов крикнул:

— Подождите минутку!

И спросил мужика в упор:

— Обманул?

— Обманул, дьявол,— согласился хромой, печально разводя руками.

— Нет, не дьявол, а — ты? Обманул?

— То есть — это как же? Кого же? — удивленно спросил мужик, отступая от Лютова.

— Ты — не бойся! Я всё равно заплачу деньги и на водку прибавлю. Только скажи прямо: обманул?

— Оставьте его,— попросил Туробоев, а хромой, оглядев всех непонимающими глазами, с великолепной наивностью спросил:

— Как же это могу я господ обмануть?

Лютов с размаху звучно хлопнул ладонью по его мокрому плечу и вдруг захохотал визгливым, бабьим смехом. Засмеялся и Туробоев, тихонько и как-то сконфуженно, даже и Клим усмехнулся,— так забавен был детский испуг в светлых, растерянно мигавших глазах бородатого мужика.

— Рази можно обманывать господ,— бормотал он, снова оглядывая всех, а испуг в глазах его быстро заменялся пытливостью, подбородок вздрагивал.

— Чёрт,— воскликнул Варавка, махнув рукою, и тоже усмехнулся.

Лютов уже хохотал неистово, закрыв глаза, вскинув голову, содрогаясь; в его выгнутом кадыке точно стекло звенело.

А хромой, взглянув на Варавку, широко ухмыльнулся, но сейчас же прикрыл рот ладонью. Это не помогло; громко фыркнув в ладонь, он отмахнул рукой в сторону и вскричал тоненько:

— Грехи-и!

Он тоже начал смеяться, вначале неуверенно, негромко, потом всё охотнее, свободней и наконец захохотал так, что совершенно заглушил рыдающий смешок

Лютова. Широко открыв волосатый рот, он тыкал деревяшкой в песок, качался и охал, встряхивая головою:

— Ох, осподи... о-хо-хо, грехи жа, ей-богу...

Мокрый, он весь лоснился, и казалось, что здоровый хохот его тоже маслено блестит.

— Ж-жулик,— кричал Лютов.— Где... где сом?

— И— я его...

— Сома?

— Промахнулся...

— Где сом?

— Он — живет...

Снова оба, глядя друг на друга, тряслись в припадке смеха, а Клим Самгин видел, что теперь по мохнатому лицу хромого льются настоящие слезы.

— Ну, уж это нечто... чрезмерное,— сказал Туробоев, пожимая плечами, и пошел прочь, догоняя девушек и Макарова. За ним пошел и Самгин, провожаемый смехом и оханьем:

— О, осподи, вот...

А впереди возмущенно кричала Алина:

— Его следует наказать за обман!

— Это глупо, Алина,— строго остановила ее Лидия.

Пошли молча, но скоро их догнал Лютов.

— Понимаете вещь? — кричал он, стирая платком с лица пот и слезы, припрыгивая, вертясь, заглядывая в глаза. Он мешал идти, Туробоев покосился на него и отстал шага на два.

— Ловко одурачил, а? — назойливо кричал он.— Талант. Искусство-с! Подлинное искусство всегда одурачивает.

— Не глупо,— сказал Туробоев, улыбаясь Климу.— И вообще он — не глуп, но — как издерган!

— Довольно, Володя,— сердито крикнул Макаров.— Что ты пылишь? Подожди, когда сделают тебя профессором какой-нибудь элоквенции, тогда и угнетай и пыли.

Лютов погрозил ему пальцем:

— Костя, легкомысленная ты птица! Пойми вещь!

— Нет, серьезно, перестань.

— Вы ужасно много кричите,— жалобно сказала Алина.

— Ну — не буду.
— Как сумасшедший.
— Молчу-с!

Он действительно замолчал, но Лидия, взяв его под руку, спросила:

— Почему вас не возмутил мужик?

— Меня? Чем же? — удивленно и с жаром воскликнул Лютов.— Напротив, Лидочка, я ему трешницу прибавил и спасибо сказал. Он — умный. Мужик у нас изумительная умница! Он — учит! Он!

Приостановясь, гладя руку Лидии, лежавшую на сгибе его руки, Лютов счастливо улыбнулся:

— Уж теперь ведь в сома-то вы не поверите, нет? Не для сомов эта речушка, милый вы человек...

Он снова захохотал. Макаров и Алина пошли быстрее. Клим отстал, посмотрел на Туробоева и Варавку, медленно шагавших к даче, и, присев на скамью у мостков купальни, сердито задумался.

Он вспомнил, что вчера Макаров, мимоходом, сказал:

«Здоровая психика у тебя, Клим! Живешь ты, как монумент на площади, вокруг — шум, крик, треск, а ты смотришь на всё, ничем не волнуясь».

«Но эти слова говорят лишь о том, что я умею не выдавать себя. Однако роль внимательного слушателя и наблюдателя откуда-то со стороны, из-за угла, уже не достойна меня. Мне пора быть более активным. Если я осторожно начну ощипывать с людей павлиньи перья, это будет очень полезно для них. Да. В каком-то псалме сказано: „ложь во спасение“. Возможно, но — изредка и — „во спасение“, а не для игры друг с другом».

Он долго думал в этом направлении и, почувствовав себя настроенным воинственно, готовым к бою, хотел идти к Алине, куда прошли все, кроме Варавки, но вспомнил, что ему пора ехать в город. Дорогой на станцию, по трудной, песчаной дороге, между холмов, украшенных кривеньким сосняком, Клим Самгин незаметно утратил боевое настроение и, толкая впереди себя длинную тень свою, думал уже о том, как трудно найти себя в хаосе чужих мыслей, за которыми скрыты непонятные чувства.

Домой он приехал на полчаса раньше супругов Спивак.

Мать встретила их величественно, как чиновников, назначенных свыше в ее личное распоряжение. Сухо-вато и очень в нос говорила французские фразы, играя лорнетом пред своим густо напудренным лицом, и, прежде чем предложить гостям сесть, удобно уселась сама. Клим подметил, что этой игрою мать зажгла в голубоватых глазах Спивак смешливые искорки. Елизавета Львовна в необыкновенно широкой темной мантии казалась постаревшей, монашески скромной и не такой интересной, как она была в Петербурге. Но его поздри приятно защекотал запах знакомых духов, и в памяти прозвучала красивая фраза:

Тобой, одной тобой.

Маленький пианист в чесунчовой разлетайке был похож на нетопыря и молчал, точно глухой, покачивая в такт словам женщин унылым носом своим. Самгин благосклонно пожал его горячую руку, было так хорошо видеть, что этот человек с лицом, неискусно вырезанным из желтой кости, совершенно не достоин красивой женщины, сидевшей рядом с ним. Когда Спивак и мать обменялись десятком любезных фраз, Елизавета Львовна, вздохнув, сказала:

— Мне очень тяжело, Вера Петровна, что с первой же встречи я должна сообщить вам печальное: Дмитрий Иванович арестован.

— О, бог мой! — воскликнула Самгина, откинувшись на спинку кресла, ресницы ее вздрогнули и кончик носа покраснел.

— Да! — громко сказал Спивак.— Пришли ночью и увезли.

— А — Кутузов? — сердито спросил Клим.

Спивак ответила, что Кутузов недели за три до ареста Дмитрия уехал к себе домой, хоронить отца.

Мать, осторожно, чтоб не стереть пудру со щек, прикладывала к глазам своим миниатюрный платочек, но Клим видел, что в платке нет нужды, глаза совершенно сухи.

— Боже мой! За что? — драматически спросила она.

— Я думаю, что это не серьезно,— очень ласково и утешительно говорила Спивак.— Арестован знакомый Дмитрия Ивановича, учитель фабричной школы, и брат его, студент Попов,— кажется, это и ваш знакомый? — спросила она Клима.

Самгин сухо сказал:

— Нет.

Уделив этому событию четверть часа, мать, очевидно, нашла, что ее огорчение выражено достаточно убедительно, и пригласила гостей в сад, к чаю.

Весело хлопотали птицы, обильно цвели цветы, бархатное небо наполняло сад голубым сиянием, и в блеске весенней радости было бы неприлично говорить о печальном. Вера Петровна стала расспрашивать Спивака о музыке, он тотчас оживился и, выдергивая из галстуха синие нитки, делая пальцами в воздухе маленькие запятые, сообщил, что на Западе — нет музыки.

— Там — только машины. Там — от менуэта и гавота дошли — вот до чего...

И пальцами на губах он сыграл какой-то пошленький мотив.

— Не теребя галстук,— попросила его жена.

Он послушно положил руки на стол, как на клавиатуру, а конец галстуха погрузил в стакан чая. Это его сконфузило, и, вытирая галстух платком, он сказал:

— В Норвегии — Григ. Очень интересен. Говорят — рассеянный человек.

И замолчал. Женщины улыбались, беседуя всё более оживленно, но Клим чувствовал, что они взаимно не нравятся одна другой. Спивак запоздало спросил его:

— Как ваше здоровье?

А когда Клим предложил ему земляники, он весело отказался:

— От нее у меня будет крапивная лихорадка.

Мать попросила Клима:

— Покажи Елизавете Львовне флигель.

— Странный город, — говорила Спивак, взяв Клима под руку и как-то очень осторожно шагая по дорожке сада.— Такой добродушно ворчливый. Эта воркотня —

первое, что меня удивило, как только я вышла с вокзала. Должно быть, скучно здесь, как в чистилище. Часто бывают пожары? Я боюсь пожаров.

Бумажный сор в комнатах флигеля напомнил Климу о писателе Катине, а Спивак, бегло осмотрев их, сказала:

— Можно очень уютно устроиться. И окна в сад. Наверное, в комнаты будут вползать мохнатенькие червячки с яблонь? Птички будут петь рано утром. Очень рано!

Она вздохнула:

— Вам не нравится? —с сожалением спросил Клим, выходя в сад,— красиво изогнув шею, она улыбнулась ему через плечо.

— Нет, почему? Но это было бы особенно удобно для двух сестер, старых дев. Или — для молодоженов. Сядемте,— предложила она у скамьи под вишней и сделала милую гримаску: — Пусть они там... торгуются.

Оглядываясь, она продолжала задумчиво:

— Прекрасный сад. И флигель хорош. Именно — для молодоженов. Отлюбить в этой тишине, сколько положено, и затем... Впрочем, вы, юноша, не поймете,— вдруг закончила она с улыбкой, которая несколько смутила Клима своей неясностью: насмешка скрыта в ней или вызов?

Посмотрев в небо, обрывая листья с ветки вишни, Спивак спросила:

— Как же здесь живут зимою? Театр, карты, маленькие романы от скуки, сплетни — да? Я бы предпочла жить в Москве, к ней, вероятно, не скоро привыкнешь. Вы еще не обзавелись привычками?

Клим удивлялся. Он не подозревал, что эта женщина умеет говорить так просто и шутливо. Именно простоты он не ожидал от нее; в Петербурге Спивак казалась замкнутой, связанной трудными думами. Было приятно, что она говорит, как со старым и близким знакомым. Между прочим она спросила: с дровами сдается флигель или без дров, потом поставила еще несколько очень житейских вопросов, всё это легко, мимоходом.

— Портрет над роялем — это ваш отчим? У него борода очень богатого человека.

Пытливо заглянув в ее лицо, Клим сказал, что скоро приедет Туробоев.

— Да?

— Продает свою землю.

— Вот как?

Клим почувствовал, что его радует спокойный тон ее, обрадовало и то, что она, задев его локтем, не извинилась.

К ним шла мать, рядом с нею Спивак, размахивая крыльями разлетайки, как бы пытаясь вознестись от земли, говорил:

— Это будет написано нонами, очень густо: тум-тумм...

Жена бесцеремонно прекратила музыку, заговорив с Верой Петровной о флигеле; они отошли прочь, а Спивак сел рядом с Климом и вступил в беседу с ним фразами из учебника грамматики:

— Ваша мать приятный человек. Она знает музыку. Далеко ли тут кладбище? Я люблю все элегическое. У нас лучше всего кладбища. Всё, что около смерти, у нас — отлично.

В паузы между его фразами вторгались голоса женщин.

— Не правда ли? — требовательно спрашивала Спивак.

— Я вам это сделаю.

— Мы кончили?

— Да.

Через несколько минут, проводив Спиваков и возвратясь в сад, Клим увидал мать всё там же, под вишней, она сидела, опустив голову на грудь, закинув руки на спинку скамьи.

— Бог мой, это, кажется, не очень приятная дама! — усталым голосом сказала она.— Еврейка? Нет? Как странно, такая практичная. Торгуется, как на базаре. Впрочем, она не похожа на еврейку. Тебе не показалось, что она сообщила о Дмитрии с оттенком удовольствия? Некоторым людям очень нравится сообщать дурные вести.

Она с досадой ударила себя кулачком по колену.

— Ах, Дмитрий, Дмитрий! Теперь мне придется ехать в Петербург.

Розоватая мгла, наполнив сад, окрасила белые цветы. Запахи стали пьянее. Сгущалась тишина.

— Я пойду переоденусь, а ты подожди меня здесь. В комнатах — душно.

Клим посмотрел вслед ей неприязненно: то, что мать сказала о Спивак, злостно разноречило с его впечатлением. Но его недоверие к людям, становясь всё более легко возбудимым, цепко ухватилось за слова матери, и Клим задумался, быстро пересматривая слова, жесты, улыбки приятной женщины. Ласковая тишина, настраивая лирически, не позволила найти в поведении Спивак ничего, что оправдало бы мать. Легко заиграли другие думы: переедет во флигель Елизавета, он станет ухаживать за нею и вылечится от непонятного, тягостного влечения к Лидии.

Мать возвратилась в капоте солнечного цвета, застегнутом серебряными пряжками, в мягких туфлях; она казалась чудесно помолодевшей.

— Ты не думаешь, что арест брата может отразиться и на тебе? — тихо спросила она.

— Почему?

— Жили вместе.

— Это еще не значит, что мы солидарны.

— Да, но...

Она замолчала, потирая пальцами морщинки на висках. И вдруг сказала, вздохнув:

— У этой Спивак неплохая фигура, даже беременность не портит ее.

Вздрогнув от неожиданности, Клим быстро спросил:

— Она беременна? Она тебе сказала?

— Боже мой, я сама вижу. Ты хорошо знаком с нею?

— Нет,— сказал Клим и, сняв очки, протирая стекла, наклонил голову. Он знал, что лицо у него злое, и ему не хотелось, чтоб мать видела это. Он чувствовал себя обманутым, обокраденным. Обманывали его все: наемная Маргарита, чахоточная Нехаева, обманывает и Лидия, представляясь не тою, какова она

на самом деле, наконец обманула и Спивак, он уже не может думать о ней так хорошо, как думал за час перед этим.

«Какой безжалостной надобно быть, какое надо иметь холодное сердце для того, чтобы обманывать больного мужа,— возмущенно думал Самгин.— И — мать, как бесцеремонно, грубо вторгается она в мою жизнь».

— О, боже мой! — вздохнула мать.

Клим искоса взглянул на нее. Она сидела, напряженно выпрямясь, ее сухое лицо уныло сморщилось,— это лицо старухи. Глаза широко открыты, и она закусила губы, как бы сдерживая крик боли. Клим был раздражен на нее, но какая-то частица жалости к себе самому перешла на эту женщину, он тихонько спросил:

— Тебе грустно?

Вздрогнув, она прикрыла глаза.

— В моем возрасте мало веселого.

Затем, оттянув дрожащей рукою ворот капота от шеи, мать заговорила шёпотом:

— Уже где-то близко тебя ждет женщина... девушка, ты ее полюбишь.

В ее шёпоте Клим услышал нечто необычное, подумалось, что она, всегда гордая, сдержанная, заплачет сейчас. Он не мог представить ее плачущей.

— Не надо об этом, мама.

Она судорожно терлась щекою о его плечо и, задыхаясь в сухом кашле или неудачном смехе, шептала:

— Я не умею говорить об этом, но — надо. О великодушии, о милосердии к женщине, наконец! Да! О милосердии. Это — самое одинокое существо в мире — женщина, мать. Одинока до безумия. Я не о себе только, нет...

— Хочешь, принесу воды? — спросил Клим и тотчас же понял, что это глупо. Он хотел даже обнять ее, но она откачнулась, вздрагивая, пытаясь сдержать рыдания. И всё горячее, озлобленней звучал ее шёпот.

— Только часы в награду за дни, ночи, годы одиночества.

«Это говорила Нехаева»,— вспомнил Клим.

— Гордость, которую попирают так жестоко. Привычное — ты пойми! — привычное нежелание заглянуть в душу ласково, дружески. Я не то говорю, но об этом не скажешь...

«И — не надо! — хотелось сказать Климу.— Не надо, это унижает тебя. Это говорила мне чахоточная, уродливая девчонка».

Но его великодушию не нашлось места, мать шептала, задыхаясь:

— Надо выть. Тогда назовут истеричкой. Предложат врача, бром, воду.

Сын растерянно гладил руку матери и молчал, не находя слов утешения, продолжая думать, что напрасно она говорит всё это. А она действительно истерически посмеивалась, и шёпот ее был так жутко сух, как будто кожа тела ее трещала и рвалась.

— Ты должен знать: все женщины неизлечимо больны одиночеством. От этого — всё непонятное вам, мужчинам, неожиданные измены и... всё! Никто из вас не ищет, не жаждет такой близости к человеку, как мы.

Чувствуя необходимость попытаться успокоить ее, Клим пробормотал:

— Знаешь, о женщинах очень своеобразно рассуждает Макаров...

— Наш эгоизм — не грех,—продолжала мать, не слушая его.— Эгоизм — от холода жизни, оттого, что всё ноет: душа, тело, кости...

И вдруг, взглянув на сына, она отодвинулась от него, замолчала, глядя в зеленую сеть деревьев. А через минуту, поправляя прядь волос, спустившуюся на щеку, поднялась со скамьи и ушла, оставив сына измятым этой сценой.

«Конечно, это она потому, что стареет и ревнует»,— думал он, хмурясь и глядя на часы. Мать просидела с ним не более получаса, а казалось, что прошло часа два. Было неприятно чувствовать, что за эти полчаса она что-то потеряла в глазах его. И еще раз Клим Самгин подумал, что в каждом человеке можно обнаружить простенький стерженек, на котором человек поднимает флаг своей оригинальности.

На другой день, утром, неожиданно явился Варавка, оживленный, сверкающий глазками, неприлично растрепанный. Вера Петровна с первых же слов спросила его:

— Что, эта барышня или дама наняла дачу?

— Какая барышня? — удивился Варавка.

— Знакомая Лютова?

— Не видал такой. Там — две: Лидия и Алина. И три кавалера, чёрт бы их побрал!

Тяжелый, толстый Варавка был похож на чудовищно увеличенного китайского «бога нищих», уродливая фигурка этого бога стояла в гостиной на подзеркальнике, и карикатурность ее форм необъяснимо сочеталась с какой-то своеобразной красотой. Быстро и жадно, как селезень, глотая куски ветчины, Варавка бормотал:

— Туробоев — выродок. Как это? Декадент. Фин дэ сьекль [1] и прочее. Продать не умеет. Городской дом я у него купил, перестрою под техническое училище. Продал он дешево, точно краденое. Вообще — идиот высокородного происхождения. Лютов, покупая у него землю для Алины, пытался обобрать его и обобрал бы, да — я не позволил. Я лучше сам...

— Что ты говоришь,— мягко упрекнула его Вера Петровна.

— Я — честно говорю. Надобно уметь брать. Особенно — у дураков. Вон как Сергей Витте обирает.

Варавка насытился, вздохнул, сладостно закрыв глаза, выпил стакан вина и, обмахивая салфеткой лицо, снова заговорил:

— А этот Лютов — прехитрая каналья, ты, Клим, будь осторожен...

Тут Вера Петровна, держа голову прямо и неподвижно, как слепая, сообщила ему об аресте Дмитрия. Клим нашел, что вышло это у нее неуместно и даже как будто вызывающе. Варавка поднял бороду на ладонь, посмотрел на нее и сдул с ладони.

— Это что же — наследственная тяга в тюрьму старшей линии Самгиных?

---

[1] Конец века *(франц.)*.

— Мне придется съездить в Петербург.

— Разумеется,— ворчливо сказал Варавка и, положив руку на плечо Клима, раскачивая его, начал убеждать:

— Шел бы ты, брат, в институт гражданских инженеров. Адвокатов у нас — излишек, а Гамбетты пока не требуются. Прокуроров — тоже, в каждой газете по двадцать пять штук. А вот архитекторов — нет, строить не умеем. Учись на архитектора. Тогда — получим некоторое равновесие: один брат — строит, другой — разрушает, а мне, подрядчику, выгода!

Он расхохотался, встряхивая животом, затем предложил Климу ехать на дачу:

— Нужно, чтоб там был кто-нибудь из нас. Кажется, я возьму туда Дронова приказчиком. Ну-с, еду к нотариусу...

Проводив его, мать сказала вздыхая:

— Какая энергия, сколько ума!

— Да,— вежливо согласился Клим, но подумал: «Он швыряет меня, точно мяч».

На дачу он приехал вечером и пошел со станции обочиной соснового леса, чтоб не идти песчаной дорогой: недавно по ней провезли в село колокола, глубоко измяв ее людями и лошадьми. В тишине идти было приятно, свечи молодых сосен курились смолистым запахом, в просветах между могучими колоннами векового леса вытянулись по мреющему воздуху красные полосы солнечных лучей, кора сосен блестела, как бронза и парча.

Вдруг на опушке леса из-за небольшого бугра показался огромным мухомором красный зонтик, какого не было у Лидии и Алины, затем под зонтиком Клим увидел узкую спину женщины в желтой кофте и обнаженную, с растрепанными волосами, острую голову Лютова.

«Это — женщина, о которой спрашивала мать? Любовница Лютова? Последнее свидание?»

Он так близко подошел, что уже слышал ровный голосок женщины и короткие, глухо звучавшие вопросы Лютова. Хотел свернуть в лес, но Лютов окрикнул:

— Вижу! Не прячьтесь.

Окрик прозвучал насмешливо, а когда Клим подошел вплоть, Лютов встретил его, оскалив зубы неприятной улыбочкой.

— Почему вы думаете, что я прячусь? — сердито спросил он, сняв шляпу пред женщиной с нарочитой медленностью.

— Из деликатности,— сказал Лютов.— Знакомьтесь.

Женщина протянула руку с очень твердой ладонью. Лицо у нее было из тех, которые запоминаются с трудом. Пристально, фотографирующим взглядом светленьких глаз она взглянула в лицо Клима и неясно назвала фамилию, которую он тотчас забыл.

— Окажите услугу,— говорил Лютов, оглядываясь и морщась.— Она вот опоздала к поезду... Устройте ей ночевку у вас, но так, чтоб никто об этом не знал. Ее тут уже видели; она приехала нанимать дачу; но — не нужно, чтоб ее видели еще раз. Особенно этот хромой чёрт, остроумный мужичок.

— Может быть, эти предосторожности излишни? — негромко спросила женщина.

— Не считаю их таковыми,— сердито сказал Лютов.

Женщина улыбнулась, ковыряя песок концом зонтика. Улыбалась она своеобразно: перед тем, как разомкнуть крепко сжатые губы небольшого рта, она сжимала их еще крепче, так, что в углах рта появлялись лучистые морщинки. Улыбка казалась вынужденной, жестковатой и резко изменяла ее лицо, каких много.

— Ну-с, гуляйте,— скомандовал ей Лютов, вставая с земли, и, взяв Клима под руку, пошел к дачам.

— Вы не очень вежливы с нею,— угрюмо заметил Клим, возмущенный бесцеремонностью Лютова по отношению к нему.

— Сойдет,— пробормотал Лютов.

— Должен предупредить вас, что в Петербурге арестован мой брат...

Лютов быстро спросил:

— Народоправец?

— Марксист. Что такое — народоправец?

Сняв шляпу, Лютов начал махать ею в свое покрасневшее лицо.

— Знов происходэ накоплэние рэволюционней силы,— передразнил он кого-то.— Накоплэние... черти!

Самгин сердился на Лютова за то, что он вовлек его в какую-то неприятную и, кажется, опасную авантюру, и на себя сердился за то, что так легко уступил ему, но над злостью преобладало удивление и любопытство. Он молча слушал раздраженную воркотню Лютова и оглядывался через плечо свое: дама с красным зонтиком исчезла.

— Знов происходэ.. Эта явилась сообщить мне, что в Смоленске арестован один знакомый... Типография там у него... чёрт бы драл! В Харькове аресты, в Питере, в Орле. Накопление!

Ворчал он, как Варавка на плотников, каменщиков, на служащих конторы. Клима изумлял этот странный тон и еще более изумляло знакомство Лютова с революционерами. Послушав его минуту-две, он не стерпел больше.

— Но — какое вам дело до этого, до революции?

— Правильный постанов вопроса,— отозвался Лютов, усмехаясь.— Жалею, что брата вашего сцапали, он бы, вероятно, ответил вам.

«Болван»,— мысленно выругался Самгин и вытащил руку свою из-под локтя спутника, но тот, должно быть, не почувствовал этого, он шел, задумчиво опустив голову, расшвыривая ногою сосновые шишки. Клим пошел быстрее.

— Куда спешите? Там,— Лютов кивнул головою в сторону дач,— никого нет, уехали в лодке на праздник куда-то, на ярмарку.

Он снова взял Самгина под руку, а когда дошли до рассыпанной поленницы дров, скомандовал:

— Сядем.

И тотчас вполголоса, но глумливо заговорил:

— На кой дьявол нужна наша интеллигенция при таком мужике? Это всё равно как деревенские избы перламутром украшать. Прекраснодушие, сердечность, романтизм и прочие пеперменты, уменье сидеть в тюрьмах, жить в гиблых местах ссылки, писать трогательные рас-

сказы и статейки. Страстотерпцы, преподобные и тому подобные. В общем — незваные гости.

От него пахло водкой, и, говоря, он щелкал зубами, точно перекусывая нитки.

— Народовольцы, например. Да ведь это же перевод с мексиканского, это — Густав Эмар и Майн-Рид. Пистолеты стреляют мимо цели, мины — не взрываются, бомбешки рвутся из десятка одна и — не вовремя.

Схватив кривое, суковатое полено, Лютов пытался поставить его на песке стоймя, это — не удавалось, полено лениво падало.

— Яснее ясного, что Русь надобно обтесывать топором, ее не завостришь перочинными ножичками. Вы как думаете?

Самгин, врасплох захваченный вопросом, ответил не сразу.

— Прошлый раз вы говорили о русском народе совершенно иначе.

— О народе я говорю всегда одно и то же: отличный народ! Бесподобный-с! Но...

С неожиданной силой он легко подбросил полено высоко в воздух и, когда оно, кувыркаясь, падало к его ногам, схватил, воткнул в песок.

— Из этой штуки можно сделать много различных вещей. Художник вырежет из нее и чёрта и ангела. А, как видите, почтенное полено это уже загнило, лежа здесь. Но его еще можно сжечь в печи. Гниение — бесполезно и постыдно, горение дает некоторое количество тепла. Понятна аллегория? Я — за то, чтоб одарить жизнь теплом и светом, чтоб раскалить ее.

«Врешь»,— подумал Клим.

Он сидел на аршин выше Лютова и видел изломанное, разобщенное лицо его не выпуклым, а вогнутым, как тарелка,— нечистая тарелка. Тени лап невысокой сосны дрожали на лице, и, точно два ореха, катались на нем косые глаза. Шевелился нос, раздувались ноздри, шлепали резиновые губы, обнажая злой верхний ряд зубов, показывая кончик языка, прыгал острый, небритый кадык, а около ушей вертелись костяные шарики. Лютов размахивал руками, пальцы правой руки мелькали, точно пальцы глухонемого, он весь

дергался, как марионетка на ниточках, и смотреть на него было противно. Он возбуждал в Самгине тоскливую злость, чувство протеста.

«А что, если я скажу, что он актер, фокусник, сумасшедший и все речи его — болезненная, лживая болтовня? Но — чего ради, для кого играет и лжет этот человек, богатый, влюбленный и, в близком будущем,— муж красавицы?»

— Представьте себе,— слышал Клим голос, пьяный от возбуждения,— представьте, что из сотни миллионов мозгов и сердец русских десять, ну, пять! — будут работать со всей мощью энергии, в них заключенной?

— Да, конечно,— сказал Клим нехотя.

Темное небо уже кипело звездами, воздух был напоен сыроватым теплом, казалось, что лес тает и растекается масляным паром. Ощутимо падала роса. В густой темноте за рекою вспыхнул желтый огонек, быстро разгорелся в костер и осветил маленькую белую фигурку человечка. Мерный плеск воды нарушил безмолвие.

— Наши едут,— заметил Клим.

Лютов долго молчал, прежде чем ответить:

— Пора.

И встал, присматриваясь к чему-то.

— Мужичонко шляется. Я его задержу, а вы идите, устройте эту...

Самгин пошел к даче, слушая, как весело и бойко звучит голос Лютова.

— Ты и в лесу сомов ловишь?

— Смеетесь, господин, а он был, сом!

— Был?

— А — как же?

— Где?

— Где ж ему быть, как не в реке?

— В этой?

— А — что? Река достойная.

«Актер»,— думал Клим, прислушиваясь.

— Вы, господин, в женском не нуждаетесь? Тут — солдатка...

— Вроде сома?

— Очень тоскует...

«Варавка — прав, это — опасный человек»,— решил Самгин.

Дома, распорядясь, чтобы прислуга подала ужин и ложилась спать, Самгин вышел на террасу, посмотрел на реку, на золотые пятна света из окон дачи Телепневой. Хотелось пойти туда, а — нельзя, покуда не придет таинственная дама или барышня.

«У меня нет воли. Нужно было отказать ему».

Ожидая шороха шагов по песку и хвое, Клим пытался представить, как беседует Лидия с Туробоевым, Макаровым. Лютов, должно быть, прошел туда. Далеко где-то гудел гром. Доплыли разорванные звуки пианино. В облаках, за рекою, пряталась луна, изредка освещая луга мутноватым светом. Клим Самгин, прождав нежеланную гостью до полуночи, с треском закрыл дверь и лег спать, озлобленно думая, что Лютов, может быть, не пошел к невесте, а приятно проводит время в лесу с этой не умеющей улыбаться женщиной. И, может быть, он всё это выдумал — о каких-то «народоправцах», о типографии, арестах.

«Всё — гораздо проще: это было последнее свидание».

С этим он и уснул, а утром его разбудил свист ветра, сухо шумели сосны за окном, тревожно шелестели березы; на синеватом полотнище реки узорно курчавились маленькие волнишки. Из-за реки плыла густо-синяя туча, ветер обрывал ее край, пышные клочья быстро неслись над рекою, поглаживая ее дымными тенями. В купальне кричала Алина. Когда Самгин вымылся, оделся и сел к столу завтракать — вдруг хлынул ливень, а через минуту вошел Макаров, стряхивая с волос капли дождя.

— Где же Владимир? — озабоченно спросил он.— Спать он не ложился, постель не смята.

Усмехаясь, Клим подбирал слова поострее, хотелось сказать о Лютове что-то очень злое, но он не успел сделать этого — вбежала Алина.

— Клим, скорее — кофе!

Мокрое платье так плотно прилипло к ее телу, что она была точно голая; она брызгала водою, отжимая волосы, и кричала:

— Сумасшедшая Лидка бросилась ко мне, за платьем, и ее убьет громом...

— Лютов был у вас вечером? — угрюмо спросил Макаров.

Стоя перед зеркалом, Алина развела руками.

— Ну, вот! Жених — пропал, а у меня будет насморк и бронхит. Клим, не смей смотреть на меня бесстыжими глазами!

— Вчера хромой приглашал Лютова на мельницу,— сказал Клим девушке,— она уже сидела у стола, торопливо отхлебывая кофе, обжигаясь и шипя, а Макаров, поставив недопитый стакан, подошел к двери на террасу и, стоя там, тихонько засвистал.

— Я простужусь? — серьезно спросила Алина.

Вошел Туробоев, окинул ее измеряющим взглядом, исчез, снова явился и, набросив на плечи ее пыльник свой, сказал:

— Хороший дождь, на урожай.

Сверкали молнии, бил гром, звенели стекла в окнах, а за рекою уже светлело.

— Пойду на мельницу,— пробормотал Макаров.

— Вот это — друг! — воскликнула Алина, а Клим спросил:

— Потому что не боится схватить насморк?

— Хотя бы поэтому.

Пальто сползало с плеч девушки, обнажая ее бюст, туго обтянутый влажным батистом блузы, это не смущало ее, но Туробоев снова прикрывал красиво выточенные плечи, и Самгин видел, что это нравится ей, она весело жмурилась, поводя плечами, и просила:

— Оставьте, мне жарко.

«Я бы не посмел так, как этот франт»,— завистливо подумал Самгин и вызывающим тоном спросил Туробоева:

— Вам нравится Лютов?

Он заметил, что щека Туробоева вздрогнула, как бы укушенная мухой; вынимая портсигар, Туробоев ответил очень вежливо:

— Интересный человек.

— Я нахожу интересных людей наименее искренними,— заговорил Клим, вдруг почувствовав, что те-

ряет власть над собою.— Интересные люди похожи на индейцев в боевом наряде, раскрашены, в перьях. Мне всегда хочется умыть их и выщипать перья, чтоб под накожной раскраской увидать человека таким, каков он есть на самом деле.

Алина подошла к зеркалу и сказала, вздохнув:

— Ой, какое чучело!

Туробоев, раскуривая папиросу, смотрел на Клима вопросительно, и Самгин подумал, что раскуривает он так медленно, тщательно потому, что не хочет говорить.

— Послушай, Клим,— сказала Алина.— Ты мог бы сегодня воздержаться от премудрости? День уже и без тебя испорчен.

Сказала она это таким наивно умоляющим тоном, что Туробоев тихонько засмеялся. Но это обидело ее; быстро обернувшись к Туробоеву, она нахмурилась.

— Почему вы смеетесь? Ведь Клим сказал правду, только я не хочу слушать.

И, грозя пальцем, продолжала:

— Ведь вы тоже, наверное, любите это — боевой наряд, перья?

— Грешен,— сказал Туробоев, наклонив голову.— Видите ли, Самгин, далеко не всегда удобно и почти всегда бесполезно платить людям честной медью. Да и — так ли уж честна эта медь правды? Существует старинный обычай: перед тем, как отлить колокол, призывающий нас в дом божий, распространяют какую-нибудь выдумку, ложь, от этого медь будто бы становится звучней.

— Итак, вы защищаете ложь? — строго спросил Самгин.

Туробоев пожал плечами.

— Не совсем так, но...

— Алина, иди, переоденься,— крикнула Лидия, появляясь в дверях. В пестром платье, в чалме из полотенца, она была похожа на черкешенку-одалиску с какой-то картины.

Напевая, Алина ушла, а Клим встал и открыл дверь на террасу, волна свежести и солнечного света хлынула в комнату. Мягкий, но иронический тон Туробоева воскресил в нем не однажды испытанное чувство острой не-

приязни к этому человеку с эспаньолкой, каких никто не носит. Самгин понимал, что не в силах спорить с ним, но хотел оставить последнее слово за собою. Глядя в окно, он сказал:

— Свифт, Вольтер и еще многие не боялись правды.

— Современный немец-социалист, например — Бебель, еще храбрее. Мне кажется, вы плохо разбираетесь в вопросе о простоте. Есть простота Франциска Ассизского, деревенской бабы и негра Центральной Африки. И простота анархиста Нечаева, неприемлемая для Бебеля.

Клим вышел на террасу. Подсыхая на жарком солнце, доски пола дымились под его ногами, он чувствовал, что и в голове его дымится злость.

— Вы сами говорили о павлиньих перьях разума,— помните? — спросил он, стоя спиной к Туробоеву, и услыхал тихий ответ:

— Это — не то.

Туробоев взмахнул руками, закинул их за шею и так сжал пальцы, что они хрустнули. Потом, вытянув ноги, он как-то бессильно съехал со стула. Клим отвернулся. Но через минуту, взглянув в комнату, он увидел, что бледное лицо Туробоева неестественно изменилось, стало шире, он, должно быть, крепко сжал челюсти, а губы его болезненно кривились. Высоко подняв брови, он смотрел в потолок, и Клим впервые видел его красивые, холодные глаза так угрюмо покорными. Как будто над этим человеком наклонился враг, с которым он не находил силы бороться и который сейчас нанесет ему сокрушающий удар. На террасу взошел Макаров, сердито говоря:

— Володька, оказывается, пил всю ночь с хромым и теперь спит, как мертвый.

Клим показал ему глазами на Туробоева, но тот встал и ушел, сутулясь, как старик.

— Он болен,— сказал Клим тихо и не без злорадства, но Макаров, не взглянув на Туробоева, попросил:

— Ты не говори Алине.

Самгин был рад случаю израсходовать злость.

— Это ты должен сказать ей. Извини, но твоя роль в этом романе кажется мне страшной.

Говорил он, стоя спиною к Макарову, так было удобней.

— Не понимаю, что связывает тебя с этим пьяницей. Это пустой человек, в котором скользят противоречивые, чужие слова и мысли. Он такой же выродок, как Туробоев.

Говорил он долго, и ему нравилось, что слова его звучат спокойно, твердо. Взглянув через плечо на товарища, он увидал, что Макаров сидит заложив ногу на ногу, в зубах его, по обыкновению, дымится папироса. Он разломал коробку из-под спичек, уложил обломки в пепельницу, поджег их и, подкладывая в маленький костер спички, внимательно наблюдает, как они вспыхивают.

А когда Клим замолчал, он сказал, не отрывая глаз от огня:

— Быть моралистом — просто.

Костер погас, дымились недогоревшие спички. Поджечь их было уж нечем. Макаров почерпнул чайной ложкой кофе из стакана и с явным сожалением залил остатки костра.

— Вот что, Клим: Алина не глупее меня. Я не играю никакой роли в ее романе. Лютова я люблю. Туробоев нравится мне. И, наконец, я не желаю, чтоб мое отношение к людям корректировалось тобою или кем-нибудь другим.

Макаров говорил не обидно, каким-то очень убедительным тоном, а Клим смотрел на него с удивлением: товарищ вдруг явился не тем человеком, каким Самгин знал его до этой минуты. Несколько дней тому назад Елизавета Спивак тоже встала пред ним как новый человек. Что это значит? Макаров был для него человеком, который сконфужен неудачным покушением на самоубийство, скромным студентом, который усердно учится, и смешным юношей, который всё еще боится женщин.

— Не сердись,— сказал Макаров, уходя и споткнувшись о ножку стула, а Клим, глядя за реку, углубленно догадывался: что значат эти всё чаще наблюдаемые изменения людей? Он довольно скоро нашел ответ, простой и ясный: люди пробуют различные маски, чтоб найти одну, наиболее удобную и выгодную. Они колеб-

лются, мечутся, спорят друг с другом именно в поисках этих масок, в стремлении скрыть свою бесцветность, пустоту.

Когда на террасу вышли девушки, Клим встретил их благосклонной улыбкой.

— Видишь, Лида,— говорила Алина, толкая подругу.— Он — цел. А ты упрекала меня в черством сердце. Нет, омут не для него, это для меня, это он меня загонит в омут премудрости. Макаров — идемте! Пора учиться...

— Какая она... несокрушимая,— тихо сказала Лидия, провожая подругу и Макарова задумчивым взглядом.— А ей ведь трудно живется.

Лидия сидела на подоконнике открытого окна спиною в комнату, лицом на террасу; она была, как в раме, в белых косяках окна. Цыганские волосы ее распущены, осыпают щеки, плечи и руки, сложенные на груди. Из-под ярко-пестрой юбки видны ее голые ноги, очень смуглые. Покусывая губы, она говорила:

— Лютов трудный. Он точно бежит от чего-то; так, знаешь, бегом живет. Он и вокруг Алины всё как-то бегает.

— Он всю ночь пьянствовал на мельнице и теперь спит там,— строго отчеканил Клим.

Внимательно взглянув на него, Лидия спросила:

— Почему ты сердишься? Он — пьет, но ведь это его несчастье. Знаешь, мне кажется, что мы все несчастные, и — непоправимо. Я особенно чувствую это, когда вокруг меня много людей.

Постукивая пятками по стене, она улыбнулась:

— Вчера, на ярмарке, Лютов читал мужикам стихи Некрасова, он удивительно читает, не так красиво, как Алина, но — замечательно! Слушали его очень серьезно, но потом лысенький старичок спросил: «А плясать — умеешь? Я, говорит, думал, что вы комедианты из театров». Макаров сказал: «Нет, мы просто — люди».— «Как же это так — просто? Просто людей — не бывает».

— Неглупый мужик,— заметил Самгин.

— Он сказал: не бывает. Зачем они укорачивают слова? Не бывает, бат — вместо бает, гляит — вместо глядит?

Клим не ответил. Он слушал, не думая о том, что говорит девушка, и подчинялся грустному чувству. Ее слова «мы все несчастны» мягко толкнули его, заставив вспомнить, что он тоже несчастен — одинок и никто не хочет понять его.

— А вечером и ночью, когда ехали домой, вспоминали детство...

— Ты и Туробоев?

— Да. И Алина. Все. Ужасные вещи рассказывал Константин о своей матери. И о себе, маленьком. Так странно было: каждый вспоминал о себе, точно о чужом. Сколько ненужного переживают люди!

Говорила она тихо, смотрела на Клима ласково, и ему показалось, что темные глаза девушки ожидают чего-то, о чем-то спрашивают. Он вдруг ощутил прилив незнакомого ему, сладостного чувства самозабвения, припал на колено, обнял ноги девушки, крепко прижался лицом.

— Не смей! — строго крикнула Лидия, упираясь ладонью в голову его, отталкивая.

Клим Самгин сказал громко и очень просто:

— Я тебя люблю.

Соскочив с подоконника, она разорвала кольцо его рук, толкнула коленями в грудь так сильно, что он едва не опрокинулся.

— Честное слово, Лида.

Она возмущенно отошла в сторону.

— Это — потому, что я почти нагая.

Остановясь на ступени террасы, она огорченно воскликнула:

— Как тебе не стыдно! Я была...

Не договорив, она сбежала с лестницы.

Клим прислонился к стене, изумленный кротостью, которая внезапно явилась и бросила его к ногам девушки. Он никогда не испытывал ничего подобного той радости, которая наполняла его в эти минуты. Он даже боялся, что заплачет от радости и гордости, что вот, наконец, он открыл в себе чувство удивительно сильное и, вероятно, свойственное только ему, недоступное другим.

Он весь день прожил под впечатлением своего открытия, бродя по лесу, не желая никого видеть, и всё время видел себя на коленях пред Лидией, обнимал ее горячие ноги, чувствовал атлас их кожи на губах, на щеках своих и слышал свой голос: «Я тебя люблю».

«Как просто сказал я! И, наверное, хорошее лицо было у меня».

Он думал только о себе в эту необыкновенную минуту, думал так напряженно, как будто боялся забыть мотив песни, которую слышал впервые и которая очень тронула его.

Лидию он встретил на другой день утром, она шла в купальню, а он, выкупавшись, возвращался на дачу. Девушка вдруг встала пред ним, точно опустилась из воздуха. Обменявшись несколькими фразами о жарком утре, о температуре воды, она спросила:

— Ты — обиделся?

— Нет,— искренно ответил Клим.

— Не надо обижаться. Ведь этим не играют,— сказала Лидия тихо.

— Я знаю,— заявил он так же искренно.

Ее ласковый тон не удивил, не обрадовал его — она должна была сказать что-нибудь такое, могла бы сказать и более милое. Думая о ней, Клим уверенно чувствовал, что теперь, если он будет настойчив, Лидия уступит ему. Но — торопиться не следует. Нужно подождать, когда она почувствует и достойно оценит то необыкновенное, что возникло в нем.

Подошел Макаров, ночевавший с Лютовым на мельнице, спросил, не пойдет ли Клим в село, там будут поднимать колокола.

— Разумеется, иду! — весело ответил Самгин и через полчаса шагал берегом реки, под ярким солнцем. Солнце и простенькое, из деревенского полотна платье вызывающе подчеркивали бесстыдную красоту мастерски отлитого тела Алины. Идя в ногу с Туробоевым, она и Макаров пели дуэт из «Маскотты», Туробоев подсказывал им слова. Лютов вел под руку Лидию, нашептывая ей что-то смешное. Клим Самгин чувствовал себя человеком более зрелым, чем пятеро впереди его, но несколько отягченным своей обособленностью. Он ду-

мал, что хорошо бы взять Лидию под руку, как это успел Лютов, взять и, прижавшись плечом к плечу ее, идти, закрыв глаза. Глядя, как покачивается тонкая фигура Лидии, окутанная батистом жемчужного цвета, он недоумевал, не ощущая ничего похожего на те чувствования, о которых читал у художников слова.

«Я — не романтик»,— напомнил он себе.

Его несколько тревожила сложность настроения, возбуждаемого девушкой сегодня и не согласного с тем, что он испытал вчера. Вчера — и даже час тому назад — у него не было сознания зависимости от нее и не было каких-то неясных надежд. Особенно смущали именно эти надежды. Конечно, Лидия будет его женою, конечно, ее любовь не может быть похожей на истерические судороги Нехаевой, в этом он был уверен. Но, кроме этого, в нем бродили еще какие-то неопределимые словами ожидания, желания, запросы.

«Она вызвала это, она и удовлетворит»,— успокаивал он себя.

Входя в село, расположенное дугою по изгибу высокого и крутого берега реки, он додумался:

«Не следует быть аналитиком».

Солнечная улица села тесно набита пестрой толпою сельчан и мужиков из окрестных деревень. Мужики стояли молча, обнажив лысые, лохматые и жирно смазанные маслом головы, а под разноцветно ситцевыми головами баб невидимым дымом вздымался тихонько рыдающий шепоток молитв. Казалось, что именно это стоголосое, приглушенное рыдание на «о», смешанное с терпким запахом дегтя, пота и преющей на солнце соломы крыш, нагревая воздух, превращает его в невидимый глазу пар, в туман, которым трудно дышать. Люди поднимались на носки, вытягивали шеи, головы их качались, поднимаясь и опускаясь. Две-три сотни широко раскрытых глаз были устремлены все в одном направлении — на синюю луковицу неуклюже сложенной колокольни с пустыми ушами, сквозь которые просвечивал кусок дальнего неба. Климу показалось, что этот кусок и синее и ярче неба, изогнутого над селом. Тихий гул толпы, сгущаясь, заражал напряженным ожиданием взрыва громовых криков.

Туробоев шел впереди, протискиваясь сквозь непрочную плоть толпы, за ним, гуськом, продвигались остальные, и чем ближе была мясная масса колокольни, тем глуше становился жалобный шумок бабьих молитв, слышнее внушительные голоса духовенства, служившего молебен. В центре небольшого круга, созданного из пестрых фигур людей, как бы вкопанных в землю, в изрытый, вытоптанный дерн, стоял на толстых слегах двухсотпудовый колокол, а перед ним еще три, один другого меньше. Большой колокол напомнил Климу Голову богатыря из «Руслана», а сутулый попик, в светлой пасхальной рясе, седовласый, с бронзовым лицом, был похож на волшебника Финна. Попик плыл вокруг колоколов, распевая ясным тенорком, и кропил медь святою водой; три связки толстых веревок лежали на земле, поп запнулся за одну из них, сердито взмахнул кропилом и обрызгал веревки радужным бисером.

Туробоев привел ко крыльцу церковноприходской школы, только что выстроенной, еще без рам в окнах. На ступенях крыльца копошилась, кричала и плакала куча детей, двух- и трехлеток, управляла этой живой кучей грязненьких, золотушных тел сероглазая горбатенькая девочка-подросток,— управляла, негромко покрикивая, действуя руками и ногами. На верхней ступени, широко расставив синие ноги в огромных узлах вен, дышала со свистом слепая старуха с багровым, раздутым лицом.

— Ты их, Гашка, прутом, прутом,— советовала она, всхрапывая, мотая тяжелой головою. В сизых незрячих глазах ее солнце отражалось, точно в осколках пивной бутылки. Из двери школы вышел урядник, отирая ладонью седоватые усы и аккуратно подстриженную бороду, зорким взглядом рыжих глаз осмотрел дачников, увидав Туробоева, быстро поднял руку к новенькой фуражке и строго приказал кому-то за спиною его:

— Сгони ребят.

— Не надо.

— Никак невозможно, Игорь Александрович, они постройку пачкают...

— Я сказал: не надо,— тихо напомнил Туробоев, взглянув в его лицо, измятое обильными морщинами.

Урядник вытянулся, выгнул грудь так, что брякнули медали, и, отдавая честь, повторил, как эхо:

— Не надо.

Он сошел по ступеням, перешагивая через детей, а в двери встал хромой с мельницы, улыбаясь до ушей:

— Здравствуйте.

— Понимаете? — шепнул Лютов Климу, подмигивая на хромого.

Клим ничего не понял. Он и девицы прикованно смотрели, как горбатенькая торопливо и ловко стаскивала со ступенек детей, хватая их цепкими лапками хищной птицы, и почти бросала полуголые тела на землю, усеянную мелкой щепой.

— Оставь! — крикнула Алина, топнув ногой.— Они исцарапаются щепками!

— О, богородица дево-о! — задыхаясь, высвистывала слепая.— Гашка — какие это тут пришли?

И, ошаривая вокруг себя дрожащими руками:

— Чей голосок-от? Псовка, куда посох девала?

Не слушая ни Алину, ни ее, горбатенькая всё таскала детей, как собака щенят. Лидия, вздрогнув, отвернулась в сторону, Алина и Макаров стали снова сажать ребятишек на ступени, но девочка, смело взглянув на них умненькими глазами, крикнула:

— Да — что вы озорничаете? Не ваши детеныши-то!

И снова начала стаскивать детей со ступенек, а хромой, восхищаясь, бормотал:

— Ты гляди кака упряма уродинка, а?

Окрик девочки смутил Макарова, он усмехнулся, сказав Алине:

— Оставьте...

Самгину показалось, что и все смущены горбатенькой, все как будто притихли пред нею. Лютов говорил что-то Лидии утешающим тоном. Туробоев, сняв перчатку, закуривал папиросу, Алина дергала его за рукав, гневно спрашивая:

— Как это можно?

Он ласково улыбался в лицо ей.

Два парня в новых рубахах, сшитых как будто из розовой жести, похожие друг на друга, как два барана, остановились у крыльца, один из них посмотрел на дачников, подошел к слепой, взял ее за руку и сказал непреклонно:

— Бабка Анфиса, очисть место господам.

— О, осподи! Подымают ли?

— Сейчас будут. Шагай.

— Дожила, слава те... Матушка...

— Точно мы заразные,— бунтовала Алина.

Лютов увлеченно допрашивал хромого:

— А — какой же ты веры?

Усмехаясь в растрепанную бороду, хромой качал головою.

— Не-ет, наша вера другая.

— Христианская?

— Обязательно. Только — строже.

— Так ты, чёрт, скажи — в чем строже?

Хромой тяжко вздохнул:

— Этого сказать нельзя. Это только одноверу можно сказать. Колокола мы признаем и всю церковность; а все-таки...

Клим Самгин смотрел, слушал и чувствовал, что в нем нарастает негодование, как будто его нарочно привели сюда, чтоб наполнить голову тяжелой и отравляющей мутью. Всё вокруг было непримиримо чуждо, но, заталкивая в какой-то темный угол, насиловало, заставляя думать о горбатой девочке, о словах Алины и вопросе слепой старухи:

«Какие это пришли?»

В голове еще шумел молитвенный шёпот баб, мешая думать, но не мешая помнить обо всем, что он видел и слышал. Молебен кончился. Уродливо длинный и тонкий седобородый старик с желтым лицом и безволосой головой в форме тыквы, сбросив с плеч своих поддевку, трижды перекрестился, глядя в небо, встал на колени перед колоколом и, троекратно облобызав край, пошел на коленях вокруг него, крестясь и прикладываясь к изображениям святых.

— Вон как! — одобрительно сказал хромой.— Это — Панов, Василь Васильич, он и есть благодетель

селу. Знаменито стекло льет, пивные бутылки на всю губерню.

На площади стало потише. Все внимательно следили за Пановым, а он ползал по земле и целовал край колокола. Он и на коленях был высок.

Кто-то крикнул:

— Народ! Делись натрое!

Другой голос спросил:

— А где кузнец?

Панов встал на ноги, помолчал, оглядывая людей, и сказал басом:

— Начинайте, православные!

Толпа, покрикивая, медленно разорвалась на три части: две отходили по косой вправо и влево от колокольни, третья двигалась по прямой линии от нее, все три бережно, как нити жемчуга, несли веревки и казались нанизанными на них. Веревки тянулись от ушей большого колокола, а он как будто не отпускал их, натягивая всё туже.

— Стой! Стойте!

— Вот он!

— Нуко-сь, Николай Павлыч, послужи богу-то,— громко сказал Панов.

К нему медленно подошел на кривых ногах широкоплечий, коренастый мужик в кожаном переднике. Рыжие волосы на голове его стояли дыбом, клочковатая борода засунута за ворот пестрядинной рубахи. Черными руками он закатал рукава по локти и, перекрестясь на церковь, поклонился колоколам не сгибаясь, а точно падая грудью на землю, закинув длинные руки свои назад, вытянув их для равновесия. Потом он так же поклонился народу на все четыре стороны, снял передник, тщательно сложил его и сунул в руки большой бабе в красной кофте. Всё это он делал молча, медленно, и всё выходило у него торжественно.

Ему протянули несколько шапок, он взял две из них, положил их на голову себе близко ко лбу и, придерживая рукой, припал на колено. Пятеро мужиков, подняв с земли небольшой колокол, накрыли им голову кузнеца так, что края легли ему на шапки и на плечи, куда баба подложила свернутый передник.

Кузнец закачался, отрывая колено от земли, встал и тихо, широкими шагами пошел ко входу на колокольню, пятеро мужиков провожали его, идя попарно.

— Попер, идол! — завистливо сказал хромой и вздохнул, почесывая подбородок.— А колокольчик-то этот около, слышь, семнадцати пудов, да — в лестницу нести. Тут, в округе, против этого кузнеца никого нет. Он всех бьет. Пробовали и его, — его, конечно, массыей народа надобно бить — однако ж и это не вышло.

На площади становилось всё тише, напряженней. Все головы поднялись вверх, глаза ожидающе смотрели в полукруглое ухо колокольни, откуда были наклонно высунуты три толстые балки с блоками в них и, проходя через блоки, спускались к земле веревки, привязанные к ушам колокола.

Урядник подошел к большому колоколу, похлопал его ладонью, как хлопают лошадь, снял фуражку, другой ладонью прикрыл глаза и тоже стал смотреть вверх.

Всё тише, напряженней становилось вокруг, даже ребятишки перестали суетиться и, задрав головы, вросли в землю.

Вот в синем ухе колокольни зашевелилось что-то бесформенное, из него вылетела шапка, потом— другая, вылетел комом свернутый передник,— люди на земле судорожно встряхнулись, завыли, заорали; мячами запрыгали мальчишки, а лысый мужичок с седыми усами прорезал весь шум тонким визгом:

— Миколай Павлыч, кум! Анператор...

Урядник надел фуражку, поправил медали на груди и ударил мужика по лысому затылку. Мужик отскочил, побежал, остановясь, погладил голову свою и горестно сказал, глядя на крыльцо школы:

— И пошутить не велят...

Сошел с колокольни кузнец, покрестился длинной рукою на церковь. Панов, согнув тело свое прямым углом, обнял его, поцеловал:

— Богатырь!

И закричал:

— Православные! Берись дружно! С богом!

Три кучи людей, нанизанных на веревки, зашевелились, закачались, упираясь ногами в землю, опрокидываясь назад, как рыбаки, влекущие сеть; три седых струны натянулись в воздухе; колокол тоже пошевелился, качнулся перешительно и неохотно отстал от земли.

— Ровнее, ровней, боговы дети! — кричал делатель пивных бутылок грудным голосом восторженно и тревожно.

Тускло поблескивая на солнце, тяжелый медный колпак медленно всплывал на воздух, и люди — зрители, глядя на него, выпрямлялись тоже, как бы желая оторваться от земли. Это заметила Лидия.

— Смотрите, как тянутся все, точно растут,— тихо сказала она; Макаров согласился:

— Да, меня тоже поднимает...

«Врешь»,— подумал Клим Самгин.

На площади было не очень шумно, только ребятишки покрикивали и плакали грудные младенцы.

— Ровнее, православные! — трубил Панов, а урядник повторял не так оглушительно, но очень строго:

— Ровнее, эй, правые!

Три группы людей, поднимавших колокол, охали, вздыхали и рычали. Повизгивал блок, и что-то тихонько трещало на колокольне, но казалось, что все звуки гаснут и вот сейчас наступит торжественная тишина. Клим почему-то не хотел этого, находя, что тут было бы уместно языческое ликование, буйные крики и даже что-нибудь смешное.

Он видел, что Лидия смотрит не на колокол, а на площадь, на людей, она прикусила губу и сердито хмурится. В глазах Алины — детское любопытство. Туробоеву — скучно, он стоит, наклонив голову, тихонько сдувая пепел папиросы с рукава, а у Макарова лицо глупое, каким оно всегда бывает, когда Макаров задумывается. Лютов вытягивает шею вбок, шея у него длинная, жилистая, кожа ее шероховата, как шагрень. Он склонил голову к плечу, чтоб направить непослушные глаза на одну точку.

Вдруг, на высоте двух третей колокольни, колокол вздрогнул, в воздухе со свистом фигурно извилась лоп-

нувшая веревка, левая группа людей пошатнулась, задние кучно упали, раздался одинокий, истерический вой:

— Ба-атюшки-и...

Колокол качался, лениво бил краем по кирпичу колокольни, сыпалась дресва, пыль известки. Самгин учащенно мигал, ему казалось, что он слепнет от этой пыли. Топая ногами, отчаянно визжала Алина.

— Эх, черти,— пробормотал Лютов и чмокнул.

— Держи, православные! — ревел Панов, подпрыгивая, размахивая руками.

Кривоногий кузнец забежал в тыл той группы, которая тянула прямо от колокольни, и стал обматывать конец веревки вокруг толстого ствола ветлы, у корня ее; ему помогал парень в розовой рубахе. Веревка, натягиваясь всё туже, дрожала, как струна, люди отскакивали от нее, кузнец рычал:

— Держи! Убью!

Клим прикрыл глаза, ожидая, когда колокол грохнет о землю, слушая, как ревут, визжат люди, рычит кузнец и трубит Панов.

— Связывай!

— Не бойсь, православные! Тихо-о! Дружно-о! Поше-ол!

Колокол снова, почти незаметно, поплыл вверх, из окна колокольни высунулись головы мужиков.

— Домой,— резко сказала Лидия. Лицо у нее было серое, в глазах — ужас и отвращение. Где-то в коридоре школы громко всхлипывала Алина и бормотал Лютов, воющие причитания двух баб доносились с площади. Клим Самгин догадался, что какая-то минута исчезла из его жизни, ничем не обременив сознание.

Хромой, сойдя с крыльца, держал за плечо испуганного подростка и допрашивал:

— Что ж он — жив?

— Я не знаю. Пусти, дядя Михайло...

— Идиёт. Видишь, а не понимаешь...

Под ветлой стоял Туробоев, внушая что-то уряднику, держа белый палец у его носа. По площади спешно шагал к ветле священник с крестом в руках, крест сиял, таял, освещая темное, сухое лицо. Вокруг ветлы собрались

плотным кругом бабы, урядник начал расталкивать их, когда подошел поп,— Самгин увидал под ветлой парня в розовой рубахе и Макарова на коленях перед ним.

— Как это случилось? — тихо спросил Клим, оглядываясь. Лидии уже не было на крыльце.

Она вышла из школы, ведя под руку Алину, сзади их морщилось лицо Лютова. Всхлипывая, Алина говорила:

— Мне так не хотелось идти сюда, а вы...

По улице села шли быстро, не оглядываясь, за околицей догнали хромого, он тотчас же, с уверенностью очевидца, стал рассказывать:

— Ему веревкой шею захлестнуло, ну, позвоночки и хрястнули...

Лютов, показав хромому кулак, шепнул:

— Молчи.

Вопросительно взглянув на него, на Клима, хромой продолжал:

— А может, кузнец пошутил, нарочно веревку-то накинул... Может, и ошибся... Всякое бывает.

Лютов, придерживая его за рукав, пошел тише, но и девушки, выйдя на берег реки, замедлили шаг. Тогда Лютов снова стал расспрашивать хромого о вере.

Невидимые сверчки трещали так громко, что казалось — это трещит высушенное солнцем небо. Клим Самгин чувствовал себя проснувшимся после тяжелого сновидения, усталым и равнодушным ко всему. Впереди его качался хромой, поучительно говоря Лютову:

— Например — наша вера рукотворенного не принимат. Спасов образ, который перукотворенный,— принимам, а прочие — не можем. Спасов-то образ — из чего? Он — из пота-крови Христовой. Когда Исус Христос на Волхову гору крест нес, тут ему неверный Фома-апостол рушничком личико и обтер,— удостоверить себя хотел: Христос ли? Личико на полотне и осталось— он! А вся прочая икона, это — фальшь, вроде бы как фотография ваша...

Лютов сдержанно повизгивал:

— Погоди, почему моя фотография — фальшь?

— Так ведь как же? Чья, как не ваша? Мужик — что делает? Чашки, ложки, сани и всякое такое, а вы — фотографию, машинку швейную...

— Ага, вот что?..

В смехе Лютова Клим слышал сладостный визг, который испускает набалованная собачка, когда ей чешут за ушами.

— Хлеб, скажем, он тоже нерукотворный, его бог, земля родит.

— А чем тесто месят?

— Это — дело бабье. Баба от бога — далеко, она ему — второй сорт. Не ее первую-то бог сотворил...

Лидия взглянула через плечо на хромого и пошла быстрей, а Клим думал о Лютове:

«Очень скучно ему, если он развлекается такими глупостями».

— Откуда это ты взял? Откуда? Ведь не сам выдумал, нет? — оживленно, настойчиво, с непонятной радостью допрашивал Лютов, и снова размеренно, солидно говорил хромой:

— Не сам, это — правильно; все друг у друга разуму учимся. В прошлом годе жил тут объясняющий господин...

Клим подумал:

«Объясняющий господин? Очень хорошо!»

— Так он, бывало, вечерами, по праздникам, беседы вел с окрестными людями. Крепкого ума человек! Он прямо говорил: где корень и происхождение? Это, говорит, народ, и для него, говорит, все средства...

— Ты его в поминанье записать должен. Записал?

— Шутите. Мы и своих-то покойников забываем поминать.

— А он — помер?

— Этого не знаю...

Придя домой, Самгин лег. Побаливала голова, ни о чем не думалось, и не было никаких желаний, кроме одного: скорее бы погас этот душный, глупый день, стерлись нелепые впечатления, которыми он наградил. Одолевала тяжелая дремота, но не спалось, в висках стучали молоточки, в памяти слуха тяжело сгустились все голоса дня: бабий шепоток и вздохи, командующие крики, пугливый вой, надсмертные причитания. Горбатенькая девочка возмущенно спрашивала:

«Да — что вы озорничаете?»

Уже темнело, когда пришли Туробоев, Лютов и сели на террасе, продолжая беседу, видимо, начатую давно. Самгин лежал и слушал перебой двух голосов. Было странно слышать, что Лютов говорит без выкриков и визгов, характерных для него, а Туробоев — без иронии. Позванивали чайные ложки о стекло, горячо шипела вода, изливаясь из крана самовара, и это напомнило Климу детство, зимние вечера, когда, бывало, он засыпал пред чаем и его будил именно этот звон металла о стекло.

На террасе говорили о славянофилах и Данилевском, о Герцене и Лаврове. Клим Самгин знал этих писателей и находил, что, в сущности, все они рассматривают личность только как материал истории, для всех человек является Исааком, обреченным на заклание.

«Нужно иметь какие-то особенные головы и сердца, чтоб признавать необходимость приношения человека в жертву неведомому богу будущего»,— думал он, чутко вслушиваясь в спокойную речь, неторопливые слова Туробоева:

— Среди господствующих идей нет ни одной, приемлемой для меня...

Быстро забормотал Лютов, сначала невозможно было разобрать, что он говорит, но затем выделились слова:

— У народников сильное преимущество: деревня здоровее и практичнее города, она может выдвинуть более стойких людей,— верно-с?

— Возможно,— сказал Туробоев.

Клим подумал, что, наверное, он, отвечая, приподнял левое плечо, как всегда делал, уклоняясь от прямого ответа на вопрос.

— А все-таки — половинчатость! — вскричал Лютов.— Все-таки — потомки тех головотяпов, которые, уступив кочевникам благодатный юг, бежали в леса и болота севера.

— Кажется, вы противоречите себе...

— Нет, позвольте-с! Вы-то, вы-то как же? Ведь это ваши предки...

Тяжело затопала горничная, задребезжала чайная посуда. Клим встал, бесшумно приоткрыл окно на террасу и услышал ленивенькие, холодные слова:

— Я, конечно, не думаю, что мои предки напутали в истории страны так много и были так глупо преступны, как это изображают некоторые... фабриканты правды из числа радикальных публицистов. Не считаю предков ангелами, не склонен считать их и героями, они просто более или менее покорные исполнители велений истории, которая, как вы же сказали, с самого начала криво пошла. На мой взгляд, ныне она уже такова, что лично мне дает право отказаться от продолжения линии предков,— линии, требующей от человека некоторых качеств, которыми я не обладаю.

— Это — что же? — взвизгнул Лютов.— Это — резиньяция? Толстовство?

— Помнится, я уже говорил вам, что считаю себя человеком психически деклассированным...

Раздались шлепающие шаги.

— Что — умер? — спросил Туробоев, ему ответил голос Макарова:

— Разумеется. Налей чаю, Владимир. Вы, Туробоев, поговорите с урядником еще; он теперь обвиняет кузнеца уже не в преднамеренном убийстве, а — по неосторожности.

Самгин отошел от окна, причесался и вышел на террасу, сообразив, что, вероятно, сейчас явятся девицы.

Огонь лампы, как бы поглощенный медью самовара, скупо освещал три фигуры, окутанные жарким сумраком. Лютов, раскачиваясь на стуле, двигал челюстями, чмокал и смотрел в сторону Туробоева, который, наклонясь над столом, писал что-то на измятом конверте.

— Почему ты босый? — спросил Клим Макарова,— тот, расхаживая по террасе со стаканом чая в руке, ответил:

— Сапоги в крови. Этому парню...

— Ну, довольно! —сказал Лютов, сморщив лицо, и шумно вздохнул: — А где же существа второго сорта?

Он перестал качаться на стуле и дразнящим тоном начал рассказывать Макарову мнение хромого мужика о женщинах.

— Мужик говорил проще, короче, —заметил Клим. Лютов подмигнул ему, а Макаров, остановясь, сунул

свой стакан на стол так, что стакан упал с блюдечка, и заговорил быстро и возбужденно:

— Вот видишь? Я же говорю: это — органическое! Уже в мифе о сотворении женщины из ребра мужчины совершенно очевидна ложь, придуманная неискусно и враждебно. Создавая эту ложь, ведь уже знали, что женщина родит мужчину и что она родит его для женщины.

Туробоев поднял голову и, пристально взглянув на возбужденное лицо Макарова, улыбнулся. Лютов, подмигивая и ему, сказал:

— Интереснейшая гипотеза российской фабрикации!

— Это ты говоришь о вражде к женщине? — с ироническим удивлением спросил Клим.

— Я,— сказал Макаров, ткнув себя пальцем в грудь, и обратился к Туробоеву:

— Та же вражда скрыта и в мифе об изгнании первых людей из рая неведения по вине женщины.

Клим Самгин улыбался и очень хотел, чтоб его иронический улыбку видел Туробоев, но тот, облокотясь о стол, смотрел в лицо Макарова, высоко подняв вышитые брови и как будто недоумевая.

— Счастливый ты младенец, Костя,— пробормотал Лютов, тряхнув головою, и стал разводить пальцем воду по медному подносу. А Макаров говорил, понизив голос и от возбуждения несколько заикаясь,— говорил торопливо:

— Вражда к женщине началась с того момента, когда мужчина почувствовал, что культура, создаваемая женщиной,— насилие над его инстинктами.

«Что он врет?» — подумал Самгин и, погасив улыбку иронии, насторожился.

Макаров стоял, сдвинув ноги, и это очень подчеркивало клинообразность его фигуры. Он встряхивал головою, двухцветные волосы падали на лоб и щеки ему, резким жестом руки он отбрасывал их, лицо его стало еще красивее и как-то острей.

— Оседлую и тем самым культурную жизнь начала женщина,— говорил он.— Это она должна была остановиться, оградить себя и своего детеныша от зверей, от непогоды. Она открыла съедобные злаки, лекарствен-

ные травы, она приручила животных. Для полузверя и бродяги самца своего она постепенно являлась существом всё более таинственным и мудрым. Изумление и страх пред женщиной сохранились и до нашего времени, в «табу» диких племен. Она устрашала своими знаниями, ведовством и особенно — таинственным актом рождения детеныша,— мужчина-охотник не мог наблюдать, как рожают звери. Она была жрицей, создавала законы, культура возникла из матриархата...

Вокруг лампы суетливо мелькали серенькие бабочки, тени их скользили по белой тужурке Макарова, всю грудь и даже лицо его испещряли темненькие пятнышки, точно тени его торопливых слов. Клим Самгин находил, что Макаров говорит скучно и наивно.

«Держит экзамен на должность „объясняющего господина“».

Вспомнив старую привычку, Макаров правой рукою откручивал верхнюю пуговицу тужурки, левая нерешительно отмахивалась от бабочек.

— Кстати, знаете, Туробоев, меня издавна оскорбляло известное циническое ругательство. Откуда оно? Мне кажется, что в глубокой древности оно было приветствием, которым устанавливалось кровное родство. И — могло быть приемом самозащиты. Старый охотник говорил молодому, более сильному: поял твою мать. Вспомните встречу Ильи Муромца с похвальщиком...

Лютов весело усмехнулся и крякнул.

— Где ты вычитал это? — спросил Клим, тоже улыбаясь.

— Это — моя догадка, иначе я не могу понять,— нетерпеливо ответил Макаров, а Туробоев встал и, прислушиваясь к чему-то, сказал тихонько:

— Остроумная догадка.

— Я надоел вам? — спросил Макаров.

— О, нет, что вы! — очень ласково и быстро откликнулся Туробоев.— Мне показалось, что идут барышни, но я ошибся.

— Хромой ходит,— тихо сказал Лютов и, вскочив со стула, осторожно спустился с террасы во тьму.

Климу было неприятно услышать, что Туробоев назвал догадку Макарова остроумной. Теперь оба они

шагали по террасе, и Макаров продолжал, еще более понизив голос, крутя пуговицу, взмахивая рукой:

— Когда полудикий Адам отнял, по праву сильного, у Евы власть над жизнью, он объявил всё женское злом. Очень примечательно, что это случилось на Востоке, откуда все религии. Именно оттуда пришло учение: мужчина — день, небо, сила, благо; женщина — ночь, земля, слабость, зло. Евреи молятся: «Господи, благодарю тебя за то, что ты не создал меня женщиной». Гнусность нашей очистительной молитвы после родов — это уж несомненно мужское, жреческое. Но, победив женщину, мужчина уже не мог победить в себе воспитанную ею жажду любви и нежности.

— Но в конце концов что ты хочешь сказать? — строго и громко спросил Самгин.

— Я?

— К чему ты ведешь?

Макаров остановился пред ним, ослепленно мигая.

— Я хочу понять: что же такое современная женщина, женщина Ибсена, которая уходит от любви, от семьи? Чувствует ли она необходимость и силу снова завоевать себе былое значение матери человечества, возбудителя культуры? Новой культуры?

Он махнул рукой во тьму:

— Ведь эта уже одряхлела, изжита, в ней есть даже что-то безумное. Я не могу поверить, чтоб мещанская пошлость нашей жизни окончательно изуродовала женщину, хотя из нее сделали вешалку для дорогих платьев, безделушек, стихов. Но я вижу таких женщин, которые не хотят — пойми! — не хотят любви или же разбрасывают ее, как ненужное.

Клим усмехнулся в лицо его.

— Эх ты, романтик,— сказал он, потягиваясь, расправляя мускулы, и пошел к лестнице мимо Туробоева, задумчиво смотревшего на циферблат своих часов. Самгину сразу стал совершенно ясен смысл этой длинной проповеди.

«Дурачок»,— думал он, спускаясь осторожно по песчаной тропе. Маленький, но очень яркий осколок луны прорвал облака; среди игол хвои дрожал серебристый свет, тени сосен собрались у корней черными комьями.

Самгин шел к реке, внушая себе, что он чувствует честное отвращение к мишурному блеску слов и хорошо умеет понимать надуманные красоты людских речей.

«Вот так и живут они, все эти Лютовы, Макаровы, Кутузовы,— схватят какую-нибудь идейку и шумят, гремят...»

Утром подул горячий ветер, встряхивая сосны, взрывая песок и серую воду реки. Когда Варавка, сняв шляпу, шел со станции, ветер забросил бороду на плечо ему и трепал ее. Борода придала краснолицей лохматой голове Варавки сходство с уродливым изображением кометы из популярной книжки по астрономии.

За чаем, сидя в ночной, до пят, рубахе, без панталон, в туфлях на босую ногу, задыхаясь от жары, стирая с лица масленый пот, он рычал:

— Лето, чёрт! Африканиш фейерлих![1]. А там бунтует музыкантша,— ей необходимы чуланы, переборки и вообще — чёрт в стуле. Поезжай, брат, успокой ее. Бабец — вкусный.

Он шумно вздохнул, вытер лицо бородой.

— У Веры Петровны в Петербурге что-то не ладится с Дмитрием, его, видимо, крепко ущемили. Дань времени...

За глаза Клим думал о Варавке непочтительно, даже саркастически, но, беседуя с ним, чувствовал всегда, что человек этот пленяет его своей неукротимой энергией и прямолинейностью ума. Он понимал, что это ум цинический, но помнил, что ведь Диоген был честный человек.

— Вы знаете,— сказал он,— Лютов сочувствует революционерам.

Варавка пошевелил бровями, подумал.

— Так. Казалось бы — дело не купеческое. Но, кажется, это входит в моду. Сочувствуют.

И — просыпал град быстреньких словечек:

— Революционер — тоже полезен, если он не дурак. Даже если глуп — и тогда полезен, по причине уродливых условий русской жизни. Мы вот всё больше производим товаров, а покупателя — нет, хотя он по-

[1] По-африкански знойно! *(нем.)*.

тенциально существует в количестве ста миллионов. По спичке в день — сто миллионов спичек, по гвоздю— сто миллионов гвоздей.

Сгреб руками бороду, сунул ее за ворот рубахи и присосался к стакану молока. Затем — фыркнул, встряхнул головою и продолжал:

— Если революционер внушает мужику: возьми, дурак, пожалуйста, землю у помещика и, пожалуйста, учись жить, работать человечески разумно,— революционер — полезный человек. Лютов — что? Народник? Гм... народоволец. Я слышал, эти уже провалились...

— Он дает вам денег на газету?

— Дядя его дает, Радеев... Блаженный старикан такой...

Помолчав, он спросил, прищурясь:

— Что же, Лютов — убежденный человек?

— Не знаю. Он такой... неуловимый.

— Поймают,— обещал Варавка, вставая.— Ну, я пойду купаться, а ты катай в город.

— Купаться? — удивился Клим.— Вы так много выпили молока...

— И еще выпью,— сказал Варавка, наливая из кувшина в стакан холодное молоко.

Приехав в город, войдя во двор дома, Клим увидал на крыльце флигеля Спивак в длинном переднике серого коленкора; приветственно махая рукою, обнаженной до локтя, она закричала:

— А, молодой хозяин! Пожалуйте-ко сюда!

И, крепко пожимая руку его, начала жаловаться: нельзя сдавать квартиру, в которой скрипят двери, не притворяются рамы, дымят печи.

— Тут жил один писатель,— сказал Клим и —ужаснулся, поняв, как глупо сказал.

Спивак взглянула на него удивленно и, этим смутив его еще более, пригласила в комнаты. Там возилась рябая девица с наглыми глазами, среди комнаты, задумавшись, стоял Спивак с молотком в руках, без пиджака, на груди его, как два ордена, блестели пряжки подтяжек.

— Устраиваемся,— объяснил он, протянув Климу руку с молотком.

Он снял очки, и на его маленьком, детском личике жалобно обнажились слепо выпученные рыжие глаза в подушечках синеватых опухолей. Жена его водила Клима по комнатам, загроможденным мебелью, требовала столяров, печника, голые руки и коленкор передника упростили ее. Клим неприязненно косился на ее округленный живот.

А через несколько минут он, сняв тужурку, озабоченно вбивал гвозди в стены, развешивал картины и ставил книги на полки шкафа. Спивак настраивал рояль, Елизавета говорила:

— Он всегда сам настраивает. Это — его алтарь, он даже меня неохотно допускает к инструменту.

Гудели басовые струны, горничная гремела посудой, в кухне шаркал рашпиль водопроводчика.

— Вы не находите, что в жизни кое-что лишнее?— неожиданно спросила Спивак, но когда Клим охотно согласился с нею, она, прищурясь, глядя в угол, сказала:

— А мне нравится именно лишнее. Необходимое— скучно. Оно — порабощает. Все эти сундуки, чемоданы — ужасны!

Затем она заявила, что любит старый фарфор, хорошие переплеты книг, музыку Рамо, Моцарта и минуты перед грозой.

— Когда чувствуешь, что всё в тебе и вокруг тебя напряжено, и ожидаешь катастрофы.

Клим никогда еще не видел ее такой оживленной и властной. Она подурнела, желтоватые пятна явились на лице ее, но в глазах было что-то самодовольное. Она будила смешанное чувство осторожности, любопытства и, конечно, те надежды, которые волнуют молодого человека, когда красивая женщина смотрит на него ласково и ласково говорит с ним.

— Говорила я вам, что Кутузов тоже арестован? Какой прекрасный голос, не правда ли?

— Ему бы следовало в опере служить, а не революции делать,— солидно сказал Клим и подметил, что губы Спивак усмешливо дрогнули.

— Он хотел. Но, должно быть, иногда следует идти против одного сильного желания, чтоб оно не заглушило все другие. Как вы думаете?

— Не знаю,— сказал Клим.

Было ясно, что она испытывает, выспрашивает. В ее глазах светится нечто измеряющее, взгляд ее щекочет лицо и всё более смущает. Некрасиво выпучив живот, Спивак рассматривала истрепанную книгу с оторванным переплетом.

— Не знаете? Не думали? — допрашивала она.— Вы очень сдержанный человечек. Это у вас от скромности или от скупости? Я бы хотела понять: как вы относитесь к людям?

«Нет, она совершенно не похожа на женщину, какой я ее видел в Петербурге»,— думал Самгин, с трудом уклоняясь от ее настойчивых вопросов.

Поработав больше часа, он ушел, унося раздражающий образ женщины, неуловимой в ее мыслях и опасной, как все выспрашивающие люди. Выспрашивают, потому что хотят создать представление о человеке, и для того, чтобы скорее создать, ограничивают его личность, искажают ее. Клим был уверен, что это именно так; сам стремясь упрощать людей, он подозревал их в желании упростить его, человека, который не чувствует границ своей личности.

«С нею следует держаться осторожно»,— решил он.

Но на другой день, с утра, он снова помогал ей устраивать квартиру. Ходил со Спиваками обедать в ресторан городского сада, вечером пил с ними чай, затем к мужу пришел усатый поляк с виолончелью и гордо выпученными глазами сазана; неутомимая Спивак предложила Климу показать ей город, но, когда он пошел переодеваться, крикнула ему в окно:

— Раздумала: не пойду. Посидим в саду,— хотите?

Клим не хотел, но не решился отказаться. С полчаса медленно кружились по дорожкам сада, говоря о незначительном, о пустяках. Клим чувствовал странное напряжение, как будто он, шагая по берегу глубокого ручья, искал, где удобнее перескочить через него. Из окна флигеля доносились аккорды рояля, вой виолончели, острепькие выкрики маленького музыканта. Вздыхал ветер, сгущая сумрак, казалось, что с деревьев сыплется теплая синеватая пыль, окрашивая воздух всё темнее.

Спивак шла медленно, покачивая животом, в ее походке было что-то хвастливое, и еще раз Клим подумал, что она самодовольна. Странно, что он не заметил этого в Петербурге. В простых, ленивых вопросах о Варавке, о Вере Петровне Клим не различал ничего подозрительного. Но от нее исходило невесомое, однако ясно ощутимое давление, внушая Климу странную робость пред нею. Ее круглые глаза кошки смотрели на него властно синеватым, стесняющим взглядом, как будто она знала, о чем он думает и что может сказать. И еще: она заставляла забывать о Лидии.

— Сядемте,— предложила она и задумчиво начала рассказывать, что третьего дня она с мужем была в гостях у старого знакомого его, адвоката.

— Это, очевидно, местный покровитель искусств и наук. Там какой-то рыжий человек читал нечто вроде лекции «Об инстинкте познания», кажется? Нет, «О третьем инстинкте», но это именно инстинкт познания. Я — невежда в философии, но — мне понравилось: он доказывал, что познание такая же сила, как любовь и голод. Я никогда не слышала этого... в такой форме.

Говоря, Спивак как будто прислушивалась к своим словам, глаза ее потемнели, и чувствовалось, что говорит она не о том, что думает, глядя на свой живот.

— Удивительно неряшливый и уродливый человек. Но, когда о любви говорят такие... неудачные люди, я очень верю в их искренность и... в глубину их чувства. Лучшее, что я слышала о любви и женщине, говорил один горбатый.

Вздохнув, она сказала:

— А чем более красив мужчина, тем менее он надежен как муж и отец.

И — усмехнулась, добавив:

— Красота — распутна. Это, должно быть, закон природы. Она скупа на красоту и потому, создав ее, стремится использовать как можно шире. Вы что молчите?

Самгин молчал, потому что ожидал чего-то. Ее обращение заставило его вздрогнуть, он торопливо сказал:

— Рыжий философ — это учитель мой.

— Да? Вот как?

Она взглянула в лицо Клима с любопытством, а он безотчетно сказал:

— Лет двенадцать назад тому он был влюблен в мою мать.

Он озлобленно почувствовал себя болтливым мальчишкой и почти со страхом ждал, о чем теперь спросит его эта женщина. Но она, помолчав, сказала:

— Сыро. Пойдемте в комнаты.

А по дороге во флигель вполголоса заметила:

— Вы, должно быть, очень одинокий человек.

Эти слова прозвучали не вопросом. Самгин на миг почувствовал благодарность к Спивак, но вслед за тем насторожился еще более.

Усатый поляк исчез, оставив виолончель у рояля. Спивак играл фугу Баха; взглянув на вошедших темными кружками стекол, он покашлял и сказал:

— Это не музыкант, а водопроводчик.

— Виолончелист?

— Совершенный негодяй,— убежденно сказал музыкант.

Он снова начал играть, но так своеобразно, что Клим взглянул на него с недоумением. Играл он в замедленном темпе, подчеркивая то одну, то другую ноту аккорда и, подняв левую руку с вытянутым указательным пальцем, прислушивался, как она постепенно тает. Казалось, что он ломал и разрывал музыку, отыскивая что-то глубоко скрытое в мелодии, знакомой Климу.

— Сыграй Рамо,— попросила его жена.

Покорно зазвучали наивные и галантные аккорды, от них в комнате, уютно убранной, стало еще уютней.

На темном фоне стен четко выступали фарфоровые фигурки. Самгин подумал, что Елизавета Спивак чужая здесь, что эта комната для мечтательной блондинки, очень лирической, влюбленной в мужа и стихи. А эта встала и, поставив пред мужем ноты, спела незнакомую Климу бравурную песенку на французском языке, закончив ее ликующим криком:

A toi, mon enfant! [1]

[1] Тебе, дитя мое! *(франц.)*.

7 371

лексикон. [redacted] :

Но просмотрев [redacted] ему, Клим Самгин не находил ни одной удобной для него, и не мог найти, дабы кто-то о нем составлял чужого, а о фабрикации своего. Все идеи уже только потому плохи, что они - чужие, не говоря о том, что многие из них были органически враждебны, а иные - жалки до смешного, каковы, например, идеи Макарова.

Эта душа и назойливое жало комаров за кисейным пологом кровати мешали уснуть Климу Самгину, помешали успокоиться, сосредоточить себя, то, в сущности, чего хочет он сам, его личное отношение к себе самому, чувствуемому не безразлично, но как-то [redacted] - смешно сказать, на всякий случай, только обременяющему память, что у него [redacted] утомительных поисков удобной позы, он перешел к мыслям о Спивак, о Лидии. Они обе почти одинаково неприятны тем, что чего-то ищут, роются в нем. Он находил, что в этом их отношение к нему совершенно сходно. Но обе они влекут его к себе. С одинаковой силой? На этот вопрос он не мог ответить. Это, кажется, зависело от их положения в пространстве, от их физической близости к нему. В присутствии Спивак образ Лидии таял, расплывался, а когда Лидия пред глазами - исчезала Спивак. И хуже всего было то, что Клим не мог ясно представить себе, чего именно хочет он от беременной женщины и от неискушенной девушки?

Он не забыл о том чувстве, с которым обнимал ноги Лидии, но помнил это как сновидение. Не много дней прошло с того момента, но он уже не один раз спрашивал себя: что заставило его встать на колени именно пред нею? [redacted] ни сомнения в действительности этого [redacted] Клим не мог найти ни одной черты, которая оправдывала бы [redacted] ему назад.

Вообще пред ним все чаще являлось нечто сновидное, такое, чего ему не нужно было видеть. Зачем нужна глупая сцена ловли воображаемого сома, какой смысл в нелепом смехе Литова и хромого мужика? Не нужно было видеть тягостную возню с колоколом и многое другое, что, не имея смысла, только отягощало память.

- "Да что ж ты озоруешь?" - звучал в памяти возмущенный вопрос горбатой девочки и шумел в голове рыдающий шепоток деревенских баб.

«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА», ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Страница авторизованной машинописи.

Он обрадовался, когда явилась горничная и возвестила тоже почему-то с улыбкой ликующей:

— Мамаша приехали!

Клим подумал, что мать, наверное, приехала усталой, раздраженной, тем приятнее ему было увидеть ее настроенной бодро и даже как будто помолодевшей за эти несколько дней. Она тотчас же начала рассказывать о Дмитрии: его скоро выпустят, но, наверное, он будет лишен права учиться в университете.

— Я не считаю это несчастием для него; мне всегда казалось, что он был бы плохим доктором. Он по натуре учитель, счетовод в банке, вообще что-нибудь очень скромное. Офицер, который ведет его дело,— очень любезный человек,— пожаловался мне, что Дмитрий держит себя на допросах невежливо и не захотел сказать, кто вовлек его... в эту авантюру, этим он очень повредил себе... Офицер настроен к молодежи очень благожелательно, но говорит: «Войдите в наше положение, ведь не можем же мы воспитывать революционеров!» И напомнил мне, что в восемьдесят первом году именно революционеры погубили конституцию.

Глаза матери светились ярко, можно было подумать, что она немного подкрасила их или пустила капельку атропина. В новом платье, красиво сшитом, с папиросой в зубах, она была похожа на актрису, отдыхающую после удачного спектакля. О Дмитрии она говорила между прочим, как-то всё забывая о нем, не договаривая.

— Мне дали свидание с ним, он сидит в тюрьме, которая называется «Кресты»; здоров, обрастает бородой, спокоен, даже — весел и, кажется, чувствует себя героем.

И снова заговорила о другом.

— Петербург удивительно освежает. Я ведь жила в нем с девяти до семнадцати лет, и так много хорошего вспомнилось.

В несвойственном ей лирическом тоне она минуты две-три вспоминала о Петербурге, заставив сына непочтительно подумать, что Петербург за двадцать четыре года до этого вечера был городом маленьким и скучным.

— У меня нашлись общие знакомые со старухой Премировой. Славная старушка. Но ее племянница —

ужасна! Она всегда такая грубая и мрачная? Она не говорит, а стреляет из плохого ружья. Ах, я забыла: она дала мне письмо для тебя.

Затем она объявила, что идет в ванную, пошла, но, остановясь среди комнаты, сказала:

— О, боже мой, можешь представить: Марья Романовна,— ты ее помнишь?— тоже была арестована, долго сидела и теперь выслана куда-то под гласный надзор полиции! Ты — подумай: ведь она старше меня на шесть лет и всё еще... Право же, мне кажется, что в этой борьбе с правительством у таких людей, как Марья, главную роль играет их желание отомстить за испорченную жизнь...

— Возможно,— согласился Клим.

Всё сказанное матерью ничем не задело его, как будто он сидел у окна, а за окном сеялся мелкий дождь. Придя к себе, он вскрыл конверт, надписанный крупным почерком Марины, в конверте оказалось письмо не от нее, а от Нехаевой. На толстой синеватой бумаге, украшенной необыкновенным цветком, она писала, что ее здоровье поправляется и что, может быть, в средине лета она приедет в Россию.

«Вот еще»,— с досадой подумал Самгин.

Писала Нехаева красивыми словами, они вызывали впечатление сочиненности.

«Воображает себя Марией Башкирцевой».

Клим изорвал письмо, разделся и лег, думая, что — да, пора принять какую-то идею, как это сделали Томилин, Макаров, Кутузов. Надо иметь в душе некий стержень, и тогда вокруг его образуется всё то, что отграничит личность от всех других, обведет ее резкой чертою. Определенность личности достигается тем, что человек говорит всегда одно и то же,— это ясно. Личность — комплекс прочно усвоенных мнений, это — оригинальный лексикон.

От утомительных поисков удобной ризы он перешел к мыслям о Спивак, о Лидии. Они обе почти одинаково неприятны тем, что чего-то ищут в нем. Он находил, что в этом их отношение к нему совершенно сходно. Но обе они влекут его к себе. С одинаковой силой? На этот вопрос он не мог ответить. Это, кажется, зависело от

их положения в пространстве, от их физической близости к нему. В присутствии Спивак образ Лидии таял, расплывался, а когда Лидия пред глазами — исчезала Спивак. И хуже всего было то, что Клим не мог ясно представить себе — чего именно хочет он от беременной женщины и от неискушенной девушки?

Он не забыл о том чувстве, с которым обнимал ноги Лидии, но помнил это как сновидение. Не много дней прошло с того момента, но он уже не один раз спрашивал себя: что заставило его встать на колени именно пред нею?

Вообще пред ним всё чаще являлось нечто сновидное и такое, чего ему не нужно было видеть. Зачем нужна глупая сцена ловли воображаемого сома, какой смысл в нелепом смехе Лютова и хромого мужика? Не нужно было видеть тягостную возню с колоколом и многое другое, что, не имея смысла, только отягощало память.

«Да — что вы озорничаете?» — звучал в памяти возмущенный вопрос горбатой девочки, и шумел в голове рыдающий шепоток деревенских баб.

«Право же, я, кажется, заболею от всего этого...»

Уже светало, лунные тени на полу исчезли, стекла окна, потеряв голубоватую окраску, тоже как будто растаяли. Клим задремал, но скоро был разбужен дробным топотом шагов множества людей и лязгом железа. Он вскочил, подошел к окну,— по улице шла обычная процессия — большая партия арестантов, окруженная редкой цепью солдат пароходно-конвойной команды. Остробородый дворник, шаркая по камням метлою, вздымал облака пыли навстречу партии серых людей. Солдаты были мелкие, украшены синими шнурами, их обнаженные сабли сверкали тоже сипевато, как лед, а впереди партии, позванивая кандалами, скованные по двое за руки, шагали серые, бритоголовые люди, на подбор большие и почти все бородатые. У одного из них лицо было наискось перерезано черной повязкой, закрывавшей глаз, он взглянул незакрытым мохнатым глазом в окно на Клима и сказал товарищу, тоже бородатому, похожему на него, как брат:

— Гляди — Лазарь воскрес!

Но товарищ его посмотрел не на Клима, а вдаль, в небо и плюнул, целясь в сапог конвойного. Это были единственные слова, которые уловил Клим сквозь глухой топот сотни ног и звучный лязг железа, колебавший розоватую, тепленькую тишину сонного города.

За каторжниками вразбродь шагали разнообразно одетые темные люди, с узелками под мышкой, с котомками за спиной; шел высокий старик в подряснике и скуфье с чайником и котелком у пояса; его посуда брякала в такт кандалам.

Тесной группой шли политические, человек двадцать, двое — в очках, один — рыжий, небритый, другой — седой, похожий на икону Николая Мирликийского, сзади их покачивался пожилой человек с длинными усами и красным носом; посмеиваясь, он что-то говорил курчавому парню, который шел рядом с ним, говорил и показывал пальцем на окна сонных домов. Четыре женщины заключали шествие: толстая, с дряблым лицом монахини; молоденькая и стройная, на тонких ногах, и еще две шли, взяв друг друга под руку, одна — прихрамывала, качалась; за ее спиной сонно переставлял тяжелые ноги курносый солдат, и синий клинок сабли почти касался его уха.

Когда голова партии проходила мимо дворника, он перестал работать, но, пропустив мимо себя каторжан, быстро начал пылить метлой на политических.

— Погоди, болван! — громко крикнул конвойный, споткнулся и чихнул.

Партия свернула за угол в улицу, которая спускалась к реке, дворник усердно гнал вслед арестантам тучи пыли. Клим знал, что на реке арестантов ожидает рыжий пароход с белой полосою на трубе, рыжая баржа; палуба ее покрыта железной клеткой, и баржа похожа на мышеловку. Возможно, что в такой мышеловке поедет и брат Дмитрий. Почему он стал революционером, брат? В детстве он был бесцветен, хотя пред взрослыми обнаруживал ленивенькое, но нестибаемое упрямство, а в играх с детьми — добродушие дворового пса. Нехаева верно сказала, что он — человек невежественный. Тело у него тяжелое, не умное. Революционер должен быть ловок, умен и зол.

Вдали всё еще был слышен лязг кандалов и тяжкий топот. Дворник вымел свой участок, постучал черенком метлы о булыжник, перекрестился, глядя вдаль, туда, где уже блестело солнце. Стало тихо. Можно было думать, что остробородый дворник вымел арестантов из улицы, из города. И это было тоже неприятным сновидением.

Под вечер, в темной лавке букиниста, Клим наткнулся на человека в осеннем пальто.

— Извините.

— Это вы, Самгин,— уверенно сказал человек.

Даже и после этого утверждения Клим не сразу узнал Томилина в пыльном сумраке лавки, набитой книгами. Сидя на низеньком, с подрезанными ножками стуле, философ протянул Самгину руку, другою рукой поднял с пола шляпу и сказал в глубину лавки кому-то невидимому:

— Рубль тридцать — достаточно. Пойдемте, Самгин, ко мне.

Смущенный нежеланной встречей, Клим не успел отказаться от приглашения, а Томилин обнаружил не свойственную ему поспешность.

— Когда роешься в книгах — время течет незаметно, и вот я опоздал домой к чаю, — говорил он, выйдя на улицу, морщась от солнца. В разбухшей, измятой шляпе, в пальто, слишком широком и длинном для него, он был похож на банкрота купца, который долго сидел в тюрьме и только что вышел оттуда. Он шагал важно, как гусь, держа руки в карманах, длинные рукава пальто смялись глубокими складками. Рыжие щеки Томилина сыто округлились, голос звучал уверенно, и в словах его Клим слышал строгость наставника.

— Что ж, удовлетворяет тебя университетская наука? — спрашивал он, скептически усмехаясь.

— Варвара Сергеевна,— назвал он жену повара, когда она, выйдя в прихожую, почтительно помогла ему снять пальто.

Сняв пальто, он оказался в сюртуке, в накрахмаленной рубашке с желтыми пятнами на груди, из-под коротко подстриженной бороды торчал лиловый галстух бабочкой. Волосы на голове он тоже подстриг,

они лежали раздвоенным чепчиком, и лицо Томилина потеряло сходство с нерукотворенным образом Христа. Только фарфоровые глаза остались неподвижны и, как всегда, хмурились колючие рыжие брови.

— Кушайте, пожалуйста,— уговаривала женщина сдобным голосом, подвигая Климу стакан чая, сливки, вазу с медом и тарелку пряников, окрашенных в цвет железной ржавчины.

— Замечательные пряники,— удостоверил Томилин.— Сама делает из солода с медом.

Клим ел, чтоб не говорить, и незаметно осматривал чисто прибранную комнату с цветами на подоконниках, с образами в переднем углу и олеографией на стене, олеография изображала сытую женщину с бубном в руке, стоявшую у колонны. И живая женщина за столом у самовара тоже была на всю жизнь сыта: ее большое, разъевшееся тело помещалось на стуле монументально крепко, непрерывно шевелились малиновые губы, вздувались сафьяновые щеки пурпурного цвета, колыхался двойной подбородок и бугор груди. Водянистые глаза светились удовлетворенно, и, когда она переставала жевать, маленький ротик ее сжимался звездой. Ее розовые руки с пальцами, подобными сосискам, обладали силою магнита: стоит им протянуться к сахарнице или молочнику, и вещи эти уже сами дрессированно подвигаются к мягким пальцам. Самовар улыбался медной, понимающей улыбкой, и всё в комнате как бы тянулось к телу женщины, ожидало ее мягких прикосновений. Было нечто несоединимое, подавляюще и даже фантастически страшное в том, что при этой женщине, в этой комнате, насыщенной запахом герани и съестного, пренебрежительно и усмешливо звучат слова:

— Материалисты утверждают, что психика суть свойство организованной материи, мысль — химическая реакция. Но — ведь это только терминологически отличается от гилозоизма, от одушевления материи,— говорил Томилин, дирижируя рукою с пряником в ней.— Из всех недопустимых опрощений материализм — самое уродливое. И совершенно ясно, что он исходит из отчаяния, вызванного неведением и усталостью безуспешных поисков веры.

Бросив пряник на тарелку, он погрозил пальцем и торжественно воскликнул:

— Повторяю: веры ищут и утешения, а не истины! А я требую: очисти себя не только от всех верований, но и от самого желания веровать!

— Чай простынет,— заметила женщина. Томилин взглянул на стенные часы и торопливо вышел, а она успокоительно сказала Климу:

— Он сейчас воротится, за котом пошел. Ученое его занятие тишины требует. Я даже собаку мужеву мышьяком отравила, уж очень выла собака в светлые ночи. Теперь у нас — кот, Никитой зовем, я люблю, чтобы в доме было животное.

Поправляя шпильки в тяжелой чалме темных волос, она вздохнула:

— Трудное его ученое занятие! Какие тысячи слов надобно знать! Уж он их выписывает, выписывает изо всех книг, а книгам-то — счета нет!

Ручной чижик, серенький с желтым, летал по комнате, точно душа дома; садился на цветы, щипал листья, качаясь на тоненькой ветке, трепеща крыльями; испуганный осою, которая, сердито жужжа, билась о стекло, влетал в клетку и пил воду, высоко задирая смешной носишко.

Томилин бережно внес черного кота с зелеными глазами, посадил его на обширные колени женщины и спросил:

— Не дать ли ему молока?

— Рано еще,— сказала женщина, взглянув на часы.

Через минуту Клим снова слышал:

— Свободно мыслящий мир пойдет за мною. Вера— это преступление пред лицом мысли.

Говоря, Томилин делал широкие, расталкивающие жесты, голос его звучал властно, глаза сверкали строго. Клим наблюдал его с удивлением и завистью. Как быстро и резко изменяются люди! А он всё еще играет унизительную роль человека, на которого все смотрят, как на ящик для мусора своих мнений. Когда он уходил, Томилин настойчиво сказал ему:

— Вы — приходите чаще!

А женщина, пожав руку его теплыми пальцами, другою рукой как будто сняла что-то с полы его тужурки и, спрятав за спину, сказала, широко улыбаясь:

— Теперь они придут, я на них котовинку посадила.

На вопрос Клима: что такое котовинка? — она объяснила:

— А это, видите ли, усик шерсти кошачьей; коты — очень привычны к дому, и есть в них сила людей привлекать. И если кто, приятный дому человек, котовинку на себе унесет, так его обязательно в этот дом потянет.

«Какая чепуха! — думал Клим, идя по улице, но все-таки осматривая рукава тужурки и брюки: где прилеплена на него котовинка? — Как пóшло,— повторял он, смутно чувствуя необходимость убедить себя в том, что это благополучие именно пóшло и только пóшло.— В сущности, Томилин проповедует упрощение такое же, как материалисты, поражаемые им,— думал Клим и почти озлобленно старался найти что-нибудь общее между философом и черным зеленоглазым котом.— Коту следовало бы сожрать чижа,— усмехнулся он. Шумело в голове.— Кажется, я отравился этими железными пряниками...»

Дома он застал мать в оживленной беседе со Спивак, они сидели в столовой у окна, открытого в сад; мать протянула Климу синий квадрат телеграммы, торопливо сказав:

— Вот — дядя Яков скончался.

Выкинув за окно папиросу, она добавила:

— Так и умер, не выходя из тюрьмы. Ужасно.

Потом она прибавила:

— Это уже безжалостно со стороны властей. Видят, что человек умирает, а все-таки держат в тюрьме.

Клим чувствовал, что мать говорит, насилуя себя и как бы смущаясь пред гостьей. Спивак смотрела на нее взглядом человека, который, сочувствуя, не считает уместным выразить свое сочувствие. Через несколько минут она ушла, а мать, проводив ее, сказала снисходительно:

— Эта Спивак — интересная женщина. И — деловая. С нею — просто. Квартиру она устроила очень мило, с большим вкусом.

Клим, подумав, что она слишком быстро покончила с дядей Яковом и что это не очень прилично, спросил:

— Похоронили его?

Мать удивленно ответила:

— Но ведь в телеграмме сказано: «Тринадцатого скончался и вчера похоронен»...

Скосив глаза, рассматривая в зеркале прыщик около уха, она вздохнула:

— Сейчас пойду напишу об этом Ивану Акимовичу. Ты не знаешь — где он, в Гамбурге?

— Не знаю.

— Ты давно писал ему?

С раздражением, источник которого был не ясен для него, Клим заговорил:

— Давно. Должен сознаться, что я... редко пишу ему. Он отвечает мне поучениями, как надо жить, думать, веровать. Рекомендует книги... вроде бездарного сочинения Пругавина о «Запросах народа и обязанностях интеллигенции». Его письма кажутся мне наивнейшей риторикой, совершенно несовместимой с торговлей дубовой клепкой. Он хочет, чтоб я унаследовал те привычки думать, от которых сам он, вероятно, уже отказался.

— Да,— сказала мать, припудривая прыщик,— он всегда любил риторику. Больше всего — риторику. Но — почему ты сегодня такой нервный? И уши у тебя красные...

— Нездоровится,— сказал Клим.

Вечером он лежал в постели с компрессом на голове, а доктор успокоительно говорил:

— Что-нибудь гастрическое. Завтра увидим.

В течение пяти недель доктор Любомудров не мог с достаточной ясностью определить болезнь пациента, а пациент не мог понять — физически болен он или его свалило с ног отвращение к жизни, к людям? Он не был мнительным, но иногда ему казалось, что в теле его работает острая кислота, нагревая мускулы, испаряя из них жизненную силу. Тяжелый туман наполнял голову, хотелось глубокого сна, но мучила бессонница и тихое, злое кипение нервов. В памяти бессвязно возникали воспоминания о прожитом, знакомые лица, фразы.

«Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

«Что вы озорничаете!»

«Баба богу — второй сорт».

Все эти словечки торчали пред глазами, как бы написанные в воздухе, торчали неподвижно, было в них что-то мертвое, и, раздражая, они не будили никаких дум, а только усиливали недомогание.

Иногда, внезапно, это окисление исчезало, Клим Самгин воображал себя почти здоровым, ехал на дачу, а дорогой или там снова погружался в состояние общей расслабленности. Не хотелось смотреть на людей, было неприятно слышать их голоса, он заранее знал, что скажет мать, Варавка, нерешительный доктор и вот этот желтолицый фланелевый человек, сосед по месту в вагоне, и грязный смазчик с длинным молотком в руке. Люди раздражали уже только тем, что они существуют, двигаются, смотрят, говорят. Каждый из них насиловал воображение, заставляя думать: зачем нужен он? Возникали нелепые вопросы: зачем этот скуластый бреет бороду, а тот ходит с тростью, когда у него сильные, стройные ноги? Женщина ярко накрасила губы, подрисовала глаза, ее нос от этого кажется бескровным, серым и не по лицу уродливо маленьким. Никто не хочет сказать ей, что она испортила лицо свое, и Клим тоже не хотел этого. Он зорко и с жадностью подмечал в людях некрасивое, смешное и всё, что, отталкивая его от них, позволяло думать о каждом с пренебрежением и тихой злостью. Но в то же время он смутно чувствовал, что эти его навязчивые мудрствования болезненны, нелепы и бессильны, и чувствовал, что однообразие их всё более утомляет его.

Минутами Самгину казалось, что его вместилище впечатлений — то, что называют душой,— засорено этими мудрствованиями и всем, что он знал, видел,—засорено на всю жизнь и так, что он уже не может ничего воспринимать извне, а должен только разматывать тугой клубок пережитого. Было бы счастьем размотать этот клубок до конца. А вслед за тем вспыхивало и обжигало желание увеличить его до последних пределов, так, чтоб он, заполнив всё в нем, всю пустоту, и

породив какое-то сильное, дерзкое чувство, позволил Климу Самгину крикнуть людям:

«Эй, вы! Я ничего не знаю, не понимаю, ни во что не верю и вот — говорю вам это честно! А все вы — притворяетесь верующими, вы — лжецы, лакеи простейших истин, которые вовсе и не истины, а — хлам, мусор, изломанная мебель, просиженные стулья».

Думая об этом подвиге, совершить который у него не было ни дерзости, ни силы, Клим вспоминал, как он в детстве неожиданно открыл в доме комнату, где были хаотически свалены вещи, отжившие свой срок.

Еще в первые дни неопределимой болезни Клима Лютов с невестой, Туробоевым и Лидией уехал на пароходе по Волге с тем, чтоб побывать на Кавказе и, посетив Крым, вернуться к осени в Москву. Клим отнесся к этой поездке так равнодушно, что даже подумал:

«Я — не ревнив. И не боюсь Туробоева. Лидия — не для него».

На дачах Варавки поселились незнакомые люди со множеством крикливых детей; по утрам река звучно плескалась о берег и стены купальни; в синеватой воде подпрыгивали, как пробки, головы людей, взмахивались в воздух маслено блестевшие руки; вечерами в лесу пели песни гимназисты и гимназистки, ежедневно, в три часа, безгрудая, тощая барышня в розовом платье и круглых темных очках играла на пианино «Молитву девы», а в четыре шла берегом на мельницу пить молоко, и по воде косо влачилась за нею розовая тень. От этой барышни исходил душный запах тубероз. Бегал длинноногий учитель реального училища, безумно размахивая сачком для ловли бабочек, качался над землею хромой мужик, и казалось, что он обладает невероятной способностью показывать себя одновременно в разных местах. Ходили пестро одетые цыганки и, предлагая всем узнать будущее, воровали белье, куриц, детские игрушки.

Пониже дачи Варавки жил доктор Любомудров; в праздники, тотчас же после обеда, он усаживался к столу с учителем, опекуном Алины и толстой женой своей. Все трое мужчин вели себя тихо, а докторша возглашала резким голосом:

— Говорю: черви! — А я утверждаю — бубны! — Стою на своем: две черви!

Изредка был слышен нерешительный голос доктора, он говорил всегда что-нибудь серьезное:

— Только англичане достигли идеала политической свободы...

Или также советовал:

— Ешьте больше овощей и особенно — содержащих селитру, каковы: лук, чеснок, хрен, редька... Полезна и свекла, хотя она селитры не содержит. Вы сказали — две трефы?

По праздникам из села являлись стаи мальчишек; рассаживаясь по берегу реки, точно странные птицы, они молча, сосредоточенно наблюдали беспечную жизнь дачников. Одного из них, быстроглазого, с головою в мелких колечках черных волос, звали Лаврушка, он был сирота и, по рассказам прислуги, замечателен тем, что пожирал птенцов птиц живыми.

Знакомо и пронзительно ораторствовал Варавка, насыщая терпеливый воздух парадоксами. Приезжала мать, иногда вместе с Елизаветой Спивак. Варавка откровенно и напористо ухаживал за женою музыканта, она любезно улыбалась ему, но ее дружба с матерью всё возрастала, как видел Клим.

Варавка жаловался ему:

— Любопытна слишком. Ей всё надо знать — судоходство, лесоводство. Книжница. Книги портят женщин. Зимою я познакомился с водевильной актрисой, а она вдруг спрашивает: насколько зависим Ибсен от Ницше? Да чёрт их знает, кто от кого зависит! Я — от дураков. Мне на днях губернатор сказал, что я компрометирую себя, давая работу политическим поднадзорным. Я говорю ему: «Превосходительство! Они относятся к работе честно!» А он: «Разве, говорит, у нас, в России, нет уже честных людей неопороченных?»

У Варавки болели ноги, он стал ходить, опираясь на палку. Кривыми ногами шагал по песку Иван Дронов, нелюдимо посматривая на взрослых и детей, переругиваясь с горничными и кухарками. Варавка возложил на него трудную обязанность выслушивать бесконечные капризы и требования дачников. Дронов выслу-

шивал и каждый вечер являлся к Варавке с докладом. Выслушав угрюмое перечисление жалоб и претензий, дачевладелец спрашивал, мясисто усмехаясь в бороду:

— Ну, что ж, ты обещал им сделать всё это?

— Обещал.

— Тем они и будут сыты. Ты помни, что всё это — народ недолговечный, пройдет еще недель пять, шесть, и они — исчезнут. Обещать можно всё, но проживут и без реформ!

Варавка раскатисто хохотал, потрясая животом, а Дронов шел на мельницу и там до полуночи пил пиво с веселыми бабами. Он пытался поговорить с Климом, но Самгин встретил эти попытки сухо.

Сквозь всё это мутное и угнетающее скукой раза два мелькнул Иноков с голодным, суровым лицом. Он целый вечер грубо и сердито рассказывал о монастырях, ругал монахов глухим голосом:

— Католики дали Кампанеллу, Менделя, вообще множество ученых, а наши монахи чугунные невежды, даже сносной истории русских сект не могут написать.

И спрашивал Спивак:

— А почему секты еврействующих есть только у нас да у мадьяр?

— Оригинальный парень,— сказала о нем Спивак, а Варавка предложил ему работу в конторе, но Иноков, не поблагодарив, отказался.

— Нет, мне учиться надо.

— А — чему вы учитесь?

Иноков нелепо и без улыбки ответил:

— Прохождению жизни.

И в тот же вечер исчез, точно камень, упавший в реку.

Клим Самгин никак не мог понять свое отношение к Спивак, и это злило его. Порою ему казалось, что она осложняет смуту в нем, усиливает его болезненное состояние. Его и тянуло к ней и отталкивало от нее. В глубине ее кошачьих глаз, в центре зрачка, он подметил холодноватую, светлую иголочку, она колола его как будто насмешливо, а может быть, и зло. Он был уверен, что эта женщина с распухшим животом чего-то ищет в нем, хочет от него.

— У вас — критический ум,— говорила она ласково.— Вы человек начитанный, почему бы вам не попробовать писать, а? Сначала — рецензии о книгах, а затем, набив руку... Кстати, ваш отчим с нового года будет издавать газету...

«Зачем ей нужно, чтоб я писал рецензии?» — спрашивал себя Клим, но эта мысль улыбалась ему.

В те дни, когда неодолимая скука выталкивала его с дачи в город, он вечерами сидел во флигеле, слушая музыку Спивака, о котором Варавка сказал:

«Человек для водевиля».

Медленные пальцы маленького музыканта своеобразно рассказывали о трагических волнениях гениальной души Бетховена, о молитвах Баха, изумительной красоте печали Моцарта. Елизавета Спивак сосредоточенно шила игрушечные распашонки и тугие свивальники для будущего человека. Опьяняемый музыкой, Клим смотрел на нее, но не мог заглушить в себе бесплодных мудрствований о том, что было бы, если б всё окружающее было не таким, каково оно есть?

Иногда его жарко охватывало желание видеть себя на месте Спивака, а на месте жены его — Лидию. Могла бы остаться и Елизавета, не будь она беременной и потеряй возмутительную привычку допрашивать.

Иногда она ставила вопросы как будто в тоне упрека. Первый раз Клим почувствовал это, когда она спросила:

— Вы не переписываетесь с братом?

— Почему вы знаете?

— Я — спрашиваю.

— Но так, как бы уже знаете, что не переписываюсь.

— А — почему?

Клим сказал:

— Мы — очень разные. Интересы наши тоже различны.

Взглянув на него с улыбкой, в которой он поймал нечто нелестное для себя, Спивак спросила:

— А каковы ваши интересы?

Клима задела ее улыбка; желая скрыть это, он ответил несколько высокопарно:

— Я полагаю, что прежде всего необходимо относиться честно к самому себе, нужно со всей возможной точностью установить границы своей личности. Только тогда возможно понять истинные запросы моего *я*.

— Похвальное намерение,— сказала Спивак, перекусив нитку.— Может быть, оно потребует от вас и не всей вашей жизни, но все-таки очень много времени.

Подумав, Клим спросил:

— Это — ирония?

— Зачем? Нет.

Он ей не поверил, обиделся и ушел, а на дворе, идя к себе, сообразил, что обижаться было глупо и что он ведет себя с нею нелепо.

Спорить с нею Клим не решался, да и вообще он избегал споров. Ее гибкий ум и разносторонняя начитанность удивляли и озадачивали Клима. Он видел, что общий строй ее мысли сроден «кутузовщине», и в то же время всё, что говорила она, казалось ему словами чужого человека, наблюдающего явления жизни издалека, со стороны. За этой отчужденностью мнений ее Самгин подозревал какие-то твердые решения, но в ней не чувствовалось ничего, что напоминало бы о хладнокровном любопытстве Туробоева. В конце концов слушать ее было не бесполезно, однако ж Самгин радовался, когда приходил Иноков и отвлекал на себя половину ее внимания.

Одетый в подобие кадетской курточки, сшитой из мешочного полотна, Иноков молча здоровался и садился почему-то всегда неуютно, выдвигая стул на средину комнаты. Сидел, слушая музыку, и строгим взглядом осматривал вещи, как бы считая их. Когда он поднимал руку, чтоб поправить плохо причесанные волосы, Клим читал на боку его курточки полусмытое синее клеймо: «Первый сорт. Паровая мельница Я. Башкирова».

Покуда Спивак играл, Иноков не курил, но лишь только музыкант, оторвав усталые руки от клавиатуры, прятал кисти их под мышки себе, Иноков закуривал дешевую папиросу и спрашивал глуховатым, бескрасочным голосом:

— А чем отличается соната от сюиты?

Неприязненно косясь в его сторону, Спивак сказал:

— Вам это не нужно знать, вы не музыкант.

Елизавета, отложив шитье, села к роялю и, объяснив архитектоническое различие сонаты и сюиты, начала допрашивать Инокова о его «прохождении жизни». Он рассказывал о себе охотно, подробно и с недоумением, как о знакомом своем, которого он плохо понимает. Климу казалось, что, говоря, Иноков спрашивает:

«Так ли?»

Пред Самгиным вставала картина бессмысленного и тревожного метания из стороны в сторону. Казалось, что Иноков катается по земле, точно орех по тарелке, которую держит и трясет чья-то нетерпеливая рука.

Этот парень всё более не нравился Самгину, весь не нравился. Можно было думать, что он рисуется своей грубостью и желает быть неприятным. Каждый раз, когда он начинал рассказывать о своей анекдотической жизни, Клим, послушав его две-три минуты, демонстративно уходил. Лидия написала отцу, что она из Крыма проедет в Москву и что снова решила поступить в театральную школу. А во втором, коротеньком письме Климу она сообщила, что Алина, порвав с Лютовым, выходит замуж за Туробоева.

«Этого надо было ожидать»,— равнодушно подумал Клим и вслед за тем усмехнулся, представив, как, должно быть, истерически кричит и кривляется Лютов.

ГЛАВА 5

Болезнь и лень, воспитанная ею, помешала Самгину своевременно хлопотать о переводе в Московский университет, а затем он решил отдохнуть, не учиться в этом году. Но дома жить было слишком скучно, он все-таки переехал в Москву и в конце сентября, ветреным днем, шагал по переулкам, отыскивая квартиру Лидии.

Листья, сорванные ветром, мелькали в воздухе, как летучие мыши, сыпался мелкий дождь, с крыш падали тяжелые капли, барабаня по шёлку зонтика, сердито ворчала вода в проржавевших водосточных трубах.

Мокрые, хмуренькие домики смотрели на Клима заплаканными окнами. Он подумал, что в таких домах удобно жить фальшивомонетчикам, приемщикам краденого и несчастным людям. Среди этих домов забыто торчали маленькие церковки.

«Не храмы, а конурки»,— подумал Клим, и это очень понравилось ему.

Лидия жила во дворе одного из таких домов, во втором этаже флигеля. Стены его были лишены украшений, окна без наличников, штукатурка выкрошилась, флигель имел вид избитого, ограбленного.

Лидия встретила Клима оживленно, с радостью, лицо ее было взволновано, уши красные, глаза смеялись, она казалась выпившей.

— Самгин, земляк мой и друг детства! — вскричала она, вводя Клима в пустоватую комнату с крашеным и покосившимся к окнам полом. Из дыма поднялся небольшой человек, торопливо схватил руку Самгина и, дергая ее в разные стороны, тихо, виновато сказал:

— Семион Диомидов.

Остроносая девица с пышной, трагически растрепанной прической назвала себя:

— Варвара Антипова.

— Петр Маракуев,— сказал кудрявый студент с лицом певца и плясуна из трактирного хора.

От синих изразцов печки отделился, прихрамывая, лысый человек в длинной, ниже колен, чесунчовой рубахе, подпоясанной толстым шнурком с кистями, и сказал, всхрапнув, всасывая слова:

— Дядя Хрисанф. Варя — распорядись! Честь и место!

Взял Клима под руку и бережно, точно больного, усадил его на диван.

Через пять минут Самгин имел право думать, что дядя Хрисанф давно, нетерпеливо ожидал его и страшно обрадован тем, что Клим, наконец, явился. Круглое, красное, точно у новорожденного, лицо дяди сияло восторженными улыбками. Рождаясь на пухлых губах, улыбки эти расширяли ноздри тупого носа, вздували щеки и, прикрыв младенчески маленькие глазки неуловимого цвета, блестели на лбу и на отшлифован-

ной розовой коже черепа. Это было странно видеть, казалось, что всё лицо дяди Хрисанфа, скользя вверх, может очутиться на затылке, а на месте лица останется слепой, круглый кусок красной кожи.

— А мы тут разбирали «Тартюфа»,— говорил дядя Хрисанф, усевшись рядом с Климом и шаркая по полу ногами в цветных туфлях.

Две лампы освещали комнату; одна стояла на подзеркальнике, в простенке между запотевших серым потом окон, другая спускалась на цепи с потолка, под нею, в позе удавленника, стоял Диомидов, опустив руки вдоль тела, склонив голову к плечу; стоял и пристально, смущающим взглядом смотрел на Клима, оглушаемого поющей, восторженной речью дяди Хрисанфа:

— Обожаю Москву! Горжусь, что я — москвич! Благоговейно — да-с!— хожу по одним улицам со знаменитейшими артистами и учеными нашими! Счастлив снять шапку пред Васильем Осиповичем Ключевским, Толстого, Льва — Льва-с!— дважды встречал. А когда Мария Ермолова на репетицию едет, так я на колени среди улицы встать готов,— сердечное слово!

В соседней комнате суетились — Лидия в красной блузе и черной юбке и Варвара в темно-зеленом платье. Смеялся невидимый студент Маракуев. Лидия казалась ниже ростом и более, чем всегда, была похожа на цыганку. Она как будто пополнела, и ее тоненькая фигурка утратила бесплотность. Это беспокоило Клима; невнимательно слушая восторженные излияния дяди Хрисанфа, он исподлобья, незаметно рассматривал Диомидова, бесшумно шагавшего из угла в угол комнаты.

С первого взгляда лицо Диомидова удивило Клима своею праздничной красотой, но скоро он подумал, что ангельской именуют вот такую приторную красоту. Освещенное девичьими глазами сапфирового цвета круглое и мягкое лицо казалось раскрашенным искусственно; излишне ярки были пухлые губы, слишком велики и густы золотистые брови, в общем это была неподвижная маска фарфоровой куклы. Светло-русые кудрявые волосы, спускаясь с головы до плеч, внушали смешное желание взглянуть, нет ли за спиною Диоми-

дова белых крыльев. Шагая по комнате, он часто и осторожно закидывал обеими руками пряди волос за уши и, сжимая виски, как будто щупал голову: тут ли она? Обнажались маленькие уши изящной формы.

Среднего роста, очень стройный, Диомидов был одет в черную блузу, подпоясан широким ремнем; на ногах какие-то беззвучные, хорошо вычищенные сапоги. Клим заметил, что раза два-три этот парень, взглянув на него, каждый раз прикусывал губу, точно не решаясь спросить о чем-то.

— Николая Николаевича Златовратского имею честь лично знать,— восторженно изъяснялся дядя Хрисанф.

Когда Лидия позвала пить чай, он и там еще долго рассказывал о Москве, богатой знаменитыми людями.

— Здесь и мозг России и широкое сердце ее,— покрикивал он, указывая рукой в окно, к стеклам которого плотно прижалась сырая темнота осеннего вечера.

Остроносая Варвара сидела, гордо подняв голову, ее зеленоватые глаза улыбались студенту Маракуеву, который нашептывал ей в ухо и смешливо надувал щеки. Лидия, разливая чай, хмурилась.

«Эти славословия не могут нравиться ей»,— подумал Клим, наблюдая за Диомидовым, согнувшимся над стаканом. Дядя Хрисанф устало, жестом кота, стер пот с лица, с лысины, вытер влажную ладонь о свое плечо и спросил Клима:

— А вам больше по душе Петербург?

Климу послышалось, что вопрос звучит иронически. Из вежливости он не хотел расходиться с москвичом в его оценке старого города, но, прежде чем собрался утешить дядю Хрисанфа, Диомидов, не поднимая головы, сказал уверенно и громко:

— В Петербурге — сон тяжелее: в сырых местах сон всегда тяжел. И сновидения в Петербурге — особенные, такого страшного, как там, в Орле — не приснится.

Взглянув на Клима, он прибавил:

— Я — орловский.

Лидия смотрела на Диомидова ожидающим взглядом, но он снова согнулся, спрятал лицо.

Клим начал говорить о Москве в тон дяде Хрисанфу: с Поклонной горы она кажется хаотической грудой цветистого мусора, сметенного со всей России, но золотые главы многочисленных церквей ее красноречиво говорят, что это не мусор, а ценнейшая руда.

— Прекрасно сказано!— одобрил дядя Хрисанф и весь осветился счастливой улыбкой.

— Трогательны эти маленькие церковки, затерянные среди людских домов божьи конурки...

— Сердечное слово! Метко!— вскричал дядя Хрисанф, подпрыгнув на стуле.

И снова вскипел восторгом.

— Именно: конурки русского, московского, народнейшего бога! Замечательный бог у нас,— простота! Не в ризе, не в мантии, а — в рубахе-с, да, да! Бог наш, как народ наш,— загадка всему миру!

— Вы — верующий? — тихо спросил Диомидов Клима, но Варвара зашипела на него.

Дядя Хрисанф говорил, размахивая рукою, стараясь раскрыть как можно шире маленькие свои глаза, но достигал лишь того, что дрожали седые брови, а глаза блестели тускло, как две оловянные пуговицы, застегнутые в красных петлях.

Точно уколотый или внезапно вспомнив нечто тревожное, Диомидов соскочил со стула и начал молча совать всем руку свою. Клим нашел, что Лидия держала эту слишком белую руку в своей на несколько секунд больше, чем следует. Студент Маракуев тоже простился; он еще в комнате молодецки надел фуражку на затылок.

— Хочешь посмотреть, как я устроилась? — ласково предложила Лидия.

В узкой и длинной комнате, занимая две трети ее ширины, стояла тяжелая кровать, ее высокое, резное изголовье и нагромождение пышных подушек заставили Клима подумать:

«Это для старухи».

Пузатый комод и на нем трюмо в форме лиры, три неуклюжих стула, старенькое на низких ножках кресло у стола, под окном,— вот и вся обстановка комнаты. Оклеенные белыми обоями стены холодны и голы, только

против кровати — темный квадрат небольшой фотографии: гладкое, как пустота, море, корма баркаса и на ней, обнявшись, стоят Лидия с Алиной.

— Аскетично, — сказал Клим, вспомнив уютное гнездо Нехаевой.

— Не люблю ничего лишнего.

Лидия села в кресло, закинув ногу на ногу, сложив руки на груди,и как-то неловко тотчас же начала рассказывать о поездке по Волге, Кавказу, по морю из Батума в Крым. Говорила она, как будто торопясь дать отчет о своих впечатлениях или вспоминая прочитанное ею неинтересное описание пароходов, городов, дорог. И лишь изредка вставляла несколько слов, которые Клим принимал как ее слова.

— Если б ты видел, какой это ужас, когда миллионы селедок идут сплошною, слепою массой метать икру! Это до того глупо, что даже страшно.

О Кавказе она сказала:

— Адский пейзаж с черненькими фигурами недожаренных грешников. Железные горы, а на них жалкая трава, как зеленая ржавчина. Знаешь, я всё более не люблю природу,— заключила она свой отчет, улыбаясь и подчеркнув слово «природа» брезгливой гримасой.— Эти горы, воды, рыбы — всё это удивительно тяжело и глупо. И — заставляет жалеть людей. А я — не умею жалеть.

— Ты — старенькая и мудрая,— пошутил Клим, чувствуя, что ему приятно сходство ее мнений с его бесплодными мудрствованиями.

За окном шелестел дождь, гладя стекла. Вспыхнул газовый фонарь, бескровный огонь его осветил мелкий, серый бисер дождевых капель, Лидия замолчала, скрестив руки на груди, рассеянно глядя в окно. Клим спросил: что такое дядя Хрисанф?

— Прежде всего — очень добрый человек. Эдак, знаешь, неисчерпаемо добрый. Неизлечимо, сказала бы я.

И, улыбаясь темными глазами, она заговорила настолько оживленно, тепло, что Клим посмотрел на нее с удивлением: как будто это не она, несколько минут тому назад, сухо отчитывалась.

— Я верю, что он искренно любит Москву, народ и людей, о которых говорит. Впрочем, людей, которых он не любит,— нет на земле. Такого человека я еще не встречала. Он — несносен, он обладает исключительным уменьем говорить пошлости с восторгом, но все-таки... Можно завидовать человеку, который так... празднует жизнь.

Она рассказала, что в юности дядя Хрисанф был политически скомпрометирован, это поссорило его с отцом, богатым помещиком, затем он был корректором, суфлером, а после смерти отца затеял антрепризу в провинции. Разорился и даже сидел в тюрьме за долги. Потом режиссировал в частных театрах, женился на богатой вдове, она умерла, оставив все имущество Варваре, ее дочери. Теперь дядя Хрисанф живет с падчерицей, преподавая в частной театральной школе декламацию.

— А эта — Варвара?

— Варвара — талантлива,— не сразу ответила Лидия, и глаза ее вопросительно остановились на лице Клима.

— Ты что как смотришь? — смущенно спросил он.

— Я думаю: ты — талантлив?

— Не знаю,— скромно ответил Клим.

— Какой-то талант у тебя должен быть,— сказала она, задумчиво разглядывая его.

Пользуясь ее молчанием, Клим спросил о главном, что интересовало его,— о Диомидове.

— Странный, не правда ли? — воскликнула Лидия, снова оживляясь. Оказалось, что Диомидов — сирота, подкидыш; до девяти лет он воспитывался старой девой, сестрой учителя истории, потом она умерла, учитель спился и тоже через два года помер, а Диомидова взял в ученики себе резчик по дереву, работавший иконостасы. Проработав у него пять лет, Диомидов перешел к его брату, бутафору, холостяку и пьянице, с ним и живет.

— Хрисанф толкает его на сцену, но я не могу представить себе человека, менее театрального, чем Семен. О, какой это чистый юноша!..

— И влюблен в тебя,— заметил Клим, улыбаясь.

— И влюблен в меня,— автоматически повторила Лидия.

— А — ты?

Она не ответила, но Клим видел, что смуглое лицо ее озабоченно потемнело. Подобрав ноги в кресло, она обняла себя за плечи, сжалась в маленький комок.

— Странных людей вижу я,— сказала она, вздохнув.— Очень странных. И вообще как это трудно, понимать людей!

Клим согласно кивнул головою. Когда он не мог сразу составить себе мнения о человеке, он чувствовал этого человека опасным для себя. Таких, опасных, людей становилось всё больше, и среди них Лидия стояла ближе всех к нему. Эту близость он сейчас ощутил особенно ясно, и вдруг ему захотелось сказать ей о себе всё, не утаив ни одной мысли, сказать еще раз, что он ее любит, но не понимает и чего-то боится в ней. Встревоженный этим желанием, он встал и простился с нею.

— Приходи скорей,— сказала она.— Завтра же приходи, завтра — праздник.

На улице всё еще сыпались мелкие крупинки дождя, по-осеннему упрямого. Скучно булькала вода в ручьях; дома, тесно прижавшиеся друг к другу, как будто боялись, размокнув, растаять, даже огонь фонарей казался жидким. Клим нанял черного сердитого извозчика, мокрая лошадь, покачивая головою, застучала подковами по булыжнику. Клим съежился, теснимый холодной пустотой, досадными думами о людях, которые умеют восторженно говорить необыкновенные глупости, и о себе, человеке, который всё еще не может создать свою систему фраз.

«Человек — это система фраз, не более того. Конурки бога,— я глупо сказал. Глупо. Но еще глупее московский бог в рубахе. И — почему сны в Орле приятнее снов в Петербурге? Ясно, что все эти пошлости необходимы людям лишь для того, чтоб каждый мог отличить себя от других. В сущности — это мошенничество».

Несколько вечеров у дяди Хрисанфа вполне убедили Самгина в том, что Лидия живет среди людей воистину странных. Каждый раз он видел там Диомидова, и писаный красавец этот возбуждал в нем сложное чувство

любопытства, недоумения, нерешительной ревности. Студент Маракуев относился к Диомидову враждебно, Варвара — снисходительно и покровительственно, а отношение Лидии было неровно и капризно. Иногда в течение целого вечера она не замечала его, разговаривая с Макаровым или высмеивая народолюбие Маракуева, а в другой раз весь вечер вполголоса говорила только с ним или слушала его негромко журчавшую речь. Диомидов всегда говорил улыбаясь и так медленно, как будто слова доставались ему с трудом.

— Есть люди домашние и дикие, я — дикий! —говорил он виновато.— Домашних людей я понимаю, но мне с ними трудно. Всё кажется, что кто-нибудь подойдет ко мне и скажет: иди со мной! Я и пойду, неизвестно куда.

— Это я тебя, я поведу! — кричал дядя Хрисанф.— Ты у меня будешь первоклассным артистом. Ты покажешь такого Ромео, такого Гамлета...

Диомидов, приглаживая волосы, недоверчиво ухмылялся, и недоверие его было так ясно, что Клим подумал:

«Лидия — права: этот человек — не может быть актером, он слишком глуп, для того чтоб фальшивить».

Но однажды дядя Хрисанф заставил Диомидова и падчерицу свою прочитать несколько сцен из «Ромео и Юлии». Клим, равнодушный к театру, был поражен величавой силой, с которой светловолосый юноша произносил слова любви и страсти. У него оказался мягкий тенор, хотя и не богатый оттенками, но звучный. Самгин, слушая красивые слова Ромео, спрашивал: почему этот человек притворяется скромненьким, называет себя диким? Почему Лидия скрывала, что он талантлив? Вот она смотрит на него, расширив глаза, сквозь смуглую кожу ее щек проступил яркий румянец, и пальцы руки ее, лежащей на колене, дрожат.

Дядя Хрисанф, сидя верхом на стуле, подняв руку, верхнюю губу и брови, напрягая толстые икры коротеньких ног, подскакивал, подкидывал тучный свой корпус, голое лицо его сияло восхищением, он сладостно мигал.

— Отлично! — закричал он, трижды хлопнув ладонями.— Превосходно, но — не так! Это говорил не

итальянец, а — мордвин. Это — размышление, а не страсть, покаяние, а не любовь! Любовь требует жеста. Где у тебя жест? У тебя лицо не живет! У тебя вся душа только в глазах, этого мало! Не вся публика смотрит на сцену в бинокль...

Лидия отошла к окну и, рисуя пальцем на запотевшем стекле, сказала глуховато:

— Мне тоже кажется, что это слишком... мягко.

— Нисколько не зажигает,— подтвердила Варвара, окинув Диомидова сердитым взглядом зеленоватых глаз. И только тут Клим вспомнил, что она подавала Диомидову реплики Джульетты бесцветным голосом и что, когда она говорит, у нее некрасиво вытягивается шея.

Диомидов опустил голову, сунул за ремень большие пальцы рук и, похожий на букву «ф», сказал виновато:

— Не верю я в театр.

— Потому что ни чёрта не знаешь,— неистово закричал дядя Хрисанф.— Ты почитай книгу «Политическая роль французского театра», этого... как его? Боборыкина!

Наскакивая на Диомидова, он затолкал его в угол, к печке, и там убеждал:

— Тебя Евангелием по башке стукнуть надо, притчей о талантах!

— В притчу эту я тоже не верю,— услышал Клим тихие слова.

«Конечно, он глуп»,— решил Клим, а Лидия засмеялась, и он принял смех ее как подтверждение своей оценки.

Позднее, сидя у нее в комнате, он сказал:

— Помнишь, отец твой говорил, что все люди привязаны каждый на свою веревочку и веревочка сильнее их?

— Он сам — на веревочке, — равнодушно отозвалась Лидия, не взглянув на него.

— Если ты о Семене, так это — неверно,— продолжала она.— Он — свободен. В нем есть что-то... крылатое.

Говорила она неохотно, как жена, которой скучно беседовать с мужем. В этот вечер она казалась старше

лет на пять. Окутанная шалью, туго обтянувшей ее плечи, зябко скорчившись в кресле, она, чувствовал Клим, была где-то далеко от него. Но это не мешало ему думать, что вот девушка некрасива, чужда, а все-таки хочется подойти к ней, положить голову на колени ее и еще раз испытать то необыкновенное, что он уже испытал однажды. В его памяти звучали слова Ромео и крик дяди Хрисанфа:

«Любовь требует жеста!»

Но он не нашел в себе решимости на жест, подавленно простился с нею и ушел, пытаясь в десятый раз догадаться: почему его тянет именно к этой? Почему?

«Выдумываю я ее. Ведь не может же она открыть мне двери в какой-то сказочный рай!»

И все-таки чувствовал, что где-то глубоко в нем застыло убеждение, что Лидия создана для особенной жизни и любви. Разбираться в чувстве к ней очень мешал широкий поток впечатлений,— поток, в котором Самгин кружился безвольно и всё быстрей.

По воскресеньям, вечерами, у дяди Хрисанфа собирались его приятели, люди солидного возраста и одинакового настроения; все они были обижены, и каждый из них приносил слухи и факты, еще более углублявшие их обиды; все они любили выпить и поесть, а дядя Хрисанф обладал огромной кухаркой Анфимьевной, которая пекла изумительные кулебяки. Среди этих людей было два актера, убежденных, что они сыграли все роли свои так, как никто никогда не играл и уже никто не сыграет.

Один из них был важный: седовласый, вихрастый, с отвисшими щеками и всё презирающим взглядом строго выпученных мутноватых глаз человека, утомленного славой. Он великолепно носил бархатную визитку, мягкие замшевые ботинки; под его подбородком бульдога завязан пышным бантом голубой галстух; страдая подагрой, он ходил так осторожно, как будто и землю презирал. Пил и ел он много, говорил мало, и, чье бы имя ни называли при нем, он, отмахиваясь тяжелой синеватой кистью руки, возглашал барским, рокочущим басом:

— Я его знаю.

И больше ничего не говорил, очевидно, полагая, что в трех его словах заключена достаточно убийственная оценка человека. Он был англоманом, может быть, потому, что пил только «английскую горькую»,— пил, крепко зажмурив глаза и запрокинув голову так, как будто хотел, чтобы водка проникла в затылок ему.

Другой актер был не важный: лысенький, с безгубым ртом, в пенсне на носу, загнутом, как у ястреба; уши у него были заячьи, большие и чуткие. В сереньком пиджачке, в серых брючках на тонких ногах с острыми коленями, он непоседливо суетился, рассказывал анекдоты, водку пил сладострастно, закусывал только ржаным хлебом и, ехидно кривя рот, дополнял оценки важного актера тоже тремя словами:

— Он был алкоголик.

Уверял, что пишет «Мемуары ночной птицы», и объяснял:

— Ночная птица — это я, актер. Актеры и женщины живут только ночью. Я до самозабвения люблю всё историческое.

И, подтверждая свою любовь к истории, он неплохо рассказывал, как талантливейший Андреев-Бурлак пропил перед спектаклем костюм, в котором он должен был играть Иудушку Головлева, как пил Шумский, как Рина Сыроварова в пьяном виде не могла понять, который из трех мужчин ее муж. Половину этого рассказа, как и большинство других, он сообщал шёпотом, захлебываясь словами и дрыгая левой ногой. Дрожь этой ноги он ценил довольно высоко:

— Такая судорога была у Наполеона Бонапарте в лучшие моменты его жизни.

Клим Самгин привык измерять людей мерою, наиболее понятной ему, и эти два актера окрашивали для него в свой цвет всех друзей дяди Хрисанфа.

Человеком, сыгравшим свою роль, он видел известного писателя, большебородого, коренастого старика с маленькими глазами. Создавший себе в семидесятых годах славу идеализацией крестьянства, этот литератор, хотя и не ярко талантливый, возбуждал искреннейший восторг читателей лиризмом своей любви и веры в народ. Славу свою он пережил, а любовь ос-

талась всё еще живой, хотя и огорченной тем, что читатель уже не ценил, не воспринимал ее. Обиженный этим, старик ворчливо поругивал молодых литераторов, упрекал их в измене народу.

— Всё — Лейкины, для развлечения пишут. Еще Короленко — туда-сюда, но — тоже! О тараканах написал. В городе таракан — пустяк, ты его в деревне понаблюдай да опиши. Вот — Чехова хвалят, а он фокусник бездушный, серыми чернилами мажет, читаешь — ничего не видно. Какие-то всё недоростки.

Его особенно, до злого блеска в глазах, раздражали марксисты. Дергая себя за бороду, он угрюмо говорил:

— Недавно один дурак в лицо мне брякнул: ваша ставка на народ — бита, народа — нет, есть только классы. Юрист, второго курса. Еврей. Классы! Забыл, как недавно сородичей его классически громили...

Довольный незатейливым и мрачным каламбуром, он так ухмыльнулся, что борода его отодвинулась к ушам, обнажив добродушный, тупенький нос.

Двигался он тяжело, как мужик за сохою, и вообще в его фигуре, жестах, словах было много мужицкого. Вспомнив толстовца, нарядившегося мужиком, Самгин сказал Макарову:

— Искусно он играет.

Но Макаров поморщился и возразил:

— Не нахожу, что играет. Может быть, когда-то он усвоил все эти манеры, подчиняясь моде, но теперь это подлинное его. Заметь — он порою говорит наивно, неумно, а все-таки над ним не посмеешься, нет! Хорош старик! Личность!

Выпив водки, старый писатель любил рассказывать о прошлом, о людях, с которыми он начал работать. Молодежь слышала имена литераторов, незнакомых ей, и недоумевала, переглядывалась:

— Наумов, Бажин, Засодимский, Левитов...

— Ты читал таких? — спросил Клим Макарова.

— Нет. Из двух Успенских — Глеба читал, а что был еще Николай — впервые слышу. Глеб — сочинитель истерический. Впрочем, я плохо понимаю беллетристов, романистов и вообще — истов. Неистов я,— усмехнулся он, но сейчас же хмуро сказал:

— Боюсь, что они Лидию в политику загонят...

Макаров бывал у Лидии часто, но сидел недолго; с нею он говорил ворчливым тоном старшего брата, с Варварой — небрежно и даже порою глумливо, Маракуева и Пояркова называл «хористы», а дядю Хрисанфа — «угодник московский». Всё это было приятно Климу, он уже не вспоминал Макарова на террасе дачи, босым, усталым и проповедующим наивности.

Был еще писатель, автор пресных рассказов о жизни мелких людей, страдающих от маленьких несчастий. Макаров называл эти рассказы «корреспонденциями Николаю Чудотворцу». Сам писатель тоже небольшого роста, плотненький, с дурной кожей на лице, с черноватой негустой бородкой и недобрыми глазами. Чтоб смягчить их жесткий взгляд, он неопределенно и насильственно улыбался, эта улыбка, сморщивая темненькое лицо, старила его. Трезвый, он говорил мало, осторожно, с большим вниманием рассматривал синеватые ногти свои и сухо покашливал в рукав пиджака, а выпив, произносил, почти всегда невпопад, многозначительные фразы:

— «Я — раб, я — царь, я — червь, я — бог!» Субстанция-то одна, что у червя, что у Гёте.

Сочинял поговорки и тоже всовывал их в беседу неожиданно и неуместно:

— Гоголи-то Гоголи, да ведь их много ли?

Звали его Никодим Иванович, и однажды Клим слышал, что он сказал Диомидову, загадочно усмехаясь:

— Подождем, поглядим, что нам скажет Никодим.

Сказав что-нибудь в народном и бытовом тоне, он кашлял в рукав особенно длительно и раздумчиво. А минут через пять говорил иначе и как бы мысленно прощупывая прочность слов.

— Внутри себя — всё не такое, как мы видим, это еще греки знали. Народ оказался не таким, как его видело поколение семидесятых годов.

Он вообще вел себя загадочно и рассеянно, позволяя Самгину думать, что эта рассеянность — искусственна. Нередко он обрывал речь свою среди фразы и, вынув из бокового кармана темненького пиджачка маленъ-

кую книжку в коже, прятал ее под стол, на колено свое и там что-то записывал тонким карандашом.

Этим создавалось впечатление, что Никодим Иванович всегда живет в состоянии неугомонного творчества, и это вызывало у Диомидова неприязненное отношение к писателю.

— Опять записывает, видите? — несколько пугливо и тихо говорил он Лидии.

Ел Никодим Иванович много, некрасиво и, должно быть, зная это, старался есть незаметно, глотал пищу быстро, не разжевывая ее. А желудок у него был плохой, писатель страдал икотой; наглотавшись, он сконфуженно мигал и прикрывал рот ладонью, затем, сунув нос в рукав, покашливая, отходил к окну, становился спиною ко всем и тайно потирал живот.

В одну из таких минут веселый студент Маракуев, перемигнувшись с Варварой, подошел к нему и спросил:

— Что это вы рассматриваете, Никодим Иваныч?

Писатель, поеживаясь, сказал:

— А вот видите: горит звезда, бесполезная мне и вам; вспыхнула она за десятки тысяч лет до нас и еще десятки тысяч лет будет бесплодно гореть, тогда как мы все не проживем и полустолетия...

Диомидов, выпивший водки, настоянной на сливах, и этим немножко возбужденный, заявил громко, протестующим тоном:

— Это вы из астрономии. А может быть, мир-то весь на этой звезде и держится, она — последняя скрепа его, а вы хотите... вы чего хотите?

— Это — не ваше дело, молодой человек,— обиженно сказал писатель.

Бывал у дяди Хрисанфа краснолысый, краснолицый профессор, автор программной статьи, написанной им лет десять тому назад; в статье этой он доказывал, что революция в России неосуществима, что нужно постепенное слияние всех оппозиционных сил страны в одну партию реформ, партия эта должна постепенно добиться от царя созыва земского собора. Но и за эту статью все-таки его устранили из университета; с той поры, имея чин «пострадавшего за свободу», он жил уже не пытаясь изменять течение истории, был самодоволен,

болтлив и, предпочитая всем напиткам красное вино, пил, как все на Руси, не соблюдая чувства меры.

Молодцеватый Маракуев и другой студент, отличный гитарист Поярков, рябой, длинный и чем-то похожий на дьячка, единодушно ухаживали за Варварой, она трагически выкатывала на них зеленоватые глаза и, встряхивая рыжеватыми волосами, старалась говорить низкими нотами, под Ермолову, но иногда, забываясь, говорила в нос, под Савину.

Макаров и Диомидов стойко держались около Лидии, они тоже не мешали друг другу. Макаров относился к помощнику бутафора даже любезно, хотя за глаза говорил о нем с досадой:

— Чёрт его знает — мистик он, что ли? Полуумный какой-то. А у Лидии, кажется, тоже есть уклон в эту сторону. Вообще — компания не из блестящих...

Поглощенный наблюдениями, Клим Самгин видел себя в стороне от всех, но это уже не очень обижало. Он чувствовал, что скромная роль зрителя полезна, приятна и внутренно сближает его с Лидией. Ее поведение на этих вечерах было поведением иностранки, которая, плохо понимая язык окружающих, напряженно слушает спутанные речи и, распутывая их, не имеет времени говорить сама. Темные глаза ее скользили по лицам людей, останавливаясь то на одном, то на другом, но всегда ненадолго и так, как будто она только сейчас заметила эти лица. Клим неоднократно пытался узнать: что она думает о людях? Но она, молча пожимая плечами, не отвечала и лишь однажды, когда Клим стал допрашивать навязчиво, сказала, как бы отталкивая его:

— Не знаю. Вероятно, я не умею думать.

Иногда являлся незаметный человечек Зуев, гладко причесанный, с маленьким личиком, в центре которого торчал раздавленный носик. И весь Зуев, плоский, в измятом костюме, казался раздавленным, изжеванным. Ему было лет сорок, но все звали его — Миша.

— Ну, что, Миша? — спрашивал его старый писатель.

Тихим голосом, как бы читая поминанье за упокой родственников, он отвечал:

— В Марьиной роще аресты. В Твери. В Нижнем Новгороде.

Иногда он называл фамилии арестованных, и этот перечень людей, взятых в плен, все слушали молча. Потом старый литератор угрюмо говорил:

— Врут. Всех не выловят. Эх, жаль, Натансона арестовали, замечательный организатор. Враздробь действуют, оттого и провалы часты. Вожди нужны, старики... Мир стариками держится, крестьянский мир.

— Необходим союз всех сил,— напоминал профессор.— Необходима сдержанность, последовательность...

Никодим Иванович соглашался с ним поговоркой:

— Торопясь, и лаптей не сплетешь.

— А все-таки, если — арестуют, значит — жив курилка! — утешал не важный актер.

Дядя Хрисанф, пылая, волнуясь и потея, неустанно бегал из комнаты в кухню, и не однажды случалось так, что в грустную минуту воспоминаний о людях, сидящих в тюрьмах, сосланных в Сибирь, раздавался его ликующий голос:

— Прошу к водочке!

Стараясь удержать на лицах выражение задумчивости и скорби, все шли в угол, к столу; там соблазнительно блестели бутылки разноцветных водок, вызывающе распластались тарелки с закусками. Важный актер, вздыхая, сознавался:

— Собственно говоря, мне вредно пить.

И, наливая водку, добавлял:

— Но я остаюсь верен английской горькой. И даже как-то не понимаю ничего, кроме...

Входила монументальная, точно из красной меди литая, Анфимьевна, внося на вытянутых руках полупудовую кулебяку, и, насладившись шумными выражениями общего восторга пред солидной красотою ее творчества, кланялась всем, прижимая руки к животу, благожелательно говоря:

— Кушайте на здоровье!

Дядя Хрисанф и Варвара переставляли бутылки с закусочного стола на обеденный, не важный актер восклицал:

— Карфаген надо разрушить!

Однажды он, проглотив первый кусок, расслабленно положил нож, вилку и, сжав виски свои ладонями, спросил с тихой радостью:

— Послушайте — что же это?

Все взглянули на него, предполагая, что он ожегся, глаза его увлажнились, но, качая головой, он сказал:

— Это же воистину пища богов! Господи — до чего талантлива русская женщина!

Он предложил пригласить Анфимьевну и выпить за ее здоровье. Это было принято и сделано единодушно.

Не забывая пасхальную ночь в Петербурге, Самгин пил осторожно и ждал самого интересного момента, когда хорошо поевшие и в меру выпившие люди, еще не успев охмелеть, говорили все сразу. Получалась метель слов, забавная путаница фраз:

— В Англии даже еврей может быть лордом!

— Чтоб зажарить тетерева вполне достойно качеству его мяса...

— Плехановщина! — кричал старый литератор, а студент Поярков упрямо, замогильным голосом возражал ему:

— Немецкие социал-демократы добились своего могущества легальными средствами...

Маракуев утверждал, что в рейхстаге две трети членов — попы, а дядя Хрисанф доказывал:

— Христос вошел в плоть русского народа!

— Оставим Христа Толстому!

— Н-никогда! Ни за что!

— Мольер — это уже предрассудок.

— Вы предпочитаете Сарду, да?

— Дуда!

— В театр теперь ходят по привычке, как в церковь, не веря, что надо ходить в театр.

— Это неверно, Диомидов!

— Вы, милый, ешьте как можно больше гречневой каши, и — пройдет!

— Мы все живем Христа ради...

— Браво! Это— печально, а — верно!

— А я утверждаю, что Европой будут править англичане...

— Он еще по делу Астырева привлекался...

— У Киселевского весь талант был в голосе, а в душе у него ни зерна не было.

— Передайте уксус...

— Нет, уж — извините! В Нижнем Новгороде, в селе Подновье, огурчики солят лучше, чем в Нежине!

— Турок — вон из Европы! Вон!

— Достоевского забыли!

— А Салтыков-Щедрин?

— У него в тот сезон была любовницей Короедова-Змиева — эдакая, знаете,— вслух не скажешь...

— Теперь Россией будет вертеть Витте...

— Монопольно. Вот и — живите!

Смеялись. Никодим Иванович внезапно начинал декламировать:

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,—
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия...

— А главное, держите ноги в тепле.

— Закипает Русь! Снова закипает...

— Студенчество.. Союзный совет...

— Нет, марксистам народников не сковырнуть...

— Уж я-то знаю, что такое искусство, я — бутафор...

В этот вихрь Клим тоже изредка бросал Варавкины словечки, и они исчезали бесследно, вместе со словами всех других людей.

Вставал профессор со стаканом красного вина; высоко подняв руку, он возглашал:

— Господа! Предлагаю наполнить стаканы! Выпьем... за Нее!

Все тоже вставали и молча пили, зная, что пьют за конституцию; профессор, осушив стакан, говорил:

— Да приидет!

Он почти всегда безошибочно избирал для своего тоста момент, когда зрелые люди тяжелели, когда им становилось грустно, а молодежь, наоборот, воспламенялась. Поярков виртуозно играл на гитаре, затем хором пели окаянные русские песни, от которых замирает сердце и всё в жизни кажется рыдающим.

Хорошо, самозабвенно пел высоким тенорком Диомидов. В нем обнаруживались качества, неожиданные и возбуждавшие симпатию Клима. Было ясно, что, говоря о своей робости пред домашними людями, юный бутафор притворялся. Однажды Маракуев возбужденно порицал молодого царя за то, что царь, выслушав доклад о студентах, отказавшихся принять присягу ему, сказал:

— Обойдусь и без них.

Почти все соглашались с тем, что это было сказано неумно. Только мягкосердечный дядя Хрисанф, смущенно втирая ладонью воздух в лысину свою, пытался оправдать нового вождя народа:

— Молодой. Задорен.

Не важный актер поддержал его, развернув свои познания в истории:

— Они все задорны в молодости, например — Генрих Четвертый...

Диомидов, с улыбкой, которая оставляла писаное лицо его неподвижным, сказал радостно и как бы с завистью:

— Очень смелый царь!

И с тою же улыбкой обратился к Маракуеву:

— Вот вы устраиваете какой-то всеобщий союз студентов, а он вот не боится вас. Он уж знает, что народ не любит студентов.

— Преподобное отроче Семионе! Не болтайте чепухи,— сердито оборвал его Маракуев. Варвара расхохоталась, засмеялся и Поярков, так металлически, как будто в горле его щелкали ножницы парикмахера.

А когда царь заявил, что все надежды на ограничение его власти — бессмысленны, даже дядя Хрисанф уныло сказал:

— Негодяев слушает, это — плохо!

Но бутафор, глядя на всех глазами взрослого на детей, одобрительно и упрямо повторил:

— Нет, он — честный. Он — храбрый, потому что — честный. Один против всех...

Маракуев, Поярков и товарищ их, еврей Прейс, закричали:

— Как — один? А — жандармы? Бюрократы?

— Это — прислуга! — сказал Диомидов.— Никто не спрашивает прислугу, как надо жить.

Его стали убеждать в три голоса, но он упрямо замолчал, опустив голову, глядя под стол.

Клим Самгин понимал, что Диомидов невежествен, но это лишь укрепляло его симпатию к юноше. Такого Лидия не могла любить. В лучшем случае она относится к нему великодушно, жалеет его, как приблудного котенка интересной породы. Он даже немножко завидовал стойкому упрямству Диомидова и его усмешливому взгляду на студентов. Их всё больше являлось в уютном, скрытом на дворе жилище дяди Хрисанфа. Они деловито заседали у Варвары в комнате, украшенной множеством фотографий и гравюр, изображавших знаменитых деятелей сцены; у нее были редкие портреты Гогарта, Ольриджа, Рашели, mademoiselle Марс, Тальма. Студенческие заседания очень тревожили Макарова и умиляли дядю Хрисанфа, который чувствовал себя участником назревающих великих событий. Он был непоколебимо уверен, что с воцарением Николая Второго великие события неизбежно последуют.

— Вот — увидите, увидите! — таинственно говорил он раздраженной молодежи и хитро застегивал пуговки глаз своих в красные петли век.— Он — всех обманет, дайте ему оглядеться! Вы на глаза его, на зеркало души, не обращаете внимания. Всмотритесь-ка в лицо-то!

И — шутил:

— Эх, Диомидов, если б тебе отрастить бородку да кудри подстричь,— вот и готов ты на роль самозванца. Вполне готов!

Клим Самгин был очень доволен тем, что решил не учиться в эту зиму. В университете было тревожно. Студенты освистали историка Ключевского, обидели и еще нескольких профессоров, полиция разгоняла сходки; будировало сорок два либеральных профессора, а восемьдесят два заявили себя сторонниками твердой власти. Варвара бегала по антикварам и букинистам, разыскивая портреты madame Ролан, и очень сожалела, что нет портрета Теруань де Мерикур.

Вообще жизнь принимала весьма беспокойный характер, и Клим Самгин готов был признать, что дядя Хрисанф прав в своих предчувствиях. Особенно крепко врезались в память Клима несколько фигур, встреченных им за эту зиму.

Однажды Самгин стоял в Кремле, разглядывая хаотическое нагромождение домов города, празднично освещенных солнцем зимнего полудня. Легкий мороз озорниковато пощипывал уши, колючее сверканье снежинок ослепляло глаза; крыши, заботливо окутанные толстыми слоями серебряного пуха, придавали городу вид уютный; можно было думать, что под этими крышами в светлом тепле дружно живут очень милые люди.

— Здравствуйте,— сказал Диомидов, взяв Клима за локоть.— Ужасный какой город,— продолжал он, вздохнув.— Еще зимой он приглядднее, а летом — вовсе невозможный. Идешь улицей, и всё кажется, что сзади на тебя лезет, падает тяжелое. А люди здесь — жесткие. И — хвастуны.

Он снова вздохнул, говоря:

— Не люблю, когда ахают — ах, Москва!

Разрумяненное морозом лицо Диомидова казалось еще более картинным, чем было всегда. Старенькая котиковая шапка мала для его кудрявой головы. Пальто — потертое, с разными пуговицами, карманы надорваны и оттопырены.

— Куда вы идете? — спросил Клим.

— Обедать.

И, мотнув головой на церковь Чудова монастыря, он сказал:

— Чиню иконостас тут.

— Вот как! И в театре и в церкви работаете...

— Так что? Всё равно работа. Меня знакомый резчик и позолотчик пригласил. Замечательный...

Диомидов нахмурился, помолчал и предложил:

— Пойдемте в трактир, я буду обедать, а вы — чай пить. Есть вы там не станете, плохо для вас, а чай дают — хороший.

Было бы интересно побеседовать с Диомидовым, но путешествие с таким отрепанным молодцом не улыба-

лось Климу; студент рядом с мастеровым — подозрительная пара. Клим отказался идти в трактир, а Диомидов, безжалостно растирая ладонью озябшее ухо, сказал:

— Всё — работаю. Хочу много денег накопить.

И вдруг спросил:

— Вы одобряете Лидию Тимофеевну, что она в театр готовится?

Не ожидая ответа, он тотчас раскрыл смысл вопроса:

— Это ведь всё равно как голой по улице ходить.

— Лидия Тимофеевна — взрослый человек,— сухо напомнил Клим.

Диомидов утвердительно кивнул головой.

— По-моему, умные чаще ошибаются в себе.

— Почему вы так думаете?

— А — как же? Я — книги читаю, вижу...

Это показалось Самгину дерзким: невежда, говорить правильно не умеет, а туда же...

— Что ж вы читаете?

— Всякое. Все об ошибках пишут.

Притопывая ногою, он спросил:

— Вы — революцией занимаетесь?

— Нет,— ответил Клим, взглянув прямо в глаза Диомидову,— синева их была особенно густа в этот день.

— А я думал — занимаетесь, вы такой скрытный.

— Почему вас интересует это?

— Когда мне об этом говорят, я знаю, что это правда,— задумчиво пробормотал Диомидов.— Конечно — правда, потому что — что же это?

Он махнул рукою на город.

— А хоть и знаю, да — не верю. У меня другое чувство.

— О революции на улице не говорят,— заметил Клим.

Диомидов оглянулся.

— Это — не улица. Хотите, я вам одного человека покажу? — предложил он.

— Какого?

— Увидите. Замечательный. Он — по субботам проповедует.

— Революцию?

— По-моему — еще хуже,— не сразу ответил Диомидов. Клим усмехнулся.

— Забавный вы человек!

— Пойдемте! — тихонько, но настойчиво упрашивал Диомидов. — Сегодня — суббота. Только вы попроще оденьтесь. Хотя — всё равно,— бывают и такие. Даже околоточный бывает. И — дьякон.

По ласкающему взгляду забавного человека было ясно: ему очень хочется, чтоб Самгин пошел с ним, и он уже уверен, что Самгин пойдет.

— Страшно интересно. Это надо знать,— говорил он.— Очки — снимите, очковых людей не любят.

Клим хотел отказаться слушать вместе с околоточным проповедь чего-то хуже революции, но любопытство обессилило его осторожность. Тотчас возникли еще какие-то не совсем ясные соображения и заставили его сказать:

— Дайте адрес, я, может быть, приду.

— Лучше мне зайти за вами, проводить...

— Нет, не беспокойтесь...

Вечером Клим плутал по переулкам около Сухаревой башни. Щедро светила луна, мороз окреп; быстро мелькали темные люди, согнувшись, сунув руки в рукава и в карманы; по сугробам снега прыгали их уродливые тени. Воздух хрустально дрожал от звона бесчисленных колоколов, благовестили ко всенощной.

«Любопытно,— в какой среде живет этот полуумный?— думал Клим.— Если случится что-нибудь — самое худшее, чего я могу ждать, — вышлют из Москвы. Ну, что ж? Пострадаю. Это — в моде».

Вот, наконец, над старыми воротами изогнутая дугою вывеска: «Квасное заведение». Самгин вошел на двор, тесно заставленный грудами корзин, покрытых снегом; кое-где сквозь снег торчали донца и горлышки бутылок; лунный свет отражался в темном стекле множеством бесформенных глаз.

В глубине двора возвышалось длинное, ушедшее в землю кирпичное здание, оно было или хотело быть двухэтажным, но две трети второго этажа сломаны или не достроены. Двери, широкие, точно ворота, придавали

нижнему этажу сходство с конюшней; в остатке верхнего тускло светились два окна, а под ними, в нижнем, квадратное окно пылало так ярко, как будто за стеклом его горел костер.

Клим Самгин постучал ногою в двери, чувствуя желание уйти со двора, но в дверях открылась незаметная, узкая калиточка, и невидимый человек сказал глухим голосом, на «о»:

— Осторожно. Четыре ступени.

Затем Самгин очутился на пороге другой двери, ослепленный ярким пламенем печи; печь — огромная, и в нее вмазано два котла.

— Чего же? Проходите,— сказала толстая женщина с черными усами, вытирая фартуком руки так крепко, что они скрипели.

В полуподвальном помещении со сводчатым потолком было сумрачно и стояла сыроватая теплота, пропитанная удушливым запахом испорченного мяса и навоза. Около печи в деревянном корыте для стирки белья мокли коровьи желудки, другое такое же корыто было наполнено кровавыми комьями печонок, легких. Вдоль стены — шесть корчаг, а за ними, в углу на ящике, сидел, прислонясь к стене затылком и спиною, вытянув длинные, тонкие ноги верблюда, человек в сером подряснике. Отклеив затылок от стены, он вытянул длинную шею и спросил басом, негромко:

— Аптекарь?

— Почему вы думаете, что аптекарь? — сердито спросил Клим.

— По внешнему облику, конечно... Садитесь вот сюда.

Клим сел против него на широкие нары, грубо сбитые из четырех досок; в углу нар лежала груда рухляди, чья-то постель. Большой стол пред нарами испускал одуряющий запах протухшего жира. За деревянной переборкой, некрашеной и щелявой, светился огонь, там кто-то покашливал, шуршал бумагой. Усатая женщина зажгла жестяную лампу, поставила ее на стол и, посмотрев на Клима, сказала дьякону:

— Незнакомый.

Дьякон промолчал. Тогда она спросила Самгина:

— Вас кто звал?

— Диомидов.

— А-а! Сеня. Демидов он.

Она пошла к печке, нюхая руки свои, но, остановясь, спросила:

— Он говорил — в очках?

— Очки — со мною.

— Ну, ладно...

Клим достал из кармана очки, надел их и увидал, что дьякону лет за сорок, а лицо у него такое, с какими изображают на иконах святых пустынников. Еще более часто такие лица встречаются у торговцев старыми вещами, ябедников и скряг, а в конце концов память создает из множества подобных лиц назойливый образ какого-то как бы бессмертного русского человека.

Вошли двое: один широкоплечий, лохматый, с курчавой бородою и застывшей в ней неопределенной улыбкой, не то пьяной, не то насмешливой. У печки остановился, греясь, кто-то высокий, с черными усами и острой бородою. Бесшумно явилась молодая женщина в платочке, надвинутом до бровей. Потом один за другим пришло еще человека четыре, они столпились у печи, не подходя к столу, в сумраке трудно было различить их. Все молчали, постукивая и шаркая ногами по кирпичному полу, только улыбающийся человек сказал кому-то:

— Даже барин пришел... антилегенд...

Клим чувствовал, что он задыхается в этом гнилом воздухе, в кошмарной обстановке, ему хотелось уйти. Наконец вбежал Диомидов, оглянул всех, спросил Клима:

— Ага, пришли?— и торопливо прошел за перегородку.

Через минуту оттуда важно выступил небольшой человечек с растрепанной бородкой и серым, незначительным лицом. Он был одет в женскую ватную кофту, на ногах, по колено, валяные сапоги, серые волосы на его голове были смазаны маслом и лежали гладко. В одной руке он держал узенькую и длинную книгу из тех, которыми пользуются лавочники для записи долгов. Подойдя к столу, он сказал дьякону:

— Ты со мной не спорь...

Сел, развернул книгу и, взглянув на Самгина, спросил Диомидова:

— Этот?

— Да.

— Ну — здравствуйте! — обратился незначительный человек ко всем. Голос у него звучный, и было странно слышать, что он звучит властно. Половина кисти левой руки его была отломлена, остались только три пальца: большой, указательный и средний. Пальцы эти слагались у него щепотью, никоновским крестом. Перелистывая правой рукою узенькие страницы крупно исписанной книги, левой он непрерывно чертил в воздухе затейливые узоры, в этих жестах было что-то судорожное и не сливавшееся с его спокойным голосом.

— На сей вечер хотел я продолжать вам дальше поучение мое, но как пришел новый человек, то надобно, вкратцах, сказать ему исходы мои,— говорил он, осматривая слушателей бесцветными и как бы пьяными глазами.

— Валяй, послушаем,— сказал улыбающийся человек и сел рядом с Климом.

Проповедник посмотрел в книжку и продолжал очень спокойно, словно он рассказывал обыкновенное и давно известное всем:

— Учу я, господин, вполне согласно с наукой и сочинениями Льва Толстого, ничего вредного в моем поучении не содержится. Всё очень просто: мир этот, наш, весь — дело рук человеческих; руки наши — умные, а башки — глупые, от этого и горе жизни.

Клим посмотрел на людей, все они сидели молча; его сосед, нагнувшись, свертывал папиросу. Диомидов исчез. Закипала, булькая, вода в котлах; усатая женщина полоскала в корыте «сычуги», коровьи желудки, шипели сырые дрова в печи. Дрожал и подпрыгивал огонь в лампе, коптило надбитое стекло. В сумраке люди казались бесформенными, неестественно громоздкими.

— Что это значит — мир, если посмотреть правильно? — спросил человек и нарисовал тремя пальцами в воздухе петлю.— Мир есть земля, воздух, вода,

камень, дерево. Без человека — всё это никуда не надобно.

Сосед Клима, закурив, спросил:

— А откуда ты, Яков Платоныч, знаешь, что надобно, что — нет?

— Не знал, так — не говорил бы. И — не перебивай. Ежели все вы тут станете меня учить, это будет дело пустяковое. Смешное. Вас — много, а ученик — один. Нет, уж вы, лучше, учитесь, а учить буду — я.

— Ловко? — шепнул Климу улыбающийся сосед, обдав ему щеку теплым дымом.

А учитель продолжал размеренно и спокойно втыкать в сумрак:

— Камень — дурак. И дерево — дурак. И всякое произрастание — ни к чему, если нет человека. А ежели до этого глупого материала коснутся умные наши руки,— имеем удобные для жилья дома, дороги, мосты и всякие вещи, машины и забавы, вроде шашек или карт и музыкальных труб. Так-то. Я допрежде сектантом был, сютаевцем, а потом стал проникать в настоящую философию о жизни и — проник насквозь, при помощи неизвестного человека.

«Объясняющий господин»,— вспомнил Клим.

Из сумрака высунулось чье-то раздробленное оспой лицо, и простуженный голос сиповато попросил:

— Про бога бы...

Яков Платонович трехпалой рукою приподнял лампу, посмотрел на вопрошателя прищурясь и сказал:

— Здесь я учу. Я знаю, когда богу черед.

Затем снова обратился к Самгину:

— Учеными доказано, что бог зависит от климата, от погоды. Где климаты ровные, там и бог добрый, а в жарких, в холодных местах — бог жестокий. Это надо понять. Сегодня об этом поучения не будет.

— Вас боится,— шепнул Климу сосед и стал плевать на окурок папиросы.

Философ решительно черкнул изуродованной рукою по столу и углубился в книгу, перелистывая ее страницы.

Самгин чувствовал себя больным, обезмысленным, втиснутым в кошмар. Если б ему рассказали то, что он

видел и слышал, он не поверил бы. Всё сердитей кипела вода в котлах, наполняя подвал тяжко пахучим паром. Усатая женщина шлепала в корытах черными кусками печени и легких, полоскала сычуги, выворачивая их, точно грязные чулки. Она возилась согнувшись и была похожа на медведицу. У печи кто-то всхрапнул, повез ногами по полу и гулко стукнулся головой о перегородку. Проповедник, взглянув на него из-под ладони, сказал не улыбаясь, но и не сердито:

— Побереги башку, может — еще годится.

Трехпалая кисть его руки, похожая на рачью клешню, болталась над столом, возбуждая чувство жуткое и брезгливое. Неприятно было видеть плоское да еще стертое сумраком лицо и на нем трещинки, в которых неярко светились хмельные глаза. Возмущал самоуверенный тон, возмущало явное презрение к слушателям и покорное молчание их.

— От царя небесного вниз спустимся к земному...

На секунду замолчав, учитель почесал в бороде и — докончил:

— ...делу.

Общительный сосед Клима радостно шепнул:

— Про Царя-Голода начнет...

— Все мы живем по закону состязания друг с другом, в этом и обнаруживается главная глупость наша.

Топорные слова его заставили Клима иронически подумать:

«Слышал бы это Кутузов!»

И все-таки было оскорбительно наблюдать, как подвальный человечишко уродливо и дерзко обнажает знакомый, хотя и враждебный ход мысли Кутузова.

— Возьмем на прицел глаза и ума такое происшествие: приходят к молодому царю некоторые простодушные люди и предлагают: «Ты бы, твое величество, выбрал из народа людей поумнее для свободного разговора, как лучше устроить жизнь». А он им отвечает: «Это затея бессмысленная». А водочная торговля вся в его руках. И — всякие налоги. Вот о чем надобно думать...

— Ловко? — горячим шёпотом спросил сосед Клима. И — крепко потирая руки:

— Министр, сукин кот!

— Вы ему верите?

— А — чего же не верить? Он правду режет.

Поговорив еще минут десять, проповедник вынул из кармана клешней своей черные часы, взвесил их, закрыл книгу и, хлопнув ею по столу, поднялся.

— На сегодня — будет! Думайте.

Все зашевелились, а рябой громко произнес:

— Спасибо, Яков Платоныч.

Яков, дважды кивнув ему, поднял нос, понюхал и сморщил лицо, говоря:

— Глафира! Я же тебя просил: не мочи сычуги в горячей воде. Пользы от этого — нет, только вонь.

А когда Самгин, идя к двери, поравнялся с ним, он, ухватив его клешнею за рукав, сказал насмешливо:

— Вот, господин, сестра моя фабрикует пищу для бедных,— ароматная пища, а? То-то. Между тем в трактире Тестова...

— Извините, мне пора,— прервал его Клим.

Вынырнув в крепкий холод улицы, он вздохнул так глубоко, как только мог; закружилась голова, и позеленело в глазах. Приземистые, старенькие домики и сугробы снега, пустынное небо над ними и ледяная луна — всё на минуту показалось зелененьким, покрытым плесенью, гнилым. Самгин торопливо шагал и встряхивался, чтоб отогнать от себя тошнотворный запах испорченного мяса. Было еще не поздно, только что кончилась всенощная. Клим решил зайти к Лидии, рассказать ей обо всем, что он видел и слышал, заразить ее своим возмущением. Она должна знать, в какой среде живет Диомидов, должна понять, что знакомство с ним не безопасно для нее. Но, когда он, сидя в ее комнате, начал иронически и брезгливо излагать свои впечатления,— девушка несколько удивленно прервала его речь:

— Но ведь я знаю всё это, я была там. Мне кажется, я говорила тебе, что была у Якова. Диомидов там и живет с ним, наверху. Помнишь: «А плоть кричит — зачем живу?»

Сгибая и разгибая шпильку, она задумчиво продолжала:

— Конечно, всё это очень примитивно, противоречиво. Но ведь это, по-моему, эхо тех противоречий, которые ты наблюдаешь здесь. И, кажется, везде одно и то же.

Сломав шпильку, она тихонько добавила:

— Вверху — кричат, внизу — слышат и толкуют по-своему. Не совсем понятно, чем ты возмущаешься.

Но ее спокойный тон значительно охладил возмущение Клима.

— А я не могу понять, чем ты увлекаешься в Диомидове,— пробормотал он.

Лидия взглянула на него, сдвинув брови.

— Он мне нравится.

Клим замолчал, прислушиваясь, ожидая, когда в нем заговорит ревность.

— Иногда я жалею, что он старше меня на два года; мне хочется, чтоб он был моложе на пять. Не знаю, почему это.

— Ты — видишь, я всё молчу,— слышал он задумчивый и ровный голос.— Мне кажется, что, если б я говорила, как думаю, это было бы... ужасно! И смешно. Меня выгнали бы. Наверное — выгнали бы. С Диомидовым я могу говорить обо всем, как хочу.

— А — со мной? — спросил Клим.

Лидия вздохнула, закрыла глаза:

— Ты — умный, но — чего-то не понимаешь. Непонимающие нравятся мне больше понимающих, но ты... У тебя это не так. Ты хорошо критикуешь, но это стало твоим ремеслом. С тобою — скучно. Я думаю, что и тебе тоже скоро станет скучно.

Ревность не являлась, но Самгин почувствовал, что в нем исчезает робость пред Лидией, ощущение зависимости от нее. Солидно, тоном старшего, он заговорил:

— Вполне понятно, что тебе пора любить, но любовь — чувство реальное, а ты ведь выдумала этого парня.

— У тебя характер учителя,— сказала Лидия с явной досадой и даже с насмешкой, как послышалось Самгину.— Когда ты говоришь: я тебя люблю, это выходит так, как будто ты сказал: я люблю тебя учить.

— Вот как,— пробормотал Клим, насильно усмехаясь.— А мне кажется, что ты хочешь думать, будто можешь относиться к Диомидову, как учительница.

Лидия промолчала. Самгин посидел еще несколько минут и, сухо простясь, ушел. Он был взволнован, но подумал, что, может быть, ему было бы приятнее, если б он мог почувствовать себя взволнованным более сильно.

Дома на столе Клим нашел толстое письмо без марок, без адреса, с краткой на конверте надписью: «К. И. Самгину». Это брат Дмитрий извещал, что его перевели в Устюг, и просил прислать книг. Письмо было кратко и сухо, а список книг длинен и написан со скучной точностью, с подробными титулами, указанием издателей, годов и мест изданий; большинство книг на немецком языке.

«Счетовод»,— неприязненно подумал Клим. Взглянув в зеркало, он тотчас погасил усмешку на своем лице. Затем нашел, что лицо унылое и похудело. Выпив стакан молока, он аккуратно разделся, лег в постель и вдруг почувствовал, что ему жалко себя. Пред глазами встала фигура «лепообразного» отрока, память подсказывала его неумелые речи.

«У меня — другое чувство».

«Может быть, и я обладаю „другим чувством“,— подумал Самгин, пытаясь утешить себя.— Я — не романтик,— продолжал он, смутно чувствуя, что где-то близко тропа утешения.— Глупо обижаться на девушку за то, что она не оценила моей любви. Она нашла плохого героя для своего романа. Ничего хорошего он ей не даст. Вполне возможно, что она будет жестоко наказана за свое увлечение, и тогда я...»

Он не докончил свою мысль, почувствовав легкий приступ презрения к Лидии. Это очень утешило его. Он заснул с уверенностью, что узел, связывавший его с Лидией, развязался. Сквозь сон Клим даже подумал:

«Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

Но уже утром он понял, что это не так. За окном великолепно сияло солнце, празднично гудели колокола, но — всё это было скучно, потому что «мальчик» су-

ществовал. Это ощущалось совершенно ясно. С поражающей силою, резко освещенная солнцем, на подоконнике сидела Лидия Варавка, а он, стоя на колепях пред нею, целовал ее ноги. Какое строгое лицо было у нее тогда и как удивительно светились ее глаза! Моментами она умеет быть неотразимо красивой. Оскорбительно думать, что Диомидов...

В этих мыслях, неожиданных и обидных, он прожил до вечера, а вечером явился Макаров, расстегнутый, растрепанный, с опухшим лицом и красными глазами. Климу показалось, что даже красивые, крепкие уши Макарова стали мягкими и обвисли, точно у пуделя. Дышал он кабаком, но был трезв.

— Приехал с Кубани Володька и третьи сутки пьет, как пожарный,— рассказывал он, потирая пальцами виски, приглаживая двухцветные вихры.— Я ему сочувствовал, но — больше не могу! Вчера к нему пришел дьякон, друг его, а я сбежал. Сейчас иду туда снова, беспокоит меня Владимир, он — человек неожиданных уклонов. Хочешь — пойдем со мной? Лютов будет рад. Он тебя называет двоеточием, за которым последует неизвестно что, но — что-то оригинальное. С дьяконом познакомишься — интересный тип! А может быть, и Володьку несколько охладишь. Идем?

Климу было любопытно посмотреть, как страдает неприятный человек.

«Напьюсь,— подумал он.— Макаров скажет об этом Лидии».

Через час он шагал по блестящему полу пустой комнаты, мимо зеркал в простенках пяти окон, мимо стульев, чинно и скучно расставленных вдоль стен, а со стен на него неодобрительно смотрели два лица, одно — сердитого человека с красной лентой на шее и яичным желтком медали в бороде, другое — румяной женщины с бровями в палец толщиной и брезгливо отвисшей губою.

По внутренней лестнице в два марша, узкой и темной, поднялись в сумрачную комнату с низким потолком, с двумя окнами, в углу одного из них взвизгивал жестяный вертун форточки, вгоняя в комнату кудрявую струю морозного воздуха.

Среди комнаты стоял Владимир Лютов в длинной, по щиколотки, ночной рубахе, стоял, держа гитару за конец грифа, и, опираясь на нее, как на дождевой зонт, покачивался. Присматриваясь к вошедшим, он тяжело дышал, под расстегнутой рубахой выступали и опадали ребра, было странно видеть, что он так костляв.

— Самгин? — вопросительно крикнул он, закрыв глаза, и распростер руки; гитара, упав на пол, загудела, форточка ответила ей визгом.

Клим не успел уклониться от объятий, Лютов тискал его, приподнимал и, целуя мокрыми горячими губами, бормотал:

— Спасибо... Я — очень... очень...

Подтащил его к столу, нагруженному бутылками, тарелками, и, наливая дрожащей рукою водку в рюмки, крикнул:

— Дьякон — иди! Это — свой.

В углу открылась незаметная дверь, вошел, угрюмо усмехаясь, вчерашний серый дьякон. При свете двух больших ламп Самгин увидел, что у дьякона три бороды, длинная и две покороче; длинная росла на подбородке, а две другие спускались от ушей, со щек. Они были мало заметны на сером подряснике.

— Ипатьевский,— нерешительно сказал дьякон, до боли крепко тиснув костлявыми пальцами ладонь Самгина, и медленно согнулся, поднимая гитару.

Макаров, закрывая форточку, кричал на хозяина:

— Пневмонию схватить хочешь?

— Костя,— задыхаюсь!

Стремительные глаза Лютова бегали вокруг Самгина, не в силах остановиться на нем, вокруг дьякона, который разгибался медленно, как будто боясь, что длинное тело его не уставится в комнате. Лютов обожженно вертелся у стола, теряя туфли с босых ног; садясь на стул, он склонялся головою до колен, качаясь, надевал туфлю, и нельзя было понять, почему он не падает вперед, головою о пол. Взбивая пальцами сивые волосы дьякона, он взвизгивал:

— Самгин! Вот — человек! Даже — не человек, а — храм! Молитесь благодарно силе, создающей таких людей!

Дьякон углубленно настраивал гитару. Настроив, он встал и понес ее в угол, Клим увидал пред собой великана, с широкой, плоской грудью, обезьяньими лапами и костлявым лицом Христа ради юродивого, из темных ям на этом лице отвлеченно смотрели огромные, водянистые глаза.

Налив четыре больших рюмки золотистой водки, Лютов объявил:

— Польская старка! Бьет без промаха. Предлагаю выпить за здоровье Алины Марковны Телепневой, бывшей моей невесты. Она меня... она отказала мне, Самгин! Отказалась солгать душою и телом. Глубоко, искренно уважаю — ура!

— Ура,— повторил дьякон замогильным басом.

После двух рюмок необыкновенно вкусной водки и дьякон и Лютов показались Климу менее безобразными. Лютов даже и не очень пьян, а только лирически и до ярости возбужден. В его косых глазах горело нечто близкое исступлению, он вопросительно оглядывался, и высокий голос его внезапно, как бы от испуга, ниспадал до шёпота.

— Костя! — кричал он.— Ведь надо иметь хорошую душу, чтоб отказаться от больших денег?

Макаров, усмехаясь, толкал его к дивану и уговаривал ласково:

— Ты — сядь, посиди спокойно.

— Стой! Я — большие деньги и — больше ничего! И еще я — жертва, приносимая историей себе самой за грехи отцов моих.

Остановясь среди комнаты, он взмахнул руками, поднял их над головой, как будто купальщик, намеренный нырнуть в воду.

— Когда-нибудь на земле будет жить справедливое человечество, и оно на площадях городов своих поставит изумительной красоты монументы и напишет на них...

Он задохнулся, замигал и взвизгнул:

— И напишет: «Предшественникам нашим, погибшим за грехи и ошибки отцов». Напишет!

Клим видел, как под рубахой трясутся ноги Лютова, и ждал, что из его вывихнутых глаз потекут слезы.

Но этого не случилось. После взрыва отчаянного восторга своего Лютов вдруг как будто отрезвел, стал спокойнее и, уступив настояниям Макарова, сел на диван, отирая рукавом рубахи вдруг и обильно вспотевшее лицо свое. Клим находил, что купеческий сын страдает весьма забавно. Он не возбуждал каких-либо добрых чувств, не возбуждал и снисходительной жалости, наоборот, Климу хотелось дразнить его, хотелось посмотреть — куда еще может подпрыгнуть и броситься этот человек? Он сел на диван рядом с ним.

— Вы очень хорошо сказали о монументах...

Лютов, крутя головой, обвел его воспаленным взглядом, закачался, поглаживая колени ладонями.

— Поставят монументы,— убежденно сказал он.— Не из милосердия,— тогда милосердию не будет места, потому что не будет наших накожных страданий,— монументы поставят из любви к необыкновенной красоте правды прошлого; ее поймут и оценят, эту красоту...

У стола дьякон, обучая Макарова играть на гитаре, говорил густейшим басом:

— Согните пальцы круче, крючковатей...

— Вы — извините меня,— заговорил Клим.— Но я видел, что Алина...

Лютов перестал гладить колени и сидел согнувшись.

— Она, в сущности, не умная девушка...

— Женское в ней — умное.

— Мне кажется, она не способна понять, за что надо любить...

— При чем здесь — за что? — спросил Лютов, резко откинувшись на спинку дивана, и взглянул в лицо Самгина обжигающим взглядом.— За что — это от ума. Ум — против любви... против всякой любви! Когда его преодолеет любовь, он — извиняется: люблю за красоту, за милые глаза, глупую — за глупость. Глупость можно окрестить другим именем... Глупость — многоименна...

Он вскочил, подошел к столу и, схватив дьякона за плечи, стал просить:

— Егор,— почитай о неразменном рубле... Ну,— пожалуйста!

— При незнакомом человеке? — вопросительно и смущенно сказал дьякон, взглянув на Клима.— Хотя мы как будто уже встречались...

Клим любезно улыбнулся.

— Смолоду одержим стихотворной страстью, но конфужусь людей просвещенных, понимая убожество свое.

Дьякон всё делал медленно, с тяжелой осторожностью. Обильно посыпав кусочек хлеба солью, он положил на хлеб колечко лука и поднял бутылку водки с таким усилием, как двухпудовую гирю. Наливая в рюмку, он прищурил один огромный глаз, а другой выкатился и стал похож на голубиное яйцо. Выпив водку, открыл рот и гулко сказал:

— Х-хо!

А прежде чем положить хлеб с луком в рот, он, сморщив ноздри длинного носа, понюхал хлеб, как цветок.

Лютов стоял, предостерегающе подняв правую руку, крепко растирая левой неровно отросшую бородку. Макаров, сидя у стола, сосредоточенно намазывал икрою калач. Клим Самгин, на диване, улыбался, ожидая неприличного и смешного.

— Ну — вот! — сказал дьякон и начал протяжно, раздумчиво, негромко:

Не спало́ся господу Исусу,
И пошел господь гулять по звездам,
По небесной, золотой дороге,
Со звезды на звездочку ступая.
Провожали господа Исуса
Николай, епископ Мирликийский,
Да Фома-апостол — только двое.

Слушать его было трудно, голос гудел глухо, церковно, мял и растягивал слова, делая их невнятными. Лютов, прижав локти к бокам, дирижировал обеими руками, как бы укачивая ребенка, а иногда точно сбрасывая с них что-то.

Думает господь большие думы,
Смотрит вниз — внизу земля вертится,
Кубарем вертится черный шарик,
Чёрт его железной цепью хлещет.

— А? — спросил Лютов, подмигнув Климу; лицо его вздрогнуло круглой судорогой.

— Не мешай,— сказал Макаров.

Клим всё еще улыбался, уверенно ожидая смешного, а дьякон, выкатив глаза, глядя в стену, на темную гравюру в золотой раме, гудел:

— Был я там,— сказал Христос печально,
А Фома-апостол усмехнулся
И напомнил: — Чай, мы все оттуда.—
Поглядел Христос во тьму земную
И спросил Угодника Николу:
— Кто это лежит там, у дороги,
Пьяный, что ли, сонный аль убитый?
— Нет,— ответил Николай Угодник.—
Это просто Васька Калужанин
О хорошей жизни замечтался.

Закрыв глаза, Лютов мотал встрепанной головою и беззвучно смеялся. Макаров налил две рюмки водки, одну выпил сам, другую подал Климу.

Тут Христос, мечтателям мирволя,
Опустился голубем на землю.
Встал пред Васькой, спрашивает Ваську:
— Я — Христос, узнал меня, Василий? —
Васька перед богом — на колени,
Умилился духом, чуть не плачет.
— Господи! — бормочет,— вот так штука!
Мы тебя сегодня и не ждали!
Что ж ты не сказался мне заране?
Я бы сбил народ тебе навстречу,
Мы бы тебя встретили со звоном
Всем бы нашим, Жиздринским уездом! —
Усмехнулся Иисус в бородку,
Говорит он мужику любовно:
— Я ведь на короткий срок явился,
Чтоб узнать: чего ты, Вася, хочешь?

Лютов, протянув левую руку Самгину и дирижируя правой, шепнул со свистом:

— Слушайте!

Васька Калужанин рот разинул,
Обомлел от радости Василий
И потом, слюну глотая, шепчет:
— Дай же ты мне, господи, целковый,
Знаешь, неразменный этот рублик,
Как его ни трать, а — не истратишь,
Как ты ни меняй — не разменяешь!

— Гениально! — крикнул Лютов и встряхнул руками, как бы сбрасывая что-то под ноги дьякону, а тот, горестно изогнув брови, шевеля тройной бородою, говорил:

— Денег у меня с собою — пету.
Деньги у Фомы, у казначея,
Он теперь Иуду замещает...

Лютов уже не мог слушать. Подпрыгивая, извиваясь, потеряв туфли, он шлепал голыми подошвами и кричал:

— Каково? А? Ка-ко-во?

Подняв лицо и сжатые кулаки к потолку, он пропел гнусавым голосом старенького дьячка:

— Неразменный рублик — подай, господи! Нет,— Фома-то, а? Скептик Фома на месте Иуды, а?

— Прекрати судороги, Володька,— грубо и громко сказал Макаров, наливая водку.— Довольно неистовства,— прибавил он сердито.

Лютов оторвался от дьякона, которого обнимал, наскочил на Макарова и обнял его:

— Ты всё о моем достоинстве заботишься? Не надо, Костя! Я — знаю, не надо. Какому дьяволу нужно мое достоинство, куда его? И — «не заграждай уста вола молотяща», Костя!

Самгин был удивлен и растерялся. Он видел, что красивое лицо Макарова угрюмо, зубы крепко стиснуты, глаза влажны.

— Ты, кажется, плачешь? — спросил он, нерешительно улыбаясь.

— А что же? Смеяться? Это, брат, вовсе не смешно,— резко говорил Макаров.— То есть — смешно, да... Пей! Вопрошатель. Чёрт знает что... Мы, русские, кажется, можем только водку пить, и безумными словами всё ломать, искажать, и жутко смеяться над собою, и вообще...

Он отчаянно махнул рукой.

Климу стало неловко. От выпитой водки и странных стихов дьякона он вдруг почувствовал прилив грусти: прозрачная и легкая, как синий воздух солнечного дня поздней осени, она, не отягощая, вызывала желание говорить всем приятные слова. Он и говорил, стоя с рюмкой в руках против дьякона, который, согнувшись, смотрел под ноги ему.

— Очень оригинально это у вас. И — неожиданно. Признаюсь, я ждал комического...

Дьякон выпрямился, осветил побуревшее лицо свое улыбкой почти бесцветных глаз.

— Комическое — тоже имеется; это ведь сочинение длинное, восемьдесят шесть стихов. Без комического у нас нельзя — неправда будет. Я вот похоронил, наверное, не одну тысячу людей, а ни одних похорон без комического случая — не помню. Вернее будет сказать, что лишь такие и памятны мне. Мы ведь и на самой горькой дороге о смешное спотыкаемся, такой народ!

Изломанно свалившись на диван, Лютов кричал, просил:

— Оставь, Костя! Право бунта, Костя...

— Бабий бунт. Истерика. Иди, облей голову холодной водой.

Макаров легко поднял друга на ноги и увел его, а дьякон на вопрос Клима: что же сделал Васька Калужанин с неразменным рублем? — задумчиво рассказал:

— Вернулся Христос на небо, выпросил у Фомы целковый и бросил его Ваське. Запил Василий, загулял, конечно, как же иначе-то?

Пьет да ест Васяга, девок портит,
Молодым парням — гармоньи дарит,

Старцков — за бороды таскает,
Сам орет на всю калуцку землю:
— Мне — плевать на вас, земные люди.
Я хочу — грешу, хочу — спасаюсь!
Всё равно: мне двери в рай открыты,
Мне Христос приятель закадышный!

— А ужасный разбойник поволжский, Никита, узнав, откуда у Васьки неразменный рубль, выкрал монету, влез воровским манером на небо и говорит Христу: «Ты, Христос, неправильно сделал, я за рубль на великие грехи каждую неделю хожу, а ты его лентяю подарил, гуляке,— нехорошо это!»

Вошел Лютов с мокрой, гладко причесанной головою, в брюках и рубахе-косоворотке.

— Конец, конец скажи! — закричал он.

Дьякон усмехнулся:

— Да ведь я говорю! Согласился Христос с Никитой: верно, говорит, ошибся я по простоте моей. Спасибо, что ты поправил дело, хоть и разбойник. У вас, говорит, на земле всё так запуталось, что разобрать ничего невозможно, и, пожалуй, верно вы говорите. Сатане в руку, что доброта да простота хуже воровства. Ну, все-таки пожаловался, когда прощались с Никитой: плохо, говорит, живете, совсем забыли меня. А Никита и сказал:

— Ты, Христос, на нас не обижайся,
Мы тебя, Исус, не забываем,
Мы тебя и ненавидя — любим,
Мы тебе и ненавистью служим.

Глубоко, шумно вздохнув, дьякон сказал:

— Вот и конец.

— Никто не может понять этого! — закричал Лютов.— Никто! Вся эта европейская мордва никогда не поймет русского дьякона Егора Ипатьевского, который отдан под суд за кощунство и богохульство из любви к богу! Не может!

— Это — правда, бога я очень люблю,— сказал дьякон просто и уверенно.— Только у меня требования к нему строгие: не человек, жалеть его не за что.

— Стой! А если его — нет?

— Утверждающие сие — ошибаются.

Вмешался Макаров.

— Бога — нет, отец дьякон,— сказал он тоже очень уверенно.— Нет, потому что — глупо всё!

Лютов взвизгивал, стравливая спорщиков, и говорил Самгину:

— Знаете, за что он под суд попал? У него, в стихах, богоматерь, беседуя с дьяволом, упрекает его: «Зачем ты предал меня слабому Адаму, когда я была Евой,— зачем? Ведь, с тобою живя, я бы землю ангелами заселила!» Каково?

Клим слушал и его возбужденный, сверлящий голос и глуховатый бас дьякона:

— Конечно, это громогласной медью трубит, когда маленький человечек Вселенную именует глупостью, ну, а все-таки это смешно.

— Женщина создана глупо...

— На этом я — согласен с вами. Вообще — плоть будто бы на противоречиях зиждется, но, может быть, это потому, что пути слияния ее с духом еще неведомы нам...

— Вы, церковники, издеваетесь над женщиной...

Лютов толкал Клима, покрикивая с восторгом:

— Кто посмеет говорить о боге так, как мы?

Клим Самгин никогда не думал серьезно о бытии бога, у него не было этой потребности. А сейчас он чувствовал себя приятно охмелевшим, хотел музыки, пляски, веселья.

— Поехать бы куда-нибудь,— предложил он. Лютов повалился на диван, подобрал ноги под себя и спросил, усмехаясь:

— К девчонкам? Но ведь вы, кажется, жених? А?

— Я? Нет,— сказал Самгин и неожиданно для себя добавил: — Та же история, что у вас...

Он тотчас поверил, что это так и есть, в нем что-то разорвалось, наполнив его дымом едкой печали. Он зарыдал. Лютов обнял его, начал тихонько говорить утешительное, ласково произнося имя Лидии; комната качалась, точно лодка, на стене ее светился серебристо, как зимняя луна, и ползал по дуге, как маятник, циферблат часов Мозера.

— Ты очень не нравился мне,— говорил Клим, всхлипывая.

— Всем — не нравлюсь.

— Ты — революционер!

— Все мы — революционеры...

— Значит, Константин Леонтьев — прав: Россию надо подморозить.

— Дурак! — испуганно сказал Лютов.— Тогда ее разорвет, как бутылку.

И крикнул:

— А впрочем — чёрт с ней! Пусть разорвет, и чтобы тишина!

Потом все четверо сидели на диване. В комнате стало тесно. Макаров наполнил ее дымом папирос, дьякон — густотой своего баса, было трудно дышать.

— Души исполнены обид, разум же весьма смущен...

— Остановись на этом, дьякон!

— Жизнь — не поле, не пустыня, остановиться — негде.

Слова били Самгина по вискам, толкали его.

— Не позволю порицать науку,— кричал Макаров.

Дьякон зашевелился и стал медленно распрямляться. Когда он, длинный и темный, как чья-то жуткая тень, достиг головою потолка, он переломился и спросил сверху:

— А это — слышали?

Качаясь, точно язык в колоколе, он заревел, загудел:

— С-сомневающимся... в бытии б-божием...— анаффема!

— Ана-афема! Ана-афема! — пронзительно, с восторгом запел Лютов, дьякон вторил ему торжественно, погребально.

— Молчать! — заорал Макаров.

Рев дьякона оглушил Клима и столкнул его в темную пустоту; из нее его поднял Макаров.

— Вставай! Уже пятый час.

Самгин медленно поднялся, сел на диване. Он был одет, только сюртук и сапоги сняты. Хаос и запахи

в комнате тотчас восстановили в памяти его пережитую ночь. Было темно. На столе среди бутылок двухцветным огнем горела свеча, отражение огня нелепо заключено внутри пустой бутылки белого стекла. Макаров зажигал спички, они, вспыхнув, гасли. Он склонился над огнем свечи, ткнул в него папиросой, погасил огонь и выругался:

— О, чёрт!

Потом спросил:

— Что же, ты думаешь, Лидия влюбилась в этого идиота?

— Да,— сказал Клим, но через две-три секунды прибавил: — Наверное...

— Ну... Иди, мойся.

Ему удалось зажечь свечу. Клим заметил, что руки его сильно дрожат. Уходя, он остановился на пороге и тихо сказал:

— Там сейчас дьякон стихи читал о богородице, дьяволе и слабом человеке, Адаме. Хорошо! Умная бестия, дьякон.

Чертя в воздухе огнем папиросы, он проговорил:

Не Христос — не Авель нужен людям,
Людям нужен Прометей — Антихрист.

Это... ловко сказано!

Швырнул папиросу на пол и ушел.

Лысый старик с шишкой на лбу помог Климу вымыться и безмолвно свел его вниз; там, в маленькой комнатке, за столом, у самовара сидело трое похмельных людей. Дьякон, еще более похудевший за ночь, был похож на привидение. Глаза его уже не показались Климу такими огромными, как вчера, нет, это довольно обыкновенные, жидкие и мутные глаза пожилого пьяницы. И лицо у него, в сущности, заурядное, такие лица слишком часто встречаешь. Если б он сбрил тройную бороду и подстриг волнистую овчину на голове, он был бы похож на ремесленника. Человек для анекдота. Он и говорит языком рассказов Горбунова.

— Гитара требует характера мечтательного.

— Костя, перестань терзать гитару,— скорее приказал, чем попросил Лютов.

Клим жадно пил крепкий кофе и соображал: роль Макарова при Лютове — некрасивая роль приживальщика. Едва ли этот раздерганный и хамоватый болтун способен внушить кому-либо чувство искренней дружбы. Вот он снова начинает чесать скучающий язык:

— Ну — как это понять, дьякон, как это понять, что ты, коренной русский человек, существо необыкновеннейшей душевной нестроты,— скучаешь?

Дьякон, посыпая солью кусок ржаного хлеба, глухо кашлянул и ответил:

— В скуке ничего коренного русского — нет. Скукой все люди озабочены.

— Но — какой?

— И Вольтер скучал.

И тотчас, как будто куча стружек, вспыхнул спор. Лютов, подскакивая на стуле, хлопал ладонью по столу, визжал, дьякон хладнокровно давил его крики тяжелыми словами. Разравнивая ножом соль по хлебу, он спрашивал:

— Да — есть ли Россия-то? По-моему, такой, как ты, Владимир, ее видишь,— нету.

— Ух, как вы надоели,— сказал Макаров и отошел с гитарой к окну, а дьякон упрямо долбил:

— Храмы — у нас есть, а церковь — отсутствует. Католики все веруют по-римски, а мы — по-синодски, по-уральски, по-таврически и уж беси знают, как еще...

— Но — почему? Почему, Самгин?

Клим, сунув руки в карманы, заговорил:

— Как всякая идеология, религиозные воззрения тоже...

— Слышали,— грубовато сказал дьякон.— У меня сын тоже марксист. Поэтом обещал быть, Некрасовым, а теперь утверждает, что безземельный крестьянин не способен веровать в бога зажиточного мужика. Нет, суть — не в этом. Это поистине нищета философии. Настоящую же философию нищеты мы вот с господином Самгиным слышали третьего дня. Философ был неказист, но надо сказать, что он преискусно оголял самое существо всех и всяческих отношений, показывая скрытый механизм бытия нашего как сплошное

кровопийство. Трижды слушал я его и спорил, а преоборотъ устойчивость мысли его — не мог, однако. Сына моего — могу поставить втупик на всех его ходах, а этого — не могу.

Дьякон широко и одобрительно улыбнулся.

— Я — не зря говорю. Я — человек любопытствующий. Соткнувшись с каким-нибудь ближним из простецов, но беспокойного взгляда на жизнь, я даю ему два-три толчка в направлении, сыну моему любезном, марксистском. И всегда оказывается, что основные начала учения сего у простеца-то как бы уже где-то под кожей имеются.

— Марксизм — накожная болезнь? — обрадованно вскричал Лютов.

Дьякон улыбнулся.

— Нет, я ведь сказал: под кожей. Можете себе представить радость сына моего? Он же весьма нуждается в духовных радостях, ибо силы для наслаждения телесными — лишен. Чахоткой страдает, и ноги у него не действуют. Арестован был по Астыревскому делу и в тюрьме растратил здоровье. Совершенно растратил. Насмерть.

Шумно вздохнув, дьякон предложил с оттенком некоторого удальства:

— Володя, а не выпить ли нам по медведю?

Лютов вскочил и убежал, крича:

— Я знаю, дьякон, почему все мы разъединенный и одинокий народ!

Дьякон пригладил волосы обеими руками, подергал себя за бороду, потом сказал негромко:

— Весна стучит, господа студенты.

Он сказал это потому, что с крыши упал кусок подтаявшего льда, загремев о железо наличника окна.

Вбежал Лютов с бутылкой шампанского в руке, за ним вошла розоволицая, пышная горничная тоже с бутылками.

— Делай! — сказал он дьякону. Но о том, почему русские — самый одинокий народ в мире,— забыл сказать, и никто не спросил его об этом. Все трое внимательно следили за дьяконом, который, засучив рукава, обнажил не очень чистую рубаху и странно белую,

гладкую, как у женщины, кожу рук. Он смешал в четырех чайных стаканах портер, коньяк, шампанское, посыпал мутнопенную влагу перцем и предложил:

— Причащайтесь!

Клим выпил храбро, хотя с первого же глотка почувствовал, что напиток отвратителен. Но он ни в чем не хотел уступать этим людям, так неудачно выдумавшим себя, так раздражающе запутавшимся в мыслях и словах. Содрогаясь от жгучего вкусового ощущения, он мельком вторично подумал, что Макаров не утерпит, расскажет Лидии, как он пьет, а Лидия должна будет почувствовать себя виноватой в этом. И пусть почувствует.

Через четверть часа он, сидя на стуле, ласточкой летал по комнате и говорил в трехбородое лицо с огромными глазами:

— Ваши мысли кажутся вам радужными, оригинальными и так далее. Но — это банальнейшие мысли.

— Стойте, Самгин! — кричал Лютов.— Тогда вся Россия — банальность. Вся!

— И Христос, которого мы будто бы любим и ненавидим. Вы — очень хитрый человек. Но — вы наивный человек, дьякон. И я вам — не верю. Я — никому не верю.

Клим чувствовал себя пылающим. Он хотел сказать множество обидных, но неотразимо верных слов, хотел заставить молчать этих людей, он даже просил, устав сердиться:

— Мы все очень простые люди. Давайте жить просто. Очень просто... как голуби. Кротко!

Они хохотали, кричали, Лютов возил его по улицам в широких санях, запряженных быстрейшими лошадями, и Клим видел, как столбы телеграфа, подпрыгивая в небо, размешивают в нем звезды, точно кусочки апельсинной корки в крюшоне. Это продолжалось четверо суток, а затем Самгин, лежа у себя дома в постели, вспоминал отдельные моменты длительного кошмара.

Глубже и крепче всего врезался в память образ дьякона. Самгин чувствовал себя оклеенным его речами, как смолой. Вот дьякон, стоя среди комнаты с гита-

рой в руках, говорит о Лютове, когда Лютов, вдруг свалившись на диван,— уснул, так отчаянно разинув рот, как будто он кричал беззвучным и тем более страшным криком:

— Самоубийственно пьет. Маркс ему вреден. У меня сын тоже насильно заставляет себя веровать в Маркса. Ему — простительно. Он — с озлобления на людей за погубленную жизнь. Некоторые веруют из глупой, детской храбрости: боится мальчуган темноты, но — лезет в нее, стыдясь товарищей, ломая себя, дабы показать: я-де не трус! Некоторые веруют по торопливости, но большинство от страха. Сих, последних, я не того... не очень уважаю.

Вот он, перестав обучать Макарова игре на гитаре, спрашивает Клима:

— А вы к музыке не причастны?

И, не дожидаясь ответа, мечтает, барабаня пальцами по колену:

— Расстригут меня — пойду работать на завод стекла, займусь изобретением стеклянного инструмента. Семь лет недоумеваю: почему стекло не употребляется в музыке? Прислушивались вы зимой в метельные ночи, когда не спится, как стекла в окнах поют? Я, может быть, тысячу ночей слушал это пение и дошел до мысли, что именно стекло, а не медь, не дерево должно дать нам совершенную музыку. Все музыкальные инструменты надобно из стекла делать, тогда и получим рай звуков. Обязательно займусь этим.

Костлявое лицо дьякона смягчила мечтательная улыбка, а Климу Самгину показалось, что дьякон только сейчас выдумал всё это.

Еще две-три встречи с дьяконом, и Клим поставил его в ряд с проповедником о трех пальцах, с человеком, которому нравится, когда «режут правду», с хромым ловцом сома, с дворником, который нарочно сметал пыль и сор улицы под ноги арестантов, и озорниковатым старичком-каменщиком.

Клим Самгин думал, что было бы хорошо, если б кто-то очень внушительный, даже — страшный крикнул на этих людей:

«Да — что вы озорничаете!?»

Не только эти нуждались в грозном окрике, нуждался в нем и Лютов, заслуживали окрика и многие студенты, но эти уличные, подвальные, кошмарные особенно возмущали Самгина своим озорством. Когда у дяди Хрисанфа веселый студент Маракуев и Поярков начинали шумное состязание о правде народничества и марксизма со своим приятелем Прейсом, евреем, маленьким и элегантным, с тонким лицом и бархатными глазами, Самгин слушал эти споры почти равнодушно, иногда — с иронией. После Кутузова, который, не любя длинных речей, умел говорить скупо, но неотразимо, эти казались ему мальчишками, споры их — игрой, а горячий задор — направленным на соблазн Варвары и Лидии.

— Каждый народ — воплощение неповторяемого духовного своеобразия! — кричал Маракуев, и в его глазах орехового цвета горел свирепый восторг.— Даже племена романской расы резко различны, каждое — обособленная психическая индивидуальность.

Поярков, стараясь говорить внушительно и спокойно, поблескивал желтоватыми белками, в которых неподвижно застыли темные зрачки, напирал животом на маленького Прейса, загоняя его в угол, и там тискал его короткими, сердитыми фразами:

— Интернационализм — выдумка людей денационализированных, деклассированных. В мире властвует закон эволюции, отрицающий слияние неслиянного. Американец-социалист не признает негра товарищем. Кипарис не растет на севере. Бетховен невозможен в Китае. В мире растительном и животном революции — нет.

Все такие речи были более или менее знакомы и привычны; они не пугали, не раздражали, а в ответах Прейса было даже нечто утешительное. Он деловито отвечал цифрами, а Самгин знал, что точный счет — основное правило науки. Вообще евреи не возбуждали симпатии Самгина, но Прейс нравился ему. Он слушал речи Маракуева и Пояркова спокойно, он, видимо, считал их неизбежными, как затяжной осенний дождь. Говорил чистейшим русским языком, суховато, в тоне

профессора, которому уже несколько надоело читать лекции. В его крепко слаженных фразах совершенно отсутствовали любимые русскими лишние слова, не было ничего цветистого, никакого щегольства, и было что-то как бы старческое, что не шло к его звонкому голосу и твердому взгляду бархатных глаз. Когда Маракуев, вспыхнув фейерверком, сгорал, а Поярков, истощив весь запас коротко нарубленных фраз своих, смотрел в упор на Прейса разноцветными глазами, Прейс говорил:

— Возможно, что всё это красиво, но это — не истина. Неоспоримая истина никаких украшений не требует, она — проста: вся история человечества есть история борьбы классов.

Клим Самгин не чувствовал потребности проверить истину Прейса, не думал о том, следует ли принять или отвергнуть ее. Но, чувствуя себя в состоянии самообороны и несколько торопясь с выводами из всего, что он слышал, Клим в неприятной ему «кутузовщине» уже находил ценное качество: «кутузовщина» очень упрощала жизнь, разделяя людей на однообразные группы, строго ограниченные линиями вполне понятных интересов. Если каждый человек действует по воле класса, группы, то, как бы ловко ни скрывал он за фигурными хитросплетениями слов свои подлинные желания и цели, всегда можно разоблачить истинную суть его — силу групповых и классовых повелений. Возможно, что именно и только «кутузовщина» позволит понять и — даже лучше того — совершенно устранить из жизни различных кошмарных людей, каковы дьякон, Лютов, Диомидов и подобные. Но — здесь возникал ряд смущающих вопросов и воспоминаний:

«Интересами какой группы или какого класса живет Прейс, чистенький и солидный?»

Вспоминался весьма ехидный вопрос Туробоева Кутузову:

«А что, если классовая философия окажется не ключом ко всем загадкам жизни, а только отмычкой, которая портит и ломает замки?»

Гудел устрашающий голос дьякона:

«Приходится соглашаться с моим безногим сыном, который говорит такое: раньше революция на испанский роман с приключениями похожа была, на опасную, но весьма приятную забаву, как, примерно, медвежья охота, а ныне она становится делом сугубо серьезным, муравьиной работой множества простых людей. Сие, конечно, есть пророчество, однако, не лишенное смысла. Действительно: надышали атмосферу заразительную, и доказательством ее заразности не одни мы, сущие здесь пьяницы, служим».

Количество таких воспоминаний и вопросов возрастало, они становились всё противоречивее, сложней. Чувствуя себя не в силах разобраться в этом хаосе, Клим с негодованием думал:

«Но ведь не глуп же я?»

Что он не глуп, в этом убеждало его уменье подмечать в людях фальшивое, дрянненькое, смешное. Он был уверен, что видит безошибочно и зорко. Московские студенты пьют больше, чем петербуржцы, и более пламенно увлекаются театром. Волжане дают наибольшее количество людей революционно настроенных. Поярков был, несомненно, очень зол, но, не желая показать свою злобу, неестественно улыбался, натянуто любезничал со всеми. Прейс относится к русским, как Туробоев к мужикам. Если б Маракуев не был так весел, для всех было бы ясно, что он глуп. Варвара даже чай пьет трагически. Дядя Хрисанф откровенно глуп, он сам знает это.

— Хороший человек я, но — бесталанный,— говорит он.— Вот — загадочка! Хорошему бы человеку и дать талант, а мне — не дано.

Количество таких наблюдений быстро возрастало, у Самгина не было сомнений в их правильности, он чувствовал, что они очень, всё более твердо ставят его среди людей. Но — плохо было то, что почти каждый человек говорил нечто такое, что следовало бы сказать самому Самгину, каждый обворовывал его. Вот Диомидов сказал:

— Мир — враг человеку.

В этих трех словах Клим слышал свою правду. Он сердито посоветовал:

— Идите в монастырь.

— Ты не понял,— сказала Лидия, строго взглянув на него, а Диомидов, закрыв лицо руками, пробормотал сквозь пальцы:

— Монастырь — тоже клетка.

Клим стал замечать, что Лидия относится к бутафору, точно к ребенку, следит, чтоб он больше ел и пил, теплее одевался. В глазах Клима эта заботливость унижала ее.

А Диомидов был явно ненормален. Самгина окончательно убедила в этом странная сцена: уходя от Лидии, столяр и бутафор надевал свое старенькое пальто, он уже сунул левую руку в рукав, но не мог найти правого рукава и, улыбаясь, боролся с пальто, встряхивал его. Клим решил помочь ему.

— Нет, не надо,— попросил Диомидов, затем, сбросив пальто с плеча, ласково погладил упрямый рукав, быстро и ловко надел пальто и, застегивая разнообразные пуговицы, объяснил:

— Оно не любит чужих рук. Вещи тоже, знаете, имеют свой характер.

Мял в руках шапку и говорил:

— Очень имеют. Особенно — мелкие и которые часто в руки берешь. Например — инструменты: одни любят вашу руку, другие — нет. Хоть брось. Я вот не люблю одну актрису, а она дала мне починить старинную шкатулку, пустяки починка. Не поверите: я долго бился — не мог справиться. Не поддается шкатулка. То палец порежу, то кожу прищемлю, клеем ожегся. Так и не починил. Потому что шкатулка знала: не люблю я хозяйку ее.

Когда он ушел, Клим спросил Лидию: как она думает об этом?

— Он — поэт,— сказала девушка тоном, исключающим возражения.

О сопротивлении вещей человеку Диомидов говорил нередко.

— Мелкие вещи непокорнее больших. Камень можно обойти, можно уклониться от него, а от пыли — не скроешься, иди сквозь пыль. Не люблю делать мелкие вещи,— вздыхал он, виновато улыбаясь, и можно

было думать, что улыбка теплится не внутри его глаз, а отражена в них откуда-то извне. Он делал смешные открытия:

— Если идти ночью от фонаря, тень делается всё короче и потом совсем пропадает. Тогда кажется, что и меня тоже нет.

Наблюдая его рядом с Лидией, Самгин испытывал сложное чувство недоуменья, досады. Но ревность всё же не возникала, хотя Клим продолжал упрямо думать, что он любит Лидию. Он все-таки решился сказать ей:

— Не доведет тебя до добра твой романтизм.

— А что такое — добро? — спросила она вполголоса, нахмурясь и глядя в глаза его. Пока он, пожимая плечами, собирался ответить ей, она сказала:

— Я думаю, что отношения мужчин и женщин вообще — не добро. Они — неизбежны, но добра в них нет. Дети? И ты и я были детьми, но я всё еще не могу понять: зачем нужны оба мы?

В конце концов Самгину казалось, что он прекрасно понимает всех и всё, кроме себя самого. И уже нередко он ловил себя на том, что наблюдает за собой как за человеком, мало знакомым ему и опасным для него.

Готовясь встретить молодого царя, Москва азиатски ярко раскрашивала себя, замазывала слишком уродливые морщины свои, как престарелая вдова, готовясь в новое замужество. Было что-то неистовое и судорожное в стремлении людей закрасить грязь своих жилищ, как будто москвичи, вдруг прозрев, испугались, видя трещины, пятна и другие признаки грязной старости на стенах домов. Сотни маляров торопливо мазали длинными кистями фасады зданий, акробатически бесстрашно покачиваясь высоко в воздухе, подвешенные на веревках, которые издали казались тоненькими нитками. На балконах и в окнах домов работали драпировщики, развешивая пестрые ковры, кашмирские шали, создавая пышные рамы для бесчисленных портретов царя, украшая цветами гипсовые бюсты его. Отовсюду лезли в глаза розетки, гирлянды, вензеля и короны, сияли золотом слова «Боже царя

храни» и «Славься, славься, наш русский царь»; тысячи национальных флагов свешивались с крыш, торчали изо всех щелей, куда можно было сунуть древко.

Преобладал раздражающий своей яркостью красный цвет; силу его еще более разжигала безличная податливость белого, а угрюмые синие полосы не могли смягчить ослепляющий огонь красного. Там и тут из окон на улицу свешивались куски кумача, и это придавало окнам странное выражение, как будто квадратные рты дразнились красными языками. Некоторые дома были так обильно украшены, что казалось — они вывернулись наизнанку, патриотически хвастливо обнажив мясные и жирные внутренности свои. С восхода солнца и до полуночи на улицах суетились люди, но еще более были обеспокоены птицы,— весь день над Москвой реяли стаи галок, голубей, тревожно перелетая из центра города на окраины и обратно; казалось, что в воздухе беспорядочно снуют тысячи черных челноков, ткется ими невидимая ткань. Полиция усердно высылала неблагонадежных, осматривала чердаки домов на тех улицах, по которым должен был проехать царь. Маракуев, плохо притворяясь не верующим в то, что говорит, сообщал: подряд на иллюминацию Кремля взят Кобозевым, тем торговцем сырами, из лавки которого в Петербурге на Садовой улице предполагалось взорвать мину под каретой Александра Второго. Кобозев приехал в Москву как представитель заграничной пиротехнической фирмы и в день коронации взорвет Кремль.

— Конечно, это похоже на сказку,— говорил Маракуев, усмехаясь, но смотрел на всех глазами верующего, что сказка может превратиться в быль. Лидия сердито предупредила его:

— Не вздумайте болтать об этом при дяде Хрисанфе.

Дядя Хрисанф имел вид сугубо парадный: шлифованная лысина его торжественно сияла, и так же сияли ярко начищенные сапоги с лакированными голенищами. На плоском лице его улыбки восторга сменялись улыбками смущения; глазки тоже казались начищенными, они теплились, точно огоньки двух лампад, зажженных в емкой душе дяди.

— Ликует Москва,— бормотал он, нервно играя кистями пояса,— нарядилась боярыней. Умеет Москва ликовать! Подумайте: свыше миллиона аршин кумача истрачено!

И, вспоминая, что слишком сильный восторг — неприличен, он высчитывал:

— Двести пятьдесят тысяч рубах; армию одеть можно!

Он пытался показать молодежи, что относится к предстоящему торжеству иронически, но это плохо удавалось ему, он срывался с тона, ирония уступала место пафосу.

— Второй раз увижу, как великий народ встретит своего молодого вождя,— говорил он, отирая влажные глаза, и, спохватясь, насмешливо кривил губы.

— Идолопоклонство, конечно. «Приидите, поклонимся и припадем цареви и богу нашему» — н-да! Ну все-таки надо посмотреть. Не царь интересен, а народ, воплощающий в него все свои чаяния и надежды.

Он звал Диомидова на улицу, но тот нерешительно отказывался:

— Я, знаете, не люблю скопления народа.

— Ну, это, брат, глупости! — возмущался дядя Хрисанф.— Как это — не люблю?

— Видите ли, это не помещается во мне, любовь к народу,— виновато сознавался Диомидов.— Если говорить честно — зачем же мне народ? Я, напротив...

— Ты — с ума сходишь! — кричал дядя Хрисанф.— Что ты, чудак? Как это — не помещается? Что это значит — не помещается?

И решительно тащил юношу за собою на шумные улицы. Клим тоже шел, шел и Маракуев, улыбаясь несколько растерянно.

В окнах, на балконах часто мелькало гипсовое, слепое лицо царя. Маракуев нашел, что царь — курнос.

— Похож на Сократа в молодости,— заметил дядя Хрисанф.

По улицам озабоченно шагали новенькие полицейские чиновники, покрикивая на маляров, на дворников. Ездили на рослых лошадях необыкновенно большие всадники в шлемах и латах; однообразно круглые

лица их казались каменными; тела, от головы до ног, напоминали о самоварах, а ноги были лишние для всадников. Тучи мальчишек сопровождали медных кентавров, неустанно взвизгивая — ура! Оглушительно кричали и взрослые при виде франтоватых кавалергардов, улан, гусар, раскрашенных так же ярко, как деревянные игрушки кустарей Сергиева Посада.

Кричали ура четверым монголам, одетым в парчу, идольски неподвижным; сидя в ландо, они косенькими глазками смотрели друг на друга; один из них, с вывороченными ноздрями, с незакрытым ртом, белозубый, улыбался мертвой улыбкой, желтое лицо его казалось медным.

— Вот, смотри,— внушал дядя Хрисанф Диомидову, как мальчику,— предки их жгли и грабили Москву, а потомки кланяются ей.

— Да они не кланяются,— они сидят, как совы днем,— пробормотал Диомидов, растрепанный, чумазый, с руками, позолоченными бронзовым порошком; он только утром кончил работать по украшению Кремля.

Особенно восторженно московские люди встречали посла Франции, когда он, окруженный блестящей свитой, ехал на Поклонную гору.

— Видишь? — поучал дядя Хрисанф.— Французы. И они тоже разорили, сожгли Москву, а — вот... Мы зла не помним...

Встретили группу английских офицеров, впереди их автоматически шагал неестественно высокий человек с лицом из трех костей, в белой чалме на длинной голове, со множеством орденов на груди, узкой и плоской.

— Британцев не люблю,— сказал дядя Хрисанф.

Промчался обер-полицмейстер Власовский, держась за пояс кучера, а за ним, окруженный конвоем, торжественно проехал дядя царя, великий князь Сергей. Хрисанф и Диомидов обнажили головы. Самгин тоже невольно поднял к фуражке руку, но Маракуев, отвернувшись в сторону, упрекнул Хрисанфа:

— Не стыдно вам клапяться гомосексуалисту!

— Ура-а! — кричали москвичи.— Ур-ра!

Потом снова скакали взмыленные лошади Власовского, кучер останавливал их на скаку, полицмейстер, стоя, размахивал руками, кричал в окна домов, на рабочих, на полицейских и мальчишек, а окричав людей, устало валился на сиденье коляски и толчком в спину кучера снова гнал лошадей. Длинные усы его, грозно шевелясь, загибались к затылку.

— Ур-ра,— кричал народ вслед ему, а Диомидов, испуганно мигая, жаловался Климу вполголоса:

— Совсем как безумный. Да и все с ума сошли. Как будто конца света ждут. А город — точно разграблен, из окошек всё вышвырнуто, висит. И все — безжалостные. Ну, что орут? Какой же это праздник? Это — безумство.

— Сказочное, волшебное безумие, чудак,— поправлял его дядя Хрисанф, обрызганный белой краской, и счастливо смеялся.

— Надо бы торжественно, тихо,— бормотал Диомидов.

Самгин молча соглашался с ним, находя, что хвастливому шуму тщеславной Москвы не хватает каких-то важных нот. Слишком часто и бестолково люди ревели ура, слишком суетились, и было заметно много неуместных шуточек, усмешек. Маракуев, зорко подмечая смешное и глупое, говорил об этом Климу с такой радостью, как будто он сам, Маракуев, создал смешное.

— Смотрите,— указывал он на транспарант, золотые слова которого: «Да будет легок твой путь к славе и счастью России» — заканчивались куском вывески с такими же золотыми словами: «и К°».

Последние дни Маракуев назойливо рассказывал пошловатые анекдоты о действиях администрации, городской думы, купечества, но можно было подозревать, что он сам сочиняет анекдоты, в них чувствовался шарж, сквозь их грубоватость проскальзывало нечто натянутое и унылое.

— Н-да-с,— говорил он Лидии,— народ радуется. А впрочем, какой же это народ? Народ — там!

Взмахом руки он указывал почему-то на север и крепко гладил ладонью кудрявые волосы свои.

Но, хотя Клим Самгин и замечал и слышал много неприятного, оскорбительно неуместного, в нем все-таки возникло волнующее ожидание, что вот сейчас, откуда-то из бесчисленных улиц, туго набитых людями, явится нечто необычное, изумительное. Он стыдился сознаться себе, что хочет видеть царя, но это желание возрастало как бы против воли его, разжигаемое работой тысяч людей и хвастливой тратой миллионов денег. Этот труд и эта щедрость внушали мысль, что должен явиться человек необыкновенный, не только потому, что он — царь, а по предчувствию Москвой каких-то особенных сил и качеств в нем.

— Екатерина Великая скончалась в тысяча семьсот девяносто шестом году,— вспоминал дядя Хрисанф; Самгину было ясно, что москвич верит в возможность каких-то великих событий, и ясно было, что это — вера многих тысяч людей. Он тоже чувствовал себя способным поверить: завтра явится необыкновенный и, может быть, грозный человек, которого Россия ожидает целое столетие и который, быть может, окажется в силе сказать духовно растрепанным, распущенным людям: «Да — что вы озорничаете?!»

В день, когда царь переезжал из Петровского дворца в Кремль, Москва напряженно притихла. Народ ее плотно прижали к стенам домов двумя линиями солдат и двумя рядами охраны, созданной из отборно верноподданных обывателей. Солдаты были непоколебимо стойкие, точно выкованы из железа, а охранники, в большинстве,— благообразные, бородатые люди с очень широкими спинами. Стоя плечо в плечо друг с другом, они ворочали тугими шеями, посматривая на людей сзади себя подозрительно и строго.

— Тиш-ша! — говорили они.

И часто бывало так, что взволнованный ожиданием или чем-то иным неугомонный человек, подталкиваемый их локтями, оказывался затисканным во двор. Это случилось и с Климом. Чернобородый человек посмотрел на него хмурым взглядом темных глаз и через минуту наступил каблуком на пальцы ноги Самгина. Дернув ногой, Клим толкнул его коленом в зад.— человек обиделся:

— Вы что же это, господин, безобразите? А еще в очках!

Обиделись еще двое и, не слушая объяснений, ловко и быстро маневрируя, вогнали Клима на двор, где сидели три полицейских солдата, а на земле, у крыльца, громко храпел неказисто одетый и, должно быть, пьяный человек. Через несколько минут втолкнули еще одного, молодого, в светлом костюме, с рябым лицом; втолкнувший сказал солдатам:

— Задержите этого, карманник.

Двое полицейских повели рябого в глубь двора, а третий сказал Климу:

— Сегодня жуликам — лафа!

Затем вогнали во двор человека с альбомом в руках, он топал ногою, тыкал карандашом в грудь солдата и возмущенно кричал:

— Нэ имэеште праву!

Кричал на немецком языке, на французском, по-румынски, но полицейский, отмахнувшись от него, как от дыма, снял с правой руки своей новенькую перчатку и отошел прочь, закуривая папиросу.

— Так — кар-рашо! — угрожающе сказал человек, начиная быстро писать карандашом в альбоме, и прислонился спиной к стене, широко расставив ноги.

Загнали во двор старика, продавца красных воздушных пузырей, огромная гроздь их колебалась над его головой, потом вошел прилично одетый человек, с подвязанной черным платком щекою; очень сконфуженный, он, ни на кого не глядя, скрылся в глубине двора, за углом дома. Клим понял его, он тоже чувствовал себя сконфуженно и глупо. Он стоял в тени, за грудой ящиков со стеклами для ламп, и слушал ленивенькую беседу полицейских с карманником.

— Подольск от нас далеко,— рассказывал карманник, вздыхая.

Воробьи прыгали по двору, над окнами сидели голуби, скучно посматривая вниз то одним, то другим рыбьим глазом.

Так и простоял Самгин до поры, пока не раздался торжественный звон бесчисленных колоколов. Загремело потрясающее ура тысяч глоток, пронзительно

пели фанфары, ревели трубы военного оркестра, трещали барабаны и непрерывно звучал оглушающий вопль:

— Ура-а!

А когда всё это неистовое притихло, во двор вошел щеголеватый помощник полицейского пристава, сопровождаемый бритым человеком в темных очках, вошел, спросил у Клима документы, передал их в руку человека в очках, тот посмотрел на бумаги и, кивнув головой в сторону ворот, сухо сказал:

— Можете.

— Я не понимаю,— возмущенно заговорил Самгин, но человек в очках, повернувшись спиною к нему, сказал:

— Вас и не просят понимать.

Клим обиженно вышел на улицу, толпа подхватила его, повлекла за собою и скоро столкнула лицом к лицу с Лютовым.

Владимир Иванович Лютов был в состоянии тяжкого похмелья, шел он неестественно выпрямясь, как солдат, но покачивался, толкал встречных, нагловато улыбался женщинам и, схватив Клима под руку, крепко прижав ее к своему боку, говорил довольно громко:

— Идем ко мне обедать. Выпьем. Надо, брат, пить. Мы — люди серьезные, нам надобно пить на все средства четырех пятых души. Полной душою жить на Руси — всеми строго воспрещается. Всеми — полицией, попами, поэтами, прозаиками. А когда пропьем четыре пятых — будем порнографические картинки собирать и друг другу похабные анекдоты из русской истории рассказывать. Вот — наш проспект жизни.

Лютов был явно настроен на скандал, это очень встревожило Клима, он попробовал вырвать руку, но безуспешно. Тогда он увлек Лютова в один из переулков Тверской, там встретили извозчика-лихача. Но, усевшись в экипаж, Лютов, глядя на густые толпы оживленного, празднично одетого народа, заговорил еще громче в синюю спину возницы:

— Радуемся, а? Помазок божий встречаем. Он приличных людей в чин идиотов помазал,— ничего! Ликуем. Вот тебе! Исаия ликуй...

— Перестань,— тихо и строго просил Клим.

— Тоска, брат! Гляди: богоносец народ русский валом валит угощаться конфетками за счет царя. Умилительно. Конфетки сосать будут потомки ходового московского народа, того, который ходил за Болотниковым, за Отрепьевым, Тушинским вором, за Козьмой Мининым, потом пошел за Михайлой Романовым. Ходил за Степаном Разиным, за Пугачевым... и за Бонапартом готов был идти... Ходовой народ! Только за декабристами и за людями Первого Марта не пошел...

Клим смотрел в каменную спину извозчика, соображая: слышит извозчик эту пьяную речь? Но лихач, устойчиво покачиваясь на козлах, вскрикивал, предупреждая и упрекая людей, пересекавших дорогу:

— Берегись, эй! берегись!.. Куда ж ты, братец, лезешь?

Дома Лютова ждали гости: женщина, которая посещала его на даче, и красивый, солидно одетый блондин в очках, с небольшой бородкой.

— Крафт,— сказал он, чрезвычайно любезно пожимая руку Самгина; женщина, улыбнувшись неохотной улыбкой, назвала себя именем и фамилией тысяч русских женщин:

— Марья Иванова.

— Кажется, мы встречались,— напомнил Клим, но она не ответила ему.

Лютов как-то сразу отрезвел, нахмурился и не очень вежливо предложил гостям пообедать. Гости не отказались, а Лютов стал еще более трезв. Сообразив, кто эти люди, Клим незаметно изучал блондина; это был человек очень благовоспитанный. С его бледного, холодноватого лица почти не исчезала улыбка, одинаково любезная для Лютова, горничной и пепельницы. Он растягивал под светлыми усами очень красные губы так заученно точно, что казалось: все волосики на концах его усов каждый раз шевелятся совершенно равномерно. Было в улыбке этой нечто панпсихическое, человек благосклонно награждал ею и хлеб и нож; однако Самгин подозревал скрытым за нею презрение ко всему и ко всем. Ел человек мало, пил осторожно и говорил самые обыкновенные слова, от которых

в памяти не оставалось ничего,— говорил, что на улицах много народа, что обилие флагов очень украшает город, а мужики и бабы окрестных деревень толпами идут на Ходынское поле. Он, видимо, очень стеснял хозяина. Лютов, в ответ на его улыбки, тоже обязательно и натужно кривил рот, но говорил с ним кратко и сухо. Женщина за всё время обеда сказала трижды:

— Благодарю вас! — и дважды:

— Спасибо.

И, если б при этом она не улыбалась странной своей улыбкой, можно было бы не заметить, что у нее, как у всех людей, тоже есть лицо.

Как только кончили обедать, Лютов вскочил со стула и спросил:

— Ну-с?

— Пожалуйста,— галантно сказал блондин. Они ушли гуськом: впереди — хозяин, за ним — блондин, и бесшумно, как по льду, скользила женщина.

— Я — скоро! — обещал Лютов Климу и оставил его размышлять: как это Лютов может вдруг трезветь? Неужели он только искусно притворяется пьяным? И зачем, по каким мотивам он общается с революционерами?

Лютов возвратился минут через двадцать, забегал по столовой, шевеля руками в карманах, поблескивая косыми глазками, кривя губы.

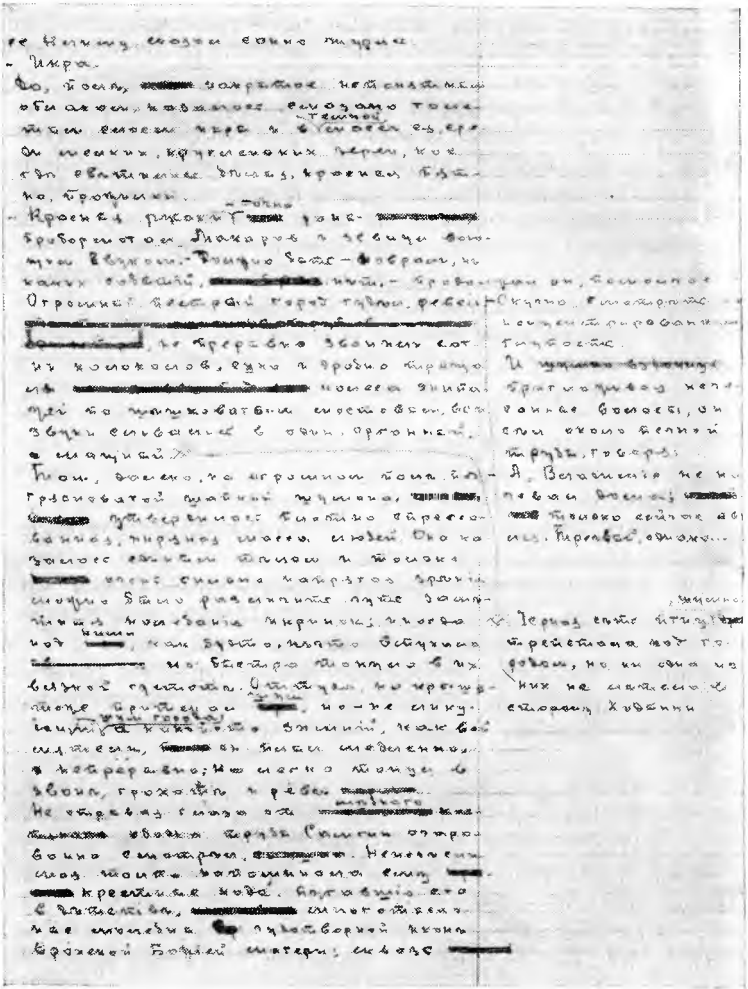
— Народники? — спросил Клим.

— В этом роде.

— Ты что же... помогаешь?

— Надо. Отцы жертвовали на церкви, дети — на революцию. Прыжок — головоломный, но... что же, брат, делать? Жизнь верхней корочки несъедобного каравая, именуемого Россией, можно озаглавить так: «История головоломных прыжков русской интеллигенции». Ведь это только господа патентованные историки обязаны специальностью своей доказывать, что существуют некие преемственность, последовательность и другие ведьмы, а — какая у нас преемственность? Прыгай, коли не хочешь задохнуться.

Он остановился среди комнаты и захохотал, выдернув руки из карманов, схватившись за голову.



«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА», ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Страница белового автографа.

— Надышали атмосферу!.. Дьякон — прав, чёрт! Выпьем, однако. Я тебя таким бордо угощу — затрепещешь! Дуняша!

Сел к столу, потирая руки, покусывая губы. Сказал горничной, какое принести вино, и, растирая темные волосы на щеках, затрещал, заговорил:

— Люблю дьякона — умный. Храбрый. Жалко его. Третьего дня он сына отвез в больницу и знает, что из больницы повезет его только на кладбище. А он его любит, дьякон. Видел я сына... Весьма пламенный юноша. Вероятно, таков был Сен-Жюст.

Клим слушал его и с удивлением, не веря себе, чувствовал, что сегодня Лютов симпатичен.

«Не потому ли, что я обижен?» — спросил он себя, внутренно усмехаясь и чувствуя, что обида всё еще живет в нем, вспоминая двор и небрежное, разрешающее словечко агента охраны:

«Можете».

Пришел Макаров, усталый и угрюмый, сел к столу, жадно, залпом выпил стакан вина.

— Анатомировал девицу, горничную,— начал он рассказывать, глядя в стол.— Украшала дом, вывалилась из окна. Замечательные переломы костей таза. Вдребезг.

— Не надо о покойниках,— попросил Лютов. И, глядя в окно, сказал: — Я вчера во сне Одиссея видел, каким он изображен на виньетке к первому изданию «Илиады» Гнедича; распахал Одиссей песок и засевает его солью. У меня, Самгин, отец — солдат, под Севастополем воевал, во французов влюблен, «Илиаду» читает, похваливает: вот как в старину благородно воевали! Да...

Остановясь среди комнаты, он взмахнул рукою, хотел еще что-то сказать, но явился дьякон, смешно одетый в старенькую, короткую для его роста поддевку и очень смущенный этим. Макаров стал подшучивать над ним, он усмехнулся уныло и загудел:

— Пришлось снять мундир церкви воинствующей. Надобно привыкать к инобытию. Угости чаем, хозяин.

За чаем выпили коньяку, потом дьякон и Макаров сели играть в шашки, а Лютов забегал по комнате,

передергивая плечами, не находя себе места; подбегал к окнам, осторожно выглядывал на улицу и бормотал:

— Идут. Всё идут.

Присел к столу и, убавив огонь лампы, закрыл глаза. Самгин, чувствуя, что настроение Лютова заражает его, хотел уйти, но Лютов почему-то очень настойчиво уговорил его остаться ночевать.

— А утром все пойдем на Ходынку, интересно все-таки. Хотя смотреть можно и с крыши. Костя — где у нас подзорная труба?

Клим остался, начали пить красное вино, а потом Лютов и дьякон незаметно исчезли, Макаров начал учиться играть на гитаре, а Клим, охмелев, ушел наверх и лег спать. Утром Макаров, вооруженный медной трубою, разбудил его.

— Что-то случилось на Ходынке, народ бежит оттуда. Я — на крышу иду, хочешь?

Самгин не выспался, идти на улицу ему не хотелось, он и на крышу полез неохотно. Оттуда даже невооруженные глаза видели над полем облако серовато-желтого тумана. Макаров, посмотрев в трубу и передавая ее Климу, сказал, сонно щурясь:

— Икра.

Да, поле, накрытое непонятным облаком, казалось смазано толстым слоем икры, и в темной массе ее, среди мелких, кругленьких зерен, кое-где светились белые, красные пятна, прожилки.

— Красные рубахи — точно раны,— пробормотал Макаров и зевнул воющим звуком.— Должно быть, наврали, никаких событий нет,— продолжал он, помолчав. — Скучно смотреть на концентрированную глупость.

И, приглаживая нечесаные волосы, он сел около печной трубы, говоря:

— А Владимир не ночевал дома; только сейчас явился. Трезвый однако...

Огромный пестрый город гудел, ревел, непрерывно звонили сотни колоколов, сухо и дробно стучали колеса экипажей по шишковатым мостовым, все звуки сливались в один, органный, мощный. Черная сеть птиц шумно трепетала над городом, но ни одна из них не

летела в сторону Ходынки. Там, далеко, на огромном поле, под грязноватой шапкой тумана, утвердилась плотно спрессованная, икряная масса людей. Она казалась единым телом, и, только очень сильно напрягая зрение, можно было различить чуть заметные колебания икринок; иногда над ними как будто нечто вспухало, но быстро тонуло в их вязкой густоте. Оттуда на крышу тоже притекал шум, но — не ликующий шум города, а какой-то зимний, как вой метели; он плыл медленно, непрерывно, но легко тонул в звоне, грохоте и реве.

Не отрывая глаз от медного ободка трубы, Самгин очарованно смотрел. Неисчислимая толпа напоминала ему крестные ходá, пугавшие его в детстве, многотысячные молебны чудотворной иконе Орапской божией матери; сквозь поток шума звучал в памяти возглас дяди Хрисанфа:

«Приидите, поклонимся, припадем»...

Он различал, что под тяжестью толпы земля волнообразно зыблется, шарики голов подпрыгивают, точно зерна кофе на горячей сковороде; в этих судорогах было что-то жуткое, а шум постепенно становился похожим на заунывное, но грозное пение неисчислимого хора.

Представилось, что, если эта масса внезапно хлынет в город,— улицы не смогут вместить напора темных потоков людей, люди опрокинут дома, растопчут их руины в пыль, сметут весь город, как щетка сметает сор.

Клим стал смотреть на необъятное для глаза нагромождение разнообразных зданий Москвы. Воздух над городом был чист, золотые кресты церквей, отражая солнце, пронзали его острыми лучами, разбрасывая их над рыжими и зелеными квадратами крыш. Город напоминал старое, грязноватое и местами изорванное одеяло, пестро покрытое кусками ситцев. В длинных дырах его копошились небольшие фигурки людей, и казалось, что движение их становится всё более тревожным, более бессмысленным; встречаясь, они останавливались, собирались небольшими группами, затем все шли в одну сторону или же быстро бежали прочь друг от друга, как бы испуганные. В одной из трещин

города появился синий отряд конных, они вместе с лошадями подскакивали на мостовой, как резиновые игрушки, над ними качались, точно удилища, тоненькие древки, мелькали в воздухе острия пик, похожие на рыб.

— В сущности, город — беззащитен, — сказал Клим, но Макарова уже не было на крыше, он незаметно ушел. По улице, пад серым булыжником мостовой. с громом скакали черные лошади, запряженные в зеленые телеги, сверкали медные головы пожарных, и всё это было странно, как сновидение. Клим Самгин спустился с крыши, вошел в дом, в прохладную тишину. Макаров сидел у стола с газетой в руке и читал, прихлебывая крепкий чай.

— Ну, что? — спросил он, не поднимая глаз.

— Не знаю, но как будто...

— Вероятно, драка,— сказал Макаров и щелкнул пальцами по газете.— Какие пошлости пишут...

Минут пять молча пили чай. Клим прислушивался к шарканью и топоту на улице, к веселым и тревожным голосам. Вдруг точно подул неощутимый, однако сильный ветер и унес весь шум улицы, оставив только тяжелый грохот телеги, звон бубенчиков. Макаров встал, подошел к окну и оттуда сказал громко:

— Ну, вот и разгадка. Смотри.

По улице, раскрашенной флагами, четко шагал толстый, гнедой конь, гривастый, с мохнатыми ногами; шагал, сокрушенно покачивая большою головой, встряхивая длинной челкой. У дуги шел, обнажив лысую голову, широкоплечий бородатый извозчик, часть вожжей лежала на плече его, он смотрел под ноги себе, и все люди, останавливаясь, снимали пред ним фуражки, шляпы. С телеги, из-под нового брезента, высунулась и просительно нищенски тряслась голая по плечо рука, окрашенная в синий и красный цвета, на одном из ее пальцев светилось золотое кольцо. Рядом с рукой качалась рыжеватая растрепанная коса, а на задке телеги вздрагивала нога в пыльном сапоге, противоестественно свернутая набок.

— Человек шесть,— пробормотал Макаров.— Ясно, что драка.

Он говорил еще что-то, но, хотя в комнате и на улице было тихо, Клим не понимал его слов, провожая телегу и глядя, как ее медленное движение заставляет встречных людей врастать в панели, обнажать головы. Серые тени испуга являлись на лицах, делая их почти однообразными.

Проехала еще одна старенькая, расхлябанная телега, нагруженная измятыми людями, эти не были покрыты, одежда на них изорвана в клочья, обнаженные части тел в пыли и грязи. Потом пошли один за другим, но все больше, гуще, нищеподобные люди, в лохмотьях, с растрепанными волосами, с опухшими лицами; шли они тихо, на вопросы встречных отвечали кратко и неохотно; многие хромали. Человек с оборванной бородою и синим лицом удавленника шагал, положив правую руку свою на плечо себе, как извозчик вожжи, левой он поддерживал руку под локоть; он, должно быть, говорил что-то, остатки бороды его тряслись. Большинство искалеченных людей шло по теневой стороне улицы, как будто они стыдились или боялись солнца. И все они казались жидкими, налитыми какой-то мутной влагой; Клим ждал, что на следующем шаге некоторые из них упадут и растекутся по улице грязью. Но они не падали, а всё шли, шли, и скоро стало заметно, что встречные, неизломанные люди поворачиваются и шагают в одну сторону с ними. Самгин почувствовал, что это особенно угнетает его.

— Для драки — слишком много,— не своим голосом сказал Макаров.— Пойду расспрошу...

Самгин пошел с ним. Когда они вышли на улицу, мимо ворот шагал, покачиваясь, большой человек с выпученным животом, в рыжем жилете, в оборванных, по колени, брюках, в руках он нес измятую шляпу и, наклоня голову, расправлял ее дрожащими пальцами. Остановив его за локоть, Макаров спросил:

— Что случилось?

Человек открыл волосатый рот, посмотрел мутными глазами на Макарова, на Клима и, махнув рукой, пошел дальше. Но через три шага, волком обернувшись назад, сказал громко:

— Все — виноватые. Все.

— Ответ преступника,— проворчал Макаров и, как мастеровой, сплюнул сквозь зубы.

Пошли какие-то возбужденные и общительные, бестолковые люди, они кричали, завывали, но трудно было понять, что они говорят. Некоторые даже смеялись, лица у них были хитрые и счастливые.

Ехала бугристо нагруженная зеленая телега пожарной команды, под ее дугою качался и весело звонил колокольчик. Парой рыжих лошадей правил красноликий солдат в синей рубахе, медная голова его ослепительно сияла. Очень странное впечатление будили у Самгина веселый колокольчик и эта медная башка, сиявшая празднично. За этой телегой ехала другая, третья и еще, и над каждой торжественно возвышалась медная голова.

— Троящы,— бормотал Макаров.

Клим пораженно провожал глазами одну из телег. На нее был погружен лишний человек, он лежал сверх трупов, аккуратно положенных вдоль телеги, его небрежно взвалили вкось, почти поперек их, и он высунул из-под брезента голые разномерные руки; одна была коротенькая, торчала деревянно и растопырив пальцы звездой, а другая — длинная, очевидно, сломана в локтевом сгибе; свесившись с телеги, она свободно качалась, и кисть ее, на которой не хватало двух пальцев, была похожа на клешню рака.

«Камень — дурак. Дерево — дурак»,— вспомнил Клим.

— Я больше не могу,— сказал он, идя во двор. За воротами остановился, снял очки, смигнул с глаз пыльную пелену и подумал: «Зачем же он... он-то зачем пошел? Ему — не следовало...»

Вспомнилась неудачная шутка гимназиста Ивана Дронова:

«Рука — от глагола рушить, разрушать».

Макаров, за воротами, удивленно и вопросительно крикнул:

— Стойте, куда вы?

Вслед за этим он втолкнул во двор Маракуева, без фуражки, с растрепанными волосами, с темным лицом и засохшей рыжей царапиной от уха к носу.

Держался Маракуев неестественно прямо, смотрел на Макарова тусклым взглядом налитых кровью глаз и хрипло спрашивал сквозь зубы:

— Вы — где были? Видели?

В неподвижных глазах его, в деревянной фигуре было что-то страшное, безумное. На нем висел широкий, с чужого плеча, серый измятый пиджак с оторванным карманом, пестренькая ситцевая рубаха тоже была разорвана на груди; дешевые люстриновые брюки измазаны зеленой краской. Страшнее всего казалась Климу одеревенелость Маракуева, он стоял так напряженно вытянувшись, как будто боялся, что если он вынет руки из карманов, наклонит голову или согнет спину, то его тело сломается, рассыплется на куски. Стоял и спрашивал одними и теми же словами:

— Где вы были?

Макаров не ввел, а почти внес его в комнаты, втолкнул в уборную, быстро раздел по пояс и начал мыть. Трудно было нагнуть шею Маракуева над раковиной умывальника, веселый студент, отталкивая Макарова плечом, упрямо не хотел согнуться, упруго выпрямлял спину и мычал:

— Подождите... я сам! Не надо...

Казалось, что он боится воды, точно укушенный бешеной собакой.

— Найди горничную, спроси у нее белье,— командовал Макаров.

Клим покорно ушел, он был рад не смотреть на расплющенного человека. В поисках горничной, переходя из комнаты в комнату, он увидал Лютова; босый, в ночном белье, Лютов стоял у окна, держась за голову. Обернувшись на звук шагов, недоуменно мигая, он спросил, показав на улицу нелепым жестом обеих рук:

— Это — что?

— Случилось какое-то... несчастие,— ответил Клим. Слово несчастие он произнес не сразу, нетвердо, подумав, что надо бы сказать другое слово, но в голове его что-то шумело, шипело, и слова не шли на язык.

Когда он и Лютов вышли в столовую, Маракуев уже лежал, вытянувшись на диване, голый, а Макаров, засучив рукава, покрякивая, массировал ему грудь,

живот, бока. Осторожно поворачивая шею, перекатывая по кожаной подушке влажную голову, Маракуев говорил, откашливаясь, бессвязно и негромко, как в бреду:

— Передавили друг друга. Страшная штука. Вы — видели? Чёрт... Расползаются с поля люди и оставляют за собой трупы. Заметили вы: пожарные едут с колоколами, едут и — звонят! Я говорю: «Подвязать надо, нехорошо!» Отвечают: «Нельзя». Идиоты с колокольчиками... Вообще, я скажу...

Он замолчал, закрыл глаза, потом начал снова:

— Впечатление такое, что они всё еще давят, растопчут человека и уходят, не оглядываясь на него. Вот это — уходят... удивительно! Идут, как по камням... В меня...

Маракуев приподнял голову, потом, упираясь руками в диван, очень осторожно сел и, усмехаясь совершенно невероятной гримасой, от которой рот его изогнулся серпом, исцарапанное лицо уродливо расплылось, а уши отодвинулись к затылку, сказал:

— В меня — шагали, понимаете? Нет, это... надо испытать. Человек лежит, а на него ставят ноги, как на болотную кочку! Давят... а? Живой человек. Невообразимо.

— Одевайтесь,— сказал Макаров, внимательно присматриваясь к нему и подавая белье.

Сунув голову в рубаху и выглядывая из нее, точно из снежного сугроба, Маракуев продолжал:

— Трупов — сотни. Некоторые лежат, как распятые, на земле. А у одной женщины голова затоптана в ямку.

— Зачем вы пошли? — строго спросил Клим, вдруг догадавшись, зачем Маракуев был на Ходынском поле переряженным в костюм мастерового.

— Я — поговорить... узнать,— ответил студент, покашливая и всё более приходя в себя.— Пыли наглотался...

Он встал на ноги, посмотрел неуверенно в пол, снова изогнул рот серпом. Макаров подвел его к столу, усадил, а Лютов сказал, налив полстакана вина:

— Выпейте.

Это было его первое слово. До этого он сидел молча, поставив локти на стол, сжав виски ладонями, и смотрел на Маракуева, щурясь, как на яркий свет.

Маракуев взял стакан, заглянул в него и поставил на стол, говоря:

— Женщина лежала рядом с каким-то бревном, а голова ее высунулась за конец бревна, и на голову ей ставили ноги. И втоптали. Дайте мне чаю...

Он говорил всё охотнее и менее хрипло.

— Я пришел туда в полночь... и меня всосало. Очень глубоко. Уже некоторые стояли в обмороке. Как мертвые даже. Такая, знаете, гуща, трясина... И — свинцовый воздух, нечем дышать. К утру некоторые сошли с ума, я думаю. Кричали. Очень жутко. Такой стоял рядом со мною и всё хотел укусить. Били друг друга затылками по лбу, лбами по затылкам. Коленями. Наступали на пальцы ног. Конечно, это не помогало, нет! Я — знаю. Я — сам бил,— сказал он, удивленно мигая, и потыкал пальцем в грудь себе.— Куда же деваться? Облеплен людями со всех сторон. Бил...

Пришел дьякон, только что умывшийся, мокробородый, раскрыл рот, хотел спросить о чем-то,— Лютов, мигнув на Маракуева, зашипел. Но Маракуев молча согнулся над столом, размешивая чай, а Клим Самгин вслух подумал:

— Как ужасно должен чувствовать себя царь!

— Нашел кого пожалеть,— иронически подхватил Лютов, остальные трое не обратили внимания на слова Клима. Макаров, хмурясь, вполголоса рассказывал дьякону о катастрофе.

— По человечеству — жалко,— продолжал Клим, обращаясь к Лютову.— Представь, что на твоей свадьбе случилось бы несчастие...

Это было еще более бестактно. Клим, чувствуя, что у него покраснели уши, мысленно обругал себя и замолчал, ожидая, что скажет Лютов. Но сказал Маракуев.

— Возмущенных — мало! — сказал он, встряхнув головой.—Возмущенных я не видел. Нет. А какой-то... странный человек в белой шляпе собирал доброволь-

цев могилы копать. И меня приглашал. Очень... деловитый. Приглашал так, как будто он давно ждал случая выкопать могилу. И — большую, для многих.

Он выпил чаю, поел, вышил коньяку; его каштановые кудри высохли и распушились, мутные глаза посветлели.

— Чудовищную силу обнаруживали некоторые,— вспоминал он, сосредоточенно глядя в пустой стакан.— Ведь невозможно, Макаров, сорвать рукою, пальцами, кожу с черепа, не волосы, а — кожу?

— Невозможно,— угрюмо и уверенно повторил Макаров.

— А один... человек сорвал, вцепился ногтями в затылок толстому рядом со мною и вырвал кусок... кость обнажилась. Он первый и меня ударил...

— Вам уснуть надо,— сказал Макаров.— Идите-ко...

— Изумительную силу обнаруживали,— покорно следуя за Макаровым, пробормотал студент.

— Как же всё это было? — спросил дьякон, стоя у окна.

Ему не ответили. Клим думал: как поступит царь? И чувствовал, что он впервые думает о царе как о существе реальном.

— Что же мы делать будем? — снова спросил дьякон, густо подчеркнув местоимение.

— Могилы копать,— проворчал Лютов.

Дьякон посмотрел на него, на Клима, сжал тройную бороду свою в кулак и сказал:

— «Господь — ревнив, и мстяй господь, мстяй господь с яростию, господь мстяй сопостатам своим и сам истребляяй враги своя»...

Клим взглянул на него с изумлением: неужели дьякон может и хочет оправдать?

Но тот, качая головой, продолжал:

— Жестокие, сатанинские слова сказал пророк Наум. Вот, юноши, куда посмотрите: кары и мести отлично разработаны у нас, а — награды? О наградах — ничего не знаем. Данты, Мильтоны и прочие, вплоть до самого народа нашего, ад расписали под-

робнейше и прегрозно, а — рай? О рае ничего нам не сказано, одно знаем: там ангелы Саваофу осанну поют.

Внезапно ударив кулаком по столу, он наполнил комнату стеклянной дрожью посуды и, свирепо выкатив глаза, закричал пьяным голосом:

— А — за что осанна? Вопрошаю: за что осанна-то? Вот, юноши, вопрос: за что осанна? И кому же тогда анафема, если ада зиждителю осанну возглашают, а?

— Перестань,— попросил Лютов, махнув на него рукой.

— Нет, погоди: имеем две критики, одну — от тоски по правде, другую — от честолюбия. Христос рожден тоской по правде, а — Саваоф? А если в Гефсиманском-то саду чашу страданий не Саваоф Христу показал, а — Сатана, чтобы посмеяться? Может, это и не чаша была, а — кукиш? Юноши, это вам надлежит решить...

Очень быстро вошел Макаров и сказал Климу:

— Он говорит, что видел там дядю Хрисанфа и этого... Диомидова, понимаешь?..

Макаров звучно ударил кулаком по своей ладони, лицо его побледнело.

— Надо узнать, съездить...

— К Лидии,— договорил Клим.

— Едем вместе. Владимир, пошли за доктором. У Маракуева рвота с кровью.

Идя в прихожую, он зачем-то сообщил:

— Его зовут — Петр.

На улице было людно и шумно, но еще шумнее стало, когда вышли на Тверскую. Бесконечно двигалась и гудела толпа оборванных, измятых, грязных людей. Негромкий, но сплошной ропот стоял в воздухе, его разрывали истерические голоса женщин. Люди устало шли против солнца, наклоня головы, как бы чувствуя себя виноватыми. Но часто, когда человек поднимал голову, Самгин видел на истомленном лице выражение тихой радости.

Самгин был утомлен впечатлениями, и его уже не волновали все эти скорбные, испуганные, освещенные любопытством и блаженно тупенькие лица, мелькав-

ние на улице, обильно украшенной трехцветными флагами. Впечатления позволяли Климу хорошо чувствовать его весомость, реальность. О причине катастрофы не думалось. Да, в сущности, причина была понятна из рассказа Маракуева: люди бросились за «конфетками» и передавили друг друга. Это позволило Климу смотреть на них с высоты экипажа равнодушно и презрительно.

Макаров сидел боком к нему, поставив ногу на подножку пролетки и как бы готовясь спрыгнуть на мостовую. Он ворчал:

— Чёрт знает, как эти дурацкие флаги режут глаз!

— Вероятно, царь щедро наградит семьи убитых,— соображал Клим, а Макаров, попросив извозчика ехать скорее, вспомнил, что на свадьбе Марии Антуанетты тоже случилось какое-то несчастие.

«Верен себе,— подумал Клим.— И тут у него на первом месте женщина, Людовика точно и не было».

Квартира дяди Хрисанфа была заперта, на двери в кухню тоже висел замок. Макаров потрогал его, снял фуражку и вытер вспотевший лоб. Он, должно быть, понял запертую квартиру как признак чего-то дурного; когда вышли из темных сеней на двор, Клим увидал, что лицо Макарова осунулось, побледнело.

— Надо узнать, куда свозят... раненых. Надо объехать больницы. Идем.

— Ты думаешь...

Но Макаров не дал Климу договорить.

— Идем,— грубо сказал он.

До вечера они объехали, обегали десяток больниц, дважды возвращались к железному кулачку замка на двери кухни Хрисанфа. Было уже темно, когда Клим, вполголоса, предложил съездить на кладбище.

— Ерунда,— резко сказал Макаров.— Ты — молчи.

И через минуту добавил возмущенно:

— Этого не может быть.

У него совершенно неестественно заострились скулы, он двигал челюстью, как бы скрипя зубами, и вертел головою, присматриваясь к суете встревоженных людей. Люди становились всё тише, говорили ворчливее, вечер делал их тусклыми.

Настроение Макарова, внушая тревогу за Лидию, подавляло Клима. Он устал физически и, насмотревшись на сотни избитых, изорванных людей, чувствовал себя отравленным, отупевшим.

Они шли пешком, когда из какого-то переулка выехал извозчик, в пролетке сидела растрепанная Варвара, держа шляпку и зонтик на коленях.

— Отчима задавили,— крикнула она, толкая извозчика в спину; Самгину послышалось, что она крикнула это с гордостью.

— Где Лидия? — спросил Макаров, прежде чем успел сделать это Клим. Спрыгнув на панель, девушка механически, но все-таки красивым жестом сунула извозчику деньги и пошла к дому, уже некрасиво размахивая зонтом в одной руке, шляпой в другой; истерически громко она рассказывала:

— Неузнаваем. Нашла по сапогам и перстню, помните? — Сердоликовый? Ужас. Лица — нет...

Лицо у нее было оплакано, подбородок дрожал, но Климу казалось, что зеленоватые глаза ее сверкают злобно.

— Где Лидия? — настойчиво повторил Макаров, снова обогнав Клима.

— Ищет Диомидова. Один актер видел его около Александровского вокзала и говорит, что он сошел с ума, Диомидов...

Громкий голос Варвары собирал вокруг нее праздничных людей; человек с тросточкой, в соломенной шляпе, толкая Самгина, заглядывал в лицо девушки, спрашивая:

— Неужели — десять тысяч? И много сумасшедших?

Он снял шляпу и воскликнул почти с восторгом:

— Какое необыкновенное несчастие!

Клим оглянулся: почему Макаров не прогонит этого идиота? Но Макаров исчез.

У себя в комнате Варвара, резкими жестами разбрасывая по столу, по кровати зонтик, шляпу, мокрый комок платка, портмоне, отрывисто говорила:

— Щека разорвана, язык висит из раны. Я видела не менее трехсот трупов... Больше. Что же это, Самгин? Ведь не могли они сами себя...

Расхаживая по комнате быстро и легко, точно ее ветром носило, она отирала лицо мокрым полотенцем и всё искала чего-то, хватая с туалетного стола гребенки, щетки, тотчас же швыряла их на место. Облизывала губы, кусала их.

— Пить, Самгин, страшно хочу пить...

Зрачки ее были расширены и помутнели, опухшие веки, утомленно мигая, становились всё более красными. И, заплакав, разрывая мокрый от слез платок, она кричала:

— Он был мне ближе матери... такой смешной, милый. И милая его любовь к народу... А они, на кладбище, говорят, что студенты нарыли ям, чтоб возбудить народ против царя. О, боже мой...

Самгин растерялся, он еще не умел утешать плачущих девиц и находил, что Варвара плачет слишком картинно, для того чтоб это было искренно. Но она и сама успокоилась, как только пришла мощная Анфимьевна и ласково, но деловито начала рассказывать:

— Перенесли его в часовенку, а домой не хотят отпускать, очень упрашивали не брать домой Хрисанфа Васильича. Судите сами, говорят, какие же теперь возможные похороны, когда торжество.

Пригорюнясь, кухарка сказала:

— И — верно, Варя, что уж дразнить царя? Бог с ними, со всеми; их грех, их ответ.

Варвара молча кивала головой, затем, попросив чаю, ушла к себе, а через несколько минут явилась в черном платье, причесанная, с лицом хотя и печальным, но успокоенным.

За чаем Клим, посмотрев на часы, беспокойно спросил:

— А как вы думаете: найдет Лидия этого, Диомидова?

— Как же я могу знать? — сухо сказала она и пророческим тоном человека с большим жизненным опытом заговорила:

— Я не одобряю ее отношение к нему. Она не различает любовь от жалости, и ее ждет ужасная ошибка. Диомидов удивляет, его жалко, но — разве можно любить такого? Женщины любят сильных и смелых,

этих они любят искренно и долго. Любят, конечно, и людей со странностями. Какой-то ученый немец сказал: «Чтобы быть замеченным, нужно впадать в странности».

Как будто забыв о смерти отчима, она минут пять критически и придирчиво говорила о Лидии, и Клим понял, что она не любит подругу. Его удивило, как хорошо она до этой минуты прятала антипатию к Лидии,— и удивление несколько подняло зеленоглазую девушку в его глазах. Потом она вспомнила, что надо говорить об отчиме, и сказала, что хотя люди его типа — отжившие люди, но все-таки в них есть своеобразная красота.

Клим чувствовал себя всё более тревожно, неловко, он понимал, что было бы вообще приличней и тактичнее по отношению к Лидии, если б он ходил по улицам, искал ее, вместо того чтоб сидеть здесь и пить чай. Но теперь и уйти неловко.

Было уже темно, когда вбежала Лидия, а Макаров ввел под руку Диомидова. Самгину показалось, что всё в комнате вздрогнуло и опустился потолок. Диомидов шагал прихрамывая, кисть его левой руки была обернута фуражкой Макарова и подвязана обрывком какой-то тряпки к шее. Не своим голосом он говорил, задыхаясь:

— Я ведь знал... я не хотел...

Светлые его волосы свалялись на голове комьями овечьей шерсти; один глаз затек темной опухолью, а другой, широко раскрытый и мутный, страшно вытаращен. Он был весь в лохмотьях, штанина разорвана поперек, в дыре дрожало голое колено, и эта дрожь круглой кости, обтянутой грязной кожей, была отвратительна.

Макаров бережно усадил его на стул у двери — обычное место Диомидова в этой комнате; бутафор утвердил на полу прыгающую ногу и, стряхивая рукою пыль с головы, сипло закричал:

— Я говорил: расколоть, раздробить надо, чтобы не давили друг друга. О, господи!

— Ну-с, что же будем делать? — резко спросил Макаров Лидию.— Горячей воды нужно, белья. Нужно было отвезти его в больницу, а не сюда...

— Молчите! Или — уходите прочь,— крикнула Лидия, убегая в кухню. Ее злой крик заставил Варвару завыть голосом деревенской бабы-кликуши:

— Нужно судить, проклясть, казнить...

Глядя на Диомидова, она схватилась за голову, качалась, сидя на стуле, и топала ногами. Диомидов тоже смотрел на нее вытаращенным взглядом и кричал:

— Каждому — свое пространство! И — не смейте! Никаких приманок! Не надо конфект! Не надо кружек!

Нога его снова начала прыгать, дробно притопывая по полу, колено выскакивало из дыры; он распространял тяжелый запах кала. Макаров придерживал его за плечо и громко, угрюмо говорил Варваре:

— Белья дайте, полотенцев... Что же кричать? Казнят, не беспокойтесь.

— Каждый — отдельно,— выкрикивал Диомидов, из его глаз двумя непрерывными струйками текли слезы.

Вбежала Лидия; оттолкнув Макарова, легко поставив Диомидова на ноги, она повела его в кухню.

— Неужели она сама будет мыть? — спросил Клим, брезгливо сморщив лицо и вздрагивая.

Варвара, встряхнув головою, рассыпала обильные рыжеватые волосы свои по плечам и быстро ушла в комнату отчима; Самгин, проводив ее взглядом, подумал, что волосы распустить следовало раньше, не в этот момент, а Макаров, открыв окна, бормотал:

— Нашел я их на шоссе. Этот стоит и орет, проповедует: разогнать, рассеять, а Лидия уговаривает его идти с ней... «Ненавижу я всех твоих»,— кричит он...

В городе потрескивало и выло, как будто в огромнейшей печке яростно разгорались сыроватые дрова.

— Интересно — будет ли иллюминация? — соображал Клим.

— Конечно, отменена — что ты? — сердито заметил Макаров.

— Зачем же? — возразил Клим.— Это — развлекает. Было бы глупо, если б отменили.

Макаров промолчал, присев на подоконник, пощипывая усы.

— Диомидов — сошел с ума? — спросил Самгин, не без надежды на утвердительный ответ; Макаров ответил не сразу и неутешительно:

— Едва ли. Он — из таких типов, которые всю жизнь живут на границе безумия... мне кажется.

В двери явилась Лидия. Она встала, как бы споткнувшись о порог, которого не было; одною рукой схватилась за косяк, другой прикрыла глаза.

— Не могу,— сказала она, покачиваясь, как будто выбирая место, куда упасть.— Не могу,— повторила она очень странным тоном, виновато и с явным удивлением. Рукава ее блузы закатаны до локтей, с мокрой юбки на пол шлепались капли воды.

— Идите, вымойте его,— попросила она, закрыв лицо руками.

— Идем, поможешь,— сказал Макаров Климу.

В кухне на полу, пред большим тазом, сидел голый Диомидов, прижав левую руку ко груди, поддерживая ее правой. С мокрых волос его текла вода, и казалось, что он тает, разлагается. Его очень белая кожа была выпачкана калом, покрыта синяками, изорвана ссадинами. Неверным движением правой руки он зачерпнул горсть воды, плеснул ее на лицо себе, на опухший глаз; вода потекла по груди, не смывая с нее темных пятен.

— У каждого — свое пространство,— бормотал он.— Прочь друг от друга... Я — не игрушка...

— Исаак,— не совсем уместно вспомнил Клим Самгин, но тотчас поправился: — Идоложертвенное мясо.

Кухарка Анфимьевна стояла у плиты, следя, как вода, вытекая из крана, фыркает и брызжет в котел.

— Совсем сбрендил паренек,— неодобрительно сказала она, косясь на Диомидова.— Из простых, а — нежный. С капризом. Взял да и выплеснул на Лидочку ковш воды...

Самгин услыхал какой-то странный звук, как будто Макаров заскрипел зубами. Сняв тужурку, он осторожно и ловко, как женщина ребенка, начал мыть Диомидова, встав пред ним на колени.

И вдруг Самгин почувствовал, что его обожгло возмущение: вот это испорченное тело Лидия будет

обнимать, может быть, уже обнимала? Эта мысль тотчас же вытолкнула его из кухни. Он быстро прошел в комнату Варвары, готовясь сказать Лидии какие-то сокрушительные слова.

Лидия сидела на постели; обняв одной рукою Варвару, она заставляла ее нюхать что-то из граненого флакона, огонь лампы окрашивал флакон в радужные цвета.

— Что? — спросила она.

— Моет,— сухо ответил Клим.

— Ему больно?

— Кажется — нет.

— Варя,— сказала Лидия,— я не умею утешать. И вообще надо ли утешать? Я не знаю...

— Уйдите, Самгин,— крикнула Варвара, падая боком на постель.

Клим ушел, не сказав Лидии ни слова.

«У нее такое замученное лицо. Может быть, она теперь... излечится».

На тумбах, жирно дымя, пылали огни сальных плошек. Самгин нашел, что иллюминация скудна и даже в огне есть что-то нерешительное, а шум города недостаточно праздничен, сердит, ворчлив. На Тверском бульваре собрались небольшие группы людей; в одной ожесточенно спорили: будет фейерверк или нет? Кто-то горячо утверждал:

— Будет!

Высокий человек в серой шляпе сказал уверенно и строго:

— Государь император не позволит шуток.

А третий голос старался примирить разногласия:

— Фейерверк отменили на завтра.

— Государь император...

Откуда-то из-за деревьев раздался звонкий крик:

— Он теперь вот в Дворянском собрании пляшет, государь-то, император-то!

Все посмотрели туда, а двое очень решительно пошли на голос и заставили Клима удалиться прочь.

«Если правда, что царь поехал на бал, значит — он человек с характером. Смелый человек. Диомидов — прав...»

Он шел к Страстной площади сквозь хаос говора, механически ловя отдельные фразы. Вот кто-то удалым голосом крикнул:

— Эх, думаю, не пропадать же!

«Вероятно — наступил в человека, может быть — в Маракуева»,— соображал Клим. Но вообще ему не думалось, как это бывает всегда, если человек слишком перегружен впечатлениями и тяжесть их подавляет мысль. К тому же он был голоден и хотел пить.

У памятника Пушкину кто-то говорил небольшой кучке людей:

— Нет, вы подумайте обо всем порядке нашей жизни, как нами управляют, например?

Самгин взглянул на оратора и по курчавой бороде, по улыбке на мохнатом лице узнал в нем словоохотливого своего соседа по нарам в подвале Якова Платонова.

«Камень — дурак...»

На площади его обогнал Поярков, шагавший, как журавль. Самгин нехотя окрикнул его:

— Куда вы?

Поярков пошел в ногу с ним, говоря вялым голосом, негромко:

— С утра хожу, смотрю, слушаю. Пробовал объяснять. Не доходит. А ведь просто: двинуться всей массой прямо с поля на Кремль, и — готово! Кажется, в Брюсселе публика из театра, послушав «Пророка», двинулась и — получила конституцию... Дали.

Остановясь пред дверями маленького ресторана, он предложил:

— Зайдемте в эту «пристань горестных сердец». Мы тут с Маракуевым часто бываем...

Когда Клим рассказал о Маракуеве, Поярков вздохнул:

— Могло быть хуже. Говорят, погибло тысяч пять. Баталия.

Говорил Поярков глухо, лицо его неестественно вытянулось, и Самгину показалось, что он впервые сегодня заметил под унылым, длинным носом Пояркова рыжеватые усы.

«Напрасно он подбородок бреет»,— подумал Клим.

— На днях купец, у которого я урок даю, сказал: «Хочется блинов поесть, а знакомые не умирают». Спрашиваю: «Зачем же нужно вам, чтоб они умирали?— «А блин, говорит, особенно хорош на поминках». Вероятно, теперь он поест блинов...

Клим ел холодное мясо, запивая его пивом, и, невнимательно слушая вялую речь Пояркова, заглушаемую трактирным шумом, ловил отдельные фразы. Человек в черном костюме, бородатый и толстый, кричал:

— Пользуясь народным несчастием, нельзя под шумок сбывать фальшивые деньги...

— Ловко сказано,— похвалил Поярков.— Хорошо у нас говорят, а живут — плохо. Недавно я прочитал у Татьяны Пассек: «Мир праху усопших, которые не сделали в жизни ничего, ни хорошего, ни дурного». Как это вам нравится?

— Странно,— ответил Клим с набитым ртом.

Поярков помолчал, выпил пива, потом сказал, вздохнув:

— Тут — какое-то тихое отчаяние...

У стола явился Маракуев, щека его завязана белым платком, из кудрявых волос смешно торчат узел и два беленьких уха.

— Был уверен, что ты здесь,— сказал он Пояркову, присаживаясь к столу.

Наклонясь друг ко другу, они перешептнулись.

— Я — мешаю? — спросил Самгин; Поярков искоса взглянул на него и пробормотал:

— Ну, чему же вы можете помешать?

И, вздохнув, продолжал:

— Я вот сказал ему, что марксисты хотят листки выпустить, а — мы...

Маракуев перебил его ворчливую речь:

— Вы, Самгин, хорошо знаете Лютова? Интересный тип. И — дьякон тоже. Но — как они зверски пьют! Я до пяти часов вечера спал, а затем они меня поставили на ноги и давай накачивать! Сбежал я и вот всё мотаюсь по Москве. Два раза сюда заходил...

Он закашлялся, сморщив лицо, держась за бок.

— Пыли я наглотался — на всю жизнь,— сказал он.

В противоположность унылому Пояркову этот был настроен оживленно и болтливо. Оглядываясь, как человек, только что проснувшийся и еще не понимающий — где он, Маракуев выхватывал из трактирных речей отдельные фразы, словечки и, насмешливо или задумчиво, рассказывал на схваченную тему нечто анекдотическое. Он был немного выпивши, но Клим понимал, что одним этим нельзя объяснить его необычное и даже несколько пугающее настроение.

«Если он рад тому, что остался жив — нелепо радуется... Может быть, он говорит для того, чтоб не думать?»

— Душно здесь, братцы, идемте на улицу,— предложил Маракуев.

— Я — домой,— угрюмо сказал Поярков.— С меня хватит.

Климу не хотелось спать, но он хотел бы перешагнуть из мрачной суеты этого дня в область других впечатлений. Он предложил Маракуеву ехать на Воробьевы горы. Маракуев молча кивнул головой.

— А знаете,— сказал он, усевшись в пролетку,— большинство задохнувшихся, растоптанных — из так называемой чистой публики... Городские и — молодежь. Да. Мне это один полицейский врач сказал, родственник мой. Коллеги, медики, то же говорят. Да я и сам видел. В борьбе за жизнь одолевают те, которые попроще. Действующие инстинктивно...

Он еще бормотал что-то, плохо слышное сквозь треск и дребезг старенького, развинченного экипажа. Кашлял, сморкался, отворачивая лицо в сторону, а когда выехали за город, предложил:

— Пойдемте пешком?

Впереди, на черных холмах, сверкали зубастые огни трактиров; сзади, над массой города, развалившейся по невидимой земле, колыхалось розовато-желтое зарево. Клим вдруг вспомнил, что он не рассказал Пояркову о дяде Хрисанфе и Диомидове. Это очень смутило его: как он мог забыть? Но он тотчас же сообразил, что вот и Маракуев не спрашивает о Хри-

санфе, хотя сам же сказал, что видел его в толпе. Поискав каких-то внушительных слов и не найдя их, Самгин сказал:

— Дядя Хрисанф задавлен, а Диомидов изувечен и, кажется, уже совсем обезумел.

— Нет? — тихонько воскликнул Маракуев, остановился и несколько секунд молча смотрел в лицо Клима, пугливо мигая:

— До — до смерти?

Клим кивнул головой, тогда Маракуев сошел с дороги в сторону, остановясь под деревом, прижался к стволу его и сказал:

— Не пойду.

— Вам плохо? — спросил Клим.

— Не удивляйтесь. Не смейтесь,— подавленно и задыхаясь ответил Петр Маракуев.— Нервы, знаете. Я столько видел... Необъяснимо! Какой цинизм! Подлость какая...

Климу показалось, что у веселого студента подгибаются ноги; он поддержал его под локоть, а Маракуев, резким движением руки сорвав повязку с лица, начал отирать ею лоб, виски, щеку, тыкать в глаза себе.

— Чёрт,— ведь они оба младенцы,— вскричал он.

«Плачет. Плачет»,— повторял Клим про себя. Это было неожиданно, непонятно и удивляло его до немоты. Такой восторженный крикун, неутомимый спорщик и мастер смеяться, крепкий, красивый парень, похожий на удалого деревенского гармониста, всхлипывает, как женщина, у придорожной канавы, под уродливым деревом, на глазах бесконечно идущих черных людей с папиросками в зубах. Кто-то мохнатый, остановясь на секунду за маленькой нуждою, присмотрелся к Маракуеву и весело крикнул:

— Хватил, студент, горячего до слез! Эх, и мне бы эстолько...

— Я знаю, что реветь — смешно,— бормотал Маракуев.

Недалеко взвилась, шипя, ракета и с треском лопнула, заглушив восторженное *ура* детей. Затем вспыхнул бенгальский огонь, отсветы его растеклись, лицо

Маракуева окрасилось в неестественно белый, ртутный цвет, стало мертвенно зеленым и наконец багровым, точно с него содрали кожу.

— Смешно, разумеется,— повторил он, отирая щеки быстрыми жестами зайца.— А тут, видите, иллюминация, дети радуются. Никто не понимает, никто ничего не понимает...

Лохматый человек очутился рядом с Климом и подмигнул ему.

— Нет, они — отлично понимают, что народ — дурак,— заговорил он негромко, улыбаясь в знакомую Климу курчавенькую бороду.— Они у нас аптекаря, пустяками умеют лечить.

Маракуев шагнул к нему так быстро, точно хотел ударить.

— Лечат? Кого? — заговорил он громко, как в столовой дяди Хрисанфа, и уже в две-три минуты его окружило человек шесть темных людей. Они стояли молча и механически однообразно повертывали головы то туда, где огненные вихри заставляли трактиры подпрыгивать и падать, появляться и исчезать, то глядя в рот Маракуева.

— Смело говорит,— заметил кто-то за спиною Клима, другой голос равнодушно произнес:

— Студент, что ему? Идем.

Клим Самгин отошел прочь, сообразив, что любой из слушателей Маракуева может схватить его за ворот и отвести в полицию.

Самгин почувствовал себя на крепких ногах. В слезах Маракуева было нечто глубоко удовлетворившее его, он видел, что это слезы настоящие и они хорошо объясняют уныние Пояркова, утратившего свои аккуратно нарубленные и твердые фразы, удивленное и виноватое лицо Лидии, закрывшей руками гримасу брезгливости, скрип зубов Макарова,— Клим уже не сомневался, что Макаров скрипел зубами, должен был скрипеть.

Всё это, обнаруженное людями внезапно и помимо их воли, было подлинной правдой, и знать ее так же полезно, как полезно было видеть голое, избитое и грязное тело Диомидова.

Клим быстро пошел назад, к городу, его окрыляли и подталкивали бойкие мысли:

«Я — сильнее, я не позволю себе плакать среди дороги... и вообще — плакать. Я не заплачу, потому что я не способен насиловать себя. Они скрипят зубами, потому что насилуют себя. Именно поэтому они гримасничают. Это очень слабые люди. Во всех и в каждом скрыто нехаевское... Нехаевщина, вот!..»

Зарево над Москвой освещало золотые главы церквей, они поблескивали, точно шлемы равнодушных солдат пожарной команды. Дома похожи на комья земли, распаханной огромнейшим плугом, который, прорезав в земле глубокие борозды, обнаружил в ней золото огня. Самгин ощущал, что и в нем прямолинейно работает честный плуг, вспахивая темные недоумения и тревоги. Человек с палкой в руке, толкнув его, крикнул:

— Ослеп? Ходите, дьяволы...

Толчок и окрик не спугнул, не спутал бойкий ход мысли Самгина.

«Маракуев, наверное, подружится с курчавым рабочим. Как это глупо — мечтать о революции в стране, люди которой тысячами давят друг друга в борьбе за обладание узелком дешевеньких конфект и пряников. Самоубийцы».

Это слово вполне удовлетворительно объясняло Самгину катастрофу, о которой не хотелось думать.

«Раздавили и — любуются фальшфейерами, лживыми огнями. Макаров прав: люди — это икра. Почему не я сказал это, а — он?.. И Диомидов прав, хотя глуп: людям следует разъединиться, так они виднее и понятней друг другу. И каждый должен иметь место для единоборства. Один на один люди удобопобеждаемее...»

Самгину понравилось слово, он вполголоса повторил его:

«Удобопобеждаемее... да!»

В памяти на секунду возникла неприятная картина: кухня, пьяный рыбак среди нее на коленях, по полу, во все стороны, слепо и бестолково расползаются раки, маленький Клим испуганно прижался к стене.

«Раки — это Лютовы, дьякона́ и вообще люди ненормальные... Туробоевы, Иноковы. Их, конечно, ждет участь подпольного человека Якова Платоновича. Они и должны погибнуть... как же иначе?»

Самгин почувствовал, что люди этого типа сегодня особенно враждебны ему. С ними надобно покончить. Каждый из них требует особой оценки, каждый носит в себе что-то нелепое, неясное. Точно суковатые поленья, они не укладывались так плотно друг ко другу, как это необходимо для того, чтоб встать выше их. Да, надобно нанизать их на одну, какую-то очень прочную нить. Это так же необходимо, как знать хода каждой фигуры в шахматной игре. С этой точки мысли Самгина скользили в «кутузовщину». Он пошел быстрее, вспомнив, что не первый раз думает об этом, даже всегда только об этом и думает.

«Эти растрепанные, вывихнутые люди довольно удобно живут в своих шкурах... в своих ролях. Я тоже имею право на удобное место в жизни...» — соображал Самгин и чувствовал себя обновленным, независимым.

С этим чувством независимости и устойчивости на другой день вечером он сидел в комнате Лидии, рассказывая ей тоном легкой иронии обо всем, что видел ночью. Лидия была нездорова, ее лихорадило, бисер пота блестел на смуглых висках, но она все так же крепко куталась пуховой пензенской шалью, обняв себя за плечи. Ее темные глаза смотрели с недоумением, с испугом. Изредка и как будто насильно она отводила взгляд на свою постель, там, вверх грудью, лежал Диомидов, высоко подняв брови, глядя в потолок. Здоровая рука его закинута под голову, и пальцы судорожно перебирают венец золотистых волос. Он молчал, а рот его был открыт, и казалось, что избитое лицо его кричало. На нем широкая ночная рубаха, рукава ее сбиты на плечи, точно измятые крылья, незастегнутый ворот обнажает грудь. В его теле было что-то холодное, рыбье, глубокая ссадина на шее заставляла вспоминать о жабрах.

Появлялась Варвара, непричесанная, в ночных туфлях, в измятой блузе; мрачно сверкая глазами, она

минуту-две слушала рассказ Клима, исчезала и являлась снова.

— Я не знаю, что делать,— сказала она.— У меня не хватит денег на похороны...

Диомидов приподнял голову, спросил со свистом:

— Разве я умираю?

И закричал, махая рукой:

— Я не умираю! Уйдите... уйдите все!

Варвара и Клим ушли, Лидия осталась, пытаясь успокоить больного; из столовой были слышны его крики:

— Отвезите меня в больницу...

— Не верю я, что он сошел с ума,— громко сказала Варвара.— Не люблю его и не верю...

Пришла Лидия, держась руками за виски, молча села у окна. Клим спросил: что нашел доктор? Лидия посмотрела на него непонимающим взглядом; от синих теней в глазницах ее глаза стали светлее. Клим повторил вопрос.

— Помяты ребра. Вывихнута рука. Но — главное— нервное потрясение... Он всю ночь бредил: «Не давите меня!» Требовал, чтоб разогнали людей дальше друг от друга. Нет, скажи — что же это?

— Навязчивая идея,— сказал Клим.

Девушка снова взглянула на него, не понимая, затем сказала:

— Я — не о том. Не о нем. Впрочем, не знаю, о чем я.

— Он и раньше был ненормален,— настойчиво заметил Самгин.

— Что тут нормально? Что вот люди давят друг друга, а потом играют на гармонике? Рядом с нами до утра играли на гармонике.

Вошел Макаров, обвешанный пакетами, исподлобья посмотрел на Лидию:

— Вы — спали?

Не взглянув на него, не ответив, она продолжала пониженным голосом:

— Нормально — это когда спокойно, да? Но ведь жизнь становится всё беспокойнее...

— Нормальный организм требует устранения нездоровых и неприятных раздражений,— сердито заворчал

Макаров, развязывая пакеты с бинтами, ватой.— Это — закон биологии. А мы от скуки, от безделья встречаем нездоровые раздражения, как праздники. В том, что некоторые полуидиоты...

Лидия вскочила, подавленно крикнув:

— Не смейте говорить так при мне!

— А без вас — можно?

Она убежала в комнату Варвары.

— Склонность к истерии,— буркнул Макаров вслед ей.— Клим, пойдем, помоги мне поставить компресс.

Диомидов поворачивался под их руками молча, покорно, но Самгин заметил, что пустынные глаза больного не хотят видеть лицо Макарова. А когда Макаров предложил ему выпить ложку брома, Диомидов отвернулся лицом к стене.

— Не стану. Уйдите.

Макаров уговаривал неохотно, глядя в окно, не замечая, что жидкость капает с ложки на плечо Диомидова. Тогда Диомидов приподнял голову и спросил, искривив опухшее лицо:

— За что вы меня мучаете?

— Надо выпить,— равнодушно сказал Макаров.

В глазах больного мелькнули синие искорки. Он проглотил микстуру и плюнул в стену.

Макаров постоял над ним с минуту, совершенно не похожий на себя, приподняв плечи, сгорбясь, похрустывая пальцами рук, потом, вздохнув, попросил Клима:

— Скажи Лидии, что ночью буду дежурить я...

Ушел. Диомидов лежал, закрыв глаза, но рот его открыт и лицо снова безмолвно кричало. Можно было подумать: он открыл рот нарочно, потому что знает— от этого лицо становится мертвым и жутким. На улице оглушительно трещали барабаны, мерный топот сотен солдатских ног сотрясал землю. Истерически лаяла испуганная собака. В комнате было неуютно, не прибрано и душно от запаха спирта. На постели Лидии лежит полуидиот.

«Может быть, он и здоровый лежал тут...»

Клим вздрогнул, представив тело Лидии в этих холодных, странно белых руках. Он встал и начал хо-

дить по комнате, бесцеремонно топая; он затопал еще сильнее, увидав, что Диомидов повернул к нему свой синеватый нос и открыл глаза, говоря:

— Я не хочу, чтоб он дежурил, пусть Лидия... Я его не люблю...

Клим Самгин подошел к нему и, вытянув шею, грозя кулаком, тихонько сказал:

— Молчи, ты... блаженная вошь!..

Клим первый раз в жизни испытывал охмеляющее наслаждение злости. Он любовался испуганным лицом Диомидова, его выпученными глазами и судорогой руки, которая тащила из-под головы подушку, в то время как голова притискивала подушку всё сильнее.

— Молчи! Слышишь? — повторил он и ушел.

Лидия сидела в столовой на диване, держа в руках газету, но глядя через нее в пол.

— Что он?

— Бредит,— находчиво сказал Клим.— Боится кого-то, бредит о вшах, клопах...

Испугав хоть и плохонького, но все-таки человека, Самгин почувствовал себя сильным. Он сел рядом с Лидией и смело заговорил:

— Лида, голубушка, всё это надо бросить, всё это — выдумано, не нужно и погубит тебя.

— Ш-ш,— прошептала она, подняв руку, опасливо глядя на двери, а он, понизив голос, глядя в ее усталое лицо, продолжал:

— Уйди от больных, театральных, испорченных людей к простой жизни, к простой любви...

Говорил он долго и не совсем ясно понимая, что говорит. По глазам Лидии Клим видел, что она слушает его доверчиво и внимательно. Она даже, как бы невольно, кивала головой, на щеках ее вспыхивал и гас румянец, иногда она виновато опускала глаза, и всё это усиливало его смелость.

— Да, да,— прошептала она.— Но — тише! Он казался мне таким... необыкновенным. Но вчера, в грязи... И я не знала, что он — трус. Он ведь трус. Мне его жалко, но... это — не то. Вдруг — не то. Мне очень стыдно. Я, конечно, виновата... я знаю!

Она нерешительно положила руку на плечо ему:

— Я всё ошибаюсь. Вот и ты не такой, как я привыкла думать...

Клим попробовал обнять ее, но она, уклонясь, встала и, отшвырнув газету ногой, подошла к двери в комнату Варвары, прислушалась.

Со двора, в открытое окно, навязчиво лез унылый свист дудок шарманки. Влетел чей-то завистливый и насмешливый крик:

— Эх, и заработают же гробовщики сладкую денежку!

— Спит, должно быть,— тихо сказала Лидия, отходя от двери.

Клим деловито заговорил о том, что Диомидова необходимо отправить в больницу.

— А тебе, Лида, бросить бы школу. Ведь все равно ты не учишься. Лучше иди на курсы. Нам необходимы не актеры, а образованные люди. Ты видишь, в какой дикой стране мы живем.

И он указал рукою на окно, за которым шарманка лениво дудела новую песню.

Лидия задумчиво молчала. Прощаясь с нею, Самгин сказал:

— Ты все-таки помни, что я тебя люблю. Это не налагает на тебя никаких обязательств, но это глубоко и серьезно.

Клим Самгин шагал по улице бодро и не уступая дорогу встречным людям. Иногда его фуражку трогали куски трехцветной флажной материи. Всюду празднично шумели люди, счастливо привыкшие быстро забывать несчастия ближних своих. Самгин посматривал на их оживленные, ликующие лица, праздничные костюмы и утверждался в своем презрении к ним.

«В животном страхе Диомидова пред людями есть что-то правильное...»

В переулке, пустынном и узком, Клим подумал, что с Лидией и взглядами Прейса можно бы жить очень спокойно и просто.

Но через некоторое время Прейс рассказал Климу о стачке ткачей в Петербурге, рассказал с такой гордостью, как будто он сам организовал эту стачку, и

с таким восторгом, как бы говорил о своем личном счастье.

— Вы слышали что-нибудь о «Союзе борьбы»? Так это его работа. Начинается новая эра, Самгин, вы увидите!

И, ласково заглядывая бархатными глазами в лицо, он спрашивал:

— А вы всё еще изучаете длину путей к цели, да? Так поверьте: путь, которым идет рабочий класс,— всего короче. Труднее, но — короче. Насколько я понимаю вас, вы — не идеалист и ваш путь — этот, трудный, но прямой!

Самгину показалось, что Прейс, всегда говоривший по-русски правильно и чисто, на этот раз говорит с акцентом, а в радости его слышна вражда человека другой расы, обиженного человека, который мстительно хочет для России неприятностей и несчастий.

Всегда было так, что вслед за Прейсом попадался на глаза Маракуев. Эти двое шли сквозь жизнь как бы кругами, и, описывая восьмерки, каждый вращался в своем круге фраз, но в какой-то одной точке круга они сходились. Тут было нечто подозрительное, внушавшее догадку, что словесные столкновения Маракуева и Прейса имеют характер показательный, это — игра для поучения и соблазна других. А Поярков стал молчаливее, спорил меньше, реже играл на гитаре и весь как-то высох, вытянулся. Вероятно, это потому, что Маракуев заметно сближался с Варварой.

На похоронах отчима он вел ее между могил под руку и, наклоняя голову к плечу ее, шептал ей что-то, а она, оглядываясь, взмахивала головой, как голодная лошадь, и на лице ее застыла мрачная, угрожающая гримаса.

Дома у Варвары за чайным столом Маракуев садился рядом с ней, ел мармелад, любимый ею, похлопывал ладонью по растрепанной книжке Кравчинского-Степняка «Подпольная Россия» и молодцевато говорил:

— Нам нужны сотни героев, чтоб поднять народ в бой за свободу.

Самгин завидовал уменью Маракуева говорить с жаром, хотя ему казалось, что этот человек рассказы-

вает прозой всегда одни и те же плохие стихи. Варвара слушает его молча, крепко сжав губы, зеленоватые глаза ее смотрят в медь самовара так, как будто в самоваре сидит некто и любуется ею.

Было очень неприятно наблюдать внимание Лидии к речам Маракуева. Поставив локти на стол, сжимая виски ладонями, она смотрела в круглое лицо студента читающим взглядом, точно в книгу. Клим опасался, что книга интересует ее более, чем следовало бы. Иногда Лидия, слушая рассказы о Софье Перовской, Вере Фигнер, даже раскрывала немножко рот; обнажалась полоска мелких зубов, придавая лицу ее выражение, которое Климу иногда казалось хищным, иногда — неумным.

«Воспитание героинь»,— думал он и время от времени находил нужным вставлять в пламенную речь Маракуева охлаждающие фразы.

— Маккавеи погибают не побеждая, а мы должны победить...

Но это ничуть не охлаждало Маракуева, напротив, он вспыхивал еще более ярко.

— Да, победить! — кричал он.— Но — в какой борьбе? В борьбе за пятачок? За то, чтобы люди жили сытее, да?

Карающим жестом он указывал девицам на Клима и взрывался, как фейерверк.

— Он — из тех, которые думают, что миром правит только голод, что над нами властвует лишь закон борьбы за кусок хлеба и нет места любви. Материалистам непонятна красота бескорыстного подвига, им смешно святое безумство Дон-Кихота, смешна Прометеева дерзость, украшающая мир.

Лирический тенор Маракуева раздражающе подвывал, произнося имена Фра-Дольчино, Яна Гуса, Мазаниелло.

— Герострата не забудьте,— сердито сказал Самгин.

Как нередко бывало с ним, он сказал это неожиданно для себя и — удивился, перестал слушать возмущенные крики противника.

«А что, если всем этим прославленным безумцам не чужд геростратизм?— задумался он.— Может быть, мно-

гие разрушают храмы только для того, чтоб на развалинах их утвердить свое имя? Конечно, есть и разрушающие храмы для того, чтоб — как Христос — в три дня создать его. Но — не создают».

Маракуев кричал:

— Вы бы послушали, как и что говорит рабочий, которого — помните? — мы встретили...

— Помню,— сказал Клим,— это, когда вы...

Покраснев до ушей, Маракуев подскочил на стуле:

— Да, именно! Когда я плакал, да! Вы, может быть, думаете, что я стыжусь этих слез? Вы плохо думаете.

— Что ж делать? — возразил Клим, пожимая плечами.— Я ведь и не пытаюсь щеголять моими мыслями...

Перекинувшись еще десятком камешков, замолчали, принужденные к этому миролюбивыми замечаниями девиц. Затем Маракуев и Варвара ушли куда-то, а Клим спросил Лидию:

— Что же, она хочет играть роль Перовской?

— Не злись,— сказала Лидия, задумчиво глядя в окно.— Маракуев — прав: чтоб жить — нужны герои. Это понимает даже Константин, недавно он сказал: «Ничто не кристаллизуется иначе, как на основе кристалла». Значит, даже соль нуждается в герое.

— Он все еще любит тебя,— сказал Клим, подходя к ней.

— Не понимаю — почему? Он такой... не для этого... Нет, не трогай меня,— сказала она, когда Клим попытался обнять ее.— Не трогай. Мне так жалко Константина, что иногда я ненавижу его за то, что он возбуждает только жалость.

Лидия отошла к зеркалу и, рассматривая лицо свое непонятным Климу взглядом, продолжала тихо:

— Любовь тоже требует героизма. А я — не могу быть героиней. Варвара — может. Для нее любовь — тоже театр. Кто-то, какой-то невидимый зритель спокойно любуется тем, как мучительно любят люди, как они хотят любить. Маракуев говорит, что зритель — это природа. Я — не понимаю... Маракуев тоже, кажется, ничего не понимает, кроме того, что любить — надо.

Клим уже не чувствовал желания коснуться ее тела, это очень беспокоило его.

Было еще не поздно, только что зашло солнце и не погасли красноватые отсветы на главах церквей. С севера надвигалась туча, был слышен гром, как будто по железным крышам домов мягкими лапами лениво ходил медведь.

— Знаешь,— слышал Клим,— я уже давно не верю в бога, но каждый раз, когда чувствую что-нибудь оскорбительное, вижу злое,— вспоминаю о нем. Странно? Право, не знаю: что со мной будет?

На эту тему Клим совершенно не умел говорить. Но он заговорил, как только мог убедительно:

— Время требует простой, мужественной работы, ради культурного обогащения страны...

И — остановился, видя, что девушка, закинув руки за голову, смотрит на него с улыбкой в темных глазах,— с улыбкой, которая снова смутила его, как давно уже не смущала.

— Почему ты так смотришь? — пробормотал он. Лидия ответила очень спокойно:

— Я думаю, что ты не веришь в то, что говоришь.

— Почему же?

Не ответив, она через минуту сказала:

— Будет дождь. И сильный.

Клим догадался, что нужно уйти, а через день, идя к ней, встретил на бульваре Варвару в белой юбке, розовой блузке, с красным пером на шляпе.

— Вы — к нам? — спросила она, и в глазах ее Клим подметил насмешливые искорки.— А я— в Сокольники. Хотите со мной? Лида? Но ведь она вчера уехала домой, разве вы не знаете?

— Уже? — спросил Самгин, искусно скрыв свое смущение и досаду.— Она хотела ехать завтра.

— Мне кажется, что она вовсе не хотела ехать, но ей надоел Диомидов своими записочками и жалобами.

Клим плохо слышал ее птичье щебетанье, заглушаемое треском колес и визгом вагонов трамвая на закруглениях рельс.

— Вы, вероятно, тоже скоро уедете?

— Да, послезавтра.

— Зайдете проститься?

— Конечно,— сказал Клим и подумал: «Я бы с тобой, пестрая дура, навеки простился».

В самом деле, пора было ехать домой. Мать писала письма, необычно для нее длинные, жаловалась на усталость, осторожно похвалила деловитость и энергию Спивак, сообщала, что Варавка очень занят организацией газеты. И в конце письма еще раз пожаловалась:

«Увеличились и хлопоты по дому с той поры, как умерла Таня Куликова. Это случилось неожиданно и необъяснимо; так иногда, неизвестно почему, разбивается что-нибудь стеклянное, хотя его и не трогаешь. Исповедаться и причаститься она отказалась. В таких людей, как она, предрассудки врастают очень глубоко. Безбожие я считаю предрассудком».

Пред Климом встала бесцветная фигурка человека, который, ни на что не жалуясь, ничего не требуя, всю жизнь покорно служил людям, чужим ему. Было даже несколько грустно думать о Тане Куликовой, странном существе, которое, не философствуя, не раскрашивая себя словами, бескорыстно заботилось только о том, чтоб людям удобно жилось.

«Вот — христианская натура,— думал он.— Идеально христианская».

Но он тотчас же сообразил, что ему нельзя остановиться на этой эпитафии, ведь животные — собаки, например — тоже беззаветно служат людям. Разумеется, люди, подобные Тане, полезнее людей, проповедующих в грязном подвале о глупости камня и дерева, нужнее полуумных Диомидовых, но...

Довести эту мысль до конца он не успел, потому что в коридоре раздались тяжелые шаги, возня и воркующий голос соседа по комнате. Сосед был плотный человек лет тридцати, всегда одетый в черное, черноглазый, синещекий, густые черные усы коротко подстрижены и подчеркнуты толстыми губами очень яркого цвета. Он себя называл «виртуозом на деревянных инструментах», но Самгин никогда не слышал, чтоб человек этот играл на кларнете, гобое или фаготе. Жил черный человек таинственной ночной жизнью; до полудня —

спал, до вечера шлепал по столу картами и воркующим голосом, негромко пел всегда один и тот же романс:

Что он ходит за мной,
Всюду ищет меня?

Вечерами он уходил с толстой палкой в руке, надвинув котелок на глаза, и, встречая его в коридоре или на улице, Самгин думал, что такими должны быть агенты тайной полиции и шулера.

Теперь, взглянув в коридор сквозь щель неплотно прикрытой двери, Клим увидал, что черный человек затискивает в комнату свою, как подушку в чемодан, пышную маленькую сестру квартирохозяйки,— затискивает и воркует в нос:

— Что ж вы от меня бегаете, а? Зачем же это бегаете вы от меня?

Клим Самгин протестующе прихлопнул дверь, усмехаясь, сел на кровать, и вдруг его озарила, согрела счастливая догадка:

— Чего же ты от меня бегаешь? — повторил он убеждающие слова «виртуоза на деревянных инструментах».

Через день он поехал домой с твердой уверенностью, что вел себя с Лидией глупо, как гимназист.

«Любовь требует жеста».

Несомненно, что Лидия убежала от него, только этим и можно объяснить ее внезапный отъезд.

«Иногда жизнь подсказывает догадки очень своевременно».

Мать, встретив его торопливыми ласками, тотчас же, вместе с нарядной Спивак, уехала, объяснив, что едет приглашать губернатора на молебен по случаю открытия школы.

В столовой за завтраком сидел Варавка, в синем с золотом китайском халате, в татарской лиловой тюбетейке,— сидел, играя бородой, озабоченно фыркал и говорил:

— Мы живем в треугольнике крайностей.

Против него твердо поместился, разложив локти по столу, пожилой, лысоватый человек, с большим лицом и очень сильными очками на мягком носу, одетый в серый пиджак, в цветной рубашке «фантазия», с черным

шнурком вместо галстуха. Он сосредоточенно кушал и молчал. Варавка, назвав длинную двойную фамилию, прибавил:

— Наш редактор.

И продолжал, как всегда, не затрудняясь в поисках слов:

— Стороны треугольника: бюрократизм, возрождающееся народничество и марксизм в его трактовке рабочего вопроса...

— Совершенно согласен,— сказал редактор, склонив голову; кисточки шнурка выскочили из-за жилета и повисли над тарелкой, редактор торопливо тупенькими красными пальцами заткнул их на место.

Кушал он очень интересно и с великой осторожностью. Внимательно следил, чтоб куски холодного мяса и ветчины были равномерны, тщательно обрезывал ножом излишек их, пронзал вилкой оба куска и, прежде чем положить их в рот, на широкие, тупые зубы, поднимал вилку на уровень очков, испытующе осматривал двухцветные кусочки. Даже огурец он кушал с великой осторожностью, как рыбу, точно ожидая встретить в огурце кость. Жевал медленно; серые волосы на скулах его вставали дыбом, на подбородке шевелилась тугая коротенькая борода, подстриженная аккуратно. Он вызывал впечатление крепкого, надежного человека, который привык и умеет делать всё так же осторожно и уверенно, как он ест.

С багрового лица Варавки веселые медвежьи глазки благосклонно разглядывали высокий гладкий лоб, солидно сиявшую лысину, густые, серые и неподвижные брови. Климу казалось, что самое замечательное на обширном лице редактора — его нижняя, обиженно отвисшая губа лиловатого цвета. Эта странная губа придавала плюшевому лицу капризное выражение — с такой обиженной губою сидят среди взрослых дети, уверенные в том, что они наказаны несправедливо. Говорил редактор не спеша, очень внятно, немного заикаясь, пред гласными он как бы ставил апостроф:

— Зн'ачит: «Р'усск'ие в'едомости» б'ез их академизма и, как вы сказали,— с максимумом живого отношения к истинно культурным нуждам края?

— Вот, во-от! — сказал Варавка и понюхал воздух.

Где-то очень близко, точно из пушки выстрелили в деревянный дом,— грохнуло и оглушительно затрещало, редактор неодобрительно взглянул в окно и сообщил:

— Слишком дождливое лето.

Клим встал, закрыл окна, в стекла начал буйно хлестать ливень; в мокром шуме Клим слышал четкие слова:

— Фельетонист у нас будет опытный, это — Робинзон, известность. Нужен литературный критик, человек здорового ума. Необходима борьба с болезненными течениями в современной литературе. Вот такого сотрудника — не вижу.

Варавка подмигнул Климу и спросил:

— А? Клим?

Самгин молча пожал плечами, ему показалось, что губа редактора отвисла еще более обиженно.

Подали кофе. Сквозь гул грома и сердитый плеск дождя наверху раздались звуки рояля.

— Ну-ко, попробуй! — говорил Варавка.

— Подумаю,— тихо ответил Клим. Всё уже было не интересно и не нужно — Варавка, редактор, дождь и гром. Некая сила, поднимая, влекла наверх. Когда он вышел в прихожую, зеркало показало ему побледневшее лицо, сухое и сердитое. Он снял очки, крепко растерев ладонями щеки, нашел, что лицо стало мягче, лиричнее.

Лидия сидела у рояля, играя «Песнь Сольвейг».

— О, приехал? — сказала она, протянув руку. Вся в белом, странно маленькая, она улыбалась. Самгин почувствовал, что рука ее неестественно горяча и дрожит, темные глаза смотрят ласково. Ворот блузы расстегнут и глубоко обнажает смуглую грудь.

— В грозу музыка особенно волнует,— говорила Лидия, не отнимая руки. Она говорила и еще что-то, но Клим не слышал. Он необыкновенно легко поднял ее со стула и обнял, спросив глухо и строго:

— Почему ты вдруг уехала?

Спросить он хотел что-то другое, но не нашел слов, он действовал, как в густой темноте. Лидия отшатну-

лась, он обнял ее крепче, стал целовать плечи, грудь.

— Не смей,— говорила она, отталкивая его руками, коленями.— Не смей же...

Она вырвалась; Клим, покачнувшись, сел к роялю, согнулся над клавиатурой, в нем ходили волны сотрясающей дрожи, он ждал, что упадет в обморок. Лидия была где-то далеко сзади его, он слышал ее возмущенный голос, стук руки по столу.

«Я ее безумно люблю,— убеждал он себя.— Безумно»,— настаивал он, как бы споря с кем-то.

Потом он почувствовал ее легкую руку на голове своей, услышал тревожный вопрос:

— Что с тобой?

— Я не знаю,— ответил он, снова охватив ее талию руками, и прижался щекою к бедру.

— О, боже мой,— тихо сказала Лидия, уже не пытаясь освободиться; напротив — она как будто плотнее подвинулась к нему, хотя это было невозможно.

— Что же будет, Лида? — спросил Клим.

Осторожно разжав его руки, она пошла прочь. Самгин пьяными глазами проводил ее сквозь туман. В комнате, где жила ее мать, она остановилась, опустив руки вдоль тела, наклонив голову, точно молясь. Дождь хлестал в окна всё яростнее, были слышны захлебывающиеся звуки воды, стекавшей по водосточной трубе.

— Уйди, пожалуйста,— сказала Лидия. Самгин встал и пошел к ней, казалось, что она просит уйти не его.

— Я же прошу тебя — уйди!

То, что произошло после этих слов, было легко, просто и заняло удивительно мало времени, как будто несколько секунд. Стоя у окна, Самгин с изумлением вспоминал, как он поднял девушку на руки, а она, опрокидываясь спиной на постель, сжимала уши и виски его ладонями, говорила что-то и смотрела в глаза его ослепляющим взглядом.

Теперь вот она стоит перед зеркалом, поправляя костюм, прическу, руки ее дрожат, глаза в отражении зеркала широко раскрыты, неподвижны и налиты испугом. Она кусала губы, точно сдерживая боль или слезы.

— Милая,— прошептал Клим в зеркало, не находя в себе ни радости, ни гордости, не чувствуя, что Лидия стала ближе ему, и не понимая, как надобно вести себя, что следует говорить. Он видел, что ошибся,— Лидия смотрит на себя не с испугом, а вопросительно, с изумлением. Он подошел к ней, обнял.

— Пусти,— сказала она и начала оправлять измятые подушки. Тогда он снова встал у окна, глядя сквозь густую завесу дождя, как трясутся листья деревьев, а по железу крыши флигеля прыгают серые шарики.

«Я — настойчив,— хотел и достиг»,— соображал он, чувствуя необходимость утешить себя чем-нибудь.

— Ты — иди,— сказала Лидия, глядя на постель всё тем же озабоченным и спрашивающим взглядом. Самгин ушел, молча поцеловав ее руку.

Всё произошло не так, как он воображал. Он чувствовал себя обманутым.

«Но — чего я ждал? — спросил он.— Только того, что это будет не похоже на испытанное с Маргаритой и Нехаевой?»

И — утешил себя:

«Может быть, и будет...»

Но — ненадолго утешил, в следующую минуту явилась обидная мысль:

«Она мне точно милостыню подала...»

И в десятый раз он вспомнил:

«Да — был ли мальчик-то? Может — мальчика-то и не было?»

Придя к себе, он запер дверь, лег и пролежал до вечернего чая, а когда вышел в столовую, там, как часовой, ходила Спивак, тонкая и стройная после родов, с пополневшей грудью. Она поздоровалась с ласковым равнодушием старой знакомой, нашла, что Клим сильно похудел, и продолжала говорить Вере Петровне, сидевшей у самовара:

— Семнадцать девиц и девять мальчиков, а нам необходимы тридцать учеников...

С плеч ее по руке до кисти струилась легкая ткань жемчужного цвета, кожа рук, просвечивая сквозь нее, казалась масленой. Она была несравнимо красивее

Лидии, и это раздражало Клима. Раздражал докторальный и деловой тон ее, книжная речь и то, что она, будучи моложе Веры Петровны лет на пятнадцать, говорила с нею, как старшая.

Когда мать спросила Клима, предлагал ли ему Варавка взять в газете отдел критики и библиографии, она заговорила, не ожидая, что скажет Клим:

— Помните? Это и моя идея. У вас все данные для такой роли: критическое умонастроение, сдерживаемое осторожностью суждений, и хороший вкус.

Она сказала это ласково и серьезно, но в построении ее фразы Климу почудилась усмешка.

— Да, да,— согласилась мать, кивая головой и облизывая кончиком языка поблекшие губы, а Клим, рассматривая помолодевшее лицо Спивак, думал:

«Что ей нужно от меня? Почему это мать так подружилась с нею?»

В окно хлынул розоватый поток солнечного света, Спивак закрыла глаза, откинула голову и замолчала, улыбаясь. Стало слышно, что Лидия играет. Клим тоже молчал, глядя в окно на дымно-красные облака. Всё было неясно, кроме одного: необходимо жениться на Лидии.

— Кажется, я — поторопился,— вдруг сказал он себе, почувствовав, что в его решении жениться есть что-то вынужденное. Он едва не сказал:

«Я — ошибся».

Он мог бы сказать это, ибо уже не находил в себе того влечения к Лидии, которое так долго и хотя не сильно, однако настойчиво волновало его.

Лидия не пришла пить чай, не явилась и ужинать. В течение двух дней Самгин сидел дома, напряженно ожидая, что вот, в следующую минуту, Лидия придет к нему или позовет его к себе. Решимости самому пойти к ней у него не было, и был предлог не ходить — Лидия объявила, что она нездорова, обед и чай подавали для нее наверх.

— Это нездоровье, вероятно, обычный припадок мизантропии,— сказала мать, вздохнув.

— Странные характеры наблюдаю я у современной молодежи,— продолжала она, посыпая клубнику

сахаром.— Мы жили проще, веселее. Те из нас, кто шел в революцию, шли со стихами, а не с цифрами...

— Ну, матушка, цифры не хуже стихов,— проворчал Варавка.— Стишками болото не осушишь...

Хлебнув вина, он прищурился, пополоскал рот, проглотил вино и, подумав, сказал:

— А молодежь действительно... кисловата! У музыкантов, во флигеле, бывает этот знакомый твой, Клим... как его?

— Иноков?

— Вот. Странный парень. Никогда не видал человека, который в такой мере чувствовал бы себя чужим всему и всем. Иностранец.

И пытливо, с остренькой улыбочкой в глазах посмотрев на Клима, он спросил:

— А ты себя иностранцем не чувствуешь?

— В государстве, где возможны Ходынки...— начал Клим сердито, потому что и мать и Варавка надоели ему.

В эту минуту и явилась Лидия, в странном, золотистого цвета халатике, который напомнил Климу одеяния женщин на картинах Габриэля Росетти. Она была настроена несвойственно ей оживленно, подшучивая над своим нездоровьем, приласкалась к отцу, очень охотно рассказала Вере Петровне, что халатик прислан ей Алиной из Парижа. Оживление ее показалось Климу подозрительным и усилило состояние напряженности, в котором он прожил эти два дня, он стал ждать, что Лидия скажет или сделает что-нибудь необыкновенное, может быть — скандальное. Но, как всегда, она почти не обращала внимания на него и лишь, уходя к себе наверх, шепнула:

— Не запирай дверь.

Унизительно было Климу сознаться, что этот шёпот испугал его, но испугался он так, что у него задрожали ноги, он даже покачнулся, точно от удара. Он был уверен, что ночью между ним и Лидией произойдет что-то драматическое, убийственное для него. С этой уверенностью он и ушел к себе, как приговоренный на пытку.

Лидия заставила ждать ее долго, почти до рассвета. Вначале ночь была светлая, но душная, в раскрытые окна из сада вливались потоки влажных запахов земли, трав, цветов. Потом луна исчезла, но воздух стал еще более влажен, окрасился в темно-синюю муть. Клим Самгин, полуодетый, сидел у окна, прислушиваясь к тишине, вздрагивая от непонятных звуков ночи. Несколько раз он с надеждой говорил себе:

«Не придет. Раздумала».

Но Лидия пришла. Когда бесшумно открылась дверь и на пороге встала белая фигура, он поднялся, двинулся встречу ей и услышал сердитый шёпот:

— Закрой окно, закрой!

Комната наполнилась непроницаемой тьмою, и Лидия исчезла в ней. Самгин, протянув руки, поискал ее, не нашел и зажег спичку.

— Не надо! Не смей! Не надо огня,— услышал он.

Он успел разглядеть, что Лидия сидит на постели, торопливо выпутываясь из своего халата, изломанно мелькают ее руки; он подошел к ней, опустился на колени.

— Скорее. Скорей,— шептала она.

Невидимая в темноте, она вела себя безумно и бесстыдно. Кусала плечи его, стонала и требовала, задыхаясь:

— Я хочу испытать... испытать...

Она будила его чувственность, как опытная женщина, жаднее, чем деловитая и механически ловкая Маргарита, яростнее, чем голодная, но бессильная Нехаева. Иногда он чувствовал, что сейчас потеряет сознание и, может быть, у него остановится сердце. Был момент, когда ему казалось, что она плачет, ее неестественно горячее тело несколько минут вздрагивало как бы от сдержанных и беззвучных рыданий. Но он не был уверен, что это так и есть, хотя после этого она перестала настойчиво шептать в уши его:

— Испытать... испытать.

Он не помнил, когда она ушла, уснул, точно убитый, и весь следующий день прожил, как во сне, веря и не веря в то, что было. Он понимал лишь одно: в эту ночь им пережито необыкновенное, неизведанное, но — не то,

чего он ждал, и не так, как представлялось ему. Через несколько таких же бурных ночей он убедился в этом.

В объятиях его Лидия ни на минуту не забывалась. Она не сказала ему ни одного из тех милых слов радости, которыми так богата была Нехаева. Хотя Маргарита наслаждалась ласками грубо, но и в ней было что-то певучее, благодарное. Лидия любила, закрыв глаза, неутолимо, но безрадостно и нахмурясь. Сердитая складка разрезала ее высокий лоб, она уклонялась от поцелуев, крепко сжимая губы, отворачивая лицо в сторону. И, когда она взмахивала длинными ресницами, Клим видел в темных глазах ее обжигающий, неприятный блеск. Всё это уже не смущало его, не охлаждало сладострастия, а с каждым свиданием только больше разжигало. Но всё более смущали и мешали ему назойливые расспросы Лидии. Сначала ее вопросы только забавляли своей наивностью, Клим посмеивался, вспоминая грубую пряность средневековых новелл. Постепенно эта наивность принимала характер цинизма, и Клим стал чувствовать за словами девушки упрямое стремление догадаться о чем-то ему неведомом и не интересном. Ему хотелось думать, что неприличное любопытство Лидии вычитано ею из французских книг, что она скоро устанет, замолчит. Но Лидия не уставала, требовательно глядя в глаза его, выспрашивала горячим шёпотом:

— Что ты чувствуешь? Ты не можешь жить, не желая чувствовать этого, не можешь, да?

Он посоветовал:

— Любить надо безмолвно.

— Чтобы не лгать? — спросила она.

— Молчание — не ложь.

— Тогда оно — трусость,— сказала Лидия и начала снова допрашивать:

— Когда тебе хорошо — это помогает тебе понять меня как-то особенно? Что-нибудь изменилось во мне для тебя?

— Конечно,— ответил Клим и пожалел об этом, потому что она спросила:

— Как же? Что?

На эти вопросы он не умел ответить и с досадой, чувствуя, что это неуменье умаляет его в глазах девушки, думал: «Может быть, она для того и спрашивает, чтобы принизить его до себя?»

— Брось, пожалуйста! — сказал он уже не ласково.— Это — неуместные вопросы. И — детские.

— Так — что ж? Мы с тобой — бывшие дети.

Клим стал замечать в ней нечто похожее на бесплодные мудрствования, которыми он сам однажды болел. Порою она, вдруг впадая в полуобморочное состояние, неподвижно и молча лежала минуту, две, пять. В эти минуты он отдыхал и укреплялся в мысли, что Лидия — ненормальна, что ее безумства служат только предисловием к разговорам. Ласкала она исступленно, казалось даже, что она порою насилует, истязает себя. Но после этих припадков Клим видел, что глаза ее смотрят на него недружелюбно или вопросительно, и всё чаще он подмечал в ее зрачках злые искры. Тогда, чтоб погасить эти искры, Клим Самгин тоже несколько насильно и сознательно начинал снова ласкать ее. А порою у него возникало желание сделать ей больно, отомстить за эти злые искры. Было неловко вспоминать, что когда-то она казалась ему бесплотной, невесомой. Он стал думать, что именно с этой девушкой хотелось ему создать какие-то особенные отношения глубокой, сердечной дружбы, что именно она и только она поможет ему найти себя, остановиться на чем-то прочном. Да, не любви ее, странной и жуткой, искал он, а — дружбы. И вот он теперь обманут. В ответ на попытки заинтересовать ее своими чувствованиями, мыслями он встречает молчание, а иногда усмешку, которая, обижая, гасила его речи в самом начале.

Ему казалось, что Лидия сама боится своих усмешек и злого огонька в своих глазах. Когда он зажигал огонь, она требовала:

— Погаси.

И в темноте он слышал ее шёпот:

— И это — всё? Для всех — одно: для поэтов, извозчиков, собак?

— Послушай,— говорил Клим.— Ты — декадентка. Это у тебя — болезненное...

— Но, Клим, не может же быть, чтоб это удовлетворяло тебя? Не может быть, чтоб ради этого погибали Ромео, Вертеры, Ортисы, Юлия и Манон!

— Я — не романтик,— ворчал Самгин и повторял ей: — Это у тебя дегенеративное...

Тогда она спрашивала:

— Я — жалкая, да? Мне чего-то не хватает? Скажи, чего у меня нет?

— Простоты,— отвечал Самгин, не умея ответить иначе.

— Той, что у кошек?

Он не решился сказать ей:

«Тем, что у кошек, ты обладаешь в избытке».

Неистово и даже озлобленно лаская ее, он мысленно внушал: «Заплачь. Заплачь».

Она стонала, но не плакала, и Клим снова едва сдерживал желание оскорбить, унизить ее до слез.

Однажды, в темноте, она стала назойливо расспрашивать его, что испытал он, впервые обладая женщиной. Подумав, Клим ответил:

— Страх. И — стыд. А — ты? Там, наверху?

— Боль и отвращение,— тотчас же ответила она.— Страшное я почувствовала здесь, когда сама пришла к тебе.

Помолчав и отодвинувшись от него, она сказала:

— Это было даже и не страшно, а — больше. Это — как умирать. Наверное — так чувствуют в последнюю минуту жизни, когда уже нет боли, а — паденье. Полет в неизвестное, в непонятное.

И, снова помолчав, она прошептала:

— И был момент, когда во мне что-то умерло, погибло. Какие-то надежды. Я — не знаю. Потом — презрение к себе. Не жалость. Нет, презрение. От этого я плакала, помнишь?

Жалея, что не видит лица ее, Клим тоже долго молчал, прежде чем найти и сказать ей неглупые слова:

— Это у тебя — не любовь, а — исследование любви.

Она тихо и покорно прошептала:

— Обними меня. Крепче.

Несколько дней она вела себя смиренно, ни о чем не спрашивая и даже как будто сдержаннее в ласках,

а затем Самгин снова услыхал, в темноте, ее горячий, царапающий шёпот:

— Но согласись, что ведь этого мало для человека!

«Чего же тебе надо?» — хотел спросить Клим, но, сдержав возмущение свое, не спросил.

Он чувствовал, что «этого» ему вполне достаточно и что всё было бы хорошо, если б Лидия молчала. Ее ласки не пресыщали. Он сам удивлялся тому, что находил в себе силу для такой бурной жизни, и понимал, что силу эту дает ему Лидия, ее всегда странно горячее и неутомимое тело. Он уже начинал гордиться своей физиологической выносливостью и думал, что, если б рассказать Макарову об этих ночах, чудак не поверил бы ему. Эти ночи совершенно поглотили его. Озабоченный желанием укротить словесный бунт Лидии, сделать ее проще, удобнее, он не думал ни о чем, кроме нее, и хотел только одного: чтоб она забыла свои нелепые вопросы, не сдабривала раздражающе мутным ядом его медовый месяц.

Она не укрощалась, хотя сердитые огоньки в ее глазах сверкали как будто уже менее часто. И расспрашивала она не так назойливо, но у нее возникло новое настроение. Оно обнаружилось как-то сразу. Среди ночи она, вскочив с постели, подбежала к окну, раскрыла его и, полуголая, села на подоконник.

— Ты простудишься, свежо,— предупредил Клим.

— Какая тоска! — ответила она довольно громко.— Какая тоска в этих ночах, в этой немоте сонной земли и в небе. Я чувствую себя в яме... в пропасти.

«Ну вот, теперь она воображает себя падшим ангелом»,— подумал Самгин.

Его томило предчувствие тяжелых неприятностей, порою внезапно вспыхивала боязнь, что Лидия устанет и оттолкнет его, а иногда он сам хотел этого. Уже не один раз он замечал, что к нему возвращается робость пред Лидией, и почти всегда вслед за этим ему хотелось резко оборвать ее, отмстить ей за то, что он робеет пред нею. Он видел себя поглупевшим и плохо понимал, что творится вокруг его. Да и не легко было понять значение той суматохи, которую неутомимо разжигал и раздувал Варавка. Почти ежедневно, вечерами, столовую

наполняли новые для Клима люди, и, размахивая короткими руками, играя седеющей бородою, Варавка внушал им:

— Бестактнейшее вмешательство Витте в стачку ткачей придало стачке политический характер. Правительство как бы убеждает рабочих, что теория классовой борьбы есть — факт, а не выдумка социалистов,— понимаете?

Редактор молча и согласно кивал шлифованной головою, и лиловая губа его отвисала еще более обиженно.

Человек в бархатной куртке, с пышным бантом на шее, с большим носом дятла и чахоточными пятнами на желтых щеках негромко ворчал:

— Классовая борьба — не утопия, если у одного собственный дом, а у другого только туберкулез.

Знакомясь с Климом, он протянул ему потную руку и, заглянув в лицо лихорадочными глазами, спросил:

— Нароков, Робинзон, — слышали?

Он был неусидчив; часто и стремительно вскакивал; хмурясь, смотрел на черные часы свои; закручивая реденькую бородку штопором, совал ее в изъеденные зубы; прикрыв глаза, болезненно сокращал кожу лица иронической улыбкой и широко раздувал ноздри, как бы отвергая некий неприятный ему запах. При второй встрече с Климом он сообщил ему, что за фельетоны Робинзона одна газета была закрыта, другая приостановлена на три месяца, несколько газет получили «предостережение», и во всех городах, где он работал, его врагами всегда являлись губернаторы.

— Мой товарищ, статистик,— недавно помер в тюрьме от тифа,— прозвал меня «бич губернаторов».

Трудно было понять, шутит он или серьезно говорит.

Клим сразу подметил в нем неприятную черту: человек этот рассматривал всех людей сквозь ресницы, насмешливо и враждебно.

Глубоко в кресле сидел компаньон Варавки по изданию газеты Павлин Савельевич Радеев, собственник двух паровых мельниц, кругленький, с лицом татарина, вставленным в аккуратно подстриженную бородку, с ласковыми и умными глазами под выпуклым лбом. Варавка, видимо, очень уважал его, посматривал в та-

тарское лицо вопросительно и ожидающе. В ответ на возмущение Варавки политическим цинизмом Константина Победоносцева Радеев сказал:

— Клоп тем и счастлив, что скверно пахнет.

Это была первая фраза, которую Клим услыхал из уст Радеева. Она тем более удивила его, что была сказана как-то так странно, что совсем не сливалась с плотной, солидной фигуркой мельника и его тугим, крепким лицом воскового или, вернее, медового цвета. Голосок у него был бескрасочный, слабый, говорил он на «о», с некоторой натугой, как говорят после длительной болезни.

— Это не с вас ли Боборыкин писал амбарного Сократа — Василия Теркина? — бесцеремонно спросил его Робинзон.

— Плохое сочинение, однако ж — не без правды,— ответил Радеев, держа на животе пухлые ручки и крутя большие пальцы один вокруг другого.— Не с меня, конечно, а, полагаю,— с натуры все-таки. И среди купечества народились некоторые размышляющие.

Самгин сначала подумал, что этот купец, должно быть, хитер и жесток. Когда заговорили о мощах Серафима Саровского, Радеев, вздохнув, сказал:

— Ой, не доведет нас до добра это сочинение мертвых праведников, а тем паче — живых. И ведь делаем-то мы это не по охоте, не по нужде, а — по привычке, право, так! Лучше бы согласиться на том, что все грешны, да и жить всем в одно грешное, земное дело.

Говорить он любил и явно хвастался тем, что может свободно говорить обо всем своими словами. Прислушавшись к его бесцветному голоску, к тихоньким, круглым словам, Самгин открыл в Радееве нечто приятное и примиряющее с ним.

— Вы, Тимофей Степаныч, правильно примечаете: в молодом нашем поколении велик назревает раскол. Надо ли сердиться на это?— спросил он, улыбаясь янтарными глазками, и сам же ответил в сторону редактора:

— А пожалуй, не надо бы. Мне вот кажется, что для государства нашего весьма полезно столкновение тех, кои веруют по Герцену и славянофилам с опорой

на Николу Чудотворца в лице мужичка, с теми, кои хотят веровать по Гегелю и Марксу с опорою на Дарвина.

Он передохнул, быстрее заиграл пальчиками и обласкал редактора улыбочкой, редактор подобрал нижнюю губу, а верхнюю вытянул по прямой линии, от этого лицо его стало короче, но шире и тоже как бы улыбнулось, за стеклами очков пошевелились бесформенные, мутные пятна.

— Это, конечно, главная линия раскола,— продолжал Радеев еще более певуче и мягко.— Но намечается и еще одна, тоже полезная: заметны юноши, которые учатся рассуждать не только лишь о печалях народа, а и о судьбах российского государства, о Великом сибирском пути к Тихому океану и о прочем, столь же интересном.

Сделав паузу, должно быть, для того, чтоб люди вдумались в значительность сказанного им, мельник пошаркал по полу короткими ножками и продолжал:

— Индивидуалистическое настроение некоторых тоже не бесполезно, может быть, под ним прячется Сократово углубление в самого себя и оборона против софистов. Нет, молодежь у нас интересно растет и много обещает. Весьма примечательно, что упрямая проповедь Льва Толстого не находит среди юношей учеников и апостолов, не находит, как видим.

— Да,— сказал редактор и, сняв очки, обнаружил под ними кроткие глаза с расплывшимися зрачками сиреневого цвета.

Радеева всегда слушали внимательно, Варавка особенно впивался острым взглядом в медовое лицо мельника, в крепенькие, пиявистые губы его.

— Отлично мельник оники катает,— сказал он, маслено улыбаясь.— Зверски детская душа!

Клим Самгин отметил у Варавки и Радеева нечто общее: у Варавки были руки коротки, у мельника смешно коротенькие ножки.

А Иноков сказал о Радееве:

— Интересно посмотреть на него в бане; голый, он, вероятно, на самовар похож.

Иноков только что явился откуда-то из Оренбурга, из Тургайской области, был в Красноводске, был в Персии. Чудаковато одетый в парусину, серый, весь как бы пропыленный до костей, в сандалиях на босу ногу, в широкополой соломенной шляпе, длинноволосый, он стал похож на оживший портрет Робинзона Крузо с обложки дешевого издания этого Евангелия непобедимых. Шагая по столовой журавлиным шагом, он сдирал ногтем беленькие чешуйки кожи с обожженного носа и решительно говорил:

— Все эти башкиры, калмыки — зря обременяют землю. Работать — не умеют, учиться — не способны. Отжившие люди. Персы — тоже.

Радеев смотрел на него благосклонно и шевелил гладко причесанными бровями, а Варавка подзадоривал:

— Что ж, по-вашему, куда их? Перебить? Голодом выморить?

— Осенние листья,— твердил Иноков, фыркая носом, как бы выдувая горячую пыль степи.

«Осенние листья»,— мысленно повторял Клим, наблюдая непонятных ему людей и находя, что они сдвинуты чем-то со своих естественных позиций. Каждый из них, для того чтоб быть более ясным, требовал каких-то добавлений, исправлений. И таких людей мелькало пред ним всё больше. Становилось совершенно нестерпимо топтаться в хороводе излишне и утомительно умных.

Сверху спускалась Лидия. Она садилась в угол, за роялью, и чужими глазами смотрела оттуда, кутая, по привычке, грудь свою газовым шарфом. Шарф был синий, от него на нижнюю часть лица ее ложились неприятные тени. Клим был доволен, что она молчит, чувствуя, что, если б она заговорила, он стал бы возражать ей. Днем и при людях он не любил ее.

Мать вела себя с гостями важно, улыбалась им снисходительно, в ее поведении было нечто не свойственное ей, натянутое и печальное.

— Кушайте,— угощала она редактора, Инокова, Робинзона и одним пальцем подвигала им тарелки с хлебом, маслом, сыром, вазочки с вареньем. Называя Спивак Лизой, она переглядывалась с нею взгля-

дом единомышленницы. А Спивак оживленно спорила со всеми, с Иноковым — чаще других, вероятно, потому, что он ходил вокруг нее, как теленок, привязанный за веревку на кол.

Спивак чувствовала себя скорее хозяйкой, чем гостьей, и это заставляло Клима подозрительно наблюдать за нею.

Когда все чужие исчезали, Спивак гуляла с Лидией в саду или сидела наверху у нее. Они о чем-то горячо говорили, и Климу всегда хотелось незаметно подслушать — о чем?

— Посмотрите,— интересно! — говорила она Климу и совала ему желтенькие книжки Рене Думика, Пеллисье, Франса.

«Что это она — воспитывает меня?» — соображал Самгин, вспоминая, как Нехаева тоже дарила ему репродукции с картин прерафаэлитов, Рошгросса, Стука, Клингера и стихи декадентов.

«Каждый пытается навязать тебе что-нибудь свое, чтоб ты стал похож на него и тем понятнее ему. А я — никому, ничего не навязываю»,— думал он с гордостью, но очень внимательно вслушивался в суждения Спивак о литературе, и ему нравилось, как она говорит о новой русской поэзии.

— Эти молодые люди очень спешат освободиться от гуманитарной традиции русской литературы. В сущности, они пока только переводят и переписывают парижских поэтов, затем доброжелательно критикуют друг друга, говоря по поводу мелких литературных краж о великих событиях в русской литературе. Мне кажется, что после Тютчева несколько невежественно восхищаться декадентами с Монмартра.

Изредка, осторожной походкой битого кота в кабинет Варавки проходил Иван Дронов с портфелем под мышкой, чистенько одетый и в неестественно скрипучих ботинках. Он здоровался с Климом, как подчиненный с сыном строгого начальника, делая на курносом лице фальшиво-скромную мину.

— Как живешь? — спросил Самгин.

— Не плохо, благодарю вас,— ответил Дронов, сильно подчеркнув местоимение, и этим смутил Клима.

Дальше оба говорили на «вы», а прощаясь, Дронов сообщил:

— Маргарита просила кланяться; она теперь учит рукоделию в монастырской школе.

— Да? — сказал Самгин.

— Да. Я с нею часто встречаюсь.

«Для чего он сказал мне это?» — обеспокоенно подумал Самгин, провожая его взглядом через очки, исподлобья.

И тотчас же забыл о Дронове,— Лидия поглощала все его мысли, внушая всё более тягостную тревогу. Ясно, что она — не та девушка, какой он воображал ее. Не та. Всё более обаятельная физически, она уже начинала относиться к нему с обидным снисхождением, и не однажды он слышал в ее расспросах иронию.

— Ну, скажи, что же изменилось в тебе?

Он хотел сказать:

«Ничего».

Мог бы сказать:

«Я понял, что ошибся».

Но у него не было решимости сказать правду, да не было и уверенности, что это — правда и что нужно сказать ее. Он ответил:

— Рано говорить об этом.

— Во мне — ничего не изменилось,— подсказывала ему Лидия шёпотом, и ее шёпот в ночной, душной темноте становился его кошмаром. Было что-то особенно угнетающее в том, что она ставит нелепые вопросы свои именно шёпотом, как бы сама стыдясь их, а вопросы ее звучали всё бесстыдней. Однажды, когда он говорил ей что-то успокаивающее, она остановила его:

— Подожди — откуда это?

Подумала и — нашла:

— Это из книги Стендаля «О любви».

Вскочив с постели, она быстро прошла по комнате, по густым и важным теням деревьев на полу. Ноги ее, в черных чулках, странно сливались с тенями, по рубашке, голубовато окрашенной лунным светом, тоже скользили тени; казалось, что она без ног и летит. Посмотрев в окно, она остановилась перед зеркалом, строго нахмурив брови. Она так часто и внимательно рассмат-

ривала себя в зеркале, что Клим находил это и странным и смешным. Стоит, закусив губы, подняв брови, и гладит грудь, живот, бедра. Кроме ее нагого тела в зеркале отражалась стена, оклеенная темными обоями, и было очень неприятно видеть Лидию удвоенной: одна, живая, покачивается на полу, другая скользит по неподвижной пустоте зеркала.

Клим неласково спросил ее:

— Ты думаешь, что уже беременна?

Руки ее опустились вдоль тела, она быстро обернулась, спросила испуганно:

— Что-о?

И, присев на стул, сказала жалобным щёпотом:

— Но ведь не всегда же родятся дети! И ведь еще нет шести недель...

— Ты что же? Боишься родить? — спросил Клим, с удовольствием дразня ее.— И при чем тут недели?

Она, не ответив, поспешно начала одеваться.

— А помнишь, хотела мальчика и девочку?

Одевалась она так быстро, как будто хотела скорее спрятать себя.

— Хотела? — бормотала она.— Я не помню.

— Тебе было тогда лет десять.

— Теперь мальчики и девочки не нравятся мне.

И, согнувшись, надевая туфли, она сказала:

— Не все имеют право родить детей.

— Ух, какая философия!

— Да,— продолжала она, подойдя к постели.— Не все. Если ты пишешь плохие книги или картины, это ведь не так уж вредно, а за плохих детей следует наказывать.

Клим возмутился:

— Откуда у тебя эти старческие выдумки? Смешно слышать. Это — Спивак говорит?

Она ушла легкой своей походкой, осторожно ступая на пальцы ног. Не хватало только, чтоб она приподняла юбку, тогда было бы похоже, что она идет по грязной улице.

Клим видел, что всё чаще и с непонятной быстротою между ним и Лидией возникают неприятные беседы, но устранить это он не умел.

Как-то, отвечая на один из обычных ее вопросов, он небрежно посоветовал ей:

— Прочти «Гигиену брака», есть такая книжка, или возьми учебник акушерства.

Лидия села на постели, обняв колена свои, положив на них подбородок, и спросила:

— По-твоему — всё сводится к акушерству? Зачем же тогда стихи? Что вызывает стихи?

— Это уж ты спроси у Макарова.

Усмехаясь, он прибавил:

— Маракуев очень удачно назвал Макарова «провансальским трубадуром из Кривоколенного переулка».

Лидия повернулась к нему и, разглаживая острым ногтем мизинца брови его, сказала:

— Плохо ты говоришь. И всегда как будто сдаешь экзамен.

— Так и есть,— ответил Клим.— Потому что ты всё допрашиваешь.

Голос ее зазвучал двумя нотами, как в детстве:

— Я часто соглашаюсь с тобой, но это для того, чтоб не спорить. С тобой можно обо всем спорить, но я знаю, что это бесполезно. Ты — скользкий... И у тебя нет слов, дорогих тебе.

— Не понимаю, зачем ты говоришь это,— проворчал Самгин, догадываясь, что наступает какой-то решительный момент.

— Зачем говорю? — переспросила она после паузы.— В одной оперетке поют: «Любовь? Что такое — любовь?» Я думаю об этом с тринадцати лет, с того дня, когда впервые почувствовала себя женщиной. Это было очень оскорбительно. Я не умею думать ни о чем, кроме этого.

Самгину показалось, что она говорит растерянно, виновато. Захотелось видеть лицо ее. Он зажег спичку, но Лидия, как всегда, сказала с раздражением, закрыв лицо ладонями:

— Не надо огня.

— Ты любишь играть втемную,— пошутил Клим и — раскаялся: глупо.

В саду шумел ветер, листья шаркали по стеклам, о ставни дробно стучали ветки, и был слышен еще ка-

кой-то непонятный, вздыхающий звук, как будто маленькая собака подвывала сквозь сон. Этот звук, вливаясь в шёпот Лидии, придавал ее словам тон горестный.

— Не надо лгать друг другу,— слышал Самгин.— Лгут для того, чтоб удобнее жить, а я не ищу удобств, пойми это! Я не знаю, чего хочу. Может быть — ты прав: во мне есть что-то старое, от этого я и не люблю ничего и всё кажется мне неверным, не таким, как надо.

Впервые за всё время связи с нею Клим услыхал в ее словах нечто понятное и родственное ему.

— Да,— сказал он.— Многое выдумано, это я знаю.

И первый раз ему захотелось как-то особенно приласкать Лидию, растрогать ее до слез, до необыкновенных признаний, чтоб она обнажила свою душу так же легко, как привыкла обнажать бунтующее тело. Он был уверен, что сейчас скажет нечто ошеломляюще простое и мудрое, выжмет из всего, что испытано им, горький, но целебный сок для себя и для нее.

— Мне вот кажется, что счастливые люди — это не молодые, а — пьяные,— продолжала она шептать.— Вы все не понимали Диомидова, думая, что он безумен, а он сказал удивительно: «Может быть, бог выдуман, но церкви — есть, а надо, чтобы были только бог и человек, каменных церквей на надо. Существующее — стесняет»,— сказал он.

— Анархизм полуидиота, — торопливо молвил Клим.— Я знаю это, слышал: «Дерево — дурак, камень — дурак» и прочее... чепуха!

Он чувствовал, что в нем вспухают значительнейшие мысли. Но для выражения их память злокозненно подсказывала чужие слова, вероятно, уже знакомые Лидии. В поисках своих слов и желая остановить шёпот Лидии, Самгин положил руку на плечо ее, но она так быстро опустила плечо, что его рука соскользнула к локтю, а когда он сжал локоть, Лидия потребовала:

— Пусти.

— Почему?

— Я ухожу.

И ушла, оставив его, как всегда, в темноте, в тишине. Нередко бывало так, что она внезапно уходила, как бы испуганная его словами, но на этот раз ее бегство было

особенно обидно, она увлекла за собой, как тень свою, всё, что он хотел сказать ей. Соскочив с постели, Клим открыл окно, в комнату ворвался ветер, внес запах пыли, начал сердито перелистывать страницы книги на столе и помог Самгину возмутиться.

«Завтра объяснюсь с нею,— решил он, закрыв окно и ложась в постель.— Довольно капризов, болтовни...»

Ему казалось, что настроение Лидии становится совершенно неуловимым, и он уже называл его двуличным. Второй раз он замечал, что даже и физически Лидия двоится: снова, сквозь знакомые черты лица ее, проступает скрытое за ними другое лицо, чуждое ему. Ею вдруг овладевали припадки нежности к отцу, к Вере Петровне и припадки какой-то институтской влюбленности в Елизавету Спивак. Бывали дни, когда она смотрела на всех людей не своими глазами, мягко, участливо и с такой грустью, что Клим тревожно думал: вот сейчас она начнет каяться, нелепо расскажет о своем романе с ним и заплачет черными слезами. Ему очень нравились черные слезы, он находил, что это одна из его хороших выдумок.

Он особенно недоумевал, наблюдая, как заботливо Лидия ухаживает за его матерью, которая говорила с нею все-таки точно из милости, докторально, и смотрела не в лицо девушки, а в лоб или через голову ее.

Но вдруг эти ухаживания разрешились неожиданной и почти грубой выходкой. Как-то вечером, в столовой за чаем, Вера Петровна снисходительно поучала Лидию:

— Право критики основано или на твердой вере, или на точном знании. Я не чувствую твоих верований, а твои знания, согласись, недостаточны...

Лидия, не дослушав, задумчиво проговорила:

— Кучер Михаил кричит на людей, а сам не видит, куда нужно ехать, и всегда боишься, что он задавит кого-нибудь. Он уже совсем плохо видит. Почему вы не хотите полечить его?

Вопросительно взглянув на Варавку, Вера Петровна пожала плечами, а Варавка пробормотал:

— Лечить? Ему шестьдесят четыре года... От этого не вылечишь.

Лидия ушла, а через несколько минут явилась в саду, оживленно разговаривая со Спивак, и Клим слышал ее вопрос:

— А почему я должна исправлять чужие ошибки?

Иногда Клим чувствовал, что Лидия относится к нему так сухо и натянуто, как будто он оказался виноват в чем-то пред нею и хотя уже прощен, однако простить его было нелегко.

Вспомнив всё это, он подумал еще раз:

«Да, завтра же объяснюсь».

Утром, за чаем, Варавка, вытряхивая из бороды крошки хлеба, сообщил Климу:

— Сегодня знакомлю редакцию с культурными силами города. На семьдесят тысяч жителей оказалось четырнадцать сил, и-да, брат! Три силы состоят под гласным надзором полиции, а остальные, наверное, почти все под негласным. Зер комиш [1]...

Задумался, выжал в свой стакан чая половинку лимона и сказал, вздохнув:

— Государство наше — воистину, брат, оригинальнейшее государство, головка у него не по корпусу,— мала. Послал Лидию на дачу приглашать писателя Катина. Что же ты, будешь критику писать, а?

— Попробую,— ответил Клим.

Вечер с четырнадцатью силами напомнил ему субботние заседания вокруг кулебяки у дяди Хрисанфа.

Сильно постаревший адвокат Гусев отрастил живот и, напирая им на хрупкую фигурку Спивака, вяло возмущался распространением в армии балалаек.

— Свирель, рожок, гусли — вот истинно народные инструменты. Наш народ — лирик, балалайка не отвечает духу его...

Спивак, глядя в грудь его черными стеклами очков, робко ответил:

— Я думаю, что это не правда, а привычка говорить: народное, вместо — плохое.

И обратился к жене:

— Я пойду, послушаю: не плачет ли?

---

[1] Очень смешно *(нем.)*.

Он убежал, а Гусев начал доказывать статистику Костину, человеку с пухлым, бабьим лицом:

— Я, конечно, согласен, что Александр Третий был глупый царь, но все-таки он указал нам правильный путь погружения в национальность.

Статистик, известный всему городу своей привычкой сидеть в тюрьме, добродушно посмеивался, перечисляя:

— Церковно-приходские школы, водочная монополия...

Вмешался Робинзон:

— Уж если погружаться в национальность, так нельзя и балалайку отрицать.

Костин, перебивая Робинзона, выкрикивал:

— Вся эта политика всовывания соломинок в колеса истории...

Угрюмо усмехаясь, Иноков сказал Климу:

— Тюремный сиделец говорит об истории, точно верный раб о своей барыне...

Иноков был зловеще одет в черную суконную рубаху, подпоясанную широким ремнем, черные брюки его заправлены в сапоги; он очень похудел и, разглядывая всех сердитыми глазами, часто, вместе с Робинзоном, подходил к столу с водками. И всегда за ними боком, точно краб, шел редактор. Клим дважды слышал, как он говорил фельетонисту вполголоса:

— Вы, Нароков, не очень налегайте, вам — вредно.

У стола командовал писатель Катин. Он — не постарел, только на висках явились седенькие язычки волос и на упругих щечках узоры красных жилок. Он мячиком катался из угла в угол, ловил людей, тащил их к водке и оживленно, тенорком, подшучивал над редактором:

— Растрясем обывателя, Максимыч? Взбучим? Ты только марксизма не пущай! Не пустишь? То-то! Я — старовер...

И, закусывая, жмурясь от восторга, говорил:

— Нет, это все-таки гриб фабричный, не вдохновляет! А вот сестра жены моей научилась грибы мариновать — знаменито!

Помощник Гусева, молодой адвокат Правдин, застегнутый в ловко сшитую визитку, причесанный и душистый, как парикмахер, внушал Томилину и Костину:

— Неоспоримые нормы права...

Томилин усмехался медной усмешкой, а Костин, ласково потирая свои неестественно развитые ягодицы, возражал мягким тенорком:

— Вот в этих нормах ваших и спрятаны все основы социального консерватизма.

Вдова нотариуса Казакова, бывшая курсистка, деятельница по внешкольному воспитанию, женщина в пенсне, с красивым и строгим лицом, доказывала редактору, что теории Песталоцци и Фребеля неприменимы в России.

— У нас есть Пирогов, есть...

Робинзон перебил ее, напомнив, что Пирогов рекомендовал сечь детей, и стал декламировать стихи Добролюбова:

Но не тем сеченьем обычным,
Как секут повсюду дураков,
А таким, какое счел приличным
Николай Иваныч Пирогов...

— Стихи — скверные, а в Европе везде секут детей,— решительно заявила Казакова.

Доктор Любомудров усумнился:

— Везде ли? И, кажется, не секут, а бьют линейкой по рукам.

— И — секут,— настаивала Казакова.— И в Англии секут.

Одетый в синий пиджак мохнатого драпа, в тяжелые брюки, низко опустившиеся на тупоносые сапоги, Томилин ходил по столовой, как по базару, отирал платком сильно потевшее, рыжее лицо, присматривался, прислушивался и лишь изредка бросал снисходительно коротенькие фразы. Когда Правдин, страстный театрал, крикнул кому-то:

— Позвольте,— это предрассудок, что театр — школа, театр — зрелище! — Томилин сказал, усмехаясь:

— Вся жизнь — зрелище.

Капитан Горталов, бывший воспитатель в кадетском корпусе, которому запретили деятельность педагога, солидный краевед, талантливый цветовод и огородник, худощавый, жилистый, с горячими глазами, доказывал редактору, что протуберанцы являются результатом падения твердых тел на солнце и расплескивания его массы, а у чайного стола крепко сидел Радеев и говорил дамам:

— Будучи несколько,— впрочем, весьма немного,— начитан и зная Европу, я нахожу, что в лице интеллигенции своей Россия создала нечто совершенно исключительное и огромной ценности. Наши земские врачи, статистики, сельские учителя, писатели и вообще духовного дела люди — сокровище необыкновенное...

«Шутит? Иронизирует?» — догадывался Клим Самгин, слушая гладенький, слабый голосок.

Капитан Горталов парадным шагом солдата подошел к Радееву, протянул ему длинную руку.

— Правильная оценка. Прекрасная идея. Моя идея. И поэтому: русская интеллигенция должна понять себя как некое единое целое. Именно. Как, примерно, орден иоаннитов, иезуитов, да! Интеллигенция, вся, должна стать единой партией, а не дробиться! Это внушается нам всем ходом современности. Это должно бы внушать нам и чувство самосохранения. У нас нет друзей, мы — чужестранцы. Да. Бюрократы и капиталисты порабощают нас. Для народа мы — чудаки, чужие люди.

— Верно — чужие! — лирически воскликнул писатель Катин, уже несколько охмелевший.

В словах капитана было что-то барабанное, голос его оглушал. Радеев, кивая головой, осторожно отодвигался вместе со стулом и бормотал:

— Тут нужна поправочка...

Пришел Спивак, наклонился к жене и сказал:

— Спит. Крепко спит.

Все эти люди нимало не интересовали Клима, еще раз воскрешая в памяти детское впечатление: пойманные пьяным рыбаком раки, хрустя хвостами, расползаются во все стороны по полу кухни. Равнодушно слушая их речи, уклоняясь от участия в спорах, он присматривался к Инокову. Ему не понравилось, что

Иноков ездил с Лидией на дачу приглашать писателя Катина, не нравилось, что этот грубый парень так фамильярно раскачивается между Лидией и Спивак, наклоняясь с усмешечкой то к одной, то к другой. В начале вечера с такой же усмешечкою Иноков подошел к нему и спросил:

— Выставили из университета?

Неожиданность и форма вопроса ошеломили Клима, он взглянул в неудачное лицо парня вопросительно.

— Бунтовали? — снова спросил тот, а когда Клим сказал ему, что он в этот семестр не учился, Иноков бесцеремонно поставил третий вопрос:

— Из осторожности не учились?

— При чем тут осторожность? — сухо осведомился Клим.

— Чтобы не попасть в историю,— объяснил Иноков и повернулся спиною.

А через несколько минут он рассказывал Вере Петровне, Лидии и Спивак:

— Прошло месяца два, возвратился он из Парижа, встретил меня на улице, зовет: приходите, мы с женой замечательную вещь купили! Пришел я, хочу сесть, а он пододвигает мне странного вида легкий стульчик, на тонких, золоченых ножках, с бархатным сидением: садитесь, пожалуйста! Я отказываюсь, опасаясь, как бы не сломать столь изящную штуку,— нет! Садитесь,— просит! Сел я, и вдруг подо мною музыка заиграла, что-то очень веселое. Сижу, чувствую, что покраснел, а он с женою оба смотрят на меня счастливыми глазами и смеются, рады, как дети! Встал я, музыка умолкла. Нет, говорю, это мне не нравится, я привык музыку слушать ушами. Обиделись.

Этот грубый рассказ, рассмешив мать и Спивак, заставил и Лидию усмехнуться, а Самгин подумал, что Иноков ловко играет простодушного, на самом же деле он, должно быть, хитер и зол. Вот он говорит, поблескивая холодными глазами:

— Да, съездили люди в самый великолепный город Европы, нашли там самую пошлую вещь, купили и — рады. А вот,— он подал Спивак папиросницу,— вот

это сделал и подарил мне один чахоточный столяр, женатый, четверо детей.

Папиросницей восхищались. Клим тоже взял ее в руки, она была сделана из корневища можжевельника, на крышке ее мастер искусно вырезал маленького чёртика, чёртик сидел на кочке и тонкой камышинкой дразнил цаплю.

— Двое суток, день и ночь резал,— говорил Инокoв, потирая лоб и вопросительно поглядывая на всех.— Тут, между музыкальным стульчиком и этой штукой, есть что-то, чего я не могу понять. Я вообще многого не понимаю.

Он широко усмехнулся, потряс головой и закурил папиросу, а горящую спичку погасил, сжав ее пальцами, и уже потом бросил ее на чайное блюдечко.

— Сначала ты смотришь на вещи, а потом они на тебя. Ты на них — с интересом, а они — требовательно: отгадай, чего мы стоим? Не денежно, а душевно. Пойду выпью водки...

Самгин пошел за ним. У стола с закусками было тесно, и ораторствовал Варавка со стаканом вина в одной руке, а другою положив бороду на плечо и придерживая ее там.

— Студенческие беспорядки — это выражение оппозиционности эмоциональной. В юности люди кажутся сами себе талантливыми, и эта кажимость позволяет им думать, что ими управляют бездарности.

Он отхлебнул глоток вина и продолжал, повысив голос:

— А так как власть у нас действительно бездарна, то эмоциональная оппозиционность нашей молодежи тем самым очень оправдывается. Мы были бы и смирнее и умней, будь наши государственные люди талантливы, как, например, в Англии. Но — государственных талантов у нас — нет. И вот мы поднимаем на щитах даже такого, как Витте.

Бесцеремонно растолкав людей, Инокoв прошел к столу и там, наливая водку, сказал вполголоса Климу:

— Здорово сделан отчим ваш. А кто это рыжий?

— Бывший учитель мой, философ.

— Болван, должно быть.

Самгин хотел рассердиться, но видя, что Иноков жует сыр, как баран траву, решил, что сердиться бесполезно.

— А где Сомова? — спросил он.

— Не знаю,— равнодушно ответил Иноков.— Кажется, в Казани, на акушерских курсах. Я ведь с ней разошелся. Она всё заботится о конституции, о революции. А я еще не знаю, нужна ли революция...

«Экий нахал»,— подумал Самгин, слушая глуховатый ворчливый голос.

— Если революции хотят ради сытости, я — против, потому что сытый я хуже себя голодного.

Клим соображал: как бы сконфузить, разоблачить хитрого бродягу, который так ловко играет роль прямодушного парня? Но раньше чем он успел придумать что-нибудь, Иноков сказал, легонько ударив его по плечу:

— Интересно мне знать, Самгин, о чем вы думаете, когда у вас делается такое щучье лицо?

Клим, нахмурясь, отодвинулся, а Иноков, смазывая кусок ржаного хлеба маслом, раздумчиво продолжал:

— С неделю тому назад сижу я в городском саду с милой девицей, поздно уже, тихо, луна катится в небе, облака бегут, листья падают с деревьев в тень и свет на земле; девица, подруга детских дней моих, проститутка-одиночка, тоскует, жалуется, кается, вообще — роман, как следует ему быть. Я — утешаю ее: брось, говорю, перестань! Покаяния двери легко открываются, да — что толку?.. Хотите выпить? Ну, а я — выпью.

Прищурив левый глаз, он выпил и сунул в рот маленький кусочек хлеба с маслом; это не помешало ему говорить.

— Вдруг — идете вы с таким вот щучьим лицом, как сейчас. «Эх, думаю, пожалуй, не то говорю я Анюте, а вот этот — знает, что надо сказать». Что бы вы, Самгин, сказали такой девице, а?

— Вероятно, то же, что и вы! — любезно ответил Клим, чувствуя, что у него пропало желание разоблачать хитрости Инокова.

— То же? — переспросил Иноков.— Не верю. Нет, у вас что-то есть про себя, должно быть что-то...

Клим улыбнулся, сообразив, что в этом случае улыбка будет значительнее слов, а Иноков снова протянул руку к бутылке, но отмахнулся от нее и пошел к дамам.

«Женолюбив»,— подумал Клим, но уже снисходительно.

Как прежде, он часто встречал Инокова на улицах, на берегу реки, среди грузчиков или в стороне от людей. Стоит вкопанно в песок по щиколотку, жует соломину, перекусывает ее, выплевывая кусочки, или курит и, задумчиво прищурив глаза, смотрит на муравьиную работу людей. Всегда он почему-то испачкан пылью, а широкая мятая шляпа делает его похожим на факельщика. Видел его выходящим из пивной рядом с Дроновым; Дронов, хихикая, делал правой рукою круглые жесты, как бы таская за волосы кого-то невидимого, а Иноков сказал:

— Вот именно. Может быть, это только кажется, что толчемся на месте, а в самом-то деле восходим куда-то по спирали.

На улице он говорил так же громко и бесцеремонно, как в комнате, и разглядывал встречных людей в упор, точно заплутавшийся, который ищет: кого спросить, куда ему идти?

Нельзя было понять — почему Спивак всегда подчеркивает Инокова, почему мать и Варавка явно симпатизируют ему, а Лидия часами беседует с ним в саду и дружелюбно улыбается? Вот и сейчас улыбается, стоя у окна перед Иноковым, присевшим на подоконник с папиросой в руке.

«Да, с нею необходимо объясниться...»

Он сделал это на следующий день; тотчас же после завтрака пошел к ней наверх и застал ее одетой к выходу — в пальто, шляпке, с зонтиком в руках,— мелкий дождь лизал стекла окон.

— Куда это ты?

— В канцелярию губернатора, за паспортом.

Она улыбнулась.

— Как ты смешно удивился. Ведь я тебе сказала, что Алина зовет меня в Париж и отец отпустил...

— Это... неправда! — гневно возразил Клим, чувствуя, что у него дрожат ноги.— Ты ни слова не гово-

рила мне... впервые слышу! Что ты делаешь? — возмущенно спросил он.

Лидия присела на стул, бросив зонт на диван; ее смуглое, очень истощенное лицо растерянно улыбалось, в глазах ее Клим видел искреннее изумление.

— Как это странно!— тихо заговорила она, глядя в лицо его и мигая.— Я была уверена, что сказала тебе... что читала письмо Алины... Ты не забыл?..

Клим отрицательно покачал головой, а она встала и, шагая по комнате, сказала:

— Видишь ли, как это случилось,— я всегда так много с тобой говорю и спорю, когда я одна, что мне кажется, ты всё знаешь... всё понял.

— Я бы тоже поехал с тобой,— пробормотал Клим, не веря ей.

— А университет? Тебе уже пора ехать в Москву... Нет, как это странно вышло у меня! Говорю тебе — я была уверена...

— Но когда же мы обвенчаемся? — спросил Клим сердито и не глядя на нее.

— Что-о? — спросила она, остановясь.— Разве ты... разве мы должны? — услыхал он ее тревожный шёпот.

Она стояла пред ним, широко открыв глаза, у нее дрожали губы и лицо было красное.

— Почему — венчаться? Ведь я не беременна...

Это прозвучало так обиженно, как будто было сказано не ею. Она ушла, оставив его в пустой, неприбранной комнате, в тишине, почти не нарушаемой робким шорохом дождя. Внезапное решение Лидии уехать, а особенно ее испуг в ответ на вопрос о женитьбе так обескуражили Клима, что он даже не сразу обиделся. И лишь посидев минуту-две в состоянии подавленности, сорвал очки с носа и, до боли крепко пощипывая усы, начал шагать по комнате, возмущенно соображая:

«Разрыв?»

Он тотчас же напомнил себе, что ведь и сам думал о возможности разрыва этой связи.

«Да, думал! Но — только в минуты, когда она истязала меня нелепыми вопросами. Думал, но не хотел, я не хочу терять ее».

Остановясь перед зеркалом, он воскликнул:

«И уж если разрыв, так инициатива должна была исходить от меня, а не от нее».

Он оглянулся, ему показалось, что он сказал эти слова вслух, очень громко. Горничная, спокойно вытиравшая стол, убедила его, что он кричал мысленно. В зеркале он видел лицо свое бледным, близорукие глаза растерянно мигали. Он торопливо надел очки, быстро сбежал в свою комнату и лег, сжимая виски ладонями, закусив губы.

Через полчаса он убедил себя, что его особенно оскорбляет то, что он не мог заставить Лидию рыдать от восторга, благодарно целовать руки его, изумленно шептать нежные слова, как это делала Нехаева. Ни одного раза, ни на минуту не дала ему Лидия насладиться гордостью мужчины, который дает женщине счастье. Ему было бы легче порвать связь с нею, если б он испытал это наслаждение.

«Ни одной искренней ласки не дала она мне»,— думал Клим, с негодованием вспоминая, что ласки Лидии служили для нее только материалом для исследования их.

«Ницше — прав: к женщине надо подходить с плетью в руке. Следовало бы прибавить: с конфектой в другой».

Постепенно успокаиваясь, он подумал, что связь с нею, уже и теперь тревожная, в дальнейшем стала бы невыносимой, ненавистной. Вероятно, Лидия, в неленых поисках чего-то, якобы скрытого за физиологией пола, стала бы изменять ему.

«Макаров говорил, что дон-Жуан — не распутник, а — искатель неведомых, неиспытанных ощущений и что такой же страстью к поискам неиспытанного, вероятно, болеют многие женщины, например — Жорж Занд,— размышлял Самгин.— Макаров, впрочем, не называл эту страсть болезнью, а Туробоев назвал ее «духовным вампиризмом». Макаров говорил, что женщина полусознательно стремится раскрыть мужчину до последней черты, чтоб понять источник его власти над нею, понять — чем он победил ее в древности?»

Клим Самгин крепко закрыл глаза и обругал Макарова.

«Идиот. Что может быть глупее романтика, изучающего гинекологию? Насколько проще и естественнее Кутузов, который так легко и быстро отнял у Дмитрия Марину, Иноков, отказавшийся от Сомовой, как только он увидал, что ему скучно с нею».

Мысли Самгина принимали всё более воинственный характер. Он усиленно заботился обострять их, потому что за мыслями у него возникало смутное сознание серьезнейшего проигрыша. И не только Лидия проиграна, потеряна, а еще что-то, более важное для него. Но об этом он не хотел думать и, как только услышал, что Лидия возвратилась, решительно пошел объясняться с нею. Уж если она хочет разойтись, так пусть признает себя виновной в разрыве и попросит прощения...

Лидия писала письмо, сидя за столом в своей маленькой комнате. Она молча взглянула на Клима через плечо и вопросительно подняла очень густые, но легкие брови.

— Нам следует поговорить,— сказал Клим, садясь к столу.

Положив перо, она подняла руки над головой, потянулась и спросила:

— О чем?

— Необходимо,— сказал Клим, стараясь смотреть в лицо ее строгим взглядом.

Сегодня она была особенно похожа на цыганку: обильные курчавые волосы, которые она никогда не могла причесать гладко, суховатое смуглое лицо с горячим взглядом темных глаз и длинными ресницами, загнутыми вверх, тонкий нос и гибкая фигура в юбке цвета бордо, узкие плечи, окутанные оранжевой шалью с голубыми цветами.

Раньше чем Самгин успел найти достаточно веские слова для начала своей речи, Лидия начала тихо и серьезно:

— Мы говорили так много...

— Позволь! Нельзя обращаться с человеком так, как ты со мной,— внушительно заговорил Самгин.— Что значит это неожиданное решение — в Париж?

Но она, не слушая его, продолжала таким тоном, как будто ей было тридцать лет:

— Кроме того, я беседовала с тобою, когда, уйдя от тебя, оставалась одна. Я — честно говорила и за тебя... честнее, чем ты сам мог бы сказать. Да, поверь мне! Ты ведь не очень... храбр. Поэтому ты и сказал, что «любить надо молча». А я хочу говорить, кричать, хочу понять. Ты советовал мне читать «Учебник акушерства»...

— Не будь злопамятна,— сказал Самгин.

Лидия усмехнулась, спрашивая:

— Разве ты со зла советовал мне читать «Гигиену брака»? Но я не читала эту книгу, в ней ведь, наверное, не объяснено — почему именно я нужна тебе для твоей любви? Это — глупый вопрос? У меня есть другие, глупее этого. Вероятно, ты прав: я — дегенератка, декадентка и не гожусь для здорового, уравновешенного человека. Мне казалось, что я найду в тебе человека, который поможет... впрочем, я не знаю, чего ждала от тебя.

Она встала, выпрямилась, глядя в окно, на облака цвета грязного льда, а Самгин сердито сказал:

— Ведь и я тоже... думал, что ты будешь хорошим другом мне...

Задумчиво глядя на него, она продолжала тише:

— Ты посмотри, как всё это быстро... точно стружка вспыхнула... и — нет.

Смуглое лицо ее потемнело, она отвела взгляд от лица Клима и встала, выпрямилась. Самгин тоже встал, ожидая слов, обидных для него.

— Не радостно жить, ничего не понимая, в каком-то тумане, где изредка на минуту вспыхивает жгучий огонек.

— Ты очень мало знаешь,— сказал он, вздохнув, постукивая пальцами по колену. Нет, Лидия не позволяла обидеться на нее, сказать ей какие-то резкие слова.

— А что нужно знать? — спросила она.

— Надобно учиться.

— Да? Всю жизнь чувствовать себя школьницей?

Усмехнулась, глядя в окно, в пестрое небо.

— Мне кажется, что всё, что я уже знаю,— не нужно знать. Но все-таки я попробую учиться,— слышал он за-

думчивые слова.— Не в Москве, суетливой, а, может быть, в Петербурге. А в Париж нужно ехать, потому что там Алина и ей — плохо. Ты ведь знаешь, я ее люблю...

«За что?» — хотел спросить Самгин, но вошла горничная и попросила Лидию сойти вниз, к Варавке.

С лестницы сошли рядом и молча. Клим постоял в прихожей, глядя, как по стене вытянулись на вешалке различные пальто; было в них нечто напоминающее толпу нищих на церковной паперти, безголовых нищих.

«Нет, всё это — не так, не договорено»,— решил он и, придя в свою комнату, сел писать письмо Лидии. Писал долго, но, прочитав исписанные листки, нашел, что его послание сочинили двое людей, одинаково не похожие на него: один неудачно и грубо выпучивал Лидию, другой жалобно и неумело оправдывал в чем-то себя.

«Но я же ни в чем не виноват пред нею»,— возмутился он, изорвал письмо и тотчас решил, что уедет в Нижний-Новгород, на Всероссийскую выставку. Неожиданно уедет, как это делает Лидия, и уедет прежде, чем она соберется за границу. Это заставит ее понять, что он не огорчен разрывом. А может быть, она поймет, что ему тяжело, изменит свое решение и поедет с ним?

Но, когда он сказал Лидии, что послезавтра уезжает, она заметила очень равнодушно:

— Как хорошо, что у нас это вышло без драматических сцен. Я ведь думала, что сцены будут.

Обняв, она крепко поцеловала его в губы.

— Мы расстаемся друзьями? Потом встретимся снова, более умные, да? И, может быть, иначе посмотрим друг на друга?

Клим был несколько тронут или удивлен и словами ее и слезинками в уголках глаз, он сказал тихонько, упрашивая:

— Не лучше ли тебе ехать со мной?

— Нет!—сказала она решительно.— Нет, не надо! Ты помешаешь мне.

И быстро вытерла глаза. Опасаясь, что он скажет ей нечто неуместное, Клим тоже быстро поцеловал ее

сухую, горячую руку. Потом, расхаживая по своей комнате, он соображал:

«В сущности, она — несчастная, вот что. Пустоцвет. Бездушна она. Умствует, но не чувствует...»

Остановился среди комнаты, снял очки и, раскачивая их, оглядываясь, подумал почти вслух:

«Но — как быстро разыгралось всё это! Действительно — как стружки сгорели».

Он чувствовал себя растерявшимся, но в то же время чувствовал, что для него наступили дни отдыха, в котором он уже нуждался.

Через несколько дней Клим Самгин подъезжал к Нижнему-Новгороду. Версты за три до вокзала поезд, туго набитый людями, покатился медленно, как будто машинист хотел, чтоб пассажиры лучше рассмотрели на унылом поле, среди желтых лысин песка и грязно-зеленых островов дерна, пестрое скопление новеньких, разнообразно вычурных построек.

Рядом с рельсами, несколько ниже насыпи, ослепительно сияло на солнце здание машинного отдела, построенное из железа и стекла, похожее формой на огромное корыто, опрокинутое вверх дном; сквозь стекла было видно, что внутри здания медленно двигается сборище металлических чудовищ, толкают друг друга пленные звери из железа. Полукольцом изогнулся одноэтажный павильон сельского хозяйства, украшенный деревянной резьбою в том русском стиле, который выдумал немец Ропет. Возвышалось, подавляя друг друга, еще много капризно разбросанных построек необыкновенной архитектуры, некоторые из них напоминали о приятном искусстве кондитера, и, точно гигантский кусок сахара, выделялся из пестрой их толпы белый особняк художественного отдела. Сверкал и плавился на солнце двуглавый золотой орел на вышке царского павильона, построенного в стиле теремов, какие изображаются на картинках детских сказок. А над золотым орлом в голубоватом воздухе вздулся серый пузырь воздушного шара, привязанный на длинной веревке.

Неспешное движение поезда заставляло этот городок медленно кружиться; казалось, что все его необыкновенные постройки вращаются вокруг невидимой точки, ме-

няют места свои, заслоняя друг друга, скользят между песчаных дорожек и небольших площадей. Это впечатление спутанного хоровода, ленивой, но мощной толкотни, усиливали игрушечные фигурки людей, осторожно шагавших между зданий, по изогнутым путям; людей было немного, и лишь редкие из них торопливо разбегались в разных направлениях, большинство же вызывало мысль о заплутавшихся, ищущих. Люди казались менее подвижными, чем здания, здания показывали и прятали их за углами своими.

Это полусказочное впечатление тихого, но могучего хоровода осталось у Самгина почти на всё время его жизни в странном городе, построенном на краю бесплодного, печального поля, которое вдали замкнула синеватая щетина соснового леса — «Савелова грива» и — за невидимой Окою — «Дятловы горы», где, среди зелени садов, прятались домики и церкви Нижнего-Новгорода.

Остановясь в одной из деревянных, наскоро сшитых гостиниц, в которой всё скрипело,потрескивало и в каждом звуке чувствовалось что-то судорожное, Самгин быстро вымылся, переоделся, выпил стакан теплого чая и тотчас пошел на выставку; до нее было не более трехсот шагов.

Возвратился он к вечеру, ослепленный, оглушенный, чувствуя себя так, точно побывал в далекой, неведомой ему стране. Но это ощущение насыщенности не тяготило, а, как бы расширяя Клима, настойчиво требовало формы и обещало наградить большой радостью, которую он уже смутно чувствовал.

Оформилась она не скоро, в один из ненастных дней не очень ласкового лета. Клим лежал на постели, кутаясь в жидкое одеяло, набросив сверх его пальто. Хлестал по гулким крышам сердитый дождь, гремел гром, сотрясая здание гостиницы, в щели окон свистел и фыркал мокрый ветер. В трех местах с потолка на пол равномерно падали тяжелые капли воды, от которой исходил запах клеевой краски и болотной гнили.

Клим Самгин видел, что пред ним развернулась огромная, фантастически богатая страна, бытия которой он не подозревал; страна разнообразнейшего труда,

вот — она собрала продукты его и, как на ладони, гордо показывает себе самой. Можно думать, что красивенькие здания намеренно построены на унылом поле, обок с бедной и грязной слободою, уродливо безличные жилища которой скучно рассеяны по песку, намытому Волгой и Окой, и откуда в хмурые дни, когда с Волги дул горячий «низовый» ветер, летела серая, колючая пыль.

В этом соседстве богатства страны и бедности каких-то людишек ее как будто был скрыт хвастливый намек:

«Живем — плохо, а работаем — вот как хорошо!»

Не так нарядно и хвастливо, но еще более убедительно кричала о богатстве страны ярмарка. Приземистые, однообразно желтые ряды ее каменных лавок, открыв широкие пасти дверей, показывали в пещерном сумраке груды разнообразно обработанных металлов, груды полотен, ситца, шерстяных материй. Блестел цветисто расписанный фарфор, сияли зеркала, отражая всё, что двигалось мимо их, рядом с торговлей церковной утварью торговали искусно граненным стеклом, а напротив огромных витрин, тесно заставленных бокалами и рюмками, блестел фаянс приспособлений для уборных. В этом соседстве церковного с домашним Клим Самгин благосклонно отметил размашистое бесстыдство торговли.

Людей на ярмарке было больше, чем на выставке, вели они себя свободнее, шумней и все казались служащими торговле с радостью. Поражало разнообразие типов, обилие иностранцев, инородцев, тепло одетых жителей Востока, слух ловил чужую речь, глаз — необыкновенные фигуры и лица. Среди русских нередко встречались сухощавые бородачи, неприятно напоминавшие Дьякона, и тогда Самгин ненадолго, на минуты, но тревожно вспоминал, что такую могучую страну хотят перестроить на свой лад люди о трех пальцах, расстриженные дьякона́, истерические пьяницы, веселые студенты, каков Маракуев и прочие; Поярков, которого Клим считал бесцветным, изящный, солиденький Прейс, который, наверное, будет профессором,— эти двое не беспокоили. Самоуверенный, циф-

ролюбивый Кутузов поблек в памяти, да Клим и не любил думать о нем.

Глядя в деревянный, из палубной рейки, потолок, он следил, как по щелям стекает вода и, собираясь в стеклянные, крупные шарики, падает на пол, образуя лужи.

Вспоминался блеск холодного оружия из Златоуста; щиты ножей, вилок, ножниц и замков из Павлова, Вачи, Ворсмы; в павильоне военно-морском, орнаментированном ружейными патронами, саблями и штыками, показывали длинногорлую чистенькую пушку из Мотовилихи, блестящую и холодную, как рыба. Коренастый, точно из бронзы вылитый матрос, поглаживая синий подбородок, подкручивая черные усы, снисходительно и смешно объяснял публике:

— Этое орудие зарьяжается с этого места, вот этиим спарьядом, который вам даже не поднять, и палит в данном направлении по цели, значить — по врагу. Господин, не тыкайте палочкой, нельзя!

Блестела золотая парча, как ржаное поле в июльский вечер на закате солнца; полосы глазета напоминали о голубоватом снеге лунных ночей зимы, разноцветные материи — осеннюю расцветку лесов; поэтические сравнения эти явились у Клима после того, как он побывал в отделе живописи, где «объясняющий господин», лобастый, длинноволосый и тощий, с развинченным телом, восторженно рассказывая публике о пейзаже Нестерова, Левитана, назвал Русь парчовой, ситцевой и наконец — «чудесно вышитой по бархату земному шелками разноцветными рукою величайшего из художников — божьей рукой».

Клим испытал гордость патриота, рассматривая в павильоне Средней Азии грубые подделки немцев под русскую парчу для Хивы и Бухары, под яркие ситцá Морозовых и цветистый фарфор Кузнецовых.

Игрушки и машины, колокола и экипажи, работы ювелиров и рояли, цветистый казанский сафьян, такой ласковый на ощупь, горы сахара, огромные кучи пеньковых веревок и просмоленных канатов, часовня, построенная из стеариновых свеч, изумительной красоты меха Сорокоумовского и железо с Урала, кладки ароматного мыла, отлично дубленные кожи, изделия из

щетины — пред этими грудами неисчислимых богатств собирались небольшие группы людей и, глядя на грандиозный труд своей родины, несколько смущали Самгина, охлаждая молчанием своим его повышенное настроение.

Редко слышал он возгласы восторга, а если они раздавались, то чаще всего из уст женщин пред витринами текстильщиков и посудников, парфюмеров, ювелиров и меховщиков. Впрочем, можно было думать, что большинство людей немело от обилия впечатлений. Но иногда Климу казалось, что только похвалы женщин звучат искренней радостью, а в суждениях мужчин неудачно скрыта зависть. Он даже подумал, что, быть может, Макаров прав: женщина лучше мужчины понимает, что всё в мире — для нее.

Его патриотическое чувство особенно высоко поднималось, когда он встречал группы инородцев, собравшихся на праздник властвующей ими нации от Белого моря до Каспийского и Черного и от Гельсингфорса до Владивостока. Медленно шли хивинцы, бухарцы и толстые сарты, чьи плавные движения казались вялыми тем людям, которые не знали, что быстрота — свойство дьявола. Изнеженные персы с раскрашенными бородами стояли у клумбы цветов, высокий старик с оранжевой бородою и пурпурными ногтями, указывая на цветы длинным пальцем холеной руки, мерно, как бы читая стихи, говорил что-то почтительно окружавшей его свите. Уродливо большой перстень с рубином сверкал на пальце, привлекая к себе очарованный взгляд худенького человека в черном, косо срезанном, каракулевом колпаке. Не отрывая от рубина мокреньких, красных глаз, человечек шевелил толстыми губами и, казалось, боялся, что камень выскочит из тяжелой золотой оправы.

Часто встречались благообразные казанские татары и татары-крымчаки, похожие на румын-музыкантов, шумно бегали грузины и армяне, не торопясь шагали хмурые, белесые финны, строители трамвая и фуникулеров в городе. У павильона Архангельской железной дороги, выстроенного в стиле древних церквей Северного края Саввой Мамонтовым, меценатом и строителем

этой дороги, жило семейство курносых самоедов, показывая публике моржа, который обитал в пристроенном к павильону бассейне и будто бы в минуты благодушного настроения говорил:

«Благодарю, Савва!»

В кошомной юрте сидели на корточках девять человек киргизов чугунного цвета; семеро из них с великой силой дули в длинные трубы из какого-то глухого к музыке дерева; юноша, с невероятно широким переносьем и черными глазами где-то около ушей, дремотно бил в бубен, а игрушечно маленький старичок с лицом, обросшим зеленоватым мохом, ребячливо колотил ручками по котлу, обтянутому кожей осла. Иногда он широко открывал беззубый рот, зашитый волосами реденьких усов, и минуты две-три тянул тонким режущим уши горловым голосом:

— Иё-ё-ы-ы-йо-э-э-о-ы-ы-ы...

Владимирские пастухи-рожечники, с аскетическими лицами святых и глазами хищных птиц, превосходно играли на рожках русские песни, а на другой эстраде, против военно-морского павильона, чернобородый красавец Главач дирижировал струнным инструментам своего оркестра странную пьесу, которая называлась в программе «Музыкой небесных сфер». Эту пьесу Главач играл раза по три в день, публика очень любила ее, а люди пытливого ума бегали в павильон слушать, как тихая музыка звучит в стальном жерле длинной пушки.

— Замечательный акустический феномен! — сообщил Климу какой-то очень любезный и женоподобный человек с красивыми глазами. Самгин не верил, что пушка может отзываться на «музыку небесных сфер», но, настроенный благодушно, соблазнился и пошел слушать пушку. Ничего не услыхав в ее холодной дыре, он почувствовал себя очень глупо и решил не подчиняться голосу народа, восхвалявшему Орину Федосову, сказительницу древних былин Северного края.

Ежедневно, в час вечерней службы во храмах, к деревянным кладкам, на которых висели колокола Оконишникова и других заводов, подходил пожилой человек в поддевке, в теплой фуражке. Обнажив лысый череп, формой похожий на дыню, он трижды крестился,

глядя в небо свирепо расширенными глазами, глаза у него были белые и пустые, как у слепого. Затем он в пояс кланялся зрителям и слушателям, ожидавшим его, влезал на кладку и раскачивал пятипудовый язык большого колокола. Важно плыли мягко бухающие, сочные вздохи чуткой меди; казалось, что железный, черный язык ожил и сам, своею силой качается, жадно лижет медь, а звонарь безуспешно ловит его длинными руками, не может поймать и сам в отчаянии бьет лысым черепом о край колокола.

Наконец ему удавалось остановить раскачавшийся язык, тогда он переходил на другую кладку, к маленьким колоколам, и, черный, начинал судорожно дергать руками и ногами, вызванивая «Славься, славься, наш русский царь». Дергался звонарь так, что казалось — он висит в петле невидимой веревки, хочет освободиться от нее, мотает головой, сухое длинное лицо его пухнет, наливается кровью, но чем дальше, тем более звучно славословит царя послушная медь колоколов. Отзвонив, он вытирал потный череп, мокрое лицо большим платком в синюю и белую клетку, снова смотрел в небо страшными, белыми глазами, кланялся публике и уходил, не отвечая на похвалы, на вопросы. Говорили, что его пришибло какое-то горе и он дал обет молчания до конца дней своих.

Клим Самгин несколько раз смотрел на звонаря и вдруг заметил, что звонарь похож на Дьякона. С этой минуты он стал думать, что звонарь совершил какое-то преступление и вот — молча кается. Климу захотелось видеть Дьякона на месте звонаря.

А вообще Самгин жил в тихом умилении пред обилием и разнообразием вещей, товаров, созданных руками вот этих, разнообразно простеньких человечков, которые не спеша ходят по дорожкам, посыпанным чистеньким песком, скромно рассматривают продукты трудов своих, негромко похваливают видимое, а больше того вдумчиво молчат. И Самгин начинал чувствовать себя виноватым в чем-то пред тихими человечками, он смотрел на них дружелюбно, даже с оттенком почтения к их внешней незначительности, за которой скрыта сказочная, всесозидающая сила.

«Вот — университет,— думал он, взвешивая свои впечатления.— Познание России — вот главнейшая, живая наука».

Ему очень мешал Иноков, нелепая фигура которого в широкой разлетайке, в шляпе факельщика издали обращала на себя внимание, мелькая всюду, точно фантастическая и голодная птица в поисках пищи. Иноков сильно возмужал, щеки его обрастали мелкими колечками темных волос, это несколько смягчало его скуластое и пестрое, грубоватое лицо.

Отказаться от встреч с Иноковым Клим не решался, потому что этот мало приятный парень, так же как брат Дмитрий, много знал и мог толково рассказать о кустарных промыслах, рыбоводстве, химической промышленности, судоходном деле. Это было полезно Самгину, но речи Инокова всегда несколько понижали его благодушное и умиленное настроение.

— Есть во всех этих прелестях что-то... вдовье,— говорил Иноков.— Знаете: пожилая и будто не очень умная вдова, сомнительной красы, хвастается приданым, мужчину соблазнить на брак хочет...

Как бы решая сложную задачу, он закусывал губы, рот его вытягивался в тонкую линию.

Затем ворчливо ругался:

— Черти неуклюжие! Придумали устроить выставку сокровищ своих на песке и болоте. С одной стороны — выставка, с другой — ярмарка, а в середине — развеселое Кунавино-село, где из трех домов два набиты нищими и речными ворами, а один — публичными девками.

Когда Самгин восхищался развитием текстильной промышленности, Иноков указывал, что деревня одевается всё хуже и по качеству и по краскам материи, что хлопок возят из Средней Азии в Москву, чтоб, переработав его в товар, отправить обратно в Среднюю Азию. Указывал, что, несмотря на обилие лесов на Руси, бумагу миллионами пудов покупают в Финляндии.

— Кедра на Урале— сколько хочешь, графита — тоже, а карандашей делать не умеем.

Еще более неприятно было слушать рассказы Инокова о каких-то неудачных изобретателях.

— Были в сельскохозяйственном? — спрашивал он, насмешливо кривя губы.— Там один русский гений велосипед выставил, как раз такой, на каких англичане еще в восемнадцатом веке пробовали ездить. А другой осел пианино состряпал; всё сам сделал: клавиатуру, струны,— две трети струн, конечно, жильные. Гремит эта музыка, точно старый тарантас. Какой-то бывший нотариус экспонирует хлопушку, оводов на лошадях бить, хлопушка прикрепляется к передней оси телеги и шлепает лошадь, ну, лошадь, конечно, бесится. В леса дремучие прятать бы дураков, а мы их всенародно показываем.

Самгин ежедневно завтракал с ним в шведском картонном домике у входа на выставку. Иноков скромно питался куском ветчины, ел много хлеба, выпивал бутылку черного пива и, поглаживая лицо свое ладонью, точно стирая с него веснушки, рассказывал:

— Панно какого-то Врубеля, художника, видимо, большой силы, отказались принять на выставку. Я в живописи ничего не понимаю, а силу везде понимаю. Савва Мамонтов построил для Врубеля отдельный сарайчик вне границ выставки, вон там — видите? Вход — бесплатный, но публика плохо посещает сарайчик, даже и в те дни, когда там поет хор оперы Мамонтова. Я там часто сижу и смотрю: на одной стене — «Принцесса Греза», а на другой — Микула Селянинович и Вольга. Очень странно. Один газетчик посмотрел в кулак на Грезу, на Микулу и сказал: «Политика. Альянс франко-рюсс. Не сочувствую. Искусство должно быть свободно от политики».

Иноков нехотя усмехнулся, но тотчас же стер усмешку губ рукою. Он постоянно сообщал Климу различные новости:

— Витте приехал. Вчера идет с инженером Кази и Квинтилиана цитирует: «Легче сделать больше, чем столько». Самодовольный мужик. Привозят рабочих встречать царя. Здешних, должно быть, мало или не надеются на них. Впрочем, вербуют в Сормове и в Нижнем, у Доброва-Набгольц.

— Вы как относитесь к царю? — спросил Клим.

Иноков взглянул на него удивленно.

— Никогда не думал об этом.

Клим Самгин ждал царя с тревогой, которая даже смущала его, но которую он не мог скрыть от себя. Он чувствовал, что ему необходимо видеть человека, возглавляющего огромную, богатую Русь, страну, населенную каким-то скользким народом, о котором трудно сказать что-нибудь определенное, трудно потому, что в этот народ слишком обильно вкраплены какие-то озорниковатые люди. Была у Самгина смутная надежда, что в ту минуту, когда он увидит царя, всё пережитое, передуманное им получит окончательное завершение. Возможно, что эта встреча будет иметь значение того первого луча солнца, которым начинается день, или того последнего луча, за которым землю ласково обнимает теплая ночь лета. Может быть, Диомидов прав: молодой царь недюжинный человек, не таков, каким был его отец. Он, так смело разрушивший чаяния людей, которые хотят ограничить его власть, может быть, обладает характером более решительным, чем характер его деда. Да, возможно, что Николай Второй способен стоять один против всех и молодая рука его достаточно сильна, чтоб вооружиться дубинкой Петра Великого и крикнуть на людей:

«Да — что вы озорничаете?»

Дня на два Иноков оттолкнул его в сторону от этих мыслей.

— Не хотите слышать Орину Федосову? — изумленно спросил он.— Но ведь она — чудо!

— Я не охотник до чудес,— сказал Самгин, вспомнив о пушке и «Музыке небесных сфер».

Но Иноков, размахивая рукою, возбужденно говорил:

— Против нее всё это — хлам!

И, схватив Клима за рукав пиджака, продолжал:

— Помните Матерей во второй части «Фауста»? Но они там говорят что-то бредовое, а эта... Нет, идемте!

Клим впервые видел Инокова в таком настроении и, заинтересованный этим, пошел с ним в зал, где читали лекции, доклады и Главач отлично играл на органе.

— Увидите — это чудо! — повторил Иноков.

На эстраду вышел большой бородатый человек, в длинном и точно из листового железа склепанном пид-

жаке. Гулким голосом он начал говорить, как говорят люди, показывающие дрессированных обезьян и тюленей.

— Я,— говорил он,— я-я-я! — всё чаще повторял он, делая руками движения пловца.— Я написал предисловие... Книга продается у входа... Она — неграмотна. Знает на память около тридцати тысяч стихов... Я... Больше, чем в Илиаде. Профессор Жданов... Когда я... Профессор Барсов...

— Ничего,— успокоительно сказал Иноков.— Этот — всегда глуп.

На эстраду мелкими шагами, покачиваясь, вышла кривобокая старушка, одетая в темный ситец, повязанная пестреньким заношенным платком, смешная, добренькая ведьма, слепленная из морщин и складок, с тряпичным, круглым лицом и улыбчивыми, детскими глазами.

Клим взглянул на Инокова сердито, уверенный, что снова, как перед пушкой, должен будет почувствовать себя дураком. Но лицо Инокова светилось хмельной радостью, он неистово хлопал ладонями и бормотал:

— Ах ты, милая...

Это было смешно, Самгин несколько смягчился, и, решив претерпеть нечто в течение десятка минут, он, вынув часы, наклонил голову. И тотчас быстро вскинул ее,— с эстрады полился необыкновенно певучий голос, зазвучали веские, старинные слова. Голос был бабий, но нельзя было подумать, что стихи читает старуха. Помимо добротной красоты слов было в этом голосе что-то нечеловечески ласковое и мудрое, магическая сила, заставившая Самгина оцепенеть с часами в руке. Ему очень хотелось оглянуться, посмотреть — с какими лицами слушают люди кривобокую старушку? Но он не мог оторвать взгляда своего от игры морщин на измятом, добром лице, от изумительного блеска детских глаз, которые, красноречиво договаривая каждую строку стихов, придавали древним словам живой блеск и обаятельный, мягкий звон.

Однообразно помахивая ватной ручкой, похожая на уродливо сшитую из тряпок куклу, старая женщина из Олонецкого края сказывала о том, как мать богатыря

Добрыни прощалась с ним, отправляя его в поле, на богатырские подвиги. Самгин видел эту дородную мать, слышал ее твердые слова, за которыми все-таки слышно было и страх и печаль, видел широкоплечего Добрыню: стоит на коленях и держит меч на вытянутых руках, глядя покорными глазами в лицо матери.

Минутами Климу казалось, что он один в зале, больше никого нет, может быть, и этой доброй ведьмы нет, а сквозь шумок за пределами зала, из прожитых веков, поистине чудесно долетает до него оживший голос героической древности.

— Ну, что? — торжествуя спросил Иноков; расширенное радостной улыбкой лицо его осовело, глаза были влажны.

— Удивительно,— ответил Клим.

— То ли еще будет! Заметьте: она — не актриса, не играет людей, а людями играет.

Эти странные слова Клим не понял, но вспомнил их, когда Федосова начала сказывать о ссоре рязанского мужика Ильи Муромца с киевским князем Владимиром. Самгин, снова очарованный, смотрел на колдовское, всеми морщинами говорящее лицо, ласкаемый мягким блеском неугасимых глаз. Умом он понимал, что ведь матёрый богатырь из села Карачарова, будучи прогневан избалованным князем, не так, не этим голосом говорил, и, конечно, в зорких степных глазах его не могло быть такой острой иронической усмешечки, отдаленно напоминавшей хитренькие и мудрые искорки глаз историка Василия Ключевского.

Но, вспомнив о безжалостном ученом, Самгин вдруг, и уже не умом, а всем существом своим, согласился, что вот эта плохо сшитая ситцевая кукла и есть самая подлинная история правды добра и правды зла, которая и должна и умеет говорить о прошлом так, как сказывает олонецкая, кривобокая старуха, одинаково любовно и мудро о гневе и о нежности, о неутолимых печалях матерей и богатырских мечтах детей, обо всем, что есть жизнь. И, может быть, вот так же певуче лаская людей одинаково обаятельным голосом,— говорит ли она о правде или о выдумке,— скажет история когда-то и о том, как жил на земле человек Клим Самгин.

Затем Самгин почувствовал, что никогда еще не был он таким хорошим, умным и почти до слез несчастным, как в этот странный час, в рядах людей, до немоты очарованных старой, милой ведьмой, явившейся из древних сказок в действительность, хвастливо построенную наскоро и напоказ.

Чувствовать себя необыкновенным, каким он никогда не был, Климу мешал Иноков. В коротких перерывах между сказами Федосовой, когда она, отдыхая, облизывая темные губы кончиком языка, поглаживала кривой бок, дергала концы головного платочка, завязанного под ее подбородком, похожим на шляпку гриба, когда она, покачиваясь вбок, улыбалась и кивала головой восторженно кричавшему народу,— в эти минуты Иноков разбивал настроение Клима, неистово хлопая ладонями и крича рыдающим голосом:

— Спасибо-о! Бабушка, милая — спасибо-о!

Он был возбужден, как пьяный, подскакивал на стуле, оглушительно сморкался, топал ногами, разлетайка сползла с его плеч, и он топтал ее.

Остаток дня Клим прожил в состоянии отчуждения от действительности, память настойчиво подсказывала древние слова и стихи, пред глазами качалась кукольная фигурка, плавала мягкая, ватная рука, играли морщины на добром и умном лице, улыбались большие, очень ясные глаза.

А через три дня утром он стоял на ярмарке в толпе, окружившей часовню, на которой поднимали флаг, открывая всероссийское торжище. Иноков сказал, что он постарается провести его на выставку в тот час, когда там будет царь, однако это едва ли удастся, но что, наверное, царь посетит Главный дом ярмарки и лучше посмотреть на него там.

Напротив Самгина, вправо и влево от него, двумя бесконечными линиями стояли крепкие, рослые, неплохо одетые люди, некоторые — в новых поддевках и кафтанах, большинство — в пиджаках. Там и тут резко выделялись красные пятна кумачных рубах, лоснились на солнце плисовые шаровары, блестели голенища ярко начищенных сапог. Клим впервые видел так близко и в такой массе народ, о котором он с детства столь много

слышал споров и читал десятки печальных повестей о его трудной жизни. Он рассматривал сотни лохматых, гладко причесанных и лысых голов, курносые, бородатые, здоровые лица, такие солидные, с хорошими глазами, ласковыми и строгими, добрыми и умными. Люди эти стояли смирно, плотно друг к другу, и широкие груди их сливались в одну грудь. Было ясно, что это тот самый великий русский народ, чьи умные руки создали неисчислимые богатства, красиво разбросанные там, на унылом поле. Да, это именно он отсеял и выставил вперед лучших своих, и хорошо, что все другие люди, щеголеватее одетые, но более мелкие, не столь видные, покорно встали за спиною людей труда, уступив им первое место. Чем более всматривался Клим в людей первого ряда, тем более повышалось приятно волнующее уважение к ним. Совершенно невозможно было представить, что такие простые, скромные люди, спокойно уверенные в своей силе, могут пойти за веселыми студентами и какими-то полуумными честолюбцами.

Эти люди настолько скромны, что некоторых из них принуждены выдвигать, вытаскивать вперед, что и делали могучий, усатый полицейский чиновник в золотых очках и какой-то прыткий, тонконогий человек в соломенной шляпе с трехцветной лентой на ней. Они, медленно идя вдоль стены людей, ласково покрикивали, то один, то другой:

— Лысый, — подайся вперед!

— Ты что, великан, прячешься? Встань здесь.

— Серьга в ухе — сюда!

Прыткий человек, взглянув на Клима, дотронулся до плеча его перчаткой.

— Немножко назад, молодой человек!

Парень с серебряной серьгою в ухе легко, тараном плеча своего отодвинул Самгина за спину себе и сказал негромко, сипло:

— В очках и отсюда увидишь.

Но из-за его широкой спины ничего нельзя было видеть.

Самгин попытался встать между ним и лысым бородачом, но парень, выставив необоримый локоть, спросил:

— Куда?

И посоветовал:

— Стой на своем месте!

Клим подчинился.

«Да,— подумал он.— Этот всякого может поставить на место».

И спросил:

— Вы — откуда?

Человек с серьгою в ухе поворотил тугую шею, наклонил красное лицо с черными усами.

— Из второй части,— сказал он.

— Рабочий?

— Топорник.

Самгин помолчал, подумал и снова спросил:

— Почему же вы не в форме?

Человек с серьгой в ухе не ответил. Вместо него словоохотливо заговорил его сосед, стройный красавец в желтой, шёлковой рубахе:

— Рабочих, мастеровщину показывать не будут. Эта выставка не для их брата. Ежели мастеровой не за работой, так он — пьяный, а царю пьяных показывать не к чему.

— Верно,— сказал кто-то очень громко.— Безобразие наше ему не интересно.

Сердито вмешался лысый великан:

— Различать надо: кто — рабочий, кто — мастеровой. Вот я — рабочий от Вукола Морозова, нас тут девяносто человек. Да Никольской мануфактуры есть.

Завязалась неторопливая беседа, и вскоре Клим узнал, что человек в желтой рубахе — танцор и певец из хора Сниткина, любимого по Волге, а сосед танцора — охотник на медведей, лесной сторож из удельных лесов, чернобородый, коренастый, с круглыми глазами филина.

Чувствуя, что беседа этих случайных людей тяготит его, Самгин пожелал переменить место и боком проскользнул вперед между пожарным и танцором. Но пожарный тяжелой рукою схватил его за плечо, оттолкнул назад и сказал поучительно:

— Гулять — нельзя, видишь — все стоят?

Танцор, взглянув на Клима с усмешкой, объяснил:

— Сегодня публике внимания не оказывают.

— Чу,— едет!

Чей-то командующий голос крикнул:

— Трескин! Чтобы не смели лазить по крышам!

Все замолчали, подтянулись, прислушиваясь, глядя на Оку, на темную полосу моста, где две линии игрушечно маленьких людей размахивали тонкими ручками и, срывая головы с своих плеч, играли ими, подкидывая вверх. Был слышен колокольный звон, особенно внушительно гудел колокол собора в кремле, и вместе с медным гулом возрастал, быстро накатываясь всё ближе, другой, рычащий. Клим слышал, как Москва, встречая царя, ревела *ура*, но тогда этот рев не волновал его, обидно загнанного во двор вместе с пьяным и кармашником. А сегодня он чувствовал, что волнение даже покачивает его и темнит глаза.

Можно было думать, что этот могучий рев влечет за собою отряд быстро скакавших полицейских, цоканье подков по булыжнику не заглушало, а усиливало рев. Отряд ловко дробился, через каждые десять, двадцать шагов от него отскакивал верховой и, ставя лошадь свою боком к людям, втискивал их на панель, отталкивал за часовню, к незастроенному берегу Оки.

Из плотной стены людей по ту сторону улицы, из-за толстого крупа лошади тяжело вылез звонарь с выставки и в три шага достиг середины мостовой. К нему тотчас же подбежали двое, вскрикивая испуганно и смешно:

— Куда, чёрт? Куда, харя?

Но звонарь, отталкивая людей левой рукою, поднял в небо свирепые глаза и, широко размахивая правой, трижды перекрестил дорогу.

— Ишь ты,— благосклонно воскликнул ткач.

Звонаря торопливо затискали в толпу, а теплая фуражка его осталась на камнях мостовой.

Самгину казалось, что воздух темнеет, сжимаемый мощным воем тысяч людей,— воем, который приближался, как невидимая глазу туча, стирая все звуки, поглотив звон колоколов и крики медных труб военного оркестра на площади у Главного дома. Когда этот вой и

рев накатился на Клима, он оглушил его, приподнял вверх и тоже заставил орать во всю силу легких:

— Ура!

Народ подпрыгивал, размахивая руками, швырял в воздух фуражки, шапки. Кричал он так, что было совершенно не слышно, как пара бойких лошадей губернатора Баранова бьет копытами по булыжнику. Губернатор торчал в экипаже, поставив колено на сиденье его, глядя назад, размахивая фуражкой, был он стального цвета, отчаянный и героический, золотые бляшки орденов блестели на его выпуклой груди.

За ним, в некотором расстоянии, рысью мчалась тройка белых лошадей. От серебряной сбруи ее летели белые искры. Лошади топали беззвучно, широкий экипаж катился неслышно; было странно видеть, что лошади перебирают двенадцатью ногами, потому что казалось — экипаж царя скользил по воздуху, оторванный от земли могучим криком восторга.

Клим Самгин почувствовал, что на какой-то момент всё вокруг, и сам он тоже, оторвалось от земли и летит по воздуху в вихре стихийного рева.

Царь, маленький, меньше губернатора, голубовато-серый, мягко, подскакивал на краешке сидения экипажа, одною рукой упирался в колено, а другую механически поднимал к фуражке, равномерно кивал головой направо, налево и улыбался, глядя в бесчисленные кругло открытые, зубастые рты, в красные от натуги лица. Он был очень молодой, чистенький, с красивым, мягким лицом, а улыбался — виновато.

Да, он улыбался именно виновато, мягкой улыбкой Диомидова. И глаза его были такие же, сапфировые. И если б ему сбрить маленькую светлую бородку, он стал бы совершенно таким, как Диомидов.

Он пролетел, сопровождаемый тысячеголосым ревом, такой же рев и встречал его. Мчались и еще какие-то экипажи, блестели мундиры и ордена, но уже было слышно, что лошади бьют подковами, колеса катятся по камню и всё вообще опустилось на землю.

На дороге снова встал звонарь, тяжелыми взмахами руки он крестил воздух вслед экипажам; люди обходили его, как столб. Краснорожий человек в сером пиджаке

наклонился, поднял фуражку и подал ее звонарю. Тогда звонарь, ударив ею по колену, широкими шагами пошел по средине мостовой.

Глаза Клима, жадно поглотив царя, всё еще видели его серую фигуру и на красивеньком лице — виноватую улыбку. Самгин чувствовал, что эта улыбка лишила его надежды и опечалила до слез. Слезы явились у него раньше, но то были слезы радости, которая охватила и подняла над землею всех людей. А теперь вслед царю и затихавшему вдали крику Клим плакал слезами печали и обиды.

Невозможно было помириться с тем, что царь похож на Диомидова, недопустима была виноватая улыбка на лице владыки стомиллионного народа. И непонятно было — чем мог этот молодой, красивенький и мягкий человек вызвать столь потрясающий рев?

Безвольно и удрученно Самгин двигался в толпе людей, почему-то вдруг шумно повеселевших, слышал их оживленные голоса:

— В старину — на колени встали бы...

— Эй, наши, айда пиво пить!

За спиною Клима кто-то звонко восхищался:

— Ну, до чего же просто бьют!

— Кого?

— Всякого.

Солидный голос внушительно сказал:

— Критиков и надобно бить.

— Роман — сколько дал за сапоги?

О царе не говорили, только одну фразу поймал Самгин:

— Трудно ему будет с нами.

Это сказал коренастый парень, должно быть, красильщик материй, руки его были окрашены густосиней краской. Шел он, ведя под руку аккуратненького старичка, дерзко расталкивал людей и кричал на них:

— Шагай!

Но и этот, может быть, не о царе говорил.

«А что, если все эти люди тоже чувствуют себя обманутыми и лишь искусно скрывают это?» — подумал Клим.

Остроглазый человек заглянул в лицо его и недоверчиво спросил:

— Чего же вы плачете, молодой барин? Какая же у вас причина сегодня плакать?

Самгин сконфуженно вытер глаза, ускорил шаг и свернул в одну из улиц Кунавина, сплошь занятую публичными домами. Почти в каждом окне, чередуясь с трехцветными полосами флагов, торчали полуодетые женщины, показывая голые плечи, груди, цинически перекликаясь из окна в окно. И, кроме флагов, всё в улице было так обычно, как будто ничего не случилось, а царь и восторг народа — сон.

«Нет, Диомидов ошибся,— думал Клим, наняв извозчика на выставку.— Этот царь едва ли решится крикнуть, как горбатенькая девочка».

У входа на выставку его встретил Иноков.

— Можно пройти,— торопливо сказал он.— Жаль, опоздали вы.

Иноков постригся, побрил щеки и, заменив разлетайку дешевеньким костюмом мышиного цвета, стал незаметен, как всякий приличный человек. Только веснушки на лице выступили еще более резко, а в остальном он почти ничем не отличался от всех других, несколько однообразно приличных людей. Их было не много, на выставке они очень интересовались архитектурой построек, посматривали на крыши, заглядывали в окна, за углы павильонов и любезно улыбались друг другу.

— Охранники? — шёпотом спросил Клим.

— Вероятно, не все,— сердито и неуместно громко ответил Иноков; он шел, держа шляпу в руке, нахмурясь, глядя в землю.

— Тут уже разыграли водевиль,— говорил он.— При входе в царский павильон государя встретили гридни, знаете — эдакие русские лепообразные отроки в белых кафтанах с серебром, в белых высоких шапках, с секирами в руках; говорят,— это древний литератор Дмитрий Григорович придумал их. Стояли они в два ряда, царь спрашивает одного: «Ваша фамилия?»— «Набгольц». Он — другого: — «Элухен». Он — третьего: — «Дитмар». Четвертый оказался Шульце. Царь

усмехнулся, прошел мимо нескольких молча; видит,— некая курносая рожа уставилась на него с обожанием, улыбнулся роже: «А ваша фамилия?» А рожа ему как рявкнет басом: «Антор!» Это рожа так сокращенно счета трактирные подписывала, а настоящие имя и фамилия ее Андрей Торсуев.

Иноков рассказал это вполголоса, неохотно и задумчиво.

— Это — правда? — недоверчиво спросил Самгин.

— Ну, конечно. Уж если глупо, значит — правда.

Клим замолчал, вспомнив пожарного и танцора, которых он принял за рабочих.

Приличные люди вдруг остолбенели, сняв шляпы. Из павильона химической промышленности вышел царь в сопровождении трех министров: Воронцова-Дашкова, Ванновского и Витте. Царь шел медленно, играя перчаткой, и слушал, что говорил ему министр двора, легонько дергая его за рукав и указывая на павильон виноделия, невысокий холм, обложенный дерном. Издали и на земле царь показался Климу еще меньше, чем он был в экипаже. Ему, видимо, не хотелось спуститься в павильон Воронцова, он, отвернув лицо в сторону и улыбаясь смущенно, говорил что-то военному министру, одетому в штатское и с палочкой в руке.

Они, трое, стояли вплоть друг к другу, а на них, с высоты тяжелого тела своего, смотрел широкоплечий Витте, в плечи его небрежно и наскоро была воткнута маленькая голова с незаметным носиком и негустой, мордовской бородкой. Он смотрел на маленького в сравнении с ним царя и таких же небольших министров, озабоченно оттопырив губы, спрятав глаза под буграми бровей, смотрел на них и на золотые часы, таявшие в руке его. Самгину бросилось в глаза, как плотно и крепко прижал Витте к земле длинные и широкие ступни своих тяжелых ног.

В нескольких шагах от этой группы почтительно остановились молодцеватый, сухой и колючий губернатор Баранов и седобородый комиссар отдела художественной промышленности Григорович, который делал рукою в воздухе широкие круги и шевелил пальцами, точно соля землю или сея что-то. Тесной, немой группой

стояли комиссары отделов, какие-то солидные люди в орденах, большой человек с лицом нехитрого мужика, одетый в кафтан, шитый золотом.

— Николай Бугров, миллионер,— сказал Иноков.— Его зовут удельным князем нижегородским.— А это — Савва Мамонтов.

Из павильона Северного края быстро шел плотный лысоватый человечек с белой бородкой и веселым розовым лицом,— шел и, смеясь, отмахивался от «объясняющего господина», лобастого и длинноволосого.

— Пустяки, милейший, сущие пустяки,— громко сказал он, заставив губернатора Баранова строго посмотреть в его сторону. Все приличные люди тоже обратили на него внимание. Посмотрел и царь все с той же виноватой улыбкой, а Воронцов-Дашков всё еще дергал его за рукав, возмущая этим Клима.

«Адашев»,— вспомнил он и пожелал министру участь наставника Ивана Грозного.

На выставке было тихо и скучно, как в ненастные будни. По-будничному свистели паровозы на вагонном дворе, скрежетали рельсы на стрелках, бухали буфера и уныло пели рожки стрелочников.

День, с утра яркий, тоже заскучал, небо заволокли ровным слоем сероватые, жидкие облака, солнце, прикрытое ими, стало, по-зимнему, тускло-белым, и рассеянный свет его утомлял глаза. Пестрота построек поблекла, неподвижно и обесцвеченно висели бесчисленные флаги, приличные люди шагали вяло. А голубоватая, скромная фигура царя, потемнев, стала еще менее заметной на фоне крупных, солидных людей, одетых в черное и в мундиры, шитые золотом, украшенные бляшками орденов.

Царь медленно шел к военно-морскому отделу впереди этих людей, но казалось, что они толкают его. Вот губернатор Баранов гибко наклонился, поднял что-то с земли из-под ног царя и швырнул в сторону.

— Ну, довольно с вас? — спросил Иноков, усмехаясь.

Самгин молча кивнул головой. Он чувствовал себя физически усталым, хотел есть, и ему было грустно. Такую грусть он испытывал в детстве, когда ему дари-

ли с рождественской елки не ту вещь, которую он хотел иметь.

— Знаете, на кого царь похож? — спросил Иноков. Клим безмолвно взглянул в лицо его, ожидая грубости. Но Иноков сказал задумчиво:

— На Бальзаминова, одетого офицером.

— Исаак,— пробормотал Самгин.

— Что?

— Исаак,— повторил Клим громче и с досадой, которую не мог сдержать.

— Ах, да, это — из Библии,— вспомнил Иноков.— Ну, а кто же тогда Авраам?

— Не знаю.

— Странное сравнение,— усмехнулся Иноков и заговорил, вздохнув:

— Корреспонденций моих — не печатают. Редактор, старый мерин, пишет мне, что я слишком подчеркиваю отрицательные стороны, а это не нравится цензору. Учит: всякая критика должна исходить из некоторой общей идеи и опираться на нее. А чёрт ее найдет, эту общую идею!

Клим перестал слушать его ворчливую речь, думая о молодом человеке, одетом в голубовато-серый мундир, о его смущенной улыбке. Что сказал бы этот человек, если б пред ним поставить Кутузова, Дьякона, Лютова? Да, какой силы слова он мог бы сказать этим людям? И Самгин вспомнил — не насмешливо, как всегда вспоминал, а — с горечью:

«Да — был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?»

Но, перегруженный впечатлениями, он вообще как будто разучился думать; замер паучок, который ткет паутину мысли. Хотелось поехать домой, на дачу, отдохнуть. Но ехать нельзя было, Варавка телеграммой просил подождать его приезда.

И, дожидаясь Варавку, Клим Самгин увидал хозяина.

Это был человек среднего роста, одетый в широкие, длинные одежды той неуловимой окраски, какую принимают листья деревьев поздней осенью, когда они уже испытали ожог мороза. Легкие, как тени, одежды эти

прикрывали сухое, костлявое тело старика с двухцветным лицом; сквозь тускло-желтую кожу лица проступали коричневые пятна какой-то древней ржавчины. Каменное лицо это удлиняла серая бородка. Волосы ее легко было сосчитать; кустики таких же сереньких волос торчали в углах рта, опускаясь книзу, нижняя губа, тоже цвета ржавчины, брезгливо отвисла, а над нею неровный ряд желтых, как янтарь, зубов. Глаза его косо приподняты к вискам, уши, острые, точно у зверя, плотно прижаты к черепу, он в шляпе с шариками и шнурками; шляпа делала человека похожим на жреца какой-то неведомой церкви. Казалось, что зрачки его узких глаз не круглы и не гладки, как у всех обыкновенных людей, а слеплены из мелких, острых кристалликов. И, как с портрета, написанного искусным художником, глаза эти следили за Климом неуклонно, с какой бы точки он ни смотрел на древний, оживший портрет. Бархатные, тупоносые сапоги на уродливо толстых подошвах, должно быть, очень тяжелы, но человек шагал бесшумно, его ноги, не поднимаясь от земли, скользили по ней, как по маслу или по стеклу.

За ним почтительно двигалась группа людей, среди которых было четверо китайцев в национальных костюмах; скучно шел молодцеватый губернатор Баранов рядом с генералом Фабрициусом, комиссаром павильона кабинета царя, где были выставлены сокровища Нерчинских и Алтайских рудников, драгоценные камни, самородки золота. Люди с орденами и без орденов почтительно, тесной группой, тоже шли сзади странного посетителя.

Плывущей своей походкой этот важный человек переходил из одного здания в другое, каменное лицо его было неподвижно, только чуть-чуть вздрагивали широкие ноздри монгольского носа и сокращалась брезгливая губа, но ее движение было заметно лишь потому, что щетинились серые волосы в углах рта.

— Ли Хунг-чанг,— шептали люди друг другу.— Ли Хунг-чанг.

И, почтительно кланяясь, отскакивали. На людей знаменитый человек Китая не смотрел, вещи он огля-

дывал на ходу и, лишь пред некоторыми останавливаясь на секунды, на минуту, раздувал ноздри, шевелил усами.

Руки его лежали на животе, спрятанные в широкие рукава, но иногда, видимо, по догадке или повинуясь неуловимому знаку, один из китайцев тихо начинал говорить с комиссаром отдела, а потом, еще более понизив голос, говорил Ли Хунг-чангу, преклонив голову, не глядя в лицо его.

В отделе военно-морском он говорил ему о пушке; старый китаец, стоя неподвижно и боком к ней, покосился на нее несколько секунд — и поплыл дальше.

Генерал Фабрициус, расправив запорожские усы, выступил вперед высокого гостя и жестом военачальника указал ему на павильон царя.

Ли Хунг-чанг остановился. Китаец-переводчик начал суетливо вертеться, кланяться и шептать что-то, разводя руками, улыбаясь.

— Нельзя идти впереди его? — громко спросил осанистый человек со множеством орденов,— спросил и усмехнулся.— Ну, а рядом с ним — можно? Как? Тоже нельзя? Никому?

— Так точно, ваше превосходительство! — ответил кто-то голосом извозчика-лихача.

Осанистый человек докрасна надул щеки, подумал и сказал на французском языке:

— Спросите переводчика: кто же имеет право идти рядом с ним?

Все замолчали. Потом голос лихача сказал, но уже не громко:

— Переводчик говорит, ваше высокопревосходительство, что он не знает; может быть, ваш — то есть наш — император, говорит он.

Осанистый человек коснулся орденов на груди своей и пробормотал сердито:

— Действительно... церемонии!

Генерал Фабрициус пошел сзади Ли Хунг-чанга, тоже покраснев и дергая себя за усы.

В павильоне Алтая Ли Хунг-чанг остановился пред витриной цветных камней, пошевелил усами,— переводчик тотчас же попросил открыть витрину. А когда

подняли ее тяжелое стекло, старый китаец не торопясь освободил из рукава руку, рукав как будто сам, своею силой взъехал к локтю, тонкие, когтистые пальцы старческой, железной руки опустились в витрину, сковырнули с белой пластинки мрамора большой кристалл изумруда, гордость павильона, Ли Хунг-чанг поднял камень на уровень своего глаза, перенес его к другому и, чуть заметно кивнув головой, спрятал руку с камнем в рукав.

— Он его берет себе,— любезно улыбаясь, объяснил переводчик этот жест.

Генерал Фабрициус, побледнев, забормотал:

— Но... позвольте! Я ж не имею права делать подарки!

Знаменитый китаец уже выплыл из двери павильона и шел к выходу с выставки.

— Ли Хунг-чанг,— негромко говорили люди друг другу и низко кланялись человеку, похожему на древнего мага.— Ли Хунг-чанг!

День был неприятный. Тревожно метался ветер, раздувая песок дороги, выскакивая из-за углов. В небе суетились мелко изорванные облака, солнце тоже беспокойно суетилось, точно заботясь как можно лучше осветить странную фигуру китайца.

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

*Архив Г*VIII—XI — Архив А. М. Горького, т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд-во АН СССР, 1961; т. IX. Письма к Е.П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., Изд-во АН СССР, кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым. М., «Наука», 1966.

ВС — М. Горький в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1955.

ГИЗ — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—22. М.—Л., ГИЗ, 1927—1929.

Г-30 — М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах. М., Гослитиздат, 1949—1953.

Г Чтения, 1951 — Горьковские чтения, 1949—1950. М., Изд-во АН СССР, 1951.

К — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag «Kniga», 1923—1928.

Лит Насл — Горький и советские писатели. — «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963.

В двадцать первый том настоящего издания вошла первая часть «Жизни Клима Самгина», написанная Горьким в 1925—1926 годах и включенная им в *К*.

Текст подготовлен и текстологические примечания к нему составлены *Е. И. Прохоровым*. Текст рассмотрен и утвержден Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*. Контрольный рецензент — *Е. Б. Тагер*.

ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Впервые напечатано: М. Г о р ь к и й. Собрание сочинений, т. 20. Berlin, «Kniga», 1927; часть тиража выпущена в виде самостоятельной книги: М. Г о р ь к и й. Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть первая. Berlin, «Kniga», 1927. Одновременно публиковалось отдельными главами в газетах и журналах: I гл.— «Красная новь», 1927, № 5, май, стр. 3—21; № 6, июнь, стр. 3—41 *(Кр Н)*; II гл.— «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1927, №№ 149, 152—154, 157, 159, 162, 164, 165, 169—173, 3, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30 и 31 июля *(Изв.)*; III гл. — «Красная панорама», 1927, №№ 26—36, июнь — сентябрь (*КП*) и «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1927, № 143, 26 июня; IV гл. — «Правда», 1927, №№ 139—148, 150, 152, 154, 156—158, 23, 24, 25, 26, 28, 29 и 30 июня, 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 15 июля *(П)*; V гл.— «Огонек», 1927, №№ 25—31, июнь — июль и альманах «Круг», 1927, кн. 6, стр. 7—111 *(Кр)*.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Неполный черновой автограф — *ЧА* (ХПГ-20-1-1).

2. Беловой автограф всей первой части — *БА*1 (ХПГ-16-1-1); на обложке надпись: «Вторая редакция» (рукой Горького слово «Вторая» зачеркнуто и над ним написано: «Третья»).

3. Авторизованная машинопись четвертой главы — $АМ_1$ (ХПГ-18-1-2), служившая оригиналом набора для публикации в «Правде».

4. Авторизованная машинопись второй половины пятой главы — $АМ_2$ (ХПГ-18-1-1), служившая оригиналом набора для публикации в альманахе «Круг».

5. Черновые варианты и наброски отдельных сцен и эпизодов для первой части произведения. Всего более 200 рукописных листов (ХПГ-16-1-4, ХПГ-20-1-1, ХПГ-21-1-1—55).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 19, строка 17: «а их — десять» вместо «их десять» (по *Кр Н*).

Стр. 19, строка 22: «розовощекий» вместо «розоватенький» (по *БА*).

Стр. 30, строки 15—16: «всегда было» вместо «было всегда» (по *БА*.)

Стр. 30, строка 39: «расцарапав ногу» вместо «расцарапав себе ногу» (по *БА*).

Стр. 34, строка 17: «постоянно хворала» вместо «хворала постоянно» (по *БА*).

Стр. 34, строка 26: «но Клим» вместо «Клим» (по *БА*).

Стр. 40, строка 6: «светилась» вместо «таилась» (по *БА*).

Стр. 51, строка 34: «вздрогнув, тяжело втиснула» вместо «вздрогнула, тяжело втиснув» (по *БА*).

Стр. 69, строка 25: «чувствовал себя» вместо «себя чувствовал» (по *БА*).

Стр. 74, строка 30: «приятно» вместо «неприятно» (по *БА*).

Стр. 80, строка 2: «рассказать ей» вместо «рассказать» (по *БА*).

Стр. 86, строка 7: «черных» вместо «красных» (по *БА*).

Стр. 95, строка 33: «вдруг вспомнил» вместо «вспомнил» (по *БА*).

Стр. 103, строка 35: «поселился» вместо «появился» (по *БА*).

Стр. 113, строка 22: «тоже стали» вместо «стали» (по *БА* и *Изв.*).

Стр. 118, строка 5: «с гордым, суховатым» вместо «с суховатым, гордым» (по *БА*).

Стр. 121, строка 24: «в посконную» вместо «в потасканную» (по *БА* и *Изв.*).

Стр. 125, строка 13: «снова указал» вместо «указал» (по *БА* и *Изв*).

Стр. 130, строки 37—38: «хорошо запомнил» вместо «запомнил» (по *БА*).

Стр. 139, строки 11—12: «бесшумно расставляя» вместо «расставляя бесшумно» (по *БА*).

Стр. 146, строка 15: «сжимая щеки» вместо «сжимая» (по *БА* и *Изв.*) .

Стр. 149, строка 35: «источником» вместо «непрерывным источником» (по *БА*).

Стр. 159, строки 31—32: «в Москву, в театральную школу» вместо «в театральную школу» (по *БА*).

Стр. 160, строка 36: «летнего вечера» вместо «вечера» (по *БА* и *Изв*).

Стр. 168, строка 3: «жажду» вместо «нужду» (по *БА*).

Стр. 179, строки 1—2: «каким-то новым» вместо «новым» (по *БА* и *Изв*).

Стр. 186, строка 40: «кстати сказать» вместо «кстати» (по *БА*).

Стр. 187, строка 17: «ему казалось» вместо «казалось» (по *БА*).

Стр. 188, строка 33: «сочувствия» вместо «сочувственных» (по *БА*).

Стр. 194, строка 10: «как голод, жажда, стыд», вместо «как голод» (по *БА*).

Стр. 205, строка 3: «Самгин, Клим» вместо «Самгин» (по *БА* и *КП*).

Стр. 205, строка 7: «человечек» вместо «человек» (по *БА* и *КП*).

Стр. 206, строки 2—3: «спели они» вместо «они спели» (по *БА*).

Стр. 218, строка 41: «незнакомые ему» вместо «ему незнакомые» (по *БА*).

Стр. 239, строки 39—40: «пытается она» вместо «она пытается» (по *БА*).

Стр. 290, строка 19: «Да, да,— прервала его Лидия.— Ты не возражай» вместо «Да, да — ты не возражай» (по *БА*).

Стр. 297, строка 29: «за согнутой спиною» вместо «за спиною» (по *БА*).

Стр. 308, строка 23: «оживление» вместо «удивление» (по *БА*).

Стр. 324, строка 17: «Скупо» вместо «Скучно» (по *БА*).

Стр. 328, строки 21—22: «ушел к себе» вместо «ушел» (по *БА*).

Стр. 331, строки 17—18: «вольтерианцев-крепостников, дарвинистов — поповых детей» вместо «вольтерианцев, крепостников, дарвинистов, поповых детей» (по *БА* и *АМ*).

Стр. 331, строка 19: «из этого же сословия» вместо «этого же сословия» (по *БА*).

Стр. 336, строка 28: «ему сулят» вместо «им сулят» (по *БА*).

Стр. 343, строка 37: после слов «и пыли».— вставлена фраза: «Лютов погрозил ему пальцем» (по *БА*).

Стр. 350, строка 7: «вторгается она» вместо «она вторгается» (по *БА*).

Стр. 359, строки 37—38: «Туробоев ответил» вместо «он ответил» (по *БА*).

Стр. 361, строка 14: «в голове» вместо «в голосе» (по *БА*).

Стр. 367, строки 29—30: «советовала она, всхрапывая» вместо «советовала она» (по *БА*).

Стр. 373, строки 10—11: «подпрыгивая, размахивая руками» вместо «и, отпрыгивая, размахивал руками» (по *БА*).

Стр. 388, строка 8: «но, наверное, он» вместо «но он» (по *БА*).

Стр. 391. строка 23: «касался его уха» вместо «касался ее уха» (по *БА* и *П*).

Стр. 408, строка 12: «неинтересное» вместо «интересное» (по *БА*).

Стр. 411, строка 39: «голое лицо» вместо «голос, лицо» (по *БА*).

Стр. 416, строка 30: «поглядим» вместо «погодим» (по *БА*).

Стр. 430, строка 16—17: «умные наши руки» вместо «наши руки» (по *БА*).

Стр. 432, строка 15: «ухватив его клешнею» вместо «ухватив его» (по *БА*).

Стр. 446, строка 18: «стихи читал» вместо «читал» (по *БА*).

Стр. 449, строки 17—18: «радужными, оригинальными» вместо «радужными» (по *БА*).

Стр. 453, строки 16—17: «подмечать» вместо «наблюдать» (по *БА*).

Стр. 454, строка 7: «он больше ел» вместо «он ел» (по *БА*).

Стр. 459, строки 4—5: «окричав людей, устало валился» вместо «окричав, валился» (по *БА*).

Стр. 479, строка 27: «затем, попросив» вместо «попросив» (по *БА*).

Стр. 482, строки 10—13: фразы: «Рукава ее ∽ капли воды». и «Не могу.— повторила она ∽ с явным удивлением».— переставлены (по *БА*).

Стр. 482, строка 22: «движением» вместо «жестом» (по *БА*).

Стр. 486, строка 3: «унылому Пояркову» вместо «Пояркову» (по *БА*).

Стр. 489, строки 5—6: «жаловалась на усталость, осторожно похвалила » вместо «осторожно похвалила» (по *БА*).

Стр. 514, строка 1: «на Николу» вместо «на Николая» (по *БА*).

Стр. 515, строка 11: «Все эти» вместо «Вот эти» (по *БА*, *АМ*, *Кр*).

Стр. 521, строка 24: «точно из милости» вместо «из милости» (по *БА*).

Стр. 528, строки 14—15: «прямодушного» вместо «простодушного» (по *БА*).

Стр. 531, строка 30: «не распутник» вместо «не романтик» (по *БА*).

Стр. 534, строки 3—4: «я ее люблю» вместо «что я люблю ее» (по *БА*).

Стр. 535, строка 36: «детских сказок» вместо «сказок» (по *БА*).

Стр. 537, строка 41: «не беспокоили» вместо «не беспокоили Клима» (по *БА*).

Стр. 538, строка 21: «о голубоватом снеге» вместо «о голубоватом свете» (по *БА*).

Стр. 547, строка 31: «когда там будет» вместо «когда будет» (по *БА*).

Стр. 550, строка 31: «левой рукою» вместо «рукой» (по *БА*, *АМ*, *Кр.)*.

Стр. 559, строка 3: «когтистые» вместо «костистые» (по *БА*, *АМ*, *Кр)*.

Самое раннее упоминание о работе над «Жизнью Клима Самгина» содержится в письме Горького к Е. П. Пешковой от 14 марта 1925 г.: «Пишу роман» (*Архив Г*IX, стр. 242). На следующий день в письме к С. Цвейгу Горький дал более развернутое определение своей работы: «В настоящее время я пишу о тех русских людях, которые, как никто иной, умеют выдумать свою жизнь, выдумать самих себя» (*Г-30*, т. 29, стр. 428).

Косвенные данные позволяют предполагать, что работа над первой частью произведения была доведена до конца в марте — апреле 1926 г. 23 марта Горький сообщал А. К. Воронскому: «Роман сводит меня с ума, работаю по 10 часов в день, а достиг

еще только Всероссийского тор⟨гово⟩-пром⟨ышленного⟩ съезда и Всерос⟨сийской⟩ выставки в Н.-Новгороде» (*Архив ГХ*, кн. 2, стр. 29). Как известно, описанием Выставки заканчивается первая часть.

Как только работа над первой частью была закончена, ее стали перепечатывать на машинке. Горький читал и правил первый экземпляр машинописи, из которой сохранились только четвертая глава (AM_1) и вторая половина пятой (AM_2).

Сопоставление последних 14-ти страниц AM_2 с *БА* обнаруживает настолько существенные различия между текстами, что это нельзя объяснить ошибками переписчика. По-видимому, эти 14 страниц правились Горьким вновь и, перепечатанные с неизвестного нам источника, содержат более позднюю редакцию.

В конце декабря 1926 г. Горький закончил вычитку первой главы и 23 декабря выслал ее в Москву П. П. Крючкову: «Мне хотелось бы,— писал автор,— чтоб Вы сняли ⟨с⟩ посланного отрывка две-три копии и переслали их мне, дабы я мог послать переводчикам ⟨...⟩ а Вы — в „Красную новь“» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-95). Вероятно, Крючков так и сделал. Во всяком случае из его письма в Malik-Verlag от 26 марта 1927 г. следует, что задолго до этой даты издательство получило отдельно отпечатанную первую главу. Правленный автором экземпляр машинописи первой главы Крючков позже передал в «Красную новь».

Постепенно Горький прочел и выправил первый экземпляр машинописи всех глав, а, видимо, М. А. Пешков перенес авторскую правку на два других экземпляра машинописи. Но произошло нечто не совсем ясное с четвертой главой. Сохранившаяся машинопись ее представляет собой экземпляр, правленный рукой автора. С этого экземпляра глава набиралась в «Правде» и, естественно, вся авторская правка здесь была учтена, а в т. 20 *К* ни одной из авторских поправок нет. Возникает предположение: не была ли эта правка целенаправленной, сделанной с учетом того, что глава будет печататься в газете? На этот вопрос приходится ответить отрицательно: «...рукопись хроники моей,— писал 8 июля 1927 г. Горький В. П. Полонскому,— распределял по редакциям Петр Петрович Крючков ⟨...⟩ Я не давал — и не мог дать — П⟨етру⟩ П⟨етровичу⟩ никаких указаний или советов по этому поводу, и он действовал по своему усмотрению» (*Архив ГХ*, кн. 2, стр. 98).

Таким образом, остается склониться к другому предположению: кто-то, кому было поручено перенести авторскую правку с первого экземпляра на второй и третий (скорее всего это был М. А. Пешков), случайно пропустил всю четвертую главу. Между тем поправки Горького необходимы, так как исправляют грубые ошибки переписчика. Например, в автографе читаем: «По спичке в день — сто миллионов спичек, по гвоздю — сто миллионов гвоздей». Переписчик пропустил середину этой фразы и получилось: «По спичке в день — сто миллионов гвоздей». Горький заметил ошибку и вписал пропущенные слова. В «Правде» текст дан верно, в т. 20 *К* пропуск не восстановлен.

Некоторые из поправок устраняют неточности, допущенные в рукописи самим автором. Например:

«Сомова возмутилась:

— Какой же он учитель! Он — злой! Я его мало знаю. И не люблю.

Иноков отошел, покачиваясь, встал у окна и оттуда сказал:

— Когда меня выгнали из гимназии...» (наст. том, стр. 285, строки 25—30).

Так — в автографе и в машинописи до ее правки. Но это неверно по существу: Сомова провела с Дроновым всё детство в одном доме и поэтому не могла сказать, что мало знает его. Иноков же хотя и учился с Дроновым в гимназии, но был на два года старше и, естественно, знал Дронова мало. Горький учел это и, правя машинописный текст, передал слова Сомовой: «Я его мало знаю. И не люблю» — Инокову, начав ими его реплику: «Я его мало знаю. И не люблю. Когда меня...» и т. д. В *К* эта поправка не учтена.

В ряде случаев правка в AM_1 представляет собой продолжение авторской работы над совершенствованием текста, в частности, над некоторым сокращением его. Так, в AM_1 до правки было:

«Клим изорвал письмо, разделся и лег, думая, что в конце концов люди только утомляют. Каждый из них, бросая в память тяжелую тень свою, вынуждает думать о нем, оценивать его, искать для него место в душе. Зачем это нужно, какой смысл в этом?

„Именно эти толчки извне мешают мне установить твердые границы моей личности,— решил он, противореча сам себе.— В конце концов я заметен лишь потому, что стою в стороне от всех и молчу. Необходимо принять какую-то идею, как это сделали Томилин, Макаров, Кутузов“».

В процессе правки это место было сокращено:

«Клим изорвал письмо, разделся и лег, думая, что — да, пора принять какую-то идею, как это сделали Томилин, Макаров, Кутузов» (стр. 389, строки 27—29).

Наконец, работая над AM_1, Горький вычеркнул следующие куски текста, в которых речь идет о внутренней самохарактеристике Самгина: «Но уже где-то глубоко в душе моей зреет зерно истинной веры, моей! Она еще не ясна мне, но это ее таинственная сила отталкивает от меня всё чужое, не позволяя мне усвоить его. Есть идеи для меня и не для меня; одни я должен прочувствовать, другие мне нужно только знать» (ср. *Г-30*, т. 19, стр. 315, строки 33—38); «Затем Самгин снова вернулся к своей догадке: „Вот почему иногда мне кажется, что мысли мои кипят в пустом пространстве. И то, что я чувствовал ночью, есть, конечно, назревание моей веры“» (стр. 316, строки 7—10); «Но, просматривая идеи, знакомые ему, Клим Самгин не находил ни одной удобной для него, да и не мог найти — дело шло не о заимствовании чужого, а о фабрикации своего. Все идеи уже только потому плохи, что они — чужие, не говоря о том, что многие из них были

органически враждебны, а иные — наивны до смешного, какова, например, идея Макарова.

Эти думы и назойливое нытье комаров за кисейным пологом кровати мешали уснуть. Клим Самгин попытался успокоиться, напомнив себе, что, в сущности, у него есть стержень: это его честное отношение к себе самому. Чужое потому не всасывается, не врастает в него, а плывет сквозь, не волнуя чувства и только обременяя память, что у него есть отвращение ко всякому насилию над собою. Но это уже не утешало» (стр. 375, строки 8—22).

Вся эта правка, как уже говорилось, не вошла в т. 20 *К*, но была учтена в «Правде».

В конце марта 1927 г. перепечатка и авторский просмотр всей машинописи были закончены. Первый экземпляр ее (без первой главы, высланной Крючкову ранее) был отправлен в Москву, а второй — в Берлин, в издательство «Книга». В первых числах мая начался набор первой части произведения в лейпцигской типографии Шпамера. Автору должны были начать высылать корректуру. На этом особенно настаивал Крючков: «Авторская корректура нужна,— писал он издательству „Книга“ 3 мая 1927 г.— Для ускорения просите типографию Шпамер, Лейпциг, направлять 2 экземпляра корректуры экспрессом непосредственно автору 〈...〉 Я уже писал А. М. Горькому, и он будет корректуру возвращать в тот же день обратно. Больших изменений автор в корректуру вносить не будет» (Архив А. М. Горького, КГ-изд-32-13-10). В тот же день он напоминал еще раз: «...авторская корректура необходима, так как я опасаюсь, что в манускрипте, переписанном на машинке, есть ошибки, и выпуск книги без просмотра автора невозможен» (там же, КГ-изд-32-9-2).

К этому времени в советских газетах и журналах были подготовлены публикации отдельных глав. Но, по существовавшим тогда правилам, выход произведения в СССР раньше, чем за границей, лишал Горького авторских прав на зарубежные издания. В связи с этим Крючков 6 или 7 мая 1927 г. послал Горькому телеграмму: «Книгу Клим необходимо срочно выпустить Берлине телеграфируйте согласие издать без авторской корректуры» (там же, КГ-изд-41а-1-9). Ответ Горького неизвестен. Вероятно, он согласился, так как 9 мая Крючков телеграфировал в Берлин: «Авторскую корректуру не посылайте печатайте двадцатый том сверстанным» (там же, КГ-изд-32-9-3).

Из писем типографии Шпамера следует, что 6 мая 1927 г. Горькому были посланы первые листы корректуры. Если 10 мая высылка корректуры автору была приостановлена, а, насколько нам известно, 14 мая в Берлин из Лейпцига поступили 3 и 4 листы корректуры, то из всего этого можно сделать вывод, что к Горькому могли поступить только два первых листа верстки. Такое предположение подтверждается и тем, что изо всех разночтений между т. 20 *К* и «Красной новью» (набиравшейся с дублетной машинописи) более половины приходится на первые два листа.

После этого корректуру читал только издательский корректор в Берлине и правил их в соответствии с оригиналом. В одном месте четвертой главы он столкнулся с явным пропуском в ори-

гинале, и издательство обратилось к автору со следующим запросом:

«Многоуважаемый тов. Горький, в корректуре Вашей книги встречается одно место, которое никак нельзя самостоятельно исправить, так как в манускрипте оно тоже пропущено. Мы никак не можем догадаться, какую книгу Вы подразумеваете.

Препровождая Вам стр. 263 корректуры, просим исправить указанное в ней место и по возможности прислать нам обратной почтой экспрессом» (там же, КГ-изд-32-6-2).

Речь шла о книге «Notre Coeur», название которой переписчик на машинке, естественно, не воспроизвел, оставив место, чтобы вписать два слова от руки. В первом экземпляре AM_1 заглавие вписано рукой Горького, и это лишний раз подтверждает тот факт, что авторская правка четвертой главы случайно не была перенесена в другие экземпляры машинописи.

Горький в корректуре вписал русский перевод заглавия — «Наше сердце» и отослал в Берлин. В середине июня том 20 *К* вышел в свет. В первых числах июля было выпущено и отдельное издание *К* первой части произведения.

Из всего сказанного выше следует, что *К* нельзя считать изданием полностью авторизованным и абсолютно точно передающим авторский текст. Кроме того, в обстановке спешки, с которой шла работа над выпуском книги в свет, были неизбежны и ошибки наборщиков, и промахи корректора, не заметившего этих ошибок, тем более, что корректору было рекомендовано не очень придираться к набору (Архив А. М. Горького, КГ-изд-34-1-59).

Вместе с тем *К* — единственное полное издание первой части. Именно поэтому оно взято в качестве основы, а его ошибки и дефекты исправляются по другим авторизованным источникам; в частности, перенесена правка, сделанная Горьким в 4-й главе и дошедшая до нас в AM_1.

Параллельно с изданием тома 20 *К*, в чем-то даже опережая его, шла публикация отдельных глав произведения в советской периодике. Главы и отрывки печатались разновременно, вне сюжетной или логической последовательности (так, отрывок из третьей главы был напечатан в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» раньше, чем здесь же появилась вся вторая глава). Об этом Горькому писал А. Н. Тихонов: «К сожалению, ценность Вашего романа несколько пострадала оттого, что отрывки его печатаются где попало и как попало (где конец, где начало!)» (Архив А. М. Горького, КГ-п-77-1-16).

Набор текста в советской периодике велся непосредственно с правленного автором оригинала, и это должно было бы значительно повысить ценность журнально-газетных публикаций. Однако почти во всех случаях текст Горького в большей или меньшей степени редактировался без участия автора. Например, в «Красной панораме», видимо, потребностью уместить текст окончания третьей главы в пределах страницы объясняется исключение абзаца «Лекции, споры, шёпоты ∽ чем более опасна она» (наст. том, стр. 261, строки 10—14). При разделении машинописи на главы в «Правде» выпала последняя фраза четвертой главы

«Этого надо было ожидать ∽ кривляется Лютов» (стр. 403, строки 20—22).

В конце 1927 г. Госиздат начал готовить отдельное издание первой части «Жизни Клима Самгина». В этой работе принял участие И. А. Груздев. 1 ноября т. г. он писал Горькому: «В „Самгине" есть некоторые неточности, может быть, Вы допустили их сознательно?

1) Ангел с венком находится не на Дворцовой площади, а перед Троицким собором, украшает очень аляповатый „памятник славы". На Александровской же колонне ангел с крестом. На него написана Пушкиным эпиграмма:

В России дышит всё военным ремеслом,
И ангел делает на караул крестом.

2) Петр простер руку не на запад, а на север ⟨...⟩

Я выправил местами непоследовательность имен: Варя — Вера, Акимович — Антонович. Затем Лютов ведь народоправец? Не народоволец? Корректоры бунтуют против Вашей системы знаков препинания. Приходится смирять их насилием» (*Архив Г*XI, стр. 146).

Получив это письмо, Горький 9 ноября 1927 г. телеграфировал: «Исправьте указанные Вами две ошибки. Вместо венка крест. Матроса выкиньте. Рука Петра, конечно, на Запад» (там же, стр. 147).

22 ноября Груздев сообщил Горькому: «В „Самгине" я исправил так: вместо слова венок — крест. Следующую фразу выкинул. Не знаю, так ли я Вас понял?» (там же, стр. 148). Ответ Горького на этот вопрос не известен.

В настоящем издании поправки Груздева также приняты. Непоследовательность имен устранена.

Творческую историю «Жизни Клима Самгина» и реально-исторический комментарий ко всему произведению см. в т. XXV настоящего издания.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. М. Горький. Сорренто, 1925—1926 гг. 4

«Жизнь Клима Самгина». Заглавная страница третьей редакции 13

«Жизнь Клима Самгина», часть первая. Страница чернового автографа 31

«Жизнь Клима Самгина», часть первая. Страница авторизованной машинописи 387

«Жизнь Клима Самгина», часть первая. Страница белового автографа 465

СОДЕРЖАНИЕ

ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА
(СОРОК ЛЕТ)
Повесть

Часть первая 5

Примечания

Условные сокращения 563
Вступительная заметка 564

Список иллюстраций 574